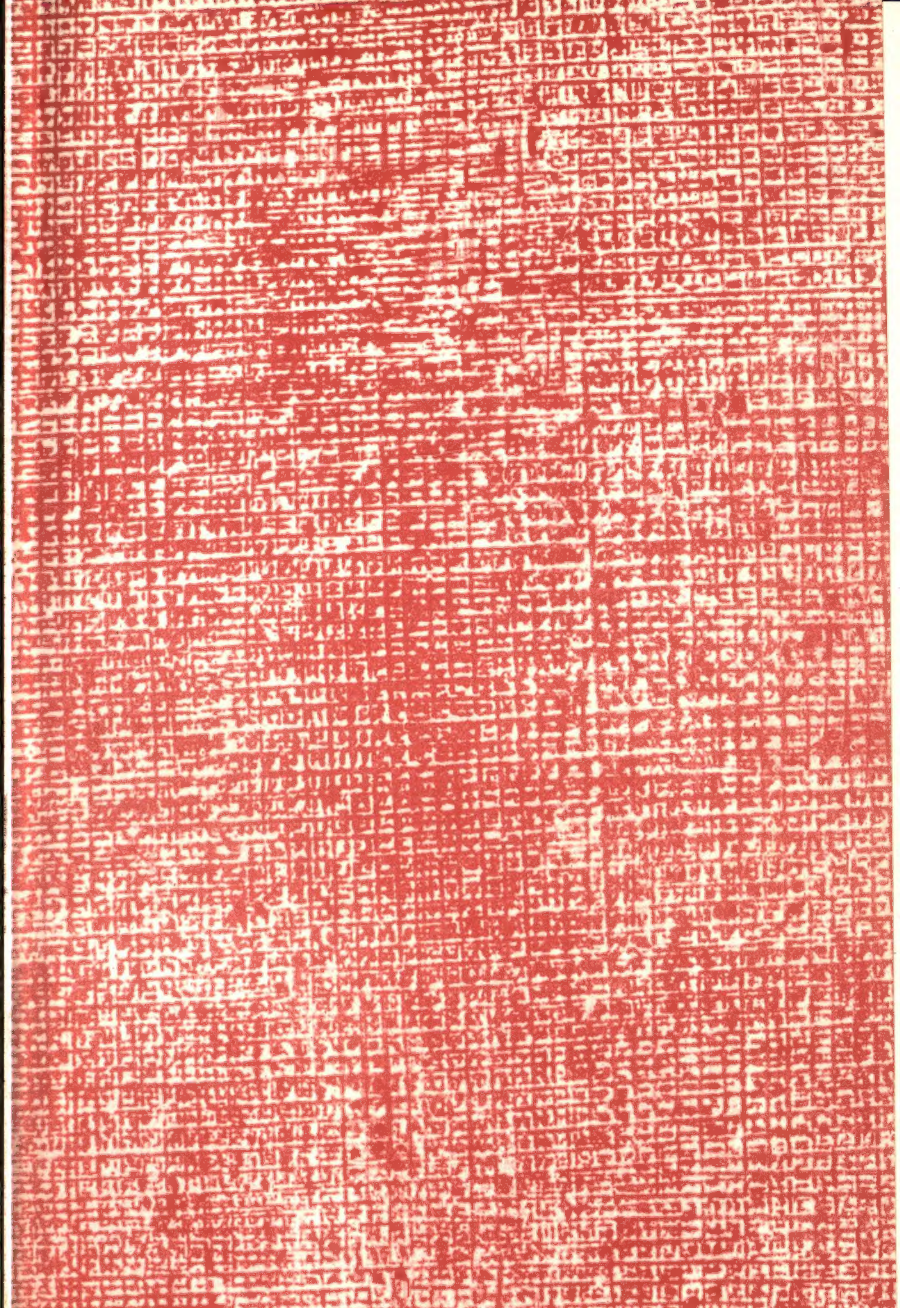
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ

УЛЬЯНОВЫ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ





ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ

УЛЬЯНОВЫ

Советский писатель. Москва. 1972.



ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ

УЛЬЯНОВЫ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

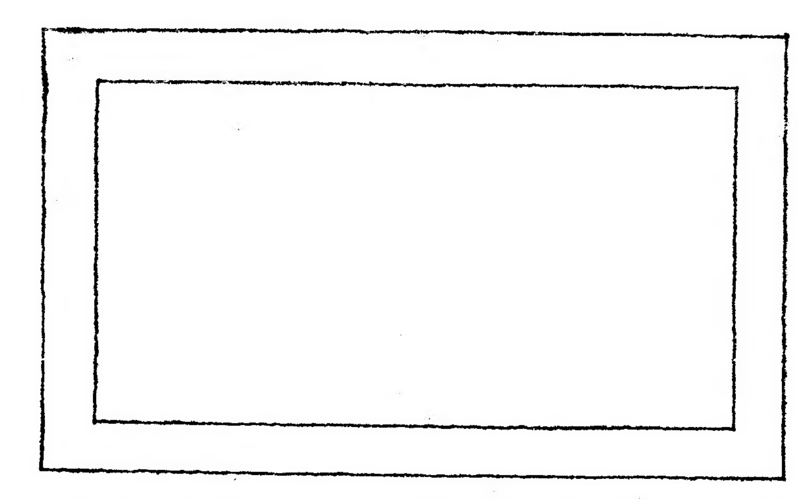
Авторизованный перевод с украинского
БОРИСА ТУРГАНОВА

Украинский писатель Владимир Канивец — автор художественных биографий (вышедших в серии «Жизнь замечательных людей») «Александр Ульянов» (1961 г.) и «Кармалюк» (1965 г.).

В романе «Ульяновы» Владимир Канивец подробно рассказывает о всей семье Ульяновых: об отце В. И. Ленина, Илье Николаевиче, передовом человеке своего времени, энтузиасте народного просвещения; о стойкости, самоотверженности матери — Марии Александровны; о старшем брате В. И. Ленина, Александре, несгибаемом борце с самодержавием.

Правдиво рисует автор обстановку, моральный дух, господствовавший в семье Ульяновых. Илья Николаевич и Мария Александровна привили своим детям высокие гражданские и человеческие качества, заронили в их сердца глубокое сочувствие к обездоленным трудовым людям, чувство протеста против социальной несправедливости. Эти черты характера Александра и Владимира Ульяновых были присущи им уже в ранней юности. Необычайную твердость духа, выдержку проявляет молодой Владимир Ильич в горькие для всей семьи дни суда над Александром Ульяновым и его казни.

Роман В. Канивца «Ульяновы» удостоен Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1



олстый бородатый сторож гимназии, распахнув двери во двор, долго и сердито тарабанил звонком, но ученики не торопились на уроки.

— Вот нечистые души,— сердился сторож.— Точно оглохли...

День выдался солнечный, теплый. С крыш домов, с башен кремля весело и звонко била капель. По обочинам мостовых, прорезая грязный снег, журчали первые весенние ручьи. На набережной Волги толпился народ: лед на реке потрескался и, казалось, вот-вот начнет ломаться. Среди толпы проворно шныряли гимназисты в одних мундирчиках (до конца занятий им не выдавали шинелей). Гимназисты мерзли здесь не потому, что боялись прозевать ледоход. Их гнало другое: заканчивалась четверть, и учителя вызывали всех подряд, выставляя отметки.

Илья Николаевич жил со своей семьей в доме гимназии и мог на переменах забегать домой. В окно он видел, как ученики прячутся в толпе на набережной, как неохотно плетутся на уроки, и потому не спешил в класс. Сегодня он провел уже пять уроков и сильно устал. Отдохнуть бы, да нельзя: во второй половине дня предстояло еще высидеть несколько часов на педагогическом совете. А вечером — уроки планиметрии на землемерно-таксаторских курсах. Завтра воскресенье, но придется весь день провозиться с отстающими учениками. Без этого нечего и думать успешно закончить четверть. Так что домой Илье Николаевичу удавалось наведаться только в перерывах. Мария Александ-

ровна была уже на сносях, а ему даже в воскресенье не удавалось побыть с ней. Но вывести кому-нибудь двойку в четверти и на том успокоиться — не в его характере. Мария Александровна знала это. Она не только не упрекала мужа, но всячески старалась устроить так, чтобы ему работалось спокойно.

— Ступай, а то опоздаешь на урок,— сказала Мария Александровна, когда звонок угомонился.— Я одна уложу Аню спать.

Взяла Аню — девочка уже задремала на руках отца — и вдруг охнула, присела. Илья Николаевич осторожно подхватил ее, взял девочку, с беспокойством спросил:

— Тебе плохо?

— Мамуся, у тебя что-то болит? — спросила и Аня, сонно моргая.

— Нет... ничего...— улыбнулась, пересиливая себя, Мария Александровна.— Ступай спать...

Илья Николаевич отнес Аню в постельку и, возвратясь, помог жене перейти в ее комнату. Когда Мария Александровна прилегла на кровать и облегченно вздохнула, он сказал:

— Тебе, Машенька, нужно, пожалуй, побольше лежать...

— Но доктор советует ходить. И отец опять об этом пишет.

— От Александра Дмитриевича пришло письмо?

— Да. Только что принесли.

— Ну, как ему в Кокушкине живется? Тоскливо одному?

— Об этом он, как всегда, ничего не пишет. Спрашивает, не нужно ли приехать. Беспокоится, что здесь у нас — ему кто-то сказал — нет толковых акушеров.

— Это он напрасно. Серафим Петрович Гацисский — прекрасный акушер. Может, позвать его?

— Не нужно... Так уже было.— Мария Александровна улыбнулась одними губами, проговорила совсем тихо, как бы про себя: — Разве так еще будет... Иди, иди, ты уже опаздываешь...

Не хотелось Илье Николаевичу оставлять жену, но он не мог пропустить урок, еще многих учеников предстояло вызвать. Поцеловал руку Марии Александровне, зная, что это успокаивает ее лучше всяких сочувственных слов, взял классный журнал и пошел. В дверях остановился, как бы

раздумывая: не возвратиться ли? Увидев, что Мария Александровна спокойно улыбается, осторожно прикрыл дверь.

Был урок математики в шестом классе. Когда Илья Николаевич появился на пороге, гимназисты, как по команде, замолчали и поднялись. Он внимательно оглядел класс и махнул рукой: садитесь, мол. Положил журнал на кафедру, прошелся между рядами, заставляя гимназистов прятать под парты все лишнее. Осмотрев класс, взял журнал и присел на одну из парт (Илья Николаевич не любил вести урок с кафедры). Развернув журнал, долго что-то разглядывал в нем, а гимназисты, затаив дыхание, следили за каждым его жестом. Кого вызовет? Илья Николаевич знал, как благотворно действуют на учеников те минуты, когда они ждут, кого вызовут к доске, а потому и не спешил называть фамилию, хотя еще на прошлом уроке пометил чуть заметными точками тех, кого следовало спросить. И только после того, как почувствовал, что ученики не только внешне, но и внутренне успокоились, забыли о том, что их волновало в перемену, и думают об уроке, тихо сказал:

— Миневрин! — Илья Николаевич не выговаривал букву «р», и у него вышло: «Минев'ин».— Пожалуйте к доске.

Гимназисты задвигались на партах. Среди общего облегченного вздоха — слава богу, не меня! — послышалось неловкое покашливание. Все, улыбаясь, оглядываются на последние ряды парт, зная, что означает этот затяжной приступ кашля. Миневрин, рослый, плечистый, притворно закашлявшись, ерзает на месте, словно прилип к парте и никак не может оторваться от нее. Наконец поднимается, чешет затылок, бормочет ломким баском:

— Я, Илья Николаевич, того... Я сегодня это... не могу...

Доброе, всегда озаренное внутренним светом скуластое лицо Ильи Николаевича становится грустным. Ему стыдно за Миневрина, который уже не в первый раз так отвечает. Илья Николаевич трет ладонью высокий лоб, поправляет длинные волосы. Печально вздыхает, словно это он виноват в том, что Миневрин не приготовил урока. Гимназист еще ниже опускает голову: виноват, мол, каюсь.

Миневрин — лодырь. Илья Николаевич хорошо знает это. Но всякий раз, когда тот не может ответить урок, он

бывает так огорчен, точно с Миневриным это случилось впервые. Не бранит его, не напоминает о том, что и в прошлый раз было то же самое, а только спрашивает, не с упреком, а с грустью:

— Как же это вы так?

— Простите, Илья Николаевич,— бубнит Миневрин,— на следующем уроке я...

Илья Николаевич встал, медленно прошелся по классу, как бы желая успокоиться. Потом сел, сокрушенно сказав:

— Ну, садитесь. Ставлю вам точку...

— Спасибо, Илья Николаевич,— обрадованно забасил Миневрин.— Я... того...

— Но в следующий раз и старый материал спрошу,— деликатно предупредил Илья Николаевич, ставя в нижнем углу журнала точечку.— Так что попрошу вас хорошенько подготовиться...

— Не беспокойтесь! — заверил Миневрин, впервые взглянув в глаза Илье Николаевичу.— Я все выучу...

Илья Николаевич долго изучает пометки в клеточках журнала — их больше против фамилий тех, кто плохо учится,— но вызывает отличника Цыганкова. С этим любимцем Ильи Николаевича недавно случилась беда: инспектор поймал его с папиросой, пришлось посидеть в карцере. Илье Николаевичу хотелось подбодрить Цыганкова, и он вызвал его, в уверенности, что тот, даже отсидев неделю в карцере, не отстал. Цыганков живо, четко отвечал на вопросы, быстро решал задачи. Илья Николаевич сиял, не мог спокойно усидеть на месте. Он то с одного, то с другого бока подходил к гимназисту и, обхватив рукой подбородок, пристально следил, как тот уверенно выстукивает мелом на доске рядок цифр. Довольно поглядывал на класс: смотрите, мол, какой молодец! А когда Цыганков поставил последнюю точку, Илья Николаевич сказал с радостной улыбкой:

— Отлично! Садитесь, Цыганков. Очень, очень рад за вас! Отлично! — еще раз торопливо повторил он, садясь за парту, точно ему не терпелось поставить в журнал это «отлично».

Следовало бы вызвать еще нескольких учеников, но не хотелось портить хорошее настроение, и он начал объяснять новый урок.

2

В Нижнем Новгороде Ульяновы жили уже третий год. До этого Илья Николаевич почти восемь лет учительствовал в Пензе.

Илья Николаевич закончил в 1854 году физико-математический факультет Казанского университета, как было отмечено в дипломе, «из главных предметов с успехами отличными». Он написал диссертацию на тему: «Способ Ольберса и его применение к определению орбиты кометы Клинкерфюса». Профессор астрономии Ковальский писал: эта научная работа «показывает, что г-н Ульянов постиг сущность астрономических вычислений, которые, как известно, весьма часто требуют особых соображений и приемов». И такой вывод сделал: «Это сочинение я считаю вполне соответствующим степени кандидата математических наук».

Ученый совет факультета присвоил Илье Николаевичу звание кандидата математических наук.

Это была большая победа. Ведь Илья Николаевич первым в семье Ульяновых получил высшее образование. И достиг этого он только благодаря своей настойчивости, неутомимому трудолюбию. Отец умер, когда Илье было всего семь лет. Мать ничем не могла помочь: она и сама была на попечении старшего сына Василия. Брат Василий относился к Илье, как к своему сыну, и щедро делился с ним всем, что у него было. Но это были жалкие копейки, потому что зарабатывал брат мало — служил объездчиком на соляных промыслах купцов Сапожниковых,— а прокормить нужно было мать, тетку, младшую сестру. Поскольку Илья Николаевич закончил гимназию с серебряной медалью — это была первая медаль в истории Астраханской гимназии,— то директор ходатайствовал о том, чтобы ему, как лучшему ученику и сироте, дали стипендию. Но ректор университета отказал: стипендии, мол, существуют для детей дворян, а не мещан. Вот и пришлось Илье Николаевичу, пока не закончил университета, зарабатывать на кусок хлеба частными уроками.

Теперь, казалось, трудности позади: университет закончен, впереди самостоятельная работа. Но складывалось не так, как думалось. Почти год Илья Николаевич не мог получить должность учителя. Пришлось опять, как и при

поступлении в университет, обращаться за помощью к профессору Лобачевскому, помощнику попечителя Казанского учебного округа.

Николай Иванович Лобачевский приветливо принял молодого кандидата. Внимательно выслушал, обещал помочь. И слово свое, как всегда, сдержал: вскоре уведомил Илью Николаевича, что в Пензенском дворянском институте имеется вакантная должность преподавателя физики и математики. Но прежде чем занять ее, нужно пройти испытания в комитете, который экзаменовал кандидатов в учителя. Пятого января 1855 года «произведено было,— как отмечалось в протоколе,— испытание ищущему место старшего учителя математики и физики в гимназии кандидату Ульянову, который читал пробную лекцию: 1) из математики: аналитическое изложение конических сечений — ясно и основательно, 2) из физики: о лучистом водороде — удовлетворительно...».

Комитет признал кандидата Ульянова пригодным преподавать математику, но не физику.

Но оказалось, что и место преподавателя математики он не может получить, пока не будут распределены по гимназиям сынки дворян — выпускники Главного педагогического института. Однако Илья Николаевич не пал духом, а взялся за книги. Двадцать первого апреля он снова предстал перед комитетской комиссией и сдал испытания по физике. Профессор Лобачевский, получив все эти документы, обратился к министру народного образования, прося его назначить кандидата Ульянова в Пензенский дворянский институт учителем математики и физики. А Илье Николаевичу просил передать, чтобы он, перед выездом в Пензу, зашел к нему. И как только Илья Николаевич собрался в дорогу — это было в конце мая,— он отправился к своему учителю и благодетелю. Не знал тогда, что больше никогда уже не увидит его...

Профессор Лобачевский всю жизнь напряженно трудился над созданием своей гениальной неэвклидовой геометрии. Каждый день у него был расписан с точностью до минуты. Сам Лобачевский никогда не опаздывал на лекции и очень сердился, когда это делали другие. И если назначал время приема, тоже не допускал, чтобы посетитель ожидал его хотя бы минуту. Илья Николаевич хорошо знал эту черту старого профессора, а потому явился на

прием раньше назначенного времени. Собирался подождать в приемной. Но не успел сесть, как из кабинета вышел секретарь и сказал:

— Господин Ульянов, профессор вас просит...

Готовясь к этой встрече, Илья Николаевич даже набросал несколько вариантов того, что ему хотелось сказать своему обожаемому учителю. Ведь именно Лобачевский помог ему поступить в университет. Хотя Илья Николаевич хорошо сдал экзамены, его не зачисляли в университет, потому что астраханская городская дума не выдавала свидетельства о том, что он уволен из мещанского сословия. Не подобает, мол, нищему мещанину, да еще сироте, лезть в университет. Наши дети не сироты и то сидят дома и никуда не суются. Если бы Лобачевский не разрешил посещать лекции без справки — а эта справка считалась обязательной! — то, пожалуй, пришлось бы Илье возвращаться домой, распрощавшись с мечтой о высшем образовании. И теперь хотелось сказать этому человеку что-то особенное. Притом без славословия, чего Лобачевский не терпел, а разумно, сдержанно.

— Очень рад за вас, мой юный коллега! — хриплым голосом проговорил профессор, с трудом поднявшись с кресла и протягивая руку секретарю, а не Илье Николаевичу.

Увидел это Илья Николаевич, и сердце его болезненно сжалось, из головы мигом вылетели все фразы, какие он приготовился сказать. Значит, правду говорят: профессор почти ничего уже не видит. Секретарь представил Илью Николаевича, и тот кинулся к любимому учителю, бережно пожал его старческую, сухую, но еще крепкую руку. Лобачевский пригласил садиться, опустился в кресло сам и долго не мог сдержать кашель. Илья Николаевич смотрел на его большое, всегда сосредоточенно-строгое лицо — худое и болезненно-желтое, на широкий лоб, на запавшие, тусклые, темно-серые глаза, на сурово сведенные дуги бровей, слышал, как он тяжело дышит, и слезы клубком подступали к горлу. Родной отец не сделал для Ильи Николаевича так много, как этот суровый на вид, но бесконечно добрый человек. Илья Николаевич еще острее чувствовал свою вину — ведь он беспокоил своими просьбами больного. Он встал и начал благодарить, но профессор оборвал его так же сурово, как это делал на экзаменах, когда студент говорил не то, что нужно:

— Оставьте! И садитесь, пожалуйста. Не забывайте, что вы уже не студент, а старший учитель института.— Сердито нахмуренные брови Николая Ивановича зашевелились и слегка разошлись, отчего лицо его вмиг посветлело.— Привыкайте к тому, что теперь перед вами будут вставать ученики... Ну, так вот,— переведя дыхание, продолжал он.— Пригласил я вас, мой юный коллега, по важному делу. При Пензенском институте существует хорошо оборудованная метеорологическая станция, а наблюдения вести некому. Учитель математики Панов, которому это поручили, как сообщает мне профессор Савельев, присылает таблицы, полные курьезов. Если верить Панову, в два часа дня термометр в тени показывает почти на пять градусов больше, чем на солнце. Тут чувствуется не просто незнание дела, а и легкомысленное отношение к нему. И причина тут одна: эту кропотливую работу приходится выполнять без всякого вознаграждения...— Подавив приступ кашля, Николай Иванович продолжил: — Я предлагаю вам, господин Ульянов, взять на себя заведование метеорологической станцией.

— Господин профессор, это для меня большая честь! — с искренней радостью ответил Илья Николаевич.

— Вы, насколько мне известно, занимались метеорологическими наблюдениями при обсерватории университета... Под руководством профессора Савельева.

— Да.

— И чувствуете себя подготовленным самостоятельно вести наблюдения?

— Нет. Мне нужно еще много учиться.

— Хорошо,— едва сдерживая приступ кашля, отчего набухла жила на лбу и побагровело лицо, говорил Николай Иванович.— Я вижу, профессор Савельев прав: у вас есть желание вести эту очень нужную для науки работу. Нынче же зайдите к нему. Он даст необходимые инструкции.— Николай Иванович долго не мог сдержать кашля.— И вот что я вам хочу сказать, мой юный коллега,— заговорил он, отдышавшись,— не ограничивайте себя рамками узколобых учебников, инструкций и программ. Продолжайте глубоко и основательно изучать науку. Я говорил об этом, писал и не перестану повторять до конца дней своих: всегда помните, что человек рожден быть владыкой, царем природы. Но мудрость, с какою человек должен править

всем со своего наследственного трона, не дается ему от рождения. Мудрость эта приобретается наукой. Теперь это вы должны не только понимать сами, а прививать своим ученикам.

— Я сделаю все, что в моих силах! — как клятву, произнес Илья Николаевич.

Старик Лобачевский уловил в тоне Ильи Николаевича неподдельную искренность, и его густые, седые брови широко разошлись. На резко очерченных губах появилась довольная улыбка. Опираясь на подлокотники кресла, он тяжело поднялся — рослый, слегка сутулый — и подал руку Илье Николаевичу.

— Позвольте пожелать вам, мой юный коллега, успехов в вашем нелегком труде. Возлагаю большие надежды на то, что вы наведете порядок на метеорологической станции. А сведения, какие вы добудете своим скромным, бескорыстным трудом, пригодятся и нынешней науке, а наипаче — науке грядущей. Всегда помните об этом. И пусть эта мысль будет опорой и поддержкой вам в самые трудные минуты жизни! — торжественно закончил профессор.

Окрыленный, с сердцем, полным радости, ушел Илья Николаевич от своего учителя. Но к этой светлой радости примешивалась и грусть: слаб, ох как слаб старик... И почти ничего не видит. Тяжело дышит, осунулся, одряхлел за последний год. Но не поддается недугу — трудится. Могучий разум и не менее могучий дух в ослабевшем теле. Вот у кого нужно учиться жить и работать!..

Метеорологические наблюдения в Пензе Илья Николаевич вел восемь лет. Очень аккуратно и точно. Даже во время болезни не прекращал работы. Его материалы были использованы в статьях и книгах многих ученых. Но Лобачевскому не пришлось порадоваться успехам своего ученика: в феврале 1856 года — меньше чем через год — он скончался от паралича легких...

3

Уроки закончились. Илья Николаевич собрался было идти домой, его очень беспокоило, как чувствует себя жена. Но директор гимназии Садоков остановил его:

— Илья Николаевич, так вы не задержитесь.

— А что такое?

— Ведь сегодня объединенное заседание педагогического совета.

— Простите, Константин Иванович,— устало присаживаясь к столу, проговорил Илья Николаевич,— весь день думал об этом и вот... забыл...

— До начала еще полчаса. Успеете пообедать.

— Это верно,— смущенный своей забывчивостью, тихо сказал Илья Николаевич.— Благодарю вас...

— У вас какие-нибудь неприятности? —спросил Садоков, когда Илья Николаевич уже взялся за ручку двери.

— Нет... Я просто устал...

Наскоро пообедав, Илья Николаевич прошел в свой кабинет и прилег на диване. Мария Александровна, убрав со стола, зашла к нему. За обедом ей не хотелось расспрашивать мужа, что ему испортило настроение. Быть может, рассердился на нее за то, что она не слушается его советов? Мария Александровна села рядом, взяла мужа за руку, спросила, заглядывая в глаза:

— Это из-за меня ты так расстроился?

— Что ты, Маша! — всполошился Илья Николаевич.— Как ты могла это подумать? Настроение испортило мне совсем другое: вот сейчас нужно идти на заседание педагогического совета. А мне просто неохота слушать бессмысленную болтовню интригана Розинга. И вообще у меня с ним... Неприятно это. Противно...

— А ты не ходи.

— Нынче не пойду, так завтра придется идти. Нет, пока я здесь служу — деваться некуда: нужно ходить. Да и не хочу я, чтобы Розинг подумал, будто я поступился своими принципами. Держался и буду держаться своего мнения: не шпионством и недоверием, не арестами и розгами нужно прививать ученикам любовь к науке, а уважением к их человеческому достоинству...

Заседания объединенного педагогического совета — гимназии и дворянского института — происходили в помещении гимназии. А созывались они, как правило, по требованию директора института Розинга. Он определял и круг вопросов, с его точки зрения настолько важных, что они требовали «единомыслия». На этот раз предлагалось обсудить такой, по мнению Розинга, необычайно важный вопрос: «Могут ли ученики гимназии участвовать в благотворительных спектаклях?»

— Господа! — первым начал Розинг.— Я хочу сказать несколько слов по этому очень важному вопросу...

Долго и нудно говорил Розинг о том, что гимназистов повсюду подстерегают враги престола; что это они — нигилисты — и спектакли устраивают, а собранные средства употребляют на пропаганду своих «мерзостных дел». Принимая участие в подобных спектаклях, неопытные гимназисты и заражаются всяческими зловредными ересями. А после, придя в класс, распространяют эту чуму по всему институту, по всей гимназии...

Везде и всюду Розингу мерещилась крамола. Илья Николаевич слушал его и не мог понять: действительно ли Розинг верит в то, что говорит, или только поднимает шум ради того, чтобы показать начальству, как зорко блюдет он нравственность своих воспитанников? Пожалуй, последнее. Будь у Розинга власть, он все классы своего института превратил бы в карцеры и там проводил бы «обучение».

Не успел сесть Розинг, как учителя института начали петь ему дифирамбы.

— Нельзя допускать,— желчно, раздраженно говорил преподаватель латинского языка Никольский,— чтобы наши воспитанники делали, что им вздумается. Нужно строго-настрого запретить им участвовать в спектаклях...

Законоучитель, протоиерей Востоков сказал даже, что за решение такого важного вопроса не грех бы отслужить благодарственный молебен. Илья Николаевич, услыхав это, еле удержался от смеха. Он нагнулся к своему другу, преподавателю русского языка Мальцеву, шепнул:

— Как вам это нравится, Михаил Павлович?

— Святый, святый Розинг... Ну, молчу. Он уже на нас посматривает...

Когда все верноподданные Розинга высказались, наступило тяжелое молчание. Садоков, вспомнив, что сегодня он председательствует, заговорил с подчеркнутой любезностью:

— Господа, пожалуйста, кому еще угодно высказать свои соображения?

Желающих выступать не было.

— Господа, позвольте просить вас не задерживать хода обсуждения предложенного вашему вниманию столь важного вопроса.

Все молчали.

— Господа, очень прошу вас, не принуждайте меня, как председательствующего, применить крайнюю меру: приступить к поименному опросу. Разумеется, весьма огорчительно будет, если мне придется это сделать, но, простите великодушно, вопрос настолько важен, что мы должны знать мнение каждого члена совета.

Илья Николаевич не хотел выступать, считая, что вопрос не стоит того, чтобы тратить время на его обсуждение. Но, увидев, что все не согласные с Розингом молчат, боясь навлечь на себя его гнев, решил высказать свое мнение. Знал: то, что он скажет, не понравится Розингу, но пойти против своей совести не мог. Нарушив общее молчание, отозвался:

— Позвольте мне, Константин Иванович, сказать несколько слов...

— Сделайте одолжение, Илья Николаевич! — обрадовался Садоков.— Прошу вас, прошу...

— Простите, господа,— начал тихим голосом Илья Николаевич.— Я, откровенно признаюсь, не вижу опасности в том, что наши воспитанники будут участвовать в любительских спектаклях. Более того! — повысив голос, продолжал он, увидев, что Розинг сердито заерзал в кресле.— Я считаю, что это занятие отвлечет их от бесцельного хождения по улицам. Выступая перед публикой, наши воспитанники научатся больше внимания обращать на свои манеры, к чему мы, господа, как вам известно, постоянно, но — к сожалению! — без особенного успеха призываем их...— Илья Николаевич помолчал немного и закончил, заметив, что Розинг вот-вот начнет перебивать его:— Я мог бы немало других соображений привести в защиту своей мысли, но не стану утомлять вас, господа, а скажу коротко: я не могу подать свой голос за запрещение.

— Господин Ульянов! — с раздражением выкрикнул Розинг.— Вы забыли, что это запрещение необходимо для защиты от крамольных влияний!

Илья Николаевич сделал вид, что не расслышал грозной реплики Розинга, поправил руками свои длинные волосы и сел. Розинг, забыв попросить слова у Садокова, разразился длинной речью, полной угроз по адресу крамольников и тех — тут он кинул выразительный взгляд на Илью Николаевича,— кто их поддерживает. За Розингом, как по команде, опять начали выступать один за другим

все его подручные. Обсуждение продолжалось семь часов, но педагогический совет так и не пришел к согласию. Тогда Розинг встал и объявил, что он своей властью запретит воспитанникам института участвовать в спектаклях.

— А о гимназии придется подумать! — заключил он, подчеркивая этим, что на нем лежит ответственность и за гимназию.— Прошу внести это в протокол.

Илья Николаевич думал, что директор гимназии скажет свое слово. Но тот молчал. Садоков видел, что учителя гимназии — кроме священника Востокова и еще нескольких, которые, как и Востоков, преподавали и в институте,— против Розинга. Он и сам понимал бессмысленность этой полицейской меры, в душе был согласен с Ильей Николаевичем. Но не решался возразить Розингу.

Неудобно было идти и против своих подчиненных. А поэтому он предпочел сказать, что, поскольку мнения разошлись, придется, по-видимому, возвратиться еще раз к этому столь важному вопросу. Через несколько дней начнутся весенние каникулы, и к этому времени — ему очень хочется верить в это — члены педагогического совета, всесторонне взвесив все, примут нужное решение.

Когда уже расходились, Розинг, который считал, что только Илья Николаевич виноват во всем, сказал:

— Вам, господин Ульянов, я советовал бы хорошенько подумать о том, что вы говорили!

И в этом слышалось: вы еще не раз пожалеете, что осмелились возражать мне. Илья Николаевич, как и на педагогическом совете, не стал спорить с Розингом. Но сердце у него неприятно защемило: знал ведь, с каким дураком связывается, так не лучше ли было, по примеру других, попросту промолчать? Но он тут же устыдился своего запоздалого раскаяния.

Да, Розинг будет мстить ему. Но он ведь и прежде это делал. Пожалуй, только и переменится, что тогда он мстил тайно, а теперь будет делать это открыто.

В Нижний Новгород Илья Николаевич перевелся по приглашению директора гимназии Тимофеева. Илья Николаевич был учеником Тимофеева, когда тот преподавал в Астраханской гимназии, а после они вместе учительствовали в Пензе. Тимофеев был высокого мнения об Илье Николаевиче, как педагоге, и, приняв Нижегородскую гимназию, пригласил его к себе. Но работать со своим учителем,

человеком умным и демократичным, Илье Николаевичу довелось недолго. Тимофееву был подчинен и дворянский институт. А этого места давно уже добивался инспектор Розинг, невежда и скандалист, не брезговавший даже доносами, лишь бы добиться своего. Увидев, что должность, на которую он так давно зарился, отдана Тимофееву, Розинг принялся рассылать кляузы и доносы во все инстанции. Поклепы этого интригана были настолько очевидны, что даже отъявленный реакционер попечитель Казанского учебного округа Шестаков уволил его из института. Министр это утвердил. В распоряжении по округу говорилось, что человек, подобный Розингу, «не может и не должен быть воспитателем». И что же? Ровно через месяц Розинга назначают директором того же самого дворянского института, откуда его только что с позором выставили. И кто же проявил такую милость? Сам царь Александр II! Все только ахнули и руками развели. Как было не поверить после этого, что Розинг — друг царя?

Помимо занятий в гимназии, Илья Николаевич преподавал на землемерно-таксаторских курсах и в первом женском училище. Был еще и воспитателем в пансионе дворянского института. Но как только Розинг взял управление институтом в свои грязные руки, Илья Николаевич немедленно подал просьбу — освободить его от обязанностей воспитателя. Кроме антипатии к Розингу, была еще одна причина. Если при Тимофееве воспитатели действительно занимались воспитанием, то Розинг в первый же день заявил:

— Мне сам государь поручил воспитание детей дворян, и я обязан знать, как они живут, чем дышат. Я буду требовать от вас, господа воспитатели, рапортов о каждом вашем шаге.

Поскольку за Тимофеевым не числилось никакой вины, ему дали должность инспектора учебного округа. Формально это было повышением, а на самом деле — отстранением от воспитательской деятельности, которой он посвятил столько лет и сил. Обязанности директора Нижегородской гимназии были возложены на Садокова, который засиделся в инспекторах,— эту должность он много лет занимал в том же Пензенском дворянском институте, где учительствовал Илья Николаевич, и, ясное дело, рад был подняться хотя бы еще на одну ступень служебной лестницы. Сделать

это, проявив самостоятельность, нельзя было: Розинг мигом устранил бы его. И Садоков решил: пускай Розинг распоряжается как ему угодно, лишь бы самому получить место директора. Это целиком устраивало Розинга, и Садоков был утвержден директором гимназии. Усевшись в директорское кресло, Константин Иванович попытался было — очень робко — проявить некоторую самостоятельность, но из этого ничего не вышло: Розинг крепко держал все в своих руках.

Илью Николаевича Садоков знал много лет по совместной работе. Ценил его как педагога. Садокову не хотелось отпускать его из гимназии. А Розинг сердито говорил:

— У господина Ульянова мухи в носу завелись! Вы преступно либеральничаете с ним!

Из-за Ульянова отношения Садокова с Розингом настолько обострились, что он внутренне уже соглашался уволить Илью Николаевича, однако было одно «но»... Тимофеев, как инспектор округа, ни за что не дал бы согласия на увольнение Ульянова из гимназии без всяких на то оснований. А Илья Николаевич преподавал и вел себя так, что придраться к нему было трудно. «Ну и задача,— нередко думал Садоков после очередной стычки с Розингом.— Голова кругом идет, а выхода никак не найду. Нужно, нужно что-то придумать...»

Хотя Илья Николаевич и не знал этих директорских планов, но по тому, как переменился к нему Садоков, чувствовал: он что-то замышляет.

4

Жизнь в гимназии замерла: все разъехались на вакации. Однако Илья Николаевич по-прежнему вставал за час до первого звонка и выходил пройтись на кремлевский бульвар. Но, возвратясь с прогулки, шел не на уроки, а в комнату жены: приближалось событие, которое не давало ему покоя все эти дни. Он очень рад был, что наступили каникулы и можно побыть возле жены в это трудное для нее время. Старался отвлекать ее внимание от тех мыслей, какие беспокоят всех женщин накануне родов. Марии Александровне было приятно это внимание, и на ее пожелтевшем лице выражение тревоги и беспомощности часто сменялось ласковой улыбкой.

Прежде чем войти в комнату жены, Илья Николаевич минуты две-три постоял у двери, стараясь угадать — спит она или нет. Знал: последние ночи она засыпала только на рассвете. Достаточно было скрипнуть дверью, как она просыпалась. А после никак не могла заснуть. Но не успел Илья Николаевич дотронуться до двери, как услышал тихий голос жены:

— Илюша, я не сплю...

— И всю ночь не спала? — спросил, входя, Илья Николаевич. Осторожно присел возле жены, поцеловал ее руку с болезненно-синими, четко прочерченными жилками.

Мария Александровна вздохнула.

— Что ж ты не позвала меня? Я до четырех часов читал,— сказал Илья Николаевич и смутился. Ему стало совестно: жену целую ночь бессонница мучила, а он, забыв обо всем, читал журнал.

Мария Александровна заметила смущение мужа, догадалась о причине и сказала, чтобы успокоить его:

— Я хотела позвать, да все думалось: вот-вот засну...

— А я боялся зайти, чтобы не разбудить...— Илья Николаевич поймал взгляд жены и по выражению ее глаз понял, как беспокойно у нее на душе. Но все-таки спросил, опасаясь, как бы она не обиделась, что он не интересуется состоянием ее здоровья: — Ну, а как ты, Машенька, вообще чувствуешь себя?

Слово «вообще» Илья Николаевич выделил, и жена поняла, о чем он спрашивает. Она видела — он прочитал в ее глазах все, что творилось у нее в душе. Но ей приятно было, что он спросил об этом. Не хотелось ни обманывать его, ни огорчать. Зажмурившись, долго молчала, потом ответила чуть слышно, что чувствует себя хорошо. Хотела даже улыбнуться, но улыбка не получилась, и она, облизнув сухие, потрескавшиеся губы, снова закрыла глаза, едва сдерживая вздох.

— Машенька...— начал Илья Николаевич и замолчал, не зная, что сказать.— Ну, даст бог, все пройдет хорошо,— повторил он то, что уже много раз говорил в последнее время, и ему стало стыдно, что даже новых слов не нашлось.

Мария Александровна, не открывая глаз, чуть заметно пожала ему руку.

Илья Николаевич долго сидел возле жены, глядя на си-

нюю, едва пульсирующую жилку на ее маленькой руке, и душу его охватывало какое-то гнетущее чувство. Он уверял себя: «все будет хорошо», но беспокойство не проходило. Порой ему начинало казаться, что это предчувствие какой-то беды, и это еще больше угнетало. Вспоминал, как волновался во время первых родов жены. Тогда тоже лезли в голову всякие мысли, но все обошлось. Ане в августе исполнится уже два года. Первые месяцы она, правда, хворала, а теперь — живая, веселая.

Ждал Илья Николаевич сына, но не говорил об этом жене: боялся, что, если опять родится девочка, они оба будут испытывать неловкость. И разве можно великую тайну рождения человека ставить в зависимость от чьих-то желаний? Хорошо, конечно, если родится сын. Но если на свет появится девочка, он и ей будет очень рад. От Марии Александровны, однако, не укрылось тайное желание мужа — отец всегда за сына! — и она молила бога, чтобы у нее был сын. Она уже и имя подобрала — Александр. Отец ее, Александр Дмитриевич, конечно, будет доволен, если она первенцу-сыну даст его имя. Первенца-девочку назвали в честь матери Ильи Николаевича — Анной. Ведь эти двое стариков — ее отец и свекровь — только и остались в живых. Анна Алексеевна живет в Астрахани со старшим сыном Василием, а Александр Дмитриевич — в деревне Кокушкино. Было у него пять дочерей и сын, да все разъехались кто куда. Тоскливо было старику, но он с суровой сдержанностью переносил свое одиночество. Машенька, отцовская любимица, дольше всех жила при нем, а когда вышла замуж, не переставала звать отца к себе. Но он упрямо повторял свое: «До смерти я и тут дотяну...»

Зашевелилась, закашлялась в своей постельке Аня. Мария Александровна встрепенулась, укоризненно поглядела на Илью Николаевича.

Весь конец марта лил дождь вперемежку со снегом. Аня сидела дома. А первый день вакаций выдался теплый. Марии Александровне трудно было ходить, да и скользко,— и он сам повел Аню гулять. Любимым местом Ани был фонтан на площади. Она часами могла стоять у фонтана и смотреть, как искрится на солнце вода, как размахивают черпаками водовозы, наполняя бочки, как женщины зачерпывают ведрами воду и, взяв их на коромысло, расходятся по городу. Аня завидовала этим женщинам — как

интересно было бы играть ведрами и водой! — и просила отца купить и ей ведра и коромысло. Она тоже будет носить воду. Илья Николаевич, чтобы отвлечь ее внимание, начал рассказывать, что воду сюда, на площадь, качают из Волги паровые машины,— даже повел ее и показал эти машины,— но Аня твердила свое: «Купи мне ведра и коромысло, я тоже буду носить воду».

Над Волгой раздался гудок парохода. Илья Николаевич взял Аню на руки и пошел на набережную. Ему и самому любопытно было взглянуть, что там делается, и хотелось показать Ане «живой» пароход, чтобы она забыла о своей просьбе. От острова к пристани, ломая хрупкий лед, пробивался небольшой пароходик. Он то взбирался на лед, то проваливался, одеваясь клубами пара. Ане казалось тогда, что пароход тонет, и она испуганно вскрикивала, прижимаясь к отцу, а потом радостно смеялась, когда облака пара расходились и пароходик опять, усиленно пыхтя, взбирался на лед. Из степного Заволжья порывами налетал холодный, пронизывающий ветер. Илья Николаевич собрался уже идти домой, но Аня закапризничала: ей очень хотелось увидеть, переберется ли пароходик через реку. Это интересовало не только маленькую Аню, но и взрослых — на набережной толпились люди,— и Илья Николаевич уступил. И хотя он закутал дочку в свое пальто, она все-таки простудилась.

— Посмотри, как она там...— тихо и ласково попросила Мария Александровна, показывая этим, что не сердится на него.

Илья Николаевич прошел в комнату Ани. Она спала. Поправив одеяльце, приложил руку к щеке. Жара, казалось, не было, и он облегченно вздохнул. Пробили стенные часы — свадебный подарок Александра Дмитриевича,— и Илья Николаевич забеспокоился: до звонка оставалось десять минут. Прошел в кабинет, но, взглянув на учебники — они с вечера не были приготовлены и лежали грудой,— вспомнил: на уроки идти не нужно. Присел к столу, не зная, чем бы заняться. Надо бы письма написать в Астрахань и в Кокушкино, но... Лучше подождать, пока все решится. Ведь уже недолго осталось: дня два или три. А может, и того меньше. Он посидел немного за столом, неизвестно зачем переложил с места на место учебники, повертел в руках журнал «Современник», полистал даже

его, пробежал глазами несколько подчеркнутых вчера мест, но мысли, занятые другим, ни на чем не останавливались, и он отбросил журнал. Тяжело было: и работа на ум не шла, и без дела сидеть целый день возле жены как-то неловко. Да и Мария Александровна не позволяла ему этого, отсылала заниматься своими делами. А у него все валилось из рук, как он ни напрягал свою волю. Вот и сейчас сидел в кабинете, не зная, как поступить. Идти к жене — по все уже переговорено... В такие минуты начинал даже жалеть, что нет уроков, там он забывал обо всем, и время проходило быстрее. Обхватил голову руками, положил локти на стол и сидел в каком-то полусне, как вдруг услышал необычайно громкий голос жены:

— Илюша, Илюша, где ты?

«Боже мой! Я, кажется, заснул. Она, должно быть, давно уже зовет меня»,— пронеслось в голове Ильи Николаевича. Кинулся в комнату жены. Взглянул на страдальчески искаженное лицо, и сердце его словно оборвалось. Опустился на колени у изголовья и, боясь прикоснуться к ней, чтобы не причинить боль, зашептал:

— Что, Машенька, что?

— Илюша...— начала Мария Александровна каким-то охрипшим и, как показалось Илье Николаевичу, совсем чужим голосом и замолчала. Лицо ее свела судорога, и сквозь стиснутые зубы прорвался стон.— Илюша, кажется...

— Понимаю, Машенька, понимаю...— поднимаясь, зашептал Илья Николаевич.— Я сейчас, я мигом...

Старейшим акушером города был Серафим Петрович Гацисский. Илья Николаевич дружил с его сыном Александром, который редактировал неофициальную часть газеты «Нижегородские губернские ведомости». Серафим Петрович принимал Аню и, когда Мария Александровна снова забеременела, взял ее под свое наблюдение. Акушер он был опытный, добродушного нрава, и его консультации всегда подбадривали Марию Александровну, вселяли уверенность, что все будет хорошо. Уже своим спокойным видом, ласковой улыбкой полных, широких губ он как бы говорил: «Ну, чего вы волнуетесь? Тысячи подобных случаев встречались в моей практике, и все оканчивались как нельзя лучше. Вот увидите, что я прав. Впрочем, без волнения обойтись при таком чуде, как появление на свет

божий нового человека, невозможно. Это совершенно натурально...»

У Серафима Петровича, как все уверяли, была очень легкая рука: младенцы, которых он принимал, не умирали и не болели. И хотя в городе было еще два акушера, но все старались заполучить только Серафима Петровича. По своей доброте старик никому не мог отказать, а поэтому был занят порой буквально днем и ночью. И не только в самом городе, а и далеко за его пределами. А если уж бывал где-нибудь тяжелый случай, то ехали к нему за сотни верст. Вспомнив все это, Илья Николаевич испугался: а что, если Гацисского нет дома? Почему было с вечера не предупредить его? Да ведь кто же знал...

Запыхавшись — всю дорогу почти бежал,— Илья Николаевич остановился перед домом Гацисских, дернул за шнурок звонка. Долго никто не отзывался. Наконец где-то в доме скрипнула дверь. На пороге появился Александр в халате. У Ильи Николаевича даже сердце замерло: нет, значит, Серафима Петровича!

— Что случилось, Илья Николаевич? — испугался Александр, увидев изменившееся лицо гостя.— Да входите же, ради бога...

— Простите, Александр Серафимович, я к вашему батюшке. Да его, видать, нет дома. Ах, как же это я вчера не зашел...

— Да вы успокойтесь! Отец дома! Он только вчера вернулся из поездки, еще отдыхает. Входите, я сейчас его разбужу...

— Пожалуйста, Александр Серафимович! Мне так неловко, что потревожил вас.

— А я тружусь над своей книгой. В редакции некогда этим заниматься, так я по утрам сижу. Если угодно, пройдите в мой кабинет, полистайте свежие журналы...

— Благодарствуйте! Я тут обожду.

— Ну, как угодно. Я сейчас...

Илья Николаевич был очень смущен, что потревожил старика, не дав ему отдохнуть, и, когда тот вышел к нему, принялся оправдываться:

— Простите великодушно, Серафим Петрович, что разбудил вас...

— Будет вам, Илья Николаевич! — добродушно улы-

баясь, остановил его Серафим Петрович.— Такая уж у меня участь... Ну, что там?

— Кажется...— смущенно повторил Илья Николаевич единственное слово, которое он услышал от жены.

— Ну и прекрасно! Идемте!

Когда вышли на улицу, Серафим Петрович не спросил даже, а скорее высказал то, в чем был убежден:

— Ждете, разумеется, сына?

— Я молю бога лишь об одном: чтобы все обошлось хорошо...— ответил Илья Николаевич.

5

В Пензе Илья Николаевич квартировал у учителя Захарова, где чувствовал себя как дома.

Одну из комнат Захаров сдавал двоюродным братьям-гимназистам — Ишутину и Каракозову. Каракозов был родом из обедневшей дворянской семьи и жил на гроши, которые присылал ему брат, хозяйничавший в усадьбе. У Ишутина не было родных, и он воспитывался в семье Каракозовых. Хотя они жили дружно, но люди были разные. Маленький, подвижной, очень сутулый — его даже дразнили горбуном,— Ишутин был вспыльчив и впечатлителен. Он болезненно откликался на любую несправедливость, постоянно организовывал протесты, спорил, кричал, носился с запрещенными брошюрами. А высокий, худой Митя Каракозов во всем молча поддерживал своего двоюродного брата. После перенесенной в детстве тяжелой болезни Митя был глуховат и, как человек застенчивый, весьма болезненно это переживал. Кто-нибудь нарочно вполголоса произнесет какую-нибудь шутку, чтобы подразнить Митю,— все засмеются, а Митя только густо покраснеет, смущенно замигает глазами. Но если Ишутин так же быстро менял свои решения, как и принимал, то Каракозов, однажды решившись на что-нибудь, спокойно, молча добивался своего, что бы там ни было.

Вокруг Ишутина, как говорило начальство института, постоянно возникали «заговоры». Ядром этих «заговоров» были верные друзья Ишутина — Николай Странден, Петр Ермолов, Дмитрий Юрасов. Они часто собирались в комнате у Ишутина и Каракозова и, бывало, спорили до утра. Часто в этих спорах, когда они касались не института, а

произведений любимых писателей — Чернышевского и Добролюбова, участвовали и Захаров с Ильей Николаевичем. Этим доверием своих учителей молодые люди никогда не злоупотребляли. Как и о чем ни спорили бы у себя на квартире, точно с равными, со своими учителями, но, придя в класс, вели себя с ними, как и все ученики. Захаров, преподававший словесность, не только не призывал своих воспитанников к благоразумию, а всячески поддерживал и разжигал в них бунтарские порывы. В последних классах давал им запрещенную литературу и беседовал с ними уже не как с учениками, а как со своими единомышленниками. Такие же отношения с Ишутиным, Каракозовым и их друзьями были и у Ильи Николаевича, на которого Захаров оказывал большое влияние: у них были общие политические идеалы, усвоенные от великих учителей — Чернышевского, Некрасова, Добролюбова. Илья Николаевич мог часами декламировать наизусть стихи Некрасова, а Добролюбова прямо боготворил: так глубоко проникали в его честную душу все новые и смелые слова великого критика о просвещении народа, о воспитании нового человека.

Годы жизни на квартире у Захарова и идейной дружбы с ним и учителем Логиновым — тоже очень смелым, откровенно революционно настроенным — были самой светлой порой его жизни. Захаров, хотя и увлекающийся, никогда не забывался. Он умел в кругу единомышленников быть одним, а среди чиновников — другим. Но Логинов был начисто лишен чувства осторожности. Говорил, точно топором рубил: всегда то, что думал. Чинуши учителя шарахались от него, как от сумасшедшего, делали вид, что ничего не слышат. А Логинов только вызывающе улыбался, наблюдал, какое впечатление производят его слова на боязливых коллег. Логинову не терпелось публично высказать свои идеи, как он говорил Захарову и Илье Николаевичу,— кинуть бомбу в затхлое болото российской действительности,— и он приготовил речь, с которой собирался выступить на ежегодном акте института: «Очерк сатирического направления русской литературы XVIII века». В Казанском учебном округе, куда послали эту речь, ее разрешили, не усмотрев в ней ничего крамольного. «Общественное мнение,— писал в своем отзыве профессор Григорьев,— нисколько не может быть затронуто резкими выдержками о прошедших предрассудках».

— Илья Николаевич! — радовался Логинов.— Ваша идея оказалась прямо гениальной. Не знаю, как и благодарить вас за то, что вы подсказали мне этот ход.

— Поблагодарите после того, как выступите,— добродушно улыбаясь, отвечал Илья Николаевич.— А пришла мне в голову такая мысль потому, что сам я еще гимназистом писал о сатирическом направлении русской литературы восемнадцатого столетия, намереваясь высказать то, что бродило в моей юной душе, жаждавшей свободы, равенства и братства. Александр Васильевич Тимофеев, который вдохновил меня на этот подвиг, одобрил сочинение и даже, помнится, послал в Казань, где к моей работе отнеслись весьма сдержанно... Жаль, что я уезжаю и не увижу, какое впечатление произведет ваша речь. Но думаю, что не напрасно я рассказывал пензенцам, как устраивать громоотводы: у вас тут что ни слово — громы и молнии...

Илья Николаевич не ошибся: речь Логинова — прочитал он ее двадцать третьего ноября 1863 года, когда Илья Николаевич был уже в Нижнем Новгороде,— произвела на пензенское «светское общество» впечатление внезапно разорвавшейся бомбы.

— Простому смертному нигде не найти правды,— с выразительным жестом в сторону губернатора и его свиты читал Логинов, возвышая голос до гневного крика,— ибо всюду царит самоуправство, тупое презрение к народу, безверие, смешанное с ханжеством и боязнью черта, надменное высокомерие, так легко переходящее в подлость...

Все повскакали с мест, и поднялся такой шум, что Логинову пришлось прекратить чтение своей речи.

В Пензе почти тридцать лет хозяйничал взяточник и казнокрад губернатор Панчулидзев со своей кликой чиновников. Воровство дошло до того, что один становой пристав украл даже... деревянный мост. Но в Петербурге Пензенская губерния пользовалась хорошей репутацией, потому что там, как сообщало начальство в своих докладах, не случилось «ни одной истории». А мир и спокойствие в губернии объяснялись просто: всех до того терроризировала и застращала клика всемогущего Панчулидзева, что никто и пикнуть не смел. И хотя свою речь Логинов прочитал спустя два года после того, как Панчулидзев был разоблачен, все его подручные узнали себя — ведь порядки при новом губернаторе почти не переменились.

Пензенское дворянство страшно возмутилось. Посыпались жалобы, доносы. Педагогическому совету Пензенского дворянского института и профессору Григорьеву, который одобрил эту речь, объявили выговор. Логинова, также со строгим выговором, перевели в Самару, под секретный надзор полиции. Завернув в Нижний Новгород — по пути к месту своего нового назначения,— он, весело улыбаясь, говорил Илье Николаевичу:

— Все обошлось сравнительно легко, а удовлетворение, какое я получил, читая свою речь, останется самой светлой памятью на всю жизнь. Ах, как безмерно жаль, что вас, Илья Николаевич, не было.

— Мне подробно рассказывали, что там происходило. Ваша речь прозвучала на всю Россию...

— Ну, будет вам,— отмахнулся Логинов.— Так уж и на всю Россию...

— Поверьте мне, дорогой друг, если я и преувеличиваю, то не намного. Нет такого учителя в нашей губернии, который не читал бы вашей речи.

— Да откуда они ее берут? Ведь ее не публиковали.

— Откуда-то переписывают. И, как всегда бывает в таких случаях, со многими дополнениями. Один экземпляр вашей речи мы даже у гимназистов отобрали. Но Александр Васильевич Тимофеев, сочувствуя высказанным вами идеям, не стал делать из этого истории, а попросту спрятал рукопись. Если не верите, зайдите к нему, он вам покажет. Кстати, он будет рад увидеться с вами, он очень хорошего о вас мнения...

— Спасибо, Илья Николаевич, на добром слове. Я просился, чтобы меня перевели в Нижний. И Александр Васильевич — вот добрая душа! — согласился меня взять. Но мне сказали: поезжайте туда, куда посылают, а то и вовсе должности не дадим. Приходится ехать в Самару...

Илья Николаевич еще служил в институте, когда уволили его друга Захарова. Генерал-адъютант Огарев, посланный царем в Пензенскую и приволжские губернии «для обнаружения связей и преступных сношений политических агитаторов» с молодежью, установил, что учитель словесности Захаров вносит в воспитание юношества «начала безнравственности». И если Логинова перевели в другой город, то Захарова секретным циркуляром директорам

всех гимназий было запрещено принимать на должность учителя. За резкие протесты были исключены из института почти все лучшие ученики Ильи Николаевича и Захарова: Ишутин, Странден. Такая же участь постигла бы и Каракозова, но он уже окончил курс и поступил в Казанский университет, откуда, впрочем, вскоре был исключен за участие в студенческих волнениях. Только осенью 1863 года ему разрешили слушать лекции. Проучился он в Казани один год и перешел в Московский университет, но не мог платить за учение, и его исключили. Впрочем, были и другие, более важные причины: за два года жизни в деревне Каракозов насмотрелся на тяжелое положение крестьян после объявления так называемой «воли», и его все чаще посещали «крамольные» мысли. Стремление Каракозова горячо разделяли его друзья: Ишутин, Николаев, Странден, Юрасов, Ермолов и Загибалов, они тоже перебрались в Москву и усиленно подготовляли там освобождение из Сибири своего любимого учителя Чернышевского. В это время и повстречался с ними Захаров, хлопотавший о восстановлении в прежних правах. Хотя жалованье его — он занимал должность секретаря питейно-акцизного общества в Нижнем Новгороде — было выше учительского, он не мог примириться с тем, что его принудили стать чиновником.

Долго ходил Владимир Иванович по канцеляриям министерства, но так ничего и не выходил. Приходите завтра, обратитесь к такому-то, к такому-то... Захаров верил чиновникам и ходил, куда его посылали. Не знал, что его имя значится в «черных списках» неблагонадежных, чиновники об этом умалчивали, так как это было бы разглашением государственной тайны, а потому и гоняли из комнаты в комнату. Расчет был простой: надоест человеку пороги обивать — он и уйдет. Так и произошло — истратив все сбережения, Владимир Иванович, проклиная порядки на святой Руси, отправился домой.

Остановился в Москве, чтобы повидаться с бывшими своими учениками. Они встретили его восторженно, угощали чаем и беседами о необходимости решительной борьбы со всеми недугами российской жизни. Говорили Ишутин и Странден, а Каракозов молчал, задумчиво склонив голову. Поскольку Ишутин — а с ним соглашались все его друзья — говорил о необходимости и неизбежности рево-

люции, а Владимир Иванович стоял за разумные реформы, завязался горячий спор.

— Сперва нужно освободить Чернышевского из Сибири,— говорил Ишутин, нетерпеливо шагая по комнате.— Только Николай Гаврилович сможет возглавить революцию! Только его голос звучит, как набатный колокол! К топору нужно звать Русь, Владимир Иванович, а не к куцым реформам. Их было уже много, а что они дали народу? Еще сильнее ободрали его! Нет, только социальная революция может все изменить! И мы обязаны все силы посвятить ее подготовке!

— Каждый сознательный человек,— подал голос и молчавший Каракозов,— обязан все свои силы и все свое достояние отдать в пользу угнетенных. Для себя нужно оставлять лишь столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду.

— Но для такого самопожертвования нужен неслыханный героизм.

— Да. Одними словами ничего не сделаешь. Я давно настаиваю: пора уже от слов переходить к делу...

Возвратясь в Нижний Новгород, Владимир Иванович отправился к Ульяновым, чтобы отвести душу. Илья Николаевич был очень обрадован приходом друга. Всю ночь не спал: роды у Марии Александровны затягивались, и он, видя, как она мучается, был прямо в отчаянии. Не давали покоя невеселые мысли, от которых хотелось избавиться. Да и дела Владимира Ивановича он принимал близко к сердцу, считая, что к тому проявлена черная несправедливость. Хотелось услышать и о столичных новостях. Все важнейшие государственные дела принято было держать в секрете, а это порождало множество таких слухов, что люди не знали даже, чему и верить. Усиленно поговаривали о реформе школ, и похоже было на то, что победят сторонники классического образования,— значит, ученики вместо полезных знаний об окружающем мире будут по-прежнему забивать себе головы зубрежкой латыни и древнегреческого.

— Садитесь, дорогой Владимир Иванович, рассказывайте о своих успехах,— вводя Захарова в кабинет, говорил Илья Николаевич.— Мы с Машей часто, очень часто вспоминаем вас...

— Так вас уже можно поздравить?

— Пока что нет,— вздохнул Илья Николаевич.

— А что? Мария Александровна плохо себя чувствует? — встревожился Владимир Иванович.— Может, я не в пору?

— Да что вы! Не знаю, как и благодарить вас за ваш теперешний приход. После бессонной ночи Маша наконец заснула, а я слоняюсь по квартире как неприкаянный. И прилечь боюсь, и делать ничего не могу. Ну, садитесь же, рассказывайте, как ваши дела?

— Да никак...— развел руками Владимир Иванович, и на его худощавом лице появилась такая беспомощная улыбка, что Илье Николаевичу стало жалко его.

— Гм! — тяжело вздохнул Илья Николаевич. Потер ладонью свой высокий бугристый лоб с приметными залысинами по бокам, спросил: — Хоть объяснение какое-нибудь дали?

— Нет...— На лице Захарова опять появилась та же улыбка.— Но Митя Каракозов, кажется, правильный совет дал: вы, говорит, Владимир Иванович, не обивайте пороги. Все это зря. Уж если посылают из одного места в другое и ничего определенного не говорят, то это верный признак, что вас занесли в «черный список». Как видно, так и есть...

— Ай-яй-яй! — с неподдельным отчаянием воскликнул Илья Николаевич.— И это тогда, когда мы только и говорим о свободе, равенстве и благоденствии для всех! Нет, для меня это непостижимо!

Друзья помолчали. Илья Николаевич, чтобы перевести разговор на другое, спросил:

— Вы наших учеников видели?

— Да.

— Кого?

— Бывших моих квартирантов: Ишутина и Каракозова, Страндена, Юрасова, Ермолова — всех не перечтешь!

— Что ж они — взялись за ум и продолжают ученье?

— Нет.

— А чем же они занимаются?

— Революцию готовят! — с иронической усмешкой сказал Захаров.

— Революцию? — удивился Илья Николаевич.— Да полно вам, Владимир Иванович...

— Правду, истинную правду говорю!

— Э! — махнул рукой Илья Николаевич.— У вас нынче очень веселое настроение. А какие новости в Петербурге?

— Все те же: балы, парады, фейерверки... Насмотрелся я и натерпелся за эти две недели — на всю жизнь хватит. Заехал в Москву, чтобы развеять печаль в кругу друзей,— Владимир Иванович вздохнул,— и там почти со всеми перессорился...

— Да что вы? Это на вас совсем не похоже...

— Я, Илья Николаевич, все больше убеждаюсь: жизнь наша построена на сплошных курьезах. Ну, посудите сами, разве это не курьез: меня отстранили от педагогической деятельности за то, что я революционные идеи ученикам прививал, а эти же самые ученики окрестили меня реакционером!

— Кто же это?

— Ишутин и Каракозов... Вся их компания!

— Даже не либералом, а реакционером? — с мягкой улыбкой переспросил Илья Николаевич.

— Да, реакционером.

— Так это просто... мальчишество. А вообще, Владимир Иванович, смотрю я на нашу молодежь и замечаю: стареем мы. Новое поколение смотрит на нас, как тургеневский Базаров на стариков Кирсановых.

— Нет! — вспыхнул Захаров, и на его худом лице проступили красные пятна: так бывало всегда, когда он начинал волноваться.— Весь их капитал — громкие фразы. К тому же не свои, а вычитанные из всяческих запрещенных брошюрок, где путано, неграмотно излагаются идеи Фурье, Прудона, Оуэна и прочих социалистов. Одно только у них свое: достигнуть социализма они хотят не мирной пропагандой его идей, как советуют их учители, а кровавой революцией! Возглавить такую революцию, по их мнению, может только Чернышевский. А поэтому нужно освободить его из Сибири. На подготовку этого предприятия они и направляют все свои силы.

— А разве Чернышевский дал согласие?

— Я тоже спрашивал их об этом. Они отвечают: если он призывал к революционной борьбе, то обязан возглавить движение народа за социальное преобразование всего общества. Приводили мне десятки цитат из его сочинений в поддержку этих своих выводов. Ну, а Митя Каракозов мол-

чал-молчал, а после такое брякнул, что даже все его друзья перепугались...

Владимир Иванович опасливо покосился на раскрытую дверь кабинета — в коридоре подметала служанка — и замолчал. Илья Николаевич закрыл дверь, но Захаров не возобновил разговора. Илья Николаевич понял — Захаров не хочет ему сказать, что именно «брякнул» Каракозов, и больше не стал спрашивать. Разговор перешел на другие темы. Но и после ухода Захарова Илья Николаевич то и дело спрашивал себя: что же такое опасное «брякнул» молчаливый, замкнутый Митя Каракозов? Вспомнилось, как он постоянно сидел в классе на последней парте и, приложив ладонь к левому уху, внимательно слушал. На переднюю парту, как ни уговаривал его Илья Николаевич, пересаживаться не хотел. За постоянную глубокую задумчивость одноклассники прозвали его Карлом XII. Так, мол, погрузясь в тяжкую думу, сидел Карл XII на поле Полтавской битвы. Каракозов всегда держался в стороне от шумных забав своих товарищей. Дружил только с двоюродным братом Колей Ишутиным, хотя тот был на несколько лет моложе его. Выдающимися способностями Каракозов не отличался, но сердце у него было доброе. Он болезненно переживал, когда с ним поступали несправедливо. Молчаливый, апатичный Митя совершенно менялся, когда задумывал что-нибудь. Это был один из тех характеров, у которых слова не расходятся с делом: слишком долго и пристально обдумывал то, за что брался...

...Пришел Серафим Петрович — взглянуть на Марию Александровну, но она все еще спала. Он не стал будить ее.

— Пускай спит, набирается сил,— сказал он.— А мы, если вы не возражаете, сыграем партийку в шахматы.

— Пожалуйста, пожалуйста...

— Я встретил господина Захарова,— расставляя фигуры, заметил Серафим Петрович,— говорит, у вас был. Но его окликнули, и я не успел расспросить о столичных новостях...

— Все, говорит, по-старому,— уклончиво ответил Илья Николаевич: о чем они беседовали с Захаровым, никогда не передавалось другим.— Ну-с, ход ваш, Серафим Петрович...

Но не успел Серафим Петрович взяться за королевскую пешку, как послышался голос Марии Александровны:

— Илюша!..

Оба встали, но Серафим Петрович остановил Илью Николаевича:

— Я один пойду...

Илья Николаевич вздохнул, сел за столик, и, подперев кулаком подбородок, бездумно глядел на расставленные на шахматной доске фигуры, вздрагивая от малейшего шороха за дверьми. Но слышно было только, как тихо, беззаботно лепечет Аня, играя в своей постельке,— она еще лежала с невысокой температурой,— да размеренно стучат часы. И хотя он отчетливо слышал стук часов, время, казалось, опять остановилось, как уже не раз бывало в эти дни...

6

Мать Марии Александровны умерла, когда девочке было всего три года. На руках у отца осталась большая семья: пять дочерей — Машенька была предпоследней — и сын. И хотя отец был не из тех людей, которые впадают в отчаяние при встрече с житейскими невзгодами, но тут и он растерялся. Один бог знает, как он управился бы с кучей ребятишек, если бы не приехала свояченица — сестра жены, Екатерина Ивановна, и не взяла хозяйство в свои руки. Характер у отца был вспыльчивый, упрямый. Он всегда говорил то, что думал, не уступал, если видел, что правда на его стороне. Начальству это, разумеется, не очень нравилось, и ему часто приходилось менять службу, переезжать с одного места на другое. Екатерине Ивановне это тоже не очень нравилось: только и делай, что упаковывай да распаковывай вещи! Но спорить с Александром Дмитриевичем было невозможно: если он что-нибудь задумывал, то всегда умел настоять на своем. Екатерина Ивановна тоже была не из робких, и между ними частенько происходили, как она выражалась, «милые разговоры».

— Дорогой мой Александр,— всегда одними и теми же словами начинала Екатерина Ивановна очередной «милый разговор». Говорила она подчеркнуто вежливо, но с гневной дрожью в голосе.— У вас нет сердца!

— Вы только теперь это открыли? — поднимая густые брови, спокойно спрашивал Александр Дмитриевич.

— Вы враг своим детям!

— Очень рад от вас это слышать! — Он так спокойно воспринимал и этот удар, что тетка от удивления долго не могла выговорить и слова.

— И еще одно, последнее, должна я вам сказать,— овладев собой, продолжала она.— Если вы не будете считаться с моими принципами воспитания, то вы заставите меня еще раз осиротить несчастных детей...

— Вы покинете нас? — спокойно уточнял Александр Дмитриевич, словно и в самом деле не понимая, о чем она говорит.

— Да! Покину! — с вызовом, подняв голову, подтверждала тетка.— И тогда не просите меня: не вернусь...

— Воля ваша,— отвечал отец, круто вскидывая брови, что было признаком нарастающего гнева.— Я вас не удерживаю...

Ничего более обидного он придумать не мог. Столько лет она нянчила детей — самой маленькой, Соне, было всего два года, когда умерла сестра,— и вот тебе благодарность: «Я вас не удерживаю». Екатерине Ивановне хотелось расплакаться, но она, едва удерживая слезы, продолжала с той же утонченной вежливостью:

— Не забывайте, что девочки тоже уйдут со мной! Да, мы все уйдем от вас, бессердечный человек!

И, словно желая показать, как они уйдут, Екатерина Ивановна, грохнув дверью, выскакивала из кабинета. После такого «милого разговора» она обычно запиралась у себя в комнате. Когда все было уложено, когда девочки, размазывая слезы на красных заплаканных личиках, приходили прощаться с милой тетей, ее прорывало: рыдая, прижимала малюток к груди и... оставалась. А после несколько дней проводила в постели. И не только из-за плохого самочувствия,— хотя и нервное напряжение сказывалось при ее слабом здоровье. А главное — чтобы хоть както досадить «бессердечному». Александр Дмитриевич тоже почти не показывался из своего кабинета, а то и совсем уезжал куда-нибудь — чувствовал себя неловко под осуждающими взглядами детей. Однако просить прощения не спешил, не заходил и в комнату свояченицы, а только посылал ей с детьми разные микстуры и этим еще больше досаждал.

Микстуры были отвратительные, но дети, боясь, что милая тетя умрет, если не будет принимать их, так упра-

шивали, что ей приходилось, жалостно морщась, глотать эти лекарства. Тетка была уверена, что эти ужасные лекарства он нарочно прописывает ей, зная, что она притворяется больной. В этом она убеждалась, выйдя наконец из своей комнаты: он встречал ее так, словно они и не ссорились. «Нет, нет у него сердца,— с горечью думала она.— Ах, бедные детки, что с вами было бы, если бы и я оставила вас...» И давала волю слезам, оплакивала и сиротскую долю детей и свою жизнь. Девочки, глядя на нее, тоже плакали, но тихо-тихо, чтобы отец не услышал, потому что он, воспитывая их в спартанском духе, не любил этого.

— Это все нервы,— говорил Александр Дмитриевич, когда она успокаивалась.— Вам нужно по утрам принимать холодные ванны.

— Спасибо, доктор! — иронически улыбаясь, отвечала Екатерина Ивановна.— Я довольна уже и тем, что вы несчастных деток каждое утро обливаете ледяной водой. Ох, Александр, попомните мои слова — вы этими ужасными процедурами загоните детей в могилу...

Тетка Екатерина получила неплохое образование и старалась свои познания передать детям. Ни учителей, ни гувернанток нанимать не было средств: вся большая семья жила на скромный заработок Александра Дмитриевича. (Перед уходом в отставку он был медицинским инспектором златоустовских госпиталей и получал всего 571 рубль 80 копеек в год.)

Екатерина Ивановна хорошо знала французский, английский и немецкий языки. Александр Дмитриевич не признавал закрытых учебных заведений для девочек. Он говорил — и вполне справедливо,— что во всех этих институтах благородных девиц воспитанниц обучают лишь танцам да охоте на богатых женихов. Как тетка Екатерина ни спорила с ним, он доказывал свое: дома девочки наберутся больше ума, чем в этих институтах. Переубедить его было невозможно. Зато он строго наказывал, если девочки плохо учились.

Ослушаться отца никто не смел, и девочки по целым часам сидели над книжками во всех углах квартиры, готовясь к экзаменам, которые он устраивал. Екатерина Ивановна хорошо знала музыку и научила играть на фортепиано Машеньку, у которой был прекрасный слух. Любовь к музыке Мария Александровна сохранила на всю жизнь.

Александр Дмитриевич, возвратясь из поездки по госпиталям, любил послушать игру своей любимицы, порой даже хвалил ее. А заслужить отцовскую похвалу было нелегко...

Порядок в доме был строгий: дети рано ложились и рано вставали. Летом — купанье, зимой — холодные обтирания. Освобождала от них только болезнь. Даже в те дни, когда отец уезжал из дому, никто не смел нарушить заведенный порядок. Тетка Екатерина только ворчала и старалась сократить продолжительность этих страшных процедур. Зимой и летом девочки ходили в легких платьях с открытой шеей и короткими рукавами. Отец подавал пример тому, как надо закалять себя: в самые лютые морозы он обтирался на улице снегом и носил легкую одежду. Девочки делали все: убирали квартиру, готовили обед, мыли посуду. А когда подросли, то и шили себе все сами.

До двадцати восьми лет жила Мария Александровна с отцом в деревне Кокушкино. Одна. Все сестры ее, даже младшая, Соня, повыходили замуж. Брат рано умер. Из деревни она почти никуда не выезжала. Зимой здесь бывало глухо и тоскливо, а летом шумно: сестры приезжали в Кокушкино отдыхать со своими мужьями и детьми. Мария Александровна, глядя на них, с грустью думала, что ей, пожалуй, не суждено уже обзавестись своей семьей...

В первые годы после отмены крепостного права все только и говорили о необходимости дать народу просвещение. Рассуждали так: свободу дали, теперь нужно просветить народ, и он будет вполне счастлив.

А о том, что крестьянину нужна земля, которой ему не только не дали, а отобрали даже то, что у него было,— считалось неприличным говорить. Особенно в богатых гостиных, где тоже, следуя за модой, говорили, что пришла пора дать образование мужику. Ему и свобода, мол, дана прежде всего затем, чтобы он научился хоть молитвы читать...

Но если другие говорили о необходимости просвещения для народа, платя этим лишь дань моде, то Мария Александровна, своими глазами видевшая, как бедно живет народ, сердцем желала добра всем этим людям. То, что она помогала отцу лечить крестьян — он делал это бесплатно,— уже не удовлетворяло ее. Давно уже она думала под-

готовиться и сдать экзамен на звание учительницы. А отцу хотелось, чтобы она стала врачом. Но у Марии Александровны не лежало сердце к медицине. Конец сомнениям положил муж сестры, Иван Дмитриевич Веретенников, инспектор Пензенского дворянского института. Он не только поддержал Марию Александровну, а и прислал все необходимые для подготовки к экзаменам пособия.

Когда Мария Александровна сказала отцу, что хочет поехать сдавать экзамен на звание учительницы, он воспринял это, как измену медицине.

— Никуда ты не поедешь! — заявил он с резкостью, присущей властным людям.— Я не нуждаюсь в копейках, которые ты заработаешь. Я еще допустил бы, чтобы ты пошла лечить людей, но гувернанткой... Никогда!

— Я хочу быть учительницей, а не гувернанткой! — тихо и спокойно уточнила Мария Александровна.

— Один черт! Ни-ни! Нечего и думать об этом! Начиталась модных статеек о просвещении народа и туда же: учительницей! Да понимаешь ли ты все трудности этой святой миссии? — переходя от гнева к иронии, спрашивал отец.

— Понимаю,— твердо ответила Мария Александровна, выдержав взгляд отца.— Именно потому, что я все хорошо понимаю, я и решила...

— Глупости! — сердито перебил отец.— Не будем больше говорить об этом.

— Да, говорить долго незачем,— спокойно согласилась Мария Александровна.— Через неделю я поеду сдавать экзамены...

Александр Дмитриевич удивленно поднял брови: еще ни разу не было, чтобы дочь так твердо стояла на своем. До сих пор она беспрекословно исполняла все его требования, а тут вдруг проявила упорство. Невольно подумал с гордостью: «Ага, моя натура!» Сердито заглянул в ее глубокие карие глаза и по тому, как она, не моргнув, выдержала его взгляд — такого тоже еще не бывало,— понял: она не уступит. Значит, пришло то, чего он так боялся: Маша решила покинуть его. Ну что ж — это ее право. Она и так немало лет отдала ему, он и так уже злоупотребил ее добротой, ее любовью к нему настолько, что, спасаясь от одиночества, быть может, обрек ее на одинокую жизнь. Давно нужно было заставить ее уехать, а он все тянул, все

ждал, что как-нибудь обойдется: Маша и замуж выйдет, и останется при нем. А вышло вон как...

Он почувствовал себя виноватым. Тяжело поднялся — высокий, сутулый — и, не сказав ни слова, вышел. Его душили слезы, а он этого стыдился. Еще никто, никогда не видел, чтобы он плакал, и не увидит. Один раз в жизни он плакал, когда хоронил жену. И то плакал не на кладбище, а когда всю ночь сидел один у ее гроба. Мария Александровна не пошла за отцом, чтобы успокоить его, как она делала всегда. Она даже не посмотрела ему вслед, а, сжимая пальцами виски, продолжала стоять, точно окаменелая. По всему ее виду заметно было, какого внутреннего напряжения стоил ей разговор с отцом. Поборов свою слабость, Александр Дмитриевич возвратился в комнату и глухо проговорил, не поднимая глаз, чтобы дочь не заметила, что они слегка покраснели:

— Хорошо. Можешь ехать!

— Отец! — виновато и радостно воскликнула Мария Александровна.— Я все понимаю, но...

— Я тоже, дочка, все понимаю, но...— Александр Дмитриевич печально улыбнулся: — Фауст был прав, когда говорил:

День прожит, солнце с вышины
Уходит прочь в другие страны.

Мария Александровна уехала. Экзамены сдала хорошо и получила свидетельство учительницы. Но посвятить себя этому делу ей не пришлось: судьба решила иначе. В Пензе она встретилась с Ильей Николаевичем, полюбила его и вышла замуж. А теперь ждет уже второго ребенка...

7

Третью ночь Илья Николаевич не смыкал глаз. Не выходил из квартиры и Серафим Петрович. У постели Марии Александровны неотлучно дежурила ее подруга Матильда Ивановна Мартынова. Она же взяла все хозяйство в свои маленькие проворные руки. Мария Александровна, чувствуя себя невольно виноватой в том, что из-за нее все эти люди не спят и волнуются, уговаривала их пойти отдохнуть. Илья Николаевич уверял жену, что идет спать,

но только переходил из ее комнаты к себе в кабинет и сидел там, не зажигая свечи, чтобы она думала, будто он отдыхает.

За что бы ни брался Илья Николаевич, стараясь забыться, ему не давало покоя одно: «Неужели я потеряю ее? Бессмысленно! Не может этого быть. Но ведь от родов умирают. И она... Нет, нет, это невозможно. Как я могу даже думать о таком...» Он силился отогнать эти мысли, но они упрямо лезли в голову. Вспоминал, как волновался в ожидании первого ребенка (тогда он не только хотел, а был уверен, что родится сын),— и все прошло хорошо. Правда, тогда она так не мучилась. А теперь вот уже третий день... Но лучше об этом не думать. Спать! Он пытался прилечь, но сон не шел. Хотелось походить — Илья Николаевич всегда ходил, если волновался,— но боялся, что жена услышит его шаги и догадается, что он не спит. Лежал с открытыми глазами и думал о том, что напрасно все-таки не вызвали из Кокушкина ее отца. Ведь Александр Дмитриевич не только терапевт и хирург, но и акушер. Но как его теперь вызовешь? По хорошей санной дороге от Казани до Нижнего Новгорода надо трястись более четырех суток, а по разбитой весенней и за семь не доберешься. Правда, Александр Дмитриевич, как врач, привык к любым дорогам, полжизни провел на колесах, но годы уже не те, чтобы пускаться в подобное путешествие. Нужно было раньше, пока стоял санный путь, вызвать его. Да, но кто же знал, что будут такие осложнения?

Илью Николаевича всегда восхищала выдержка, с какой его жена переносила житейские трудности. Ни паники, ни охов и вздохов по поводу всяких мелочей, как бывает с другими женщинами, он у нее не замечал. Она не только сама умела сдерживаться, а еще и других успокаивала. И не словами, а именно внутренней силой и собранностью своей. Никогда не говорила: «Не волнуйся, успокойся», а как-то умело уводила его мысль от того, что раздражало, и он успокаивался. Да просто неловко сердиться, когда видишь, что самый дорогой для тебя человек с хорошей, все понимающей улыбкой смотрит на то, что тебя злит. И ты вдруг словно прозреваешь: значит, не сошелся свет клином? И машешь рукой: а, бог с ним! И верно, не стоит дело того, чтобы так огорчаться...

Илья Николаевич долго еще слышал, как Матильда

Ивановна о чем-то тихо переговаривалась с женой, как она ходила из ее комнаты на кухню, а потом будто в пропасть провалился, заснул сном здорового, утомившегося за день человека. А когда проснулся, возле него стояли Серафим Петрович и Матильда Ивановна с младенцем на руках.

— Вот вам, Илья Николаевич, сын! — радостно сияя глазами и ямочками на круглых щеках, говорила Матильда Ивановна.— Прошу любить и жаловать!

Илья Николаевич протер глаза: уж не сон ли это? Еще когда предстояло родиться Ане, ему не раз виделось во сне, что родился сын. Еще раз протер глаза.

— Неужто не рады? — спросил Серафим Петрович с притворным изумлением.— Так мы его себе заберем...

— Что вы, Серафим Петрович! Я глазам не верю... Сын?!

— Сын, Илья Николаевич! И с характером! Видите, как брыкается и кричит... Ну, ну, кричи, братец, кричи! — довольно смеясь, говорил Серафим Петрович.— Пускай все слышат, что на свет божий появился еще один человек!.. Спеленайте его, Матильда Ивановна, а то еще убежит!

— Да погодите! Дайте хоть взглянуть на него...

— Отец, вылитый отец,— заверила Матильда Ивановна, чтобы еще порадовать Илью Николаевича.

Илья Николаевич сделал шаг к сыну и точно споткнулся: а Маша, как же Маша себя чувствует? Кинулся в ее комнату, но Серафим Петрович остановил.

— Что? Что с нею?

— Все хорошо. Но пока что ей нужно побыть одной. Я вас, Илья Николаевич, позову, когда можно будет. Ступайте к сыну и успокойтесь. Все прошло очень хорошо.

— Серафим Петрович, я слов не нахожу...

— А они сейчас и не нужны,— улыбнулся Серафим Петрович.— Ступайте, ступайте...

Пробили часы. Четыре утра. И вдруг послышался грохот и треск. Даже земля дрогнула. Что такое? Молнией мелькнула мысль: умерла! Маша умерла! Илья Николаевич, не помня себя, кинулся в комнату жены.

— Что там? Что?

— Я же вам сказал: все хорошо...

— Простите,— смутился Илья Николаевич.— Но что это за грохот?..

— Волга лед ломает! — ответил Серафим Петрович.— Чудесная примета!

Тридцать первого марта 1866 года Волга начала ломать лед. А первого апреля, когда Сашу Ульянова несли крестить в Благовещенский собор, лед на реке тронулся...

После тяжелых родов Мария Александровна поправлялась медленно. В доме все еще хозяйничала Матильда Ивановна, она теперь уже была крестной матерью Саши. За эти дни Мария Александровна еще сильнее привязалась к ней.

Матильда Ивановна прошла суровую школу жизни. Была она женщина живая, веселая и удивительно беззаботная. Ничто, казалось, на могло вывести ее из душевного равновесия. «А, ничего,— махнув рукой, говорила она,— как-нибудь все уладится». Но, несмотря на эту беззаботность, была практична и очень услужлива. Иногда это стремление помочь человеку переходило в назойливость. Но делала она все живо и весело, потому и назойливость эта не раздражала, а только смешила. Она сама это замечала и часто, бывало, всплеснув руками, с комическим отчаянием восклицала:

— Ой, я, кажется, опять запуталась, как муха в паутине!

Мария Александровна, глядя на ее маленькое личико с веселыми ямочками на щеках, на грустно — а получалось комически — надутые пухлые губы, едва удерживалась от улыбки. И какое-то хорошее, светлое чувство рождалось в душе к этой ясноглазой, по-сестрински привязанной к ней женщине. Принималась успокаивать ее, но Матильда Ивановна только отмахивалась — это у нее тоже получалось комично,— повторяя:

— Не нужно, Мария Александровна, не нужно! Я хорошо знаю, что бестолковее меня женщины нет на свете.

У Марии Александровны было четыре сестры. Все они жили порознь. И Мария Александровна была благодарна Матильде Ивановне за все, что та делала для нее,— это могла сделать только сестра. Заботливость Матильды Ивановны, ее веселый нрав скрашивали нелегкие дни до родов и после них. И разумеется, Матильде Ивановне было предложено крестить Сашу. Она была очень тронута этим и присматривала за малышом, как за родным ребенком.

И еще одно привлекало в Матильде Ивановне: большая

начитанность, оригинальный, смелый взгляд на все, о чем бы ни заходила речь. Муж Матильды Ивановны, Алексей Федорович Мартынов, был человеком передовых взглядов. Учился вместе с Чернышевским в Саратовской гимназии, благоговел перед товарищем своей юности, считал себя его единомышленником и смело пропагандировал его идеи. Начальство за это косо смотрело на него, благонамеренные учителя сторонились. Илья Николаевич, разделяя взгляды Чернышевского, близко сошелся с Мартыновым, они подружились и семьями. Не изменил этой дружбе Илья Николаевич и после того, как Чернышевский был арестован и сослан в Сибирь, тогда как остальные учителя начали чуждаться Мартынова. Осторожный директор гимназии Садоков, по-прежнему весьма любезный с ним, на вечера к себе все же перестал его приглашать. Илью Николаевича это глубоко возмущало, и он под любыми предлогами тоже перестал ходить к директору. Да и вечера эти вскоре, как говорил Мартынов, зашли в благонамеренный тупик: превратились в обычный картеж.

Это очень не нравилось жене Садокова, Наталии Александровне. Выросла она в семье человека, в Нижнем Новгороде весьма известного. Отец ее, Александр Дмитриевич Улыбышев, был большой знаток музыки, автор книг о Моцарте и Бетховене. Он был связан с декабристами, о чем теперь, когда почти все декабристы вернулись из Сибири, было модно говорить. У отца Наталии Александровны устраивались музыкальные вечера, на них бывали тогдашние знаменитости. Сама Наталия Александровна никакими особенными способностями к музыке не обладала, но, постоянно бывая в обществе умных, талантливых людей, которые не скупились на комплименты, и сама поверила, что хвалят ее подлинно за талант. Когда же в 1858 году умер отец (на его похоронах был Тарас Григорьевич Шевченко, проживавший в то время в Нижнем Новгороде по возвращении из ссылки, о чем Наталия Александровна всем рассказывала), славословия по ее адресу заметно утихли, хотя она всячески старалась поддержать былую славу. Мария Александровна, сама прекрасно игравшая на фортепиано, всегда была у нее желанной гостьей. Но с тех пор как Садокова назначили директором гимназии и он попал под влияние, а вернее сказать — под власть Розинга, в их отношениях появилась натянутость. А после того

как Илья Николаевич стал на сторону опального Мартынова, они и совсем разошлись. Наталия Александровна, крестившая всех детей учителей гимназии, очень обиделась, узнав, что Мария Александровна предпочла ей жену учителя Мартынова. Поздравить с сыном она, правда, зашла, но сделала это подчеркнуто официально: я, мол, только сопутствую своему мужу, который выполняет служебный долг. Ульяновых это, впрочем, нисколько не огорчило: они никогда не навязывались в друзья к тем, к кому не испытывали душевной склонности, независимо от того, какой пост занимали эти люди. В тот же день, когда родился Саша, Илья Николаевич послал телеграммы в Кокушкино и в Астрахань. Первого апреля пришли ответы. Все поздравляли с сыном, приглашали летом приехать. Брат Василий добавил, что мать болеет и молит бога, чтобы позволил хоть перед смертью повидать всех. Мария Александровна, прочитав телеграмму, сказала:

— Тебе, Илюша, нужно съездить домой.

— А как же ты?

— Я летом поеду в Кокушкино.

— А может, и ты?..

— Нет, я боюсь ехать в такую даль с Сашей. Ты нас отвезешь в Кокушкино, а сам поедешь к своим. И отец мой будет рад, что мы не проплыли мимо него, и твои, надеюсь, не обидятся. Ведь ты им все объяснишь. Ну, а когда Аня и Саша немного подрастут, непременно съездим в Астрахань, погостим у твоих родных. Мне очень хочется познакомиться с ними...

Так и порешили. Илья Николаевич присел к столу и написал своим ровным, четким почерком:

«Его Высокородию господину директору
Нижегородской гимназии

Учителя гимназии Ульянова

Прошение.

Желая воспользоваться вакационным временем для поправления своего здоровья, покорнейше прошу Ваше Высокородие уволить меня в отпуск в Астраханскую губернию.

4 апреля 1866 г.»

Илья Николаевич не знал, что в то время, когда он писал это, в Петербурге, у Летнего сада, произошло событие огромного значения, которое, хотя и не прямо, но касалось его. Событие, которое на всю жизнь оставит след в его душе...

8

На набережной Волги стояла толпа: нижегородцы пришли посмотреть на ледоход. Илья Николаевич, взяв Аню, тоже пошел на реку. Матильда Ивановна, кутая Аню в пуховый платок,— Мария Александровна все еще не вставала с постели,— приговаривала, весело улыбаясь:

— Смотри же, Анечка, не позволяй папе простуживать тебя, а то опять будешь в постельке лежать.

— Хорошо,— отвечала Аня.— Когда совсем замерзну, я скажу папе, чтобы он вел меня домой...

— Умница! — рассмеялась Матильда Ивановна.— Ну, ступайте...

В первые дни апреля погода стояла переменчивая: то снег валил, то сквозь разрывы в тучах проглядывало солнце. С крутого берега к Волге бежали, журча и радостно сверкая в лучах солнца, разбуженные весной ее бесчисленные дети — ручьи. Мутная вода реки несла льдины, на них были и следы зимних дорог, и коряги, похожие на огромных пауков, и раздавленные лодки, в которых что-то клевало воронье, и много другого добра, подхваченного на широком долгом пути. А по одной льдине бегал и жалобно скулил маленький черный песик. Аня, увидев его, начала просить:

— Папочка, ему там холодно и страшно! Достань...

Не успел Илья Николаевич объяснить Ане, что достать песика невозможно, как внизу, за углом кремлевской стены, раздался выстрел. Собачонка завизжала, волчком завертелась на льдине и бухнулась в воду.

— Так лучше: не будет мучиться,— сказал рядом какой-то бородач.

Аня залилась горькими слезами, так жалко ей было бедного песика. И как Илья Николаевич ни утешал ее, она продолжала плакать. Решил повести ее к фонтану, чтобы забыла про собачку. Но только свернул с набережной на кремлевский бульвар, увидел — навстречу бежит,

еле переводя дыхание, Захаров. Уже по его испуганному, растерянному виду Илья Николаевич понял: произошло что-то необыкновенное. Захаров опасливо оглянулся и, хотя поблизости никого не было, взял Илью Николаевича под руку, завел за стену кремлевской башни и только тогда спросил шепотом:

— Вы еще ничего не слышали?

— Нет. А что случилось?

— В царя стреляли! — одним духом выпалил Захаров.

— В нашего государя? — не поверив своим ушам, переспросил Илья Николаевич.

— Да.

— Полно вам! Да разве это возможно?

— Точно вам говорю! Стреляли, только пуля пролетела мимо!

— Значит, царь жив.

— Говорят, жив.

— Вот новость! Да кто же стрелял? Где? Когда?

На все эти вопросы Захаров ничего не мог ответить. Александр Гацисский, повстречавшись с ним на улице, сказал только, что в царя стреляли, но промахнулись. Предложил зайти в редакцию часа через два, может, поступят еще какие-нибудь подробности. Захаров обещал по дороге из редакции забежать к Илье Николаевичу. Но он ничего не сказал о том, что больше всего волновало его в этой истории. Этого секрета он не доверил даже такому надежному другу, как Илья Николаевич. И не потому, что боялся — не сохранит тайны,— а потому, что сам не мог поверить своей догадке, такой невероятной, страшной казалась она ему.

Покушение на царя Александра II было совершено четвертого апреля во второй половине дня. В Нижнем Новгороде об этом узнали только пятого. Но так как единственная газета «Нижегородские губернские ведомости» в этот день не вышла, по городу распространились самые невероятные слухи. Одни говорили, что царь убит, но это пока скрывают, чтобы подготовить народ. Другие уверяли, что он тяжело ранен. (Слухи о ранении царя были настолько упорны, что предводитель нижегородского дворянства Турчанинов запросил об этом министра внутренних дел.) И только шестого апреля нижегородцы прочитали в своей газете такое сообщение:

«С пятого на шестое апреля было по Нижнему Новгороду объявлено, что Владимирской губернатор сообщил Нижегородскому губернатору полученную им от министра внутренних дел телеграмму следующего содержания: «Вечером четвертого апреля, в четвертом часу пополудни, в то время, когда государь император, кончив свою прогулку в Летнем саду, изволил садиться в коляску, неизвестный выстрелил на его величество из пистолета. Божие провидение предохранило драгоценные дни августейшего нашего государя. Преступник задержан: изследование производится».

В «Московских ведомостях» за восьмое апреля Захаров прочитал: «Сейчас получили мы частную телеграмму, из весьма уважительного источника, такого содержания: «Имя злодея Ольшевский: он — поляк».

Немного отлегло от сердца: значит, напрасно он волновался. А через несколько дней в той же газете, которая всячески старалась доказать, что этот выстрел в царя — дело поляков, которые мстили за подавление восстания 1863 года, было дано и описание стрелявшего: «Длинные мужицкие сапоги, как у повстанцев, выказывавшаяся из-под пальто красная рубаха. И черты лица позволяют радоваться, что он не русский».

А сам задержанный сказал царю, когда тот, оправившись от испуга, спросил:

— Ты поляк?

— Нет, русский.

— Почему ты стрелял в меня?

— Потому, что ты обещал народу землю и не дал!

Передавали еще: когда стрелявший, бросив пистолет, пытался бежать, за ним кинулась толпа, находившаяся у ворот Летнего сада,— и он крикнул, вырываясь:

— Дурачье! Я же за вас! А вы не понимаете...

Но «Московские ведомости», которые издавал реакционер Катков, умели даже из черного делать белое, если это было нужно. Они так комментировали эти слова: «Я русский! Я за вас, братцы!» Разве он не сказался этим, разве не выдал себя в первую же минуту? Я за вас! Разве в словах этих не слышатся ясно и внятно все неслыханное, злобное пронырство польской справы?» Воистину неслыханная логика! Но Каткова это не очень беспокоило: все столпы общества — и прежде всего сам царь — хотели,

чтобы тот, кто стрелял, оказался поляком, и газета «доказывала» это.

Председателем следственной комиссии царь назначил «знатока» польской крамолы, Муравьева-вешателя. Это окончательно убедило всех, что стрелял в царя поляк.

Но если столпы общества беспокоились об одном — поляк стрелял или русский, то народ волновало другое: крестьянин он или помещик? Польские дела простой народ не интересовали. Всех беспокоило главное: даст теперь царь землю или и свободу отберет? Нижегородский штаб-офицер уведомлял в своем секретном донесении, что в «низшем сословии» ходят слухи, будто бы это — дело господ. Стрелял, говорят, в царя дворянин за то, что царь хотел у помещиков землю отобрать, а крестьянам дать. И поскольку покушение не удалось, то император будто бы приказал отобрать все земли у помещиков и отдать их крестьянам. «Повидимому, крестьяне верят этим слухам,— заключал свое донесение жандармский офицер,— и в каждой проездной партии землемеров или чиновников ожидают исполнения высочайшей воли».

Покамест комиссия во главе с Муравьевым-вешателем устанавливала личность преступника, по всей России трезвонили колокола, собирались средства на построение храмов в честь Александра II и его «спасителя» — Осипа Комиссарова, который будто бы ударил по руке террориста, и тот промахнулся. Собирались деньги на подарки Комиссарову —на икону, золотую шпагу, серебряный кубок, тройку лошадей, на всякие благотворительные цели. А на какие — никто не мог объяснить. Устраивались обеды и ужины у губернаторов и предводителей дворянства. Разумеется, не за их счет, а по подписке. Патриотизм патриотизмом, а деньги деньгами. Простой народ угощали во время этих банкетов водкой и калачами. В театрах по нескольку раз исполняли — и артисты и публика — гимн «Боже, царя храни». В городах пылала иллюминация, как сообщали жандармы в своих донесениях, «так освещая здания, как никогда». Все губернии заносили в свои дворянские книги новоиспеченного дворянина — это звание было даровано ему самим царем — Осипа Комиссарова. Портреты пьяницы Комиссарова вывешивали во всех учреждениях. Его имя присваивали училищам, богадельням, больницам. А в Костроме, откуда он был родом, его

именем назвали даже бассейн водопровода. Повсюду — крестные ходы и военные парады. Все эти проявления патриотических чувств были реакционными и стандартными — даже по поводу такого неслыханного события, как покушение на царя,— и проходили точно так же, как и во время свадьбы цесаревича Александра с принцессой Дагмарой. Жандармы знали цену подобным проявлениям чувств и старались воспользоваться мутным потоком казенного патриотизма, чтобы выловить неблагонадежных. В Петербург шли доносы на тех, кто не бывал на молебнах, отказывался давать деньги, не посещал торжественных обедов, не вставал или не снимал шапки при исполнении гимна «Боже, царя храни».

Нижегородцы, чья губерния соседствовала с родиной спасителя царя, пригласили на эти празднества его родственников — Ивана и Алексея Мишутиных. Пили за их здоровье, кричали «ура». Повели в театр на представление «Параши Сибирячки». Но актерам не дали и слова сказать: пьяные «патриоты» без конца заставляли актеров исполнять гимн. Слушали стихи пиита Греве:

Промчался выстрел роковой,
Народ и царь спасен... О братья!
Как в воскресенье, день святой,
Друг другу кинемся в объятья!

Все обнимались, а те, кто уже хорошо хлебнул, целовались с первым встречным, горланили «ура» и снова затягивали «Боже, царя храни».

Для Ильи Николаевича, отец которого был крепостным, Александр II представлялся прежде всего царем-освободителем. Студенческие годы Ильи Николаевича пришлись на период страшной николаевской реакции. И оживление общественной жизни, наступившее после прихода к власти Александра II и проведенных им реформ, вселило в душу Ильи Николаевича, как и всех людей, которые желали добра и славы России (поддался этому даже Герцен), много светлых надежд. И хотя уже до этого первого выстрела в Александра II отчетливо наметился поворот назад, Илья Николаевич и все мыслящие так же, как он, видели в этом временные трудности, а не отказ от того, что было сделано в первые годы реформ. Этим и объяснялось, что Захаров и Илья Николаевич, так же как Герцен, не

одобряли покушения на царя. Они опасались, что, если Александра II убьют, возвратится то, что было во времена Николая I.

Когда Захаров встретился с Каракозовым, тот сказал:

— Виноват во всем царь. Великий князь Константин и те, кто поддерживают его, все переменят, как только возьмут власть в свои руки. И прежде всего — дадут землю крестьянам. А чтобы развязать им руки — нужно убить царя! И я это сделаю...

Вот это-то и «брякнул», как сказал Захаров Илье Николаевичу, Митя Каракозов. И когда Захаров услышал, что в царя кто-то стрелял, первой его мыслью было: «Это Митя!» Но тут заговорили, что стрелял поляк, и Захаров успокоился, хотя на душе оставался тревожный осадок. Он внимательно следил за газетами и, встречая упоминания о том, что в царя стрелял русский, прямо замирал: неужели Митя? Хотел даже послать Ишутину телеграмму, но не мог придумать, как сделать это, не вызвав подозрений. Поехать в Москву он не мог. Да и как объяснить такую поездку? Если действительно стрелял Митя, то могут еще и его притянуть к этому делу, между тем как он даже поссорился с ним из-за того, что не разделял его взглядов. И оказался прав: революция, на которую они надеялись, после выстрела в царя не вспыхнула. Наоборот! Все словно с ума посходили в своем стремлении как можно громче выразить свои верноподданнические чувства. Теперь царь мог делать, что ему вздумается, и все будут кричать «ура», как при Николае I.

9

Занятия в школе начались благодарственным молебствием господу богу за сбережение его милосердным, как говорил магистр Востоков, и правосудным промыслом жизни государя императора. Молебен совершался не в церкви, а в актовом зале — по примеру университетов,— куда торжественно внесли чудотворную икону Оранской божьей матери. Гимназисты, которым уже не раз пришлось бывать с родными на благодарственных молебнах, смотрели на эту необходимую повинность выражения верноподданнических чувств, как на тяжкую кару. Они вертелись,

шептались, смеялись, не слушая того, что возглашал, простирая руки к небу, законоучитель. Радовались одному — что не будет уроков.

— Явившему нам истину слова божьего, что сердце царево в руце божией,— вещал Востоков, силясь перекричать гомон гимназистов.

Илья Николаевич видел, как ведут себя ученики, учителя, и ему становилось неловко. Кому нужен этот фарс? Всем уже осточертели бесконечные молебны. Нынче в гимназии, завтра — на площади у памятника Минину и Пожарскому, в день рождения царя — опять молебен. А после — обед у губернатора. Для простого народа перед домом губернатора выставлены бочки водки и калачи, чтобы сделать этот праздник, как писали в газетах, «более слиянным с народом».

А вокруг «высокочтимого» Осипа Ивановича Комиссарова такой шум подняли, что просто неприятно все это слышать. Пьяница картузник стал второй персоной после царя. На всех вечерах и обедах — первый тост за здоровье государя императора, второй за Осипа Ивановича Комиссарова-Костромского. (Царь, вспомнив, что Иван Сусанин, который спас первого Романова, был из Костромы, увидел в этом руку провидения и приказал добавить к фамилии Комиссаров еще и Костромской.) Его прославляют в одах и в стихах.

Пускай крамола шлет к нам извергов своих,
Цареубийц — наемных эмиссаров,
Не страшны нам они: у нас противу них
Всегда найдется Комиссаров!..

Но наряду со славословиями и тостами в честь «высокочтимого» спасителя отечества от крамолы среди народа ширились слухи, что Комиссаров — подставное лицо, что никто стрелявшего под руку не толкал, а он сам промахнулся. Пустил эту выдумку о «подвиге» Комиссарова генерал Тотлебен, который был в это время в Летнем саду. Тотлебен приволок перепуганного картузника к не менее перепуганному царю и доложил, что это он, Комиссаров, толкнул злодея под руку и этим спас царя. Когда Комиссарова схватили и повезли в Зимний дворец, он подумал, что и его сочли участником покушения, и так струсил, что не мог слова выговорить. Еле втолковали «отважному

герою», какой великий подвиг он совершил. Никто, конечно, глядя на перепуганного до смерти картузника, не поверил выдумке генерала Тотлебена, но все признали ее «политичной», ибо это, мол, весьма благотворно повлияет на народ. Ведь получалось так красиво: крестьянин спас царя. Само провидение дало возможность крестьянину отблагодарить царя за отмену крепостной зависимости.

Когда Мария Александровна выздоровела, Ульяновы пригласили к себе ближайших друзей: Захаровых, Мартыновых, Шапошниковых, Мальцевых, холостяка Ауновского. Приглашали и чету Садоковых, но они не пришли, сославшись на то, что у них билеты в театр. Однако Илья Николаевич знал: за билетами Садоковы послали уже после того, как он их пригласил.

— И отлично! — сказала Мария Александровна.— Наши гости будут чувствовать себя свободнее.

— Это так, но...

— Тебе, я вижу, это испортило настроение?

— Отчасти. Но не потому, что они сегодня не пришли. Нет. Я давно уже хотел сказать тебе, да все откладывал: тяжело мне стало служить с Константином Ивановичем...

— Я это заметила.

— Заметила? — удивился Илья Николаевич — он был уверен, что умело скрывает от жены свое настроение.

— Да, давно заметила.

— Гм! — смутился Илья Николаевич.— Я действительно... Я хотел тебе об этом сказать, да все думал: к чему огорчать тебя, если ты ничем не можешь помочь мне...

— Знаешь что, Илюша,— ласково улыбаясь, сказала Мария Александровна,— не принимай ты все это так близко к сердцу. Сегодня директором Садоков, завтра — кто-нибудь другой.

— Нет, здесь он засел надолго. Способностей подняться выше у него нет, а чтобы удержаться на этом месте — ловкости хватит. Да и не в нем дело, а в Розинге, под чью дудку он пляшет. Мартынов мне сказал, что теперь уже доподлинно известно то, о чем раньше лишь догадывались: Садоков помогал Розингу выживать Тимофеева. А если так, то мне, рано или поздно, придется оставить гимназию. Если я сам этого не сделаю, то они вытурят меня.

— Илья! — сказала Мария Александровна.— У тебя есть одна очень неприятная черта: ты всегда преувеличиваешь опасность. Взглянул на тебя человек косо или что-нибудь сказал не так — и ты уже начинаешь ломать голову: отчего это? Что делать? И всегда решаешь одинаково: надо, видно, куда-нибудь переходить. Прости меня, но это несерьезно. Я понимаю, что неприятно работать с тем, кто на тебя косо смотрит. Но из-за этого еще не стоит куда-то переезжать. Что, если и там, куда мы уедем, кто-то будет недоволен тобой? Что тогда делать: опять переезжать? Ведь таких директоров, как Александр Васильевич Тимофеев, не много.

— Это верно. Но мне в Пензе приходилось учительствовать при таком самодуре, как отставной майор Огонь-Догоновский. Он нас, учителей, только что не порол розгами, не обыскивал наших квартир. Всего насмотрелись. Я тяжело все это переживал. Но надо мной не висела дамокловым мечом мысль, что меня хотят выжить. А здесь я это чувствую постоянно, вот почему меня не покидает беспокойство о завтрашнем дне. Видишь, как живет Захаров? А за что на него такое гонение? За то, что он способный, талантливый педагог? Что он честнейший человек?

Пришли Мартыновы, и разговор прервался. За ними явились Шапошниковы, которые жили здесь же, в здании гимназии.

— Вы что же, ожидали, пока мы придем? — со смехом спрашивала их Матильда Ивановна.

— Да,— улыбался Гавриил Гавриилович.— Неудобно прежде крестной матери. Вот мы сидели и высматривали вас.

Пришли Мальцевы с Ауповским. Матильда Ивановна набросилась на них:

— А вы, крестный отец, отчего опаздываете?

— Разве? — удивился Мальцев, озираясь.

— Михаил Павлович, успокойтесь,— поспешил к нему на помощь Илья Николаевич,— Матильда Ивановна, как всегда, шутит. Раздевайтесь, пожалуйста... Позвольте, Матильда Ивановна, вашу шляпу, ваше манто. Прошу, друзья, проходите в гостиную.

— А я, пожалуй, к вам, Илья Николаевич, если позволите,— сказал Гавриил Гавриилович.— Пока все сойдутся, может, партию в шахматы сыграем...

— Да не хватает только Захаровых. Больше мы никого не приглашали. Константин Иванович ответил, что у него билеты в театр...

— С каких пор он стал таким театралом? — иронически улыбаясь, спросил Мартынов.

— С тех пор, Алексей Федорович, как в театре начали вместо спектаклей исполнять «Боже, царя храни»,— ответил Шапошников.— Ну что, сыграем партию?

— Давайте!

Мартынов и Шапошников уселись за шахматы, а Илья Николаевич пошел к дамам. Все они любовались Сашей, хвалили: настоящий богатырь.

— По сравнению с Аней — очень спокойный,— сияя от похвал, рассказывала Мария Александровна.— Та всю ночь, бывало, плачет.

— А почему я плакала? — спросила Аня, которая вертелась тут же.— Ты меня не пускала гулять к фонтану?

— Ах, Анечка! — обняла ее Матильда Ивановна, весело смеясь.— Как ты все хорошо понимаешь!

Пора уже было садиться за стол, а Захаровы не приходили. Илья Николаевич прямо диву давался. Владимир Иванович всегда был такой аккуратный. Несколько раз Илья Николаевич подходил к жене: что, мол, делать? Мария Александровна только плечами пожимала: сколько она помнила Захарова, с ним такого не случалось. Хоть бы прислал кого-нибудь сказать, что не может прийти. Илья Николаевич чувствовал, что с Захаровым что-то особенное случилось. Даже собрался было к нему, но Мария Александровна не пустила.

— Если он за что-нибудь обиделся на нас, то в какое положение ты его поставишь? Да и живет он далеко, а гостям, я вижу, уже надоело ждать. Давайте садиться за стол. Может, они еще придут.

Первый тост был поднят за здоровье Саши. А выпив, гости разговорились и совсем забыли о Захаровых. Только Илья Николаевич продолжал прислушиваться: не стучится ли кто-нибудь в дверь? Но Владимир Иванович не появлялся. Илью Николаевича все сильнее охватывало беспокойство. Как ни старался прогнать его — одна и та же мысль не давала покоя: «Что? Что случилось?» Уехать Захаров никуда не мог: Илья Николаевич всего часа за три до этого виделся с ним.

— Илья Николаевич, вы чем-то обеспокоены? — спросил Шапошников, заметив, что хозяин поглядывает на дверь.— Мария Александровна, позвольте мне тост...

— Прошу вас, Гавриил Гаврилович!

— Саша родился в знаменательные дни. В народе бродят, зреют могучие силы, ищут выхода себе. Я и хочу выпить за то, чтобы дети наши дожили до того дня, когда это сбудется! Чтобы счастливее нас были! За твою счастливую судьбу, Саша!

Захаровы так и не пришли. Гости засиделись. Но о чем бы ни заходила речь, возвращались к выстрелу в царя. И Мартынов, и Шапошников, и Мальцев, и Ауновский — так же как и Илья Николаевич — не были довольны тем, что происходило в последние годы. Особенное возмущение вызывала расправа с Чернышевским. Когда заговорили о Николае Гавриловиче, Мартынов сказал:

— Я не сторонник террора. Но уж если говорить откровенно, то за одного Чернышевского царь заслужил выстрела. А если окинуть взглядом все тюрьмы, всю каторжную Сибирь... Нет, жаль, что пуля пролетела мимо! Я вижу, господа, вас удивили мои слова...

— О царях, как и обо всех смертных, нельзя судить, исходя только из того, что хотелось бы получить от них,— заметил Мальцев.— Надо считаться с тем, что они могут сделать. А если сравнить предыдущее царствование с теперешним, то я не вижу, за что можно так строго судить государя. Да, несправедливости много. Ну, а крепостных — этого позорища всечеловеческого — уже нет? Нет! Да и во многих других делах — этого нельзя не признать, ибо это факт,— произошли разительные перемены. Факт и то, что многие наши надежды не сбылись. Но государь Александр Николаевич на престоле всего десять лет. Это не много, если говорить о судьбе такой огромной страны, как наша! Я не могу поверить, чтобы государь, который так прекрасно начинал свое царствование, пошел по пути отца. Сейчас это просто невозможно.

— Нет, Михаил Павлович,— возразил Мартынов,— возможно!

— Да еще как! — поддержал его и Шапошников.

— Но это было бы ужасно! — с отчаянием в голосе заговорил Илья Николаевич.— На кого же тогда надеяться? От кого ждать добра народу?

— Да от самого же народа! — ответил Шапошников.

— Э, Гавриил Гавриилович, эту истину все знают,— сказал Илья Николаевич.— Но чего же ждать от народа, который веками пребывал в самом ужасающем варварском рабстве? Я согласен: было бы прекрасно, если бы народ мог сам распоряжаться своей судьбой. Но чтобы это оказалось под силу народу, нужно дать ему образование, приобщить к тем знаниям, которые накопило человечество за всю свою историю. Образование, образование и еще раз образование — вот что прежде всего нужно нашему народу. И я уже думал не раз о том, что нам бы с вами, господа, в гимназиях не дворянских недорослей учить, а крестьянских детей. Вот что нам нужно делать! А то народ наш, как гоголевская девка, не знает, где право, где лево. С такими знаниями далеко не уедешь! Когда я думаю об этом, я прямо виноватым чувствую себя — вот я, сын крепостного мужика, получил высшее образование — одному богу известно, каких мук мне это стоило,— и не могу помочь другим. Одним успокаиваю себя: у меня еще будет такая возможность...

Разошлись гости за полночь: за разговором незаметно и быстро пролетело время. От выпитого вина у Ильи Николаевича слегка шумело в голове. Он прилег у себя в кабинете на диване отдохнуть немного, пока убирали со стола, и не заметил, как заснул...

10

Захаров пришел ночью. Когда гости разошлись и Мария Александровна, убрав со стола, села покормить Сашу, в дверь кто-то постучался. Подумала — это кто-то из гостей что-нибудь забыл и вернулся. Не спрашивая даже — кто там? — Мария Александровна отперла дверь. Перед нею стоял Захаров. Вид у него был такой необычный, что Мария Александровна не могла понять в первую минуту: пьян он или до смерти испуган?

— Мария Александровна, простите, ради бога... Я уже несколько раз приходил, но у вас гости...

— Да ведь все были свои...

— Все равно, я не мог зайти... Еще раз извините, что беспокою так поздно... Раньше не мог... И приглашением

вашим воспользоваться не мог, за что также прошу прощения... Поверьте, все это произошло никак не по моей вине...

— Верю. И успокойтесь: мы на вас не сердимся.

— Спасибо, спасибо... Но, простите, не только это привело меня к вам в такую позднюю пору. Мне крайне нужен Илья Николаевич. Надо сейчас же сказать ему несколько слов...

— Он уже спит.

— Разбудите, пожалуйста. Уверяю вас, я не стал бы беспокоить его по пустякам...

— Тогда немного обождите, я разбужу его. Да входите, садитесь.

— Ничего, я на несколько минут...

— Выпейте вина, а то, я вижу, вы продрогли.— Мария Александровна налила бокал вина.— Прошу вас...

— Спасибо. Я действительно... Нынче у меня ужасный день.

Мария Александровна прошла в кабинет к Илье Николаевичу, начала осторожно будить его:

— Илюша, проснись...

— А... Что такое?.. Что? — бормотал Илья Николаевич.— А, это ты, Маша... фу-фу.. Когда же я заснул?..

— Илюша, я не стала бы тебя будить, да Захаров пришел...

— Когда?

— Только что.

— Да который теперь час?

— Половина третьего. Он так просил разбудить тебя, что я не могла отказать. Говорит, что ты ему крайне нужен.

— А что случилось? — встревожился Илья Николаевич.

— Не знаю.

Когда Илья Николаевич вышел к Захарову, тот сказал:

— Илья Николаевич, простите, но мне нужно поговорить с вами. Ждать до утра я не мог, дело безотлагательное... Давайте поговорим с глазу на глаз.

Илья Николаевич провел Захарова в свой кабинет. Владимир Иванович плотно прикрыл дверь и сказал:

— Илья Николаевич, в царя стрелял Каракозов!

— Митя Каракозов?

— Да. Наш Митя Каракозов!

— Полноте! Разве мог Митя Каракозов пойти на такое... Нет, не верю!

— Я тоже не верил, но оказалось, точно...— Захаров помолчал, продолжал тихо: — Илья Николаевич, у меня несколько часов назад был обыск.

— Обыск?! Как это? По какому поводу?

— Вместе с Каракозовым, оказывается, арестованы Ишутин, Странден, Юрасов, Ермолов, Загибалов и много других наших пензенских воспитанников. Следственная комиссия Муравьева-вешателя перебирает теперь всех, с кем были знакомы арестованные. Я не думаю, чтобы они пожаловали с обыском и к вам, но счел себя обязанным предупредить вас, хоть меня и обязали, чтобы я никому ни слова...

— История,— потирая кулаком подбородок, проговорил Илья Николаевич. Казалось, он только теперь понял смысл всего происшедшего.— Что же они у вас взяли?

— Да так, пустяки: несколько журналов со статьями Чернышевского и Добролюбова. Роман «Что делать?». Несколько писем Ишутина и Страндена, вполне невинного содержания. Остальной свой архив я отправил в Пензу, когда собирался возвращаться туда, и, к счастью, до сих пор не забрал от родных. А там у меня почти все номера «Колокола»... Я знаю, у вас тоже хранится кое-что из этой литературы, а потому и пришел предупредить. Когда Странден приезжал сюда, в Нижний, намереваясь сдавать экзамены на аттестат, он заходил к вам?

— Да, заходил.

— Вот видите. Стоит ему назвать ваше имя на допросе, как могут налететь с обыском. Ведь у них правило: хватай побольше, может, среди сотни попадется и виновный. Помнится, Странден заходил и к Ауновскому?

— Да, заходил. И даже частенько.

— Тогда побегу и к нему.

— Я провожу вас.

— Ни-ни! Я и к вам старался пройти так, чтобы никто не видел. Сторож в парадном спит. Спокойной ночи! — Захаров надвинул шапку на самые брови и мгновенно исчез за дверью.

Илья Николаевич видел в окно, как он, выйдя на улицу, осторожно оглянулся и, подняв воротник шинели, быстро зашагал по темной Тихоновской улице. Не успел

Захаров скрыться, как из ворот кремля вышел какой-то человечек, проворно пересек Благовещенскую площадь и направился туда же, куда пошел Захаров. Что такое? Неужели за ним слежка? И тут Илье Николаевичу в голову пришла мысль, сильно его взволновавшая: «А может, он мне сказал не все, что знает?» Но нет: он не мог заподозрить Захарова в неискренности. Однако тот мог не все сказать Илье Николаевичу, чтобы не обременять его такими сведениями, которые могут лишь повредить. Ведь судят и за то, что знал, а не донес. Ужасный, подлый закон, он развивает в народе самые низменные наклонности.

От жены у Ильи Николаевича секретов не было. Проводив Захарова, он пошел к ней в комнату — она еще кормила Сашу — и рассказал, зачем прибегал Захаров. Мария Александровна спокойно выслушала мужа, отнесла Сашу в постель, сказала:

— Да, бумаги нужно просмотреть, но не в кабинете, а здесь. Свет в детской в такое позднее время — дело обычное, если за нашими окнами следят.

— Это разумно,— сказал Илья Николаевич — он и не подумал о такой мере предосторожности.— Я сейчас перенесу сюда все.

Илья Николаевич приносил ящики из своего стола и высыпал их содержимое прямо на ковер. Когда перенес все, сели и начали перебирать.

Сохранялось у Ильи Николаевича всяких, как он шутил, «запретных плодов» много. Стихи Некрасова, распространяемые в списках. Строки и строфы, вычеркнутые цензурой — на месте их стояли лишь точки,— были восстановлены Ильей Николаевичем. Жаль выбрасывать. Пусть лежат, может, жандармы не станут перелистывать книги. Ведь он с великим трудом добыл эти строки любимого поэта. В них такая жгучая правда, что, сколько раз ни читай их, они все равно тревожат душу. Илья Николаевич прочитал:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно,
Умрешь недаром...

Дальше были дописаны строки, вычеркнутые цензурой:

...дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

И еще строки:

Гроза шумит и к бездне гонит
Свободы шаткую ладью,
Поэт... или хоть стонет,
А гражданин молчит и клонит
Под иго голову свою.
Когда же...

Тут цензура вычеркнула строфу о декабристах, но Илья Николаевич раздобыл ее у Захарова и вписал:

Но молчу... хоть мало
И среди нас судьба являла
Достойных граждан... Знаешь ты
Их участь? Преклони колени!..

А вот «Колокол»... Взял у одного знакомого. Так не относить же его сейчас? Оставлять опасно и уничтожить нельзя.

— Дай сюда эту книгу,— предложила Мария Александровна.— Я спрячу ее в Сашину колыбельку. Туда, надеюсь, не полезут...

— А куда вот это девать?

— Что там?

— Послушай.

— Дай, я сама прочитаю.

Мария Александровна взяла листок у Ильи Николаевича и начала читать стихи, переписанные его ровным, красивым почерком.

Когда он в вечность преселился,
Наш незабвенный Николай,
К Петру апостолу явился,
Чтоб дверь ему он отпер в рай.
— Ты кто? — спросил его ключарь.
— Как кто? Известно, русский царь.
— Ты царь? Так подожди немного:
Ты знаешь, в рай тесна дорога
И узки райские врата,
Смотри, какая теснота!
— Что ж это все за сброд?
— Простой народ!
Аль не узнал своих? Ведь это россияне,
Твои бездушные дворяне,
А это вольные крестьяне.

Они все по миру пошли
И нищими к нам в рай пришли.
Тогда подумал Николай:
«Так вот как достается рай!»
И пишет сыну: «Милый Саша!
Плоха на небе участь наша.
И если подданных своих ты любишь,
То их богатства поубавь,
А если хочешь в рай ввести,
То всех их по миру пусти».

В конце стояла приписка: «Варенцов говорил, что дал списать ему эту сатиру малороссийский поэт Тарас Шевченко. Варенцов думает, что автор этой сатиры Шевченко, хотя поэт и уверял, что тоже у кого-то списал. А вот за эти строки, как сказал Варенцову сам Шевченко, он и мучился десять лет в солдатах. Сатира называется «Сон». Она большая, здесь только несколько строф, которые особенно разъярили царя Николая:

Заворушилася пустиня,
Мов із тісної домовини
На той останній страшний суд
Мерці за правдою встають.
То не вмерлі, не убиті,
Не суда просити!
Ні, то люди, живі люди,
В кайдани забиті.
Із нор золото виносять,
Щоб пельку залити
Неситому!.. То каторжні!..
А за що? Те знає...
Вседержитель...

— Жалко, но это придется уничтожить,— сказал Илья Николаевич, со вздохом откладывая листок в ту кучу, которую предстояло сжечь.

— Давай сюда. Я спрячу вместе с «Колоколом». А летом отвезу отцу. Я уже говорила тебе,— отец лечил Шевченко, еще когда тот был подмастерьем у какого-то маляра. Отец служил тогда ординатором в Мариинской больнице. Он любил этого талантливого сына крепостного и страшно возмущался тем, как с ним расправился царь. Старику приятно будет прочитать эти строки о царе, которого он жестоко ненавидел...

До самого утра они разбирали и жгли бумаги, накопившиеся у Ильи Николаевича за много лет. С некоторыми

жалко было расставаться, но и оставлять — опасно. Отдавать на сохранение — некому: те, кто мог их взять — Ауновский, Шапошников, Мартынов — тоже не были застрахованы от обысков.

11

Пока не знали имени стрелявшего, все были уверены, что он поляк. Но вот следственная комиссия установила: стрелял в царя Дмитрий Владимирович Каракозов. Русский. Да еще дворянин. Но всем так хотелось, чтобы злоумышленник был поляком, что даже после того как его имя было объявлено официально, упорно продолжали ходить слухи, что он — ксендз и только присвоил себе паспорт умершего Каракозова. Его будто бы опознал инспектор московских студентов. (Каракозов долго не называл своего имени, и, чтобы установить, кто он, его показывали всем, кто желал выслужиться перед грозным Муравьевым-вешателем.) О том, что он не русский, свидетельствует, мол, и знание польского, французского и немецкого языков. Но когда был арестован Ишутин — в номере гостиницы, где Каракозов провел ночь накануне покушения, был найден разорванный конверт с московским адресом Ишутина,— а затем и все члены их кружка, то уже никакими сказками нельзя было из Каракозова и его друзей сделать поляков. Все они были русские. После этого в народе совершенно утвердилась мысль о том, что это дворяне хотели убить царя, поскольку он собирался отобрать у них землю и отдать крестьянам. Мужики с нетерпением — им хотелось уже этой весной сеять на царских наделах — ожидали землемеров...

Слух о том, что Каракозов — бывший ученик Ильи Николаевича, мигом облетел город. Где бы Илья Николаевич ни появился, его засыпали вопросами:

— Расскажите про Каракозова...

— Это правда, что Каракозов еще в институте проявлял преступные наклонности?

А Розинг, встретив Илью Николаевича, сказал с ехидной улыбкой:

— Господин Ульянов, вас можно поздравить? Это вы воспитали гнусного злоумышленника Каракозова? Вы?

— Да, он был моим учеником.

— О, ваш ученик?! — с торжеством воскликнул Розинг.— Так я и знал! Так я и знал, что только вы могли воспитать подобного злодея. Только вы! Константин Иванович,— обратился он к Садокову,— этого нельзя так оставить, в этом нужно разобраться.

Эта угроза сильно встревожила Илью Николаевича — он хорошо знал, на какую подлость способен Розинг. Жене Илья Николаевич ничего не сказал об этом, но, встретясь с Захаровым на улице, рассказал. Тот только усмехнулся:

— Вам угрожают, а меня уже выгнали...

— Как?!

— Да так. На следующий же день после обыска...

— Гм... Что ж вы теперь будете делать?

— Пока что не знаю. Да свет не без добрых людей: авось не дадут с голоду помереть. Вот и Волга-матушка ожила, а она миллионы нашего брата кормит. Идемте, Илья Николаевич, по рюмке выпьем да потолкуем. Скучно мне без вас, а заходить боюсь: может, за мной следят, так как бы не привести к вам царских гостей...

Только теперь Илья Николаевич заметил, что Захаров уже выпил, а потому и настроение у него было, как он выражался, философское. Когда они вошли в трактир и сели, Захаров заговорил:

— Посмотрите в окно. Видите Благовещенский собор?

— Да, я в нем Сашу крестил.

— Очень жалею, что мне не пришлось выпить за его здоровье. Но мы это сейчас поправим. Эй, кто там!

— Что прикажете, Владимир Иванович? — подавив зевок, спросил половой: в трактире было пусто, и он мирно дремал у печки.

— Водки и закусить.

— Сколько водки прикажете?

— Разве ты моей меры не знаешь?

— Извините! Прикажете нести?

— Давай! Да поживее!

— Мигом.

Когда половой, помахивая грязным полотенцем, ушел, Захаров продолжал прерванный разговор.

— Вот этот столик и это окно, Илья Николаевич, войдут в историю.

— Уж не потому ли, что здесь сидим мы, учителя человека, который стрелял в царя? — с добродушной улыбкой спросил Илья Николаевич, приняв слова Захарова за шутку.

— Нет. За этим столиком сидел поэт Тарас Шевченко и, глядя в окно, рисовал Благовещенский собор. Тот собор, в котором вы крестили своего Сашу. Погода тогда была такая же, как и сейчас,— холодная, слякотная, и Шевченко, укрывшись здесь от дождя, работал, чтобы хоть этим скрасить дни своего вынужденного пребывания в городе...— Захаров помолчал, спросил: — Так, говорите, Розинг угрожал вам?

— Да. И думаю, уже настрочил донос.

— Весьма вероятно. Но не огорчайтесь! Все перемелется. Когда мне очень тяжело, я иду сюда, сажусь за этот столик. Вспоминаю, как страдал Шевченко, и все мои невзгоды как-то бледнеют.

Половой, взмахнув полотенцем, поставил на стол поднос с графином водки и закуской.

— Спасибо, братец. Принеси нам еще икорки,— распорядился Захаров, наполняя рюмки.— Ну, Илья Николаевич, позвольте выпить за вашего сына...

— Пожалуйста...

— Я думаю, что его судьба будет счастливее нашей.

— Дай бог...

Друзья выпили, закусили. В трактир никто не заходил — хлестал дождь,— и они чувствовали себя как дома.

— Ну, куда же вы, Владимир Иванович, теперь? — спросил Илья Николаевич, когда выпили по второй.

— Да хотя бы крючником на пристань! Силой меня бог не обидел. Потаскаю мешки да тюки! Все-таки это легче, чем десять лет солдатчины. А если передо мной закрыли двери всех учебных заведений, то мне все равно, каким трудом добывать хлеб насущный. Опального помещика Левашова знаете?

— Слыхал о нем.

— Зовет меня к себе управляющим. Придется, пожалуй, пойти. Хотя душа к этому и не лежит, но успокаиваю себя: Левашов почти все доходы со своего имения отдает тем, кто в тюрьмах сидит да на каторге мучается. Слышал я, что он Страндену, когда тот сюда приезжал, давал деньги на подготовку освобождения Чернышевско-

го. Но тот отказался. Ишутину и его друзьям вполне достаточно было тех капиталов, какие Ермолов получал от опекуна. Ведь ему принадлежало двенадцать тысяч десятин земли. А по достижении совершеннолетия Ермолов, как сам говорил мне, собирался вообще все свое богатство пожертвовать на революцию.

— Боюсь, что, ставши взрослым, он изменил бы свое намерение.

— Возможно. У него склонность увлекаться, всегда ходит под чьим-нибудь влиянием. А в общем, Илья Николаевич, очень мне жалко наших учеников: добрые, благородные у них сердца. И гибнут из-за того, что желали всем добра. И вот что ужасно: те, кому они желали добра, поносят их, как последних преступников. Разве это не трагедия? Митя Каракозов так и сказал, когда толпа навалилась на него: «Я же за вас, братцы...» А эти «братцы» готовы были разорвать его. И разорвали бы, если бы городовые не отстояли. Можете себе представить, как ошеломлен был бедный Митя. Пожалуй, не раз уже вспомнил Дон-Кихота, как тот сражался с ветряными мельницами, принимая их за великанов.

— Да, жалко, очень жалко их...— вздохнул Илья Николаевич.— И вот что ужасно: в царя Николая никто не стрелял, а чего только при нем не было. А стоило государю отменить крепостную зависимость, и пожалуйста: его за это едва не убили. Нет, мне трудно понять мотивы, какими руководствовался Митя. Я иногда думаю даже: в своем ли он уме?

— Он болел, но, по-моему, не настолько, чтобы не сознавать, что делал. Тем более в таком серьезном деле. Нет, все это было обдумано, подготовлено.

— Так на что же они рассчитывали?

— Был слух, что при царском дворе существует сильная партия во главе с великим князем Константином, что она ждет только повода, чтобы взять власть в свои руки и наделить крестьян землей. Митя, должно быть, думал, что, убив царя, тем самым поможет взойти на престол великому князю Константину, а тот поведет Россию по пути прогрессивных реформ.

— И вы верите, что такое могло произойти, если бы Митя не промахнулся? — спросил Илья Николаевич с оттенком нескрываемой иронии.

— Нет, я в это не верю. И не могу постичь, как мог поверить в это Митя, будучи в здравом уме. А иногда я думаю о другом: вполне возможно, что в душе матушки России, в ее могучих недрах зреют такие чувства и мысли, о каких мы и представления не имеем. Возможно, нас ожидают еще не такие потрясения, и выстрел Мити Каракозова — лишь сигнал к их началу. Ведь все эти реформы только затронули больные вопросы, только разбередили раны, которые веками ныли на теле народном... Нет, мы с вами еще увидим и баррикады, и отрубленные головы царей. Все еще будет!

12

Летели дни, недели, а жизнь все еще не могла войти в нормальную колею. Волна молебствий, ура-патриотических обедов не только не спадала, а все нарастала. Подписок проводилось столько — то на подарки Комиссарову, то на построение часовни или памятника, то вообще бог знает на какие цели,— что мелкие чиновники принуждены были влезать в долги, чтобы внести деньги. А не заплатить нельзя, ибо это означало — вылететь со службы, попасть в список неблагонадежных. За этим начальство зорко следило.

— Прямо не знаю, что делать,— говорил Илья Николаевич жене.— Нужно внести еще на золотую шпагу и на тройку лошадей для Комиссарова, а у нас осталось всего три рубля. А до жалованья еще далеко...

— Придется у кого-нибудь одолжить.

— Да у кого же? Все уже стоном стонут от этих поборов! Никто не знает, как свести концы с концами...

— Придется отцу написать...

— Да мы и так уже у него в долгу.

Мария Александровна только вздохнула: что, мол, поделаешь? Но не понадобилось писать Александру Дмитриевичу: вслед за телеграммой, в которой он поздравлял с рождением сына (а его внука), пришли от него и деньги. Александр Дмитриевич знал, что Маше нелегко живется, и помогал ей, не дожидаясь, пока она попросит.

Обед у губернатора тоже был по подписке, а поэтому поставлен на широкую ногу. Губернатор, генерал-лейтенант Одинцов, умел быть щедрым на чужой счет, умел по-

казать и свою архибдительность. Едва только был издан указ об усилении власти губернаторов, он немедленно распорядился всех женщин, которые носили круглые шляпки, синие очки, башлыки и коротко стригли волосы, считать нигилистками. Таких женщин забирали в полицию, где приказывали им переодеться и надеть кринолины. А тех, кто не подчинялся этому губернаторскому приказу, высылали за пределы губернии. Распоряжение это напечатала газета «Голос», и имя нижегородского губернатора «прогремело» на всю Россию. А в кулуарах чиновники так и называли своего губернатора: наш кринолинщик.

Илье Николаевичу не хотелось идти на обед к губернатору. Но он знал: если не пойдет, это будет воспринято как вызов всему обществу со стороны человека, бывшего учителем злодея Каракозова. Полицеймейстер, полковник Цейдлер, как сообщил Илье Николаевичу по секрету его друг Ауновский, который присутствовал при этом, расспрашивал директора гимназии о нем. Илья Николаевич ждал, что Цейдлер — особенно после того, как у Захарова был обыск,— вызовет его. Он уже обдумал, что говорить, но полицеймейстер молчал. И вот вдруг, на обеде у губернатора, Илье Николаевичу передали, чтобы он завтра явился к полковнику Цейдлеру. Так сказать, неофициально. Господин полковник просто хочет по-дружески побеседовать. По тому, с какой зловещей усмешкой смотрел на него Розинг, Илья Николаевич понял: подготовка этой «дружеской беседы» с полицеймейстером не обошлась без его участия..

— Нужно уезжать отсюда! — подвел итог Илья Николаевич, рассказав жене о том, что произошло на обеде у губернатора.

— Да, но куда?

Илье Николаевичу нечего было ответить.

— Нет, сейчас тебе никак нельзя срываться с места,— продолжала Мария Александровна, не дождавшись ответа на свой вопрос.— Теперь нужно сидеть и ждать, чем все это закончится.

— А если предложат, как Захарову, подать в отставку? Что тогда?

— Думаю, что этого не случится,— сказала Мария Александровна.— Но если судьба так накажет нас, тогда что же делать: придется как-нибудь иначе добывать хлеб

насущный. Я готова разделить с тобой, Илюша, все трудности...

— Спасибо тебе, мой друг,— с чувством проговорил Илья Николаевич и поцеловал жене руку.— Ну, я пошел к Цейдлеру...

— Только держись с ним как можно смелее.

— Ладно, ладно...

Полковник Цейдлер встретил Илью Николаевича с той подчеркнутой любезностью, с какой он встречал всех, от кого хотел что-нибудь выведать, не располагая никакими доказательствами. Он усадил Илью Николаевича в кресло, предложил папиросу,— Илья Николаевич отказался, потому что не курил,— просил чувствовать себя как дома. Долго извинялся за беспокойство. Повторил то, что Илье Николаевичу говорили, передавая приглашение Цейдлера: мол, пригласил зайти, чтобы побеседовать обо всем, что волнует сейчас все честные умы России.

— Илья Николаевич, я — солдат,— начал Цейдлер.— Буду говорить с вами откровенно. У меня есть данные, что Каракозов — ваш бывший ученик, что вы даже жили с ним на одной квартире. И хозяином этой квартиры был также бывший учитель Каракозова — хорошо известный и вам, и нам,— «и нам» Цейдлер подчеркнул,— господин Захаров, ныне, как вы знаете, изгнанный отовсюду за распространение крамольных идей. Об этом мне желательно бы знать все подробности. Но я еще раз повторяю вам — это не допрос. Нет-нет, просто... э-э... просто частный разговор, который, понятное дело, останется между нами.

— Все эти сведения ваши верны: Каракозов и учеником моим был, и жили мы одно время на квартире у преподавателя того же Пензенского института, Владимира Ивановича Захарова.

Цейдлер ждал, что Илья Николаевич еще что-нибудь добавит, но тот молчал.

— Гм... И это все, что вы можете сказать о Каракозове?

— А что ж еще сказать? Могу добавить, что был он средних способностей. Абсолютно ничем не выделялся среди остальных учеников.

— Та-ак... Ну, а скажите мне вот что. Года два тому назад к нам в Нижний приезжал один из участников этого ужасного злодеяния — тоже ваш ученик — Николай Стран-

ден. В своих показаниях он говорит, что встречался с вами. Так ли это?

— Да, он заходил ко мне.

— А не припомните ли, о чем у вас шел разговор?

— Он не закончил курса института и хотел сдать здесь экзамены на аттестат.

— Он у вас останавливался?

— Нет.

— Может, вспомните, у кого?

— Я его об этом не спрашивал,— ответил Илья Николаевич, хотя хорошо знал, что Странден останавливался у своего товарища Васильева.

— А не высказывал ли он каких-нибудь мыслей, которые стали понятны вам лишь теперь, после этого рокового выстрела? Подумайте хорошенько. Это очень и очень важно.

Илья Николаевич вспомнил: Странден много говорил о том, что необходимо освободить из ссылки Чернышевского. Уверял, что не успокоится, пока не сделает этого. Илья Николаевич очень любил Чернышевского и горячо поддерживал эти планы Страндена. Они подолгу спорили о том, как это лучше сделать.

— Нет, не могу припомнить ничего, помимо того, что уже сказал,— ответил Илья Николаевич и с улыбкой добавил: — Не забывайте, что мы не были товарищами. Мы — люди разного возраста и положения. И то, что он говорил своим друзьям, он, естественно, не мог сказать мне, своему учителю.

— Жаль, очень жаль, что вы не можете ничем нам помочь,— забыв о своих заверениях, что это не допрос, а просто «дружеская беседа», недовольно протянул Цейдлер и, помолчав, продолжал уже совсем другим тоном: — Ну, а скажите, какие отношения у вас были с вашим бывшим учеником Петерсоном?

— Дружеские. Я ценил его и хлопотал о том, чтобы его приняли после учителем в гимназию.

— Вы с ним переписывались?

— Да.

— Вы не могли бы показать его письма? Еще раз повторяю: не для протокола, а так...— Увидев, что Илья Николаевич поморщился, Цейдлер поспешил добавить: — Я только прочитаю их и верну вам.

— Дело в том, что у меня нет привычки годами хра-

нить чужие письма. Тем более что в них ничего интересного не было. Если у Петерсона сохранилось мое письмо, то вы в этом убедитесь,— сказал Илья Николаевич, поняв, что у Петерсона при обыске изъято письмо, в котором он писал ему, что открылась вакантная должность учителя приготовительного класса при гимназии.— Это было, если мне не изменяет память, в конце тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года. Николай Павлович был тогда преподавателем Бронницкого уездного училища. Служба там его не устраивала. Но должность учителя приготовительного класса ему тоже не подошла. На этом наша переписка и закончилась.

— Да, письмо ваше у Петерсона сохранилось. Оно находится в деле,— с ударением на слове «дело» сказал Цейдлер: он явно был недоволен ходом этой частной беседы, ему хотелось припугнуть Илью Николаевича.— Вот какие страшные люди вышли из Пензенского института, в котором вы имели честь преподавать!.. А скажите: в каких отношениях был Захаров со своими квартирантами Каракозовым и Ишутиным?

— В таких же, как и я.

— А почему именно этих двух учеников Захаров взял к себе на квартиру? Не из какой-нибудь особенной дружбы?

— Простите, господин полковник, но на этот вопрос лучше всего мог бы ответить сам Захаров.

— Согласен. А скажите, пожалуйста, в каких отношениях вы были с господином Захаровым?

— В самых дружеских.

— А теперь?

— Тоже.

— Благодарю!— сказал полковник так, что слышалось: «Ну, держитесь теперь!» — Прошу прощения, что отнял у вас, господин Ульянов, так много времени.

13

Все лето 1866 года Илья Николаевич прожил в постоянном душевном напряжении. Следственная комиссия во главе с Муравьевым-вешателем продолжала свою работу. Отовсюду только и слышалось: того арестовали, у того был обыск. Хватали, как после выяснилось, людей, никакого от-

ношения к делу не имевших. Один из членов комиссии, полковник Черевин, так и говорил:

— Я считаю, что нужно как можно больше арестовывать. Арест и обыск — предупредительные меры. Следствие покажет, кто виноват, а кто нет. А считать себя в таких случаях оскорбленным — никто не имеет права.

У полковника Черевина была железная логика. Но когда ни в чем не повинные люди, просидев месяцы в тюрьме, появлялись в канцеляриях, где прежде служили, то им объявляли, что на их место приняты другие. Тут тоже действовала железная логика: раз тебя арестовали — значит, заслужил.

Объявили: Каракозов приговорен к смертной казни. Он подал просьбу царю о помиловании. Все принялись гадать: помилует царь или нет. Со дня покушения прошло почти полгода, страсти понемногу утихли, и немало — хотя и робко — слышалось голосов о том, что государь по своему милосердию отменит смертную казнь. Ведь Каракозов и промахнулся, и раскаялся. Передавали даже, что Каракозов сказал полковнику Черевину, заливаясь слезами:

— Не могу не сожалеть, что намеревался убить такого правителя, как Александр Второй. Но не в него я стрелял. Я преследовал императора. И в этом не раскаиваюсь.

Слухи о том, что царь отменит смертный приговор, были так упорны, что даже спорить об этом перестали. Илья Николаевич и Мария Александровна были несказанно рады, что Митя Каракозов останется жив. Ведь он был так молод, наивен. И вдруг известие: царь утвердил приговор, произнеся при этом фразу, явно заимствованную у иезуитов: как человек, мол, он его простил, но как император, которому доверена судьба народа, не может этого сделать.

Илья Николаевич, прочитав, что царь утвердил смертный приговор Каракозову, сперва даже не поверил этому. Перечтя несколько раз коротенькое, зловещее сообщение, пошел к жене. Мария Александровна — она в это время кормила Сашу,— увидев иссиня-бледное лицо мужа, испуганно воскликнула:

— Илюша, что случилось?

— Государь утвердил смертный приговор Мите,— сказал Илья Николаевич с болью в голосе: за эти полгода они так часто говорили о Каракозове, так часто думали, судь-

ба их была так связана с ним, что они все его страдания переживали, как свои.

— Боже мой! — тихо проговорила Мария Александровна.— Где же беспредельное милосердие государя, о котором так много толковали?

Они долго подавленно молчали. Понимали: дело Каракозова — начало новых репрессий. Муравьев-вешатель, это уже достоверно известно, подал царю записку с предложением целого ряда «радикальных» законов для искоренения крамолы. По его требованию закрыты журналы «Современник» и «Русское слово». Не помогли и стихи Некрасова, которые тот посвятил Муравьеву, взяв тяжкий грех на душу, лишь бы спасти журнал. Не трудно представить себе, как теперь раскаивается поэт в своем поступке.

— Да, темные, страшные тучи опять надвигаются на Россию,— с тяжелым вздохом сказал Илья Николаевич.— Какое множество самых светлых надежд уже похоронено! И похоже, что теперь все будут заняты только одним — как отобрать у народа и то, что ему дано. Воскресные школы уже закрыли, поступление в гимназию усложнили всяческими ограничениями. А введут классическое образование — и вовсе закроются двери университетов перед выходцами из простого народа. И кому это пришло в голову, будто изучением древних языков можно выбить из юношей их вольнодумные порывы? В Пензенском институте директора муштровали учеников, как солдат, розгами секли за малейшую провинность, а вот каких бунтарей дало России это палочное воспитание...

— Это потому, что в институте не все были такими, как директор Огонь-Догоновский,— сказала Мария Александровна;. она часто бывала в Пензе у сестры Анны и хорошо знала институтские дела.

— Тоже верно. И если уж говорить вполне откровенно, то в гибели Мити повинны и мы, его учителя. А мы с Владимиром Ивановичем виноваты больше всех. Мы заронили в душу Мити и всех его друзей то семя, которое теперь так буйно проросло. Ведь сколько говорилось о счастье народа, о самоотверженном служении ему...

Заплакал Саша. Мария Алаксандровна взяла его на руки, прижала к сердцу, сказала:

— Слава богу, что хоть мать и отец Мити не дожили до этого страшного часа.

— А может быть, мать, если б она была жива, упросила бы государя помиловать ее сына,— сказал Илья Николаевич.— Ведь у государя тоже есть дети... Ах, Митя, Митя!.. Страшно подумать, что он пережил, что он чувствует сейчас в ожидании казни... Ужасно!

Газеты сообщили: третьего сентября в семь часов утра Каракозов был публично повешен на Смоленском поле. Александр Серафимович Гацисский — он был в тот день в Петербурге — рассказывал:

— Привезли Каракозова на место казни на позорной колеснице. Он так обессилел, что, пажалуй, упал бы со скамейки, если бы его не привязали к ней. Но когда колесница остановилась перед эшафотом, он словно проснулся: поднял голову, посмотрел на скопище народа и поднялся к позорному столбу. Приговор выслушал, опустив голову. Но не покаянно, а обреченно. Когда чтение приговора — я за шумом толпы ни слова не расслышал — закончилось, Каракозов снова обвел людей взглядом. Но не равнодушным, а внимательным, точно хотел увидеть хотя бы на одном лице сочувствие. На мгновение стало так тихо, что слышно было, как звякают уздечки лошадей, запряженных в колесницу. И вдруг Каракозов, приложив руку к сердцу — руку, которая не дрогнула, стреляя в царя,— начал кланяться народу, поворачиваясь на все стороны. Десятитысячная толпа, должно быть, никак не ожидала этого — сочувственно загудела. Послышались голоса: «У народа, вишь, прощенья просит...»

— И вы думаете, Александр Серафимович, он действительно прощения просил?

— А бог его знает. Может, только прощался... А может, и прощения просил. Не мог же он не понять, что выстрелом своим принес народу, из любви к которому не пожалел своей жизни, не добро, а зло. Сознание этого было, как не трудно догадаться, нравственной пыткой, пожалуй более сильной, чем самая смерть. Этот сочувственный ропот толпы был для него, может быть, самой большой радостью и наградой за муки. Он как-то просиял, выпрямился и, казалось, собрался что-то сказать, но двое палачей подхватили его под руки и потащили к виселице... У меня слезы стояли в горле, и я, боясь расплакаться, начал проталкиваться сквозь взволнованную толпу. Добравшись до

своего извозчика, велел ему гнать в город. Так без оглядки и уехал.

— А правда, что Муравьев подал государю еще одну записку?

— Этого наверняка не знаю. Но одно точно: государя засыпали всяческими записками, как мне сказали, все об одном: как можно скорее возвратиться к временам блаженной памяти царя Николая.

— И вы думаете, это возможно? — спросил Илья Николаевич, не скрывая своего отчаяния.

— Думаю, что нет. А впрочем... У нас на Руси все возможно. Поживем, Илья Николаевич, увидим...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

риближался день рождения Саши. Мария Александровна сшила ему широкие шаровары, белую рубашечку. Отец купил сапожки. Саша надел все это, посмотрелся в зеркало, сказал:

— Теперь можно и к бабусе ехать.

— А если бабуся спросит: сколько тебе лет, внучек?

— Я скажу: сегодня три.

— Прекрасно,— рассмеялся Илья Николаевич, обнимая Сашу.— Три года! Как быстро время летит!

— А разве у времени есть крылья? — спросила Аня, тоже забравшись на колени к отцу.

— Есть, Анечка!

— А какие они? Такие, как у чайки?

— Нет, такие, как у жар-птицы.

— А, знаю! Знаю! —захлопала в ладошки Аня.— Мама нам сказку про жар-птицу рассказывала.

Никаких нянек у Ульяновых не было: Мария Александровна сама воспитывала Аню и Сашу. Была у них только служанка, которая прибирала в комнатах и вместе с Марией Александровной готовила обед.

Весь свой досуг Мария Александровна отдавала детям. Когда Аня и Саша подросли, ей пригодились педагогические познания и начитанность в вопросах воспитания: она не только прочитывала все статьи, какие приносил Илья Николаевич, но и высказывала о них свои оригинальные

суждения. Илья Николаевич, слушая ее, порою вскакивал с места и начинал взволнованно ходить по кабинету, говоря:

— Какой педагог погибает! И во всем я виноват!

— Полно тебе, Илюша,— с мягкой улыбкой говорила Мария Александровна.— Никакой твоей вины в этом нет. Виноваты законы наши: в такое положение поставлены женщины. Ведь наши порядки схожи с европейскими в одном только — что мы не носим чадры,— а во всем прочем, что касается женщин, обычаи у нас совершенно азиатские. Пожалуй, не доживем мы до поры, когда женщина на Руси займет в обществе то место, о котором так хорошо сказал Чернышевский в «Что делать?».

— Нет, доживем! Доживем, Машенька! Россия хотя и медленно, со скрипом, а сделала все-таки за это десятилетие очень заметный — да что там заметный: огромный! — шаг вперед. Одна отмена позорного рабства — событие, равного которому нет в истории России. Нет, уж если река взломала лед, то не миновать половодья...

— Что-то не очень заметно...

— Терпение, Машенька, терпение. Не все сразу. Порою бывает, и хуже вроде бы становится, но это только весенние заморозки. Весна все равно возьмет свое!

— Дай бог...— сдержанно отозвалась Мария Александровна.

Обстановка в семье содействовала развитию способностей Саши. Мария Александровна уделяла ему много времени, а он легко схватывал все. Если с Аней Марии Александровне пришлось много потрудиться, когда она начала заниматься с нею чтением и письмом, то Сашу она сдерживала, боясь перегрузить не совсем еще окрепшую память ребенка: так быстро схватывал и так прочно запоминал он все.

Семья оказывала большое влияние на Сашу, но сказывалось и то, что он бывал в среде гимназистов, видел их радости и горести. Иногда Мария Александровна выпускала Аню и Сашу одних погулять во дворе. Стоило Саше появиться, как его мигом окружали гимназисты. Это вызывало ревность Ани. Как старшая, она все боялась, что кто-нибудь обидит ее маленького, такого тихого и застенчивого братца. Она крепко держала его за ручку и то и дело охорашивала малыша, стараясь, чтобы ее братик был красивее всех. Саша покорно сносил эту опеку: он был

еще слишком мал, чтобы стесняться внимания девочки. И когда гимназисты говорили ему, что мальчику не полагается слушаться девочки, он только удивленно моргал своими большими, не по-детски серьезными глазами.

Когда Саша освобождался от цепкой Аниной руки — заигравшись с подружками, сестренка забывала о нем,— он, заложив руки за спину, совсем так, как это делал отец, важно расхаживал по двору. И его чернобровое личико было так серьезно, как будто он был поглощен какими-то необычайно важными вопросами. Гимназисты, увидав его из окон класса, говорили: наш Саша, как видно, к экзаменам готовится. А выскочив на перемене, окружали его тесным кольцом и разговаривали с ним, как с ровней. Да и можно ли было относиться к нему иначе, если он по-немецки говорил лучше, чем гимназисты последнего класса. Знал также много французских слов и фраз. Память у него была такая, что все сказанное ему мог свободно повторить спустя несколько дней. Дружбе Саши с гимназистами младших классов Мария Александровна и Илья Николаевич не препятствовали. Они видели, что по своему развитию он тянется не к ровесникам — с ними ему было скучно, а к старшим мальчикам. И когда гимназисты, готовясь к экзаменам, зубрили во всех углах двора, он не мог усидеть дома: так ему не терпелось услышать, что они читают вслух из своих учебников. Нередко он, наслушавшись, как гимназисты зубрят ненавистную им латынь, дома пел на разные голоса: репето, репетис, репетит...

— Саша, ну что ты говоришь так непонятно! — сердилась Аня.— Кто тебя научил?

— Почему непонятно? — удивлялся Саша.— Репето — это значит повторяю. Ведь правда, мама?

— Правда,— с улыбкой отвечала Мария Александровна.

— Вот видишь,— торжествовал Саша,— значит, они меня не обманули! И я это буду отвечать на экзаменах, когда пойду в гимназию. Правда, мама?

— Правда, правда, Сашенька...

День рождения Саши отпраздновали скромно: пришли только крестная мать Матильда Ивановна, крестный отец Михаил Павлович да Шапошниковы. У Гавриила Гавриловича Шапошникова недавно был обыск. Полиция,

налетев внезапно, рассчитывала найти у Шапошникова документы о его связях с политическими. Но просчиталась: Гавриил Гавриилович узнал, что за ним ведется секретное наблюдение, и отвез всю нелегальную литературу в глухую деревеньку, к родителям жены. Обыск не испугал его: он с обычным своим юмором рассказывал, как помогал малограмотному полицейскому просматривать его библиотеку.

Саша слушал, а когда Гавриил Гавриилович замолчал, спросил:

— А мне вы дадите почитать какую-нибудь книжку?

— Как? Разве ты умеешь читать? — удивился Шапошников.

— Умею,— с достоинством ответил Саша.

— Мария Александровна! Илья Николаевич! Что я слышу!

— Знаете, Гавриил Гавриилович, это и для нас было сюрпризом,— сказала Мария Александровна, любовно поглаживая кудрявую головку Саши.— Я начала учить Аню грамоте по звуковому методу. Ведь она на два года старше Саши, ей скоро в школу. Ну, а Саша сидел рядом, слушал и вот, извольте: читает не хуже Ани.

— Э, брат! — с восхищением сказал Гавриил Гавриилович.— Да ты этак к восьми годам, пожалуй, за весь курс гимназии экзамены сдашь! Ну-ка, прочитай нам что-нибудь.

Саше дали учебник известного педагога Ушинского «Детский мир». Он раскрыл наугад книжку и начал читать, твердо, четко выговаривая слова:

— «О человеке. Я человек, хотя еще и маленький, потому что у меня есть такая же душа и такое же тело, как и у других людей. Тело мое состоит из семи главных частей: головы, шеи, туловища, двух рук и двух ног. Голова моя по форме несколько похожа на шар...»

— Будет! Будет! — отбирая у него книгу, остановил Гавриил Гавриилович.— Умница! Вот так, брат Сашка, всегда делай: не жди, пока тебе разжуют и в рот положат, а сам все бери от жизни. Понял меня?

— Понял,— так серьезно ответил Саша, что казалось, он и в самом деле понимает то, о чем говорит этот веселый, добрый дядя, которого гимназисты, как он слышал, называли, точно маленького,— Гавря.

— Умница! — повторил Шапошников, весело блестя глазами.— И всегда помни, Сашенька, что самая главная часть тела человека — его голова...

— Я это знаю,— ответил Саша.

— Прекрасно! Восхищен твоими знаниями. Может, ты скажешь, зачем нужна человеку эта грешная голова, похожая на шар? Чтобы шапку носить?

— Да, чтобы шапку носить. И если нужно — думать.

— Значит, все-таки и думать? — с веселым смехом сказал Шапошников.— Ну, тогда у меня больше нет вопросов. Молодчина, Сашенька!

— Ну, а теперь ступайте в свою комнату играть,— высаживая из-за стола Сашу и Аню, сказала Мария Александровна.

Аня и Саша, взяв за руки маленького Колю Шапошникова, ушли. Дамы тоже вышли вслед за детьми, а мужчины, выпив еще по рюмке, заговорили о том, что их больше всего волновало: о недавних выступлениях студентов Петербургского университета, медицинской академии и технологического института. Студенты еще в январе потребовали разрешить им свободно собирать сходки для обсуждения своих дел. Это вызвало сильное возмущение в правительственных сферах. Особенно напугало выступление студентов технологического института, который считался полувоенным учебным заведением. Реакционная печать всячески старалась преуменьшить размах демонстрации. Двадцать первого марта газета «Петербургские ведомости» сообщила, что в сходке участвовало всего сорок человек, а остальные — более пятисот человек — им не сочувствовали и что будто бы все лекции состоялись. Но на следующий же день газета вынуждена была признать, что в сходке участвовала добрая половина всех студентов и что состоялась только одна лекция.

Для усмирения студентов послали жандармов. Петербургский обер-полицеймейстер генерал Трепов самолично приехал в университет, чтобы утихомирить, как писали газеты, бесчинствующих студентов, которых подстрекают нигилисты. Двадцать второго марта на улицах Петербурга прохожие увидели разбросанные прокламации — студенты призывали поддержать их требования. А требования студентов были такие: разрешить сходки, организацию касс взаимопомощи и библиотек, свободных от полицейского

надзора. Студенты требовали также, чтобы им разрешили выбирать своих депутатов для участия в распределении стипендий и пособий. «Общественность» ответила на это обращение студентов трусливым молчанием, а газеты — отборной бранью. Газета «Весть» напечатала обращение студентов со своими комментариями, смысл которых сводился к одному: нужно разыскать и сурово наказать виновников, чтобы другим неповадно было.

Такая же прокламация появилась и в Нижегородской гимназии. Вывешена она была в темном коридоре, куда гимназисты бегали на переменах курить. Прокламация, приклеенная к стене хлебным мякишем, провисела там два дня, пока не попалась на глаза инспектору Юшкевичу. Поднялся такой переполох, словно Юшкевич нашел бомбу, готовую вот-вот взорваться. Директор гимназии Садоков, оборвав на полуслове урок, помчался с прокламацией к полицеймейстеру, боясь, чтобы кто-нибудь не опередил его. Полковник Цейдлер, прочитав листовку, весь побагровел и начал отчитывать Садокова:

— Вот последствия вашего либерализма, господин Садоков! Вы думаете, это гимназисты принесли? Нет! Это дело рук ваших учителей. Да, да! В нашей гимназии воспитывают новых Каракозовых, а вы миритесь с этим, покрываете крамольников.

— Простите, господин полковник! — взмолился насмерть перепуганный Садоков.— Откуда у вас такие сведения?

— Как откуда? — загремел полковник.— А разве те, кто воспитывал Каракозова, не у вас служат? Разве не вы сами были инспектором Пензенского института, где обучался Каракозов?

Садокову нечего было возразить: он был инспектором Пензенского дворянского института, когда там учился Каракозов. Из-за этого он и не мог, как Розинг, непрестанно напоминать Илье Николаевичу о том, что Каракозов — его ученик. И когда Илье Николаевичу напоминали об этом другие, у Садокова невольно покалывало под сердцем. Он решил выжить из гимназии тех, с кем служил в Пензе, и сделать это тихо и незаметно. Одного своего пензенского коллегу — Владимира Александровича Ауновского — он уже принудил уйти из гимназии. Оставался только Ульянов. Но как уволить Илью Николаевича, если в отчете

Казанского учебного округа за 1867/68 год его педагогическая деятельность оценивалась так: «Ульянов, снискавший себе известность отличного педагога, по достоинству занимает принадлежащее ему место между лучшими преподавателями. Его мягкое и симпатичное обращение с воспитанниками, всегда ровный и благоразумный такт привлекают к нему учеников и заставляют охотно заниматься. Самое его преподавание отличается ясным и толковым изложением и тем терпеливым вниманием, которым он слабых и менее развитых учеников доводит до полного усвоения преподаваемого».

Студенческую прокламацию нашли в гимназии в последний день занятий. Отсрочить начало вакаций никто не имел права. Решили задержать нескольких гимназистов старших классов, на которых падало подозрение, и допросить их. Но это ничего не дало: все уверяли, что не только ничего не знают о листовке, но даже не видели ее. Просили показать им, чтобы хоть знать, какая она. Но Садоков ничего не мог показать, потому что прокламация осталась у полковника Цейдлера. Гимназисты возмущались, грозили, что будут жаловаться, что их незаконно — и безвинно! — лишили вакаций. И Садоков, посоветовавшись с полковником Цейдлером, распустил всех по домам, решив продолжить розыски виновного после возвращения с вакаций.

— Начали с допроса гимназистов, а кончат нами,— сказал Шапошников.— И мне, конечно, первому придется отвечать. Ведь не зря приходили ко мне с обыском. Ну, да я не тужу: чему быть, того не миновать. Не такие люди, как я, в Сибири кандалами звенят. Чернышевский, Серно-Соловьевич, Михайлов, Плещеев, Лавров... Всех не перечтешь. Не утони Писарев в Рижском заливе, так, наверно, тоже на каторге очутился бы. А помните, как верно писал он два года назад: «Мы переживаем мудреное и тяжелое время. У нас зарождаются противоположные партии, и это зарождение,— процесс совершенно естественный, законный и необходимый,— при нашей неопытности, при нашем полном неумении жить и думать собственным умом, кажется нам началом ужасной общественной болезни». Нет, какое все-таки у нас окостенение умов! Какая ужасающая боязнь отступить хотя бы на шаг от старых порядков. Ну что сделали бы эти мальчики-студен-

ты? Государственный строй изменили бы, если б им было позволено, как они требовали, иметь свои кассы взаимопомощи? Вот уж поистине: и грустно, и смешно! Нет, мы, должно быть, не успокоимся, пока не введем единомыслия на Руси. Лишь при абсолютном единомыслии, строго ограниченном инструкцией, самодержец сможет спокойно дремать на троне, не боясь, что его разбудят выстрелом, что выстрел этот прервет умственный сон его верноподданных! Спать, спать, ведь кто больше спит, тот меньше грешит! Эту истину отлично понял министр народного образования, обер-прокурор Синода граф Толстой, потому и поспешил ввести классическое образование. Ведь ничто так не усыпляет и не отупляет молодые умы, как зубрежка мертвых языков! Не знаю, как вы, а я откровенно сочувствую ученикам. Знаю, что меня за это, мягко говоря, не похвалят, но не могу лукавить!

— Да, дивные метаморфозы происходят,— как бы размышляя вслух, проговорил Илья Николаевич.— Всюду только и говорят, что людей — особенно молодых! — должен направлять страх. Все должны чего-то бояться: одни — судей, другие — своего начальства, третьи — родителей. Бога, черта, смерти, ада... Один лишь страх способен охранить закон, уберечь человеческую добродетель. Мудрецы, рассуждающие таким образом, забыли, что страх уже правил нами двадцать пять лет. И чем же закончилось это царство страха? Позорной Крымской войной, которая показала всему миру наше убожество.

— Все это верно,— подал и свой голос Мальцев.— На страхе далеко не уедешь. Как человек, которым безраздельно овладел страх, кончает безумием, так и общество, над которым царит страх, кончает, фигурально выражаясь, умственным разладом. Но я думаю, что мы, старшие, должны придерживать устремления младших. Подчеркиваю, не останавливать, а придерживать. Если мы не сделаем этого, то не исключена возможность, что молодежь, неудержимо устремляясь к лучшему, наделает худшего, не имея ясного представления ни о том, ни о другом. Ведь никто не станет спорить, что мир младшими обновляется, а старшими поддерживается в равновесии, без чего невозможно никакое движение.

— Ребенок, Михаил Павлович, как вы знаете, радуется, что его водят за руку, только до тех пор, пока сам

не научится ходить,— сказал Илья Николаевич.— Таков закон и физического, и умственного развития человека. Помните, что говорил граф Дмитрий Андреевич Толстой, когда отправился ревизовать Саратовскую гимназию, где когда-то обучался страшный враг его — Чернышевский? Он сказал, что немедленно прекратит проникновение нигилизма в среду учащихся. С тех пор прошло уже три года. И что же? Нигилизм не только не исчез, а продолжает с еще большей силой овладевать молодыми умами.

— Что ж по-вашему, никаких мер не нужно принимать? — спросил Мальцев.

— Отчего же? Этого требуют все инструкции. Да вот вопрос: можно ли всеми этими мерами — даже самыми жестокими! — остановить то, что, как мне кажется, неподвластно человеку? Независимо от того, какой пост он занимает. Нельзя же, дав народу свободу, запретить ему свободно думать, а граф Толстой только об этом и беспокоится. Да, незавидную роль приходится играть нам, учителям...

— Вам-то что? — сказал Гавриил Гавриилович.— Дважды два, слава богу, всегда было четыре. А вот что нам, историкам да словесникам, делать? Ведь заставляют называть черным то, что еще вчера было белым. Ведь это ужас! Это наказание! Пытка, какой не было, пожалуй, и во времена инквизиции! Верить в одно, а проповедовать другое. Порою мне кажется, что все у нас держится только на обмане. И все понимают — начиная с государя и кончая последней канцелярской сошкой,— что лгут, но, как Хлестаков, остановиться не могут.

Мария Александровна предложила выпить чаю. Перешли в гостиную, разговор перекинулся на другую тему, которая явилась как бы продолжением начатого. Вспомнили хищение в Нижнем Новгороде соли и железа на полтора миллиона рублей. Заговорили о казнокрадстве, о разорении крестьянства, о страшном голоде, пустившем по миру миллионы людей. И в хороший год мужик-волгарь еле-еле сводил концы с концами, а в засушливый (каким был 1867-й) уже с осени начал волком выть от голода.

— О каких же высоких материях может думать мужик, когда он голоден? — сказал Мальцев.— Нет, нужно прежде всего дать нашему мужику хлеба досыта наесться, а уж тогда учить его грамоте.

— Вот с этим я, Михаил Павлович, никак не могу согласиться! — возразил Илья Николаевич.— Хлеб хлебом, но пока мужик будет прозябать в беспросветной темноте, нечего и думать, что Россия выбьется из ряда самых отсталых государств; что мы научимся жить своим умом, научимся делать добро народу, а не только говорить об этом!

2

Илье Николаевичу пришлось серьезно задуматься — как же быть дальше. Ясно было одно: оставаться в гимназии — особенно в Нижегородской — это значило жить в постоянном беспокойстве за завтрашний день. Он отлично знал, что если бы не поддержка Тимофеева, все еще состоявшего инспектором Казанского учебного округа, давно его выжили бы из гимназии.

— Поезжай к Тимофееву, попроси, чтобы тебя перевели в другое место, ведь он может сделать это,— говорила Мария Александровна, когда Илья Николаевич возвращался домой грустный и подавленный.

— Я и так уж бог знает как обязан ему. Если б не Тимофеев, меня Розинг давно съел бы. Он так нагло обходится со мной, что одна мука встречаться с ним. И я чувствую, что он не успокоится, пока не причинит мне непоправимого зла.

В начале мая 1869 года Александр Васильевич Тимофеев приехал в Нижний Новгород и зашел к Ульяновым. Илья Николаевич несказанно обрадовался ему. До поздней ночи Александр Васильевич выслушивал исповедь своего друга, которого искренне любил. Когда Илья Николаевич закончил, Александр Васильевич спросил:

— А инспектором народных училищ вы пошли бы?

— С дорогой душой! Но таких вакансий нет!

— Пока еще нет, но скоро откроются. И мне уже приказано подбирать кандидатуры во все губернии нашего учебного округа. Самая худшая у нас губерния — Симбирская. Там с народным образованием очень плохо. Если вы согласитесь поехать туда, я буду рекомендовать вас на это место.

— Александр Васильевич, родной мой! Я буду рад, если вы доверите мне народное образование. Да еще целой губернии. Одно меня беспокоит: под силу ли мне такое трудное и новое для меня дело?

Тимофеев отпил глоток уже простывшего чая и сказал со своей доброй улыбкой:

— Легкой жизни обещать не могу. Но если б я не был уверен, что вы подымете это трудное дело, то, поверьте, не предлагал бы его вам. У вас есть время подумать, все взвесить, посоветоваться с супругой и тогда уже решать. В Симбирске, как вы знаете, недавно был пожар, выгорел почти весь город.

— Мне писал об этом Ауновский. Но я меньше всего забочусь о выгоде. Было бы дело по душе, а прочее, как говорят, приложится. Я не раз говорил, что чувствую себя неоплатным должником перед народом, из которого сам вышел. Кто-кто, а вы, Александр Васильевич, учительствуя в Астраханской гимназии, сами видели, как мне давалась наука.

— Знаю. Босым и голым были... Кстати, как ваша матушка, ваш брат? Живы? Здоровы?

— Матушка очень болеет. И не удивительно: жизнь у нее, бедной, нелегкая была. А брат Василий так и остался холостяком: заменил мне и сестре отца. И теперь у него на руках — мать, тетка Татьяна, сестра Феодосия. Только сестра Мария вышла замуж еще при жизни отца. Да и у этой муж из обедневших купцов — болтун и пьяница. Теперь хоть я помогаю им, так брату немного полегче. А когда я учился в университете и мне отказали в стипендии, просто вспомнить страшно, как горько доставался нам кусок хлеба...

— А вы думаете, сейчас выходцам из народа наука легче дается? О, нет! Из тысячи выбиваются в люди буквально единицы. Как видите, разговоров о народном просвещении очень много, а дело до сих пор на месте стоит. А ведь уж восемь лет прошло с того дня, как крепостных не стало. Можно было бы подготовить целое поколение грамотных людей. Сейчас большие надежды возлагают на инспекторов. Я тоже думаю, что инспектор — если он не бездушный чиновник, а человек, глубоко преданный делу народного образования,— многое может сделать. Но нужно создавать школы, а уж тогда инспектировать. Все, что

пишут о сельских школах, земских училищных советах, мягко говоря — вранье. Многие школы — если не подавляющее большинство — существуют только на бумаге. В этом я убедился, побывав в нескольких уездах той же Симбирской губернии. Вот какое наследство достанется вам, Илья Николаевич, если вы — после нашего откровенного разговора — не раздумаете ехать инспектором.

— Я, Александр Васильевич...— начал Илья Николаевич торжественно, словно произнося клятву,— готов на любые испытания, лишь бы помочь народу выбраться из вековечной темноты!

— Спасибо вам, мой друг! — с волнением пожал руку Илье Николаевичу Тимофеев.— Очень рад видеть, что сердце ваше не зачерствело. Можете считать вопрос решенным: заканчивайте учебный год и собирайтесь...

Было уже поздно, когда Тимофеев ушел. Илья Николаевич решил было отложить разговор с женой на завтра, но ему не удалось скрыть свое волнение. Мария Александровна всегда улавливала, когда он хотел что-то утаить от нее. Подумала, что Тимофеев сообщил мужу какую-то неприятную новость и он наигранной беззаботностью хочет прикрыть свои подлинные чувства. Пристально посмотрела на Илью Николаевича, и ее карие глаза тревожно потемнели. Она не стала расспрашивать мужа о том, что случилось, а — чтобы дать ему время успокоиться — позвала в детскую и попросила помочь ей уложить спать Аню и Сашу.

— Мамочка, поиграй нам,— попросила Аня, кутаясь в одеяльце.

— Хорошо. Только закройте глазки и слушайте...

Мария Александровна на цыпочках вышла из детской и села за фортепиано. Тонкие пальцы ее легко пробежали по клавишам, и комнату наполнили тихие, нежные звуки. В них, в этих звуках, было столько материнского тепла и любви, что Аня и Саша заснули со счастливыми улыбками на лицах.

По одному тому, как посмотрела на него жена, как изменилось выражение ее лица, когда он, проводив Тимофеева, вернулся в комнату, Илья Николаевич понял — она внутренним чувством своим уловила: он готовится что-то сказать ей, но выжидает. Еще раз обдумав все, пока она играла, Илья Николаевич решил не откладывать

разговора, чтобы не обидеть жену. И когда в лунном сиянии весенней ночи замер последний звук, он взял ее руку, поцеловал. Тихо, чтобы не разбудить детей, спросил:

— Ты уже догадалась — я что-то задумал?

Мария Александровна повернула к нему озаренное луной и оттого еще похорошевшее лицо, пожала тонкими пальцами его руку. Илья Николаевич потер ладонью свой высокий, с залысинами, лоб — как знаком ей был этот невольный жест! — сказал:

— Машенька! Друг мой! Выслушай внимательно, что я тебе скажу.

— Тебе Александр Васильевич что-то предложил? — вся загоревшись, с необычным для нее нетерпением спросила Мария Александровна.

— Да.

— Слава богу!

— Да подожди радоваться! Дело в том, что он предложил мне место не в гимназии.

— А где же? В округе?

— И не в округе. Александр Васильевич предложил мне место инспектора народных училищ Симбирской губернии. Ну, как ты на это смотришь? Предупреждаю: жить тебе придется в сожженном Симбирске, а мне — в постоянных разъездах по школам губернии. Ну, что ты скажешь?

— Я готова ехать хоть завтра! — ответила Мария Александровна.

Илья Николаевич обнял жену и с чувством поцеловал. Потом они, чтобы не разбудить детей, перешли в кабинет Ильи Николаевича и долго беседовали о том, как будут жить на новом месте.

— Я знаю, Машенька, там будет очень трудно. Ведь земство только начинает организовывать народные школы. Делало оно это робко, потому что закоренелые крепостники и слушать не хотят о просвещении народа. Утверждают, что образование совсем испортит мужика. Но я по участи отца моего, который едва умел расписаться, по участи неграмотной матери моей, по участи сестер моих, а не по барским разглагольствованиям знаю: не свобода и просвещение, а нищета и темнота — вот что губит наших людей, а вместе с ними и всю Россию.

Илья Николаевич помолчал и снова заговорил:

— Если бы ты знала, Машенька, как брат Вася хотел учиться! Но успел закончить лишь приходское училище. А тут умер отец, и пришлось ему все заботы о семье взвалить на свои плечи. И шесть душ кормить, и долги платить за купленный отцом дом. Вот и пришлось ему вместо гимназии идти к купцам Сапожниковым в объездчики на соляные промысла. Да и меня такая же участь ожидала бы, если бы Василий не помог! Я не могу спокойно...— Илья Николаевич помолчал, стараясь победить предательский комок в горле.— Я и теперь не могу спокойно вспомнить, какими глазами смотрел он на меня, провожая в Казань, в университет. Смотрит на меня, а в добрых глазах его — и боль, и радость. Боль оттого, что судьба так жестоко с ним обошлась, и радость — чистая, подлинно человеческая радость! — оттого, что хоть брат его, которого он растил, как сына, все-таки войдет в храм науки. Последние гроши посылал мне и все просил — да что просил — умолял! — держись, Илюша! И как он радовался, когда меня — после того как я почти полгода посещал лекции на правах вольнослушателя, потому что мещанская управа никак не соглашалась отпустить меня в университет — наконец зачислили студентом. Он плакал от радости, как после рассказывал мне, и целую неделю служил в церкви Николы Гостинного благодарственные молебны. Истинно святая душа! Вовек не забуду того, что он сделал для меня...

Со дня свадьбы Ильи Николаевича и Марии Александровны прошло уже пять лет. Каждый год Мария Александровна собиралась навестить родственников мужа, но всегда что-нибудь мешало. То Аня была еще маленькая, то Саша. То Илья Николаевич не мог сопровождать ее, а одна она не отваживалась уезжать так далеко с двумя малыми детьми. Но теперь дети подросли, можно, пожалуй, и съездить. Поэтому, когда Илья Николаевич, взволнованный дорогими сердцу воспоминаниями, печально затих, она сказала, взяв его за руку:

— Илюша, знаешь что? Давай поедем летом к твоим?

— Вот хорошо было бы! — радостно просиял Илья Николаевич.— Мама — пишет Вася — уже во сне внучат своих видит. Но вот беда: если мне дадут должность инспектора, я никак не смогу поехать. Пока здесь рассчитаюсь, пока вещи на баржу погружу да в Симбирске

подыщу какой-нибудь угол, чтобы хоть на время приютиться,— и лето пройдет.

— Отпусти нас одних.

— Маша, я прямо не знаю...— дрогнувшим голосом начал Илья Николаевич.— Для них это была бы такая радость... Я только боюсь, что тебе будет трудно с двумя детьми. Ну, да я вас довезу до Казани, а там...

— Мы и сами дорогу найдем!

— Ах, как это будет славно! — воскликнул Илья Николаевич так, словно только теперь поверил, что жена поедет в Астрахань.— Ты, Машенька, представить себе не можешь, как вас там встретят. Ведь они все: и мама, и Вася, и Феня, и Мария — очень добрые люди. Одно воспоминание о них всегда согревает мне душу. Конечно, живут они просто...

— Не надо об этом,— мягко остановила мужа Мария Александровна.— Давай лучше подумаем о том, когда удобнее поехать...

Друг Ильи Николаевича Ауновский, с которым он служил и в Пензе, и в Нижнем, уже три года жил в Симбирске. Илья Николаевич известил его, какую должность предложил ему Тимофеев, просил написать несколько слов о Симбирске, где никогда не бывал. Случалось только проплывать мимо и ночевать на пароходе у пристани,— капитаны побаивались плыть ночью по реке. Ауновский очень обрадовался, узнав, что Ульяновы, которых он искренне любил, переедут в Симбирск. Он подробно рассказал о городе, о себе. Обещал помочь во всем.

«Прекрасно понимаю,— сообщал Ауновский,— что в описание города я вложил большую долю субъективизма. Так вот вам, дорогой Илья Николаевич, мнение о Симбирске некоего Шлыка, напечатанное в газете «Волга» незадолго до пожара: «Этот город, кажется, самый отсталый изо всех своих соседей. Он как будто закостенел в одном положении, в котором был назад тому несколько десятков лет.

Симбирск не возвышается, а если не возвышается, то, стало быть,— падает. То ли крутая и великая гора, на которую бог ведает, для чего взгромоздился Симбирск, виновата в его отсталости и безжизненности в такое время, когда мимо его прокатывается богатая и широкая жизнь, или что-то другое тому причиною? Было время,

когда Симбирск жил пошире и погромче своих перещеголявших его теперь соседей, когда, например, Самара только удивлялась ему и почтительно преклонялась перед ним. Но то было одно время, а теперь другое. И чем дальше будет уходить от настоящего то темное и неприглядное время, время дикости Заволжья, время откупа и прежних условий жизни, тем больше будет отставать Симбирск от своих соседей».

Как видите, дорогой Илья Николаевич, господин Шлык нарисовал картину прошлого Симбирска, пророчит ему будущее. Я с этим пророчеством не могу согласиться. Симбирск, конечно, не сравнить с Нижним Новгородом. Особенно сейчас, после страшного пожара, который оставил всего лишь треть города. Сгорело полторы тысячи домов, не тронул пожар только часть Московской улицы, Конной, Покровской, Солдатской. За пятьдесят верст, говорят, было видно, как взрывались пороховые погреба, как пылали соборы и здания. Над городом висела такая туча дыма, что в десяти шагах ничего нельзя было увидеть. Буря была так сильна, и огонь так быстро охватывал целые кварталы, что даже из казенных учреждений ничего не смогли спасти. Все думали, что Страшный суд настал. Теперь люди уже начинают вылезать из землянок в отремонтированные дома. Но чтобы город полностью возродился, нужно, разумеется, не пять и не десять лет...»

— Ну, что скажешь? — спросил Илья Николаевич жену.

— Живут же там люди. Будем жить и мы. А возродится город, может быть, гораздо скорее, чем кажется Владимиру Александровичу. Помнишь, как горела наша ярмарка? Это было в тот год, когда родилась Аня. Значит, прошло всего пять лет. А посмотри, как ее отстроили. И она стала намного красивее, чем прежде.

3

После встречи с Тимофеевым у Ильи Николаевича отлегло от сердца. Радовало его и то, что жена, зная, как разорен пожаром Симбирск, согласилась покинуть красивый Нижний Новгород, который купцы называли третьей столицей России.

Когда Илья Николаевич сказал Садокову, что ему предложили должность инспектора, Константин Иванович сделал вид, будто очень огорчен тем, что Ульянов покидает гимназию, но в душе обрадовался. А когда увидел, что Илья Николаевич поверил в искренность его огорчения, начал говорить, что и ему опостылело директорство — особенно трудно, мол, работать теперь, после введения классического образования,— и он сам с большим удовольствием перешел бы куда-нибудь, да ничего не предлагают.

— Нет, нет, Илья Николаевич! — закончил он с наигранным пафосом.— На вашем месте я без колебаний принял бы эту должность. И хотя мне тяжело будет расставаться с вами, но, желая вам добра, я не стану препятствовать вам получше устроиться...

Однажды, когда Илья Николаевич возвратился с уроков, Мария Александровна сказала ему с улыбкой:

— У нас, Илюша, гость...

— Кто? — оживился Илья Николаевич — он по выражению лица жены понял, что гость не обычный.— Уж не отец ли приехал?

— Нет, Логинов.

— Чудесно! А где же он?

— В твоем кабинете.

— Рад, очень рад вас видеть! — энергично пожимая руку Логинову, говорил Илья Николаевич.— Каким ветром вас к нам занесло?

— Не спрашивайте! — махнул рукой Логинов, и его широкое лицо потемнело.— Гоняли меня из одной гимназии в другую, а теперь и совсем выгнали.

— Да за что же? — удивился Илья Николаевич.

— За попытку популяризировать среди учеников — как сказано в приказе — идеи крайнего социализма...

— Скверно,— вздохнул Илья Николаевич.— Где же вы теперь?

— Пока нигде. Вот думаю здесь, в Нижнем, устроиться, да не знаю, удастся ли. А как ваши дела? Я слышал, у Захарова и у вас был обыск после того, как Митя Каракозов выстрелил в царя. Так ли это?

— У Владимира Ивановича был, а меня бог миловал.

Может быть, оттого, что у Захарова они не нашли никаких доказательств его причастности к покушению. Да, выстрел Мити Каракозова много бед натворил. Говорят, министр внутренних дел граф Шувалов представил в Государственный совет доклад, в котором утверждает, что все Поволжье заражено нигилизмом...

— Каждый за каждым следит, каждый на каждого доносит. Все, что было сделано для народа, отменяется. Если б можно было, так и свободу, данную народу, отменили бы. Да, видно, боятся новой пугачевщины.— Логинов помолчал и снова заговорил: — Чем-чем, а плетьми, кандалами, тюрьмами, каторгами Россия всегда была богата. Кажется, Ермак и завоевал Сибирь для того только, чтобы ссылать туда инакомыслящих! Кого туда не засылали! Борис Годунов даже колокол отправил в ссылку... Ну, а как же вам, Илья Николаевич, живется здесь?

— Решил бежать.

— Да что вы? — удивился Логинов.— Куда же, если это, конечно, не секрет?

— Предлагают должность инспектора народных училищ Симбирской губернии.

— Вот как! И вы согласились?

— Да.

— Гм...

— Я вижу, вам это не нравится? Почему?

— Да знаете... Не хочется вас огорчать, но...

— Говорите, говорите...

— Илья Николаевич, неужели вы не знаете, что эта мера правительства, как и все, что сейчас делается, принесет не пользу, а вред делу народного образования! Вводя должность инспектора, правительство лишает тем самым наши земства — на которых пока что только и держатся народные школы — всякой инициативы, возможности сделать хоть что-нибудь для народного просвещения. Поставить под надзор, сковать по рукам и ногам, оказенить, свести все к жалким церковноприходским школам — вот цель, которую преследуют власти, вводя должность инспектора. И я лично — еще раз прошу прощения, что говорю так откровенно,— пошел бы грузчиком на пристань, но не инспектором!

— Простите, но я не могу согласиться с вами! — энергично возразил Илья Николаевич.— Никак не могу! И вот

почему: при всем желании инспекторы не могут принести вреда школам, потому что их нет! Да, да — нет! Все то, что пишут в газетах,— там-то открыли школу, там...— это наглая, бесстыдная ложь. Школы эти, как сказал мне Александр Васильевич,— а у меня нет оснований не верить ему, ведь он этими вопросами занимается не первый год,— существуют только на бумаге. И задача инспекторов прежде всего в том, чтобы разобраться, что делается и что нужно сделать. Ну, а если говорить о пользе и вреде, то здесь многое будет зависеть от ума и сердца инспектора: любое дело можно при желании повернуть так, что оно принесет вред народу, как у нас часто и бывает. Я же дал согласие принять эту нелегкую должность только потому, что глубоко убежден: инспектор в состоянии много хорошего сделать для народного образования. Вполне возможно, что я, как и все смертные, ошибаюсь. Но это мне станет ясно только после того, как я поработаю инспектором.

— Ну что ж: у вас тоже есть своя логика, и с нею трудно не согласиться. Действительно: если бы все, кто твердит о благе народа, кто призван, кто, наконец, по положению своему обязан верой и правдой служить народу, действительно служили бы ему, а не висели пиявками на его теле, Россия давно уже выбралась бы из тьмы и нищеты. Но у нас что ни чиновник — то вор, казнокрад, пьяница, которому никакого дела нет до нужд народных. Ох, страшно, очень страшно подумать даже, в какую бездонную пропасть катится Россия!

Илья Николаевич не мог согласиться с тем, что Россия катится в пропасть, но возражать не стал. Он видел, что Логинова охватывает отчаяние и неверие — следствие гонений, какие тот испытал, а потому относился к рассуждениям гостя снисходительно.

В дверь кабинета тихо постучались.

— Войдите! — сказал Илья Николаевич, вставая из-за стола.

Аня, просунув в дверь стриженую головку — она часто хворала, а потому не могла отрастить косы,— спросила:

— Папа, к тебе можно?

— Входи, Анечка! — сказал Илья Николаевич.

— И Саше можно? — стоя в дверях, спросила Аня.

— Конечно.

— Саша, входи! — пропуская брата вперед, сказала Аня.— Ну, что мама велела нам сказать папе?

— Что мы идем фотографироваться!

— Отлично! — ласково улыбнулся Илья Николаевич.— Только не очень хмурьтесь, а то мы вас не узнаем.

— Хорошо, папа,— живо ответила Аня.— Мы не будем хмуриться. Правда, Саша?

Саша покосился на Логинова, который внимательно присматривался к нему. Не решился ответить Ане, а только кивнул белой кудрявой головкой. Волосы у него были такие длинные, что он больше походил на девочку, чем стриженая Аня. Логинов не мог оторвать глаз от лица Саши, так красиво оно было: кудрявые белые волосы, а глаза и брови — черные, ресницы тоже черные и длинные. В выражении глаз — ласковая, ясная глубина.

— Сын — вылитая мать,— сказал Логинов, когда дети ушли.— Правда, в очертаниях губ и бровей есть что-то отцовское. А девочка больше похожа на вас. По глазам видно, что у мальчика светлый ум, но не слишком ли он серьезен для своих лет? Сколько ему?

— Четвертый пошел! Он родился почти в тот самый день, когда Митя Каракозов выстрелил в царя...

— Роковое совпадение... Между прочим, до меня дошли слухи, что Николая Ишутина прошлым летом вывезли из Петропавловской крепости на Кару. Мерзкий фарс казни (на него надели саван и колпак, накинули на шею петлю, несколько минут держали под виселицей и только после этого объявили, что царь заменил смертную казнь пожизненной каторгой) и два года одиночного заключения тяжело отразились на его здоровье. На Кару его привезли уже душевнобольным. И еще одно узнал: Странден, который мечтал освободить Чернышевского, все-таки встретился с ним.

— Да что вы?! Где? Как?

— Он вместе с Ермоловым, Юрасовым, Загибаловым, Николаевым и Шагановым отбывает каторгу на том же Александровском заводе, куда сослан и Чернышевский. Можете представить себе, какая это была встреча!

— Очень хорошо представляю! Боже мой! Какой великий ум закован в кандалы!

— А пигмеи процветают! А пигмеи правят Россией! А пигмеи решают судьбы миллионов людей! И эти мил-

лионы все терпят! Парадокс! Загадка, над которой человечество будет биться, пожалуй, еще не одно столетие.

— А быть может, и не одно тысячелетие,— сказал, помолчав, Илья Николаевич.— То, что складывалось тысячелетиями, потребует, пожалуй, столько же лет и для разрушения, для создания новых основ общества. Я не знаю, как это будет, но внутреннее чувство подсказывает мне: человеческий гений найдет ответ на вопросы, которые нам сейчас представляются неразрешимыми.

Четыре дня Логинов прожил у Ульяновых, но так и возвратился в Саратов, не подыскав себе места. Настроение у него было подавленное. Это передалось и Илье Николаевичу, которого волновала судьба друга. А тут еще и Саша заболел. Гимназическим врачом состоял Иван Егорович Эвениус, его Илья Николаевич и приглашал обычно, когда болели дети. Особенно часто хворала Аня, и Иван Егорович частенько посещал семью Ульяновых. Это был сухой, желчный человек, и дети не любили его. Даже когда его тонкие губы кривились в улыбке, что означало у него особенно хорошее настроение, Аня и Саша неохотно шли к нему. Но дело свое он знал неплохо, и Илья Николаевич всегда обращался к нему.

Осмотрев Сашу, Иван Егорович недовольно выпятил нижнюю губу, вздохнул:

— Эрраре гуманум эст [1], но я думайт, это не безопасно. Это воспаление желудка. Я пропишу микстур и вас, Мария Александровна, попрошу строго соблюдайт чистую диет, которую я вам сейчас скажу. Дайте мне, Илья Николаевич, пожалуйста, бумагу и чернил.

— Может быть, вы, Иван Егорович, пройдете в мой кабинет?

— О, пожалуйста! Мне это очень приятно...

4

Воспаление желудка — первая серьезная болезнь Саши. Она очень напугала Илью Николаевича и Марию Александровну. Они целыми ночами дежурили у его постели. Мария Александровна хотела было уже вызывать

[1] Человеку свойственно ошибаться *(лат.)*.

отца, но Илья Николаевич, зная, сколько весной хлопот у старика по хозяйству, отговорил ее. Болезнь Саша переносил стойко: не плакал, не капризничал, только хмурил бровки и тихонько стонал. С неделю он почти ничего не ел и так исхудал, так высох, что личико у него стало сморщенным, как у старичка. Дважды Илья Николаевич собирал консилиум, и оба раза врачи подтвердили диагноз, поставленный Эвениусом.

— Сашенька, где у тебя болит? — спрашивала Мария Александровна, наклоняясь к нему.

— Вот тут,— тихим, чуть слышным голосом отвечал Саша, прикладывая к животу сухонькую, просвечивающую насквозь ручку.

— Очень болит?

— Очень...— признавался Саша, как-то виновато вздыхая.

— Ну, выпей лекарство.

— Давай...

Мария Александровна наливала в ложку горькой, как полынь, микстуры и дрожащей рукой подносила ко рту Саши, приподняв его головку с подушки. Саша покорно глотал микстуру и не морщился, а только быстро-быстро мигал глазами. Непрошеные слезинки собирались в уголках его глаз, и он зажмуривался, чтобы скрыть их от матери. Он всегда стыдился слез. И если Аня начинала плакать — а плакала она часто,— спрашивал ее:

— У тебя что-нибудь болит?

— Не-ет...

— Отчего ж ты плачешь? — удивлялся Саша: он не мог понять, как можно плакать, если ничего не болит.

Только на девятый день у Саши начал спадать жар и боль утихла. В больших, глубоко запавших глазах его начала появляться живая искорка, когда отец или мать приносили ему какую-нибудь новую игрушку.

Когда доктор, осмотрев Сашу, сказал: «Можно шпацирен!» [1] — оказалось, что он разучился ходить. Маме и Ане пришлось несколько дней водить его по комнате за руки. Сделав несколько шагов, Саша падал. Падала и Аня возле него, и они весело смеялись. Счастливо улыбалась и мать, глядя на них. Папа разрешил им, в его

[1] Гулять (*нем.*).

отсутствие, играть у него в кабинете. А в кабинете у папы много интересных игрушек: и деревянных, и стеклянных, и железных. Но на них можно только смотреть. Одну игрушку папа дал Саше за то, что тот самостоятельно проковылял от своей постельки до самого кабинета. Игрушка эта поначалу Саше не очень понравилась — маленькая желтая палочка. Но папа объяснил:

— Это, Сашенька, палочка не простая, а волшебная...— и разорвал листок бумаги на мелкие кусочки.

— Волшебная? — в один голос спросили Аня и Саша: они привыкли к тому, что отец их никогда не обманывал, но что волшебного в этой палочке?

— Да, волшебная! Вот смотрите! — Отец потер палочку суконкой, поднес к кусочкам бумаги, и они — вот чудо! — зашевелились, как живые, вспорхнули белыми мотыльками и прилипли к палочке.

— О-о! — удивленно протянули Саша и Аня.

— Ну, что — волшебная? — со смехом спросил отец.

— Волшебная! — ответил Саша.

— А она только тебя, папа, слушается или всех? — спросила Аня, наклоняясь над палочкой.

— Всех.

— И меня послушается?

— И тебя...

Отец дал Ане палочку и суконку. Она потерла палочку, с замиранием сердца поднесла к обрывкам бумаги и вскрикнула от радости: бумажки прилипли к палочке. Саша попробовал: и у него получилось то же самое. Саша смотрел на палочку, и глубоко запавшие глаза его восторженно сияли: он чувствовал себя в эту минуту волшебником.

Когда они вдоволь наигрались, отец начал рассказывать, почему палочка притягивает к себе кусочки бумаги, но Саша не мог понять, откуда в ней берется электричество, если прежде его там не было. Если в бутылке нет воды, то — сколько ни три ее сукном — она туда все равно не нальется. Отца очень рассмешило такое сравнение. Он снова начал рассказывать. Аня говорила, что все поняла, но Саша врать не умел и, потупясь, молчал. Отец сказал, чтобы он не огорчался: когда подрастет — все поймет, и дал ему магнит, потому что Аня не выпускала палочку из рук. Даже ложась спать, клала ее себе под подушку.

В конце мая наступили теплые дни. Саша совсем поправился, и Мария Александровна начала выводить его на прогулки: к фонтану, на набережную. К фонтану подъезжали водовозы и, размахивая длинными черпаками, наливали воду в большие бочки, а по реке плыли пароходы, плоты, баржи. Все это было так интересно, что не хотелось возвращаться домой. Всякий раз, как только спускались на набережную, Аня спрашивала одно и то же:

— Мама, а когда мы поплывем на пароходе к дедушке?

— Скоро, только не к дедушке, а к бабушке.

— К той, что в Астрахани?

— К той.

— А она добрая?

— Если будешь слушаться, то будет добрая!

— Я буду слушаться,— обещала Аня.— Только давай уж поедем! Мама! А на каком пароходе поплывем? Вот на том, с большой трубой? — допытывалась Аня, которой не терпелось куда-нибудь поехать.— Или вот на том, маленьком?

— Нет, мы поплывем на большом.

— Мама, смотри!..— вдруг испуганно воскликнула Аня.— Саша упал и покатился...

Мария Александровна оглянулась, и сердце ее замерло: Саша упал с крутого откоса и покатился вниз, как колобок. Мария Александровна поступила так, как делают почти все, увидев вдруг такое страшное, что нельзя поверить глазам своим,— закрыла лицо ладонями. А когда открыла глаза, увидела: на нижней дорожке крутого зеленого откоса набережной какой-то мужчина подхватил Сашу и поднял на руки. Потом мужчина нагнулся, взял какой-то футляр — похоже было, что он скрипач,— и, глянув вверх, о чем-то спросил Сашу. Аня замахала руками, закричала:

— Саша, мы тут!..

Мужчина тоже махнул рукой: успокойтесь, мол, мы идем. Опустив Сашу на землю, взял его за руку, и они начали подниматься в гору по аллее. Мария Александровна и Аня побежали к ним навстречу. Аня так спешила, что, если бы мама не держала ее за руку, она падала бы через каждые три шага. А вот и Саша... Аня обняла брата и заплакала от счастья. Мария Александровна тоже едва

сдерживала слезы: ей было страшно и подумать даже, что случилось бы, если бы этот добрый старик не подхватил мальчика. Он катился бы до самой реки, а ведь это добрых полверсты! Такого падения — да еще после перенесенной болезни — он, пожалуй, не выдержал бы.

— Пожалуйста, сударыня,— передав Марии Александровне Сашу, сказал, кланяясь, старик.

— Я не знаю, как и благодарить...

— Благодарите бога, что так... Фу-у, одышка...— Старик перевел дыхание.— А мальчик — молодчина... Фу-у... Подхватил я его и спрашиваю: испугался? Нет, говорит... Фу-у... А сам бледный как полотно... Фу-у... И сердечко, как у пойманного воробушка, стучит...

— Простите, ради бога, но если вы не обидитесь, я...— начала Мария Александровна, заметив, что старик собрался уходить.— Мне хотелось бы как-то отблагодарить вас... Больше у меня с собой нет,— отдавая старику кошелек с деньгами, говорила Мария Александровна.— Я была бы очень рада, если б вы зашли к нам...

— Это для меня большая честь, сударыня, но, простите великодушно, не могу: через час отходит пароход, его капитан согласился довезти меня за целковый до Астрахани...

От пристани донесся гудок парохода. Старик заволновался:

— Это мой пароход первый гудок подал...

— Мы вас проводим,— сказала Мария Александровна: она не могла сразу расстаться с этим бедным стариком.

— Это для меня такая честь...— проговорил со слезами на глазах старик.—Простите, что я... Но меня никто никогда не провожал... Вот я...

Пароход «Князь Пожарский» заканчивал погрузку. Старик стоял на верхней палубе, держал свою скрипку, как ребенка, прижимая ее к впалой груди. А когда пароход отчалил, он сорвал с головы помятую шляпу и низко поклонился Марии Александровне. Аня и Саша замахали руками, Мария Александровна тоже прощально махнула рукой, и сердце ее стеснилось при мысли об этом старом, нищем страннике. Всю дорогу до Астрахани он будет играть на скрипке, а такие же бедняки, как он сам, будут кидать копейки в его рваную шляпу.

— Мама, а куда он поехал? — спросила Аня, нарушив печальные мысли Марии Александровны.

— В Астрахань.

— А разве его бабушка тоже там живет?

— У него, Аня, никого нет...

— А зачем же он туда поехал? — не унималась Аня.

— Зачем? — Мария Александровна не знала, как лучше ответить Ане, чтобы сказать правду и чтобы девочка поняла.— Он будет играть на пароходе. Ты видела у него скрипку?

— Видела.

— Ну вот. А за то, что он будет играть, люди дадут ему денег.

— А отчего же тебе никто не дает денег за то, что ты играешь? — спросила Аня.

Мария Александровна невольно улыбнулась:

— Ой, Аня... Идемте домой, а то папа уже, наверно, давно ищет нас...

5

Так и вышло, как опасалась Мария Александровна: никто не одобрял намерения Ильи Николаевича ехать на должность инспектора. Да еще куда — в такой глухой угол, как Симбирская губерния.

— Пускай уж он! — говорила Матильда Ивановна.— Пускай уж его тянет поближе к своей Астрахани. А вам что за нужда нести этот крест? Ведь в Симбирск даже чугунки еще нет. Я люблю вас, Мария Александровна, я желаю вам добра, а потому прошу: отговорите Илью Николаевича от этой затеи, пока не поздно.

— Не могу я этого сделать,— спокойно, с мягкой улыбкой отвечала Мария Александровна.

— Можете! Я знаю, как он слушается вас! Достаточно вам сказать слово, и он изменит свое намерение! И не возражайте мне! — замахала руками Матильда Ивановна.— Не возражайте, ведь я знаю, что это так: стоит вам сказать, что не хотите туда ехать, и он откажется...

— Не спорю: Илья Николаевич прислушивается к моим советам. Но я не могу отговаривать его от переезда в Симбирск...

— Да почему же? Почему? — раскрасневшись от волнения, спрашивала Матильда Ивановна: с отъездом Ульяновых она теряла самых близких своих друзей, своего крестника Сашу, которого любила, как родного сына.

— Он обязан туда ехать!

— Обязан! Боже мой! Да полно вам! Полно! Все говорят, что инспекторов вводят вовсе не для того, чтобы они заботились о народном образовании. Нет! Все это делается ради надзора за учителями и за земствами. Говорят, правительство испугалось своей же земской реформы и делает все, чтобы свести ее на нет. Так неужели же Илья Николаевич видит свой долг в том, чтобы помогать в этом властям?

— Я не знаю, что думает правительство,— без улыбки, спокойно возразила Мария Александровна, хотя по ее тону заметно было, что последнее замечание задело ее.— Но я в одном убеждена: на этом месте можно принести пользу народу,— повторила она слова мужа.— А можно, как на любой другой должности, принести вред.

— Ох, Мария Александровна! — всплеснула руками Матильда Ивановна. — Вы даже не представляете себе, какие трудности там вас ожидают! Илья Николаевич постоянно будет в разъездах, а вам придется одной — без добрых друзей, даже без знакомых! — сидеть на пожарище. Рассказывают ужасы о том, как там бедствует народ. Да вы и сами увидите: отбоя нет от нищих. И кого ни спросишь — все из Симбирска, все погорельцы...

— Ничего, Матильда Ивановна, будем утешать себя тем, что на свете многие еще живут в худших условиях, чем те, какие выпали на нашу долю. Не стану скрывать: мне больно расставаться с вами, с красивым городом, со всеми друзьями, среди которых я провела столько хороших дней. Жалко оставлять эту большую, уютную квартиру. Ауновский пишет, что ему едва удалось подыскать для нас маленький флигелек. И я прямо не знаю, как мы там будем зимовать. Особенно боюсь за Аню: к ней все хвори привязываются...

— Вот видите! — сказала Матильда Ивановна.— А что я вам говорю?

— Но ведь вы, Матильда Ивановна, как никто, знаете: на первом месте у Ильи Николаевича всегда стояли его

убеждения. Ваш муж как-то говорил, что Илья Николаевич частенько напоминает ему Дон-Кихота.

— Это он шутил.

— Да, шутил. Но в этой шутке — частица правды: в глазах многих людей, которые превыше всего ставят собственную выгоду, Илья Николаевич с его стремлением принести пользу народу напоминает ламанчского рыцаря... Но что поделаешь: таким он был, таков есть, таким, видно, останется до конца дней своих. Согласитесь, существуют характеры, над которыми время не властно: они не меняют своих убеждений ради того, чтобы преуспеть в жизни. Этого таланта, каким в наш практический век обладают многие, им просто не дано. И если вы согласны с этими моими словами — а вы первая и последняя слышите их от меня,— то что вы теперь посоветуете делать: отговаривать Илью Николаевича от этой, как вы выражаетесь, затеи или поддерживать его?

— Мария Александровна, милая моя,— растроганная, со слезами на глазах, начала Матильда Ивановна,— мне остается сказать одно: счастлив Илья Николаевич, что бог послал ему не такую жену, как я...

— Это уж вы...— смутилась Мария Александровна.

— Не перебивайте! Не перебивайте меня,— с комическим отчаянием замахала руками Матильда Ивановна,— а то я забуду, что хотела сказать... Вот видите? — сокрушенно вздохнула она.— Пока вы говорили, у меня в голове вертелась какая-то прекрасная мысль и вот уже куда-то пропала. Но я сейчас припомню...

В комнату вошел Саша, и Матильда Ивановна, забыв о своей прекрасной мысли, кинулась к нему. Мария Александровна только улыбалась, глядя на нее. Она, как к родной сестре, привязалась к этой маленькой веселой женщине, которой можно доверить свои самые заветные мысли, не боясь, что кто-нибудь о них узнает. Матильда Ивановна при всей своей разговорчивости умела свято хранить чужие секреты. Мария Александровна часто отводила душу в беседах с нею. Да и побеседовать с Матильдой Ивановной бывало интересно,— она много читала: и художественную литературу, и педагогическую. Но при всем этом находилась под сильным влиянием мужа, а он был из тех, кто в узком кругу надежных друзей клянет существующие порядки, но и пальцем не пошевельнет, чтобы на деле улуч-

шить их: мешает непобедимое благоразумие. И естественно, на таких неисправимых идеалистов, как Илья Николаевич, не теряющих надежды хоть что-нибудь изменить к лучшему, он смотрел, как на донкихотов. И Матильда Ивановна, усвоив эти взгляды мужа, поначалу пришла отговаривать Марию Александровну от поездки в Симбирск. Но, выслушав ее, все же поняла, что правда на стороне Марии Александровны, и с этих пор начала деятельно помогать Ульяновым готовиться к переезду на новое место.

6

Нижний Новгород гудел, как потревоженный улей. Все с нетерпением ожидали двух важных событий: поднятия флага на ярмарке и приезда наследника престола Александра с женой. Датская принцесса Дагмара (после крещения — Мария Федоровна) была невестой великого князя Николая. Они были уже обручены, но Николай Александрович заболел и умер. Право наследования перешло к младшему сыну Александра II.

Вместе с правами на престол перешла к Александру и невеста его умершего брата. Было в этом что-то не совсем красивое, но новый наследник не отличался ни высоким умом, ни большой требовательностью. Ему сказали — так нужно, значит, и думать не о чем. Так и женили будущего правителя России...

Когда стало известно, что наследник цесаревич изволит посетить Нижегородскую ярмарку, чтобы посмотреть, что продает и покупает народ,— городские власти потеряли покой. Город чистили, подметали, мыли. Красили башни кремля, ремонтировали гробницы и памятник Минину и Пожарскому.

Четырнадцатого июня царский поезд — голубой, вентиляторы позолоченные — подкатил к нижегородскому вокзалу.

Военный оркестр изо всех сил грянул приветственный марш, заглушая стук колес, пыхтенье и гудок паровоза. В дверях вагона появился рослый, широкоплечий, большеголовый мужчина в военном мундире, туго подпоясанном и щедро расшитом золотом. Он как-то по-бычьи нагнул

голову, обвел всех взглядом голубых выпуклых глаз и сдержанно улыбнулся. Солдаты почетного караула гаркнули «ура!», и толпа тоже одурело заревела тысячами пьяных глоток:

— Ура-а-а!..

К наследнику престола подбежал губернатор с таким видом, точно хотел подхватить его на руки, но, сообразив, видимо, что в нем пудов шесть весу, только почтительно вытянулся. Наследник сошел на перрон и протянул руку жене, появившейся вслед за ним в дверях,— худощавой, низколобой, с большими серыми глазами женщине, которая, казалось, была очень обеспокоена такой встречей. Из-за спины губернатора вынесли хлеб-соль, медовые соты и огромного живого осетра в позолоченной ванне. Цесаревич со снисходительной улыбкой принял эти дары своих верноподданных и направился к карете. Снова грянули все оркестры, и толпа бешено заревела «ура!». Пробиваясь сквозь теснящуюся толпу — солдаты едва сдерживали ее натиск,— Александр с супругой проехали в дом губернатора, где им были приготовлены апартаменты. Ремонтировали здание почти полгода, истратили на это огромные деньги, а наследник престола проспал в нем всего одну ночь. Пятнадцатого июня, осмотрев ярмарку, он на пароходе «Счастливый» под русским и датским флагами поплыл вниз по Волге.

— Ну как тебе, Маша, наш престолонаследник? — спросил Илья Николаевич жену, когда они, проводив пароход «Счастливый», возвращались с пристани домой.

— Не очень понравился...

— Почему же?! — удивился Илья Николаевич. Он столько наслышался похвал в адрес Александра, что сам невольно начал верить, будто это человек необычайный.

— Лицо у него какое-то...— У Марии Александровны вертелось на языке: тупое, но ей показалось кощунством говорить так о наследнике престола, и она, помолчав, заключила: — Не очень интеллигентное...

— Возможно. Но это, должно быть, объясняется тем, что его не готовили на престол. Рассказывают, он мечтал быть военным и науками не очень занимался. Но судьба распорядилась по-своему. Ума у него, говорят, действи-

тельно немного, но сердце доброе. А народу нашему так нужен государь мягкий, добросердечный. Всего страшнее, когда на трон садится человек с черствым, жестоким сердцем...

Через месяц после того, как наследник цесаревич покинул город и все понемногу успокоилось, Илья Николаевич получил письмо от Тимофеева. Александр Васильевич звал его приехать в Казань, чтобы закончить дело с его назначением инспектором народных училищ Симбирской губернии. Значит, можно было этот вопрос считать решенным.

Уговорились так: Илья Николаевич проводит Марию Александровну с Аней и Сашей до Казани, оттуда они одни поплывут в Астрахань. Погостят там, а он за это время уладит все дела с переездом. Если все будет так, как намечено, то Марии Александровне незачем будет возвращаться в Нижний Новгород. Он и один перевезет вещи, а они проедут прямо в Симбирск. Ауновский пишет, что заплатил уже за флигель. Флигель небольшой, но как-нибудь разместятся, а после, может быть, найдется что-нибудь получше.

— Ну, телеграмму в Астрахань, я думаю, дадим из Казани, а то слишком долго придется им ожидать вас.

— Может, телеграфировать отцу, чтобы приехал в Казань?

— Непременно! А то узнает, что проплыли мимо и не уведомили,— обидится до смерти. Ну, собирайтесь. Я пошел за билетами...

Много раз Саша с мамой и Аней играл в путешествие. Садились на поставленные в ряд стулья, Саша впереди, Аня за ним, а после уже — мама. Саша — ямщик, у него в руках вожжи и кнут. Мама рассказывала, куда они едут, читала стихи, а Саша с Аней повторяли стихи за нею.

Вот мама начинает стихотворение, которому недавно учила их:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?

Саша отвечает, напрягая голос до крика:

Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бичевой...

Тройка вылетает на сказочно красивую дорогу, потом мчится по высокому берегу Волги — такому же, как тот откос у кремля, откуда Саша покатился когда-то вниз,— а у самой Волги, спотыкаясь и падая, тянут баржу бурлаки...

Вот и сегодня: не успел Саша проснуться, как к его кровати подошла мама и, улыбаясь, спросила:

— Хочешь путешествовать?

— А куда поедем?

— Не поедем, а поплывем.

Саша откинул одеяло, вскочил.

— К бабушке? На настоящем пароходе?

— Да.

— Аня, вставай! Скорее! К бабушке поплывем! — кинулся Саша тормошить сестру.— Слышишь! К бабушке! На настоящем пароходе! По настоящей Волге!

— Правда, мама? — протирая кулачком заспанные глаза, спрашивала Аня.

— Правда.

Аня знала: если мама сказала, что правда, значит, правда. Мама никогда их не обманывает. Аня вскакивает с постели и начинает бегать по комнате так, точно она уже на пристани и пароход дал третий гудок.

— Так давайте одеваться, а то пароход без нас уйдет! Мама, где Сашины сапожки? Где мое новое платье?

— Да успокойся, времени у нас хватит,— говорила мама, но успокоить Аню было невозможно. Нервная и впечатлительная, она, если чем-нибудь увлекалась, долго не могла успокоиться.

Саша тоже думал, что вот сейчас они оденутся, возьмутся за руки, как обычно, когда шли гулять на Волгу, и — на пароход. Но оказалось, нужно еще укладывать вещи, ожидать папу, который поехал на пристань за билетами. И билеты папа возьмет не на сегодня, а на завтра или даже на воскресенье. А до воскресенья еще один... два... ого, целых четыре дня! Но, к Сашиному счастью, отец принес билеты и сказал:

— Завтра, дети, отправляемся!

Аня так обрадовалась, что кинулась отцу на шею, а когда он нагнулся показать билеты, поцеловала его. Саша таких нежностей не любил, отстранялся даже, если ма-

ма, благодаря его за что-нибудь, целовала в щеку. Мама, заметив это, перестала его целовать, а только проводила рукой по голове и говорила что-нибудь ласковое. Но сейчас радость его была так велика, что он тоже обнял отца за шею и прижался щекой к его колючему подбородку. Отец за это подбросил его высоко вверх, отчего у Саши даже дыхание захватило.

Начались сборы в дорогу. Папа и мама складывали что-то в корзинки, увязывали в узлы. В прихожей набралось столько вещей, что трудно было пройти. Мама просила Аню и Сашу не путаться под ногами, выпроваживала их на улицу — во дворе гимназии им разрешалось гулять одним,— но они, походив несколько минут, снова возвращались домой, боясь, чтобы пароход не ушел без них. А на следующий день, когда надо было ехать на пристань, Аня места себе не находила и своим волнением заражала и Сашу. Она подходила к маме, дергала ее за руку, упрашивала ехать на пристань. Мама терпеливо успокаивала ее, отводила в отцовский кабинет, давала им волшебную палочку, но ничто сейчас Аню и Сашу не занимало. Наконец папа приехал на извозчике и, войдя в комнату, сказал:

— Тронулись.

С той минуты как Саша, крепко держась за мамину руку, перешел с пристани по шаткому трапу на пароход, новые впечатления всецело овладели им. С мамой, конечно, занятно было играть в путешествие, но то, что он увидел на Волге, казалось Саше волшебной сказкой. Пароход, перекликаясь с берегом гудками, открывал Саше все новые и новые миры. Постоянным «почему?», с которыми он вместе с Аней наседал на папу и маму, не было конца. Почему вода кипит за кормой парохода? Почему пароход гудит, когда навстречу ему плывет другой? Почему эхо откликается на гудок только утром и вечером? Почему на воде горят в одном месте зеленые, а в другом — красные огни? Почему домики на баржах плывут, а вон те, на берегу, стоят на месте? Почему чайки кружатся над палубой и кричат?

Расспрашивал Саша обо всем не спеша и выслушивал ответы не по-детски вдумчиво. Он не перебивал, когда объяснения были непонятны ему, не задавал других вопросов, не дослушав до конца ответ, даже если он казался ему неинтересным. А вот Ане хотелось все узнать в один

миг. Если она, задав вопрос, замечала вдруг что-то новое — а все новое казалось ей интересным,— она тут же задавала второй вопрос, не выслушав ответа на первый.

— Аня, не торопись,— говорил папа.— Вы будете плыть на этом пароходе восемь дней и все увидите, все узнаете... Вот это место зовется Телячий брод. Летом здесь так мелко, что пароходы садятся на мель. И бывает, тонут...

— И наш пароход потонет? — испуганно спросила Аня.

Илья Николаевич весело рассмеялся: так комичен был испуг Ани. Он объяснил, что пароход садится на мель, когда на Волге спадает вода. А сейчас воды много, бояться нечего. Саша очень спокойно выслушал этот рассказ и, заложив руки за спину — точно так, как отец,— зашагал по палубе, задумчиво склонив кудрявую головку. По его смуглому личику видно было, что он напряженно думает.

— О чем это он? — шепнула Мария Александровна.

— Да разве мало увидел он такого, над чем стоит поломать голову?

— Но ведь можно спросить у нас?

— Мне кажется, он из тех, кто стремится постичь все сам. Для таких детей мысль, добытая своим трудом, своим опытом,— счастье. Это, кстати, первый признак будущей самостоятельности мышления, твердой воли.

— А не замкнутости характера?

— Возможно. Но это не беда. Люди, которые оставили заметный след на земле, были, почти как правило, одинокими. Жизнь так коротка, что невозможно предаваться всем земным радостям и в то же время прокладывать новые пути, скажем, в науке — для этого нужно дни и ночи просиживать за книгами, исследованиями, рукописями. Я уже часто думаю о том, что готовит судьба нашим детям. И тревожно становится на душе, как посмотришь на современную молодежь. Но это извечная трагедия: отцы не могут ни предвидеть, ни определить судьбу собственных детей. Им дано только одно: радоваться или печалиться...

— Будем ждать,— с улыбкой заметила Мария Александровна,— что нам предстоит только радоваться.

— Дай бог!

От города Кострова пароход пошел под самым берегом. Вечерело. Было так тихо, что даже стук колесных лопастей по воде гулко отдавался среди лесов и гор. Аня и Саша, услыхав такое чудо, подумали, что там, за горами, плывет еще один пароход. А когда миновали село Троицкое, увидели: почти вся река запружена плотами. Отец начал рассказывать, как рубят лес, как сплавляют его по реке Ветлуге до Волги, а по Волге — в Каспийское море. Там его грузят на пароходы и везут в чужие страны.

— А что там из него делают? — спросила Аня.

— Об этом я вам завтра расскажу. А сегодня — все: уже пора спать.

7

Прошло больше месяца с того дня, как по Волге проплыл наследник цесаревич Александр на пароходе «Счастливый», но это событие, да еще открытие ярмарки — сколько товаров навезли, каких, какие цены стоят на хлеб и соль? — все еще волновали пассажиров — и каютных и палубных. Всем еще памятен был страшный голод, разразившийся в позапрошлом году. Наследник престола казался понадежнее своего отца. Возникла такая уверенность не оттого, что наследник проявлял больше заботы о народе, чем его отец,— он вообще никак не проявлял себя,— а оттого, что народу хотелось, чтобы он был таким, и желаемое выдавалось за действительное. И еще один вывод был сделан: уж если наследник цесаревич изволил поехать по стране — а это не часто бывает! — то, значит, недаром.

— Царь послал его,— говорил бородатый, рябой мужик,— со строгим-престрогим наказом: раскопать и до самого корня дела дойти, отчего народ голодом морят. Плыви, сказал ему царь, по Волге, посмотри, как мужики живут, и мне все как есть, прямо с курьерами, докладывай.

Вот двое купцов встретились. Один — тощий, высокий, другой — низенький, широкобородый.

— Здравствуйте, высокопочтенный Тит Евгеньевич!

— Добрый день, уважаемый Левкей Стахиевич! — небрежно ответил тощий.

— Куда и откуда, почтенный, изволите курс держать?

— Домой, в Казань. Могу похвалиться: мне бог дал счастье... представляться его высочеству...

— Как? Разве вы?!..

— Да! — громко, чтобы побольше людей слышало, ответил тощий.— Девятнадцатого числа их высочества плыли на «Счастливом» мимо Тетюшей. Мы с исправником выехали навстречу их высочествам на лодке. Ну, и сподобились счастья быть принятыми их высочествами на пароходе. Их высочества изволили принять от нас хлеб-соль и осетра...

Илья Николаевич прошел дальше по палубе. Старик, по виду отставной матрос, сидя среди мужиков, направлявшихся, должно быть, на промысла, рассказывал:

— Э, теперь не то, что было раньше! Пароходы все наши заработки сожрали. Весельных судов нет, бурлачить не пойдешь: пароход все забрал. А прежде, бывало, развернут суда свои белые паруса. Глянешь — мать родная: плывут, как лебеди! Бывало, астраханские купцы всех матросов своих нарядят в красные рубахи, чтобы показать себя перед другими купцами, переплюнуть их! «Пей, ребята, сколько хочешь, вина в бочонках вдоволь. Только на ярмарку первыми прибыть!» Ну, как выпьем, как запоем, как наляжем на весла... Э-эх! Песням конца не было! Да какие песни пели!.. Теперь за них, пожалуй, в Сибирь загнали бы...

Рассказ матроса, прослужившего сорок лет на Волге, заинтересовал Илью Николаевича. Он отошел к борту и, делая вид, что любуется крутыми лесистыми берегами, прислушивался к разговору.

— Так как же: говоришь, нонеча плохие заработки? — спросил мужичок, стараясь направить речь на то, что его больше всего занимало.

— Совсем пустые! И все через то, что народа невидимая сила прет. Больше, пожалуй, чем рыбы в нерест! Ну, до пожаров еще терпимо было, а как сгорел Симбирск, весь народ и повалил из города на промысла. Ну, и упали заработки больше чем наполовину. Оно и понятно: у конторы стоит тысяча человек, а нужно всего пяток или десяток нанять. Уж на что калмыки да чуваши терпеливые, и те возроптали: мало, мол, платит хозяин. Работа-

ешь всю путину, а пришло к расчету — куда там! Еще с тебя конторе полагается.

Мужики громко вздохнули.

— А кормят чем? Я артельным прошлый год был. Говорят ребята: ступай, мол, в контору, требуй хорошей муки. Управляющий — из немцев, тощий да злой! — волком голодным уставился на меня, спрашивает: «Ну, вас?!» Это по-ихнему, по-немецкому, означает, чего, мол, черт тебя принес? Муки, говорю, нет. «Как это нет? Есть!..» Есть, отвечаю, ваше высокостепенство, да уж больно плоха. Прелая, горькая, значит. А цена, сравнительно с городом, почти вдвое больше. Так вот, говорю, ваше высокостепенство, и того... иная скотина не станет есть такого хлеба. Это, говорю, не хлеб — вот попробуйте, ваше высокостепенство,— а чистая полынь...

— Ну и что же — попробовал немец?

— Куда там! Как швырнет в меня тем хлебом, как залопочет что-то по-своему, как закричит: «Вон!» На том разговор и кончился...

— А, чтоб тебя разорвало, проклятый немчура!

Куда Илья Николаевич ни повернется, всюду слышит: немцы во всем виноваты.

Вот купец рассказывает приятелю:

— Живем, Пал Палыч, по-старому, помаленьку. Ползаем, как черепахи или, вернее вам сказать, как раки. Нововведений у нас задуман целый архив, а выполнение что-то медленно подвигается. Вот, например, возьмем хотя бы такое. Вы, наверно, слышали, что немцы успели построить у себя в городке водопровод?

— Нет, не слыхал...

— Построили! Ведь вот какие, прости господи, проклятые души! Во всем нас опережают. А почему? А потому, что большую потачку им даем. Эти привилегии им еще Петром Великим дадены, и никто, значит, не может их отменить. Разорят они нас, проклятущие...

На противоположном конце палубы, не замечая, что их обдает из трубы густейшим дымом, разгулялась компания. Плечистый парень рвет мехи гармонии. Драные мехи раздуваются, с натугой выдыхают «барыню». Толпа помогает гармонисту хлопками в ладоши, свистом. В тесном кругу носится вокруг молодой бабы коротконогий па-

ренек. Вот он, обойдя круг вприсядку, делает комичное коленце, останавливается перед молодухой, приговаривает под стук ее каблучков:

Ходи раз, ходи два,
Выводи ногой узоры...

Толпа подхватывает хором:

Выворачивай подборы,
Выплетай кружева!

— Ах, нехристи! — укоризненно качая головой, говорит бородатый мужик, по-видимому старовер.— Мало им, чертям, голода, так они, антихристы, хотят еще холеру выплясать. Тьфу!

Илье Николаевичу эта компания напомнила те дни, когда он, без копейки за душой, плыл из Казани в Астрахань на вакации.

Порой бывало так трудно, что по неделям голодал. Зимой на вакации не ездил: на перекладных было так дорого, что страшно и подумать. Лета ожидал, как манны небесной: дома хоть хлеба да рыбы можно было вдоволь наесться. Но опять-таки: как добраться домой? Приходилось наниматься крючником на баржи и беляны или просить капитана, чтобы взял за рублевку на палубу, и плыть среди такой вот компании, как эта. И все-таки студенческие годы еще и теперь представляются Илье Николаевичу самыми светлыми, хоть они и пришлись на тяжкие годы царствования Николая I.

На высоких горах замаячило село Верхний Услон: значит, Казань уже близко. Село это Илье Николаевичу хорошо запомнилось. Казанские чиновники, спасаясь от зноя и пыли, вывозили свои семьи на дачи в Верхний Услон. Вот и приходилось бегать туда на уроки...

А вот и Казань выступила из низины — опоясанная стенами и башнями кремля, увенчанная крестами церквей и минаретами. Но город виден недолго: когда пароход приближается к пристани, он исчезает из поля зрения, видна только песчаная полоса с разбросанными по ней деревянными сараями. От пристани до города семь верст. Когда-то Казань стояла на самом берегу Волги, но потом река изменила русло и отступила.

Не успели перебросить сходни, как толпа пассажиров

хлынула на пристань, битком набитую народом. Илья Николаевич хотел сойти на берег, поискать Александра Дмитриевича, как вдруг увидел: навстречу людскому потоку неторопливо движется высокий, слегка сутулый старик. Могучая фигура и строгий вид заставляют всех расступаться и пропускать его. Взойдя на палубу, он окинул взглядом пароход и, увидев своих, махнул рукой: стойте, мол, там, я сейчас. Но все кинулись ему навстречу.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте! — густым суровым басом отвечал Александр Дмитриевич на приветствия. Поцелуев он терпеть не мог, а потому одному только Илье Николаевичу пожал руку, слегка обнял свою любимицу Машу, которая припала к его плечу, повернулся к Ане, позвал: — Иди сюда!

Аня испуганно глянула на хмурое лицо деда и спряталась за мать: сколько ни говорили ей, что дедушка добрый, она не могла побороть страха, который охватывал ее от одного его взгляда. Позже, привыкнув к старику и убедившись, что он действительно добрый, хотя и строгий, уже не слезала с его колен. Но, встретившись через год, снова пряталась за юбку матери. Саша всегда смело шел к деду, за что тот особенно любил его. Вот и сейчас Саша, хмуря черные брови, подошел к деду, смело заглянул ему в глаза. Александр Дмитриевич подхватил Сашу на руки и с необычной для него нежностью прижал к груди. Крупные черты его всегда сурового лица смягчились, под густыми седыми усами затеплилась улыбка. Саша тоже улыбнулся. В скупых улыбках этих двух людей — седоголового, чернобрового деда и светловолосого, тоже чернобрового мальчика с точно такими же, как у деда, глубокими карими глазами — было так много общего, что даже посторонний увидел бы в них близких родственников. Дед поставил внука на палубу и, явно стыдясь невольной нежности, сердито зашевелил кустистыми бровями, не сказал, а точно команду подал:

— Маша, веди детей к тарантасу, а я сейчас двух татар пришлю, они вещи перенесут!

И пошел к трапу.

— Александр Дмитриевич, постойте,— окликнул его Илья Николаевич.

— Что такое? — тяжело повернулся тот.

— Да ведь Маша едет в Астрахань.

— В Астрахань? — переспросил Александр Дмитриевич, как бы не понимая: верно ли он расслышал.

— Да,— вмешалась Мария Александровна примирительно.— Мы поедем в Астрахань. Погостим там недолго и вернемся в Кокушкино.

— А-а... Ну что ж...— не глядя на дочку, несколько смущенно проговорил Александр Дмитриевич.— Пора! Давно уже пора тебе показаться своей свекрухе.

— Да и вам они еще успеют надоесть! — оживился Илья Николаевич, увидев, что старик сменил гнев на милость.— Переезд наш в Симбирск уже, можно сказать, дело решенное, а пока я там обоснуюсь, им придется у вас пожить...

Прошли в каюту. Александр Дмитриевич осмотрел Сашу, недовольно заметил:

— Худой. Слабенький.

Мария Александровна хотела было сказать, что недавно показывала сына врачу и тот сказал, что мальчик здоров, но вовремя спохватилась: вспомнила, что это задело бы отцовское самолюбие. К чужому мнению Александр Дмитриевич всегда относился скептически, и если кто-нибудь из пациентов, придя к нему, заявлял, что такой-то врач советовал ему то-то, а такой — то-то, он тут же гневно указывал ему на дверь. И никакие просьбы неосторожного пациента не помогали: Александр Дмитриевич в таких случаях был неумолим. «Если ты пришел ко мне за помощью,— говорил он,— то прежде всего с доверием относись к моим словам. А ежели боишься, что я сделаю что-нибудь не так, то нечего мне и голову морочить».

— Да, но ведь он болел желудком. Я писала об этом...

— Помню! Но, вижу, ты не послушалась моих советов!

— Так ведь он же маленький, слабый...— смутилась Мария Александровна.— Я боялась, как бы чего не случилось...

— Пустое! Сейчас для него одно лекарство: закалка. Обливанье холодной водой по утрам, режим...

«Такого малютку обливать холодной водой?» — хотела возразить Мария Александровна, но только испуганно

посмотрела на отца: вспомнила, как он их закалял. Да и сам тоже до самых холодов купается в реке, а зимой обтирается снегом, какой бы мороз ни трещал на дворе, какая бы вьюга ни мела. И, должно быть, это помогает: сам никогда не болел, и дети его не знали, что такое простуда.

— Ну что, герой? — посадив Сашу на колени, спросил Александр Дмитриевич.— Хочешь быть сильным?

Саша не знал, что ответить этому бородатому, строгому деду. Он покосился на мать, но, увидев, что та кивнула головой — говори, мол, хочу — сказал:

— Хочу.

— А воды холодной боишься?

— Нет!

— Молодчина! — улыбнулся Александр Дмитриевич.— Не в маму пошел... Ну, мне, кажется, пора...

Мария Александровна знала: если отец сказал «пора», просить его еще побыть на пароходе — ведь пароход всю ночь простоит у пристани — напрасно: он не привык менять своих намерений. Не стала упрашивать, только сказала, что им одним будет тоскливо. Александр Дмитриевич сделал вид, что не слышал ее. Он не любил прощальных церемоний. У самого трапа, замедлив шаг, окинул всех зорким взглядом и решительно сошел на берег. Илья Николаевич последовал за ним.

Проводив тестя, Илья Николаевич возвратился на пароход. Ему не хотелось расставаться с женой и детьми, и он остался на пароходе до утра. Уложив детей спать, вышли на палубу. Ночь была теплая и очень темная. На палубе, прикорнув где попало, тихо переговаривались пассажиры. У трапа мелькали слабые огоньки, слышались голоса, стук: что-то грузили на пароход. Но вот все затихло. Слышно было только, как плещется волна да храпят пассажиры на палубе. И вдруг среди этой сонной тишины заплакала скрипка. Трудно было понять, откуда неслись ее звуки: эхо повторяло их, и казалось — во всех углах парохода плачут скрипки. У Марии Александровны сердце замерло: может быть, это тот бедняк, что спас Сашу? Боже мой, сколько души в его игре, сколько боли в каждом звуке. И что он играет? Неужели это его импровизация?

Илья Николаевич хотел найти скрипача, но Мария Александровна удержала его. Если скрипач на этом же

пароходе, то она еще увидится с ним, а сейчас не нужно его трогать, не надо прерывать этот вдохновенный стон его одинокой души. Так не играют — Мария Александровна это хорошо знала — даже для самых дорогих сердцу людей. Это те слезы, которые скрывают от всех, потому что, замеченные кем-нибудь, они уже не успокаивают душу...

8

Проводив утром своих (Аня и Саша еще спали), Илья Николаевич отправился в Казань и оттуда сразу же телеграфировал в Астрахань, чтобы встречали гостей. Когда принесли телеграмму, дома была только Анна Алексеевна. Она была неграмотна и телеграмму прочесть не могла.

Телеграмма была адресована Василию и прибыла, как сказал почтальон, из Казани. Анна Алексеевна дрожащими руками взяла синий листок и с места не могла двинуться, пока за почтальоном не закрылась калитка: такой страх охватил ее. Подумала, что с ее Илюшей что-то случилось, если он так неожиданно прислал телеграмму. Да еще и не из Нижнего, а из Казани. А может, со сватом неладно? А может, с детьми? Ох, господи, что тут написано? Вася, как на грех, поплыл куда-то, на самую Бирючью косу. Будет через два дня. Значит, нужно послать Федосью к Николаю Захаровичу, пусть прочитает, что тут написано.

Анна Алексеевна мелкими шажками поспешила в дом, протянула дочери синий листок. Федосья, увидев побледневшее лицо матери, уронила вязанье, даже спицы вылетели.

— Мама, что такое? — спросила дрожащим голосом.— Что случилось?

— Беда...

Разобравшись, в чем дело, Федосья облегченно вздохнула:

— Ох, как вы меня напугали... Да откуда вы взяли, что у Илюши горе? Может, еще сын родился? Или вам что-нибудь сказал почтальон?

— Нет, он мне ничего не говорил. Сказал только, что это не из Нижнего, а из Казани. И всегда от Илюши приносили белые бумажки, а эта — синяя. Ну, чего ты стоишь? Беги к Николаю Захаровичу — пусть прочитает! А если его в лавке не застанешь, сбегай в церковь, к крестному...

Пока Федосья бегала к Горшкову, Анна Алексеевна места себе не находила. Ей шел уже восемьдесят первый год, она еще исполняла всю домашнюю работу, но стоило поволноваться, и ноги подкашивались, сердце замирало. Казалось: вот и конец. В такие минуты молила бога об одном: только бы перед смертью повидать Илюшеньку. С той поры как он — единственный из всех ее детей — уехал учиться в Казань, она с ним почти не видалась. Приезжая летом, день и ночь ловил рыбу на Волге. А когда семья завелась — и вовсе не стало времени приезжать. Деток его, пожалуй, так никогда уже и не увидит...

Когда Федосья прибежала к Николаю Захаровичу, он как раз отпирал свою лавочку, возвратясь после обеда. За обедом, как водится, выпил и был в веселом настроении.

— Телеграмма? Очень приятно! Погодите, Федосия Николаевна, одну минуту. Я вот сниму замки, открою дверь и тогда прочитаю вам, уважаемая, эту телеграмму... Гм! Ну, давайте, что там такое срочное...— Горшков пробежал телеграмму и радостно воскликнул: — Едут! Мария Александровна с детьми едут!

— Да не может быть! — боялась поверить Федосья.

— Вот послушайте...

Горшков прочитал телеграмму. Теперь Федосья поверила, что он говорит правду, и даже прослезилась. Брат Илья был для нее, как она говорила, ангелом-хранителем. Печальная доля ей выпала: не вышла замуж — бедность помешала.

Старшую сестру Марию отец все же смог выдать замуж, пожертвовав всеми своими сбережениями, а она так и осталась старой девой. И если бы Илюша, выбившись в люди, не помогал, то хоть по миру ступай.

— Николай Захарович, что ж нам делать без Васи? — спросила Федосья.

— Как? Разве его нет?

— Нет, и завтра еще, пожалуй, не вернется.

— Ай-яй-яй!.. Вот так история... Ну, ничего: я со всякими господами встречался, знаю, что и как... Сперва нужно освободить второй этаж от квартирантов.

— Господи!..— ужаснулась Федосья, зная, как дорого это им обойдется.

— Непременно! Не могут же они жить с вами в подвале? Нет, это нужно сделать прежде всего! А потом...

И Горшков начал излагать свою программу встречи дорогих гостей.

Федосья и мать ни на что не решались без Василия. Наняли человека, чтобы съездил на Бирючью косу и отвез Василию телеграмму. Василий в тот же день возвратился. Был взволнован и растерян не меньше матери: никогда не принимал таких гостей и не знал, как лучше это сделать. Он никогда не бывал у брата, не видел его жены. Горшков же, приезжая на ярмарку, в Нижний Новгород, относил гостинцы Илье Николаевичу. А поэтому все, что он советовал, для Василия было законом: ведь кому же лучше Николая Захаровича знать, как принять дорогих гостей! И хотя это стоило Василию месячного заработка, он выселил квартирантов из верхних комнат. Дом был, как все дома в той части Астрахани, куда в половодье доходила вода, в полтора этажа. Полуподвальный этаж — каменный, верхний — деревянный. В полуподвале, как правило, жили хозяева, а в верхних комнатах — квартиранты. Теперь там мыли, белили, переносили туда все лучшее из обстановки. Но комнаты все равно выглядели очень бедно. Пришлось и у Горшковых позаимствовать кое-что. Горшков, осмотрев приготовленные комнаты, сказал:

— Да вы, матушка, как я погляжу, не невестку, а царевну ожидаете...

— Ох, боюсь,— вздохнула Анна Алексеевна.

— Да чего же?

— А вдруг что-нибудь не так, вдруг не угодим...

— Да полно вам! Мария Александровна — женщина простая, добрая, хоть и из антелегентной семьи. В прошлом годе, когда я на ярмарку плавал, как они меня встречали! Передать невозможно! Чуть только сказал, кто я и откуда, и отдал ваши подарки...

— Какие уж там подарки при нашей бедности...

— Тепел не кожух, а любовь! Это что у вас, матушка, водка?

— Водка...

— Я рюмочку выпью! — Горшков выпил водки и принялся за свой обычный рассказ, который уже много раз повторял: — Пока я сидел за столом, так, поверите ли, матушка, только и слышно было: может, вы, Николай Захарович, этого изволите откушать, может, этого? Ну, Илья Николаевич выпил рюмку, а дальше только чокается, а я пью... Я, матушка, пропущу еще рюмочку, а то от воспоминаний даже разволновался...— Горшков снова выпил и сразу же налил еще.— О чем я... Вот память! Может, позволите, матушка, еще рюмочку?

— Да пей уж, пей,— закивала головой Анна Алексеевна без того неодобрения, какое обычно слышалось в ее голосе, когда зять начинал пить не в меру.

— Эх, был бы жив батюшка, Николай Васильевич,— осушив не одну, а две рюмки, продолжал Горшков, стряхивая с бороды капельки водки.— Как бы он порадовался такой знатной невестке, таким внучатам, а? Вот бы мы с ним выпили! Ай-яй-яй!.. Грустно об этом даже говорить. Позвольте, матушка, я рюмочку выпью за упокой его души... А другую — за приезд дорогих гостей. Ведь я для них уже икорки раздобыл отборной — зернышко к зернышку — и балычка осетрового, свежего копчения. И все прочее будет, только прикажите. У зятя вашего, матушка, слава богу, тоже голова на плечах имеется. Дед и прадед мой торговали! Самому Петру Великому поставляли к столу икру и балыки! Теперь не те времена, теперь Сапожниковы в свои загребущие руки все захватили. Но ничего. Мы тоже, слава богу, еще торгуем. Я, матушка, еще рюмочку выпью и побегу, а то у меня дел много.— Горшков выпил подряд три рюмки и, видя, что в графине еще осталось, продолжал: — А встречали они меня в Нижнем хорошо! Антелегентно. Вот что меня больше всего за душу взяло. «Ах, Илья Николаевич,— думал я, глядя на жену его и на антелегентных деток.— Кто бы мог подумать, что ты таким большим человеком станешь?» Вот бы покойный батюшка встал из могилы да поглядел... Нет, нет! Ни за какие золотые горы не поверил бы, что его Илюша так высоко взлетел. Коллежский советник! Ваше высокоблаго-

родие! Ну, матушка, а к чему плакать-то? Радоваться надо такому полету сына, а вы плачете. Успокойтесь, а я вот за ваше здоровье рюмочку пропущу, не то и сам, на вас глядя, расплачусь...— Горшков выпил.— А отца Николая вы уже о гостях известили?

— Да вот Вася зайдет...

— Ах, нехорошо! Нужно немедленно батюшку уведомить. Ну, не дай бог, от посторонних прослышит. Обидится смертельно! Вот, скажет, какие: супруга крестника с детьми едет, а они ни слова, ни полслова... Нехорошо, нехорошо... Нет, я вот, матушка, пригублю посошок на дорожку и побегу прямо к храму. Батюшка, должно, как раз обедню служит... Заодно свечку поставлю за благополучное прибытие наших дорогих гостей. Ну, побежал я, побежал...— каждое слово Горшков сопровождал рюмкой.— Побежал...

Выпив почти всю водку, Горшков поплелся к выходу.

— Да, уведомь отца Николая. Проси его, чтобы зашел.

— Уж насчет этого будьте, матушка, покойны: все проведу первым сортом. Первым сортом...

В Симбирске Марию Александровну встретил Владимир Александрович Ауновский со своей матерью. Мария Александровна очень рада была добрым знакомым. Принялась расспрашивать их о Симбирске. Владимир Александрович отвечал на ее вопросы сдержанно, осторожно: ему и пугать Марию Александровну не хотелось всеми теми неудобствами, какие ожидали ее в погорелом городе, и неправду говорить он не мог.

— За те два года, что я живу здесь, город заметно похорошел,— говорил Владимир Александрович со своей неизменной веселой улыбкой.— Получилось так, как Грибоедов говорил про Москву: пожар способствовал украшению города.

Марии Александровне приходилось несколько раз проплывать мимо Симбирска. Но города она не видала: с пристани он мало приметен за гористыми берегами. А внизу, у пристани, одни только ободранные пароходные конторки да сараи. На гору — ее симбирцы называют «Венцом» —

ведет крутая ухабистая дорога. Ауновские наняли извозчика, в надежде показать Марии Александровне Симбирск, но пароход опоздал, и ночью, разумеется, уже не стоило ехать в город. И днем-то небезопасно взбираться на такую крутую гору по разбитой дороге, а ночью, да еще с детьми, и подавно. Пароход отваливал чуть свет, и о поездке в город нечего было и думать. Впрочем, Марию Александровну это не очень огорчало: оттого что город ей не понравится, ничего уже изменить нельзя, только приедешь в Астрахань в плохом настроении, а этого ей очень не хотелось. Скрыть свои чувства от родни мужа она не сможет, а они еще примут это на свой счет, получится совсем нехорошо. Разумно сказал кто-то: если ты знаешь, что впереди тебя ждут неприятности, то не спеши им навстречу, все равно они тебя не минуют. Вот ведь Владимир Александрович живет в Симбирске уже два года и, как видно, даже доволен. «Нет, все уладится»,— успокаивала себя Мария Александровна, однако в мыслях то и дело возвращалась к тому, что говорил о Симбирске Ауновский, и какая-то смутная тревога охватывала ее.

Но тревожные мысли приходили только тогда, когда Аня и Саша спали. А как только они просыпались и, позавтракав, выходили на палубу, она едва успевала отвечать на их вопросы...

9

Мария Александровна была уверена, что ее встретят хорошо. И все-таки, подплывая к Астрахани, она заметно волновалась. Всю жизнь она провела в своем семейном кругу, никогда не случалось ей жить у людей незнакомых, пусть даже и родных. Всю дорогу она обдумывала, как ей себя вести, и в то же время понимала: это бесполезно. Притворяться она не может, и все будет хорошо только в том случае, если она придется по душе этим незнакомым людям такою, какая она есть. Понимала, что Илье Николаевичу нельзя было ехать, и все же — как хорошо было бы, если бы он стоял сейчас рядом с нею...

— Мама, мы уже приехали? — допытывалась беспокойная Аня.— А где бабуся? Где дядя?

Астраханская пристань скрывалась за лесом мачт.

Тут были и трехпалубные пароходы,— как их называли, «американцы», и маленькие лодки рыбаков. Вверх и вниз, вдоль и поперек — а Волга широко катила свои воды — сновали десятки пароходов и шхун. Черные от копоти, как жуки, буксиры тащили длинные караваны барж, глубоко осевших в воду под грузом; плавали, точно огромные чайки, помахивая белыми крыльями, парусные рыбачьи лодки. На пристани — такая многолюдная и пестрая толпа, какой Мария Александровна нигде не видела. На Нижегородской ярмарке она встречала всяких людей, но здесь толпа была еще пестрее и многоязычней. Полуголые персы — босые, в полотняных штанах, с крошечной ермолкой на бритой голове — таскали с пароходов в склады тяжелые тюки. Мария Александровна вспомнила: Илья говорил, что эти грузчики (астраханцы их зовут «амбалами») по целым дням работают за пригоршню риса.

Лица, одежда — одно оригинальнее другого. Бухарцы в зеленых халатах и цветных чалмах, а рядом — высокие конусы персидских бараньих шапок, серые кафтаны и шапки, длинные белые покрывала армянок; ярко-красное платье богатой калмычки, обильно усыпанное подвесками из серебряных монет, так что они громко звенят при каждом ее шаге; красные рубахи волгарей, опоясанных разноцветными кушаками.

Аня и Саша кричали, перебивая друг друга:

— Мама, смотри! Что это?

— Верблюд.

— А вон там, маленький, с большими ушами?

— Ослик.

— Тот, о котором ты нам басню читала?

Мария Александровна отвечала детям и в то же время всматривалась в толпу на пристани.

Вот матросы перекинули сходни, и два потока людей — с парохода и на пароход — с разноязычным гомоном двинулись по ним. Мария Александровна увидела: к трапу, энергично расталкивая толпу, пробивался Горшков. А за ним — несмело, бочком — невысокий мужчина в черном сюртуке. Горшков, заметив Марию Александровну, махнул ей рукой, что-то крикнул, но за шумом толпы она ничего не расслышала. Подняла руку: я, мол, вижу вас. Горшков еще энергичнее принялся работать пле-

чом, проталкиваясь по забитому людьми трапу на пароход.

— Со счастливым прибытием вас, Мария Александровна! — сняв шляпу, церемонно поклонился он.

— Здравствуйте, Николай Захарович!

— Мое вам почтеньице, Мария Александровна! Дозвольте отрекомендовать: Василий Николаевич, родной, значит, брат вашего супруга.

— Очень рада вас видеть, Василий Николаевич,— протягивая ему руку, с улыбкой говорила Мария Александровна.— Очень рада...

Василий Николаевич робко поцеловал ей руку, сказал:

— Слава богу, что благополучно прибыли. А то мы так боялись за вас...

— Отчего же?

— А как же! В конце мая столкнулись пароходы «Наследник» и «Царь». «Царь» затонул. Люди в этом дурную примету увидели. Да... А это, значит, Саша, а это Анечка? — Василий Николаевич нагнулся к Ане, но она спряталась за юбку матери. Он смутился, спросил: — Прикажете вещи взять?

— Пожалуйста!

От пристани до Казачьей улицы, где стоял дом, недалеко. Но улицы на косе были узкие, заваленные штабелями дров, и проехать прямиком нечего было и думать. Да Василий Николаевич и не хотел везти своих дорогих гостей по этим, самым бедным и грязным, улицам. Он провез их мимо кремля, чтобы показать Марии Александровне лучшие улицы города. Саша, увидев стены и башни кремля (они были почти такие же, как в Нижнем Новгороде), удивленно спросил:

— Мама, разве мы домой едем?

Этот вопрос всех развеселил. Саша очень смутился, увидев свою ошибку, но мама его успокоила, сказав, что и ей показалось, будто они возвратились домой, когда она увидела кремль. Василий Николаевич рассказал, что Волга когда-то протекала у самых стен кремля, а позже сменила русло, намыла обширную косу, и тут начал селиться беднейший люд города. Кремль стоит на Заячьем бугре, и ему не страшно половодье. А коса в голодный 1867 год была почти вся затоплена.

— Если бы не распорядительность господина Сапож-

никова, у коего я служу, то весь город затопило бы,— рассказывал Василий Николаевич.— А вот и наша улица. Вон Федосья стоит у ворот. Увидела, за матушкой побежала...

Домик на косе — это было все, что оставил старик Ульянов в наследство своим детям. Купил он его в рассрочку. И хотя до самой смерти своей не выпускал из рук ножниц и иголки, но так и не успел выплатить весь долг. В ревизской сказке за 1835 год, собственноручно подписанной стариком Ульяновым — ему на ту пору было уже семьдесят лет,— значится, что никаких документов на дом у него нет. Выплатили долг уже тогда, когда Илья Николаевич начал служить в Пензе и высылал родным почти половину своего жалованья.

— Домик у нас старый,— говорил Василий Николаевич.— Давно следовало бы отремонтировать, да все както... Гм...— Василию Николаевичу не хотелось говорить, что на ремонт постоянно не хватает денег.— Да все, одним словом, как-то... Ну, вот мы и приехали!..

Не успели остановиться у ворот, как из калитки показалась маленькая старушка. Увидев гостей, она вскрикнула и, опираясь на палочку, мелкими шажками поспешила к телеге. Дрожащими руками пыталась обнять всех сразу, но не могла и металась от Марии Александровны к детям, приговаривая:

— Детки... Деточки мои...

В ее голосе было столько ласки, она выглядела такой знакомой (как Илья похож на нее!), что у Марии Александровны радостно забилось сердце: почувствовала, что приехала не в гости к родным мужа, а домой. Именно домой, к матери. Это чувство было еще глубже и сильнее оттого, что с самого раннего детства, с тех пор как она помнила себя, она не произносила слова «мама». Мария Александровна обняла маленькую, так похожую на ее мужа старушку и поцеловала. Повернулась к Федосье и обнялась с нею, сказала просто и ласково, точно после долгой разлуки вернулась домой:

— Вот я, родные, и увидела вас...

Марию Александровну повели наверх. При первом взгляде на свежепобеленные комнаты, на сборную, разношерстную мебель она поняла, сколько хлопот доставила хозяевам. Стало неловко, что из-за нее они так беспокои-

лись. Хотела было сказать, что не стоило освобождать весь верх, ей хватило бы одной комнаты, но, увидев, как тревожно смотрят все на нее в ожидании — понравится ей у них или нет,— благодарно улыбнулась:

— Как у вас тут просторно, хорошо...

— Рад, что вам нравится,— с довольной улыбкой сказал Василий Николаевич.— Вот здесь, на веранде, Илюша... Гм... Илья Николаевич,— смущенно поправился он,— жил, когда приезжал из Казани на вакации...

И после — о чем бы ни заходила речь — все как-то невольно связывалось с Илюшей. И Мария Александровна впервые зримо представила себе, в какой среде жил ее муж, как трудно ему было из подвала этого домика выбраться в гимназию, а потом — в университет. И она еще раз уже не умом только, а сердцем поняла, почему Илья всегда с такой болью говорил о тяжелой жизни народа, почему он, бросив все в Нижнем Новгороде, едет в Симбирск, чтобы заняться просвещением крестьянских детей. Это было его призвание. Призвание, которое пришло не из книг, а из опыта собственной жизни.

Старик Ульянов не оставил портрета. Оставил только то, что всю жизнь кормило его: большой чугунный утюг, портновские ножницы, наперсток, подушечку с иголками. По ушкам ножниц и по размеру наперстка видно было, для каких больших и крепких рук они предназначались. А по тому, как источены были ножницы, легко было догадаться, что трудно приходилось старику, если у него не было возможности купить себе новые. О том же свидетельствовали и очки, скрепленные позеленевшей от времени медной проволокой. Сотни раз они, должно быть, ломались, и старик всякий раз скручивал их проволокой.

Глядя на этот единственный «портрет» патриарха ульяновского рода, Мария Александровна представила себе, как старик, сутуля широкую спину, с утра до позднего вечера — а иногда и по ночам, при свете плошки,— шил заказчикам вот эти пестрые одежды, которые она увидела на пристани, на улицах Астрахани.

Мария Александровна вспомнила, как Илья Николаевич рассказывал однажды: отец послал его вечером в лавку купить на пятак чаю. Дал ему гривенник и строго приказал: «Смотри не потеряй!» А маленький Илюша,

возвращаясь с покупкой, как на грех, упал в грязь, когда переходил улицу.

Об этом случае Илья рассказывал с той доброй улыбкой, с какой вспоминают о горестях детства, пусть тяжелого, а все же милого сердцу. И Мария Александровна так это тогда и восприняла. А теперь отчетливо увидела, как маленький Илюша в заплатанной одежонке босиком бежит под осенним дождем, держась за заборы, из лавки, крепко зажав в руке чай. Вот он упал в грязь и с ужасом видит, что замарал чай. Вот он долго стоит у дверей, вздрагивая от каждого стука в доме, и молит бога, чтобы вышла мать — рассказать ей о своей беде. Он промок насквозь, ноги застыли от холода, но из дому никто не выходит. Отчаяние придает храбрости, и он потихоньку отворяет дверь. Отец втыкает иголку в сукно, мигая слезящимися от натуги глазами, строго поверх очков глядит на него...

Мария Александровна вздрагивает и выходит из низенькой, тягостно гнетущей, полуподвальной комнаты, поднимается на балкон второго этажа. Перед глазами открывается волжский простор, тянет ветром, пропахшим рыбой. Она облегченно вздыхает. Вспомнилось, как восторженно говорил всегда Илья о Волге, как любил ее и радовался, если выпадал случай опять побывать на берегах родной реки. Не потому ли, что легче дышалось ему, когда вырывался из темной душной комнаты на волжский простор? И не потому ли он так любил Волгу, что все светлое, свободное и радостное в его суровом детстве было связано с нею?

В первый же день, как Мария Александровна приехала к Ульяновым, собралась вечером вся их родня — повидать гостей. Пришел и крестный отец Ильи Николаевича — протоиерей Ливанов. Больше всех за столом пил и говорил Николай Захарович Горшков. Василий неприметно дергал его за полу кафтана, чтобы заставить хоть немного помолчать, но Горшков, хлопнув новую рюмку, опять принимался рассказывать уже сто раз слышанное: как он гостил у Марии Александровны в Нижнем Новгороде. По лицу Марии Александровны Василий видел, что безудержная болтовня Горшкова ей неприятна. Старался не смотреть в ее сторону — так ему было неловко.

Протоиерей Ливанов, желая показать себя перед такой просвещенной гостьей, сыпал цитатами из священного писания, красуясь семинарским знанием латыни. Но о чем ни заговаривал, все сводил к одному — к тому, как он помогал крестнику выбиться в люди, как он гордится им. Чтобы переменить тему беседы, Мария Александровна начала расспрашивать его о старике Ульянове.

— Сей муж был яко наг, яко благ,— начал густым басом протоиерей Ливанов. Перекрестился и, заведя глаза под лоб, продолжал, точно молитву: — Сподоби, преблагий господи, раба твоего Николая войти в селения райские. Он сумел земное поприще в доброчестном житии без порока пройти...

— Аминь! — не к месту ляпнул уже совсем захмелевший Горшков.

Протоиерей обиженно поджал толстые губы. Его седые усы и борода при этом так комично встопорщились, что Мария Александровна едва удержалась от улыбки. Горшков, воспользовавшись наступившим молчанием, взялся за рюмку и встал, расплескивая водку в свою тарелку.

— Мария Александровна, сделайте божескую милость: дозвольте нам с отцом Николаем выпить за драгоценное здоровье ваше!

— Пожалуйста,— улыбнулась Мария Александровна: ее начинало развлекать зрелище того, как болтливый купчина Горшков дразнит степенного протоиерея.

Выпили. Протоиерей Ливанов рассказал о храме Николы Гостинного, в котором он крестил Илью. Пригласил Марию Александровну на утреню. Мария Александровна мягко улыбнулась:

— Простите, батюшка, но мне нездоровится.

Сказать по правде, за все шесть лет жизни в Нижнем Новгороде она ни разу не была в церкви. Это равнодушие к религии воспитал в ней отец. Он, как врач, не верил в чудеса исцеления, о которых повествовалось в священном писании.

— Гм... Кха-а!..— прокашлявшись в кулак, пробасил протоиерей Ливанов.— Не смею настаивать, однако...

Но что следовало за этим «однако», он явно не знал. Оглушительно высморкался в клетчатый платок, вы-

тер потное от натуги лицо. Горшков поспешил ему на помощь:

— Батюшка! Благословите точию по единой...

— На здоровье! — прогудел протоиерей. Сказав это, он тяжело поднялся из-за стола и начал прощаться. Анну Алексеевну и Василия это заметно обеспокоило, но Горшкова огорчило только одно — что не с кем будет теперь выпить. Василий — плохой компаньон. Выпил несколько стаканчиков чихиря — кисловатого красного вина,— а после только поднимал рюмку, как и Мария Александровна. Он обычно мало пил, а при такой дорогой гостье вообще боялся пить, чтобы не захмелеть.

Василий охотно рассказывал про Илью. И говорил о нем не как о брате, а как о сыне, который превзошел отца и которым отец гордится.

— Вот, Мария Александровна, извольте взглянуть — серебряная медаль, которую Илюша... гм...— Он хотел поправиться: Илья Николаевич, но вспомнил, что Мария Александровна просила не делать этого, и смущенно продолжал: — Этой медалью Илюшу наградили за успехи в учении. Это первая медаль... и последняя — за всю историю нашей гимназии. И полагалась ему за успехи не серебряная, а золотая, но помешало то, что он из мещан. А если б из дворян, так получил бы золотую. Сам директор гимназии господин Аристов мне это говорил. За успехи в учении ему и звание было присвоено — почетного гражданина города Астрахани. Такого совсем уже никогда не было, чтобы ученику гимназии присвоили звание почетного гражданина. Когда Илюша поступил в гимназию, то в Астрахани было только двое почетных граждан — миллионер Сапожников и городской голова. Да, очень большие успехи показал он в науках. Я сколько раз говорил ему: забери медаль, а он свое: ты меня выучил, пусть она у тебя и хранится. Может, вы, Мария Александровна, возьмете и передадите ему?

— Нет, я не могу нарушить волю мужа. Не один раз он мне говорил, как обязан вам. Если бы не ваша помощь, он не получил бы высшего образования. Так что он прав: эта медаль и его, и ваша...

— Э, Мария Александровна, не говорите. Все дело в способностях. Вместе с ним начинали ученье дети богачей, а даже курса не окончили. Вот еще извольте взгля-

нуть: гимназическое сочинение Илюши.— Василий подал пожелтевшую от времени тетрадь, засаленные странички которой свидетельствовали, что ее часто листали.— Илюша хотел выбросить: пустяки, мол, а матушка не дала. И когда долго нет писем от него, я возьму, почитаю матушке из этой тетрадки, и оно, знаете, как-то на душе легче станет. Ведь это все его слова.

Мария Александровна взяла тетрадь, и сердце ее тревожно забилось: сейчас она поднимет серую обложку и увидит Илью тех лет, когда он бегал в куцей шинельке гимназистом. Развернула тетрадь наугад — интересно, что попадется? — прочитала:

«О вдохновении.

Что такое вдохновение? Вдохновение есть состояние фантазии, в котором душа художника, сильно возбужденная или растроганная, не только сильно стремится к увлекающему ее предмету, не только посредством живого воображения подмечает важные его стороны, но чувствует какое-то внутреннее побуждение сообщить свои приобретения другим. Этим-то стремлением к сообщению вдохновение отличается от фантазии, которая только творит, а не проявляется вне, следовательно, не доступна никому.

От чего же зависит вдохновение? От внешних ли каких-нибудь побуждений или единственно от внутренних явлений? Оно зависит сколько от внешних каких-нибудь побуждений, столько и от внутреннего стремления души выразить себя...

Художник должен запастись мыслями и чувствованиями, которые в минуту вдохновения только свободнее развиваются, а не рождаются. Напрасно иной хочет сделаться вдохновенным посредством искусственных средств, внешних возбуждений: усилие его бывает бесплодно...»

На последней странице Мария Александровна прочитала: «Очень хорошее сочинение». И подпись — А. Тимофеев.

Вспомнила — Илья рассказывал: Александр Васильевич Тимофеев был очень огорчен, когда он в университете избрал математику, а не литературу. Укорял при каждой встрече: у вас, мол, такой хороший стиль, так развито эстетическое чувство, и вы литературу променяли на математику. А учитель Степанов хвалил его: хорошо, мол, что

вы посвятили себя математике. У вас к ней больше всего способностей. Илья Николаевич, рассказывая об этом, с улыбкой говорил, что оба они были правы: он любил и литературу, и математику. Но в Казанском университете в ту пору сиял гений великого математика Николая Ивановича Лобачевского, и всем хотелось быть его учениками. Это и определило выбор Ильи Николаевича.

— Получал Илюша и денежные награды. Даже весьма значительные суммы — по двадцать пять рублей. Если принять во внимание, что плата за учение в гимназии составляла три рубля в год, то можете представить себе, какой это был для нас капитал. Как сейчас помню: первый раз Илюше выдали награду деньгами в тот самый год, когда над городом видна была комета. Это было... у меня где-то записано... Ага, вот: в тысяча восемьсот сорок восьмом году...

Бабушка баловала внучат: подавала им завтрак в постель, закармливала сладостями. Мария Александровна сделала попытку завести свой порядок, но между бабушкой и детьми сразу же возникли секреты, и она уступила. Анна Алексеевна обрадовалась, что Аня и Саша попали к ней в руки. Особенно ревниво она, как точно определил Василий Николаевич, колдовала возле Саши. Необыкновенная развитость Саши, рассудительность взрослого, смелость, с какой он отвечал на все вопросы, и особенно то обстоятельство, что, по мнению Анны Алексеевны, он очень походил на Илюшу, вызывали у бабушки слезы умиления.

Василий Николаевич ради приезда такой просвещенной гостьи выписал газету «Астраханский справочный листок». Саше понравился рисунок парохода. Он разостлал газету на полу, лег и принялся читать напечатанное под рисунком парохода крупными буквами:

«ОБЪЯВЛЕНИЕ

Имею честь довести до сведения публики, что пароходы общества «Дружина» отходят с одною легкою баржею ежедневно из Астрахани. По расписанию до спада воды. По пятницам после спада воды. Север-

шая правильные рейсы, с открытия до конца навигации, в 1869 году между Астраханью и Нижним Новгородом».

Анна Алексеевна смотрела на Сашу и глазам своим не верила: для нее, неграмотной, казалось чудом, что такой мальчик уже умеет читать. Вечером, когда Василий пришел со службы, она шепотом, как великую тайну, рассказала ему об этом, и он тоже не поверил. Но когда утром дал Саше газету и тот прочитал ему все, что он просил, Василий Николаевич сказал:

— Вот что значит, когда родители образованные.— Обнял Сашу, растроганно проговорил: — Спасибо, дружок. Дай бог, чтобы судьба твоя была не такая, как у твоего дяди... Да, Мария Александровна, не те уже времена, не те. Теперь так: есть способности, есть деньги — учись, где пожелаешь. А когда я Илюшу в Казань снаряжал, как на меня косились все? Говорили: куда, мол, голодранцы, лезете? Но мы уже, знаете, все перетерпели. Одобряю, очень даже одобряю я новую должность Ильи. Ему, как говорится, сам бог велел обучать крестьянских детей. Ведь наш отец из крепостных. Копейку к копейке прикладывал, во всем себе отказывал ради того, чтобы выкупиться на волю. И когда помирал — перед смертью он хворал долго,— то говорил: я одной иголкой волю себе и вам добыл. И вы смотрите: возьмите от жизни все, что доступно вольному человеку. Но и тех, кто еще в неволе сидит, не забывайте...

Когда Мария Александровна ехала сюда, уговаривались: в Астрахани она с детьми пробудет месяц, полтора. Так и сказала Василию Николаевичу, когда он спросил, долго ли они прогостят. Но уже в конце первой недели пришлось изменить планы: Мария Александровна почувствовала, что у нее под сердцем ребенок. Зная, как трудно даются ей первые месяцы беременности, она принялась собираться домой. Анна Алексеевна так растерялась, Василий Николаевич был так напуган — чем же они ей не угодили? — что пришлось объяснить свекрови причину своего неожиданного отъезда.

Мария Александровна не знала, где муж: еще в Казани или уже вернулся в Нижний Новгород? Она успела

получить от него только одно письмо, отправленное на следующий день после их отъезда. Попросила Василия Николаевича послать телеграмму отцу в Кокушкино, где придется жить с детьми до самого переезда в Симбирск. На душе у Марии Александровны было неспокойно: и ожидание ребенка, и переезд на новое место, где, как видно по всему, встретится немало трудностей. Но в письме, которое она послала мужу, выезжая из Астрахани, не было и намека на все эти переживания. Знала: у него много забот, ему нелегко уладить все, связанное с переездом, и стремилась всячески ободрить его, не беспокоить излишне. Знала, как много значило для него, что у нее все благополучно, что можно не волноваться за нее и за детей, а спокойно вести свои дела.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Город Симбирск произвел на Марию Александровну грустное впечатление. Куда ни глянь — всюду следы недавнего пожара. Когда ехали с пристани, Саша спросил:

— Мама, а почему это так: улица есть, а домов нет?

— Дома были, но сгорели.

— А где же люди живут?

— А вон видишь, дым поднимается?

— Вижу! Аня, смотри: дым идет прямо из-под земли! Вот интересно! Мы тоже будем жить под землей?

— Нет, в домике.

— В домике? — разочарованно протянул Саша.— Для чего же мы тогда переезжаем?

Мария Александровна невольно вздохнула:

— Так нужно, Саша.

Первое, что бросилось в глаза Марии Александровне, это нищие. Не успели сойти по трапу на пристань, как ее окружила толпа оборванных людей.

— Подайте погорельцам,— заныла старая, точно с креста снятая, женщина. — Покарал господь пожаром... Вот уже пять лет оправиться не можем, в погребе живем, побираемся...

Мария Александровна дала старухе гривенник. Женщина повалилась в ноги Марии Александровне, заголосила:

— Спаси тебя Христос! И за тебя, и за деток твоих век буду бога молить...

— Встаньте, встаньте,— кинулась Мария Александровна поднимать несчастную.

Подняв ее, дала рубль, чтобы та поделилась со всеми. И что тут началось: одни плакали, другие крестились, шептали какие-то молитвы, кричали что-то невнятное. Старуха опять, едва Мария Александровна направилась к бричке, кинулась ей прямо под ноги, и рядом с нею попадали все, крестясь и что-то бормоча. Аня испугалась, Саша удивился, а Мария Александровна была просто ошеломлена: никогда в жизни она не видела, чтобы люди валялись в ногах из-за такой скромной милостыни. По виду нищих, которые на коленях ползали за медяки, Мария Александровна поняла, до какого отчаяния доведены несчастные погорельцы. Ауновский, заметив, как тяжело подействовала на Марию Александровну эта встреча с нищими, сказал:

— Не удивляйтесь, что они так вам благодарны. Ваше щедрое подаяние для них как манна небесная,— они привыкли к тому, что в городе им давно уже никто не подает. Пожар превратил в нищих добрую половину Симбирска.

На пристани — толпа погорельцев, а на улице — арестанты, закованные в кандалы. Извозчику пришлось остановиться и переждать, пока в ворота тюрьмы проведут каторжников. Аня смотрела на арестантов, на солдат с ружьями и испуганно жалась к матери: в Нижнем Новгороде она такого никогда не видела. Саша не прижимался к матери, а смотрел на арестантов с удивлением и недетской жалостью в глазах.

— Мама, кто это? — тихо спросила Аня, когда бричка тронулась с места.

— Арестанты.

— А куда их повели?

— В тюрьму.

— А что с ними там делать будут?

— Об этом я тебе, Аня, после расскажу. Смотри — вон папина бричка уже остановилась у нашего двора.

Аня повернулась в ту сторону, куда указывала мама, а Саша продолжал смотреть на страшное серое здание тюрьмы, обнесенное высокой оградой. В окнах тюрьмы, за железными решетками, виднелись лица людей. Это была первая встреча Саши с людьми, закованными в кан-

далы, и с тюрьмой. Было страшновато, что теперь придется жить недалеко от тюрьмы, от этих людей в кандалах...

— Ну что ж ты, Саша, сидишь? — весело спросил отец.— Вставай. Приехали. О, да ты, кажется, недоволен чем-то?

Саша не знал, что ответить. Его выручила Аня. Она схватила брата за руку и потащила во двор, весело щебеча:

— Ой, какой домик хорошенький! Ты только погляди! Да не на большой смотри! Мы не там будем жить, а в маленьком! Ну, что, красивый?

— Красивый,— ответил Саша, хотя ничего красивого в доме не видел: просто ему не хотелось возражать Ане.

Позади двухэтажного дома, во дворе, стоял маленький ветхий флигелек. Хозяин, купец Прибыловский, уверял, что флигель теплый. Но Мария Александровна видела: зимой тут придется мерзнуть. В двух маленьких комнатах флигеля не помещалась мебель, привезенная из Нижнего Новгорода, ее пока что сложили на чердаке. Утешало Марию Александровну то, что хозяин обещал к весне освободить второй этаж дома, и тогда они смогут перебраться туда.

Флигель тесный, да еще и дворик — маленький. И когда завезли дрова на зиму, остался только узкий проход от флигеля к воротам. Ане и Саше можно было играть только на улице. А улица — Стрелецкая — такая узкая, что ни пройти ни проехать. В конце улицы площадь, где стояла тюрьма: на Старом венце (Новый венец был в центре города), то есть на высоком берегу Волги. Отсюда открывался чудесный вид на заволжские дали, на сады, спускавшиеся по крутому берегу к самой воде. Когда сады зацветали — Мария Александровна видела это, проплывая на пароходе мимо Симбирска,— то издали, с Волги, казалось, будто горы, на которых стоит город, меловые: такие они белые.

На Старом венце стояло несколько поломанных скамеек. По вечерам сюда приходили парни и девушки потанцевать под гармошку. Девушки в сарафанах, парни в красных рубахах. Они лузгали семечки и веселились, не обращая внимания на то, с какой завистью смотрят на них из окон тюрьмы заключенные, о которых по городу ходили страшные слухи. Для обывателя арестант прежде всего —

вор, бродяга, способный, очутившись на воле, человека зарезать за копейку. И Марию Александровну все уговаривали не подпускать детей к тюрьме. Не дай бог, вырвется какой-нибудь бродяга, страшно даже подумать, что тогда будет. Мария Александровна не очень доверяла всем этим россказням про выродков-бродяг, потому что знала: тюрьмы переполнены не убийцами и ворами, а единомышленниками Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Живя в Кокушкине, она только и слышала от крестьян: там учительницу арестовали, там — учителя. Арестовали за то, что они объясняли людям, почему им так плохо живется. Мария Александровна отпускала Аню и Сашу гулять на Венец, не имея времени ходить туда вместе с ними. Аня и Саша по целым часам возились у ворот тюрьмы, разыскивая разные камешки и стеклышки. И часто случалось: во время поисков этих «сокровищ» раздавался грохот засовов, звон кандалов, крики и ругань конвоиров. Из ворот тюрьмы выходили, окруженные конвоем, арестанты. Аня испуганно хватала Сашу за руку, говорила:

— Бежим! Бежим!

Они прятались за бугром и сидели там, пока партия арестантов не исчезала из виду. И после долго не могли продолжать игру, прерванную этим страшным зрелищем. Чаще всего сразу бежали домой. Аня со слезами на глазах рассказывала маме, как гнали арестантов, как ей было жалко их. Саша молчал, но в карих глазах его видна была такая душевная мука, что Марии Александровне становилось жаль его. После этого она по нескольку дней не пускала детей на Венец. Но деваться им было некуда, и приходилось этот запрет отменять.

Ауновский — он служил инспектором гимназии — и его мать Наталия Ивановна первое время были единственными знакомыми Ульяновых в Симбирске. Наталия Ивановна помогала устраиваться на новом месте. Узнав, что Мария Александровна ждет ребенка, познакомила ее с акушеркой Анной Дмитриевной Ильиной. Анна Дмитриевна, тоже обитавшая в доме Прибыловского, оказалась женщиной приветливой, интересной собеседницей.

— Не покидает меня чувство страха,— в минуты откровенности признавалась Мария Александровна своей новой приятельнице, к которой с первой же встречи почувствовала доверие.

— Полноте! Вы ведь ожидаете не первого, а третьего ребенка!

— Нет, Анна Дмитриевна, даже четвертого,— с тяжелым вздохом проговорила Мария Александровна.— После Саши у меня была девочка. Оля, но не прожила и недели...

— А-а...— только и сказала Анна Дмитриевна.

Долго молчали. Анна Дмитриевна не могла утешать так, как это делали другие: мол, ничего, даст бог, все обойдется. Она понимала — у Марии Александровны есть основания бояться за судьбу будущего ребенка.

— Вам нужно очень беречься,— первой нарушила тяжелое молчание Анна Дмитриевна.— Это первое и непременное условие. А я — разумеется, с вашего разрешения — буду строго следить за вами...

Не успел Илья Николаевич обосноваться на новом месте, как уже начал собираться в поездку по школам.

— Подождите, Илья Николаевич, пока снег не выпадет,— советовал ему Ауновский.— Сейчас дорога страшно разбита.

— Нет,— отвечал Илья Николаевич,— я обязан ехать.

— Ну, хотя бы с неделю вы можете подождать?

— Нет, дорогой Владимир Александрович, не могу! И вот почему: если верить бумагам, которые передал мне господин Вишневский, народное просвещение в губернии процветает. Но когда я спросил его, видел ли он хоть одну сельскую школу, он не знал, что ответить. Как же мне верить всему тому, что он наговорил? Нет, пока я своими глазами не увижу народные школы, мне нельзя ничего предпринимать, чтобы не попасть в смешное положение.

— Сдаюсь,— улыбаясь, сказал Владимир Александрович.— Убедили. Вам нужно ехать. А мы с матушкой поможем Марии Александровне обжиться.

— Спасибо. Я и так многим обязан вам, дорогой Владимир Александрович.

— Еще бы! — притворяясь серьезным, ответил Ауновский.— Но надеюсь — мы с вами как-нибудь сочтемся.

— Я в этом уверен! — засмеялся Илья Николаевич.— Саша! Принеси нам шахматы!

— Сейчас! — обрадовался Саша: он очень любил стоять возле отца и наблюдать игру.— Мне можно посмотреть? — передавая отцу шахматы, спросил он, застенчиво потупившись.

— Безусловно! И не только смотреть, а следить, чтобы я ошибки не сделал!

— Разве он умеет играть? — удивился Ауновский.

— Начинает разбираться. Думаю, из него неплохой шахматист выйдет. Ну, ход ваш... А-а, вы вот как! Ну, я эту пешку двину. Между прочим, познакомился я с управляющим удельной конторой Арсением Федоровичем Белокрысенко. Сильный шахматист. И человек, кажется, приятный. Хоть я и не видел училищ удельного ведомства, но от многих слышал: порядка в них больше, чем в прежних помещичьих школах.

— Да, Арсений Федорович умеет держать слово: если уж он что-нибудь сказал, значит, так и будет. Я его знаю — вместе трудимся в статистическом комитете. Кстати, Илья Николаевич, я рассчитываю на ваше деятельное участие в наших сборниках. Очень хорошо было бы, если б вы написали объективную статью о состоянии народного образования в губернии. Во время своих поездок по деревням вы соберете много фактов. Ну, как вы смотрите на это?

— Через два хода вам, дорогой Владимир Александрович, мат.

— Не может быть!

— Нет, уж это факт. А на ваш вопрос дам ответ, когда возвращусь из поездки. Ну, как — еще партию?

— Непременно! Я должен отыграться!

Но отыграться Владимиру Александровичу не удалось. Из семи партий он только одну — и то с великим трудом — свел вничью.

— Ну, Илья Николаевич,— сокрушенно вздыхал Ауновский,— за те два года, что мы с вами не видались, вы куда лучше стали играть. Как будто только и делали, что сидели за шахматами. Да не сами ли и фигуры эти выточили?

— Да, это моя работа. Купить негде, а били меня так же беспощадно, как теперь я вас. Вот я и решил выточить фигуры, а заодно и теорию серьезно подучить. Немножко разобрался, что к чему, но все равно противники были сильнее меня. Вообще, признаюсь откровенно, скучаю я по Нижнему. А Марии Александровне, я вижу, и совсем тоскливо тут. Сейчас хоть я дома, а вот как уеду почти на месяц... Да и весь следующий год мне, пожалуй, не часто придется дома бывать. Но меня это не пугает — я верю: в

народных школах можно навести порядок. Понимаю: трудно это, но... Когда речь идет о народе, у нас почему-то все трудно. Подумать только: восемь лет прошло с отмены крепостной зависимости, а мужик наш как не видел школы, так и поныне не видит. А сколько было разговоров, споров — даже в великосветских гостиных! — что пришла пора покончить с невежеством народа. Сколько писали об этом в газетах и журналах всех направлений! С каким энтузиазмом все слои общества встретили статью хирурга Пирогова «Вопросы жизни»! А выступления Чернышевского, Ушинского, Льва Толстого, Добролюбова, барона Корфа... Так много разумного сказано всеми этими выдающимися людьми, а в народных школах, кроме тех, которые созданы Толстым в Ясной Поляне и бароном Корфом в Екатеринославской губернии, все по-прежнему остается, как было.

— И еще долго так будет!

— Вот с этим, Владимир Александрович, позвольте не согласиться. Долго так продолжаться не может. В этом я глубоко убежден! Народ, который освободился от рабского ярма, не сможет примириться с такой жизнью, какая была при крепостном праве.

— В принципе — да. Но...

— Это, Владимир Александрович, будет зависеть и от того, как мы все, кто получил образование — потому что мужик всю жизнь ходил в ярме,— как мы будем помогать и ему выбиться из темноты.

— С этим я согласен! — сказал Ауновский.— И скажу вам, Илья Николаевич, с полной ответственностью: вы всегда можете рассчитывать на мою помощь.

— Вы оставите должность инспектора гимназии, если дело этого потребует?

— Не колеблясь!

— Владимир Александрович, дорогой мой! — с чувством сказал Илья Николаевич.— Позвольте крепко пожать вашу руку!

— Но ведь пока это одни слова...— смущенно возразил Ауновский.— Я, к сожалению, ничего еще не сделал для народных школ...

— Но сделаете. У меня есть кое-какие планы в отношении вас, но... об этом пока еще преждевременно говорить.

— Догадываюсь, что вы имеете в виду,— улыбаясь, сказал Владимир Александрович.

— И чудесно! — засмеялся Илья Николаевич.— Самое приятное иметь дело с человеком, который не только понимает тебя с полуслова, но умеет даже мысли твои читать.

2

Двадцать пятого октября 1869 года «Симбирские губернские ведомости» среди сообщений о переменах по службе чиновников напечатали: «Приказом г. Управляющего Министерством Народного просвещения от 6 сентября сего года за № 19-ым, учитель Нижегородской гимназии коллежский советник Ульянов утвержден Инспектором народных училищ Симбирской губернии». Приказ этот означал многое: Илья Николаевич, как инспектор народных училищ, был подчинен в первую очередь министерству, а уже после этого местным властям. Это двойное подчинение имело свои положительные и отрицательные стороны. Илья Николаевич это хорошо понимал и потому с первых же шагов указал местному начальству — мягко, деликатно, но достаточно выразительно,— что он будет с полным уважением относиться ко всем их советам, но дело, которое доверили ему, превыше всего.

Губернскому училищному совету — председателем его был престарелый, желчный епископ Евгений, абсолютно не ведавший, что делается в сельских школах,— такая постановка вопроса новым инспектором не очень понравилась. Заправилы земства встретили Илью Николаевича в штыки: на инспектора смотрели, как на своего врага, присланного лишь для того, чтобы отобрать у них права и преуменьшить заслуги. Ведь, по отчетам судя, школ будто бы уже создано столько, как ни в одной губернии. А тут приехал человек, который осмеливается им не верить.

Больше всех был обижен Иван Васильевич Вишневский: он надеялся, что инспектором назначат его. И вот на тебе — прислали какого-то учителишку из Нижнего. Да он еще собирается принизить тебя. Это уж бог знает что! Такого отношения к себе Иван Васильевич, привыкший безраздельно властвовать над всеми учебными заведениями губернии, никак не ожидал. И разумеется, не мог примириться с этим. Он начал ломать голову, как на-

солить новому инспектору, как повернуть дело так, чтобы тот пришел к нему с поклоном. Но вскоре убедился, что сделать это не так просто: у господина Ульянова тонкое чутье на расставленные против него сети. Он спокоен и осторожен. Умеет быть деликатным, предельно выдержанным. Это еще больше раздражало Ивана Васильевича, и он не в силах был сдержать нервную дрожь в голосе.

— Эту беседу, господин инспектор, нам придется отложить до следующей встречи.

— Благодарю,— с улыбкой отвечал Илья Николаевич.— И надеюсь, что вы не откажете в любезности показать мне дела училищного совета Буинского уезда? Я вскоре туда поеду, а потому хотел бы знать, что там, по вашим отчетам, делается.

— Если едете, то на месте все и узнаете! — грубо ответил Вишневский.

— Спасибо за добрый совет,— продолжал с той же улыбкой Илья Николаевич.— Сожалею, что не смогу воспользоваться им. Придется побеспокоить — чего очень не хотелось бы, но другого пути я не вижу — председателя совета, его преосвященство епископа Евгения.

— Пожалуйста!

Отсылая Ульянова к епископу Евгению, Вишневский был уверен, что тот не станет беспокоить высокое начальство из-за такой мелочи. И ошибся: Илья Николаевич отправился к епископу. Его преосвященство выразил Вишневскому свое неудовольствие тем, что тот заставляет инспектора обращаться к нему. Епископ Евгений заподозрил в этом поступке Вишневского тонкий ход. Вишневский хочет, чтобы инспектор убедился: председатель училищного совета ничего не знает. Вот и получилось: Иван Васильевич хотел подставить под удар ненавистного ему инспектора, а поплатился сам. После этого он повел себя с Ульяновым осторожнее, но враждебности своей к нему почти не скрывал.

Симбирским губернатором был Гойнинген-Гюне. Еще в Нижнем Новгороде Илье Николаевичу сказали — и Тимофеев подтвердил это при встрече к Казани,— что симбирский губернатор доживает здесь последние дни. Когда Илья Николаевич приехал в Симбирск, чиновников волновало одно: кого назначат новым губернатором. Смену такого высокого начальства чиновный люд обычно восприни-

мал как стихийное бедствие. С старым губернатором все сжились, приноровились к его капризам, изучили его слабости. А приедет новый — нужно все начинать сначала. Да еще, чего доброго, попадется такой, что к нему и не подступиться. А то может быть еще и так: приедет со своими людьми, и многим придется покидать насиженные места.

Илья Николаевич понимал, что говорить о делах с Гойнингеном-Гюне — лишняя трата времени. Губернатор получил назначение на должность управляющего IV отделом личной канцелярии царя и ожидал только своего преемника, чтобы передать дела. Но по долгу службы инспектор обязан был представиться губернатору. Гойнинген-Гюне принял Илью Николаевича словно настоящий вельможа. Это плохо вязалось с его маленькой, невзрачной фигуркой, с мелкими, невыразительными чертами лица и писклявым голоском. Глядя на то, как губернатор пыжится, стараясь изобразить из себя горделиво-недоступного властителя, Илья Николаевич с трудом удерживался от улыбки: так комичен был этот новоиспеченный царедворец.

Задав несколько трафаретных вопросов: откуда прибыли? долго ли служили там? в каком чине? какие ордена? — Гойнинген-Гюне спросил:

— Вас назначили инспектором народных училищ?

— Да, ваше превосходительство.

— Ну, что ж, это хорошо,— с величавой медлительностью сказал Гойнинген-Гюне.— Это даже очень хорошо. Припоминаю, я об этом еще в прошлом году беседовал с графом Дмитрием Андреевичем. Он обещал доложить государю, и вот — видите? — его императорское величество изволил дать свое высокое согласие на введение этой должности. Отныне будет осуществляться самый строгий надзор за народными школами, чтобы крамола не проникла туда. Только народные школы еще не заражены, кажется, нигилизмом, которым проникнуты уже все учебные заведения. И во всем виновны наши газеты! Слава богу, что государь изволил приказать князю Урусову подготовить новые правила о печати, а то и подумать страшно, каких бед могли бы натворить газетчики! Уж если «Московские ведомости» то и дело теряют чувство меры и получают предупреждения, что же говорить о других газетах? Да, да, в трудные времена мы живем. И нашему государю, как никогда, нужны свято преданные ему люди.

— Совершенно справедливо изволили сказать, ваше превосходительство,— ответил Илья Николаевич казенной фразой, стараясь не улыбнуться.

Наступила пауза. Илья Николаевич с радостью ушел бы, но Гойнинген-Гюне, должно быть, не считал еще визит законченным. Он спросил:

— С чего вам приказано начинать?

— Я думаю, ваше превосходительство, начать с изучения дел на местах.

— Весьма похвально! И все внимание следует обратить на благонамеренность учителей.

Хотел было Илья Николаевич сказать, что настоящих учителей, судя по спискам, какие передал ему Вишневский, вообще нет. Обучением детей занимаются все, кому вздумается. И думать нужно не о благонадежности, а об элементарной подготовке учителя. Но видел: говорить об этом Гойнингену-Гюне бесполезно. Поэтому молчал, желая поскорее уйти от губернатора. И когда Гойнинген-Гюне поднялся со своего кожаного кресла, показывая, что визит закончен, Илья Николаевич едва удержался от вздоха облегчения. А идя от губернатора, думал, что, кто бы ни приехал на его место, хуже Гойнингена-Гюне не будет.

3

После ненастных, холодных дней выглянуло наконец солнышко. Из заволжских степей потянуло теплым ветром.

— Ну, Маша, мне пора,— сказал в один из таких дней Илья Николаевич.

— Счастливого пути! — с ласковой, ободряющей улыбкой ответила Мария Александровна.

Степь. Кругом ни кустика, ни деревца: все голо, поосеннему хмуро. Куда ни глянь — всюду дымятся костры: мужики все еще молотят хлеб. Первая половина сентября выдалась очень холодная, морозы доходили до тринадцати градусов, поэтому уборка урожая затянулась.

Большинство деревень — особенно чувашских и татарских — приютилось в оврагах. Заслышав колокольчик, с неистовым лаем выскакивают из дворов собаки, а за ними — полуголые мальчишки, всполошенные таким дивом,

как приезд городского экипажа. Приплясывая от холода, стоят они, пока экипаж, сопровождаемый стаей беснующихся собак, не исчезнет за околицей.

Встречаются большие селения, с высокой церковной колокольней. Встречаются избы, как игрушки: под тесовыми крышами, увенчанные деревянными коньками и вычурной резьбой. Это хоромы деревенских богатеев. Таких немного. А больше таких, которые выглядят лохматыми, сердитыми: и солома на них стоит дыбом, и в окнах разве что одно стекло целое, а прочие заткнуты тряпьем; кажется, нищета до того заела хозяев, что им и на свет божий смотреть не хочется.

Уже в дороге Илье Николаевичу пришлось переменить маршрут: оказалось, что в Буинском уезде вспыхнула эпидемия тифа. За сентябрь в деревнях перемерло до сотни людей. Вишневский не мог не знать об этом, но ничего не сказал. Илья Николаевич понял: это человек не только ограниченный, но и мстительный.

Нечего было делать: вместо Буинского Илья Николаевич решил осмотреть школы соседнего, Алатырского уезда. Маршрут выбрал такой, чтобы на обратном пути заехать в село Ново-Никулино: хотелось познакомиться с Валерьяном Никаноровичем Назарьевым, о котором он слышал много любопытного. Еще в 1858 году в журнале «Современник» Илья Николаевич прочел сатирический очерк Назарьева «Бакенбарды». Валерьян Никанорович был членом Симбирского уездного училищного совета и зарекомендовал себя человеком, которого по-настоящему интересуют народные школы. Может быть, в лице Назарьева он найдет единомышленника, и тот поддержит его начинания. Ведь придется сделать много такого, против чего Вишневский и подобные ему будут свирепо воевать.

В деревне Иваньково, где по отчету существовала школа, растерявшийся староста, истово кланяясь, чтобы не глядеть в глаза, объяснил, что ребятишек-де, верно, собирался учить писарь, да все вот ему, значит, некогда. А деньги получает исправно. Илья Николаевич зашел было к писарю, но тот только что возвратился с ярмарки и разбудить его не удалось. В деревне Собачеевке школа помещалась в церковной сторожке. У Ильи Николаевича полегчало на душе, когда он услышал, что ребята учатся. Но оказалось, что и эта школа — одно только название: в ма-

ленькой темной сторожке сидели три посиневших от холода мальчика, более похожие на арестантов, чем на школьников. Илья Николаевич глянул на порванные пиджаки с чужого плеча, на закатанные до колен штаны, на босые, черные от грязи ноги, и сердце его больно сжалось: тоскливыми, голодными глазами этих мальчуганов глядело на него его собственное сиротское детство. Вспомнилось, как он, вот как эти мальчики, бредя с косы в город, месил босыми ногами обжигающую холодом грязь, но не пропускал уроков. А добрый брат Вася, виновато моргая глазами, просил: «Потерпи еще денек, другой. А может, соберусь и куплю...»

— Как тебя звать? — обняв за худые плечи одного из мальчиков, спросил Илья Николаевич, садясь рядом с ним.

— Сашка,— обомлев от страха, еле выдавил тот.

Имя это больно ударило Илью Николаевича в самое сердце: разве не такая же участь ожидала бы его Сашу, если бы Василий не помог ему выйти в люди? И разве не ценой такой же участи своего брата получил он образование? А сколько еще на Руси таких вот босоногих, голодных Сашек, которые годами мерзнут в церковных сторожках, но так и покидают школы, не научившись даже читать? Какое множество талантов гибнет, точно семена цветов, упавшие на камень!

— А где ваш учитель? — продолжал расспрашивать Илья Николаевич.

Мальчуганы испуганно переглянулись и, понурив давно не стриженные головы, молчали. Прибежала, запыхавшись, попадья. Из ее долгих путаных объяснений Илья Николаевич понял, что учитель-священник поехал на похороны в соседнюю деревню еще вчера утром и до сих пор не вернулся. По тому, как худо читали дети, было ясно: они больше мерзнут в этой темной, сырой и холодной, как погреб, сторожке, чем учатся. Понятно теперь, почему крестьяне (в отчетах уездных училищных советов это объяснялось их ленью и невежеством) не хотели посылать своих детей в школу. Невольно напрашивался вывод: пока в деревню не приедут настоящие учителя — с места дело не сдвинется.

Но где же взять таких учителей?

В следующей деревне Илья Николаевич нашел школу

в полуразвалившейся избе. Семеро мальчишек стояли на коленках, уткнувшись носами в грязную, заплеванную стену, а трое сидели на лавке. Учитель, отставной унтер, сидя за столом, громко хлебал щи прямо из горшка. На засаленной книжке — единственной на весь класс,— по которой он, как видно, учил уму-разуму оборванное воинство свое, стояла порожняя бутылка. Увидав начальство, унтер кинул ложку и гаркнул:

— Вста-ать! Смирно-о!

Мальчики вскочили, точно их кнутом хлестнули, вытянулись, замерли, испуганно таращa глаза на своего владыку. Довольно хмыкнув, унтер приложил руку к поломанному козырьку и принялся рапортовать, но язык ему не повиновался. Илья Николаевич, едва сдерживаясь, чтобы не выругать унтера, попросил отпустить учеников домой. А когда те ушли, спросил, сурово глядя на унтера:

— Вы что ж, господин унтер-офицер, думаете, что дети лучше усваивают грамоту, стоя на коленках?

Унтер был так пьян, что не уловил иронии вопроса. Тупо усмехаясь, начал:

— Это что-о... Вот у нас был фитьфебель...

— Довольно! — с несвойственной ему резкостью оборвал унтера Илья Николаевич.— И прошу запомнить: школа — не казарма, а дети — не солдаты.

— Слушаюсь! — испуганно вытянулся унтер.

Илья Николаевич посмотрел на его тупое, набрякшее от непробудного пьянства лицо и понял: говорить с этим человеком бесполезно. Ему ничего не объяснишь, не втолкуешь. Гнать его нужно из школы. И немедленно!

Школа в деревне Кувакино помещалась в темном подвале волостного правления. Учитель — длинный, тощий семинарист — одет в какое-то тряпье. На ногах — белые валенки, старые, дырявые, из дыр торчит солома. Тут же, в классе, волостной сторож, не обращая никакого внимания на учителя, колет дрова.

— От старосты только и слышу: «Вы дармоед, ничтожество,— как-то равнодушно жалуется учитель, не стесняясь присутствием учеников.— Сидите смирно и ничего не просите. А будете жаловаться, лезть туда, куда вас не зовут, выгоню!»

— Хорошо, об этом мы особо поговорим,— остановил

Илья Николаевич учителя.— А сейчас я хочу посмотреть, что знают ваши ученики.

— Извольте,— уныло протянул учитель.— Прикажете начать с закона божьего?

— Как угодно,— начал Илья Николаевич, садясь не за стол, а рядом с учениками.

— Прытков! Расскажи о потопе.

Мальчуган испуганно вскочил с места. Прокашлялся. Шумно вздохнул и замер. Еще вздох, но — опять ни слова.

— Когда народ размножился и развратился...— зашептал учитель, делая угрожающие знаки руками.

— ...тогда,— бойко подхватил ученик,— господь задумал наказать их...

И вдруг за стеной волостного правления послышался отчаянный вопль: «Ой, голубчики, отцы родные! Помилосердствуйте! Другу и недругу закажу! Ай, ай, ай... а-а-а-а!..»

— Батю порют! — сказал, весь помертвев, мальчик, который сидел рядом с Ильей Николаевичем.

— Что это такое? — спросил Илья Николаевич растерявшегося учителя.

— За долги секут... И такое, осмелюсь доложить, бывает по целым часам. Сперва крик, потом — плач и рыдания... Да вот — слышите?

К мужскому голосу присоединился отчаянный женский плач. Несчастный мальчик зажал руками уши и полез под стол. Илья Николаевич удержал его, успокоил, пошел в волостное правление...

И так почти в каждой школе: не одно, так другое. Чтобы вырвать копеечную прибавку учителю, нужно выдержать бой. Староста и писарь жалуются на учителя, учитель — на них. А деревенские богатеи, мироеды, твердят:

— Какое это ученье? Все лаской да уговором. А что в писании святом сказано? «Не ослабляй, бия младенца! Страх божий — начало всей премудрости».

— А делаем мы много,— твердят богатеи.— Вот поглядите, господин инспектор, на стенах белые обои с синими звездами. Откуда они? Это мы, по мирскому приговору, купили. А часы? Ведь это в школе первое дело! Без

часов и школа не школа. Мир купил и часы! Дешевенькие, правда, но точные! Даже очень точные. Вся деревня ходит на них смотреть.

— Что купили часы — это хорошо,— отвечал Илья Николаевич.— Но вот что плохо: очень мало вы платите учителям. Писарь у вас получает тридцать пять рублей, его подручный — двадцать пять, а учитель — пятнадцать.

— Справедливо изволили заметить,— соглашается староста.— Всего пятнадцать целковых. Мы понимаем, что немного, но,— староста развел руками,— откуда же, ваше благородие, прикажете при нашей скудости больше взять? Мужика червяк хлебный разорил. Что ни год, червяк дотла поедает озимину. Этим летом столько молебнов батюшка правил, что кабы это где в других краях, так на камне хлеб вырос бы. А у нас — все погибло. Батюшка посоветовал жнивье выжечь. Говорит, там, где в прошлом году сожгли жнивье, уродил хлеб. Многие наши мужики пожгли, а что уродит, одному богу известно... Откуда же прибавить плату учителю? Да вот вам крест святой: все будут кричать, чтоб еще пятишницу убавить! И то сочтите, ваше благородие: ну какой же это, сказать откровенно, учитель? Одно прозвание. Три года мучил детей, а взялись проверять — ничего они, пожалуй, не знают. За что же прикажете плату учителю прибавлять?

Илье Николаевичу нечего возразить: таким учителям, как унтер, как недоучка-семинарист, и пятнадцать рублей платить грех. Такие учителя приносят не пользу, а вред. Глядя на них, крестьянин убеждается: ученье в школе — никчемная, обременительная повинность для детей, а они могли бы помогать по хозяйству. И не удивительно, что в школу набирают, как в солдаты. Учиться идут дети тех, кто не может выставить миру ведро сивухи, чтобы откупиться от этой страшной повинности. Не было деревни, где бы мужики, проведав, что приехало начальство и проверяет школу, не бежали в волость и не валились в ноги Илье Николаевичу, умоляя его «ослобонить» их детей от учения.

— Отец родной, благодетель ты наш! — повалясь в ноги Илье Николаевичу, голосила баба.— Я вдова, он у меня один-одинешенек, а все равно забрали! И за что? Только за то, что выкуп старосте и писарю не принесла. А как

выкупить, если цену богачи набили до двадцати пяти целковых! У меня таких капиталов сроду не бывало...

— Успокойтесь,— помог женщине подняться Илья Николаевич.— Я разберусь...

— Пособи, батюшка, а то замучат мое дитя, и останусь я круглой сиротой. Три раза уже он убегал, да урядник и сотский поймают и опять ведут к учителю, чтобы мучить. На парне живого места нет. От испуга заикаться начал. Дай ты ему волю, батюшка, Христом-богом прошу тебя. Учитель в глаза ему плюет и утереться не позволяет! Ведь это чистая каторга, а не школа. Замучит он до смерти моего Ваньку-у...— снова заголосила баба, припадая к ногам Ильи Николаевича.

— Встаньте, встаньте,— с такой мукой в голосе сказал Илья Николаевич, что женщина встала и притихла.

Как ее успокоить? Спросил старосту:

— Кто у вас учительствует?

— Батюшка Ипат.

— Проводите меня, пожалуйста, к нему.

— Проводить можно,— захлопал красными глазами староста, видно, уже под крепким хмельком.— Проводить можно, да батюшки Ипата третия день, кажись, дома нет. Уехал в город и, значится, до сей поры не вернулся. И когда воротится — этого нам, значится, он не сказывает. Промышляет он, значится, тем, что скотом торгует, так частенько ездит по делам своим...

— Ну, а когда ж и как он проводит занятия с детьми?

— Этого мы, ваше благородие, не можем знать, потому сами неграмотные. Вам бы писаря спросить, да он тоже уехал вместе с батюшкой...

— А как же вы бумаги читаете? Как приговоры пишете? — спросил Илья Николаевич, услыхав, что староста неграмотный.

— А на то у нас писарь есть. За то ему мир деньги платит. А мое дело — печатку приложить. Печатка — она, значит, сильнее грамоты. Вы будете у нас ночевать, так я прикажу самоварчик поставить?

— Нет, я поеду. До соседней деревни недалеко?

— Оно-то недалече. Да ночь в дороге застанет. А дороги тут окаянные. На прошлой неделе сам становой опрокинулся, как раз у моста. Ну, уж и гневаться изволил — не приведи господи! Так двинул меня по уху, что по сю

пору что-то там звенит. Так прикажете самовар заправлять?

— Нет, спасибо! — ответил Илья Николаевич, ему не хотелось ни на минуту оставаться в этой деревне.— Я поеду...

— Ну, воля ваша, ваше благородие... А я бы не советовал против ночи ехать...— провожая Илью Николаевича к бричке, говорил староста.— А становой у нас — уж такой строгий! Ежели урядник не угодит, так он и его, не глядя на чин, нагайкой отхлещет, а нас, старост, и вовсе. А я его, как вот и вас, Христом-богом просил: не ездите в дорогу против ночи, прикажите самоварчик поставить. Да куда там — и слушать не захотел. А после я же виноватый оказался.... Ну, счастливо вам доехать!..

4

Староста сказал правду: дорога была так разбита, что бричка несколько раз чуть-чуть не перевернулась. Спасла от этого Илью Николаевича только сноровка ямщика — человека ловкого и сильного. Едва бричка накренялась, он соскакивал с передка и подпирал ее широким плечом. Илья Николаевич жалел уже, что, поддавшись раздражению, поехал, но возвращаться было поздно. И когда наконец добрались до деревни, он попросил остановиться у трактира и угостил ямщика водкой. Выпил и сам, потому что промерз до костей. Чувствовал себя и физически — от дьявольской тряски, и морально — от всего, что довелось увидеть в школе, совсем разбитым.

В волости застал только отставного солдата. При виде начальства тот вытянулся в струнку, как в строю.

— Вы кто? Сторож?

— Кричите, ваше благородие, громче! Как я был контуженный под Севастополем, я после туговат на уши стал,— не сказал, а прокричал ветеран Крымской войны.

— Где староста ваш? — крикнул чуть ли не в самое ухо сторожу Илья Николаевич.

— Прикажете позвать?

— Да.

— Слушаюсь!

Сторож повернулся через левое плечо и затопал к выходу. Минут через десять, сопровождаемый сторожем — тот вел его с такой строгостью, точно арестанта,— вошел, едва передвигая ноги, староста.

— Ваше благородие,— заговорил он еще на пороге, сбросив шапку и пьяно кланяясь.— Окажите милость божескую: не карайте. Нынче мир постановил построить, по приказанию господина урядника, сарай для пожарной бочки. С дедов-прадедов стояли бочки прямо под открытым небом, а тут тебе приказ: в сарай закатить. Думали мы, ваше благородие, собрать с души матерьялу и строить всем миром. Но ведь это столько хлопот, что не дай бог. Ну, тут один пожелал подряд взять. Люди согласились дать ему по гривеннику с души. Ну, а он выставил ведро магарыча. Вот и высушили мы ведро, потому все по закону...

— Хорошо,— прервал старосту Илья Николаевич.— Скажите мне вот что: школа в вашем селе есть?

— Школа? — переспросил староста, скорчив такую гримасу, точно он хотел сказать: я принял вас за серьезное начальство, а вы такие никудышные вопросы задаете.

— Да, школа.

— Школа есть. Куда ж ей деваться? Весь подвал волостного правления мир отдал школе. Дрова даже сложить негде...

— А кто у вас учителем?

— Чужак. Еще до меня его мир взял. Ничего — грамотный. Да вот беда: хворый, хоть совсем еще молодой. На меня же люди ворчат: не надо, мол, ему ни копейки платить. А то что ж это такое: он дома сидит, а ему плати. Нету, говорят, такого закона. Ну, сошлись на том, чтобы, пока выздоровеет, половину платить. И то — столько крику было, передать вам нельзя.

— И сколько же вы ему платите?

— Семь целковых, а прежде выдавали пятнадцать. И не жаловался. И мужики довольны были. Старательно и башковито обучал. И вот на тебе: прилипла болезнь и никак не отпускает. Жаль человека, да что поделаешь: все мы под богом ходим... Так прикажете, ваше благородие, самоварчик поставить? Или, может... гм... чего-нибудь покрепче с дороги, так я мигом...

— Нет, благодарю. Проводите меня к учителю.

— Слушаюсь. Когда прикажете завтра к вам прибыть?

— Вы меня не поняли. Я хочу сейчас пойти к учителю.

— Сейчас? — удивленно заморгал староста.

— Да, сейчас! — возвысил голос Илья Николаевич — пьяная болтовня старосты начинала его раздражать.

— Слушаюсь, ваше благородие! Прикажете идти?

— Идемте.

Всю дорогу шли молча. Староста тщетно ломал голову — почему это начальство, прибывшее из самого Симбирска, пожелало идти к учителю. Старостой он был уже не первый год и знал: по ночам начальство разыскивает только тогда, если нужно кого-нибудь немедленно арестовать. Но ведь это обычно делал становой, а то и сам исправник, а не гражданский чиновник. А теперь и ему, старосте, влетит от начальства: куда, мол, смотрел? Почему прозевал? А он еще на сходке добивался, чтобы половину платы учителю оставить. Теперь мужики с него за это взыщут. Ведром водки, пожалуй, не ублажишь. Догадка старосты, что начальство будет допрашивать учителя, окончательно укрепилась в нем после того, как приезжий, добравшись до комнаты учителя, отпустил старосту восвояси. Допрос, значит, пойдет без свидетелей.

Более жалкого жилища, чем то, в котором обитал больной учитель, Илья Николаевич еще никогда не видел. Черная и такая низкая, что не выпрямишься, келья-хлев. За перегородкой хрюкала свинья, тяжело, гулко вздыхала корова. Каморку слабо озарял огонек лампадки, висевшей перед иконой. На деревянном топчане, где лежал исхудалый, с глубоко, как у мертвеца, запавшими глазами учитель, вместо постели — какие-то грязные полуистлевшие лохмотья. Возле учителя сидели двое мальчиков с какими-то книжечками в руках. При виде старосты и Ильи Николаевича мальчуганы так испуганно вскочили, что уронили книжки на пол. Страх перед таким грозным начальством, как староста, был настолько велик, что они не смели даже нагнуться за книжками. Отослав старосту, Илья Николаевич поздоровался с учителем — его худая, слабая рука была болезненно горяча и влажна,— сказал мальчикам, которые пятились к двери:

— А вы куда? Возьмите книжки и садитесь. Ну, ну, не бойтесь,— обняв за плечи малышей, продолжал Илья Ни-

колаевич так ласково, что они без колебания послушались его.— Какие у вас учебники? А, «Детский мир»,— взглянув на книгу, поданную одним из мальчиков, с удовольствием сказал Илья Николаевич.— Очень хорошо!

— Это мои лучшие ученики,— сказал хриплым голосом, оживившись от такой похвалы, учитель: он привык к тому, что начальство постоянно бранило его за новый метод обучения по книгам Ушинского, Льва Толстого, барона Корфа.— Мои верные и единственные друзья. Я вот уже пятую неделю не встаю с постели, так они ко мне приходят. Ну, принесут иногда кусок хлеба...

Учитель помолчал, борясь со слабостью, и снова заговорил:

— И не они только: другие тоже приходят. Но у меня сил видите сколько? Час позанимаемся, уже и голова кружится. Ну, а ребят жалко: очень они к книгам тянутся. Может, вам, господин инспектор, угодно послушать, как они читают? — спросил учитель, умоляюще глядя запавшими глазами на Илью Николаевича: так ему хотелось, чтобы тот увидел плоды его трудов.

— С большим удовольствием.

— Извольте тогда открыть книгу на какой-нибудь странице. Спасибо, господин инспектор,— сказал учитель, беря раскрытую наугад Ильей Николаевичем книгу.— Гриша, ну-ка прочитай «Раздумья селянина». Можешь стать ближе к свету. На свечку денег нет, так мы при лампадке учимся. А масла для лампадки одна монашенка, спасибо ей, приносит... Ну, начинай...

Гриша — остроносый, лохматый,— моргая голубыми, как небо, глазенками, начал выразительно, четко выговаривая слова, читать с интонацией наученного житейским опытом крестьянина:

— «Сяду я за стол да подумаю: как на свете жить одинокому?.. Нет у молодца друга верного, золотой казны, угла теплого, бороны-сохи, коня-пахаря; вместе с бедностью дал мне батюшка лишь один талан — силу крепкую; да и ту как раз нужда горькая по чужим людям всю истратила».— Гриша громко вздохнул, закончил: — «Сяду я за стол да подумаю: как на свете жить одинокому?..»

— Спасибо, Гриша! — с неподдельным восхищением воскликнул Илья Николаевич.— Спасибо, друг! И вам,

Антон Федорович, спасибо,— пожимая руку учителю, говорил Илья Николаевич.— Очень хорошо читал ваш ученик!

— Если прикажете, он перескажет все своими словами...

— Нет, нет, спасибо. Я и без того вижу, что мальчик хорошо понимает прочитанное. Это видно по его разумной, точной интонации.

— Тогда позвольте отпустить их,— попросил учитель, еле сдерживая радостную улыбку. Ведь его похвалили впервые за все годы работы в школе.— Идите, ребятки.

Едва дети вышли, как в дверь кто-то постучался. Послышался женский голос:

— Антон Федорович, можно к вам?

— Зайдите, зайдите...

Приоткрыв дверь, вошла женщина но, увидав чужого человека, да еще городское начальство, попятилась назад.

— Куда ж ты? Входи!

— Да я после...— откликнулась уже из-за двери пришедшая.— Я тут обожду...

— Доброй души женщина,— сказал учитель.— Но... вас, господин инспектор, испугалась. Вы уж простите ее: народ здесь вообще боится всякого начальства, как нечистой силы. Говорить это неприятно, но я... не привык из песни слова выбрасывать. Всегда говорю правду, а теперь, когда одной ногой уже стою в могиле, мне сам бог велел ее говорить...

— Если вы позволите, я приглашу женщину войти,— сказал Илья Николаевич.— А то мне неловко, что я заставляю ее мерзнуть на дворе.

— Пожалуйста, господин инспектор.

Илья Николаевич вышел и позвал женщину в избу. Та хоть и перепугалась, но не посмела перечить начальству.

— Вы уж простите меня, Антон Федорович, глупую и неразумную,— с порога начала баба.— Принесла вам картошечки вареной, в кожуре. Может, думаю, поедите тепленькой, внутренность прогреете...

— Спасибо тебе, Василина Матвеевна! — растроганно проговорил учитель.— Я уж не знаю, как и благодарить...

— Да что там! — смущенно отмахнулась женщина.— Нешто я одна вам ношу... Все бабы, особенно те, чьих деток вы уму-разуму научили, молят бога, чтобы он болезнь от вас отвел...

— Спасибо, спасибо... Твоими, Василина Матвеевна, молитвами и таких добрых душ, как ты, я только еще и дышу. Не то давно бы уже отдал богу душу. Спасибо тебе... А Ваньку присылай каждый четверг... И дома пускай книжку почаще раскрывает и вслух читает...

— Да он нам каждый вечер читает,— проговорила Василина Матвеевна.— Весь наш конец приходит послушать его. А он как возьмет книжку, ну прямо как соловей поет. Случается даже так, что бабы не выдерживают и плачут... Я вам тут и соли завязала, и хлебца краюшку...— разворачивая горшок, приговаривала она.— Ешьте и выздоравливайте. А я побегу, меня дома ждут...

Не успела Василина Матвеевна выйти, как в дверь снова кто-то робко постучался.

— Входите, входите! — отозвался учитель.

— Антон Федорович, к вам можно? — спросил прежний мальчик, просовывая голову в дверь.— Мать вам молока прислала. Куда его поставить? За кувшином я завтра приду, так что можете, говорила мать, не тревожиться...

— Гриша,— укоризненно начал учитель,— ведь я в прошлый раз говорил тебе: передай отцу и матери, чтоб не тратили лишнего. Ведь вы сами впроголодь живете.

— Я ей говорил, а она: не твое, говорит, дело. Сказано — неси, и все. Ну, я и понес,— рассказывал Гриша, смущенно моргая и не глядя на учителя.— Как я могу не послушаться? Ведь побьют...

— Ой, горе с вами! — поморщился учитель.— А ты сам-то пил молоко нынче?

— Пил! — не моргнув глазом, ответил Гриша.

— Ну ладно. Спасибо, дружок. Отцу и матери передай,— если, бог даст, с постели встану, так в долгу не останусь...— Гриша метнулся к двери, но учитель остановил его: — А ты книжки-то читаешь или так же, как молоко пьешь?

— Нет, книжки я каждый день читаю! Ну спросите что-нибудь. Все прочитаю...

— И наизусть выучил то, что я задавал?

— Выучил!

— Ну, прочитай.

Гриша пригладил обеими руками торчащие волосы, принял важный вид и начал читать, уставясь глазами в низкий черный потолок:

НОЧЛЕГ В ДЕРЕВНЕ

Душный воздух, дым лучины,
Под ногами сор,
Сор на лавках, паутины
По углам узор;

Закоптелые полати,
Черствый хлеб, вода;
Кашель пряхи, плач дитяти...
О, нужда, нужда!

Мыкать горе, век трудиться,
Нищим умереть...
Вот где нужно бы учиться
Верить и терпеть.

— Спасибо, Гриша,— сказал Илья Николаевич сдавленным голосом: в чтении мальчика было столько тоски, что жаркий клубок подступил к горлу.— Хорошо!

— Это мой лучший чтец! — сказал Антон Федорович с радостной дрожью в голосе.— Ну, ступай, Гриша. Да не забудь поблагодарить от меня отца и мать.

Когда Гриша ушел, Антон Федорович с горькой улыбкой заметил:

— Вот так и живу. Подаянием. Да я не стыжусь этого, потому что не прошу, а люди, как видите, сами несут. Значит, что-то доброе и я для них сделал, если заботятся, чтобы с голоду не издох раньше, чем болезнь в могилу загонит...

— О могиле вам, Антон Федорович, рано думать,— сказал Илья Николаевич.— Лечиться нужно.

— Лечиться? — скептически усмехнулся Антон Федорович.— Помнится, в детстве я мечтал летать, как птица. И лечиться для меня теперь то же, что и летать...

— Об этом уж я позабочусь,— просто, но убедительно

сказал Илья Николаевич.— Моя обязанность состоит не в том только, чтобы проверять и требовать, а также и в том, чтобы защищать учителей от произвола, от всяческих унижений и издевательств! — продолжал Илья Николаевич, и в голосе его все громче слышались гневные нотки.— Я потребую, чтобы мир назначил вам приличную плату. А по возвращении в Симбирск договорюсь о бесплатном лечении вас в земской больнице. И вообще возбужу вопрос о бесплатном лечении учителей! О прибавке жалованья, о предоставлении школам помещений, пригодных для занятий, о покупке учебников. И десятки других вопросов, без которых сельские школы не могут существовать.

— Илья Николаевич,— впервые назвал его учитель по имени и отчеству, увидев, что это не просто начальство, а его единомышленник,— простите меня великодушно, но я... Но мне... Мне просто не верится, что все это не сон, что я разговариваю с инспектором народных училищ. И не потому, что я вам не верю. Нет, я верю вам! Но... я так уже привык к другому отношению к народным школам, что... у меня просто в голове не укладывается... Если все будет так, как вы говорите, то мне очень тяжело... Мне страшно жалко будет уйти из жизни тогда, когда можно так много сделать...

— Еще раз повторяю вам, Антон Федорович, вы рано собрались хоронить все свои надежды,— с ободрительной улыбкой сказал Илья Николаевич.— Я уверен, мы еще поработаем вместе не один год. Ну, а теперь расскажите мне, как вы стали учителем? С какими препятствиями встретились? Мне это непременно нужно знать, чтобы наметить программу своих действий. Я посетил уже не одну деревню, но вы первый учитель, от которого мне не хочется уезжать, которого мне хочется выслушать.

— Я тронут вашим вниманием, Илья Николаевич. Спасибо и на добром слове. Понимаю, что это сказано с желанием поддержать меня, а не потому, что я этого заслужил. Утешаю себя тем, что если подымусь с постели, то приложу все усилия, чтобы оправдать ваше хорошее отношение ко мне. Ну что ж, рассказ мой будет долгий и, как нетрудно догадаться, не очень веселый. А потому прошу вас, прежде чем выслушаете мою исповедь, резделить со мной скромную трапезу. Если, разумеется, не побрезгуете...

— Что вы? С огромным удовольствием поем картошки! В студенческие годы такая нечищеная вареная картошка не один раз спасала меня от голодной смерти.

— Вот и славно! — обрадовался Антон Федорович, постучал кулаком в стену, пояснил: — Это условный знак хозяйке: прошу, мол, поставить самовар. Хоть семь рублей, но мне все-таки платят. И я в состоянии иногда побаловаться чайком. И вот такого дорогого, такого нежданного гостя напоить чаем. Ну, угощайтесь. Чай будет минут через двадцать.

Илья Николаевич проголодался за день, промерз, а потому с большим удовольствием поел, густо посыпая солью, теплой картошки. Хозяйка — худая, закутанная по самые глаза черным платком — внесла самовар. Молча поклонилась Илье Николаевичу и, не сказав ни слова, вышла. Антон Федорович, обложившись тряпьем, которое лежало у него на кровати, оперся спиной о стену и начал рассказывать:

— Вы помните, Илья Николаевич, как много в первые годы после отмены крепостной зависимости было разговоров о том, что пора уже заплатить долг мужику, который веками мучался в работе и в темноте. Я близко к сердцу принял эти разговоры, потому что отец мой получил вольную лет за семь до освобождения народа. Помещик отпустил на волю только его, а мы все — мать и еще две мои сестры — продолжали быть его собственностью. Ну, отцу посчастливилось отдать меня в реальное училище. За год до окончания курса я бросил ученье и с самыми благородными намерениями поехал в деревню и принял должность учителя.

Антон Федорович глотнул чаю, перевел дыхание и снова заговорил:

— Школа, где я начал учительствовать, помещалась в нижнем этаже каменного флигеля, который принадлежал волостному правлению. До открытия училища этот нижний этаж служил арестантской. Классная комната была довольно велика, но темная. С задних скамей невозможно было разглядеть, что написано на доске. Штукатурка сыпалась на головы, стены чернели от тараканов, а под столами прыгали лягушки.

Говорить Антону Федоровичу было трудно: он еле ды-

шал, то и дело утирал полотенцем пот со лба. Отдышавшись и сделав несколько глотков чаю, Антон Федорович спросил:

— Может, это неинтересно вам?

— Нет, нет, что вы?! — возразил Илья Николаевич.— Мне все это необычайно интересно. Только я вижу, что вам трудно говорить, и чувствую себя виноватым, что беспокою вас...

— Пустяки! Вы видите, я очень рад, что нашелся человек, согласный меня слушать! А то я уже думал, что помру, так и не рассказав никому скорбную повесть своего жития, говоря словами летописца. Так вот. Началось ученье, стал часто появляться пьяный староста. Прерывал урок, заставлял детей петь. А то посылал кого-нибудь за водкой. Я отказывался пьянствовать с ним, и это его очень раздражало. А обо мне он говорил: «Кто его знает, что за человек. Обучает по-новому, водки не пьет, никуда не ходит, к себе не зовет. Давайте-ка научим его, как на свете жить». Ну, и началось... Сперва дрова перестали давать. А когда увидели, что я и в холодной комнате продолжаю вести уроки, перестал деньги платить, чтобы допечь меня голодом...

Антон Федорович закашлялся и кашлял долго, надрывно, утирая пот со лба. Успокоившись, тихо заговорил:

— Семнадцатого июня ученики сдавали экзамен. Экзаменовал поп в присутствии старосты. Заботились только о быстроте чтения. Понимает ли ученик прочитанное, может ли объяснить что-нибудь из окружающего мира — все это казалось экзаменаторам лишним. Священник только и говорил о ланкастерской методе совместного обучения и высмеивал мои новые педагогические приемы. Ну, вы сами понимаете, что в таких условиях я не мог продолжать работу. Я подал прошение, и училищный совет перевел меня в другую деревню.

— Отдохните, Антон Федорович,— остановил его Илья Николаевич, увидев, что он говорит с большим усилием.

— Спасибо. Видите, как я слаб. Ну, вот. До моего приезда учил детей священник. Ограничивался чтением вслух или списыванием из книг. В отсутствие священника учениками командовал солдат-сторож. Этого учителя интере-

совала только муштра. Очень любил объявлять тревогу. Делал это так: влетал в школу, кричал: «Ну-ка, кто живее сбегает в кабак за водкой!» И ученики наперегонки бежали друг за дружкой по деревне.

Вошла хозяйка. Увидела, что гость еще сидит за самоваром, и не сказав ни слова, скрылась за дверью. Антон Федорович посмотрел на нее, но тоже ничего не сказал. Отпил несколько глотков остывшего чая, вздохнул.

— Так вот, Илья Николаевич. Классная комната была без форточки и такая низенькая, что я мог стоять только согнувшись. А учеников — сорок. Нечем дышать. А рядом с классом, в сенях, волостной сторож колет дрова. Мне постоянно приходилось почти кричать, чтобы заглушить стук топора. Поселился я здесь, потому что другого помещения не было. От тесноты и от соседства с хлевом воздух здесь такой, что у свежего человека голова идет кругом и ноги подкашиваются. И дома дышал отравой, и в школе. Терпел, пока мог на ногах стоять, а теперь вот... все...

Во время рассказа Антона Федоровича душил кашель, но он сдерживался. А теперь, закончив рассказ, дал волю ему, и кашель с такой силой рвал свою жертву, что Илья Николаевич испугался: казалось, учитель вот-вот задохнется. Но Антон Федорович, должно быть, собрав все силы, задержал кашель и хрипло проговорил, стараясь за улыбкой скрыть болезненную гримасу на лице:

— Видите, что от меня осталось?

— Антон Федорович, как только я вернусь домой,— сказал Илья Николаевич,— я немедленно позабочусь о том, чтобы положить вас в земскую больницу.

— Я очень признателен вам, Илья Николаевич...— слезы застилали глаза Антону Федоровичу.— Простите меня, ради бога,— сердито вытирая их, продолжал он.— Я уже так ослабел, что не могу удержаться от слез... И не удивительно: впервые в жизни встретил такое отношение со стороны начальства. И если уж жалеть о чем-нибудь, то лишь об одном — что эта встреча, Илья Николаевич, совершилась так поздно.

— Вот это мне не нравится! — энергично возразил Илья Николаевич, вскочив с места.

— Осторожно! Ударитесь головой о потолок! — испуганно замахал руками Антон Федорович.

Но было уже поздно: Илья Николаевич стукнулся-таки головой, потер ушибленное место, весело засмеялся:

— Низковато у вас. Но и это поправимо: после больницы пошлем вас в другую школу, где условия получше. А мысли о смерти выбросьте из головы! У нас много дела впереди! Интересного, нужного!

Уже светало, когда Илья Николаевич ушел от Антона Федоровича. Располагаться на ночлег было поздно. Да и чувствовал, что не заснет: глубоко разбередила его душу эта встреча с больным, всеми покинутым учителем. Разбудил ямщика и велел запрягать. Староста, который всю ночь ожидал его в волости, испуганно засуетился, увидав, что начальство чем-то недовольно. Илья Николаевич сказал ему:

— Учителя мы заберем лечиться. А пока он у вас тут лежит, отнеситесь к нему по-человечески. Верните ему хотя бы те пятнадцать рублей, которые прежде давали. Если вы сами этого не сделаете, то я позабочусь, чтобы вам приказали.

— Не извольте сомневаться, ваше благородие, мы все сделаем.

По тому, как староста отводил глаза в сторону, Илья Николаевич понял: обещает он все сделать лишь для того только, чтобы успокоить начальство. По опыту староста знал: приедет какой-нибудь начальник, накричит, настращает всяческими карами, а уехал — и забыл обо всем. А потому принял за правило: обещать, не задумываясь, и ничего не делать. Но на этот раз по необычному поведению господина инспектора чувствовал: дело не закончится обещаниями, а придется созывать сходку...

5

Осмотрев школы в нескольких деревнях, Илья Николаевич поехал в Ново-Никулино. Ему хотелось поговорить с Назарьевым, послушать, что он, как старожил, скажет о школах. Осмотреть его школу, которую тот построил у себя в деревне.

Валерьян Никанорович Назарьев поселился в своем имении, выйдя из военной службы. Человек он был энергичный, недурно владел пером. Как передавали Илье Николаевичу, он увлекался всем так же быстро и горячо, как

и охладевал. Когда было издано положение о новых судах, он занял должность мирового судьи. Но вскоре охладел к своим судейским обязанностям. Теперь взялся за школу, так как ему не давала покоя громкая слава барона Корфа, создателя образцовых школ в Александровском уезде Екатеринославской губернии. Валерьян Никанорович, как сказали Илье Николаевичу, переписывается с бароном Корфом. В школе, которую он открыл у себя в деревне, применяются педагогические методы барона Корфа, обучение идет по его книгам. Помещиков, которые так много энергии уделяли бы народной школе — пускай даже только в первый момент своего увлечения,— в губернии были считанные единицы. А потому Илья Николаевич, подъезжая к усадьбе Назарьева, заметно волновался: станет ли ему другом этот помещик, или, может быть, он уже разочаровался в том, что еще вчера считал своим жизненным призванием.

В Ново-Никулино приехали засветло. Илья Николаевич уже издали увидел новое здание школы, и от сердца у него отлегло. Долго ли будет увлекаться Валерьян Никанорович новыми методами обучения — это не так важно. Главное, построено школьное здание. Подготовить учителей, навести порядок в школах легче, чем построить их. И даже если б помещики в своем увлечении ограничивались постройкой школ — уже было бы хорошо.

Бричку Ильи Николаевича со свиреным лаем окружила стая собак. Валерьяна Никаноровича не было дома: пошел к священнику. Илью Николаевича радушно встретила жена Назарьева, Гертруда Карловна. Пригласила его в гостиную, сказала с заметным немецким акцентом:

— Прошу вас подождать, я пошлю за мужем. Это недалеко.

— Благодарю вас, Гертруда Карловна! Но не оторву ли я Валерьяна Никаноровича от важных дел?

— О нет! Он будет очень рад увидеться с вами. Он уже слышал о вас и собирался познакомиться. Ему будет приятно, что вы нашли возможность приехать. С тех пор как мы перебрались сюда, он только школой и занимается. А священник — его первый помощник. Вот они все вместе и вместе. Все у них дела и дела... Садитесь, прошу вас...

— Благодарю. Но если позволите, я немного похожу: засиделся в бричке, промерз...

— О, я понимаю! Ехать к нам очень, очень трудно есть. А бывает такая погода, что и совсем невозможно проехать. Такие ужасные дороги в этой России!

— Да, дороги плохи! — согласился Илья Николаевич.— Мне даже пришло в голову, что в наказание можно посылать людей ездить по таким дорогам. Я впервые за много лет отправился в такое длительное странствие по глухим деревням. И откровенно признаюсь вам, Гертруда Карловна: не ожидал я, что поездка окажется такой тяжелой. С ужасом думаю о том, что мне предстоит объезжать вот по таким «расейским трахтам» всю губернию.

— Не завидую вам,— улыбнулась Гертруда Карловна и, глянув в окно, воскликнула: — А вот и Валерьян Никанорович идет!

В гостиную вошел, энергично распахнув двери, невысокого роста крепкий мужчина. Илья Николаевич внимательно оглядел его. Высокий лоб без залысин, густая седина в волосах, подстриженная седоватая бородка, пышные усы. В правильных чертах лица, в выражении широко поставленных глаз, даже в двух неглубоких морщинках между черных бровей виделось что-то привлекательное. Илья Николаевич даже улыбнулся — Назарьев уже с первого взгляда пришелся ему по душе. Красивое моложавое лицо Назарьева — на полных щеках его играл румянец — тоже озарилось сдержанной улыбкой. Гертруда Карловна познакомила мужа с гостем.

— Вот и отлично, что приехали! — крепко, энергично пожимая руку Илье Николаевичу, не сказал, а выкрикнул Назарьев.— Я много наслышан о вас и очень хочу поговорить с вами, посоветоваться, а то и поспорить. Да, да, и поспорить,— заметив, что Илья Николаевич настороженно прищурился, повысил голос Валерьян Никанорович.— Я совершенно согласен с тем, что сказал об инспекторах барон Корф.

— Ну, и что же? — мягко улыбнулся Илья Николаевич.— Я к барону Корфу питаю глубокое уважение за все, что он сделал и делает для народного просвещения, и вполне с ним согласен: инспекторы, выполняющие лишь функции надзора, не нужны. Вы, я вижу, удивляетесь?

— Да. Я был уверен, что вы начнете спорить со мной. Доказывать, что я неправ. А если вы со мной согласны, то позвольте тогда задать вам один не слишком скромный

вопрос: как же вы, зная, что вам уготовило министерство просвещения, согласились занять эту полицейскую должность?

— Валерьян, извини, что я перебиваю тебя,— вмешалась в разговор Гертруда Карловна.— Гость устал, ему нужно отдохнуть, чаю напиться, а ты...

— Совершенно справедливо! Распорядись, пожалуйста, чтобы подали самовар! — Когда жена вышла, Назарьев обратился к Илье Николаевичу: — Простите, что я...

— Нет, нет! Я готов и отвечать на ваши вопросы, и спорить хоть до утра. Вы глубоко ошибаетесь, Валерьян Никанорович, очень глубоко. Поверьте мне, я никогда не согласился бы сменить должность учителя на место инспектора, если бы в функции его входил, как вы изволили выразиться, один только полицейский надзор. В последнее время стало модно отрицать все, что делают наши власти, даже и полезное. Да, в шестидесяти девяти параграфах инструкции перечислено много обязанностей инспектора. Не знаю — читали вы ее полностью или только отдельные параграфы, приводимые в разных статьях и, разумеется, весьма тенденциозно подобранные и истолкованные.

— Да, я читал только статьи.

— Не стану утверждать, что инструкция идеальна, что в ней нет пунктов, из которых нельзя было бы сделать вывод, подобный вашему. Но там сказано и о педагогической миссии инспектора. Так, например, в параграфе шестьдесят втором говорится, что инспектор обязан заботиться о снабжении школ библиотеками для учителей и учеников. Инспектор, как сказано в инструкции, имеет право открывать новые училища. И если на это нет средств, инспектор может возбуждать перед министерством ходатайства о пособии.— Илья Николаевич улыбнулся.— Ну, инструкция, конечно, только бумажка. Все будет зависеть от того, кто и как ее выполняет. Ни в одном законе нашем вы не найдете, что кому-то дозволено брать взятки, распивать магарычи. Больше того, законом это строжайше запрещено. И что же? И берут, и пьют. Разве не так?

— Да. И берут, и пьют. Но не все...

— Вот! — с радостным блеском в глазах воскликнул Илья Николаевич.— Вот, что и требовалось доказать! Берут, но не все! Значит, не перевелись все-таки на Руси люди, которые свято чтят законы, которые служение народу

ставят превыше всего? Так кто же может утверждать, не боясь ошибиться, что все инспекторы воспользуются своим положением только для того, чтобы причинить вред народному просвещению? И последнее: согласитесь, Валерьян Никанорович, что в наше время, пожалуй, важен не закон сам по себе, а то, кто и как толкует этот грешный закон, кто и как применяет его?

— Это верно,— согласился, улыбаясь, Назарьев: ему этот энергичный человек начинал нравиться, первоначальное предубеждение, сложившееся было у него, рассеивалось.— А вот и самовар, и закуска! Прошу вас, Илья Николаевич, в мой кабинет. Там нам будет удобнее...

Перешли в кабинет, заставленный книгами. Илья Николаевич при одном взгляде на них загорелся: какое счастье приобретать нужные тебе книги! Он, должно быть, никогда не сможет позволить себе такую роскошь: ведь жалованья, какое он получает, едва-едва хватает на содержание семьи. Впрочем, отказывая себе во всем, и он покупает книжные новинки.

— Я вижу, вас моя библиотека заинтересовала? — не без гордости спросил Назарьев, заметив, как жадно уставился Илья Николаевич на книги.

— Очень! И особенно вот этот ряд,— Илья Николаевич указал на полку, где стояли тома «Современника» со статьями Чернышевского и Добролюбова.— Это бесценное богатство!

— Да, я очень берегу эти книги. Ну, прошу вас, Илья Николаевич, к столу.— Назарьев наполнил рюмки.— Позвольте выпить за нашу первую, но, надеюсь, не последнюю встречу.

— С великим удовольствием!

— Вот икра, балычок. Мы хоть и в глуши живем, но не оскудели. Прошу, вот грибки домашнего соленья...

— Благодарствую.

Беседа опять перешла на то, что больше всего интересовало Илью Николаевича: на школы. Назарьев достал записные книжки и, перелистывая их, рассказывал о том, что видел во время поездок по деревням уезда. Все эти заметки он собирался привести в порядок и, возможно, напечатать. Но одно его удерживало: слишком уж невеселая, беспросветная картина получалась. Нужно, пожалуй,

погодить, может, и в этом «темном царстве», то есть на ниве народного просвещения, блеснет луч света.

— Я верю, что так будет! — говорил Валерьян Никанорович.— И делаю все, что в моих силах, чтобы приблизить это время. А вот мой сосед по имению, известный вам писатель Павел Васильевич Анненков, прямо подавляет меня своим неизменно ироническим отношением к новым веяниям. После встречи с ним — а он каждый год приезжает на две-три недели — меня начинают терзать всяческие сомнения насчет полезности наших с вами начинаний. Но в последний приезд и Павел Васильевич не устоял против течения: просил открыть школу в его селе. Обещал вносить ежегодно на нее по сто рублей. Мы этого еще не сделали: мужики возражают. Вот тоже вопрос — все уверяют, что народу необходимо просвещение, а мужик толкует свое: не нужна нам, барин, школа! Жили мы без нее и дальше проживем. Вот землицы бы нам прирезали — это, мол, куда больше пользы даст мужику, чем наука.

— Земля мужику тоже нужна. Это верно,— вздохнул Илья Николаевич: говорить на эту тему с Назарьевым, богатым землевладельцем, ему не хотелось.

— В этом году обстоятельства сложились так, что мне пришлось переехать в Ново-Никулино. Перебравшись в эту усадьбу, я, так сказать, очутился на самом дне, в самой нашей глухомани. Школа здесь никому и во сне не снилась. А в губернском городе существовал училищный совет. Собирались, составляли отчеты... Все это была никому не нужная канцелярщина, лишенная всякой связи с нашей жизнью. Заглянув в эти отчеты училищного совета, вы убедитесь, что я говорю правду.

— Мне, Валерьян Никанорович, уже не раз случалось убеждаться, что школы существуют только на бумаге. Вот вам еще один ответ на вопрос, что должен делать инспектор. Если согласиться, что в его функции входит только инспектирование — или, как вы изволили выразиться, полицейские обязанности,— то спрашивается: что же инспектировать, когда школ нет? Когда они существуют лишь в воображении таких вот деятелей, о которых вы рассказывали? Волей-неволей, прежде чем инспектировать, нужно создать самые школы! Отсюда вывод: то, что сказано в инструкции про инспектирование и надзор,— дело будущего, а сейчас нужно засучив рукава начинать, как вы сказали,

почти с самых азов. Вот вам буква инструкции и то действительное положение, в какое попали инспекторы, а в их числе и ваш покорный слуга...

— Сдаюсь,— засмеялся Валерьян Никанорович.— Разбили! Но это не огорчает меня, а радует. Именно такого человека, как вы, нам и недоставало! Ну, что ж: если согрелись, тогда идемте, посмотрите школу. Не знаю, долго ли это продлится — Павел Васильевич Анненков уверяет, что это скоро пройдет,— но мы сейчас и вправду переживаем нечто похожее на весну. Вот вам пример повального увлечения школами: наш волостной старшина, которому давно уже стукнуло пятьдесят, сел за парту и научился грамоте.

— Да что вы? Впервые слышу такое!

— А я вас сейчас познакомлю с ним,— улыбаясь, говорил Назарьев, довольный впечатлением, какое произвел его рассказ про старшину на Илью Николаевича.— Жаль, что вы приехали поздно. Но, я надеюсь, вы останетесь переночевать, чтобы завтра побыть на уроках?

— Непременно! И если вы не возражаете, я хотел бы еще сегодня поговорить с учителем.

— Охотно познакомлю вас с ним. Учитель наш — человек любопытный. Сын бывшего дворового. Маляр по профессии. Парень скромный, тихий, жадный до знаний, но, к сожалению, малограмотный. Священнику пришла мысль — подготовить его на учителя. Целый год трудились. Маляр оказался сметливым, старательным. Хлопоты священника увенчались успехом: его ученик сдал экзамен на звание сельского учителя. Думаю, что и вам этот маляр-учитель понравится...

На площади, рядом с церковью, стоял небольшой домик, поделенный надвое: в большей половине — классная комната, в меньшей — помещение учителя. Когда Назарьев и Илья Николаевич зашли к нему, за столом сидели аккуратно одетый учитель и священник в полинялом подряснике, туго перетянутом стареньким пояском. Обоих их, видимо, всполошил приезд неизвестного чиновника. В Ново-Никулино чиновников приезжало много, но школой интересовались так: глянут, не вылезая из экипажа, и дальше. А этот пришел. Учитель и священник испуганно переглянулись: что бы это могло означать? Уж не кляузу ли настрочил кто-нибудь?

Но какой облегченный вздох вырвался из груди учителя, когда он узнал, кто этот гость и чего он хочет! Илья Николаевич, заметив смущение учителя, не стал докучать ему расспросами, а попросил показать классную комнату, библиотеку, наглядные пособия. Учитель поспешил исполнить его просьбу. Вскоре совсем успокоился, отвечал на вопросы довольно обстоятельно. Чувствовалось, что это человек вдумчивый, неплохо подготовленный. А главное — сдержанный, терпеливый,— качества, необходимые в его деле.

— Очень рад за вас! Спасибо вам, дорогой коллега! — осмотрев все, сказал Илья Николаевич, крепко пожимая руку учителю, который вспыхнул от такой высокой похвалы.— Порядок у вас образцовый. Ну, а каковы успехи учеников — увидим завтра.

На следующий день Илья Николаевич вместе с Назарьевым побывал на уроках. О своих впечатлениях он писал в отчете: «В младшем отделении учащиеся считают в уме от 1 до 7, а пишут числа до 10. Мальчики старшего отделения считают в уме порядочно, а на счетах делают сложение, вычитание на одну цифру удовлетворительно. Я советовал учителю усилить умственное счисление и приучить учеников к беглому счету. В младшем отделении ученики и ученицы пишут под диктовку по слуху. Сверх того, ученикам старшего отделения сообщены некоторые сведения из мироздания: мальчики имеют понятие о земном шаре, знают доказательства его шаровидности, рассказывают о причине ветра, о явлениях дня и ночи; имеют понятия о растениях, их частях, дыхании и росте, о животных, населяющих земной шар, и о человеке. Ответы учеников на эти вопросы были удовлетворительны. Вообще успехи обучения весьма удовлетворительны, ученики идут ровно, отсталых нет, и школа производит весьма приятное впечатление... Ученики с охотою ходят в свою школу, которая может называться лучшею в уезде...»

6

— Илья Николаевич, я вас хочу познакомить с очень интересным человеком,— сказал Ауновский, придя к Ульянову на следующий день после возвращения его из поездки по деревням.

— Кто же это?

— Один гимназист.

— Гимназист? — переспросил Илья Николаевич.— Выходит, ваш воспитанник?

— Да. Ученик нашей гимназии.

— Простите, но чем я могу быть полезным этому гимназисту?

— Гимназист необычный. Он чуваш.

— Чуваш? — удивился Илья Николаевич: обучение чуваша в гимназии было явлением исключительным.— Он что же — из богатой семьи?

— Нет, круглый сирота!

— Вы меня совсем заинтриговали. Как же он попал в гимназию?

— Подготовился и сдал экзамены за пятый класс. Кстати, он из крестьян. По окончании Бурундуковского училища его, как лучшего ученика, послали в Симбирскую школу мерщиков. Став мерщиком, он исходил всю губернию. Увидел, в какой темноте живут его соплеменники. И у него родилась мысль: нужно научиться самому, чтобы потом обучать своих братьев-чувашей. Начал хлопотать, чтобы его уволили с должности мерщика. Известный вам Арсений Федорович Белокрысенко не соглашался на это. Но паренек оказался не из тех, кто отступает перед трудностями. Он дошел до департамента и добился все-таки, что его уволили. Может быть, вам это, Илья Николаевич, неинтересно, так я...

— Нет, нет! Очень интересно! И что же дальше?

— Он подготовился, сдал экзамены за пятый класс. И хорошо учится. В будущем году заканчивает гимназию и поедет в Казанский университет.

— Очень любопытный и поучительный пример, особенно для тех, кто твердит, будто чуваши не способны к науке! Как зовут этого паренька?

— Яковлев.

— Рад буду познакомиться с ним.

— Но это еще не все! И не это для вас, Илья Николаевич, самое интересное. Дело в том, что этот гимназист-сирота устроил школу и готовит в ней учителей для чувашских школ. И образцово поставил в ней обучение.

— Да что вы!

— Совершенно серьезно говорю вам!

— На какие же средства существует эта диковинная школа? Где она? Сколько в ней учеников? Откуда они?

— На все эти вопросы, Илья Николаевич, вам лучше ответит сам Яковлев.

— Так где же мне встретиться с ним?

— А он сейчас явится сюда. Вы уж простите, что я, не условившись с вами, позволил ему прийти. Просто я был уверен, что вам необходимо встретиться с ним. Да и он меня очень просил. О, видите, какая точность! Это он звонит. Простите, пойду встречу его.— Владимир Александрович вышел и вскоре вернулся с юношей в гимназическом мундире, сказав: — Вот вам, Илья Николаевич, и господин Яковлев.

— Здравствуйте, господин инспектор,— сказал Яковлев, прямо, испытующе глядя в глаза Илье Николаевичу.— Я готов отвечать на все ваши вопросы. И если позволите, хотел бы и вас кое о чем расспросить.

— О чем именно? — вставая из-за стола, спросил Илья Николаевич.— Я слушаю вас.

— Простите, Илья Николаевич, мне пора,— сказал Ауновский, не желая мешать: при всем его хорошем отношении к Яковлеву все же он — инспектор гимназии, а тот — ученик.

— Спасибо, что зашли,— провожая Ауновского, говорил Илья Николаевич. А возвратясь в комнату, сказал, садясь рядом с Яковлевым: — Ну, я слушаю вас...

Яковлев нахмурился, собираясь с мыслями. Потом смущенно улыбнулся и заговорил:

— Прошу прощения, господин инспектор, но я вынужден начать с просьбы о помощи нашей школе. Существуем мы только на пожертвования добрых людей, которым всегда будем благодарны. Наша школа помещалась в доме полковника Раевского, который выехал в Москву, разрешив нам пользоваться его квартирой безвозмездно. Но теперь мы получили печальное известие: наш друг и благодетель полковник Раевский скончался. Наследники требуют освободить квартиру. Я нашел новое помещение в доме купца Данилова. Но он отказывается подписывать договор со мной, гимназистом. Вот мне и посоветовали обратиться к вам. Я вполне понимаю бестактность своей просьбы: ведь школа наша не входит в число учебных заведений, вам

подведомственных. Но я подумал: если когда-нибудь нашу школу, первую чувашскую учительскую школу, официально признают, то она будет в вашем ведении. Так вот, сердитесь не сердитесь на меня, но я не знаю, к кому же, кроме вас, господин инспектор, можно обратиться с такой просьбой.

— Вы хорошо сделали, что пришли ко мне. На какой улице дом купца Данилова?

— На Дворцовой.

— Хорошо. Я завтра же зайду к нему,— записывая адрес, сказал Илья Николаевич.— Будем считать, что этот вопрос улажен...

— Господин инспектор, не знаю, как и благодарить вас...

— А благодарить меня, мой друг,— мягко остановил его Илья Николаевич,— не за что. Подписать договор на аренду помещения — не такое уж большое дело, чтобы...

В кабинет заглянула Мария Александровна, спросила:

— Может, вам чаю подать?

— Да, это кстати! Маша, позволь представить тебе этого молодого человека.— И когда Мария Александровна поздоровалась с Яковлевым, Илья Николаевич продолжил: — Знаешь, что этот паренек сделал? Учительскую чувашскую школу открыл! Да, да, открыл, и она существует уже два года. И готовит именно тех учителей, которых нам недостает, без которых мы бессильны навести хоть какой-нибудь порядок в народных школах! Сотни взрослых разумных людей сидят в училищных советах и пишут бумаги, переливая из пустого в порожнее, расходуют на это тысячи, а вот этот гимназист на копейки, один бог знает, где и как собранные, содержит учительскую школу! Поистине это одно из тех чудес, какие возможны только на святой Руси... Итак, чай готов? Пусть подает... А вы куда? Нет, нет, садитесь! Вот мы попьем с вами чайку, юный мой друг, и потолкуем обо всем. Я, кстати, только что возвратился из поездки по сельским школам и ломаю голову над тем, откуда взять — и как можно скорее! — образованных, влюбленных в свое дело учителей. Ну, что вы скажете по этому поводу?

Илья Николаевич говорил с Яковлевым, как с равным,

и тот оправился, победил внутреннюю скованность, которую обычно испытывал в присутствии начальства. И уже не только отвечал на вопросы, но и сам высказывал свое мнение, возражал, если не мог согласиться с инспектором. Илья Николаевич со студенческим жаром отстаивал свои позиции. А немного успокоившись, удивлялся упорству, с каким этот молодой чуваш стремился к поставленной перед собой цели.

— Вы кончаете гимназию?

— Да.

— Что же дальше думаете делать? Учительствовать?

— Нет. Я должен окончить университет,— ответил Яковлев.— Мне нужно слишком многое сделать для просвещения моего народа, и я не могу остановиться на гимназии. Ведь у моего народа нет даже букваря. Да что там говорить: все, абсолютно все нужно начинать с азов, чтобы учить детей на их родном языке. Поднять такую глыбу вообще не под силу одному человеку, а с гимназическим образованием — тем паче. Боюсь, что даже по окончании университета многого не смогу сделать. Ну, я рассчитываю на помощь моих добрых друзей — русских. Ни отца, ни матери я не помню. Поначалу жил в семье Пахомовых. А позже, когда поступил в училище, меня приютила русская семья Мукшеевых. И если я что-нибудь смогу сделать для просвещения моего темного, забитого народа, то прежде всего благодарен за это русским.

— На какие средства вы думаете учиться в университете? — после продолжительного молчания спросил Илья Николаевич — его до глубины души взволновал бесхитростный рассказ этого гимназиста.

— Если не дадут стипендии, буду перебиваться уроками. К этому я привык. Меня это не очень волнует. Беспокоит другое: что будет с моей школой, когда я уеду в Казань? Где мои ребята добудут средства на пропитание? Друзья наши начали собирать деньги...

— Я завтра же внесу свою лепту! — сказал Илья Николаевич.

— Весьма признателен вам, Илья Николаевич. Кое-кто уверяет, что мы соберем рублей триста. Этого хватит, чтобы очень скромно просуществовать год, а там...— Яковлев улыбнулся улыбкой беззаботной юности, кото-

рая не умеет далеко заглядывать вперед.— Ну, а там будет видно.

— А что же там «будет видно»? — присматриваясь к Яковлеву прищуренными, с веселыми искорками, глазами, спросил Илья Николаевич.

— А бог его знает! —добродушно ответил Яковлев, тоже улыбаясь.

— Чудесно вы решили все вопросы! — весело засмеялся Илья Николаевич.

— Что поделаешь: хочешь не хочешь, а приходится жить одним днем.

— Ну, ничего,— ободряюще сказал Илья Николаевич,— я, может быть, тоже что-нибудь придумаю.— Он решил начать хлопотать о том, чтобы министерство официально признало школу, но покамест не хотел говорить об этом Яковлеву, так как не был уверен, что встретит поддержку.— Я зайду к вам в школу завтра!

— Если можно, то я просил бы вас, Илья Николаевич, прийти, когда я вернусь из гимназии.

— А я так и думал.

— Спасибо. Будем ждать вас. Простите, что я так много времени отнял...

— Нет, вот этого не прощу! — шутливо возразил Илья Николаевич.— А на будущее давайте условимся: вы приходите ко мне абсолютно со всеми вопросами, какие только у вас возникнут...

— Илья Николаевич, не знаю, как и благодарить вас...— с чувством начал Яковлев.

— И очень хорошо, что не знаете! — рассмеялся Илья Николаевич.— Потому что этого вовсе не нужно. Вовсе! — повторил он.— Вот так-то, мой юный коллега! Желаю вам счастья...

Поздним вечером ушел Яковлев от Ильи Николаевича. Воспитанники его школы уже спали. Но встреча с новым инспектором была для Яковлева таким важным событием, что он не мог заснуть, не поделившись радостью с учениками. Поздний приход Яковлева был сам по себе событием необычным, и сам Яковлев был так возбужден, что староста группы Алексей Ракеев, открывая ему дверь, испуганно спросил, моргая заспанными глазами:

— Иван Яковлевич, какая-нибудь беда?

— А тебе что снилось? — спросил в свою очередь Яковлев.

— Да... ничего...— смутился Алексей.— Я недавно заснул, дежурил нынче...

— Ну, буди всех! — приказал Яковлев.— Расскажу вам, как меня принял господин инспектор Ульянов, что он говорил, что обещал.

7

Первая зима в Симбирске была для Ульяновых трудной. Флигель оказался холодным, и — как ни топили печь — тепло долго не держалось. Илья Николаевич почти не жил дома: постоянно бывал в разъездах, потому что, сидя в городе, ничего не мог сделать. Марии Александровне тоскливо было по целым месяцам оставаться одной. Саша и Аня, привыкшие в Нижнем Новгороде, чтобы отец по вечерам играл с ними, тоже очень скучали. И когда кто-нибудь стучался в окно, бежали к дверям, думая, что это отец. Заплаканные возвращались назад. Поутру, едва раскрыв глаза, спрашивали, не приехал ли папа. А когда Илья Николаевич возвращался домой — а это, как правило, случалось ночью, потому что день он старался целиком посвящать делам,— то как бы неслышно ни старался он войти в дом, дети просыпались и опрометью кидались к нему.

— Не хватает им тебя,— вздыхая, говорила Мария Александровна.— Особенно Саша тоскует. По глазам его вижу... Да и я не могу похвалиться,— мягко улыбаясь, продолжала Мария Александровна,— что мне без тебя, Илюша, очень весело. Кухарка уйдет, дети заснут, а я сижу и слушаю, как за окном вьюга воет. Спасибо Анне Дмитриевне, она, добрая душа, частенько навещает меня... Ну, надолго ты приехал? — помогая мужу снимать шубу, спрашивала Мария Александровна.— День, другой — и опять уедешь?

— Да, Машенька, придется уехать... Может быть, постепенно это переменится, но сейчас крестьяне не просто плохо, а враждебно относятся к школе и к учителям. Этот взгляд на школу остался от старых училищ, куда набирали детей, как в рекруты, и мучили их там, как хотели. Сейчас и речи не может быть о том, чтобы крестьяне по

собственной охоте строили школы, прибавляли жалованье учителям. Добиться этого можно только после долгих споров с мужиками. Печально, но что поделаешь: чтобы побороть такой взгляд на школу, недостаточно красивых слов. Нужны новые учителя, новые школьные помещения, новые порядки. Только когда крестьянин увидит, что учитель действительно учит, а не мучит его детей, только когда увидит, что сын научился писать и читать, стал таким грамотным, что может даже получить место где-нибудь в конторе,— вот тогда он без всяких уговоров и понуждений начальства будет на сходке стоять за новую школу, за прибавку жалованья учителю. Значит, выход из этого заколдованного круга один: сельским школам нужно дать настоящих, любящих свое дело учителей.

— А где их взять? — спросила Мария Александровна.

— Путь один: найти таких молодых людей, как, например, Яковлев и его ученики. Устраивать учительские курсы, готовить учителей. Задача нелегкая, но ее необходимо решить! Это — вопрос жизни и смерти народных школ...

Заговорив о том, что не давало ему покоя, Илья Николаевич увлекся и не заметил, как к нему, протирая кулачками заспанные глазенки, подошел Саша. Увидел сына только тогда, когда тот робко прижался к его колену.

— Сашенька! Сынок мой! — подхватив малыша на руки, радостно воскликнул Илья Николаевич и поцеловал его в щечку.— Здравствуй, мой мальчик дорогой! Я громко говорил и разбудил тебя?

— Нет. Я еще и не спал...

— Отчего же? У тебя что-нибудь болит? — забеспокоился Илья Николаевич.

— Нет. Я тебя ждал... И вчера ждал, и сегодня, а тебя все нет и нет... Отчего ты так долго не приезжал? Сани поломались в дороге? Или заблудился?

— Не знаю, Сашенька, что и сказать... — с улыбкой ответил Илья Николаевич.— Я вот лучше покажу, что привез тебе...

— А мне? — спросила Аня, появляясь в дверях.— А мне ты что, папка, привез?

— И ты проснулась? — подхватив на руки Аню, спросил Илья Николаевич.— Ты тоже не спала и ждала меня?

— Нет, папочка, я честно спала,— возразила Аня.— Мне даже снилось, будто ты приехал и привез такую смешную куклу, что я проснулась от радости, открыла глаза и слышу: папочка дома! Хотела Сашу разбудить, а его уже нет. Ну, хорошо, Саша, теперь, если я первая услышу, что папа приехал, я тоже тебя не разбужу,— обиженно глядя на брата, говорила Аня.— Узнаешь тогда...

— Да я как раз хотел разбудить тебя,— оправдывался Саша.— Но боялся, что мама не позволит...

Всякий раз, возвращаясь домой, Илья Николаевич привозил Ане и Саше какие-нибудь игрушки. В деревнях были старики, которые вырезали из дерева всяческие фигурки — козлят, медвежат, птичек — и продавали на ярмарках. Выглядело все это довольно примитивно. Но попадались среди этих, как их называли, «пустячных» изделий и очень оригинальные вещи. Отец привез Саше смешного деревянного верблюдика, Ане — маленький самоварчик, о котором она давно мечтала. Саша, робко улыбаясь, прижался к отцу, а Аня обняла его за шею и расцеловала. Флигель как бы ожил после приезда отца: так тут стало шумно и весело. Но Саша и Аня знали, что такая счастливая жизнь продлится недолго: пройдет немного времени, у ворот зазвенят колокольчики, отец, наскоро обняв всех, усядется в сани и опять уедет...

Владимир Александрович Ауновский принес странное известие: в Петровской академии, в Москве, убили студента. Распространяются какие-то прокламации, призывающие народ к бунту.

— Говорят, будто это убийство,— рассказывал Ауновский,— дело студентов той же академии. И что всего опаснее: по политическим якобы мотивам. Полиция напала на страшный заговор, корни которого тянутся за границу.

— Опять во всем обвиняют Герцена? Старая штука...

— Нет, не Герцена. Говорят, что эти люди связаны с Бакуниным.

— Ну, это, пожалуй, ближе к истине.

— Ходят упорные слухи, что девятнадцатого непременно начнется мятеж. Ведь в будущем году исполняется десятилетие временно обязательных отношений между крестьянами и помещиками. В этот день крестьяне будто бы и возьмутся за вилы и косы...

Не успели стихнуть толки о событиях в Петровской академии, как газеты принесли весть о смерти Герцена. Илья Николаевич очень любил Герцена и тяжело переживал его смерть. Случилось так, что как раз в это время к Ульяновым заехал Владимир Иванович Захаров: услышал, что Илью Николаевича назначили инспектором, и решил повидаться с ним, узнать, нельзя ли устроиться учителем в Симбирске. После выстрела Каракозова он уехал в городок Курмыш Симбирской губернии, служил там управляющим имением Левашова. Жил на красивой даче «Каменка», был вполне обеспечен. Но не мог примириться с тем, что ему уже не придется учительствовать...

Вечером пришел Ауновский, и старые друзья просидели до самого рассвета, вспоминая дни, когда они — еще в Пензе — до дыр зачитывали номера герценовского «Колокола». Ни одна книга не оказывала на них, молодых учителей, такого сильного влияния, как «Колокол».

— Мне на всю жизнь запомнилось,— говорил Захаров,— что писал Герцен после выстрела Мити Каракозова. «Полицейское бешенство достигло чудовищных размеров. Как кость, брошенная рассвирепелым сворам, выстрел вновь раззадорил злобу грызшихся и сдул слабый пепел, которым начало было заносить тлевший огонь; темные силы еще выше подняли голову, и испуганный кормчий ведет на всех парусах чинить Россию в такую черную гавань, что при одной мысли об ней цепенеет кровь и кружится голова». Ну, разве не пророческими оказались эти слова?

— Да, выстрел Каракозова наделал много бед,— сказал Илья Николаевич.

— Нет, Илья Николаевич,— возразил Захаров.— Там же Герцен писал: «Выстрел безумен. Но каково нравственное состояние государства, когда его судьбы могут изменяться от случайностей, которых ни предвидеть, ни отстранить невозможно». Дело, значит, не в выстреле, а в том, что все перемены, свидетелями которых мы являемся, уже назрели, и нужен был только повод, чтобы начать отбирать у народа то, что ему дано. Какие надежды мы все возлагали на земские учреждения! И что же? Достаточно какому-нибудь земскому собранию послать адрес, неугодный правительству, и его немедленно разгоняют.

— Да еще как! — добавил Ауновский.— Нет, прав Герцен: темные силы неудержимо тянут Россию назад...

Захаров пригласил Илью Николаевича к себе. Собирался угостить карасями,— при даче «Каменка» хорошие пруды, в которых водится много рыбы. Илья Николаевич обещал приехать, когда наладятся дороги. Ведь Курмышский уезд — в самом дальнем углу губернии. Почти половина населения уезда — чуваши и татары. Значит, нужно будет провести не один день и не два, чтобы помочь местным школам.

8

Волга вскрылась в первых числах апреля. Город начал оживать от зимней спячки. Аня и Саша, едва растаял снег и просохли дорожки вдоль заборов, по целым дням играли на улице. А когда, стоя на Венце, увидали первые пароходы на реке, кинулись бежать домой, сказать об этом маме. Хорошо запомнили, что говорила мама: летом поплывут на пароходе в деревню к дедушке. Они уже не раз гостили у дедушки, и им там очень понравилось. Всю зиму мечтали о том, как будут ходить с папой и мамой в лес по грибы, как будут купаться в реке Ушне. И очень огорчились, когда мама сказала, что к дедушке поедут не скоро. А может, и вовсе не поедут.

— Ну, хорошо, Анечка, может, еще и поплывем,— со вздохом ответила мама.— Сейчас я не могу точно обещать. Вот совсем потеплеет, тогда и скажу: поплывем к дедушке или нет. Потерпи, доченька, немножко...

— Хорошо, я потерплю...— соглашалась Аня, увидев, какие печальные глаза у мамы.— И Саше скажу, чтобы он тоже потерпел...

В марте и апреле Илья Николаевич никуда не выезжал: боялся оставить в одиночестве жену, у которой вот-вот должны были начаться роды. Мария Александровна не волновалась, но его не могло обмануть это внешнее спокойствие. Илья Николаевич видел, какого внутреннего напряжения стоило это жене. Он делал все, чтобы отвлечь ее от тревожных мыслей, которые и ему не давали покоя.

К вечеру Мария Александровна почувствовала приближение родов. Анна Дмитриевна Ильина увела Аню и Сашу

к себе. Они не могли понять, почему это их вдруг выгоняют из дому. Аня не хотела оставаться ночевать у Анны Дмитриевны и так разревелась, что Илья Николаевич еле успокоил ее. Саша молчал, но по его нахмуренному личику заметно было, что изгнание из дому ему тоже не понравилось.

Когда утром Аня и Саша проснулись, отец со счастливой улыбкой сказал:

— Ну-ка, скорее идемте домой, посмотрим, какая чудная птичка к нам прилетела...

— Какая птичка? — спрашивала Аня, торопливо одеваясь.— Живая?

— Потерпи. Вот сейчас придем домой, и увидишь...— со смехом отвечал отец.— Ну, пошли!

А что же увидели Аня и Саша, войдя в свою комнату? В Сашиной постельке лежал кто-то, завернутый в розовое одеяльце. Аня и Саша удивленно переглянулись: кто же это, мол, захватил Сашину постель? Подняли глаза на отца, который стоял рядом и радостно улыбался. Он молчал. Тогда Аня тихо спросила:

— Папа, кто это?

— Это ваш братик,— ответил отец.

— Братик? — удивилась Аня.— А у меня уже есть братик Саша.

— А теперь у тебя, Анечка, будет еще и братик Володя,— сказал отец.— Вы с Сашей должны любить и жалеть его. Он очень хороший мальчик. Ну, а теперь идем отсюда, пускай он поспит...

Первые две недели после родов для Марии Александровны были самыми тяжелыми. От каждого крика Володи у нее больно сжималось сердце: неужели что-нибудь случилось? Но проходили дни, месяцы, а маленький Володя не только не болел, а становился все живее. Доктор, осмотрев младенца, заверил, что мальчик здоровый и развивается хорошо. Мария Александровна начала успокаиваться. А когда маленькое лобастое личико Володи озарилось первой улыбкой, у нее и совсем отлегло от сердца: значит, будет жить. Теперь у нее уже два сына. Характеры у них будут, должно быть, разные. Когда Саша был маленьким, то за весь день и голоса его не услышишь. А чуть проснется Володя — только его и слышно. Он не плакал, не хныкал, а смеялся, кричал что-то, ему одному понятное.

— Папа, о чем это он поет? — спрашивала Аня.

— Сам не пойму,— улыбаясь, отвечал Илья Николаевич.— Но чувствую — что-то очень веселое...

Сын Володя родился десятого апреля 1870 года[1]. А одиннадцатого апреля в газете «Симбирские губернские ведомости» начали печататься заметки Ильи Николаевича о положении народных училищ. Хлопот после рождения Володи у Ильи Николаевича было столько, что продолжение своих заметок он сдал в газету только через десять дней. Третью и последнюю статью напечатали двадцать пятого апреля. Но этот разрыв не повлиял на впечатление, какое создалось в обществе от этих статей. Ауновский рассказывал:

— Ваши заметки, Илья Николаевич, были для многих настоящим открытием. Считалось, что народные училища в нашей губернии процветают. И вдруг обнаружилось, что все это — розовый туман, который исчез при первом же трезвом, правдивом взгляде на дело.

— В заметках, как вы понимаете, я не мог сказать всего того, что мне хотелось, что нужно знать всем. Ведь в нашей губернии один ученик на сто одиннадцать жителей. Да если еще принять во внимание, что только половина обучающихся посещает школы, то выйдет вдвое меньше. На двести жителей — один ученик. Можно ли после этого серьезно говорить о просвещении народа? А если учесть и то, что учителями в школах сидят люди, которые сами ничего не знают, становится совсем грустно. А вот вам две не менее показательные цифры: на народное образование из городских средств выделяется двести четырнадцать рублей двадцать девять копеек в год. А на содержание тюрем — две тысячи.

— Да, сопоставление это, мягко говоря, явно не в пользу тех, кто утверждает, будто у нас много делается для просвещения народа,— заметил Ауновский.— Но ведь придет же когда-нибудь конец этому?

— Верю, что придет! — ответил Илья Николаевич.—

---

[1] По старому стилю. По новому стилю — двадцать второго апреля.

Но для этого предстоит сделать так много, что не знаю, откуда и сил взять...

— У вас, Илья Николаевич, сил на это хватит,— сказал Ауновский.— Но дадут ли вам возможность приложить эти силы? Обстановка в стране заметно меняется. Того и гляди, опять грянет выстрел еще одного Каракозова. И довольно будет после этого кому-нибудь сказать, что вина тому — просвещение народа, как все перевернут вверх дном...

Илье Николаевичу не приходилось возражать: в самодержавной России действительно все возможно. Жизнь уже не раз давала этому яркие доказательства. Но он был уверен в одном: какие бы потрясения ни переживала страна, народ все равно, пусть медленно, пусть с огромными трудностями, но пойдет к культуре и знаниям. Это закон, действие которого никто не может остановить. А много ли удастся поколению Ильи Николаевича сделать для просвещения народа — покажет время...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Прошло три года.

В 1873 году в сельских школах губернии было уже сорок семь учителей, закончивших курсы, созданные Ильей Николаевичем. В учительские курсы Илья Николаевич вложил столько сил и энергии, что его воспитанников так и называли — ульяновцами. Илья Николаевич заботился не только о материальных делах курсов (по его ходатайству земство в 1871 году выделило сорок стипендий вместо двадцати и бюджет увеличило почти вдвое), но и сам, во время своих поездок по деревням, выискивал способных юношей, преподавал будущим учителям педагогику и арифметику. На курсы брал детей солдат, мещан, мелких чиновников и крестьян. Хорошо понимал: лучшими учителями народных школ будут те, которые сами вышли из простого народа.

Комиссия, назначенная губернским земским собранием для проверки деятельности курсов, отозвалась одобрительно об «этом полезном учреждении, обязанном своим происхождением личной инициативе господина инспектора народных училищ и находящемся под его непосредственным и ревностным наблюдением».

Но учительские курсы Илью Николаевича не удовлетворяли: слишком ограничены были у них возможности. Учителей не хватало, а земство не хотело и слушать о дальнейшем увеличении ассигнований на курсы. Что де-

лать? Но тут пришла весть: министерство народного просвещения решило открыть в пяти учебных округах (Петербургском, Московском, Харьковском, Казанском, Одесском) учительские семинарии. Попечитель Казанского учебного округа избрал для семинарии Сердобский уезд Саратовской губернии. Однако вскоре выяснилось: там нет для семинарии подходящего помещения. Узнав об этом, Илья Николаевич отправился к Белокрысенко, с которым у него, после того как тот крестил Володю, установились дружеские отношения.

— Арсений Федорович, на вас вся надежда! — начал Илья Николаевич, поспешно снимая пальто.— Только вы можете выручить меня!

— А что случилось? — спросил Арсений Федорович.— Садитесь, рассказывайте...

— У нас есть возможность, дорогой Арсений Федорович, заполучить свою учительскую семинарию. Понимаете, что это означает?

— Понимаю.

— И одобряете эту идею?

— Вполне.

— Отлично! Значит, я могу рассчитывать на вашу поддержку? Тогда — к делу! — не давая Арсению Федоровичу вставить слово, продолжал Илья Николаевич.— У вас в селе Порецком пустует трехэтажный каменный дом. В нем прекрасно могла бы разместиться учительская семинария!

— Ах, вот в чем дело...— протянул Арсений Федорович, поняв наконец, с чем Илья Николаевич пришел к нему.

— Да, дело в помещении! Будет оно у нас, сказали мне в округе,— будет и семинария.

— Но ведь оно совсем не приспособлено для учебного заведения...— не зная, что ответить, возражал Арсений Федорович.

— Мне обещали на перестройку двадцать шесть тысяч рублей! Дом под учительские квартиры перевезем из села Кожевенного: там была когда-то фабрика поясов, теперь закрыта, помещения пустуют. Вот мы их и приспособим к делу. Ну, так что вы скажете, дорогой Арсений Федорович?

— Ну что ж: я, как вы знаете, всегда готов вам помочь. Завтра же напишу в департамент и, если мне разрешат, немедленно передам дом в Порецком под семинарию.

Илья Николаевич сиял: можно считать, что помещение есть. Если Арсений Федорович сказал — будет хлопотать, это значит: он уверен, что в департаменте его просьба не встретит возражений. Белокрысенко был человек осторожный и уж если соглашался что-нибудь сделать, то еще никого не подводил. И на этот раз слово Арсения Федоровича не разошлось с делом: департамент разрешил передать дом в селе Порецком под учительскую семинарию. Попечитель Казанского учебного округа, рассмотрев ходатайство Ульянова об открытии учительской семинарии в селе Порецком, тоже дал согласие.

Когда все было решено, перед Ильей Николаевичем возникла новая задача: кого назначить директором семинарии? Хотелось, чтобы это был человек, на которого можно положиться, как на самого себя. И тут Илья Николаевич вспомнил свой разговор с Ауновским вскоре после приезда в Симбирск. Встретясь с ним, сказал:

— Владимир Александрович, если мне не изменяет память, вы говорили, что готовы послужить делу народного просвещения.

— Я готов и сейчас повторить это.

— Очень рад!

— Вижу, вы уже что-то надумали,— улыбнулся Ауновский,— у вас, что ни день, новые планы!

— Ничего не поделаешь, жизнь требует этого.— Илья Николаевич помолчал, а потом спросил: — Владимир Александрович, а что вы скажете, если я попрошу вас взять на себя руководство учительской семинарией?

— Той, которая открывается в Порецком?

— Да, той самой. Я понимаю, что село Порецкое — не Симбирск, но... как говорится, не место красит человека, а человек место. А главное: дело исключительно интересное, новое, дающее большие возможности использовать ваш педагогический опыт.

— Хорошо, Илья Николаевич, я подумаю. С матерью посоветуюсь: ведь ей придется ехать со мной, а здоровье у нее, сами знаете, слабое...

Спустя несколько дней Ауновский, как и ожидал Илья Николаевич, согласился ехать в Порецкое. «Нет, не перевелись, значит, еще люди,— радостно думал Илья Николаевич,— которые превыше всех благ земных ставят служение народу!» Идеи Ауновского, какие он высказывал в

своих статьях, не обернулись пустыми словами. Когда его попросили, он сменил губернский город на деревню ради того, чтобы помочь народу выбиться из вековой темноты.

Девятнадцатого ноября 1872 года учительская семинария в Порецком была торжественно открыта. Ауновский в своей вступительной речи изложил те новые педагогические принципы, какие должны быть положены в основу при подготовке учителей. Речь свою он готовил вместе с Ильей Николаевичем, вместе с ним были продуманы и учебные планы.

— От школы нужно сейчас требовать,— говорил Ауновский на открытии семинарии,— чтобы она, рассеяв многие суеверия, дала крестьянам подлинные знания. Научила их пользоваться дарами природы. Воспитала в них чувства человека и гражданина!

Человека и гражданина! Как много этим сказано. Народ, лишь недавно освободившийся от рабства, по существу никакой свободы, помимо того, что помещик уже не мог продать крестьянина, не чувствовал. Переменилось лишь ярмо, как говорили в народе, кнут, а воз приходилось тащить прежний. Илья Николаевич, Ауновский и их единомышленники, передовые педагоги, были убеждены: для того чтобы народ начал деятельно бороться за свои права, нужно вытравить из него раба, воспитать в нем человеческое достоинство, гражданское мужество. Сделать это может — и обязана! — новая школа, во главе которой стоят новые учителя. Учителя, вышедшие из среды народа.

В одном отчете Ауновский так определял задачи, стоящие перед семинарией: «Надо было приучить воспитанников понимать научные знания не отвлеченно и безжизненно, как они были усвоены прежде, а выводить, пояснять и прилагать их к явлениям окружающей жизни. Сделать эти знания более осмысленными и практическими. А через это возбудить в учениках больше наблюдательности, любознательности и умения находить источник знаний не в книгах, а во всем, что окружает человека в природе и жизни. Последнее условие особенно важно передать будущим народным учителям потому, что только такие жизненные знания и ценны в глазах нашего простого народа, который отчасти справедливо не ценит и не признает знания хотя и обширные, но отвлеченные, не имеющие реальной почвы прямых связей с интересами его жизни».

Из этой программы, в основу которой легли идеи Ильи Николаевича — Ауновский повторял это в каждом своем годичном отчете,— прямо вытекало: народу нужны такие знания, которые помогли бы ему улучшить свою жизнь. Под «отвлеченными» знаниями подразумевалась религия. Ауновский, как естественник, делал все (конечно, с разрешения Ильи Николаевича), чтобы привить будущим учителям материалистическое понимание окружающего мира. «Уменьшено было число уроков по закону божию,— пишет он в отчете за этот же год,— и усилено преподавание русского языка, арифметики, географии, естествознания и истории». Попади такой отчет не к Илье Николаевичу, а к какому-нибудь другому инспектору — Ауновский немедленно угодил бы в список неблагонадежных.

2

Семья Ульяновых увеличивалась. Четвертого ноября 1871 года Мария Александровна родила девочку. Назвали ее, как и ту, которая умерла в Нижнем Новгороде, Олей. Росла Оля такой же живой и веселой, как и Володя. Но в том же году, спустя несколько недель после рождения Оли, Илью Николаевича постигло большое горе: скончалась его мать Анна Алексеевна. Телеграмма из Астрахани о смерти матери пришла в то время, когда Илья Николаевич проверял школы самого отдаленного, Курмышского уезда. Мария Александровна, не зная, где и как его искать, телеграфировала Василию Николаевичу, что Ильи нет дома, что вернется он только к Новому году. И когда Илья Николаевич возвратился в конце декабря домой, она прямо не знала, как сообщить ему о печальном событии. По ее лицу он заметил — что-то произошло. Волновался за девочку — выживет ли? — поэтому с тревогой спросил:

— С Олей нехорошо?

— Нет. Оля здорова,— ответила Мария Александровна.— И все дети здоровы,— помолчав, добавила она. И с тяжелым вздохом продолжала: — И все-таки у нас большое горе. Вскоре после твоего отъезда пришла телеграмма из Астрахани. Вот, прочитай...

— Этого я и боялся...— тихо, дрогнувшим голосом проговорил Илья Николаевич, увидев телеграмму.— Этого я и боялся...

Он долго смотрел на телеграмму, печально склонив голову. Мария Александровна не нарушала его скорбного молчания. Она понимала: в такую минуту, когда он молчит, как молчат у раскрытой еще могилы, высказать свое сочувствие можно только одним: не тревожить его. И она сидела, боясь пошевельнуться. Долго молчал Илья Николаевич. Но вот он поднял голову — медленно, тяжело, как это делают очень больные люди,— и Мария Александровна впервые за все годы их совместной жизни увидела на его обветренных щеках слезы. Она подошла к нему, осторожно взяла его руки в свои и прижала их к груди.

— Илюша...— проговорила тихо и замолкла, не зная, что сказать.

— Я понимаю, это должно было произойти, но...

— Знаешь что, Илюша: напиши сестре Федосье, чтобы она приехала. Она все расскажет, и ты как бы побудешь там...

— Маша, какая ты умница у меня,— заговорил Илья Николаевич, целуя ее руки.— Я завтра же вышлю ей денег на дорогу. Да и Василию нужно выслать, а то он, пожалуй, в долги залез, пока похоронил мать...

— Илюша, я уже послала ему.

— Спасибо тебе,— обняв жену, с волнением сказал Илья Николаевич.— Хоть отчасти ты сняла с меня тяжкое бремя — сознание того, что я не смог проводить мать в последний путь.

Сестра Федосья согласилась приехать, но только с одним из первых пароходов. На перекладных ехать боялась. Как только Волга вскрылась, она и приехала, не предупредив даже, что собралась в дорогу. А Илья Николаевич только что отправился ревизовать школы Сызранского уезда. Пришлось сестре почти две недели дожидаться его.

— Да что ж это за служба у него такая, что он дома почти не живет? — спрашивала Федосья Марию Александровну.— И вам небось трудно приходится — все одна да одна?

— Я уж привыкла,— отвечала Мария Александровна.— Вот когда мы только что перебрались сюда, то действительно порой не знала, что и делать... Постойте! Кажется, колокольчик слышно?

— Да, и мне послышалось...

Женщины и не опомнились, как в сенях флигеля кто-то тяжело затопал.

— Илюша! — радостно улыбнулась Мария Александровна и кинулась к нему навстречу.

Федосья тоже вскочила было вслед за ней, но опоздала: Илья Николаевич уже вошел в комнату. Федосья кинулась к брату и зарыдала, приговаривая:

— Осиротели мы, Илюша... Совсем осиротели...

Илья Николаевич успокаивал сестру, а у самого слезы блестели на ресницах. Вспомнилось ему — вот точно так же голосила мать, когда хоронили отца. Тогда ему было всего семь лет, и он не понимал страшного смысла слова «осиротели». Но после, когда он подрос, этот горестный вопль матери: «осиротели мы, осиротели» — часто его преследовал. И сейчас, слушая сестру, он опять почувствовал себя сиротой...

3

Гимназию Яковлев окончил с золотой медалью. Перед отъездом в Казань он пришел к Илье Николаевичу. Условились: на то время, пока Яковлев будет учиться в университете, Илья Николаевич принимает на себя все заботы о школе. Старшим в школе Яковлев оставил одного из своих учеников — Алексея Ракеева. В правилах, составленных Яковлевым, были указаны часы занятий в школе, режим и поведение учеников. Алексей Ракеев, как старший, должен был следить за тем, чтобы правила эти свято выполнялись. В его обязанности входило также вести журнал и ежемесячно представлять Яковлеву отчет о расходовании средств.

— Прежде всего вашей школе необходим учитель,— говорил Яковлеву Илья Николаевич.— А затем — чтобы школу утвердило министерство просвещения. Иначе ваша школа не сможет успешно работать.

— Согласен с вами, Илья Николаевич,— отвечал Яковлев,— но я не в состоянии это сделать. Иногда мне даже приходит в голову: не лучше ли отложить поступление в университет хотя бы до той поры, когда школу признает министерство просвещения и она немного окрепнет?

— Нет, нужно ехать продолжать ученье, если вы хотите сделать что-нибудь для своего народа. Тут двух мне-

ний быть не может. Ведь вы видите, в каком положении ваш бедный народ: на всю нашу губернию ни одного учителя, который мог бы преподавать на чувашском языке. Разве это не трагедия?

Яковлев хорошо понимал: если Илья Николаевич сказал, что берет заботу о школе на себя,— можно спокойно ехать учиться. Из Казани почти в каждом письме — а писал он часто — напоминал Ракееву: «Пиши мне, что говорит Ульянов. Сообщай ему, как ты действуешь. Толкуй с ним. Постарайся войти с ним не в начальственные отношения, а в простые. Говори с ним откровенно о делах». Ракеев отвечал Яковлеву: «Я несколько раз бывал у Ульянова в доме его. Он меня завсегда принимает очень хорошо». Другой ученик, Игнатий Иванов, писал: «Многоуважаемый Иван Яковлевич! У меня здесь, слава богу, дела идут хорошо, и мальчики занимаются хорошо. Был у нас Илья Николаевич Ульянов. Он поговорил со мной, велел мне начертить план школы нашей деревни, как нужно будет строить. Велел спросить — не будет ли подрядчика и какой у него будет лес. Ну, я на это ничего не смог ответить без вашего позволения. Я сказал, что около двадцатого мая Иван Яковлевич приедет». В другом письме тот же Игнатий Иванов писал: «Епе вырсарпикун каятаи Илья Николаевич патне каласмашкан унпала» [1].

В 1871 году состоялся первый выпуск педагогических курсов, созданных Ильей Николаевичем. Выпуск был небольшой, всего шесть учителей. Из них одного Илья Николаевич направил в чувашскую учительскую школу — Калашникова Василия Андреевича.

— Илья Николаевич, я ведь не знаю чувашского языка,— сказал Калашников.

— Может быть, вы мне, Василий Андреевич, назовете учителя, который хорошо владеет чувашским языком? — мягко улыбаясь, спросил Илья Николаевич.

— Таких как будто пока еще нет...— смущенно ответил Калашников.

— Так что же, по вашему мнению, лучше: закрыть школу или вести занятия на русском языке, пока будут подготовлены учителя-чуваши?

---

[1] Я в воскресенье пойду к Илье Николаевичу на беседу *(чувашск.)*.

— Илья Николаевич, я не отказываюсь! — сказал Калашников.— Я только боюсь, что не справлюсь...

— И я, и Яковлев — все мы будем вам помогать. Думаю, что скоро эту, как некоторые ее именуют, «бесформенную громаду» утвердят в министерстве просвещения. А пока что мне трудно сказать, сколько они смогут вам платить.

— Илья Николаевич! Да о плате не может быть и речи! — горячо возразил Калашников.— Это меня мало тревожит...

Яковлев, узнав, что Калашников ничего не получает за уроки, написал ему, чтобы он не беспокоился: как только финансовые дела школы поправятся — на ту пору было шестьдесят рублей долгу,— ему заплатят. Василий Андреевич, как подлинный учитель-ульяновец, ответил: «Вы пишете о вознаграждении. Но это совершенно напрасно. Вы, тоже посторонний человек, приняли участие в бедных, не ища вознаграждения. Отчего же я не должен принять в них участие? Прошу Вас, более об этом мне не напоминайте, потому что я хочу принять участие, как и Вы, без вознаграждений». Только в октябре 1871 года, после того как школу утвердило министерство просвещения (Илья Николаевич послал десятки ходатайств об этом), Калашников начал получать жалованье.

О том, как дела школы двинулись вперед благодаря неустанным заботам Ильи Николаевича, Яковлев писал Ракееву: «То, что я думал видеть по крайней мере через год, совершилось...»

Возвращаясь как-то со Старого венца домой, Саша и Аня увидели во дворе мальчика. Был он в лаптях, в старенькой заплатанной одежде, с сумкой через плечо. Саша и Аня решили, что это нищий, и вынесли ему хлеба. Но мальчик ничего не взял, а сказал несмело:

— Мне бы повидать господина инспектора...

— Саша, это он к папе пришел! — сказала Аня.— Постой с ним, а я позову папу! — И она побежала в дом. Возвратясь, спросила: — Тебя как звать?

— Ваня Зайцев,— ответил мальчик.

— Так вот, Ваня,— строго сказала Аня.— Папа сказал, чтобы ты к нему сейчас же зашел!

Ваня переступал с ноги на ногу, но не двигался с места. Ему хотелось убежать, но совестно было этой смелой живой девочки, мальчика с черными серьезными глазами. Да и не хотелось отступать: сколько он натерпелся с того дня, как убежал из дома, чтобы поступить в школу, а теперь, когда уже добрался до начальства, от которого, как говорили ему земляки, все зависит,— страх напал. Нет, нельзя поддаваться! Ваня поправил пустую сумку, вздохнул:

— Ну, пошли!..

Всегда было так: если кто-нибудь приходил к отцу, детям не разрешалось слушать разговоры старших. И если Аня или Саша оказывались на эту пору в кабинете, то без напоминаний уходили к себе. И на этот раз, приведя мальчика к отцу, они собрались было уйти, но Илья Николаевич остановил:

— Аня! Саша! Куда же вы? Давайте послушаем, что нам расскажет... Мальчик, как тебя звать?

— Ваня Зайцев! — ответила за мальчика Аня.— Мы его уже спрашивали.

— Ну, здравствуй, Ваня! — ласково сказал Илья Николаевич.— Что тебя привело ко мне?

— Здравствуйте, господин инспектор...— еле слышно заговорил Ваня, боясь поднять голову и взглянуть на такое высокое начальство.— Я пришел просить вас... Пришел просить, потому что мне хочется учиться. Я пришел, а мне говорят: без вашего дозволения не берут. Вот я и пришел к вам, потому что хочу в школе учиться...

— А разве ты один в город пришел?

— Один. Отец не пускал меня... Пойдешь, говорит, а кто будет гусей пасти? Ну, а я... Это, может, и нехорошо, только я тайком от отца... Только мать знает, куда я пошел... Она меня благословила на ученье... Я и пошел...

— А ты ел сегодня что-нибудь? — спросил Илья Николаевич, глядя на худое, измученное лицо Вани.— Только честно.

— Хлеб у меня вчера кончился... А нынче мальчики в школе дали супу поесть, так что я совсем сыт...

— Отлично! Аня, Саша, ведите Ваню к маме, пусть она его накормит, а потом приходите ко мне.

Когда Ваня поел, согрелся и увидел, что эти люди хотят помочь ему, он осмелел и начал рассказывать о своих

дорожных приключениях. Илья Николаевич расспрашивал его, как живет отец, была ли когда-нибудь школа у них в деревне? Как ему пришло в голову идти в город учиться? Оказывается, было так: отец ученика чувашской школы рассказал Ваниной матери, как учится его сын. А когда они закончат учебу, сказал, так поедут в свои же деревни учительствовать.

— Как услышал я это,— закончил Ваня свой рассказ,— школа мне прямо во сне начала сниться. Не выдержал я, и вот...

Пришел Ваня Зайцев к Илье Николаевичу в конце сентября, а занятия в школах начались в середине августа. Ване шел тринадцатый год, мальчик был способный. А главное — горел желанием учиться. Илья Николаевич решил, в нарушение всех правил, устроить его в чувашскую школу. В тот же вечер он отвел туда Ваню Зайцева и приказал Калашникову принять его. Василию Андреевичу это не очень понравилось, но он ничем своего недовольства не проявил,— слово инспектора было для него законом. Знал, что уж если Илья Николаевич нарушил правила, значит, в этом есть особая необходимость...

4

После переезда в Симбирск Мария Александровна каждое лето проводила с детьми в Кокушкине. Илья Николаевич тоже приезжал туда на два-три дня. До Казани ехали на пароходе. В Казани останавливались у сестры Марии Александровны, в ожидании лошадей из Кокушкина. От города до деревни было сорок верст. Выезжали из Симбирска в конце мая, когда было уже тепло. Но в этом, 1873 году семью Ульяновых опять постигло большое горе. Умер мальчик Коля, прожив всего несколько дней. Это был уже второй ребенок, которого хоронили Мария Александровна и Илья Николаевич. Мария Александровна так тяжело переживала смерть сына, что несколько недель не могла встать с постели.

Еще не оправилась она от этого удара, как из Кокушкина пришла тревожная весть: отец чувствует себя все хуже. В середине июня в школах шли экзамены, и Илья Николаевич до окончания учебного года не мог выехать в

деревню. Решили так: Мария Александровна поедет с младшими — Володей и Олей, а Илья Николаевич, как только закончатся экзамены в школе, привезет в Кокушкино Аню и Сашу. Но не успела Мария Александровна собраться, как получила телеграмму: скончался отец. Снова в семействе Ульяновых, вот уже второй раз в этом году, наступили траурные дни.

— Еще прошлым летом я заметила, что отец сильно подался,— говорила Мария Александровна,— спрашивала его: может быть, ему худо? Но у него один ответ: я совсем здоров. Просто это годы берут свое. А оказывается, не в годах дело. И он не мог не знать этого, но, как видишь, обладал такой силой воли, что ни слова не сказал никому. И так всю жизнь: в самые трудные минуты он не терялся, не унывал. Когда ему бывало тяжело, он запирался у себя в кабинете и не выходил, пока не успокоится. Стыдился малодушия. Даже когда я стала взрослой, он старательно скрывал от меня приступы слабости, растерянности. И ничто так не огорчало отца, как мысль, что кто-то видел его в те минуты, когда ему изменяли сила воли или выдержка. Это вызывало у него такие приступы гнева, что лучше было не попадаться в эти минуты ему на глаза. Одному я всегда удивлялась: какое бы настроение у отца ни было, но если кто-нибудь обращался к нему за помощью, как к врачу, он тотчас пересиливал себя. И в снег, и в дождь — ехал к больному. Борьба со страданиями людей была его жизненным призванием, его страстью. Смерть рано унесла нашу мать, которую отец очень любил. Он остался верен этой любви до последнего дня. Прямо этого не говорил, но из его рассказов я поняла: у могилы нашей матери он дал клятву до последнего вздоха вести борьбу со смертью. И, как видишь, сдержал клятву — умер, возвращаясь от больного.

— Жалко... Ой, как жалко Александра Дмитриевича,— вздохнул Илья Николаевич.— Такой могучий человек был, от стольких еще страданий мог бы избавить людей, столько смертей предупредить... Я часто вспоминаю первую встречу с ним. Помню, он поставил нам условием: свадьба только в Кокушкине. Ехал я в это Кокушкино, признаюсь откровенно, не без душевного трепета, наслушавшись рассказов сестры твоей о крутом нраве отца, о его, как она говорила, чудачествах.

— Анна — натура нежная, она много слез пролила из-за того, что отец так сурово относился к нам. Между прочим, наша Аня характером очень напоминает мою старшую сестру. Такая же нервная, экспансивная, влюбленная в поэзию.

— Так вот. Тебе я ничего не говорил, даже виду старался не показать, что немного побаиваюсь встречи с твоим отцом, и всю дорогу думал о том, как вести себя с ним, чтобы прийтись ему по душе. Когда приехали в Казань, на пристани нас никто не встретил. Это меня уже совсем смутило...

— Да и я тогда прямо растерялась!

— Приехали в Кокушкино, а нам говорят: отец вчера вечером поехал к тяжелобольному и еще не вернулся. Ну, у меня от сердца отлегло. Приехал он усталый, с красными от бессонницы глазами и, наскоро поздоровавшись со мной, точно он меня уже сто раз видел, пошел принимать больных, ожидавших его. Только закончив прием, отпустив всех больных, позвал нас к себе. А когда ты ушла и мы остались вдвоем, он вдруг спрашивает — как я отношусь к врачам? Я сказал — очень хорошо. По той простой причине, что мне, слава богу, еще не приходилось к ним обращаться. Ему очень понравился мой ответ. И та скованность, которую мы оба испытывали в первые минуты встречи, начала рассеиваться. А после, как ты знаешь, мы могли день и ночь спорить с ним... Жалко... Я думал, что старик со своим могучим здоровьем доживет до ста лет. А он на семьдесят первом умер. Вот моя мать — не могла похвалиться крепким здоровьем, а прожила восемьдесят три. Теперь уж мы с тобой круглые сироты, Машенька...

Отца своего Мария Александровна не просто любила, а преклонялась перед ним, человеком железной силы воли и самобытного характера. В жизни отца, отягощенного большой семьей, было много таких трудных дней, что другой на его месте впал бы в отчаяние. А не то и запил бы, как это делали другие, кого жестоко преследовала судьба. Но отец стоически выдержал все удары. И чем труднее было, тем энергичнее добивался он своего. И детей учил: жизнь не любит ничтожеств и нытиков. Слезы — самый страшный враг человека. И если какая-нибудь из дочерей начинала плакать, достаточно было только сказать: отец идет! — и слез как не бывало.

— Да, мы боялись отца,— говорила Мария Александровна,— очень боялись. Но в боязни этой меньше было страху, что тебя накажут, а больше желания не огорчить его. Он никогда не кричал на нас, никогда не читал длинных и нудных поучений. Он говорил — нужно сделать так-то и так-то. И мы знали, что он уже не отступится от своих слов, что это нужно сделать, безразлично — нравится это тебе или нет. Мы не могли сетовать на него еще и потому, что видели — если он что-то пообещал, то уж ни за что не переменит своего слова. Вот это суровое отношение к себе, как и ко всем окружающим, примиряло нас с ним. Если он заставлял нас по утрам обливаться холодной водой, мы видели — он сам это проделывал и зимой, и летом. И на своем житейском опыте, на опыте моего воспитания, Илюша, я убедилась: слова в воспитательном процессе, когда дело идет не о знаниях, а о формировании характера, ничего не значат. Личный пример родителей, а в школе учителей — вот что главное! Даже сейчас, когда на меня обрушивается какая-нибудь беда, я ловлю себя на мысли: «А что сказал бы отец, если бы увидел, как я растерялась?» От одной этой мысли я как-то внутренне собираюсь и начинаю чувствовать себя сильнее. Нет, мы многим обязаны отцу. Чем дольше живу я на свете, тем больше убеждаюсь в этом...

— Мне кажется, в характере Саши есть кое-что от Александра Дмитриевича,— сказал Илья Николаевич.— Он сам, должно быть, заметил это, и потому Саша был его любимцем.

— Он, кажется, даже никого из своих детей не любил так, как Сашу! Во всяком случае, не припомню, чтобы он с кем-нибудь из нас был так нежен, как с Сашей. По целым дням мог возиться с ним, объяснять, показывать. И думаю, что это от него Саша унаследовал любовь ко всему живому. В прошлом году он даже показывал Саше, как устроена лягушка. Аню ужас охватил, когда она увидела, что они наловили лягушек в пруду и пошли их резать. Вся в слезах прибежала ко мне и умоляла, чтобы я пошла и отняла у них несчастных лягушек. Когда мы уезжали, отец словно предчувствовал, что уже не увидит своего любимца. Поцеловал Сашу, удивив всех нас таким невиданным проявлением нежности, и сказал мне: «Я умру спокойно, если ты пообещаешь, что дашь ему медицинское

образование». Я обещала не возражать, если Саша сам захочет этого. Он и меня ласково обнял и, как бы устыдившись таких нежностей, не попрощавшись ни с кем, круто повернулся и ушел к себе в кабинет...

Разговор незаметно перешел на ученье старших — Ани и Саши. У Марии Александровны все свободное время поглощали заботы о младших — Володе и Оле, и она не могла уже много времени посвящать занятиям с Аней и Сашей, как это делала прежде. Времени теперь хватало только на уроки немецкого и французского языка. На первых порах помогал ей Илья Николаевич, но теперь, когда дети на обоих языках говорили почти свободно, его помощь отпадала, так как он знал языки хуже, чем Мария Александровна. Занимался со старшими детьми по математике, и по этому предмету Аня и Саша знали достаточно для поступления в гимназию. Но русский язык и литературу они знали слабовато. Хотя много читали и заучивали наизусть, нужного запаса знаний для экзамена у них не было. Не привыкли дети и к систематическим занятиям, так что пришлось пригласить учителя.

— Может быть, не стоит посылать их в приготовительный класс? — говорила Мария Александровна.— Мало чему там они научатся.

— Нет, пусть идут,— стоял на своем Илья Николаевич.— Пусть хорошенько поработают. Если с первых шагов начать делать поблажки — это только повредит. Потворство дома — пусть даже в мелочах — воспитывает изнеженность, а от нее до лености и нерадивости — один шаг.

— Ну, хорошо,— согласилась Мария Александровна.— А кого же ты хочешь пригласить к ним учителем?

— Василия Андреевича Калашникова. Он, ты знаешь, один из лучших воспитанников моих педагогических курсов. Да и человек симпатичный. Если не возражаешь, я завтра же поговорю с ним.

— Василий Андреевич мне нравится. Только...

— Ну, ну, говори!

— Только он очень застенчив. Боюсь, что дети начнут пользоваться его слабостью во вред занятиям.

— Э, плохо ты его знаешь! — засмеялся Илья Николаевич.— Василий Андреевич умеет быть строгим и требовательным.

Летом Ульяновы всей семьей выехали в Кокушкино.

Но прогостили там недолго. Илья Николаевич не мог больше двух недель оставаться с семьей, в городе ожидало его много дел, связанных с подготовкой съезда учителей Карсунского, а затем Симбирского и Сенгилеевского уездов. Программа съездов была обширная (работать собирались две недели), большую часть докладов писали воспитанники педагогических курсов, и Илье Николаевичу хотелось, чтобы они проявили себя как можно лучше. Но без его советов, без его постоянной помощи молодым педагогам трудно было бы справиться. Даже такие развитые выпускники курсов, как Мелеев и Кабанов, согласились сделать доклады при одном условии: если Илья Николаевич им поможет. А Мария Александровна на этот раз не захотела оставаться в деревне одна с детьми. Смерть отца болью отзывалась в ее душе — здесь все напоминало о том, что его уже нет,— до отдыха ли было? В городе, вдали от могилы отца, от всего, что было связано с высокой фигурой отца, с его ласковым голосом, ей казалось, легче будет переживать его смерть.

— Я понимаю: мне следовало бы остаться здесь ради детей,— говорила Мария Александровна,— но простите меня...

— Полно тебе! — успокаивал ее Илья Николаевич.— Дети уже набегались, накупались, загорели. А в городе я их почаще буду водить на Свиягу. Вот и нагонят потерянное в деревне. В городе, если уделить им больше внимания, тоже можно недурно отдохнуть. Существуют же семьи, которые никуда не выезжают, а дети у них — точно из бронзы вылитые...

Аня и Саша были огорчены, узнав, что предстоит возвращаться в Симбирск. В Кокушкино съехалось много двоюродных братьев и сестер, их ровесников, и с ними было очень весело. Аня даже заплакала, а Саша, как обычно, молчал. Только по его грустному взгляду можно было догадаться, что ему тоже не хочется расставаться с Кокушкином. Володя и Оля были еще слишком малы, чтобы проявлять какую-то самостоятельность. Им было все равно, куда ехать,— лишь бы с мамой и няней. Саша успокаивал Аню:

— Не грусти. На следующий год опять приедем сюда.

— Сколько еще ждать!

— А ты слышала, что папа говорил? Осенью к нам придет учитель. Слышала?

— Ну, слышала...

— Начнутся занятия, и время ой-ой как скоро пролетит! Не успеем одно прочитать, другое выучить, а тут и зиме конец. Волга вскроется. И мы начнем собираться в Кокушкино.

Аня успокоилась, подала Саше руку, и они побежали во двор. У ворот стояли две тройки, вызванные отцом из соседнего села Апокаева. Ямщики — отец и сын — укладывали вещи на брички. Володя, весь сияя оттого, что ему дали подержать кнут, вертелся на руках у няни.

— Варвара Григорьевна, смотрите, выскочит он у вас из рук,— говорил отец и грозил Володе пальцем, заставляя его сидеть спокойно.

— Да ведь я его вот как держу,— ласково прижимая Володю к себе, отвечала няня.— И минуты не пробудет тихо, все вертится. Володя, слышишь, что папенька говорит: сиди спокойно...

Но на Володю ласковые уговоры не действовали — слишком много интересного творилось вокруг, чтобы можно было усидеть спокойно. Все хотелось увидеть, на все отозваться.

— Вот непоседа! — укоризненно качала головой няня, но в ее ласковом голосе было больше восхищения, чем укора.— Как кубарик вертится!

— Все уселись? — спросил Илья Николаевич.— Маша, ничего не забыли?

— Кажется, ничего...

— Тогда поехали! Прощайте!

Ямщики натянули вожжи, и лошади, замученные оводами, радостно рванулись с места, зазвенели колокольчиками. Володя залился радостным смехом — как хорошо, помахивая кнутиком, лететь на оглушительно грохочущей тройке! А Саша и Аня, с трудом сдерживая слезы, смотрели на счастливцев, которые оставались еще в Кокушкине.

5

Это был не первый съезд учителей. Илья Николаевич уже проводил такие съезды в Сызранском, Буинском и Курмышском уездах. В июле этого, 1873 года состоялся учительский съезд в Карсунском уезде. Но ни к

одному из них не было приковано столько внимания, как к этому. Съезд проводился в Симбирске, и в нем должны были принять участие лучшие педагогические силы губернии.

Задача учительских съездов, как писал Илья Николаевич, «состояла в практическом ознакомлении преподавателей с лучшими методами обучения предметам, входящим в курс начальных народных училищ». С тех пор как вышло новое положение о народных училищах, минуло девять лет. Лучшие писатели и педагоги России — Толстой, Добролюбов, Шелгунов, Ушинский, Корф, Водовозов, Бунаков — много писали о народном просвещении. Немало было издано и литературы для сельских школ. Разобраться в этом как раз удобнее было на съездах.

Летом прошлого, 1872 года Илья Николаевич ездил в Москву на Первый всероссийский съезд учителей. «Командировка эта,— писал он,— принесла большую пользу инспекторам народных училищ».

— Обо всем, что я увидел и услышал в Москве, я хочу рассказать и учителям,— говорил Илья Николаевич Назарьеву перед открытием съезда.— Большие надежды возлагаю я на этот съезд! Прежде всего хочу достичь того, чтобы учителя не били учеников. Даже такое наказание, как стояние на коленях, надо изжить.

— Боюсь, что старые учителя не согласятся с вами,— возражал Назарьев.— Их нещадно драли, когда они азы зубрили, и они порют учеников за малейшую провинность. А тут вдруг приходится ограничиваться только обсуждением проступка ученика. На все эти призывы они смотрят как на нечто скоропреходящее.

— Так что же, по-вашему, совсем не касаться этого? — спросил Илья Николаевич, не поняв Назарьева.

— Нет, почему же? Возбуждать этот вопрос нужно! Но, кроме добрых советов, пожалуй, пора бы уже получить какие-то твердые указания от министерства.

— Давно пора! Да что поделаешь, коли их нет. А как учителя вашего уезда приняли весть о съезде?

— Молодые педагоги ждали съезда с нетерпением. Они надеются, что съезд поможет им разрешить много педагогических вопросов, накопившихся за время их жизни в глухих деревнях. А ветераны прежних удельных школ, о которых я вам сейчас говорил, смотрят на съезд как на

экзамен. Принялись спешно просматривать новые учебники, боятся провалиться и остаться без места.

— Взялись, говорите, за новые учебники? — с улыбкой переспросил Илья Николаевич.— И это уже хорошо!

Сколько ума и энергии вложил Илья Николаевич в подготовку съезда, как детально обдумывал он все мелочи, видно из его заметок. «1) Назначить время съезда,— записывал он,— с 28 декабря по 5 января. 2) Определить суточное содержание учителей во время их пребывания на съезде по 50 копеек. 3) Программа съезда: методы преподавания при обучении, чтению, письму и арифметике. Сначала руководитель дает уроки мальчикам по каждому из этих 3-х предметов. Затем господа учителя приготовляются давать уроки. 4) Отношение учителей к учащимся (дисциплинарные меры) и к родителям их. Распределить занятия съезда по дням: по утрам уроки, а вечером обсуждение этих уроков. Причем необходимо возбудить в каждом члене съезда возможно большую самостоятельность и охоту поделиться своими наблюдениями со своими товарищами...»

— Волнуешься, Илюша? — спросила Мария Александровна, провожая утром мужа на съезд.

— Немножко,— признался Илья Николаевич.— Особенно беспокоюсь, как справятся мои воспитанники с докладами. Но, впрочем, Маша, меня все волнует. Кажется, все продумано до мелочей, но на бумаге — одно, а на деле — совсем другое. Боюсь, как бы молодежь не растерялась в присутствии такого высокого начальства, как губернатор. Ведь давно утвердился взгляд на сельского учителя, как на самое никчемное существо. И сам учитель привык к тому, что никто — даже безграмотный староста — его за человека не считает. А тут вдруг явилось слушать его все губернское начальство. Есть от чего прийти в смущение и растеряться. Не один уже откровенно признавался мне: «Страшновато выступать перед такой публикой».

— Я понимаю, Илюша: не волноваться тут невозможно,— говорила Мария Александровна.— Но скажи мне: есть у тебя внутренняя уверенность, что все пройдет так, как нужно?

— В душе я убежден в этом!

— Тогда все будет хорошо,— заверила Мария Александровна, провожая мужа.

«Зала мирового съезда,— записывал Назарьев в свою памятную книжку,— наполнилась массой представителей самых разнообразных типов. И вообще имеет какой-то поразительно пестрый и праздничный вид. На стенах развешаны картины; возвышение уставлено всевозможными учебными пособиями. В первых рядах помещаются дети — ученики народных школ, с которыми законоучители, учителя и учительницы будут давать испытательные уроки. За ними устроились представители нашего высшего и среднего общества. Далее следуют учителя, между которыми встречаются весьма приличные юноши, умеющие порядочно держать себя и толково говорить перед лицом публики. И белые, как снег, ветераны с бронзовыми медалями на шее. Далее виднеются разноцветные рясы законоучителей. И, наконец, учительницы.

Съезд открылся уроками законоучителей, в большинстве не помнивших себя от волнения и оказавшихся крайне неспособными вести живую устную беседу с учениками. Во время антракта они поднимали такой шум, что ничего нельзя было разобрать. Но зато, когда пришлось публично высказывать свои мнения о текущих уроках, то все ограничивались общей отрывочной фразой:

— Урок отца был очень сух.

— А почему вы находите мою лекцию недоброкачественной?

— Я нахожу ее доброкачественной, но неудобной для детей...

— Нет, это просто нападки! — обиженно перебивает противник.

Илье Николаевичу стоит большого труда убедить разбушевавшегося отца, что тут нет и не может быть нападок. Вообще же диспуты почтенных отцов, не касаясь приемов обучения, преимущественно вращаются в области догматики, становясь все более и более запутанными и непонятными. Поднялись даже прения о том, почему животные сотворены прежде человека. Но тут кто-то весьма кстати заметил, что если Моисей в своем бытописании не нашел нужным говорить об этом, то и нам рассуждать не следует».

— Ну, как вам, Валерьян Никанорович, понравились уроки и дебаты духовенства? — улыбаясь спросил в перерыве Илья Николаевич.

— Глупы они все и бездарны! Так опозорили себя, что больше на съезд и не покажутся! Вообще не могу понять, почему их не остановили, когда они начали забираться в недра догматики?

— Почему? — уже не улыбался, а смеялся Илья Николаевич.— Мне епископ Евгений все время доказывает, что духовные пастыри — учителя, у которых нужно всем нам поучиться. Ну, вот я и дал возможность всем убедиться, какие педагогические познания у батюшек, как они излагают свой предмет, чему у них можно поучиться выпускникам наших педагогических курсов. Простите, иду продолжать работу. Мы еще об этом поговорим.

«Дошла очередь до сельских педагогов,— продолжал записывать Назарьев после перерыва.— Готовясь к урокам, они просиживали целые ночи за Бремом, словарем Толля или другими книгами и сбились с ног, чтобы приготовить к уроку необходимые наглядные пособия. Одна учительница привезла чучело беркута для своего урока, и приходила в отчаяние оттого, что беркут лишился во время перевозки одного из своих когтей. Другой учитель скупил массу всевозможных свежих деревьев местных пород, чтобы только показать их ученикам; третий становился в тупик, не зная, где взять к уроку необходимые ему сыр и кулич; четвертому понадобился овес, и он чем свет забрался к председателю училищного совета и был вполне счастлив, получив просимое. Каждый из учителей выяснял план своего будущего урока, а выступив на возвышение, вдруг становился предметом общего внимания и самого тщательного наблюдения сотен глаз и ушей, жадно следивших не только за общим ходом урока, но и за каждым движением преподавателя, даже за интонацией его голоса. Тотчас же по окончании урока завязывались нескончаемые споры и объяснения, тянувшиеся до тех пор, пока не составлялось наконец общее мнение, которое высказывал один из более одаренных учителей. Все носило на себе отпечаток небывалого одушевления и лихорадочного напряжения; обсуждения уроков становились все живее и живее; выяснились главные положения педагогии и лучшие приемы обучения грамоте и счету».

— Вы, Валерьян Никанорович, я вижу, все записываете сами, не полагаясь на наших протоколистов,— сказал Илья Николаевич, обрадованный тем, что выступления его

учителей были, в отличие от церковнослужителей, содержательными и живыми.— Может быть, думаете продолжить свои очерки в «Вестнике Европы»?

— Непременно! Просили, чтобы я написал о народных школах. Кажется, для полноты картины только и не хватало вот такого съезда. К слову, все ваши впечатления, какими вы со мной поделились, я тоже записал и буду просить вашего дозволения воспользоваться ими.

— Пожалуйста! Вот-вот выйдет из печати мой отчет за прошлый год. Там много любопытных для вас фактов. Ну, а какое же ваше впечатление от съезда, если это, разумеется, не секрет?

— Я в восторге от всего, что вижу и слышу. Особенно хорошее впечатление произвело на меня выступление учителя Калашникова. Вот он говорит. Где эта моя запись?.. Ага, вот... «Урок можно рассматривать с внутренней стороны (цель его и содержание) и с внешней (приемы, средства обучения). Эти стороны связаны между собой. Целью урока должно быть доставление ученикам тех насущных знаний, посредством которых, без всяких насилий, постепенно и постоянно расширяется их внутренний кругозор и усиливается мышление». А как он произнес эти слова: «без всяких насилий»! Как укоризненно поглядел на седых ветеранов! Они даже заерзали на стульях. И дальше: «В свою очередь усвоение уроков вполне зависит от языка и формы изложения его учителем. Язык должен быть доступный и понятный; язык развивается вместе с запасом знаний. Тон голоса, движения учителя тоже имеют значение». Чудесно! Я слушал его, и как-то не верилось, что юноша, которому едва исполнилось двадцать, высказывает такие глубокие, зрелые суждения. Теперь я понимаю, почему вы никому не доверили читать педагогику на учительских курсах, а сами за это взялись! — Назарьев весело засмеялся.— Хитрый вы человек, Илья Николаевич. Очень хитрый!

— Да что вы! — удивился Илья Николаевич.— Это уже что-то новое. До сих пор все меня укоряли за то, что я не обладаю этим золотым свойством, а вот вы нашли его. Спасибо вам!

— Илья Николаевич, говоря о хитрости, я имел в виду не то обычное представление о ней, какое...

— Валерьян Никанорович, да разве вы не видите, что я тоже шучу? Ну, оставим это! Знаете, чего я боялся? Что

среди ветеранов найдутся люди, которые, как это бывало на съездах в других губерниях, больше времени будут проводить в кабаках, чем в этом зале. Теперь начинаю успокаиваться: таких учителей, к счастью, нет. Все настолько увлечены докладами, уроками и прениями, что о водке думать некогда.

— Я тоже, помнится, читал в какой-то газете, что на учительских съездах больше пили водку, чем занимались делами, ради которых собрались. И руководители съезда вели себя бестактно. А у нас с первых минут был взят тон и торжественный, и вместе с тем... Как бы это поточнее выразиться? Деловитой искренности и откровенности. Меня прямо удивило, как смело, с каким тактом ведется обсуждение уроков. Очень много слышно суровой критики, а обиженных как будто совсем нет...

Больше всего Илью Николаевича волновало — как учителя отнесутся к его предложению об отмене телесных наказаний для учащихся. Этот вопрос он решил поставить на обсуждение последним, чтобы было время постепенно разведать, как смотрят на это старые учителя. За две недели работы съезда Илья Николаевич, выбирая удобную минутку, переговорил почти со всеми, как их называли, ветеранами (молодые учителя называли их любителями розог). Новые методы обучения несовместимы с палочным воспитанием. Но изжить это было трудно. Как учителю не всыпать розог ученику, если тут же, за стеной класса, по мирскому приговору пороли отца этого ученика, если самого учителя пороли в семинарии. Легче всего сказать, что он, инспектор, своей властью запрещает бить учеников, ставить их на колени, всячески издеваться над ними. Но сделать этого он не мог, потому что по закону разрешалось бить детей. Оттого он в своем выступлении и не сказал: с розгами нужно раз и навсегда покончить. А говорил так:

— Я хотел бы, чтобы телесных наказаний вовсе не было. Когда педагог берется за розгу, он тем самым прежде всего доказывает полную свою беспомощность! В самом деле, что это за педагог, если у него не хватает ни умения, ни терпения уговорами, а не розгой добиться от ученика послушания? Господа, розги — наш злейший враг! Воспитание — это влияние на душу ребенка, это формирование, как выразился один писатель, внутреннего человека, его совести! А как можно сделать это при помощи розги, если

она разрушает то, без чего невозможно благотворное влияние на душу,— нравственную связь между учителем и учеником? Имеются ли у кого-нибудь по этому поводу другие суждения? Прошу, господа, высказываться...

Все взгляды обратились на ветеранов, ведь вопрос этот касался прежде всего их. Но ветераны уже почувствовали, как относятся к розгам молодые учителя — а молодых было большинство,— и боялись защищать телесные наказания. Наконец поднялся один ветеран и заговорил, точно ученик, который, отвечая урок, боится, что говорит совсем не то, чего от него требует учитель.

— За невнимательность в храме божием делаем поучения совместно с священником...

— Чем? Розгами? — спросил кто-то из зала, и по рядам прокатился иронический смешок.

— За пропуск уроков — вместе со старостой штрафуем родителей,— продолжал басить ветеран, точно и не слышал вопроса.— А если во время перерыва подымется драка, то ставим и виновного, и невиновного в угол у печки...

— И сколько же они выстаивают у печки, пока не угорят и не упадут? — спросил Калашников под общий хохот всего зала.

Седой ветеран, увидев, как встречен его рассказ, прокашлялся в кулак и сел. За ветераном выступил один из семинаристов, живо начал:

— У меня не так. Я сам никого не бью. У меня обиженный мстит обидчику, как говорится, око за око...

— Значит, не вы, а дети сами секут розгами друг друга? Так я вас понял?! — спросил Илья Николаевич.

— Так,— не смутившись, уточнил семинарист.

Воспитанник бурсы был очень удивлен, увидев, что зал встретил его выступление уже не смехом, а гневным возмущением. (Слышались возгласы: «Позор! Это не школа, а бурса!») Семинарист испуганно покосился на Илью Николаевича, в надежде на его поддержку, но, увидев, что тот сурово нахмурился, поспешил сесть. Начали выступать ученики Ильи Николаевича. Они так удачно и зло высмеивали любителей розог, что те просто не знали, куда деваться. Назарьев записал: «В заключение был предложен вопрос о мерах взыскания в сельских школах. Все пришли к единогласному решению: всячески стараться под-

держивать классную дисциплину, не прибегая к мерам строгости и наказаниям, излюбленным ветеранами школьного дела. Учителя разъехались, преисполненные небывалой энергии и самого искреннего стремления принести как можно более добра и счастия своим питомцам».

6

С той минуты, как Аня и Саша узнали, что осенью к ним придет учитель, они только и говорили об этом. После того как Ауновский уехал в Порецкое, у них в доме бывали только Арсений Федорович Белокрысенко да доктор Иван Сидорович Покровский — очень хороший специалист по детским болезням. До отъезда в Казань в доме часто бывал еще Иван Яковлевич Яковлев. Особой канцелярии у Ильи Николаевича не было, и многие приходили к нему по делам прямо домой, но на них Аня и Саша смотрели как на случайных прохожих. А теперь они каждого, кто приходил к отцу, встречали с настороженным любопытством: не учитель ли? Нетерпеливая Аня, побаивавшаяся встречи с учителем, спрашивала:

— Папа, ну когда же к нам учитель придет?

— Скоро, Анечка. Как только съезд закончится.

И вот отец вернулся домой радостный, сияющий и сказал маме:

— Ну, Маша, бог услышал твои молитвы: съезд — это общее мнение — прошел чудесно! У меня словно гора с плеч свалилась. Фу, только теперь я почувствовал, как устал. После закрытия съезда я повел всех учителей на телеграфную станцию и познакомил со свойствами электричества. Потом отслужили обедню. А после обедни сводил их в физический кабинет военной гимназии. Ну, а больше и показывать в нашем городе нечего...

— Я очень рада за тебя.

— Спасибо, дружок. Да, все было чудесно. Но...

— Без «но» все-таки не обошлось? — улыбаясь, спросила Мария Александровна.

— Не обошлось. Как говорил я, так и вышло: пяти рублей, какие выдавались учителям на две недели, не хватило. Деньги, взятые из дому, они тоже истратили — на учебники, на методические пособия. Под конец выяснилось, что

им, беднягам, не на что ехать домой. Пришлось ходить по городу с подписным листом...

— Представляю, с какой гримасой жертвовали!

— Да, было очень неприятно! Но я и рад был этому обстоятельству. Это показало нашим земским деятелям, что я был прав, когда не только просил, а умолял их дать учителям хотя бы по восемь рублей. Ну, да все это мелочи в сравнении с той огромной теоретической и практической работой, которую проделали. Я уверен — для многих учителей этот съезд останется в памяти на всю жизнь.

— Ну, а как встретили твое предложение об отмене телесных наказаний?

— Одобрили! Правда, иные ветераны голосовали без особого энтузиазма, но поднять руку против — значило выставить себя на посмешище всему съезду. А воротясь в свои деревни, будут по-прежнему и на колени ставить учеников, и розгами сечь...

Аня испуганно замигала, спросила:

— Папа, значит, и нас учитель будет на колени ставить и розгами сечь?

— Нет, Анечка. Это когда-то учителя так делали, а теперь нет. А если кто-то будет так делать, значит, он очень дурной, злой человек. А злой человек, Аня, не может быть учителем. Учителем должен быть человек разумный, добрый, справедливый. И очень требовательный, чтобы все его любили и слушались. Такой учитель придет к вам завтра.

— Завтра?! — всплеснула руками Аня.— Саша, ты слышишь? Завтра к нам придет учитель! Ой, что же нам делать...

— Аня, успокойся,— остановила ее Мария Александровна.— Ничего вам не нужно делать. Ступайте играйте.

Легко сказать: «Ступайте играйте». А как будешь играть, если завтра придет грозный учитель?

— Саша, признайся честно,— спрашивала Аня брата,— ты боишься учителя?

— Немножко...— неохотно отвечал Саша. Говорить неправду он не умел, а признаваться, что ему тоже страшновато, не хотелось.

— А знаешь, что я придумала? Если учитель будет злой, плохой, я не стану с ним учиться. А ты сделаешь так?

Саша не знал, что отвечать. С плохим учителем учиться, конечно, будет невесело. Но ведь не учиться нельзя, потому что тогда не примут в гимназию. И главное: как не послушаться папы и мамы? Они никогда не заставляют делать плохое, а только хорошее. И если они говорят, что нужно учиться, то как же можно сказать им — я, мол, не хочу. Да Саше и самому интересно читать книги, решать задачи, говорить на иностранных языках. И он сказал Ане, потупясь, потому что ему очень не хотелось огорчать ее:

— Нет, я все равно буду учиться...

— Ну и хорошо! — вспыхнула Аня.— Учись тогда один! Я ни играть, ни дружить с тобой после этого не буду! — добавила она со слезами на глазах.

Обычно было так: как только Саша видел у Ани слезы, он, даже если сестра была неправа, уступал ей. Но сейчас упорно молчал. И Аня успокоилась, поняла, что Саша не уступит. Ученье для него слишком дорогое дело, чтобы подчиняться ее капризам.

— Ну, ладно, Саша,— сказала Аня, точно делала ему великое одолжение.— Я тоже буду учиться...

Саша облегченно вздохнул. Они помирились и стали ждать завтрашнего дня. Вечером долго не могли заснуть, а утром поднялись, едва за окнами посветлело, с вопросом: не пришел ли учитель? Но им пришлось потерпеть еще с полдня, пока появился долгожданный гость. Он оказался не старым, не хмурым, какими представлялись Ане те учителя, которые секут учеников, а молодым, красивым. Волосы и усы аккуратно подстрижены, глаза блестящие, веселые.

Первый урок проходил при отце и матери. Вбежал было в комнату и Володя, ему тоже, глядя на Аню и Сашу, захотелось учиться, но мама отвела его к няне, хотя малышу это очень не понравилось. Аня и Саша, ободренные тем, что папа и мама рядом, живо отвечали на вопросы учителя и по его ласковой улыбке видели: он доволен ими. А когда ответили на все вопросы, учитель сказал:

— Хорошо! Ну, а теперь я расскажу вам кое о чем и задам урок на завтра.

Отец и мать ушли. Аня и Саша остались наедине с учителем. Но они уже не испытывали внутренней скованности, как в первые минуты. Говорил Василий Андреевич мягким, чуть хрипловатым голосом. Дети заметили — Василий

Андреевич, поясняя урок, как-то странно, даже несколько смешно растягивал слова. Позже, готовясь к уроку, не знали: точно так же произносить слова, отвечая урок, как произносил он, или говорить по-прежнему. Пошли к отцу, и тот сказал:

— Василий Андреевич учит чувашских детей русскому языку. Мальчикам-чувашам трудно понять его, вот он и говорит медленно. А вы на это не обращайте внимания и отвечайте ему так, как сейчас со мной говорите. Ну-ка покажите, как вы приготовили уроки?

— Ну-ка покажите! — задорно повторил Володя, вскарабкавшись на колени к отцу: если к учителю его не пускают, так он хоть теперь послушает, что они там учат.— Ну-ка покажите,— повторил он, гася смешливые искорки, то и дело вспыхивавшие в глазах,— так он всегда делал, принимая серьезный вид.

— Папа, пусть Володя идет к няне! — попросила Аня.— Он меня сбивать будет.

Володя поднял голову — мягкие волнистые волосы откинулись, открыв широкий выпуклый лобик — и смотрел на отца с такой мольбой, что язык не поворачивался прогнать его.

— Володя, ты будешь тихо сидеть? — спросил отец.

— Буду тихо сидеть! —радостно подтвердил Володя, поняв, что его не выгонят.

— Аня, он не будет мешать,— успокоил Илья Николаевич дочку.— Ну, показывай свои тетрадки. Так... Ошибок нет. Но вот что, доченька, старайся хорошо писать. Не нужно торопиться. Смотри: у тебя буква «Н» и буква «П» — почти одинаковы. И буква «М» похожа на «Ш». Вместо слова «мама» можно прочесть «шаша».

— Шаша! — вскинулся Володя, которому это показалось очень смешным.

— Вот видишь! — обиделась Аня.— А обещал тихо сидеть...

Володя смущенно заерзал на коленях у отца, должно быть придумывая, как оправдаться. Но отец, чтобы успокоить Аню, уже ссадил его с колен, сказав:

— Володя не виноват. Он просто повторил мое слово, которое ему показалось смешным. И вообще он пойдет к Оле, она, пожалуй, уже ищет его.

Володя выпорхнул из комнаты, смеясь и приговаривая на бегу:

— Шаша! Шаша!..

— Ох и баловник! — сказал отец, укоризненно покачав головой, а добрые глаза его весело смеялись.

Аня тоже не выдержала, улыбнулась. У Саши отец не нашел ошибок, но, чтобы не обидеть Аню, и ему сказал, что писать можно лучше, если не торопиться. А вообще он больше проверять тетради не будет — на то есть учитель. Если им что-нибудь непонятно, они могут теперь обращаться к учителю, и он ответит на их вопросы. А уроки нужно стараться готовить так, чтобы и без его, отцовской, проверки учитель ставил им одни пятерки. Аня и Саша обещали, что так и будут учиться.

Саша вдумчиво и сознательно относился к занятиям. Аня же, заметив, что учитель стесняется — особенно если отец или мать присутствовали на уроке,— пользовалась порой этим, чтобы получить какую-нибудь поблажку. Саша замечал ее уловки, но молчал, хотя ему и было стыдно за сестру. Это молчаливое осуждение ее поступков действовало на Аню еще сильнее. Ей становилось совестно, что она заставляет Сашу так переживать за нее, и она сдерживалась, не желая, чтобы брат думал о ней плохо.

В раннем детстве Саша лицом и характером больше походил на мать, чем на отца. А затем рисунком бровей и губ — пухлых, четко очерченных — стал напоминать отца. Но это были отдельные черточки, а общий вид его продолговатого лица и особенно выражение карих глаз — были материнские.

Саша не мог, как это делала Аня, перескакивать с одного увлечения на другое. Уж если за что-нибудь брался, то целиком отдавался этому занятию. И только когда перерастал свое увлечение, когда оно уже не давало ему ничего нового, оставлял его и брался — так же неторопливо и задумчиво — за что-нибудь другое.

Провожая отца и мать в театр — они не пропускали ни одного нового спектакля,— Саша всегда просил:

— Папа, так не забудь принести мне афишку.

У Саши собралась целая коллекция афишек, которые Илья Николаевич шутливо называл историей симбирского театра. Саша гордился своей «историей», часто раскладывал свои сокровища на полу и перечитывал их. Он знал

поименно всех актеров театра, названия спектаклей и даже действующих лиц многих пьес. Мечтал о том времени, когда он вырастет и пойдет в театр. Разложил как-то все свои афиши, а Володя, разыгравшись, принялся бегать по этому цветному ковру. Пока мама увела Володю, он успел порвать несколько афишек. Саша только испуганно вскрикнул, увидев, что натворил Володя. Не бранил Володю, не плакал. Но в его потемневших глазах было такое отчаяние, что Аня, глядя на него, едва удерживалась от слез. Аня сердилась, требовала, чтобы Саша пошел и побранил Володю. Но тот, сложив все свое добро, сказал со вздохом:

— Пускай. Ведь он совсем маленький...

7

Во второй половине мая 1874 года пошли слухи, что в Симбирск должен приехать принц Ольденбургский — ревизовать учебные заведения. Хотя он управлял учебными заведениями ведомства императрицы Марии (женские гимназии, приюты, к которым Ульянов не имел отношения), губернатор Долгово-Сабуров, вызвав Илью Николаевича к себе, сказал:

— Как мне стало известно, первого июля к нам изволит прибыть его императорское высочество принц Петр Георгиевич Ольденбургский. За последние семнадцать лет это уже пятый приезд к нам его императорского высочества. По примеру прошлых ревизий известно, что принц Петр Георгиевич изволит осматривать не только подведомственные ему учебные заведения, а будет интересоваться и народными училищами. Я просил бы вас, господин инспектор, навести порядок в школах, на случай, если его императорское высочество пожелает посетить их.

— Разрешите, ваше превосходительство, задать вам один вопрос,— сказал Илья Николаевич так же архиофициально, как говорил с ним губернатор.

— Слушаю вас.

— Его императорское высочество будет осматривать только городские училища или также и сельские?

— На этот счет я не имею никаких указаний,— ответил губернатор,— могу только сказать вам, что в предыдущие приезды, как мне докладывали, его императорское

высочество не изволили выезжать за пределы города. Но я прошу вас уведомить всех председателей уездных училищных советов о возможности прибытия к ним его императорского высочества. Имеются у вас, господин инспектор, еще вопросы?

— Нет, ваше превосходительство.

— Не буду вас задерживать.

В последний раз принц Ольденбургский был в Симбирске за два месяца до приезда Ильи Николаевича, но тот несколько раз видел принца еще в Нижнем Новгороде и слышал о нем множество анекдотов. Принцу было подчинено такое количество всяческих учреждений, что он не мог разобраться не только в специфике их деятельности (а человек он был довольно ограниченный), но даже в том, чем они занимались.

Встреча принцу Ольденбургскому готовилась не такая громкая и богатая, как царю, когда тот был в Симбирске вместе с наследником в августе 1871 года, но все же пышная. Какие бы анекдоты о принце ни ходили, все же он был членом царской семьи, и все надлежащие почести полагалось ему воздавать. После того как отгремели оркестры и в соборе был отслужен молебен, губернатор представил его высочеству чиновников, а среди них и Илью Николаевича.

Илья Николаевич не мог сдержать улыбки при виде принца, так комична была его тощая, длинная фигура в генеральском мундире немецкого покроя, нескладно висевшем на нем. Лицо принца тоже казалось каким-то шаржем. Лоб узкий, покатый, а нижняя челюсть выдвинута вперед. Редкие волосы на голове торчали во все стороны, как щетина. Правую часть лица украшала большая, поросшая волосами бородавка. Под длинным носом торчали такие же редкие, щетинистые усы, а маленькие бесцветные глазки помаргивали с каким-то наивным благодушием. Каждому, кого представлял губернатор, принц с важной улыбкой — от чего лицо его становилось еще комичнее — говорил несколько слов. Но говорил он быстро, да еще гнусавил, так что его трудно было понять, а это очень беспокоило чиновников. Должно быть, принц усматривал в этом благоговение, какое он вызывает у простых смертных, и продолжал величаво шествовать вдоль шеренги чиновников.

— А-а, господин инспектор...— протянул он в нос, останавливаясь перед Ильей Николаевичем и вяло пожимая ему руку.— Очень рад. Вы, надеюсь, уже знаете, что по высочайше утвержденному новому Положению для управления народными училищами во всех губерниях должны быть созданы дирекции?

— Да, ваше высочество, я читал об этом в журнале, но никаких указаний пока не получал.

— Ожидайте! — не сказал, а приказал принц.— Повеление будет. Я первый подал мысль государю, что на народной школе пагубно отражается недостаточность попечительского надзора. А это может привести к тому, сказал я государю, что народная школа станет орудием нравственного развращения народа. Нигилисты уже прилагают немало усилий, чтобы достичь этого. Я непременно хочу побывать в народных училищах.

На следующий день принц в окружении свиты начал разъезжать по учебным заведениям. Осмотрев женскую гимназию и приют, он пожелал заглянуть и в мужскую гимназию. Иван Васильевич Вишневский, директор обоих учебных заведений, перепугался до смерти. Совесть у него была нечиста — уроженец Симбирска, поэт Минаев недаром назвал его «бюрократическим профостом»,— и ему представилось, что кто-то настрочил донос насчет его жульнических махинаций, почему принц и интересуется так обеими гимназиями. Директор хорошо помнил анекдот, как принц пытался уличить одну начальницу гимназии, которая не кормила, а морила воспитанниц. Его высочество не постеснялся пройти на кухню черным ходом, и кончилось это тем, что Петра Георгиевича окатили помоями. Но само по себе такое стремление поймать вора наводило Ивана Васильевича на невеселые размышления. Он прямо из кожи лез, чтобы выслужиться перед принцем. Илья Николаевич, рассказывая вечером жене о своих впечатлениях, говорил:

— Нет, я все больше убеждаюсь: слухи о том, что у Ивана Васильевича совесть нечиста, должно быть, основательны.

— С чего ты это взял? — спросила Мария Александровна, зная, как осторожно относился Илья Николаевич к всяческим слухам.

— Я еще никогда не видел Ивана Васильевича в таком

страхе. Прямо нельзя смотреть на него без отвращения. Так заискивать, так ползать на брюхе — это уж бог знает что. Даже гимназисты смеются. Какой-то шут, а не директор. Говорить об этом противно!

— И долго еще принц намеревается пробыть здесь?

— Говорят — еще день. А вообще-то все свои планы и намерения меняет так быстро, что трудно что-нибудь сказать. Вчера говорил одно, сегодня — другое. Забывчив — прямо на удивление. Делает такие наивные замечания, что невозможно понять, всерьез это или он попросту разыгрывает нас. Я так устаю от этой ежедневной фальшивой парадности и бессмысленной суеты, что еле на ногах держусь.

Казалось, принц уже забыл о своем намерении осмотреть народные училища. Но нет: вспомнил. Всем, кто делал ему пояснения во время осмотра классов, кабинетов и пансионов, он задавал один и тот же вопрос: где учились, где раньше служили? При этом ответов почти не слушал, а задавал другие — и тоже одинаковые — вопросы. Но когда Илья Николаевич сказал ему, что закончил Казанский университет и служил в Пензе, принц, перебив его на полуслове, спросил еще раз:

— В Пензе?

— В Пензе, ваше высочество,— повторил Илья Николаевич, пытаясь уразуметь, почему принц вдруг проявил такое внимание к его службе в Пензе.

— В Пензе... В Пензе...— бормотал принц, и по тому, как он морщил свой покатый лоб, видно было — он силится что-то припомнить.— А, вспомнил! — воскликнул наконец принц.— В Пензенской гимназии учился Каракозов, которого мы приговорили к смертной казни. Еще когда государь поручил мне быть членом Верховного суда, я сказал: «Роковой выстрел!» И что же? Не прошло и восьми лет, а нигилизм, точно эпидемия чумы, все больше и больше охватывает нашу молодежь. Но об этом я скажу в свое время... Так где вы, говорите, служили?

— Затем в Нижнем Новгороде,— ответил Илья Николаевич, но принц уже не слушал его, а прошел дальше, задавая учителям вопросы и не прислушиваясь к ответам, как будто заранее знал, что ему скажут.

Да так оно и было: на казенные, однообразные вопросы давались такие же ответы. О том, что Илья Николаевич

служил в Пензе, принц тут же забыл, потому что на следующий день повторил этот вопрос. Илью Николаевича это так обескуражило, что он несколько минут молчал, не зная, что ответить. Этого было достаточно, чтобы его высочество, забыв о первом вопросе, задал новый. Ему и самому уже, должно быть, надоели эти однообразные смотры и стереотипные вопросы-ответы, но он был из тех начальников, которые, что-то вбив себе в голову, упорно продолжали выполнять, как они говорили, свой долг, хотя и сами видели всю бессмысленность подобного занятия.

Накануне отъезда принц собрал всех, кого ему представил губернатор, и выразил свое полное удовлетворение увиденным. Все облегченно вздохнули: на этот раз пронесло. А Вишневский просто несказанно обрадовался, казалось, вот-вот сорвется с места и расцелует колючую лысину его высочества. Но радость Ивана Васильевича была преждевременна. Принц, высказав эти общие похвальные слова, круто свернул речь на то, что заставило его выехать в провинцию.

— Господа, все, что я увидел в ваших учебных заведениях, радует мое сердце. Это так. Это, господа, результат вашего труда, это приятно. Об этом я доложу государю! — гнусавил принц такой скороговоркой, что и половины слов нельзя было понять.— И вы должны постоянно молить всевышнего, что умы вашего молодого поколения еще не заражены тем нравственным злом, имя коему — нигилизм! А посмотрите, что происходит в Самарской женской гимназии? Страшно сказать, до какого беспутства там дошли! Граф Толстой уволил нескольких учителей гимназии за нигилизм. А что же сделало земство? Оно подало на него жалобу в сенат! Неслыханно! Преступно! Ужасно! В то время когда полчища — да, да, господа, страшные полчища! — нигилистов двинулись в деревни призывать народ к кровавому мятежу, самарское земство подает жалобу на то, что министр народного просвещения препятствует нигилистам творить их черное дело. Неслыханно! Невиданно! Преступно! Ужасно!..

Долго еще говорил принц, все более увлекаясь и горячась, так что только отдельные его фразы, казалось, сохраняли смысл. Впрочем, это уж была его беда: чем больше он горячился, тем труднее было понять, о чем он говорит. Но поскольку он безбожно повторялся и твердил о

вещах, известных всем и каждому, это помогало уразуметь его. А сводилась речь принца к тому, что единственная мера борьбы против нигилизма — изучение древних языков. Если бы раньше ввели классическое образование, которое требует серьезного умственного труда, сейчас в тюрьмах не сидели бы тысячи молодых людей, поверивших нигилистам.

— Мы, господа, должны провести такой политический процесс,— говорил в заключение принц,— какого еще не знала история России. Мы должны посадить на скамью подсудимых тысячи молодых людей, ведущих открытую борьбу против существующего строя. И все эти люди — вчерашние воспитанники наших школ. Неслыханно! Невиданно! Преступно! Ужасно!

Но и в Симбирской губернии не все было так благонадежно-идеально, как это казалось принцу Ольденбургскому. Весной 1874 года народнические кружки Москвы и Петербурга, прекратив бесконечные споры по вопросам теории революционной пропаганды, точно перелетные птицы в родные края, двинулись в народ. Кружок одного из инициаторов и вожаков этого первого массового похода в народ — Порфирия Войнаральского — местом своей деятельности избрал Поволжье. В Саратове Войнаральский открыл сапожную мастерскую, и она стала центром, откуда народовольцы расходились по окрестным губерниям. До разгрома Саратовского центра Войнаральский успел побывать и в Симбирской губернии. Он вел пропаганду в Сызранском и Карсунском уездах, распространял там нелегальную литературу. А восемнадцатого июля в Симбирске был арестован студент Иван Чернявский — при аресте он назвался Никитиным,— который, как выяснило следствие, распространил очень много нелегальной революционной литературы именно среди гимназистов и семинаристов.

Предсказание «великого пророка» Каткова, уверявшего всех, что стоит ввести классическую систему образования — и с нигилизмом будет покончено, было явно опровергнуто этим массовым походом молодежи в народ. Начали даже поговаривать, будто бы именно то обстоятельство, что молодежь принуждают половину учебного времени в гимназиях зубрить постылые древние языки, и породило такую массу недовольных. Вспоминали, что во Франции

господствовала классическая система образования, однако это не спасло страну от революции. Наоборот, уверяли иные, классическое образование и способствовало развитию республиканских идей, ибо борьбой против тиранов — а цари там, как правило, изображаются тиранами — проникнута вся греческая классическая литература. Завистники графа Толстого злорадствовали, говоря, что он потерпел крах со своей идеей «умиротворения умов». Договорились до того, что уверяли: если царь не отстранит графа Толстого от дел, России не миновать таких же потрясений, какие три года тому назад испытала Франция в дни Парижской коммуны.

8

И этим летом Ульяновы прогостили в Кокушкине недолго. Одиннадцатого июля 1874 года Илью Николаевича назначили директором народных училищ. Это вынудило его возвратиться в Симбирск. Если до сих пор всеми делами народных школ ведал он один, то теперь, после создания дирекции, в помощь ему придавалось несколько инспекторов. Нужно было подобрать опытных людей, распределить их по уездам, следить за их работой, пока они не освоятся. Пять инспекторов — это большая сила, с их помощью можно многое сделать для народных школ. А дел было — особенно по строительству школьных зданий — очень много. Хотя крестьяне за эти годы несколько ослабили свое резко враждебное отношение к школам, но, чтобы добиться от них денег на постройку школ, приходилось прилагать много усилий. А главное: перепиской абсолютно ничего нельзя было достигнуть, непременно надо было ехать в деревню и жить там по нескольку дней. Одному Илье Николаевичу просто не под силу было своевременно посещать все деревни, где предстояло строить школы. С помощью инспекторов это, конечно, сделать легче.

В апреле прошлого года Илья Николаевич писал Яковлеву в Казань о том, какие трудности приходится преодолевать, даже когда строишь школы, на которые уже выделены средства. «Для меня было бы весьма полезно Ваше присутствие в Симбирске,— писал Илья Николаевич.— Постройка в Кошках еще не началась, но вторые 75 рублей Игнатий Иванов уже получил. Для построек же домов в деревнях Атяшкине, в Усолье и в Печерском необходимо

составить техническую смету в Губернском правлении, о чем я и хлопочу в настоящее время. Два раза делал торги, и ни разу они не состоялись. Не знаю, как удастся мне покончить это дело».

Школы в этих деревнях были построены. Но только благодаря тому, что Илья Николаевич, взявшись за какое-нибудь дело, не отступал, пока не доводил его до конца. И если ему не удавалось что-нибудь сделать, то исключительно оттого, что у него просто не хватало сил.

Мария Александровна не могла оставаться в Кокушкине с детьми еще и потому, что в августе ожидала ребенка. Пришлось, как и в прошлом году, прожить в деревне всего несколько недель и возвращаться в город. На этот раз не только Ане и Саше, но и Володе, которому шел уже пятый год, не хотелось уезжать из Кокушкина. Он просил маму и папу пожить еще в деревне. Аня и Саша молчали: им этой осенью предстояло поступать в гимназию, и они старались держаться как взрослые.

Четвертого августа двери в квартире Ульяновых не закрывались: друзья и знакомые шли поздравить их с сыном. Арсений Федорович, крепко пожав руку Илье Николаевичу, спросил:

— Как же назвали новорожденного?

— Дмитрием... Митя...

— А как Мария Александровна чувствует себя?

— Хорошо.

— Ну, передайте ей мои сердечные поздравления и добрые пожелания. Рад, очень рад за вас. Три сына! Ведь это огромный капитал! Будущая опора для родителей. Помощь и поддержка на старости лет.

— Э, еще доживем ли до этого времени...— добродушно улыбнулся Илья Николаевич.— Поставить бы всех на ноги, и то уж хорошо. А то вот я, оставшись без отца семи лет от роду, всего натерпелся. Не дай бог никому жить сиротой...

9

За что Саша в этот день ни брался, не давала покоя одна мысль: «Завтра — в гимназию». Как его там встретят? Он часто ходил гулять в Карамзинский сад, напротив которого располагалась гимназия. Смотрел на длинный двухэтаж-

ный дом, и ему страшновато становилось при мысли, что придется там учиться. Внутренняя тревога усиливалась еще оттого, что, наблюдая за гимназистами, которые бегали во время перерыва по скверику, он видел: все они старше, а значит, и сильнее его. Они то и дело борются, а то и дерутся, чего он совсем не умел делать. Знакомых мальчиков, с которыми он мог помериться силой, в городе у него не было. А в Кокушкине все были свои и жили дружно. Его никто никогда не бил, и он не представлял себе, как можно ударить кого-нибудь. А гимназисты только и делали, что дубасили друг дружку от звонка до звонка, точно их принуждали к этому. И ведь это на улице, а сколько там, в классе, ожидает такого, о чем он и не слыхивал? Директора гимназии Саша видел,— Иван Васильевич иногда заходил к отцу. Он, кажется, добрый. Если все учителя такие же, как Василий Андреевич, будет неплохо. И отец это говорит, значит, нечего волноваться. Но, уговаривая себя, он все же не мог заглушить беспокойство. В голове снова и снова появлялась мысль: «Завтра — в гимназию»,— и все приходилось обдумывать сначала...

— Ой, как я боюсь! — откровенно признавалась Аня.— Всю ночь, наверно, не засну. Если бы хоть вместе с тобой учиться, а то совсем одна...

Аню отдавали в женскую гимназию, и ей очень не хотелось идти туда без своего верного друга Саши. Она плакала и — тайком от отца — просила мать не посылать ее в приготовительный класс. Мать готова была уступить, но отец стоял на своем: нужно. Жене он говорил:

— Я понимаю, что им будет нелегко. Но что поделаешь, если, не закончив гимназии, нельзя поступить в университет! А мне хочется дать своим детям высшее образование. Это единственный капитал, который я смогу им оставить...

В классе Саша был самым младшим. Кое-кто из мальчиков встретил его с явной насмешкой. Но когда учителя начали опрашивать всех, то оказалось — Саша и немецкий язык знает, и французский. И книги читал такие, о которых большинство учеников не слыхивало даже. Заметили и то, что новый товарищ не только не кичится своими знаниями, а даже чувствует себя неловко оттого, что знает

больше других. И многим захотелось поближе сойтись с ним, подружиться. Состав Сашиного класса подобрался очень неровный. Атмосфера казарменной дисциплины и муштры толкала старших на грубые выходки и проделки. Сашу, который не терпел никакого насилия над человеком — хотя бы тот был в несколько раз слабее его,— такие поступки товарищей глубоко возмущали. Несправедливость по отношению к другому он переживал так же, как если бы это касалось его самого. С горечью и возмущением рассказывал Ане — отцу и матери никогда об этом не говорил — о жестокости товарищей, о грубом и часто несправедливом отношении учителей к ученикам. Но даже Ане рассказывал об этом только тогда, когда она, заметив, как он мрачен, приставала к нему с расспросами:

— Саша, что там опять случилось?

— Ничего...

— Да я по твоим глазам вижу, что у вас что-то нехорошее случилось. Ну? Ну, Саша?..

— Право же, ничего особенного. Только сегодня опять никто не знал грамматики.

— И что же? Все получили двойки?

— Нет. Пятерки!

— Как же?

— Обманом! Учитель Чугунов — помнишь, я тебе рассказывал о нем: рассеянный такой,— а оказалось, он глуховат. Ну, вот он спрашивает: «В каком падеже это слово?» А они все сговорились и начали выкрикивать только окончание: «и-ительный!» А он, не расслышав толком, кивает головой, повторяет: «Да, да, творительный». Подло! Я просто не знал, куда деваться. Хотелось выйти из класса. Еле сдержался. Да это еще не все. Начали еще издеваться над ним...

— Как?

— А вот как. Кто-нибудь умышленно произносил фразу очень тихо, громко выделяя только те слова, которые — если их одни понять — придают сказанному глупый смысл. И кое-кому удалось, как они выражаются, «поймать старика на крючок»! Громовой хохот! А он смотрит смущенно, моргая добрыми глазами, и не понимает, почему все смеются. Нет, Аня, издеваться над человеком преступно! А если издеваться над бедой человека, я уж и слов не найду, как это назвать. Ну, а как у тебя?

— Ой, плохо...

— Почему?

— Мне нечего там делать. Уроки скучные. У меня сегодня даже голова разболелась. Повторяют, повторяют, и все то, что я давно знаю. Ты сбежать хотел, а я расплакалась. И зачем меня заставляют сидеть там и слушать давно известное? Я сегодня опять, должно быть, всю ночь не засну. Я умру в этой гимназии...— со слезами закончила Аня свой рассказ.

— А как же я учусь?

— У тебя другое дело. Ты сможешь поступить в университет. А к чему мне такие мучения? Я дома с мамой больше выучу! Но вредный папа!..

— Аня, как можно так говорить? — строго остановил ее Саша.— Отец наш — справедливый и честный человек. И прошу тебя... никогда не говорить о нем плохо.

В словах Саши прозвучала такая обида, что они подействовали на Аню сильнее самого строгого выговора. Аня, боясь потерять дружбу Саши, просительно заглянула ему в глаза:

— Саша, я просто не знаю, как это у меня вырвалось. Я ведь так не думаю. Я больше никогда так говорить не буду... Ты веришь мне?

— Верю.

Аня облегченно вздохнула. Ей хотелось обнять и расцеловать брата — единственного друга, которому она поверяла все нехитрые свои тайны,— но не сделала этого, так как знала: Саша не любит и боится всякого проявления нежности.

— Пойдем, Саша, на Волгу! — взяв брата за руку, воскликнула она и, не ожидая его согласия, потянула за собой.

Только Аня и Саша прибежали на Венец, как загремели замки на железных воротах тюрьмы и конвоиры выгнали толпу арестантов. Из окон тюрьмы выглядывали взволнованные лица, слышались возгласы:

— Прощайте!

— Держитесь!

Узники оглядывались, поднимали закованные в кандалы руки, размахивали кулаками над непокрытыми, обритыми наполовину головами. Цепи грозно бряцали. Саша знал уже — это каторжане. Их гонят в далекую Сибирь.

По тому, как гордо держались эти закованные в кандалы люди, как шумно провожала их вся тюрьма, видно было: это политические, о которых в городе говорили только шепотом. Это самые отважные люди на свете. Они стреляют в самого царя, не боятся ни виселиц, ни тюрем, ни каторги. И не жалость к этим людям, как бывало раньше, когда Саша видел заключенных, а гордость охватывала теперь его душу. Они шагают, высоко подняв головы, они делают то, что хотят, что велит им совесть, а не то, чего от них требуют. Именно таким людям Пушкин писал:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...

Весь этот вечер Саша был особенно молчалив, и как Аня ни старалась развлечь его, ей это не удавалось. Оставшись один, Саша еще раз перечитал любимые стихи Пушкина. Мысленно ставил себя на место этих закованных в цепи людей, и сердце его начинало учащенно биться. Детская жажда подвигов, свойственная всем мальчикам этого возраста, пробуждала его воображение; он составлял самые невероятные планы освобождения узников из тюрьмы. Спрашивал себя: а мог бы сам он вот так, годами, сидеть за решеткой, шагать по заснеженным бесконечным дорогам в Сибирь? Хватило ли бы у него силы умереть на виселице, но не отступиться от своего?

И множество таких вопросов наполняло его детский ум, обвивало цепями нерешенных загадок, и он, стремясь до всего дойти своим умом, упорно искал ответа на них.

10

Из министерства, из Казанского учебного округа рекой текли циркуляры. И все чаще с пометкой «секретно». Из этих циркуляров Илья Николаевич гораздо раньше и несравненно лучше, чем из газет, видел, как на верхах меняется отношение к народным школам. За 1873 год Илья Николаевич получил столько циркуляров все с новыми и новыми ограничениями, что не успевал прочитывать их.

Если верить циркулярам, просвещение народа — зло, с которым нужно вести непримиримую войну. И вести эту войну, продолжая говорить о том, что нужно вывести народ из вековой темноты.

И вот двадцать седьмого декабря 1873 года в газете «Петербургские ведомости» появился рескрипт Александра II на имя министра народного просвещения графа Толстого. Царь писал:

«Граф Дмитрий Андреевич!

В постоянных заботах моих о благе моего народа я обращаю особое мое внимание на дело народного просвещения, видя в нем движущую силу всякого успеха и утверждение тех нравственных основ, на которых зиждется государство...

Но достижение цели, для блага народа столь важной, надлежит предусмотрительно обеспечить. То, что в предначертаниях моих должно служить истинному просвещению молодых поколений, могло бы, при недостатке попечительного наблюдения, быть обращаемо в орудие нравственного растления народа.

Дело народного образования в духе религии и нравственности есть дело столь великое и священное, что поддержанию и упрочению его в сем истинно благом направлении должны служить не одно только духовенство, но и все просвещенные люди страны. Российскому дворянству, всегда служившему примером доблести и преданности гражданскому долгу, по преимуществу предлежит о сем попечение. Я призываю мое верное дворянство стать на страже народной школы. Да поможет оно правительству бдительным наблюдением на месте к ограждению оной от тлетворных и пагубных влияний...»

Ауновский, прочитав рескрипт, приехал из Порецкого к Илье Николаевичу переговорить об этом. Илья Николаевич обрадовался, увидав Владимира Александровича,— царский рескрипт вызвал и у него много невеселых мыслей.

— Меня все поразило до глубины души,— говорил Ауновский,— и содержание рескрипта, и его тон, и, наконец, его редакция. Не знаю, кто его писал — граф Толстой или шеф жандармов Шувалов,— но по стилю его, по неграмотности, можно подумать, что написан он учеником младших классов гимназии. Ну, кто так пишет: «Я призы-

ваю мое верное дворянство стать на страже народной школы»! И потом, насколько я помню, за сто лет было всего три таких обращения к дворянству: когда Наполеон приближался к Москве; когда Николай Первый, подавив восстание декабристов, попрекал дворянство за плохое воспитание детей; когда была дарована свобода крестьянам. Значит, этим рескриптом государь, хочет он того или нет, признает: народные школы, не успев появиться на свет божий, представляют такую же опасность, как и нашествие Наполеона. Ну, что может быть печальнее и комичнее этого?!

— Да, печально, но факт: рескрипт — это шаг назад,— тяжело вздохнул Илья Николаевич.— В прошлом году в Москве, на учительском съезде, я много слышал толков о том, что ретрограды, во главе с шефом жандармов Шуваловым, граф Толстой и Катков делают все для того, чтобы заставить государя повернуть на путь реакции. И теперь, читая циркуляры нашего министра, я почувствовал — назревает нечто очень серьезное. Но я никак не думал, что дойдет до такого царского рескрипта. Теперь осталось только сказать дворянству: народные школы нужно немедленно закрыть, ибо они причина всех наших бед...

— Даже голода,— вставил Ауновский.— Потому, дескать, что мужик, вместо того чтобы землю пахать, книжки читает.

— От многих помещиков я слышал, что страшный голод, постигший Самарскую губернию, возник оттого, что мужик слишком грамотным стал и слишком большую свободу получил. Отсюда вывод: чтобы избежать голода, нужно и реформу девятнадцатого февраля отменить, и все народные школы закрыть.

— После введения классического образования наши школы, я считаю, уже были почти закрыты. В самом деле, разве то обстоятельство, что в гимназии почти половина учебного времени отводится на древние языки, не означает, что они наполовину закрыты? Я безмерно рад, что оставил гимназию и не принимаю участия в гнусной комедии, которую все еще называют обучением. И чего хорошего можно ожидать от графа Толстого, если он делает все, что велит Катков. Между прочим, вы слышали, какие стихи про Каткова ходят по рукам?

— Нет.

— О, вы, Илья Николаевич, много потеряли! Послушайте несколько строк, которые засели в моей памяти. Автор начинает с вопроса:

Кто всей Россией управляет?
Министров ставит и сменяет?
Кто нас берег от разных ков?
Михал Никифорыч Катков!
Кто усмирил сепаратистов?
И в грязь втоптал всех нигилистов?
Кто русских спас от поляков?
Михал Никифорыч Катков!
Кто, убоясь естествознанья,
Как страшной гидры отрицанья,
Спас от него нас, дураков?
Михал Никифорыч Катков!

— Ай да спаситель! — хохотал Илья Николаевич.— Ха-ха-ха...

Илья Николаевич смеялся до слез, смеялся так заразительно, что невозможно было, глядя на него, не рассмеяться и самому.

— Фу-у, развеселили вы меня,— вытирая слезы, говорил Илья Николаевич.— Как точно и метко охарактеризована деятельность Каткова! Этого нашего негласного министра народного просвещения! И как ни удивительно, но приобрести такую власть помог ему выстрел нашего несчастного Мити Каракозова. Помните, какие громовые статьи, бичующие крамолу, появлялись тогда в «Московских ведомостях»? Ох, чует мое сердце, Владимир Александрович, назревают большие события...

Предчувствие не обмануло Илью Николаевича: 1873—1874 годы ознаменовались такими массовыми арестами молодежи, каких не знала история России. Тюрьмы были переполнены революционерами, ходившими «в народ», но аресты не прекращались. Циркуляры, указания, предупреждения, наставления, как нужно бороться с крамолой, охватившей молодежь, затопляли канцелярии. В потоке этих бумаг Илья Николаевич получил вдруг и послание губернатора Долгово-Сабурова. Уже по тому, что губернатор не вызвал его, а предпочел написать (чтобы в делах осталось доказательство, какие меры им приняты), Илья

Николаевич понял: произошло что-то очень важное. И не ошибся.

«В последнее время,— писал губернатор,— направление некоторых воспитанников Порецкой семинарии стало возбуждать сомнение (например, Зотов, Агафонов и другие). Не изволите ли признать полезным дать указание, что при назначении на должность учителей народных школ следует делать тщательный между ними выбор».

Но одним этим посланием губернатор не ограничился. На следующий же день он вызвал Илью Николаевича к себе. Был губернатор зело мрачен, всем видом своим показывая, как он недоволен Ильей Николаевичем. Не пригласив даже сесть, что он обычно делал, губернатор принялся читать ему нотацию:

— Никак, никак не ожидал этого! Мне еще понятно, что заезжие темные личности плетут народу бог знает какие злостные нелепицы. Я не могу поставить стражу на границе губернии, чтобы оградить себя от нашествия таких нежелательных гостей. Но когда воспитанники семинарии, еще не успев стать учителями, уже пытаются свести народ с пути истинного,— этого я никак не могу понять. Где вы, господин Ульянов, выискали таких людей, куда вы смотрели, принимая их в семинарию? За что им земство стипендии платит? Куда смотрит начальство семинарии? Почему оно мирится с этим?

— Простите, ваше превосходительство, но ответить на все ваши вопросы я сейчас не могу. Нужно для этого побывать в семинарии и на месте разобраться, что там стряслось.

— Очень жаль, что вы еще ничего не знаете.

Илья Николаевич не счел нужным ответить на это грубое, необоснованное обвинение. Уж кому-кому, а губернатору хорошо известно, сколько он затратил усилий, чтобы создать для семинарии нормальные условия.

— А может быть, все это делается с вашего разрешения? — продолжал допрашивать губернатор.

— Что вы имеете в виду, ваше превосходительство?

— Да разве вы не знаете, что в семинарии наполовину сокращены уроки закона божьего? — Губернатор не скрывал ехидной улыбки.

— Знаю. Директор семинарии докладывал об этом в своем отчете.

— И какие же вы приняли меры? — продолжал все так же ехидно губернатор.

— Я порекомендовал как можно точнее придерживаться программного количества часов,— ответил Илья Николаевич.

— А по-моему, за такой кощунственный поступок директор семинарии господин Ауновский заслуживает самого сурового наказания. И даже смещения с должности! Вы этого, господин Ульянов, не сделали, и вот плоды: семинария готовит не учителей, а нигилистов, крамольников, которым место не в народных школах, а в Сибири, куда они, как меня заверили, и будут отправлены! — Помолчав, губернатор добавил: — И вообще прошу иметь в виду: губерния наша все больше наводняется всяческими отбросами общества. Если у нас своих доморощенных нигилистов, слава богу, не так много, так их нам толпами пригоняют! Нашли место для ссылки, нечего сказать! В Сибирь их!..

В мае 1875 года появился циркуляр графа Толстого, в котором он прямо заявил: «Революционеры избрали орудием своей пропаганды то, что для каждого честного и просвещенного человека составляет предмет особой заботливости и охраны — юношество и школу». Основная мысль этого циркуляра была явно провокационной: Толстой приказывал следить за тем, чтобы родители препятствовали такому влиянию, возлагая тем самым на школу полицейские обязанности. Этот циркуляр вызвал всеобщее возмущение даже в кругах, близких к графу Толстому.

«...Напечатан циркуляр министра народного просвещения,— записал академик А. В. Никитенко в своем дневнике,— чрезвычайно замечательный по его бестактности. Тут разом три ошибки: первая в том, что нельзя слегка и голословно говорить о таком важном обстоятельстве, как распространение у нас революционных идей и действие революционной пропаганды в 37 губерниях. Нужно, чтобы правительство сделало известным судебное расследование, которое производится по этому поводу. Говорят, что забрано более 500 человек, а мы, кроме слухов, конечно, более или менее преувеличенных, ничего о том не знаем. Если общество в опасности, то как же о том не знать обществу? Вторая ошибка: объявление войны между школою и семьей. В-третьих, не может же не знать министр народного просвещения, что враждебному настроению общества

8*

против школ он сам много содействовал крайними и крутыми мерами в проведении учебной реформы. Наконец, тон всего циркуляра отличается каким-то презрением к обществу, которое, по мнению его автора, ничего не смыслит и вполне невежественно. Положим, что так; но разве можно просвещать его и руководить им такими мерами, какими хочет граф Толстой? Разве можно насилием просвещать умы и созидать убеждения?..

Смешно и глупо видеть один нигилизм в движении, распространившемся в 37-ми губерниях. Это — странное пробуждение народного духа, которое стремится к выходу из того безобразного состояния, которое господствует у нас...»

11

Илья Николаевич давно уже видел — нужно менять квартиру. Пятеро детей, их двое, няня, которую взяли к Володе (привезли из Пензы), потом она присматривала за Олей, а теперь — за Митей.

Тесно было. Не нравилось Марии Александровне, что квартира на втором этаже, что возле дома нет садика и дети постоянно толкутся на улице. Пока Саша и Аня не ходили в гимназию, еще можно было с этим мириться, но сейчас им просто негде готовить уроки. И Илья Николаевич начал подыскивать новую квартиру. Купец Анаксагоров пообещал сдать одноэтажный дом. Дом Марии Александровне не понравился (был очень запущен), но соблазняло то, что при нем — просторный двор, где дети могут играть, не опасаясь попасть под колеса. Но жильцы, занимавшие дом, все не выезжали. И когда пришло лето, Ульяновы просто не знали, что и делать: ехать в Кокушкино и уж после переселяться или сперва перейти в новый дом. Хозяин уверял, что жильцы вот-вот освободят помещение, и потому решили дождаться новой квартиры, а уж тогда отправляться в Кокушкино. Так протянулось до середины лета, а тогда выяснилось, что жильцы освободят дом только осенью.

— Как меня подвел этот Анаксагоров! — с горечью говорил Илья Николаевич.— Все лето нам испортил...

Назарьев узнал об этом и начал просить Ульяновых — он и прежде приглашал их, но они обычно ссылались на

то, что едут в Кокушкино,— провести остаток лета в его Ново-Никулине. Валерьян Никанорович работал над очерками «Современная глушь», начало которых было напечатано в журнале «Вестник Европы» еще в 1872 году. В новых главах он писал о народном образовании. Илья Николаевич уже дал ему обильный материал для этого труда: рассказывал о своих поездках по школам так живо и интересно, что Назарьев наслушаться не мог. Обладая тонким чувством юмора и острой наблюдательностью, Илья Николаевич особенно мастерски передавал комические случаи из школьной жизни. Назарьев говорил:

— Илья Николаевич, прошу вас, возьмитесь за перо! Запишите все то, что вы мне так превосходно рассказываете!

— Да полно вам! — отмахивался Илья Николаевич.— Какой из меня писатель?

— Нет, не говорите! — стоял на своем Назарьев.— По вашим письмам я вижу, что у вас прекрасное изложение. Язык сжатый, выразительный. А рассказываете вы так, что наглядно представляешь все, о чем говорится.

— Ну, скажем, есть у меня кое-какие способности,— говорил Илья Николаевич.— Но когда же мне, дорогой Валерьян Никанорович, заниматься литературным трудом? Уж кому-кому, а вам-то известно, что школы отнимают у меня абсолютно все время. Я не занимаюсь делами только во сне. Если не считать тех часов,— улыбнулся Илья Николаевич,— когда я вижу школы и во сне. А на литературу я смотрю как на дело, которому надо отдавать все силы души. Этого я, к сожалению, сделать не могу. Ну, а вам с превеликим удовольствием буду помогать...

Назарьеву очень хотелось пожить несколько недель с таким знатоком народных школ, как Илья Николаевич. И Валерьян Никанорович буквально умолял Ульяновых приехать в Ново-Никулино. Уверял, что сделает все, чтобы обеспечить им хороший отдых. Марию Александровну это не очень устраивало, так как она знала — в гостях у такого богатого помещика трудно будет избавиться от ощущения, что они находятся на положении бедных родственников. Но Мария Александровна видела, что Илье Николаевичу не хочется отказывать Назарьеву, и она согласилась на поездку в Ново-Никулино.

Всю зиму Аня и Саша мечтали о Кокушкине. И вдруг

узнали — едут в Ново-Никулино. Они были очень разочарованы.

— Не тужите,— утешал их Илья Николаевич.— Там не хуже будет, чем в Кокушкине.

— Ой нет! — невольно вырвалось у Ани.— Лучше, чем в Кокушкине, не найти...

Назарьев приехал за Ульяновыми на своей башкирской тройке. Увидев, что Илья Николаевич с опаской косится на резвых лошадей, Валерьян Никанорович рассмеялся:

— Вспомнили, как мы на этой тройке перевернулись?

— Нам тогда еще повезло,— улыбнулся Илья Николаевич.— А летели так, что даже оглобля треснула.

— А знаете, что мне запомнилось на всю жизнь? Я-то жалуюсь, а вы мне все рассказываете про учителя из деревни Грязнушки, куда наш кучер пошел за новой оглоблей. Между прочим, все забываю спросить: какова судьба того больного учителя, о котором вы рассказывали, когда в первый раз приезжали ко мне? Выздоровел он?

— В больницу я его устроил, да... было уже поздно,— печально проговорил Илья Николаевич,— но он успел записать все, о чем мне рассказывал...

— А где же его заметки? — спросил Назарьев с жадным блеском в глазах.— Неужто погибли?

— Нет, он отдал их мне.

— Илья Николаевич, умоляю вас: позвольте воспользоваться ими для моих очерков!

— Извольте! Если вы напечатаете хоть отрывки из исповеди этого великомученика, это будет лучшими цветами на его могилу...

У Назарьева, как мирового судьи, была своя канцелярия и «камера» — так называлась комната, где происходило судебное разбирательство. Все это помещалось в доме Назарьева, потому что до деревни от его хутора Ново-Никулино было больше версты. Пригласив Ульяновых к себе, Назарьев перенес заседания суда в школу, свободную летом, а гостям отдал канцелярию и «камеру». Комнаты были просторные, но какие-то неуютные. Сколько их ни мыли, ни убирали, а казенный дух все равно чувствовался. Может быть, так казалось и потому еще, что крестьяне, не зная о переводе «камеры», то и дело приходили

сюда, спрашивали, как подать прошение судье. Если Валерьян Никанорович в это время занимался в школе разбором дел, Саша отводил крестьян к нему. Валерьян Никанорович не запрещал ему бывать в «камере», что Саше очень нравилось. Любопытно было послушать, как крестьяне, крестясь и кланяясь до самой земли, рассказывали о своих напастях и бедах. Из этих рассказов перед Сашей возникал такой страшный мир, о котором он никогда и не слыхивал.

— Ну что, Саша,— возвращаясь с ним домой, спрашивал Валерьян Никанорович,— хочешь быть мировым судьей!

— Нет! — решительно отвечал Саша.

— Понимаю тебя. Должность эта не из приятных,— соглашался Валерьян Никанорович.— Но ничего не поделаешь, пока что она необходима. Быть может, когда-нибудь придет такое время, что не станет судов, но это еще не скоро. Мы с тобой, друг мой, этого, пожалуй, не увидим...

Вечерами Илья Николаевич подолгу засиживался в уютном кабинете Назарьева. Беседовали обо всем, а больше всего — о народных школах. Валерьян Никанорович утверждал, что весна, которой, как он выражался, повеяло было в деле народного образования, уже миновала. Первое доказательство — запрещение учительских съездов. Илья Николаевич соглашался. Да, работать становится все труднее, но это вовсе не означает, что можно сложить руки и ничего не делать.

— И в этих условиях,— доказывал Илья Николаевич,— можно многое улучшить.

— Вы, Илья Николаевич, неисправимый идеалист! Я прямо завидую вам. Хотелось бы так же непреклонно верить в могущество народного просвещения, в то, что никакими рескриптами и циркулярами его уже не подавить, но...— Валерьян Никанорович беспомощно развел руками,— не могу. На смену моему искреннему, огромному увлечению народным образованием, я вижу, идет такое же разочарование...

— У вас, Валерьян Никанорович, просто плохое настроение. Вы говорите, я идеалист. А что же вы мне прикажете делать? Бросить школы и целиком посвятить себя сельскому хозяйству? Так у меня, во-первых, нет имения, во-вторых, я считаю так: не бежать нужно от трудностей,

а бороться с ними. Я придерживаюсь той мысли, что даже в самых идеальных условиях можно ничего не сделать и в самых трудных — принести немалую пользу народным школам. А стремление человека познать окружающий мир — вечно. И я уверен — наше поколение проживет недаром, оно передаст тем, кто придет нам на смену, много полезного.

Жена Назарьева, Гертруда Карловна, позвала их пить чай. За столом она попросила мужа прочитать что-нибудь из новых глав очерка. Валерьян Никанорович охотно согласился — он любил читать свои сочинения.

— Вспоминаю такой случай,— начал Валерьян Никанорович, взяв тетрадку, но не разворачивая ее. По его сдержанной улыбке все поняли — сейчас услышат что-то смешное.— Учитель, заметив, что я недоволен его учениками, попросил разрешения спросить что-нибудь из «Родного слова». Мне не хотелось огорчать его, и я согласился послушать.

«Шинчиров! — начал, ободрившись, учитель.— На сколько классов разделяются животные?»

«Животные делятся на пять классов!» — испуганно вскочив, отвечает ученик.

«Типтяев! Объясни нам общее устройство млекопитающих. Кожа — что?»

«Покрыта шерстью».

«Кровь?» — намекает учитель.

«Теплая».

«Детей?..»

«Родят».

«Кашицын! Расскажи нам строение птиц».

«Кожа покрыта перьями, дышат легкими, детей родят»,— режет Кашицын.

«Богданов! Строение рыб!»

«Покрыты чешуей, дышат легкими...»

«Мечут что?»

«Икру».

«А живут где?»

«В воде».

«А вот что, Филатов! Объясни нам устройство двуруких обезьян».

«Кожа покрыта шерстью, дышат легкими, детей родят!»

«А еще чем отличается обезьяна? Кто скажет?»

«Хвостиком!» — пищит кто-то.

Учитель еще выше задирает голову, а деревенское начальство стоит, выпучив глаза и разинув рты, и ему кажется, что ученики знают невероятно много.

— «Предоставляя людям односторонним,— продолжал Валерьян Никанорович, теперь уже читая по тетрадке,— людям известных тенденций и всяким фарисеям упирать только на слабые стороны новой школы и ее руководителей, мы остаемся верными чувству глубокого уважения к нашим немногим хорошим учителям народных школ, представляющим совершенно новый и в высокой степени симпатичный тип людей толковых, честных, деятельных, скромных, чуждых,— по крайней мере в нашей местности,— всяких вредных направлений и в то же время обреченных на какое-то мученичество, на лишение всякого необходимого комфорта, свойственного цивилизованным людям, на постоянное самоотвержение, на голод, холод, безвыходное уединение, а главным образом — на вечное одиночество, так как при настоящем содержании положение семейного учителя уже выходит из границ обычной нужды и неминуемо должно перейти в какое-то нищенство».

— Это очень верно сказано! — вставил Илья Николаевич.— За нелегкий свой труд учителя наши получают в самом деле очень мало.

— «Еще более грустную картину представляет положение нашей учительницы, так как, невзирая на все трескучие фразы о «даровитых женских личностях, выступающих в ролях общественных деятельниц и педагогов», по нашему наблюдению, взгляд крестьян на этих «общественных деятельниц» продолжает оставаться неприязненным или насмешливым, и в большинстве случаев спокойное и безобидное существование учительницы возможно только при известной поддержке со стороны влиятельных лиц, живущих в селении».

— Тоже, к сожалению, верно,— согласился Илья Николаевич.

— «Чтобы покончить с неблагоприятными сторонами школьного дела,— продолжал читать Назарьев,— мы заметим, что каждый обитатель захолустья неминуемо рискует поддаться впечатлению всяких препятствий и безобразий,

встречаемых в сельской жизни. И горе ему, в особенности русскому деятелю, если он, раз остановившись на мрачных и отталкивающих явлениях, так и застынет в созерцании их, навсегда оставшись слепым и глухим ко всему остальному и забывая, что вся русская жизнь сложилась из противоречий и крайностей, из явлений мучительно безобразных и невыразимо симпатичных...»

— Плохое всегда виднее,— заметил Илья Николаевич и, помолчав, добавил: — А когда это плохое преобладает, оно особенно бросается в глаза. Но как бы там ни было, а нам нужно работать...

Отсылая продолжение своих очерков редактору журнала «Вестник Европы» Стасюлевичу, Назарьев писал:

«Милостивый государь Михаил Матвеевич!

Спешу благодарить Вас за то, что статья моя возобновится в мае. В своей статье я хлопотал более всего о том, чтобы передать правдивую историю школьного дела в нашем уезде, и потому обязан был сказать правду о нашем инспекторе Ульянове, представляющем редкое, исключительное явление между инспекторами. Это старый студент, сохранившийся таким, каким сидел на студенческой скамье, до настоящего времени. Это одна из личностей, которых когда-то так мастерски изобразил Тургенев. Это студент в лучшем смысле этого слова...»

12

Принесли почту. Илья Николаевич начал просматривать письма и газеты. Все знали, что корреспонденцией он будет заниматься часа три, а то и четыре. В это время — так уже было заведено — никто к нему не заходил, чтобы не мешать. У Ильи Николаевича было такое правило: прочитав какое-нибудь письмо, он тут же, не откладывая, писал ответ. Канцелярии у него и после учреждения дирекции не было, и все дела вел он сам. Это вынуждало тратить много времени на писание всяческих бумаг.

На этот раз Илья Николаевич, получив почту, вышел из кабинета и взволнованно окликнул:

— Маша, где ты?

Ему никто не ответил. В детской комнате стрекотала швейная машинка. Илья Николаевич понял — жена увлеклась работой и не слышит его. Приоткрыв дверь в комнату, позвал:

— Маша!

— Что тебе? — спросила Мария Александровна, оторвавшись от машинки.

— Что ты делаешь?

— Рубашечки шью,— ответила Мария Александровна.— Что такое? — спросила она, заметив, что муж чем-то сильно взволнован.— Я тебе нужна?

— Зайди на минутку ко мне,— взглянув на Володю и Олю, которые уже насторожили уши, попросил Илья Николаевич. И, когда они прошли в кабинет, продолжал: — Маша, в Петербурге опять стреляли...

— В царя?

— Нет. Какая-то девушка, Вера Засулич, как сообщают в газетах, пришла на прием к градоначальнику генералу Трепову и выстрелила в него.

— Прямо в его кабинете?

— Да. Генерал еще жив, но, как пишут, ранен довольно серьезно.

— За что же она стреляла в него?

— Помнишь, я читал тебе заметку о том, как по приказанию какого-то начальника высекли розгами арестанта, ожидавшего отправки на каторгу. Так вот, оказывается, этого арестанта, Боголюбова, секли по приказу генерала Трепова. А вся вина Боголюбова в том, что он при встрече с генералом не снял шапки. Помнишь, сколько было тогда толков, как все возмущались. А затем, как это у нас водится, эта позорная история забылась. Но друзья Боголюбова, оказывается, не забыли и не простили Трепову его подлого насилия над беззащитным человеком.

— Что же будет теперь с этой бедной девушкой?

— Да что же...— вздохнул Илья Николаевич.— То же, что и со всеми, кого судили в прошлом году...

В 1877 году «Правительственный вестник» не успевал печатать отчеты о политических процессах. В январе месяце на скамье подсудимых сидели двадцать пять человек — среди них и Боголюбов,— которые были арестованы за участие в демонстрации на Казанской площади. Их обвиняли в «дерзостном порицании установленного государ-

ственными законами образа правления». Приговор был суров: пятнадцать и десять лет каторги, ссылка в Сибирь. Только закончился этот процесс, подоспел другой. На этот раз под суд было отдано пятьдесят юношей и девушек за «составление противузаконного сообщества и распространение преступных сочинений». Приговор был еще суровее. А в октябре суд рассматривал дело 193 пропагандистов, арестованных во время их «хождения в народ». Следствие продолжалось почти четыре года. За это время многие из подсудимых умерли в страшных казематах крепостей-тюрем, сошли с ума, тяжко заболели.

— Ко всем этим процессам наша публика уже привыкла,— говорил Илья Николаевич,— внутренне примирилась с ними. Но этот выстрел, как мне кажется, разбудит многих. Помнишь, что было после выстрела Каракозова? А ведь это первый выстрел после него...

В дверь кабинета постучались.

— Войдите,— прервав себя на полуслове, сказал Илья Николаевич. В дверях кабинета стоял Саша,— он только что вернулся из гимназии, щеки его раскраснелись от мороза, ресницы опушены инеем. По глазам видно было — он чем-то очень взволнован.

— Папа, я хочу спросить тебя кое о чем, очень важном! Можно?

— Разумеется. Я слушаю.

— Папа, скажи мне: разве тех, кто сидит в тюрьме, можно сечь розгами?

Илья Николаевич догадался, почему Саша задал этот вопрос,— он уже, значит, слышал о выстреле Веры Засулич. Отец помолчал, обдумывая, как лучше повести разговор с сыном, чтобы проверить свою догадку. Потом, глядя Саше прямо в глаза, спросил:

— А почему ты спрашиваешь об этом?

— Старшеклассники рассказывали, что одна революционерка стреляла в генерала за то, что он пришел в тюрьму и высек розгами ее друга. Жаль, говорят, что она только ранила, а не убила такого палача!

— Слышала? — обратился Илья Николаевич к жене.— Слышала, о чем дети в гимназии говорят? Вот что, Саша, стрелять в людей, а тем более убивать, никто не имеет права. Но и сечь розгами, да еще заключенного, постыдно для каждого, кто уважает себя. Понял?

— Понял, папа,— ответил Саша хмуро.

— Ну, ступай готовь уроки.

Когда Саша вышел из кабинета, Илья Николаевич заговорил, как бы размышляя вслух:

— Не знаю, что с ним дальше будет. Еще ему и двенадцати нет, а рассуждает, как взрослый мужчина. И интересуется тем же, что и взрослые. Помнишь, сколько вопросов задавал он мне в прошлом году, когда шли все эти политические процессы. И каких вопросов! Порой я просто не знал, что ответить. Говорить неправду — не могу, а всю правду знать ему еще рано. И он, должно быть, почувствовал, что я о многом недоговариваю, меньше стал задавать вопросов. Но по тому, как он принялся за сочинения Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Писарева — особенно последнего! — я вижу, что он упорно доискивается ответа на вопросы, не дающие покоя всем нам...

— Да, но ведь ты сам давал ему стихи Некрасова, ты разрешил ему читать Чернышевского, Добролюбова, Писарева,— сказала Мария Александровна.

— Верно. Любовь к этим писателям привил ему я. И это меня не только не волнует, а даже радует. Боюсь только, чтобы «вражда к бичам страны родной», которую заронили ему в душу эти писатели, не толкнула его на крайности, за которые так жестоко расплачиваются молодые люди...

— Думаю, что этого не произойдет,— заметила Мария Александровна.— Саша слишком спокоен и уравновешен. Он шага не сделает, не подумав, к чему это приведет.

Ожидали суда над Верой Засулич. Никто не сомневался в том, что ее жестоко покарают. Если за одно лишь чтение запрещенной литературы или распространение ее давали пятнадцать лет каторги, то за выстрел в генерала виселицы не миновать. Суд был назначен на тридцать первое марта.

В этот день Саше исполнилось двенадцать лет. Он считал себя уже взрослым человеком. Да и родители, бывало, советовались с ним, как со взрослым. Когда зашла случайно речь о том, отдавать Володю в приготовительный класс гимназии или нет, Саша сказал:

— Ему там делать нечего. Володя уже так хорошо подготовлен, что еще этой весной мог бы выдержать экзамен. Жаль только, что ему мало лет...

Мнение Саши оказалось решающим. Володю не послали в приготовительный класс. Он учился дома, и Саша ему помогал.

В газете «Голос» от второго апреля появилась статья о суде над Верой Засулич. Об этой статье так много говорили, что Илья Николаевич пошел в Карамзинскую библиотеку — прочитать ее.

Описание происходившего на суде — а дело Засулич рассматривал окружной суд при открытых дверях и при участии присяжных заседателей, что было совершенной новостью,— взволновало Илью Николаевича до глубины души. Статья производила такое впечатление, словно он сам побывал в зале суда. Илья Николаевич взял газету домой, чтобы прочитать жене.

— «Зала полнехонька,— читал Илья Николаевич.— Я вижу судей на их красных стульях с высокими спинками, различаю нового председателя, господина Кони, вижу присяжных заседателей, которые, говорят, больше из чиновников, стало быть, из «благонадежного элемента». Сзади судей целая плеяда сановников: мундиры, вицмундиры, звезды, звезды — так тесно, как на Млечном Пути...

Но где же подсудимая? На скамье подсудимых виднеется моложавая, довольно симпатичной наружности девушка. Она брюнетка, среднего роста, с скромною прическою, в скромном черном наряде. Умные черные глаза ее светят сердечностью, добротою. Недюжинная душа искрится в этом взгляде. Бледные, исхудалые черты лица ее носят следы душевных страданий и физических лишений. Говорят, это подсудимая. Но странная вещь: чем больше длится заседание, чем шире и подробнее развивается судебная драма, тем больше исчезает личность подсудимой. Со мною творится какая-то галлюцинация. Мне чудится, что это не ее, а меня, всех нас — общество судят...

Подсудимая тихо, скромно, без малейшей аффектации, без рисовки произносит: «Я не хотела убивать: мне было все равно, я добивалась только, чтобы не прошло безнаказанно, чтоб обратили, наконец, внимание, чтоб затруднить, по крайней мере, легкость повторений...»

И обвинительные чары опять разлетелись. И я верю ей, и все верят.

Однако что же дало право именно Вере Засулич, почему именно она, а не кто другой взял на себя роль карате-

ля? Защита выяснила это право. Общество отняло у нее лучшие годы молодости, оно томило ее напрасно в тюрьмах; оно бросило ее в бессрочную ссылку, без вины, без приговора, без опоры и поддержки. Она находила сочувствие только среди тех, кто, подобно ей, был заключен или сослан. Ей чужд, незнаком Боголюбов, она никогда его не видела. Но он близок ей был по несчастью, по общей участи, по общим страданиям. Она бросала отчаянные взоры кругом: не защитит ли, не вступится ли кто за попранную справедливость? Ей отвечали только равнодушием, бессердечностью. У нее отняли не только молодость, но и малейшую надежду на лучшее будущее. Мы воздвигли ее руку — имели ли мы право карать ее за это?

Тем не менее, когда присяжные удалились для совещания, далеко еще не у всех была уверенность в том или ином исходе приговора. Наиболее опытные пророчили обвинение. Проходят томительные полчаса. Все спешат опять в залу заседания. Все стеснилось, притаило дыхание. Вот медленно возвращаются присяжные...»

За дверью раздался громкий, торжествующий голос Саши:

— Аня, Аня, суд сказал: «Не виновна!»

— Правда? Ой, я так рада за нее!

— Ее тут же освободили. Все, кто стоял у здания суда, подхватили ее на руки и понесли...

— Слышала? — отложив газету, спросил Илья Николаевич.

— Слышала! — ответила Мария Александровна с мягкой улыбкой.

13

Звонок давно уже затих, а учитель латинского языка Пятницкий не отпускает учеников из класса. Ехидно улыбаясь, он продолжает задавать каверзные вопросы Вале Умову, уже минут десять потеющему у доски. Правильные ответы вызывают на желчном лице Пятницкого кислую мину, а ошибки — злорадную усмешку.

— Так-с,— цедит он сквозь гнилые зубы и, выдержав долгую паузу, чтобы подчеркнуть свою власть, ядовито спрашивает: — Вы сами сделали сие открытие или, быть

может, у кого-то позаимствовали? Гм... Судя по тому, как скромно вы молчите, надо полагать, человечество обязано вам. Не так ли? Очень хорошо-с. Одного только жаль: ваше открытие, уважаемый господин Умов, опоздало ровно... Волков, может, вы мне поможете подсчитать, на сколько столетий опоздало это открытие?

— Мне кажется, уже звонок был,— неохотно поднимаясь, отвечает Волков.

— Благодарю вас. И будьте так любезны пройти вместе со мной к директору. А в журнал я вам ставлю единицу. Вот так-с... Садитесь, господин Умов.

— За что же? Я сделал перевод...

— Хорошо-с... Чтобы вы не завидовали Волкову, ставлю и вам единицу. До свидания, господа!

Едва только за Пятницким закрылась дверь, весь класс негодующе загудел. Только после того как страсти несколько утихли, Саша разобрал, что кричит Волков:

— Избить! Предлагаю избить его!..

— Освистать!

— Тише! Друзья...

— Предлагаю...

— Избить!..— громче всех кричал Волков.

Все так шумели, что не расслышали даже, как новый учитель вошел в класс. Весь урок гимназисты не могли успокоиться. И едва только прозвучал звонок, опять заговорили о том, как отомстить ненавистному Пятницкому. После долгих споров решили — в следующий раз не отвечать Пятницкому на вопросы. Отказываться спокойно, вежливо.

...Саша так хорошо знал латинский язык, что даже Пятницкий не мог бы к нему придраться. И отказ отвечать только повредил бы ему. Но он поддержал друзей, так как ненавидел карьериста и доносчика Пятницкого.

Первые единицы и двойки Пятницкий вывел с великим наслаждением. Но когда на ногах оказалась уже половина класса — у Пятницкого было правило: не знаешь урока — стой, пока кто-нибудь за тебя не ответит,— а вызываемые продолжали отказываться отвечать, Пятницкий почувствовал: ученики затеяли что-то недоброе. Он испуганно оглядел класс, спросил:

— Кто знает урок?

Все только опустили головы.

— Ульянов! Вы! — забыв свой ехидно-издевательский тон, пригласил Пятницкий.

Саша встал и, не поднимая глаз, тихо проговорил:

— Извините, но я... не могу отвечать...

— Что-о?

— Я не могу отвечать,— твердо повторил Саша.

— Почему?

— Так...

— Значит, вы не знаете урока?

— Знаю.

— А-а!.. Так вы задумали бунтовать! Превосходно! Садитесь! Встать! Встать! Встать! — вопил, топая ногами, Пятницкий, но гимназисты, победоносно улыбаясь, продолжали сидеть. Пятницкому оставалось одно — бежать к директору, что он и сделал. Однако в это время его покровитель, директор Вишневский, передавал уже дела Керенскому, и ему было не до Пятницкого. Увидев, что новый директор неприязненно относится к нему, Пятницкий притих. Все же гимназисты не успокоились. Кончилось тем, что Пятницкому пришлось уехать из Симбирска. Но полученный урок не пошел ему на пользу, в Саратове он продолжал вести себя по-прежнему, и гимназисты все-таки отколотили его...

Одновременно с расправой над революционерами усиливалась реакция во всех сферах общественной жизни. В учебных заведениях вводили новые уставы, чтобы оградить молодежь от «революционной заразы», свободомыслящие учителя изгонялись.

Гимназии наполнялись карьеристами и проходимцами. В обстановке полицейского сыска, воцарившейся в гимназиях, именно такие люди чувствовали себя как в своей родной стихии: они не только терроризировали учеников на уроках, но и следили за каждым их шагом вне гимназии, не гнушались рыться в сундучках гимназистов в поисках крамольных книг.

В «Инструкции для классных наставников» прямо указывалось на полицейские функции учителей. Им вменялось в обязанность не только преподавать науки, но и воспитывать «уважение к закону и исполнителям его, привязанность к государю». В инструкциях и распоряжениях

постоянно повторялось грозное предупреждение, что «классные наставники наравне с директорами и инспекторами будут подлежать ответственности, если во вверенном им классе обнаружится на учениках пагубное влияние превратных идей, внушаемых злонамеренными людьми, или даже сами молодые люди примут участие в каких-либо преступных деяниях и таковые их поступки не будут своевременно обнаружены заведением».

Классные наставники обязаны были посещать квартиры учеников, знать, кто у кого бывает, с кем дружит, что читает в свободное от занятий время. А чтобы свободного времени у гимназистов было как можно меньше, им задавали чертову прорву переводов с латинского и древнегреческого языков.

О таких наставниках воспитанник Симбирской гимназии поэт Аполлон Коринфский писал:

От ваших уроков, от вашей системы
Тупели и гасли умы...
О, как глубоко ненавидели все мы,
О, как презирали вас мы...

Дошло до того, что среди учителей появились психически больные люди. Учитель Сердобов, например, несколько лет писал исследование об «юсах», да на них и помешался, не закончив своей работы. Каждый урок фонетики он начинал так: выведет на классной доске изображение «юсов», отойдет, полюбуется ими и принимается объяснять, не обращая внимания на то, что его никто не слушает:

— Это юс большой, а это — юс малый. Какая между ними разница? А вы присмотритесь внимательнее к изображению и увидите: это вот юс большой, а это малый...

Сообщив это, Сердобов садился за столик, закрывал лицо руками и впадал в бессознательное состояние. Гимназисты свистели, бегали по классу, прыгали через парты, дрались, но он ничего не слышал. Минут через пятнадцать приходил в себя, окидывал мутным взглядом бурлящий класс, шел к доске и повторял:

— Это юс большой, а это юс малый...

Так и проходил урок. Случалось, что он и звонка не слышал, и гимназистам приходилось приводить его в чув-

ство. Кончилось тем, что его прямо с урока отправили в психиатрическую больницу.

Не меньшим оригиналом был преподаватель немецкого языка Штейнгауэр. Этот служака никогда не снимал с шеи своего ордена и страшно любил, когда его величали «ваше превосходительство», хотя был всего лишь надворным советником. Появлялся он в гимназии раньше всех, уходил позже всех. Чиновничий дух в нем был так силен, что он даже во время каникул ежедневно приходил в гимназию справиться, не нужен ли он начальству. Он составил нудное, бестолковое «Практическое руководство по изучению немецкого языка». Руководство было в духе времени, то есть не облегчало, а затрудняло изучение языка, и оно пришлось по вкусу учебному комитету ведомства императрицы Марии. Об этом он постоянно и с великой гордостью напоминал всем. По-русски говорил плохо, на уроках кричал, коверкая слова:

— Лентяй! Шорлайтан! Мой руководств с радостью читаль ее величество императриц Мария, а твоя голова снов пустой! Пошоль вон! Единица! Единица! Ничего, не знайт! Единица и еще один единица!

А в конце четверти, вспомнив правила сложения, складывал эти три единицы и... ставил тройку.

Были в гимназии и толковые, прогрессивно настроенные учителя, но начальство быстро выживало их.

...— Володя, с чем будешь кашу есть?

— Как Саша.

— Володя, пойдешь на Волгу?

— А как Саша?

— Володя, прыгнешь в колодец?

— Как Саша... Э-э... Что ты сказала?

— Э-э...— передразнивала его Оля и возмущалась: — Фу, какой ты! Заладил одно: «Как Саша! Как Саша!» Играть с тобой после этого не хочу!

— И пожалуйста! — нисколько не смущаясь, отвечал Володя: для него Саша был непререкаемым авторитетом. Малыш горячо любил своего старшего брата и во всем подражал ему. О чем бы ни зашла речь, он неизменно отвечал одно и то же: «Как Саша, так и я». Аня и Оля, а иногда и отец подтрунивали над ним, но это не влияло на Володю, он продолжал делать все так, как делал Саша. С годами это подражание становилось сознательнее,—

Володя перенимал у Саши только то, что отвечало его характеру, его собственным склонностям.

Росли и дружили дети семьи Ульяновых попарно: Аня — Саша, Володя — Оля, Митя — Маняша. Разница в годах между ними была значительная, и это сказывалось на общности интересов. Аня, например, была старше Володи на шесть лет, а Мити — на десять. На четыре года Саша был старше Володи. В детские годы такая разница очень заметна, и Володе нелегко было тянуться за братом. Только благодаря своим необычайным способностям, трудолюбию и настойчивости он не очень от него отставал: почти в одно время с Сашей научился играть в шахматы, жадно читал все книги, какие Саша приносил из Карамзинской библиотеки, спорил с ним, порою высказывая довольно оригинальные суждения.

Характеры у Володи и Саши были различны. Саша — тихий, спокойный, всегда сосредоточенно-задумчивый. А Володя — разговорчивый, горячий, веселый. Саша совсем не умел остро, язвительно шутить над людьми. Володя же необычайно метко схватывал смешные черты в характере людей. Но роднила братьев кристальная честность, жажда к знаниям, любовь к труду, твердость характера. Оба они умели упорно и настойчиво идти к поставленной цели.

14

С 1869 по 1878 год Ульяновы сменили несколько квартир. Переезды с такой большой семьей были, как говорила Мария Александровна, стихийным бедствием. Надо было обзаводиться своим домом. Об этом Илья Николаевич и Мария Александровна давно уже мечтали. Илья Николаевич получал всего 73 рубля 50 копеек в месяц, а других доходов у них не было. Семья же росла. Шестого февраля 1878 года родилась девочка, которую назвали Марией. За ученье Ани в женской гимназии платили тридцать рублей в год. За ученье Саши Илья Николаевич не платил, как чиновник министерства народного просвещения, которому были подведомственны мужские гимназии. Но в следующем году предстояло поступать в гимназию Оле и Володе. За Олю тоже нужно было платить. Мария

Александровна с трудом сводила концы с концами. И все-таки она, с детства приученная к трудностям — такую же большую семью ее отец содержал тоже на семьдесят три рубля,— ухитрялась откладывать на покупку дома. За пятнадцать лет собралась такая сумма, что если еще немного призанять, можно было бы подумать о покупке. Илья Николаевич долго искал подходящий дом, наконец остановился на одном: на Московской улице, с просторным двориком, небольшим садом. Марии Александровне дом тоже понравился, и они его купили.

В августе 1878 года Ульяновы переселились в свой дом. Старшие дети — Аня, Саша и Володя — получили отдельные комнаты. Правда, комната Володи была проходная — через нее ходил в свою комнату Саша,— но все-таки отдельная. Малыши — Митя и Маняша — поместились в одной комнате с Олей, а из их комнаты был ход к Ане. Все детские комнаты помещались на антресолях. А внизу — кабинет отца, маленькая гостиная. И самая большая комната — столовая, где собиралась вся семья. Напротив столовой — отгороженная только ширмой от коридора, через который был ход в детскую и на кухню,— комната Марии Александровны. И еще одна, совсем маленькая комнатка, где жила няня. После тесных, неуютных квартир этот дом казался Ульяновым сказочным дворцом. И Илья Николаевич, и Мария Александровна, и дети — все не могли налюбоваться домом, двором, садиком. К тому же и речка Свияга, куда все ходили купаться, протекала совсем близко.

В первую зиму в новом доме Володя готовился к поступлению в гимназию. Занимался с ним тот же Василий Андреевич Калашников. Вместе с Володей готовилась в гимназию и Оля. Разница в годах между ними была невелика, поэтому они особенно дружили. Да и в характерах у них было много общего: оба живые, разговорчивые, неугомонные. Весь день только и слышно было их звонкие, веселые голоса. Они затевали такую беготню по комнатам и лестницам, так смеялись и кричали, что Илья Николаевич, бывало, выходил из своего кабинета и строго спрашивал:

— Кто тут кричит? Чтоб я больше не слыхал такого!

Этого, как правило, было достаточно, чтобы снова наступила тишина. Но случалось, что Володя и Оля, разыг-

равшись, никак не могли угомониться. Тогда Илья Николаевич забирал Олю или Володю в кабинет и поручал заняться чем-нибудь. А так как всегда находилось какое-нибудь интересное занятие, то наказанный забывал обо всем и вел себя спокойно, не мешая отцу работать.

Предстоящих экзаменов Володя немного побаивался, хотя никому об этом не говорил. Только все чаще расспрашивал Сашу о гимназии. В марте в гимназии произошло событие, взволновавшее всех,— приехал новый директор, Федор Михайлович Керенский. Вишневского, при котором царили грубость, невежество, лицемерие и лакейство, наконец уволили. Саша радовался. Глядя на него, радовался и Володя. Только Аня чуть не плакала — Вишневского оставили директором женской гимназии. Саша утешал ее: не волнуйся, мол, это ненадолго, его и от вас попросят.

— Постой, Аня! Какие стишки мне сегодня дали ребята о Вишневском. Написал Дмитрий Минаев. Высмеял всех — даже губернатора и архиерея! Но я переписал только про Ивана Васильевича.— Саша начал было читать, но, взглянув на Володю, спрятал тетрадь.— Я позже прочитаю.

— Если мне нельзя слушать, так я уйду! — обиженно сказал Володя, поняв, почему Саша отказался читать.

Аня и Саша переглянулись, но ничего не сказали. Это явно означало: да, ступай. Володя вздохнул и вышел. Саша, полистав тетрадь, нашел стихи, сказал тихо:

— Я и про архиерея переписал. Только при Володе не хотел об этом говорить, а то у него знаешь какая память — один раз услышит и будет повторять. Так слушай же про епископа Евгения:

Пою тебя, святый владыка,
За то, что кистью всей руки,
В обедню, близ святого лика,
Дьячкам ты ставишь синяки.

— Дай, Саша, я перепишу и завтра же покажу девочкам.

— Возьми. Да смотри только, чтобы этот стишок не попал в руки Ивану Васильевичу, а то нам достанется.

— Ну, что ты! Я его только прочитаю, а переписывать не дам. Или даже так: выучу и прочитаю. Это будет лучше. Ох, когда уж мы избавимся от этого проходимца? Я смотреть не могу на его нахальную тупую морду!

Дожидаться Ане пришлось недолго. На одном торжественном обеде, в присутствии всех губернских властей, начиная с губернатора и кончая архиереем, учитель рисования, обиженный Вишневским, попросил разрешения произнести тост. Хотя заметно было, что он под сильным хмельком, ему не отказали. Подняв бокал, учитель вместо похвалы по адресу начальства вдруг возгласил:

— А Иван Васильевич грабил, грабил, грабил...

Это было как удар грома среди ясного неба, после чего Вишневский уже не мог оправиться. Пришлось ему распрощаться с директорством и в женской гимназии.

В конце марта погода выдалась непостоянная: то тепло, то холодно. Илья Николаевич вышел как-то из дому в легком пальто и простудился. Врач заставил его несколько дней провести в постели. Друзья и знакомые, зная, что он плохо чувствует себя, старались не беспокоить. Только по вечерам приходил Володин крестный отец, Арсений Федорович Белокрысенко, сыграть партию в шахматы. Тридцать первого марта был день рождения Саши. Илья Николаевич встал с постели, чтобы посидеть за столом с семьей. После этого ему опять стало хуже, и пришлось лечь. Но второго апреля Саша вдруг прибежал из гимназии и, не раздеваясь, кинулся прямо к отцу. Заговорил, едва переводя дыхание:

— Папа, знаешь новость?

— Ничего не слыхал.

— В царя стреляли!

— В царя?! — удивленно протянул Илья Николаевич, приподнявшись на локте.— Кто тебе сказал?

— Все в гимназии об этом говорят.

— И что же?

— Вот и все. Говорят, тот выстрелил, а царь убежал...

— Царь жив?

— Да, убежал. А того, кто стрелял, схватили.

— Вот что, Саша: пока ты не разделся, сбегай к Арсению Федоровичу и скажи, что я прошу его зайти на минутку.

— Хорошо, папа.

Саша убежал. Илья Николаевич постучал в стенку, он слышал — за стеной, в столовой, жена что-то шила. Мария

Александровна пришла на стук. Увидев, что он очень взволнован, озабоченно спросила:

— Тебе плохо?

— Нет, мне гораздо лучше. Но знаешь, какую новость только что принес Саша?

— Нет, я его еще не видела.

— Опять кто-то стрелял в царя. После того как террористы убили самого шефа жандармов Мезенцева, всего можно было ожидать. И все же как-то не верится. Ведь государя всегда охраняют. Да еще как! Но, должно быть, кое-кто хочет, чтобы на престол скорее сел цесаревич Александр. А я дважды видел его, и он произвел на меня самое гнетущее впечатление. Ходят слухи, что он дурно подготовлен для управления государством, ведь все заботы были направлены на наследника Николая, который умер. И уж если такой царь, как Александр Николаевич, не в силах оградить себя от выстрелов, что же делать его сыну? Вообще-то все это странно: из турецкой войны, хоть и с большими трудностями, мы все же вышли победителями. Кстати — у нас в городе готовятся к торжественной встрече Калужского полка, который воевал под Ловчею и Плевной. А война террористов с правительством не только не утихает, а больше и больше разрастается. Чем все это кончится — одному богу известно...

Пришел Арсений Федорович и рассказал подробнее о случившемся. Стрелял в царя какой-то Соловьев.

— Говорят, пять пуль выпустил,— говорил Арсений Федорович.— И воистину только промысел божий спас государя. Страшно даже подумать, что было бы, если бы злодей убил государя.

— В трудные времена мы живем,— вздохнул Илья Николаевич.

— И когда уже кончится этот кошмар? Столько лет длится террор, но что-то не слышно, чтобы против него были приняты радикальные меры. Повсюду только и слышишь: крамола так усилилась, что только виселицами можно чего-то добиться...

— А разве мало было смертных приговоров? — возразил Илья Николаевич.— Разве мало молодых людей погибло в тюрьмах, не дождавшись даже суда? Разве мало их погибает и сейчас в тюрьмах и на каторге? Множество! К тому же — и виновных и невиновных. Вспомните, что

заставило Веру Засулич стрелять в генерала Трепова? Стремление отомстить за Боголюбова, показать, что за насилие будет месть! Вот и пошло с этого рокового выстрела: правительство вешает террористов, а террористы стреляют в представителей власти. А теперь подняли руку уже и на государя...

— Так что же, по-вашему,— прекратить преследование всех этих нигилистов? Позволить им делать все, что заблагорассудится? — сердито спросил Белокрысенко.— Этого вы хотите?

— Арсений Федорович, а вы серьезно верите в то, что все эти мальчики, которые ходили в народ с брошюрками, могли поднять мужика на такой бунт, какой был при Пугачеве?

— Думаю, что нет.

— То-то и оно. И возникает вопрос: почему же все так перепугались? За что так сурово наказали всех этих молодых людей? Помните: суд просил государя смягчить приговор, а шеф жандармов Мезенцев настоял на самой суровой каре. Да еще и всех, кого суд оправдал, как говорят у нас, административным порядком погнал в ссылку. Помните, как все возмущались этим? И когда террористы убили Мезенцева, то не слышно было, чтобы кто-нибудь о нем очень сожалел. Возможно, я рассуждаю сейчас как педагог, и все это неприменимо к обществу, а только к школе,— помолчав, продолжал Илья Николаевич,— но ненависть и жестокость учителя порождают ненависть и жестокость учеников. И если учитель не найдет в себе силы и ума вовремя остановиться, он кончает, как правило, очень печально...

15

В октябре 1880 года стараниями Ильи Николаевича в Симбирске было открыто женское начальное училище. Вере Васильевне Кашкадамовой он предложил место учительницы. Знакомые говорили ей:

— Ульянов — строгий, требовательный начальник. Ему трудно угодить. Сам трудится, не жалея сил, и другим поблажек не дает. Хотя, с другой стороны, умеет защитить своих учителей. Конечно, тех, кого уважает. Но

заслужить его уважение удается немногим. Да что вам говорить! Начнете с ним работать, сами увидите...

Наслушавшись таких разговоров, Кашкадамова со страхом душевным шла к Илье Николаевичу. Разыскав на Московской улице небольшой дом Ульяновых с веселыми, уставленными цветами окнами и зеленой, как весенняя травка, крышей, она несколько минут простояла у калитки, прежде чем решилась открыть ее. Во дворе ее встретила невысокая, просто одетая женщина с красивым, приветливым лицом. Она мягко и, как показалось Вере Васильевне, доброжелательно улыбнулась, спросила:

— Вы к Илье Николаевичу?

— Да...

— Пойдемте, я провожу вас.

— А может, он занят, так я после...

— Нет-нет, он говорил, что ждет вас.

— Ждет?! — испугалась Вера Васильевна.— И давно?

— Нет. Он только что возвратился из училища. Прошу вас,— продолжала Мария Александровна, вводя Веру Васильевну в гостиную.— Я сейчас скажу ему.— Она легкой походкой приблизилась к двери, осторожно постучалась.— Илья Николаевич, к тебе пришли. Можно?

— Пожалуйста! — послышался из кабинета глуховатый басок, и в дверях показался Илья Николаевич.— Прошу вас, Вера Васильевна...

Кашкадамова глянула на строгую складку меж бровей, встретилась с пристальным взглядом карих глаз и совсем оробела. Как и предсказывали знакомые, Илья Николаевич начал разговор суховато, официально. Она сидела у стола в черном кожаном кресле и чувствовала себя ученицей, которую поставили в угол. После первых общих вопросов Илья Николаевич начал спрашивать, какую педагогическую литературу она читает. Вера Васильевна назвала несколько книг и по выражению лица Ильи Николаевича поняла, что читала очень мало. Ожидала, что Илья Николаевич упрекнет ее за это, но он ничего не сказал. А в конце беседы заметил:

— На учителя возлагается огромная ответственность, она требует постоянной и упорной учебы.

— Понимаю... И боюсь, что у меня не хватит ни знаний, ни сил...— начала Вера Васильевна.— Я, пожалуй, совсем не подготовлена к такой работе...

— Будете работать и учиться,— сказал Илья Николаевич. — А трудности...— Он с доброй улыбкой заглянул ей в глаза, спросил как-то просто, задушевно: — У кого их нет?

Илья Николаевич долго беседовал с Верой Васильевной, и она ушла от него успокоенная, довольная тем, что ей придется работать с ним. Илья Николаевич как-то незаметно убедил ее, что работать в школе интересно, что на свете нет ничего более благородного, чем труд учителя. В первые месяцы занятий Илья Николаевич почти ежедневно заглядывал к ней на уроки. Но присутствие его не только не мешало ей, а помогало, потому что вел он себя не как начальник, пришедший с проверкой, а как старший товарищ. Внимательно прослушивал урок, говорил, где она поступила хорошо, где плохо. Умел сделать так, что самые серьезные замечания его не обижали, а заставляли задуматься над ошибкой, искать путей, как ее исправить.

Вера Васильевна так привыкла к постоянным советам Ильи Николаевича, что, если он не появлялся несколько дней, сама шла к нему. Нередко вопросы ее были незначительны, а то и просто мелочны, но Илья Николаевич всегда терпеливо выслушивал ее, как ни злоупотребляла она его временем. Вышел учебник Евтушевского, Вера Васильевна, прочитав его, бежит к Илье Николаевичу обсудить то, что ей казалось непонятным или спорным. Прочитала интересную статью в журнале — опять к Илье Николаевичу, так как знает, что он уже тоже прочитал статью и, как всегда, гораздо лучше ее разобрался в поставленных автором вопросах.

Часами могли они сидеть в уютном кабинете Ильи Николаевича, говорить, спорить. Но вот тихо приоткрывалась дверь кабинета, и Мария Александровна с ласковой улыбкой спрашивала:

— Илья Николаевич, скоро вы кончите?

— Сейчас, сейчас!

— Самовар уже на столе.

— Очень хорошо! Еще минута, и мы идем...

И тут закон: как только вышли из кабинета — деловые разговоры прекращаются. И как бы Вера Васильевна ни отказывалась, все равно ее усадят пить чай. В столовой, где собиралась, как правило, вся семья, Илья Николаевич

словно преображался: шутил, весело смеялся, рассказывал анекдоты из жизни школы, которых знал множество. Заметив, что старшего сына нет за столом, спрашивал:

— А где же Саша?

— В своей лаборатории,— докладывал Володя.— Закрылся и какой-то опыт делает.

— Дым из окна валит, как из трубы! — дополняет Оля.

— Настоящий алхимик,— с добродушной улыбкой замечает Илья Николаевич.— Но чай, насколько я знаю химию, никаким опытам не вредит. Ну-ка, кто позовет его?

— Я! Я! — кричали в один голос Володя и Оля и наперегонки бежали наверх, к комнате Саши. Слышался топот их ног по лестнице, стук в дверь. Через минуту-другую они появлялись, держа за руки своего любимого брата. Саша, увидев Веру Васильевну, смущенно раскланивался. Илья Николаевич ласково шутил по поводу увлечения Саши наукой. Саша молча, серьезно выслушивал его и только изредка виновато улыбался. В общем разговоре он почти не принимал участия. По сосредоточенному выражению его лица было видно: мысли его заняты прерванной работой.

— Ну как, скоро золото добудешь? — спрашивал Илья Николаевич, добродушно улыбаясь.

— Скоро,— в тон ему, тоже с добродушной улыбкой, отвечал Саша.

— Сколько же?

— Пуда три!

— Ого! — обрадовался Митя — он весь этот разговор принимал всерьез.— Что же ты с ним будешь делать?

— Два пуда отдам нищим, а пуд — тебе.

— Мне целый пуд золота? — удивленно моргал глазами Митя.— Да ты шутишь! Я его и не подниму!..

Последние слова Мити прозвучали так комично, что все невольно засмеялись. А Саша, воспользовавшись минутой веселья, встал из-за стола:

— Простите, мне нужно идти... Спасибо, мамуся, за чай...

— Не сиди, пожалуйста, весь день в комнате. Оттого,

что ты мало бываешь на свежем воздухе, у тебя, должно быть, и аппетита нет.

— У меня, мама, очень хороший аппетит,— говорил Саша, ласково заглядывая в глаза матери.

Мать вздохнула, а он, снова улыбнувшись, вышел. Илья Николаевич, явно успокаивая жену, сказал:

— Ничего. Летом поедет в Кокушкино. Там воздух чудесный.

16

Собираться в Кокушкино начинали с ранней весны: готовили удочки, корзинки, папки для гербариев, десятки других вещей, необходимых для жизни в деревне. Каждый строил планы — что он сделает за лето. И чем ближе подходил срок отъезда, тем медленнее тянулось время, тем больше все волновались. Но вот наконец Саша и Аня сдали экзамены, вещи упакованы, пора и в путь! С веселым шумом, с радостно сияющими лицами старшие перебегали по трапу на пароход. Пароход довезет до Казани, а там до Кокушкина рукой подать!

Если у Ильи Николаевича оказывалось несколько свободных дней, он тоже наведывался в деревню. Праздничное настроение, охватившее детей, передавалось и ему. Поездка по Волге в Казань — это было как бы путешествием в молодость. В студенческие годы он очень любил ездить. Многое хотелось повидать, да безденежье мешало. И ездил только домой, в Астрахань. Когда-то теперь доведется ему там побывать? Вот двенадцатого апреля умер брат Василий, сестру Марию похоронили в прошлом году. Оставалась в отцовском доме одна сестра Федосья...

С радостью ехала в Кокушкино и Мария Александровна. Хотя, выйдя замуж, все время жила в городах, но никак не могла привыкнуть к их тесноте. Ее все время тянуло на деревенское приволье. Из Симбирска, по улицам которого летом клубились тучи пыли, она всегда уезжала со вздохом облегчения. В городе у нее не было друзей, там она чувствовала себя одиноко, а в Кокушкино съезжались ее сестры, с которыми можно было отвести душу. Но больше всего радовалась она за детей. На чистом

воздухе они набирались сил и возвращались в город окрепшие, загорелые.

В Казани Мария Александровна останавливалась у сестры Анны. Отдохнув немного с дороги, Илья Николаевич нанимал лошадей, и опять начиналась суета с укладкой вещей на телеги, с распределением мест. Володя, опережая всех, садился на козлы рядом с ямщиком и, весело смеясь, принимался шутить:

— А что, дядя Ефим, был бы кнут, а лошади пойдут?

— И овес пособляет,— нюхая табак, важно отвечал возница.

— А зачем вы табак нюхаете?

— А э-э-э... Апчхи-и! А это, сказать по правде, мозги прочищает...

— Саша, слыхал? — оборачиваясь к брату, кричал Володя, весело поблескивая карими глазами.— Чиханье мозги прочищает! Здорово, правда?

После этого, если кто-нибудь начинал плести чепуху, Володя говорил: «Чихни»,— что означало: прочисти мозги. Резвый, веселый, Володя в суете переезда чувствовал себя как рыба в воде. Он заразительно смеялся, шутил, озорничал. Не успела телега остановиться, как он кинулся к двоюродной сестре, вышедшей навстречу им,— ухватившись руками за живот, попросил:

— Анюта, я заболел! Полечи меня...

— А что у тебя болит? — снисходительно улыбаясь, спросила молодая врачиха, понимая, что Володя шутит.

— Никак не могу наесться: сколько ни ем, все голодный.

— Пойди на кухню,— едва скрывая улыбку, посоветовала Анюта,— отрежь ломоть хлеба, посоли хорошенько и съешь.

— Я уже пробовал, не помогает.

— Попробуй еще раз, поможет!

— Спасибо, доктор,— поклонился Володя, как это делали крестьяне.— Дай тебе бог здоровьичка...

— Шутник!.. Ап-чхи! — утирая слезу, выступившую после понюшки табаку, вертел головой дядя Ефим.— Забавник...

Отдыхать, в смысле праздно проводить время, Саша не умел. Избавившись от древних языков, он погрузился в

свою любимую науку — естествознание. Читал Саша строго по плану. В Кокушкино приезжал со своими книгами, вставал рано и каждое утро, никогда не отступая от этого правила, занимался. Чтение книг дополнял опытами: препарировал лягушек, собирал и изучал под микроскопом разных жучков. Делал все это так серьезно, с таким увлечением, что никто не решался смеяться над ним. Наоборот, все приставали с расспросами, удивлялись, как много интересного знает Саша.

— Профессор! — с ноткой гордости говорил Илья Николаевич и советовал ему: — Летом, Саша, все-таки нужно побольше отдыхать.

— Да ведь ты сам не раз говорил: любимый труд — самый лучший отдых.

— Верно. Но всему есть мера. Вот сегодня ты когда встал?

— В четыре часа. И убедился, что можно вставать еще раньше. Тихо утром. Только кукушка кукует. И все тайны природы кажутся как-то ближе, понятнее...

Илья Николаевич слушал сына, смотрел на его бледное лицо, на большие черные глаза, озаренные каким-то глубинным сиянием, присущим только людям, способным фанатически отдаваться любимому делу, и все больше убеждался: у Саши есть все, чтобы стать ученым. Вспомнилось свое увлечение физикой, и грустновато стало на душе: он тоже мог бы посвятить себя науке. Недаром именно ему, а не кому-нибудь другому, доверил гениальный Лобачевский метеорологические наблюдения, когда он ехал в Пензу. Не удалось... Только каторжная работа отца, самоотверженный труд брата, тяжкий труд его, Ильи Николаевича,— то есть труд трех поколений потребовался, чтобы дать Саше возможность посвятить себя собственному призванию...

Всякий раз, подъезжая к Кокушкину, дядя Ефим говорил:

— Смотрю я на вашу деревеньку и думаю: что за чудо — такая она махонькая, а такая веселая. Даже ворочаться назад не хочется. Ей-богу, чистую правду говорю!

Кокушкино и в самом деле было очень живописно. Стояла деревенька на высоком берегу реки Ушни. Над обрывом возвышался старый дом, а невдалеке от него —

флигель, окруженный садом. От мельницы к дому тянулся илистый пруд, откуда Саша таскал лягушек для своих опытов. И не только пруд был запущен, а и все постройки. В доме печи дымили, крыша протекала, и, когда налетала гроза, все комнаты заставлялись мисками и ведрами. Прогнившие мостки купальни проваливались, дырявая лодка тонула. Все ветшало и валилось, потому что не было средств на ремонт. Но все эти неудобства не замечались, и «веселая деревенька» с чистой, точно капля росы, речкой, с глубокими оврагами стояла, как остров, посреди необозримой степи, над которой звенели в густой синеве неба жаворонки, а в лунные ночи пели соловьи. Она была для Саши самым красивым уголком на земле. И если кто-нибудь начинал хвалить другие места, он недоверчиво и ревниво спрашивал:

— Неужели там лучше, чем в нашем Кокушкине?

Люди из деревни часто ходили в лес по ягоды и грибы. Но если народу набиралось слишком много, Саша не приставал к компании: он не любил шума и суеты. Он даже прогулки использовал для своих занятий — то гербарии собирал, то коллекции яиц. Но когда старшие дети вместе с отцом отправлялись в Черемышевский лес, Саша тоже откладывал книги. Прогулки с отцом всегда были интересны: отец пел тогда студенческие песни. Одна из них особенно нравилась Саше, и, как только они уходили подальше от деревни, он просил:

— Папа, споем: «По чувствам братья мы с тобой...»

И когда отец, мягко картавя, затягивал чуть хрипловатым баском свою любимую песню, Саша громко и часто не в лад подпевал ему:

По чувствам братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба,
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.

Когда ж пробьет желанный час
И встанут спящие народы —
Святое воинство свободы
В своих рядах увидит нас.

Пел Саша и чувствовал, что сердце его учащенно бьется, что он так же, как отец, будет «питать до гроба вражду к бичам страны родной». Потом просил отца спеть еще другие песни, и Илья Николаевич охотно соглашался, а Саша за это еще сильнее любил его, гордился им, во всем стремился подражать ему. Ни разу не было случая, чтобы отец за что-нибудь накричал на него. И чем больше подрастал сын, тем более крепла его духовная связь с отцом.

17

Как рано ни проснется Саша, а дядя Карпий уже на реке. Лодки не видно, поэтому кажется: человек не плывет, а медленно идет по воде. Такое впечатление усиливается еще и тем, что Карпий больше походит на пророка, чем на деревенского рыбака: у него длинные волнистые волосы с густой проседью, высокий лоб, рассеченный глубокой морщиной, глаза тоскливо-скорбные, всегда устремленные куда-то вдаль...

Саша осторожно спускается с обрыва к реке. Ему хочется поговорить с этим, похожим на философа, рыбаком, но дядя Карпий проплывает мимо, не заметив его. Саше вдруг приходит в голову мысль: и жизнь этого необыкновенного человека похожа на его призрачное движение в тумане. И возникает вопрос: а почему? Почему этот человек поэтического склада души, глубокого ума, чуткой совести обречен на такое жалкое прозябание?

Карпий жил в соседней деревне. Его старая избенка часто пустовала — хозяин неделями пропадал то на охоте, то где-то на заработках. Жалкий, сиротливый вид избы, заросшей по самые окна бурьяном, лучше всяких слов говорил о том, как неуютно живется ее хозяину. Саша часто заходил — сначала с отцом, а потом и один — к Карпию, который ему очень понравился. С ним можно было поговорить обо всем. Он знал множество всяких историй и рассказывал так интересно, что Саша слушал его, боясь пошевельнуться. Речь Карпия была щедро пересыпана всяческими поговорками. И делал он это не ради красного словца, он вкладывал в них мысли, которые нельзя было высказать прямо. Даже на традиционный Сашин вопрос,

как идут дела, отвечал со своей неизменной ласково-иронической улыбкой:

— Живу, как блин на поминках: и масла много, и слопать могут...

После каждой удачной охоты или рыбалки Карпий появлялся в Кокушкине со своей добычей. Просил он за рыбу и дичь гроши и страшно смущался, если Илья Николаевич заставлял его брать больше.

— Куда столько? — пугался он, пятясь к порогу.— Мне бы только на порох. Его покупать надо... Э-ха!..— сокрушенно вздыхал он, видя, что не удастся отказаться, и, стыдливо пряча деньги, философски заключал: — От них все горе...

И не так потребность продать рыбу вела Карпия в Кокушкино, как желание поговорить с хорошими людьми. Илья Николаевич, увидав рыбака, обычно звал его к себе в кабинет, и они подолгу беседовали. Карпий прожил трудную, полную лишений жизнь. Будучи свободолюбивым, он не терпел рабского ярма и несколько раз убегал от помещика, но его ловили, возвращали обратно и, жестоко отстегав плетью, опять заставляли тянуть ненавистную лямку. У Саши кровь закипала от негодования, когда он слушал рассказы Карпия.

— А нынче что? — говорил, хмурясь, Карпий.— Одно только переменилось — тогда продавали души нашего брата за медный грош, а теперь их за тот же грош покупают. Вот и выходит: как ни вертись, а все равно помрешь. А какая сила гибнет! Подумать страшно! Человеку, чтобы он мог сделать то, ради чего на свет божий родился, нужна полная воля во всем. А у нас так: одно дают, другое отбирают, а третье и вовсе запрещают. Или еще и похуже,— добавлял, помолчав, Карпий, намекая на аресты.— Все у нас можно делать только с дозволения начальства, точно мудрее его никого на свете нет. Но ведь всем известно — по разрешению человек не может быть ни свободным, ни смелым. И я очень понимаю тех, кому свобода жизни дороже.

С детства Саша любил природу, любовался ее красотой. Теперь он научился хорошо править лодкой и, случалось, по целым дням пропадал на реке. Как-то Аня упросила его взять и ее с собою. Саша не мог отказать, и они поплыли вдвоем. Утро было теплое, солнечное. День загорался хо-

роший. Но к обеду поднялся ветер, небо затянуло тучами, стал накрапывать дождь. Ни плаща, ни зонтика Аня из дому не захватила. До Кокушкина было далеко, и Саша, боясь, чтобы Аня не простудилась, предложил:

— Давай пристанем в Татарском и зайдем к Карпию?

— Давай,— согласилась Аня.— Я давно хочу посмотреть, как он живет. Вчера, когда он ушел от нас, отец сказал мне: «Вот настоящий поэт и философ». Так это его изба? Странно, почему-то она мне такой и представлялась...

— Э, каких гостей мне гроза пригнала! — удивленно воскликнул Карпий.— Вот уж истинно, как в сказке: «И послали царь-огонь да царица-водица на землю-матушку чудо-капелек — дочерей своих. И заполыхали на земле капельки эти цветами — красавицами несказанными...» О, как вы, барышня, кашляете! Садитесь ближе к огню,— подставляя Ане единственную табуретку, говорил Карпий.— А я только с рыбалки воротился, уху сготовил. Да такую, как на заказ: из ершей, из окуньков. Слышите, какая духовитая? Сейчас вас угощу...

Тарелок у Карпия не было, и он налил Ане и Саше ухи в глиняный горшок — тоже единственный у него, а сам присел у чугунка.

Аня дрожала от холода, она сильно промокла, и горячая уха показалась ей необычайно вкусной.

— Смотрю вот я на вас, и вспомнилось мне,— начал рассказывать Карпий.— Давно это было, а до сих пор у меня перед глазами стоит. Ходил я с отцом в Казань на ярмарку. При царе Николае это еще было. На обратном пути нас дождь вот так же накрыл. Ну, завернули мы к одному знакомому мужику. Заходим в избу. Что за оказия: полно ребятишек в солдатских шинельках. Все мокрые, грязные, замученные. И по обличью видать — не русские. «Где ты, Матвей,— спрашивает отец,— их подобрал?» Матвей только рукой махнул. Что ж оказалось: это гнали на какую-то службу в Сибирь детей, насильно отобранных у родителей. Зашел тут и солдат-конвоир с сухарями. Оделил всех. Взяли они сухарики, гляжу — ой, господи! — у многих-то даже силенки нет откусить от того сухаря. У меня прямо сердце кровью облилось. «За какие грехи смертные на них такая кара накладена?» — спрашиваю солдата. «А о том, говорит, начальству лучше знать».— «Да ведь они перемрут

все!» — говорит отец ему. «Видно, так,— отвечает солдат,— мы уже половину, почитай, схоронили, а дороге и конца не видно...»

Взволнованный страшными воспоминаниями, Карпий встал, прошелся несколько раз из угла в угол по тесной комнате. Снова заговорил, и в голосе его слышалась уже не боль, а гнев.

— Не успели эти мученики отогреться и сухарей погрызть, как кто-то постучал в окно и крикнул, чтобы выходили. Дождь моросил, грязь была непролазная, а маленькие каторжники, зажав сухари в ручонках, брели прямо в могилы свои. Мы с отцом, сами не зная зачем, тоже пошли за ними. Уже у околицы упал один в канаву и барахтается в ней, как слепой котенок. Отец кинулся поднимать его. А тут второй упал, третий...

Аня всхлипывала, утирая слезы, а Саша, закусив губу, смотрел в окно. По стеклу катились капли. А Саше казалось: это не дождевые капли, а слезы погибших маленьких мучеников, слезы тех, кто и сейчас изнемогает за тюремной решеткой, кто, звеня кандалами, шагает в далекую Сибирь. Где-то там, в занесенном снегами Вилюйском остроге, живьем похоронен любимый писатель Чернышевский. Его роман «Что делать?» Саша прочитал за одну ночь и никак не мог понять: почему эту умную, благородную и светлую, как вешнее солнце, книгу царские чиновники считают крамольной? Ведь в этой книге каждая строка, каждое слово одухотворены горячей любовью к родному народу.

Гроза отступила к Черемышевскому лесу. Выглянуло солнце, и капли на окне заискрились. За рекой огромной подковой вставала радуга. Трава, кусты, деревья — все так сверкало, что больно было смотреть.

— Благодать-то какая! — вздохнув полной грудью, радостно воскликнул Карпий.— Люблю! И грозу, и радугу... И когда гляжу на эту красу господню, так вот тут,— он обхватил руками свою широкую грудь,— теснится что-то такое, а слов недостает, чтобы высказать... Так заходите еще, коли будете здесь...

— Спасибо,— ответил Саша и крепко пожал Карпию руку.

Всю дорогу Саша сосредоточенно молчал и, только когда причалили возле Кокушкина, сказал:

— Вот это человек!..

— Изумительный! — восторженно отозвалась Аня: ей давно хотелось высказать свое мнение.— Я прямо влюблена в него! И как жаль, что жизнь его сложилась так трудно...

— А почему? — с необычной для него резкостью воскликнул Саша.— Кто виноват? Кто бросает в тюрьмы самых смелых людей? Кто в Сибирь их гонит? Царь, вот кто! И не зря в него стреляют!

— Саша! — удивленно воскликнула Аня.

— Да, не зря,— уже спокойно, но твердо повторил Саша, как бы подчеркивая, что это — глубокое его убеждение, а не просто слова, вырвавшиеся под горячую руку...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В тот день Саша задержался в гимназии: помогал друзьям подготовиться по латинскому языку. Переводили до одури, а потом всей компанией отправились на Волгу подышать свежим воздухом, в котором уже чувствовались запахи весны. Саша отказался идти со всеми — ему не терпелось закончить интересный опыт по химии. После многих неудач ему удалось сделать такой порох, который взрывался, как фабричный. Но не успел Саша добраться до своей Московской улицы, как во всех церквах города зазвонили колокола. Что такое — пожар? Нет, дыма нигде не видно, пожарные не скачут по городу. А вот встречные ведут себя как-то странно — испуганно перешептываются, истово крестятся. Что же произошло? Саша остановился, раздумывая, где бы побыстрее узнать, в чем дело. Конечно, в гимназии.

Только он повернул назад, как к нему подлетел Володя Волков:

— Фу-у, я тебя по всему городу ищу!..

— А что такое?

— Страшная новость...— Волков перевел дух, оглянулся и, понизив голос, закончил: — Царя убили...

— Кто убил?

— Не знаю. Говорят, бомбой. Первой промахнулись, а второй — в клочья разорвало... Я это слышал у самой канцелярии губернатора. Саша, что ж теперь будет?

Саша молчал. Он и сам не знал, что теперь будет. Но что этот взрыв принесет большие перемены,— в этом он был уверен. Все зло, все горе народное для Саши, как и для многих молодых людей, сочувствовавших страданиям простого народа, связывались с деятельностью царя. А от этого убеждения был прямой вывод: после убийства царя народу станет лучше. Значит, этот звон колоколов возвещает народу о том, что настал наконец час истинного освобождения! Настал тот час, о котором мечтали, за который отдавали жизнь лучшие люди России. И не ошибся Писарев, сказав, что светлое будущее не так неизмеримо далеко, как все привыкли думать!

— Саша! Так что же теперь будет? — повторил свой вопрос Волков.— У меня прямо... голова кругом идет.

Саша не пошел домой. Перед его глазами возникло вдруг худое, с горящими глазами, лицо за решеткой, толпа людей в арестантской одежде, которых бог знает куда гнали жандармы. По приказу царя их держали в тюрьме, а теперь... Саша бегом кинулся на Старый венец, где прошли его детские годы. Был совершенно уверен, что железные ворота тюрьмы уже открыты и узники с криком «Свобода!» обнимаются со своими родными и близкими. Но нет, железные ворота были на замке, а в мрачной тюрьме царила все та же гробовая тишина. И только часовые не грозно-нахмуренно, а как-то воровато оглядывали прохожих.

Долго Саша стоял на Старом венце, посматривая на ворота тюрьмы, но замки на них висели недвижимо. Так неужели и этот взрыв оказался бессильным, неужели и он не разрушит тюремных стен? Нет, не может этого быть!

Два дня по городу ходили самые невероятные слухи о том, кто и как убил царя. Лишь третьего марта «Симбирские губернские ведомости» поместили маленькое сообщение: «I/III, в 9. 30 часов вечера, начальником губернии получена от г. министра внутренних дел телеграмма следующего содержания: «Сего 1 марта, в час 45 м., при возвращении государя императора с развода, совершено было покушение на священную жизнь его величества, посредством брошенных двух разрывных снарядов». В «Правительственном вестнике» все прочли еще, что первый снаряд «повредил экипаж его величества. Разрыв второго нанес тяжелые раны государю. По возвращении в Зимний

дворец, его величество сподобился приобщиться св. таин и затем в бозе почил — в 3 часа 35 минут, пополудни. Один злодей схвачен».

В кафедральном соборе, передали Илье Николаевичу, сам епископ Евгений будет читать манифест нового царя. Когда Илья Николаевич пришел в собор, там уже были все чиновники во главе с губернатором Долгово-Сабуровым. Епископ Евгений, сухой, желчный, отслужив литургию, начал читать манифест таким голосом, точно это было священное писание:

— «Божиею милостью, Мы, Александр Третий, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая и прочая...

Объявляем всем нашим верным подданным: господу богу угодно было, в неисповедимых путях своих, поразить Россию роковым ударом и внезапно отозвать к себе ее благодетеля государя императора Александра Второго. Он пал от святотатственной руки убийц, неоднократно покушавшихся на его драгоценную жизнь. Они посягали на сию столь драгоценную жизнь, потому что в ней видели оплот и залог величия России и благоденствия русского народа. Смиряясь перед таинственными велениями божественного промысла и вознося ко всевышнему молитвы об упокоении чистой души усопшего родителя нашего, Мы вступаем на прародительский престол Российской империи и нераздельного с нею царства Польского и княжества Финляндского...»

Слушал Илья Николаевич этот манифест, и душу его охватывало беспокойство. По всему видно: будет еще хуже, чем было. И когда после манифеста начался молебен о здравии нового государя и всей его семьи, Илья Николаевич мысленно просил бога, чтобы все осталось хотя бы так, как было. Он не знал, что в эту самую минуту автор манифеста, обер-прокурор святейшего Синода Победоносцев писал новому царю:

«Ваше императорское величество!

Измучила меня тревога. Сам не смею явиться к Вам, чтоб не беспокоить, ибо Вы стали на великую высоту. И я решаюсь опять писать, потому что час страшный и время не терпит. Или теперь спасать Россию, или никогда.

Если будут Вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном на-

правлении, надобно уступить так называемому общественному мнению,— о, ради бога, не верьте, Ваше величество, не слушайте. Это будет гибель, гибель России и Ваша: это ясно для меня как день. Безопасность Ваша этим не оградится, а еще уменьшится. Безумные злодеи, погубившие родителя Вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбой с ними не на живот, а на смерть, железом и кровью. Хотя б погибнуть в борьбе, лишь бы победить. Победить не трудно: до сих пор все хотели избегать борьбы и обманывали покойного государя, Вас, самих себя, все и вся на свете, потому, что то были не люди разума, силы и сердца, а дряблые евнухи и фокусники.

Новую политику надобно заявить немедленно и решительно. Надобно покончить разом, именно теперь, все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о представительном собрании. Все это ложь пустых и дряблых людей, и ее надобно отбросить.

Мы люди божии и должны действовать. Судьба России на земле — в руках Вашего величества».

Александр III ответил своему учителю и наставнику, без которого не мог шагу ступить: «Благодарю Вас от всей души за душевное письмо, которое я вполне разделяю».

С третьего по двадцать первое марта в «Правительственном вестнике» появились такие сообщения:

«Задержанный злодей, как обнаружено производящимся дознанием,— Николай Иванов Рысаков.

Один из главных организаторов последнего преступного посягательства на драгоценную жизнь в бозе почившего государя императора, арестованный 27-го февраля вечером, признал свое руководящее участие в преступлении и изобличается в том же показанием задержанного на месте катастрофы виновника ея, Рысакова, бросившего под императорскую карету первый метательный снаряд.

В неизвестном лице, кинувшем, по-видимому, второй метательный снаряд и получившем на месте взрыва смертельные повреждения, Рысаков, по предъявлении ему трупа умершего, признал своего единомышленника.

Квартира, из которой Рысаковым и его товарищем по-

лучены были употребленные ими в дело метательные снаряды, открыта в ночь на сие 3-е марта. Хозяин ея, по прибытии к нему должностных лиц, производящих дознание, застрелился. Проживавшая с ним вместе женщина арестована.

В 11 часов утра в эту же квартиру явился молодой человек, который немедленно и был арестован. При его задержании он сделал пять выстрелов, которыми ранено трое полицейских чинов. Лицо, сопротивлявшееся полиции с оружием в руках, оказалось Тимофеем Михайловым, принимавшим участие, как выяснено дальнейшим расследованием, в приготовительных действиях к преступлению.

10-го марта арестована в С. Петербурге София Перовская, скрывавшаяся с 1878 года. По собственному сознанию она руководила, после ареста Желябова, заговором на злодейское преступление 1-го марта. На днях дело о злодейском покушении 1-го марта, дополненное указанием на участие в нем Софии Перовской, поступило на рассмотрение Особого присутствия Правительствующего Сената. Продолжающееся и после сего расследование обстоятельств дела, касающихся еще не привлеченных к суду участников преступления, привело к изобличению священнического сына Николая Кибальчича, который на допросе, сделав полное сознание, показал, между прочим, что метательные снаряды, как брошенные 1-го марта, так равно и найденные при обыске квартиры в Тележной улице, приготовлены им».

Саша был восхищен борьбой террористов, хотя видел, что ни отец, ни мать, ни Аня (Володя и Оля были слишком малы) не разделяют его симпатий к террористам. В этих обстоятельствах ему оставалось одно: отмалчиваться, что он и делал. Но когда отец, позвав его к себе в кабинет, завел разговор об убийстве царя, Саша сказал:

— Они правильно поступили.

— Постой...— явно озадаченный, сказал Илья Николаевич, внимательно приглядываясь к сурово нахмуренному лицу сына.— Ты хорошо подумал, прежде чем... пришел к такому выводу?

— Да,— твердо ответил Саша.

— Гм...— Илья Николаевич провел ладонью по лбу — жест, которым он выражал крайнюю свою растерянность.— Этого я не ожидал услышать. Может быть, ты мне объяснишь, что привело тебя к такому убеждению?

— Простая логика. Они поступили с царем так, как он поступал с их друзьями по борьбе. Или ты считаешь, что они не имели права мстить?

Это смелое, решительное одобрение террористов показало Илье Николаевичу сына совсем с другой, неведомой ему до сих пор стороны. Оказывается, этот спокойный, увлеченный наукой юноша выработал уже не только моральные и этические, но и политические убеждения, и в них чувствовалось также и его, Ильи Николаевича, влияние. Ведь он первый дал ему стихи Некрасова, посоветовал прочитать «Размышления у парадного подъезда» и «Песню Еремушке». Он, гуляя с ним по полям в Кокушкине, пел запрещенные революционные песни. От него услышал Саша пылкие слова: «И будем мы питать до гроба вражду к бичам страны родной». И хотя он никогда не говорил об этом, но по тому уже, как он пел эти песни, Саша не мог не почувствовать, что они для отца — «святая святых». Значит, уже с раннего детства в глубоком, ясном уме Саши, в его чуткой душе начало вырабатываться отрицательное отношение к действиям власти. Полицейские порядки в гимназии, зубрежка мертвых языков, жестокое подавление малейших попыток учеников отстоять свои права — все это неизбежно укрепляло в свободолюбивом Саше его ненависть к произволу. И, зная об отношении Саши к гимназическим порядкам, понимая, что он прав, Илья Николаевич избегал говорить с ним об этом. А если уж и заходила речь, начинал сравнивать гимназию с сельскими школами: Саша, мол, был в гораздо лучших условиях, чем крестьянские дети. Это надо ценить, а не осуждать.

— Я вот о чем тебя попрошу,— в заключение разговора сказал Илья Николаевич,— не говори никому о своем отношении к террористам.

— Хорошо.

Проходили дни, а в ворота тюрьмы гнали все новых и новых узников. Из Петербурга шли противоречивые слухи. Но одно было ясно: революционеры арестованы.

2

Нового царя с обер-прокурором Синода Победоносцевым связывала давняя дружба. Победоносцев был его учителем. Консерватор, паникер и трус, он страшился всего нового как огня. С упорством маньяка Победоносцев, подготавливая своего воспитанника к верховной власти, вбивал ему в голову мысль: нужно возвратить Россию к тому, что было во времена Николая I.

«Не верьте, когда кто станет говорить Вам,— пишет он будущему царю еще в 1876 году,— что все пойдет само собою в государстве, и что на том или другом положении или законе Вы можете успокоиться. Это неправда. Придет, может быть, пора, когда льстивые люди,— те, что любят убаюкивать монархов, говоря им одно приятное,— станут уверять Вас, что стоит лишь дать русскому государству так называемую конституцию на западный манер,— и все пойдет гладко и разумно, и власть может совсем успокоиться. Это ложь, и не дай боже истинному русскому человеку дожить до того дня, когда ложь эта может осуществиться».

Спустя два года Победоносцев уже открыто осуждает Александра II. Но имени его он, конечно, не называет, а все беды приписывает правительству. Как будто министры на свой лад правят государством, а не выполняют то, что приказывает царь. «Правительства нет, как оно должно быть, с твердой волей, с явным пониманием о том, чего оно хочет: с решимостью защищать основные начала управления, с готовностью действовать всюду, где нужно. Люди дряблые, с расколотой надвое мыслью, с раздвоенной волей, с жалким представлением о том, что все идет само собою. Ленивые, равнодушные ко всему, кроме своего спокойствия и интереса. Середины нет. Или такое правительство должно проснуться и встать, или оно погибнет. А что погибнет с ним, о том и подумать страшно».

А еще через год — в 1879 году, в тот день, когда народовольцы подготовили аварию царского поезда под Москвой, но по непредвиденной случайности под откос полетели вагоны с царской свитой, а не с царем,— Победоносцев еще определеннее высказывается о действиях правительства, то есть самого Александра II. «В нынешнее смутное время,— пишет он,— у всех добрых русских людей душа в

крайнем смущении, в болезни. От всех здешних чиновных и ученых людей душа у меня наболела, точно в компании полоумных людей или кривляющихся обезьян. Слышу отовсюду одно натверженное, лживое и проклятое слово: конституция. Боюсь, что это слово уже высоко проникло и пустило корни. Лучше уж революция русская и безобразная смута, нежели конституция. Первую еще можно побороть вскоре и водворить порядок в земле, последняя есть яд для всего организма, разъедающий его постоянно ложью, которой русская душа не принимает. И должен Вам сказать, Ваше высочество, вот что. В нынешнее правительство так уж все изуверились, что ничего от него не чают. Ждут в крайнем смущении, что еще будет, но народ глубоко убежден, что правительство состоит из изменников, которые держат слабого царя в своей власти. Всю надежду возлагают, в будущем, на Вас, и у всех только в душе шевелится страшный вопрос: неужели и наследник может когда-нибудь войти в ту же мысль о конституции?»

Пятого февраля 1880 года Зимний дворец содрогнулся от взрыва, подготовленного Степаном Халтуриным. Александра II опять спасла случайность: царь опоздал на полчаса к обеду, так как встречал на вокзале принца Гессенского. «Будет ли конец ужасам? — спрашивает Победоносцев.— Сегодняшнее страшное событие поразительно,— а его можно было предвидеть заранее. Можно было заранее опасаться, что Зимний дворец скрывает в себе злодеев и изменников,— пророчествует он задним числом.— Всюду пролетает одна мысль, одно слово: царь окружен изменниками. А этих изменников народ будет видеть в высших сановниках государства. Душа болит и чует новые беды».

В тот день, когда был убит Александр II, Победоносцев и возрадовался тому, что власть придет в руки его воспитанника, и испугался, как бы бестолковый воспитанник его не натворил глупостей. Он пишет ему: «Простите, Ваше величество, что не могу утерпеть и в эти скорбные часы подхожу к Вам со своим словом: ради бога, в эти первые дни царствования, которые будут иметь для Вас решительное значение, не упускайте случая заявить свою решительную волю, прямо от Вас исходящую, чтобы все слышали и знали: «Я так хочу или я не хочу и не допущу». Если бы у Александра III, только что воссевшего на трон, была

в голове хоть капля своего ума, он понял бы, что ему осмелились приказывать, и поставил бы такого советчика на место. Но Александр III не только не возмутился, а ответил так: «От всей души благодарю Вас за Ваше задушевное письмо. Молюсь и на одного бога надеюсь». Насколько новый царь был тверд и решителен, видно из другого письма все к тому же наставнику своему, Победоносцеву: «Так отчаянно тяжело бывает по временам, что если бы я не верил в бога и в его неограниченную милость, конечно, не оставалось бы ничего другого, как пустить себе пулю в лоб».

День и ночь Победоносцев строчит письма Александру III о том, что нужно делать. От его всевидящего ока ничто не скроется. «В министерстве народного просвещения,— указывает он,— всего важнее и всего затруднительнее в настоящую минуту вопрос об университетах. Надобно сосредоточить власть в твердых руках и прекратить сходки. Из университетов смута начинает проникать в гимназии. Остановить ее не трудно. Стоит только дать твердую опору людям порядка, которых везде много, но которые всюду обескуражены действиями министерской власти, обращавшейся, по какому-то странному ослеплению, всюду не к лучшим, а к худшим людям. Власть попечителей всюду расшатана. Необходимо восстановить и утвердить эту власть. Необходимо обратить внимание на вопрос об устройстве средних школ, в коих люди низшего класса могли бы получить нехитрое образование, нужное для жизни, а не для науки.

Народные школы — предмет великой важности. Здесь тоже прежнее министерство шло едва ли верным путем. Умножая сеть школ и наполняя их учителями, приготовленными в учительских семинариях, оно не в силах было следить за этими учителями, которых само искусственно отрывало от крестьянской среды. Учительские семинарии — учреждение едва ли правильно поставленное и стоящее весьма дорого. В народном первоначальном образовании министерству народного просвещения необходимо искать главной опоры в духовенстве и в церкви. Эта именно мысль была заявлена и принята в последнем заседании комитета совета министров, и обер-прокурору Синода представлено разработать вопрос о церковноприходских школах».

О всех сплетнях, о всех слухах обер-прокурор Синода узнавал первый и начинал бить тревогу. Не успел суд объявить смертный приговор Желябову, Перовской, Кибальчичу, Тимофееву, Рысакову и Гельфман, как Победоносцев уже строчит Александру III: «Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему величеству извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников. Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих ослабевших умов и сердец) требует отмщения и громко ропщет, что оно замедляется.

Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий и поколеблет сердца всех Ваших подданных. Я русский человек, живу среди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые ковы. Ради бога, Ваше величество,— да не проникнет в сердце Вам голос лести и мечтательности».

Александр III, как и полагается послушному ученику, ответил: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеют прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за то я ручаюсь».

«Смею думать,— пишет Победоносцев, развивая новую мысль, которая осенила его мудрую голову,— что для успокоения умов в настоящую минуту необходимо было бы от имени Вашего обратиться к народу с заявлением твердым, не допускающим никакого двоемыслия. Это ободрило бы всех прямых и благонамеренных людей. Первый манифест был слишком краток и неопределителен. Часто указывают теперь на прекрасные манифесты императора Николая 19 декабря 1825 и 13 июля 1826 года».

На следующий же день в Гатчину, где сидел, как в крепости, Александр III и колол дрова, потому что больше нечем было заняться, летит новое письмо: «Спешу представить Вашему величеству выработанную мною редак-

цию манифеста, в коей каждое слово мною взвешено. По моему убеждению,— хвалит сам себя обер-прокурор,— редакция эта совершенно соответствует потребности настоящего времени. Вся Россия ждет такого манифеста и примет его с восторгом, разумеется, кроме безумных людей, ожидающих конституции. Вы изволите усмотреть, что тут с намерением выражена твердая воля охранять самодержавную власть,— самое существенное, после чего должны уже замолкнуть толки, что сегодня или завтра явится конституция. И заграницей этот манифест должен произвесть самое благоприятное действие. Я знаю, что и там ждут с нетерпением и удивляются, как ничего нет до сих пор. Такое слово Вашего величества будет иметь решительное значение...

Вместе с тем, продолжаю думать, что Вашему величеству необходимо появиться в Петербурге. Безвыездное пребывание Ваше в Гатчине возбуждает в народе множество слухов, самых невероятных, но тем не менее принимаемых на веру. Иные из народа уже спрашивают: правда ли, что государя нет и что это скрывают от народа? Распространение и усиление таких слухов может быть очень опасно в России, и люди злонамеренные, которых ныне так много, пользуются ими, чтобы смущать народ».

И его величество, как школьник, которому позволили прогуляться, появился в Петербурге. Точнее сказать, его перевезли под усиленной охраной из гатчинского дворца в Аничков, вокруг которого за это время все перерыли в поисках мин. В Зимний дворец новый царь не отважился заглянуть. Дворец страшил его, как призрак смерти. Сидел Александр III в Аничковом дворце под охраной, которой позавидовал бы любой начальник тюрьмы, а Победоносцев продолжал свою неутомимую деятельность. Он пишет, когда обнародовать манифест и как это нужно сделать. «Благоволите накануне призвать к себе министра юстиции и вручить ему бумагу для изготовления манифеста к Вашему подписанию».

Царю, который не только без возмущения, а с благодарностью принимал такие наглые советы, оставалось одно: обмакнуть перо в чернила и подписать отречение или же пустить пулю в лоб, как это ему с перепугу и хотелось сделать. Но обер-прокурор Синода крепко держал за руку своего слабоумного ученика и заставлял его выво-

дить на своих манифестах только одно слово — «Александр». Царь покорно делал это, украшая свою венценосную подпись диковинными закорючками.

За такой подписью появился и этот манифест, где, кроме самой подписи, не было ни слова, рожденного царским умом. В манифесте, который на много лет определил внутреннюю политику страны, обер-прокурор Синода косноязычно вещал устами царя: «Но посреди великой нашей скорби глас божий повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на божеский промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

Манифест этот не произвел того впечатления, какое предсказывал Победоносцев, посылая его на подпись царю. Уже через несколько дней он сам вынужден был донести, опасаясь, как бы кто-нибудь не опередил его и не настроил против него царя: «В среде здешнего чиновничества манифест встречен унынием и каким-то раздражением: не мог и я ожидать такого безумного ослепления. Все говорят, что «партия, желавшая свободы и блага, проиграла и что настанет, хотя и временно, период реакции».

Да, в этих словах, подслушанных где-то вездесущим обер-прокурором Синода, была истина: наступала разнузданная реакция...

3

Весь март погода была переменчивая: то солнце по-весеннему грело и радостно звенели ручьи, то вдруг с севера налетала вьюга, и землю опять покрывал снег. Но и события этого месяца были схожи с погодой — то летели слухи, что всех участников покушения суд оправдает, как оправдал в свое время Веру Засулич, то утверждали, что «злодеи-цареубийцы» — верноподданные обыватели иначе не называли их — будут казнены. Новый царь, дескать, уже подписал указ, и суду осталось только выполнить его волю.

По газетам трудно было понять истинный ход дела, все они в один голос проклинали цареубийц, все оплакива-

ли погибшего государя, причисляя его к лику святых. Как велось следствие, что выяснилось на нем, точно никто не знал.

В гимназии все время существовали два лагеря: верноподданные и вольнодумцы. До первого марта эти лагери четко не разграничивались. Но теперь, когда вопрос встал ребром — за кого ты? — лагери настолько определились, что споры между ними часто заканчивались дракой.

Март казался Саше бесконечным. Проходили дни, недели, один слух сменялся другим, а ворота тюрьмы оставались запертыми на тот же замок. У губернаторского дома — те же кареты, снуют те же чиновники. Старый уклад жизни стоит так же нерушимо, как и лед на Волге. Аня пристает с расспросами, но что он может сказать ей, если сам ничего толком не знает? Строить догадки, то есть плодить новые слухи, он не может. Аня возмущалась, но Саша молчал, и только по его особенно хмурому виду можно было понять, что творится у него на душе. Володя, которому исполнилось уже одиннадцать лет, тоже не давал ему покоя. Почему так долго нет суда? Как их будут судить? Кто их предал? Ведь арестовали сперва только того, кто кинул бомбу. Или он и выдал всех? Какой же он тогда революционер, если своих товарищей выдал?

— Саша, их помилуют! — радостно объявила Аня, возвратясь однажды из гимназии.— Самые точные сведения. Говорят, сам Лев Толстой написал царю письмо с просьбой о помиловании. Какой это человек! Он один из всех писателей не побоялся открыто выступить на защиту. Я уверена, точно так же поступил бы его Пьер, но не Долохов, который тебе так нравится!

Теперь оставалось ждать суда. Но что с того, если их помилуют, если их не казнят? Дело, ради которого они рисковали жизнью, так и не сдвинулось с места. Есть ли еще силы в партии, кроме арестованных? А если есть, то почему не слышно их голосов? Почему они не выступают в защиту своих соратников по борьбе? И вдруг новое известие: революционеры обратились к царю с письмом, в котором заявляют о прекращении своей деятельности. (Этот слух, как и все другие, извращал подлинный ход дела.) Это уж бог знает на что похоже! Разве вся их деятельность сводилась только к убийству Александра II? Нет, тут явно что-то не так.

И вот официальное сообщение в газетах: двадцать шестого марта — суд. Идут дни, а в газетах больше ни слова. Что же произошло? Неужели о суде не будут писать, а только объявят приговор? Не может этого быть! Ведь их судит не военный трибунал. Впрочем, теперь Сашу ничем уж не удивишь: он понял, что законы писаны далеко не про всех. Наконец появились газеты с речью прокурора Муравьева. Саша несколько раз перечитал обвинительное заключение. Он не мог понять, что же случилось: Рысаков не побоялся метнуть бомбу, а выстоять перед следователями у него не хватило духу! Иуда! Держи он язык за зубами, партия не была бы обезглавлена, партия «Народная воля» действовала бы! Ее исполнительный комитет заставил бы нового царя считаться с нею. И как они могли принять в партию человека с такой подлой, продажной душой!

«Если бы я хотел охарактеризовать личность подсудимого Желябова,— читал Саша речь прокурора Муравьева,— так, как она выступает из дела, из его показаний, из всего того, что мы видели и слышали здесь о нем на суде, то я прямо сказал бы, что это необычайно типичный конспиратор, притом заботящийся о цельности и сохранности типа, о том, чтобы: жесты, мимика, движения, мысль, слова — все было конспиративное. Это тип агитатора... В уме, бойкости, ловкости подсудимому Желябову несомненно отказать нельзя... Он был создан для роли вожака...»

Не успели дойти до Симбирска подробности суда, вот уже и приговор: Желябова, Перовскую, Кибальчича, Михайлова, Рысакова, Гельфман — к смертной казни.

— Неужели царь и женщин не помилует? — с нервной дрожью в голосе спрашивала Аня.— Ведь еще ни один русский царь не посылал женщин на эшафот.

— История не повторяется,— хмуро сказал Саша.

— Нет, все равно... Это ужасно! Ведь одна из них, говорят, ждет ребенка.

Их казнили. Только Гесю Гельфман царь велел не вешать, пока она не родит ребенка.

В тот час, когда Саша шел в гимназию, их везли по улицам Петербурга на позорных колесницах. Всего несколько часов назад еще бились их сердца. Трудно, невозможно было поверить, что они погибли, что с ними погибло

и все то, за что они боролись. Столько усилий, столько жертв... И неужели все напрасно?

На этот и на много других таких же вопросов Саша не находил ответа. Но он всей душой чувствовал: борьба не закончена! Нет! Она только начинается...

4

В последние годы учения в гимназии Саша был уже вполне самостоятельным человеком, первым в классе.

Этого первенства в семье и в классе Саша достиг спокойно, совсем незаметно. Он не прилагал никаких усилий к тому, чтобы подчинить себе других. Это возникало как-то само собой, исходило из присущего ему обаяния, а не от преувеличенного мнения о своих достоинствах. И как все великодушные люди, он не только не пользовался своим положением, но явно стеснялся его.

Он не терпел, если кто-нибудь пытался повлиять на него не убеждением, а силой, и никогда сам так не поступал. Он свято уважал человеческую личность и был согласен с Писаревым, который говорил, что «человек счастлив только тогда, когда его природа развивается в полной своей оригинальности и неприкосновенности». Вторгаться в чужую жизнь, навязывать свои собственные убеждения, свои вкусы было для него так же дико, как и подчиняться другим.

«Только тот, кто переработал идею, способен сделаться деятелем или изменить условия своей собственной жизни под влиянием воспринятой им идеи, то есть, только такой человек способен служить идее и извлекать из нее для самого себя обязательную пользу». Эта мысль Писарева очень точно характеризовала процесс умственного и духовного формирования Саши. С самого детства он отличался большой вдумчивостью. Подхватить на лету эффектную мысль только для того, чтобы блеснуть где-нибудь своими знаниями, а потом забыть,— он не умел. Он стремился иметь обо всем собственное мнение и уж если усваивал какую-нибудь идею, увлекался ею, то отдавался ей всей душой. Его совесть не знала компромиссов и в больших, и в малых делах.

Строгое отношение Ильи Николаевича к выполнению своего общественного долга больше влияло на детей, чем

тысячи разумных советов. Постоянный напряженный труд отца, его неисчерпаемая жизнерадостность и оптимизм были превосходным примером для подражания. И если строгий и скупой на похвалу отец отмечал кого-нибудь, это было событием.

Мария Александровна все силы ума и души безраздельно отдавала детям. Замечая дурные черты в характере детей, она терпеливо и настойчиво боролась с ними. И хоть никогда сурово не наказывала, даже голоса никогда не возвышала,— они беспрекословно слушались ее. Дети любили свою мать, учились у нее относиться ко всему спокойно и сдержанно. Мария Александровна умела обращаться с ними так, что они постоянно чувствовали заботу ее любящего сердца, тепло ее неутомимых рук. Всю жизнь она увлекалась музыкой и охотно играла. По вечерам, когда она садилась за фортепиано, весь дом как бы оживал. В такие минуты Саше казалось, что в каждом звуке заключена частица сердца матери — так мирно становилось на душе от ее игры.

Саша никогда не слышал, чтобы отец и мать ссорились, не находили общего языка. Даже если и бывало это, дети о том не знали. Постоянное согласие родителей, их нежная дружба и создавали ту обстановку всеобщего душевного спокойствия, в которой так хорошо жилось и работалось всем им.

Как-то Аня спросила:

— Саша, а какие, по-твоему, самые худшие пороки?

— Ложь и трусость! — ответил тот.

— А какими качествами нужно обладать, чтобы принести бóльшую пользу людям?

— Честностью, железной силой воли, любовью к труду.

Эти мысли — как жить, чтобы быть полезным людям,— очень рано начали занимать Сашу. На этот вопрос он искал ответа и в жизни, и в книгах. Писарева он читал с такой жадностью именно потому, что тот указывал не только на пути, какими должен идти человек, всецело отдавший себя служению одной идее, но и разбирал характеры новых людей, подчеркивая и выделяя в них то, что отличало их от прочих смертных. Рахметов, Базаров,

Лопухов, Вера Павловна, Кирсанов — вот люди, у которых нужно учиться жить!

В одном из гимназических сочинений на вопрос, что требуется для того, чтобы быть полезным обществу, Саша ответил так:

«Чтобы быть полезным обществу, человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела. Честность есть необходимое качество человека, какого рода деятельности он ни предался бы: без нее труд даже умного и трудолюбивого человека не только не будет приносить пользу обществу, но даже может вредить ему. Честность и правильный взгляд на свои обязанности по отношению к окружающим людям должны быть воспитаны в человеке с ранней молодости, так как от этих убеждений зависит и то, какую отрасль труда выберет он для себя и будет ли он руководствоваться при этом выборе общественной пользой или эгоистическим чувством собственной выгоды.

Но честности и желания принести пользу обществу недостаточно человеку для полезной деятельности; для этого он должен еще уметь трудиться, то есть ему нужны любовь к труду и твердый, настойчивый характер.

...Чтобы быть действительно полезным членом общества, человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями: ни перед теми, которые предоставляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми, которые предоставляют ему собственные недостатки и слабости; для этого он должен уметь управлять своей волей...

...человек должен также заботиться о том, чтобы выбрать себе ту отрасль труда, к которой он более всего способен и которая кажется ему более полезной, а также о том, чтобы труд его приносил по возможности бо́льшие результаты».

Зрелые раздумья Саши о месте человека в жизни, о его служении обществу, людям (в те времена это означало — народу) — не были надлежащим образом оценены директором гимназии Керенским. Он вывел в конце страницы своим аккуратно-чиновничьим почерком «4» и расписал-

ся. А возвращая сочинение Саше, произнес такую поучительную тираду:

— Ваши рассуждения, Ульянов, достаточно зрелы, но в них есть один существенный изъян, который и вынудил меня снизить балл. Вы всюду пишете: «служение обществу, людям» — и не только не подчеркиваете необходимости служения государству, но даже ни разу не упоминаете этого слова. А я, определяя тему, ясно указывал: «чтобы быть полезным обществу и государству». Не нашел я в вашем сочинении также мыслей о верности престолу и вере, без чего, как известно, невозможна никакая полезная деятельность. Обходите вы молчанием и воспитание в человеке любви к священной особе его императорского величества, готовность каждого смертного отдать жизнь свою, если это потребуется, за государя. Именно эти качества — самые главные, именно их должен воспитать в себе человек, действительно желающий верой и правдой служить престолу! Именно без этих качеств человек может оказаться на ложном, пагубном для него пути. Запомните это!

Осторожный Керенский сказал далеко не все то, что он думал о сочинении. Он читал и Чернышевского, и Писарева и видел, под чьим непосредственным влиянием формировались взгляды Александра Ульянова. Он не мог не заметить, что его программа содержит все те требования, какие характеризуют «новых людей». Он понял, что подразумевал Александр Ульянов под теми «внешними обстоятельствами», которые создают препятствия для деятельности, полезной людям, то есть народу. Это было царское самодержавие, которое беспощадно уничтожало революционеров, самоотверженно боровшихся за облегчение тяжелой участи своего народа. Именно для такой деятельности человек должен научиться управлять своей волей, что означало: и даже под угрозой смерти не отступать в борьбе за свои идеалы.

В людях Керенский разбирался неплохо и знал: Александр Ульянов принадлежит к тем цельным натурам, у которых слово не расходится с делом. В его характере уже теперь было много таких черт, которые названы в этой, без сомнения, его собственной программе жизни: твердость, честность, трудолюбие, самобытный ум, жажда знаний. По своему умственному развитию он безусловно

стоял на голову выше своих одноклассников. И если он пишет, что честный взгляд на обязанности по отношению к людям должен воспитываться в человеке с ранней молодости, то совершенно ясно: на формирование его высоких общественных идеалов повлияли не только книги, но и семья.

5

Когда поездка Ильи Николаевича по деревням бывала удачной, он возвращался домой веселый и счастливый. Смеялся, шутил. Не замечая, что повторяется, рассказывал, как ему удалось сломить сопротивление местных властей и добиться денег для новой школы. Саша слушал отца, и ему казалось: нет на свете дела важнее, чем строительство сельских школ. Он радовался за отца, за ребят, которые будут учиться в этой школе.

— Я непременно буду учительницей,— уверяла Аня.— Это сейчас самое главное! Самое трудное! Мне рассказывали об одной учительнице. Она не только учила ребят, а собирала по вечерам крестьян, читала им книги, рассказывала обо всем. Но кто-то донес на нее. Приехали с обыском, принялись допрашивать перепуганных крестьян. И хотя все только хвалили учительницу, ее все-таки арестовали. Когда ее увозили, вся деревня плакала. Ну разве это не героиня? Непременно пойду в народные учительницы!

После ужина Илья Николаевич позвал Сашу к себе в кабинет, сыграть партию в шахматы. Расставляя фигуры, спросил:

— Как занятия?

— Хорошо,— коротко ответил Саша.

— Что читаешь? Все еще Пушкина штудируешь?

— Нет, Пушкина уже не читаю.

— Отчего так? А-а, понимаю,— весело прищурился Илья Николаевич,— ты усвоил взгляд Писарева на Пушкина.

— Да, отчасти,— смущенно, как бы стыдясь того, что под чужим влиянием изменил своим привязанностям, ответил Саша и сделал замысловатый ход, чтобы отвлечь отца от этой темы.

В первых классах гимназии любимым поэтом Саши был Пушкин. Саша без конца мог перечитывать его стихотворения и яростно спорил с Аней, которая любила Лермонтова. Но после того как он прочел Писарева (книги Писарева были запрещены, но он достал их), любовь к Пушкину значительно охладела. Это и понятно: по натуре своей Саша был больше реалист, чем поэт. Прежде его неясным мечтаниям о свободе, о служении народу очень импонировал призыв Пушкина:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

С годами неясное желание посвятить отчизне «души прекрасные порывы» превращалось для Саши в основное дело жизни. Перед ним все с большей остротой возникал вопрос: как нужно жить? Что нужно сделать для того, чтобы не остаться прекраснодушным мечтателем, а принести хотя бы малейшую пользу людям? На этот и на многие другие вопросы он нашел ответ в романе Чернышевского «Что делать?». Восторженный отзыв Писарева об этом романе явился для Саши величайшим откровением. Он был так взволнован, что не мог оставаться один в комнате и, хотя уже было поздно, пошел с книгой к Ане.

— Аня, ты спишь? — постучавшись в дверь, спросил Саша.

— Нет, читаю! А что случилось? — увидев, что брат необычно взволнован, испуганно спросила Аня.

— Послушай! — не отвечая на ее вопрос, сказал Саша с той торжественностью, с какой преподносят небывалое открытие.— «Всем друзьям и врагам этого романа одинаково известно, что он произвел на читающее общество такое глубокое впечатление, какого не производило до сих пор ни одно творение патентованных поэтов». Как это хорошо сказано! Я не мог удержаться и не прийти к тебе. А какие тут точные мысли о страстной, безграничной, даже безумной любви к идее! Из-за такой любви Джон Говард всю жизнь провел в тюрьмах, Броун пошел на виселицу, доктор Старк довел себя до истощения, испы-

тывая на самом себе питательные свойства сахара, и умер. И дальше слушай: «Вообще, если вы хотите собрать самые крупные и рельефные примеры тех странных отношений, которые могут существовать между человеком и идеей, то вы должны будете обратиться не к художникам, а к исследователям или к политическим деятелям. К чести человеческой природы вообще и человеческого ума в особенности надо заметить, что до сих пор, кажется, ни один человек не пошел на смерть за то, что он считал красивым, и что, напротив того, нет числа тем людям, которые с радостью отдавали жизнь за то, что они считали истинным или общеполезным. У искусства не было и не может быть мучеников. Наука и общественная жизнь, напротив того, уже давно потеряли счет своим мученикам».

— Как это у искусства нет мучеников? — горячо запротестовала Аня, не перестававшая мечтать о поэтических лаврах.— А Чернышевский? А сам Писарев? А Вольтер? А Гюго?

— Они были в первую голову политическими деятелями.

— Да, но выражали они свои мысли через литературу, через искусство!

— Правильно. Но искусство было для них только формой выражения своих идей. Да и стихи бывают разные! Одни звучат как набатные колокола, а другие убаюкивают, усыпляют гражданскую совесть. И тот же Гейне, которого ты так боготворишь, говорил, что его совсем не волновало то, что хвалят или бранят его песни, но он всегда желал, чтобы на его могиле лежал меч, так как считал себя солдатом, борцом за благо человечества. А как точно Писарев говорит о Рахметове! Слушай. «Такие люди, как Рахметов, только тогда и там бывают в своей сфере и на своем месте, когда и где они могут быть историческими деятелями; для них тесна и мелка самая богатая индивидуальная жизнь; их не удовлетворяет ни наука, ни семейное счастье; они любят всех людей, страдают от каждой совершающейся несправедливости, переживают в собственной душе великое горе миллионов и отдают на исцеление этого горя все, что могут отдать».

— Изумительно! — восторженно воскликнула Аня.— И вообще: отказываюсь брать уроки музыки. У меня, может быть, действительно больше способностей шить баш-

маки, чем играть на фортепиано. И в Москву на выставку не поеду: довольно того, что и так сижу на шее у отца. Не знаю только, как с этой бедой справиться,— не могу прочитывать ежедневно по пятьдесят страниц, а Писарев говорит: тот, кто не прочитывает ежедневно до ста страниц, никогда не будет образованным человеком!

Саша и Аня так увлеклись чтением Писарева, что загрустили, когда дошли до последней страницы. Ощущение было такое, словно они расстались с необыкновенно мудрым и обаятельным человеком, который помог им многое увидеть в другом, желанном, свете. Многое из того, над чем они раздумывали, в чем сомневались, как бы отфильтровалось: одно отошло прочь, другое осталось законом на дальнейшую жизнь.

— Всего за каких-то семь лет Писарев так много сделал! — восхищенно говорила Аня, гуляя с Сашей в саду.— Да еще столько лет просидел в Петропавловской крепости.

— А Чернышевский? Разве он не в той же крепости написал «Что делать?»? Страшно подумать: всех, кто с наибольшей силой и смелостью говорит правду народу, держат в тюрьмах, ссылают в Сибирь. Говорят, жандарм, следивший за Писаревым, видел, что он тонет, но умышленно никого не позвал на помощь и сам не помог ему.

— Какое варварство! — гневно воскликнула Аня.— Какое страшное преступление!

Саша дал себе клятву — не идти ни на какие компромиссы, никогда не мириться с царящим злом, отдавать все силы своей души и ума борьбе за торжество тех идеалов, за которые, не щадя жизни, боролись лучшие люди его несчастного отечества. Он перестал ходить в церковь, хотя отец был этим явно недоволен. Весь свой досуг он проводил в своей маленькой лаборатории, где делал химические опыты. С аскетической строгостью относился к себе, тренируя силу воли, выдержку. Он работал с завидным упорством и усидчивостью. Ни минуты у него не пропадало зря. Когда вышли все домашние запасы банок и пузырьков, он начал покупать всякие принадлежности для своих опытов по химии. Все это стоило не так уж дорого, и отец мог бы дать ему денег, но он предпочитал зарабатывать их уроками, хотя найти для этого время было нелегко: в старших классах гимназии задавали много работы на дом.

Летом 1882 года Илья Николаевич принялся ремонтировать дом. Вся семья переселилась в маленький флигель. Саша в это время самостоятельно проходил курс химии по Менделееву. Он упросил отца позволить ему устроить лабораторию в маленькой кухоньке. Илья Николаевич согласился. Саша так увлекся химией, что отец и мать начали опасаться за его здоровье. Мать посылала то Аню, то Володю, то Олю — вытащить брата на прогулку. И хотя он не умел отказывать, если его о чем-нибудь просили, оторвать его от занятий было нелегко. И часто бывало так, что и посланный звать Сашу, увлекшись его опытами, «пропадал» в лаборатории.

Василий Андреевич Калашников несколько лет не был в Симбирске. И как только судьба занесла его туда, пошел навестить Ульяновых. Хотелось посмотреть на своих бывших учеников — Аню, Сашу и Володю. Ульяновы встретили его как дорогого гостя. Поговорив с Ильей Николаевичем, расспросив Аню, как у нее идет ученье, где она думает продолжать образование, похвалил девушку за то, что она решила стать народной учительницей. Спросил:

— А где же Саша? Уехал в Кокушкино?

— Нет. Дома. Колдует на кухне,— шутливо сказал Илья Николаевич.— Пойдемте, я провожу вас к нему. Не уверен, правда, что он нас примет, но попытаемся.

— Так, может, не стоит беспокоить?

— Идемте, идемте...— Возле кухни Илья Николаевич потянул носом воздух: — Чувствуете? По целым дням дышит этими газами. Я начинаю беспокоиться о его здоровье. А с другой стороны: как запретить то, к чему лежит душа? Саша, можно к тебе? — тихонько постучав в дверь, спросил Илья Николаевич.

— Пожалуйста.

Саша стоял посреди комнаты и рассматривал на свет пробирку, из которой валил густой желтый дым. На столике мерцало синее пламя спиртовки, на подставке стояла колба с бурлящей в ней синей жидкостью. Маленькая кровать, полки из свежевыструганных досок, заставленные книгами, столик с ретортами, колбами и свертками — вот и вся обстановка. Несмотря на то что в комнате стоял гу-

стой дым и удушливо пахло серой и еще чем-то, здесь было чисто и все стояло в полном порядке. Увидев Василия Андреевича, Саша приветливо улыбнулся, быстро поставил пробирку в реторту и крепко пожал ему руку.

— Рад. Очень рад вас видеть,— сказал он своим мягким, ломающимся баском.— Садитесь, пожалуйста,— пригласил он и, открыв окно, продолжал: — Мы с Аней часто вспоминали вас. Особенно в первые годы ученья в гимназии.

— Особенно Аня,— подчеркнул, улыбаясь, Илья Николаевич.

— Да, ей было еще труднее, чем мне, привыкать к гимназическим порядкам. Это верно. Но ничего — учимся. Всего один год остался.

— А после куда? — спросил Василий Андреевич.— В университет?

— Да.

— В Казанский?

Саша посмотрел на отца и, помедлив, как бы собираясь с духом, сказал:

— Нет. Думаю, в Петербург. Там вот,— он указал на раскрытую книгу, лежавшую на столе,— и Менделеев, и Сеченов, и Бутлеров. А в Казани — что? Конечно, в студенческие годы папы, когда там был Лобачевский, Казань славилась...

— И долго еще будет славиться! — ревниво вставил Илья Николаевич.— Из Казанского университета вышел не один ученый, умноживший славу России.

Заметив, что Василий Андреевич заинтересовался его опытами, Саша начал рассказывать ему о своих занятиях химией. Учитель слушал Сашу и незаметно приглядывался к нему. Молочно-бледное лицо. Широкий, бугристый над бровями лоб, красиво обвитый густыми, волнистыми волосами. Черные, немного грустные глаза светились глубокой, напряженной работой мысли. Голос тихий, точно Саша прислушивался к тому, что говорил, движения спокойные, размеренные. А в тоне голоса, во взгляде чувствовалась такая непоколебимая уверенность в своих силах, что Василий Андреевич невольно подумал: «Будущий ученый. Он достигнет той цели, какую ставит перед собой».

6

У Ильи Николаевича так и не было своей канцелярии. В дверь его кабинета постоянно стучались рассыльные, учителя, учительницы, крестьяне. Посетители приходили не только днем, а и ночью. Однажды Саша засиделся с отцом за шахматами. Часы в столовой пробили уже одиннадцать, как вдруг кто-то постучался в дверь.

— Я посмотрю, кто там,— встал Саша.

— Нет-нет,— остановил его отец.— Я сам. Это, наверно, ко мне, что-нибудь экстренное.

Он вышел и возвратился с телеграммой. Надел очки, прочел, озабоченно нахмурился,

— Мда-а...

— Что случилось?

— Заболел учитель Волков. Тиф. Посылали в Покровское за врачом, а тот отказался ехать. Просят помочь. Мда-а... Вот она, Саша, жизнь народного учителя! Никому до него нет дела. Получает гроши, живет в сырых, насквозь промерзших сторожках, воюет со старостой, попом, писарем, с деревенскими мироедами, даже за право песни петь с ребятами в школе. И вот за эту любовь к делу на него ополчаются все, норовят всеми правдами и неправдами выжить его.

— Куда же ты? — увидев, что отец, говоря это, в то же время одевается, спросил Саша.

— На телеграф. Нужно сейчас же сообщить, что я приму все меры, чтобы помочь ему.

— Давай я схожу.

— Нет, я сам. Может быть, удастся с кем-нибудь из земства переговорить. Дело ведь не терпит отлагательства. Я знаю Волкова и уверен — раз он решился обратиться за помощью, значит, дела его плохи.

— Я провожу тебя.

— Хорошо.

Ночь стояла тихая, теплая, но такая темная, что в двух шагах ничего нельзя было разглядеть. Взявшись за руки, Илья Николаевич и Саша с трудом добрались до телеграфа. Телеграфист дремал, но, увидев Илью Николаевича, вскочил и засуетился.

— Напрасно изволили беспокоиться, ваше превосходительство,— заискивающе улыбаясь, заговорил он.—

Ночью там все равно никто телеграмму не понесет. Это я доподлинно знаю. Доставят ее только завтра.

— Только завтра...— повторил про себя Илья Николаевич.— А когда же к нему врач доберется? Нет, придется все-таки сегодня же побеспокоить начальство.

Долго Илья Николаевич и Саша стояли перед домом председателя земской губернской управы. Наконец из-за двери послышался сонный голос швейцара:

— Кого там носит?

— Откройте.

— Илья Николаевич? — узнав по голосу посетителя, удивился швейцар и распахнул двери.— Простите, ваше превосходительство... Никак не думал... Никак не ожидал, что в такой поздний час... Проходите, ради бога... Прикажете доложить?

— Что случилось, Илья Николаевич? — запахивая на ходу халат, испуганно спросил председатель управы.

— Один учитель заболел тифом...

— И только? — удивленно вскинул брови председатель.— А я, простите, подумал, что опять город горит.

— Он в тяжелом состоянии,— не обращая внимания на иронию председателя управы, продолжал Илья Николаевич,— а врач отказался поехать. Я прошу вас, дайте распоряжение, чтобы врач немедленно выехал к больному.

— Хорошо,— сухо ответил председатель.— Я завтра же дам телеграмму.

— Я буду вам весьма признателен, если вы сделаете это сегодня,— мягко, но настойчиво возразил Илья Николаевич.

— Ну, если вы так настаиваете — извольте! Никифор, подай мне бумагу и чернила! — Председатель быстро набросал текст телеграммы, сердито сунул ее швейцару: — Отнеси сейчас же на телеграф!

— Если вы не возражаете, я сам это сделаю,— сказал Илья Николаевич.— Мне почти по пути.

— Как угодно!

— Прошу извинить за беспокойство. Спокойной ночи!

Возвратясь домой, Илья Николаевич долго не мог успокоиться. Саша, уже сквозь сон, слышал, как он все ходил тяжелыми шагами по кабинету, кашлял. Утром Саша проснулся чуть свет, но отца уже не было дома. Вернулся он только к вечеру, усталый, но довольный. Врач поехал к

больному Волкову и теперь через день будет навещать его.

Волков выздоровел...

7

На глухой, заштатный Симбирск в Петербурге смотрели как на место ссылки. Сюда отправляли под надзор полиции тех, кого административным порядком высылали из столиц. Так попали в Симбирск революционеры А. Кадьян, И. Соловьев, П. Горбунов — организатор типографии «Народной воли». Возвратилась из Сибири жена Соловьева — Л. Сердюкова, отбывавшая заключение в Ишимском остроге. Вместе с мужем они начали собирать вокруг себя революционно настроенную молодежь. Деятельность супругов была замечена полицией. Агент, которому было поручено наблюдение за ними, докладывал жандармскому управлению: «Как только приехал в Симбирск ее муж, тотчас же его посетили лица неблагонадежные в политическом отношении. Их знакомство состоит исключительно из лиц, политически неблагонадежных».

В той же докладной агент осведомлял свое начальство, что Соловьев открыл слесарную мастерскую исключительно для маскировки своих революционных намерений. Видел агент крамолу и в том, что к сыну Соловьева ходили гимназисты. Он просил «в корне пресечь» этот рассадник крамолы.

Многие революционеры отбывали ссылку и в уездах Симбирской губернии.

Когда в Симбирскую гимназию пришел активный участник «Черного передела» учитель Муратов, по его инициативе начали создаваться политические кружки. В них принимали участие передовые учителя, врачи, гимназисты старших классов, семинаристы. Владимир Иванович Муратов преподавал русский язык и словесность. Он превосходно знал литературу, историю и умел, оставаясь в рамках программы, подавать материал так, что в нем всегда чувствовался революционный дух. Гимназисты горячо любили своего учителя и охотно шли в созданные им революционные кружки.

Непосредственного участия в работе кружков Саша не принимал. Но он знал об их существовании и через своего

друга Владимира Волкова добывал те книги, какие обсуждали кружковцы. Помогал ему доставать запрещенные книги революционных демократов и сам Владимир Иванович Муратов, который относился к нему с большим вниманием. В условиях полицейского сыска и доносов деятельность учителя Муратова не могла долго оставаться в тайне. Не прошло и двух лет, как его уволили из гимназии и заставили покинуть Симбирск. Но если полиция выслала Муратова, то кружки, созданные им, не только не прекратили существование, а еще больше активизировались.

Однажды поутру, идя в гимназию, Саша заметил у забора кучку людей, среди них было несколько гимназистов. Саша подумал, что там лежит пьяный, и хотел пройти мимо, но Володя Волков, стоявший тут же, схватил его за руку и загадочно шепнул, подталкивая к забору:

— Подойди прочти!..

— А что там?

— Сам увидишь! Ну-ка дайте взглянуть! — расталкивая плечом стоявших впереди, двинулся к забору Волков.

Саша протиснулся за ним и увидел: на заборе приклеен лист бумаги, исписанный от руки крупными печатными буквами. Пробежав глазами первые строки, понял: это прокламация. Изо всех сил нажал на тех, кто стоял впереди, и, пробившись к самому листку, начал быстро читать.

— Вот это, это место прочти,— говорил Волков, указывая пальцем на строку: «На развалинах нынешней цивилизации тунеядцев пролетариат построит новый мир — мир труда».— Ну, что? Здорово?

— Постой, я сам,— остановил его Саша, продолжая читать.

Раздался свисток городового. Волков схватил Сашу за руку, крикнул:

— Бежим!

Друзья перебежали улицу, нырнули в ворота Карамзинского сада и спрятались за «бабой» (так называли гимназисты памятник Карамзину). Они видели, как двое городовых с опаской, точно это была бомба, принялись отдирать прокламацию, покрикивая на зевак:

— Господа, проходите!..

Мальчики перелезли через невысокую ограду сада и

побежали в гимназию. А когда во время перемены они подошли к забору, там осталось только несколько клочков бумаги.

— Чисто сработали! — сказал Волков и весело засмеялся.— Представляю, какой сейчас там переполох! По всему городу теперь, наверно, ищут бомбы. Очень хорошо там сказано! Именно так и надо: разрушить! А уж потом строить свое.

— Кто бы мог это написать? — спросил Саша.

— Есть люди,— загадочно ответил Волков.— Между прочим, я тебя могу познакомить кое с кем. И книжек достать...

— Где?

— Ладно. Скажу. Ты ведь не из болтливых. Мы с Аверьяновым начали собирать библиотеку запрещенных книг. Нам удалось уже раздобыть много интересной литературы! Чтобы фараоны нас не накрыли, мы решили держать книги не в одном месте, а в разных!

— А что вы мне можете дать? — с загоревшимися глазами спросил Саша — ему страшно хотелось прочитать книги, о которых он знал только понаслышке.— «Анти-Дюринг» у вас, например, есть?

— Есть. Но только в пересказе журнала «Слово».

— Слушай, Волков, будь другом — дай хоть на одну ночь. Я в долгу не останусь.

— Ладно. Нынче же получишь!

— Чудесно! Я буду ждать тебя. Или, может, к тебе зайти?

Волков сдержал слово: вечером он появился у Саши с журналом. Сунул его под матрац, посоветовал:

— Там и храни,— и весело засмеялся.— Один мне вернул книгу, а она вся в саже. В печной трубе лежала. Да, ты слышал, какой переполох наделала та прокламация? В гимназии какие-то субъекты шныряли, в пансионе наши фараоны все перевернули. Хорошо, что ребята заблаговременно все попрятали, а то пропало бы много ценных книг. Кстати, ты не будешь против, если мы кое-что принесем к тебе на сохранение?

— К чему ты спрашиваешь? — обиделся Саша.— Неси!

— Да мы, признаться,— улыбнулся Волков,— уже притащили их.

— Где же они?

— В сад бросили, под кусты акации. А возле забора Аверьянов сторожит.

— Что же ты молчишь? Пошли! Я их на кухне, в своей лаборатории, спрячу. Туда без меня никто не заходит.

Друзья прошли дорожкой сада к калитке, выходившей на Покровскую улицу. Саша заглянул в беседку — нет ли там кого-нибудь. Волков тихо свистнул. На его свист тотчас откликнулся Аверьянов. Саша хотел было отпереть калитку, но Аверьянов остановил его:

— Я и так перелезу!

Саша сложил книги за печкой и пошел проводить друзей. Аверьянов откуда-то узнал, что директора гимназии Керенского вызывал к себе начальник Симбирского жандармского управления фон Брадке, и завтра, как видно, всем будет нагоняй.

— Городовые видели,— рассказывал Аверьянов,— гимназистов возле прокламации и, наверно, думают, что это наших рук дело. Так что нужно держать ухо востро.

Вернувшись домой, Саша заперся в кухоньке и начал просматривать книги, которые принесли ему ребята. Тут были: «Прогресс в мире живом и растительном», «Происхождение видов», «Рикардо и Маркс», «Кому принадлежит будущее», «Теория и практика прогресса»... У него даже глаза разбежались при виде такого богатства. Он перелистал все книги, любовно сложил их на место и принялся за «Анти-Дюринга».

Аверьянов не ошибся: после утренней молитвы — на нее явилось все гимназическое начальство — директор собрал всех в актовом зале и принялся читать мораль. Говорил он долго, нудно, повторяя на разные лады одно и то же:

— Вы обязаны беспрекословно повиноваться начальству. Вы должны следить за поведением своих товарищей и, если нужно, поправлять их, удерживать от неблаговидных поступков. Ваш священный долг — исполнять требование религии и церкви...

Законоучитель, протоиерей Юстинов, согласно закивал широкой бородой: так, мол, так.

— Ну, завел — «должны, обязаны», подохнуть можно,— шепнул Саше Аверьянов, с трудом удерживая зевок.

— Вы должны уважать чужую собственность,— продолжал вещать Керенский,— оберегать ее от всяческих по-

сягательств. Наша гимназия гордится тем, что ни один ее воспитанник не был замешан в преступных политических делах, какие ныне все чаще и чаще нарушают общественный порядок. Вчера вблизи гимназии обнаружен наклеенный на забор листок крамольного содержания. Некоторые из наших учащихся видели его, но никто не поднял тревоги, не уведомил меня. Больше того: все стремились, не понимая, чем это грозит, прочесть листок. Позорное это, преступное любопытство! Я строго предупреждаю: все, кто будет замечен в чем-либо подобном, будут сурово наказаны...

После Керенского так же долго и нудно поучал гимназистов протоиерей Юстинов, грозя обрушить на их головы небесные кары. Затем принялся за них инспектор Христофоров. А за ним начали высказываться и те учителя, которые больше всего на свете боялись, чтобы их не занесли в списки неблагонадежных. Но это было только начало антикрамольной кампании. С этого дня посреди урока то и дело распахивалась дверь и показывалась багровая физиономия помощника классного наставника:

— Волкова к директору! Ульянова к инспектору!

В пансионе и на квартирах гимназистов участились обыски. Одну книгу журнала «Современник» с запрещенной статьей Добролюбова нашел где-то сторож. Поднялся страшный переполох. Опять начали вызывать всех к начальству, но так и не дознались, кто принес журнал в гимназию.

8

Граф Дмитрий Андреевич Толстой сел в кресло министра народного просвещения благодаря выстрелу Каракозова. А выбросил его из этого насиженного кресла взрыв в Зимнем дворце пятого февраля 1880 года, подготовленный Степаном Халтуриным. Итак, граф Толстой с помощью Каткова и Победоносцева четырнадцать лет искоренял крамолу, но древнегреческий и латинский языки явно подвели его: революционное движение в стране не только не затихало, но с каждым годом разгоралось сильнее. Катков начал доказывать Толстому, что это происходит потому будто бы, что они до сих пор не реорганизовали университеты. И что это нужно сделать как можно скорее.

Катков сочинил проект нового устава. Граф Толстой передал устав в Государственный совет. И тут раздался взрыв в Зимнем. К власти пришел Лорис-Меликов. Всем стало ясно, что дни графа Толстого сочтены,— человек, «созданный, чтобы служить орудием реакции», явно не устраивал Лорис-Меликова с его «диктатурой сердца». Нужен был только повод, чтобы устранить Толстого. И он нашелся — Толстой обвинил министра внутренних дел Макова в том, что его «подкупили раскольники». Маков вызвал Толстого на дуэль. До дуэли не дошло, но царь после этого сказал:

— Я тебя поддерживал, сколько мог. Но теперь, когда против тебя даже твои товарищи, уже нельзя оставаться министром...

«После двухмесячных трудов и усилий,— писал одному из своих корреспондентов Лорис-Меликов,— удалось, наконец, достигнуть смены графа Толстого, злого гения русской земли. Радость была общая в государстве. В Зимнем дворце целовались у заутрени, приветствуя друг друга словами: «Толстой сменен, воистину сменен!»

Так Толстой и ушел в отставку, не успев провести в жизнь написанный Катковым университетский устав. На должность министра народного просвещения Лорис-Меликов поставил Андрея Александровича Сабурова, бывшего пять лет попечителем Дерптского учебного округа и, по слухам, врага Толстого. Сабуров, как и Лорис-Меликов, проводил политику «кнута и пряника». Восьмого февраля 1881 года, когда Сабуров прибыл в университет на торжественный акт, студент Подбельский дал ему пощечину. А студент Коган-Бернштейн, забравшись на хоры, произнес оттуда речь, объяснив, что эта пощечина — «благодарность» министру за его хлопоты о новом университетском уставе.

Илья Николаевич в это время переживал тяжелые дни: Сабуров не согласился оставить его после двадцати пяти лет службы еще на пять лет, как это обычно делалось, чтобы дотянуть до пенсии. Он неодобрительно смотрел на прогрессивную деятельность Ильи Николаевича и разрешил ему прослужить сверх срока в должности директора народных училищ всего лишь один год. Было ясно: все, что сделал Илья Николаевич для просвещения народа, не только не считалось его заслугой, а наоборот — вменялось в вину. А если вспомнить, что на содержании у Ильи Николаевича

была большая семья, то нетрудно представить себе, в каком положении он очутился.

— Папа, ты знаешь, что студент дал пощечину министру Сабурову? — спросил Саша.

— Нет. Впервые слышу.

— Дал. И знаешь, за что? За новый университетский устав, по которому, как мне сказали товарищи, начальству будет разрешено даже розгами сечь студентов...

— Я устава не читал, но не думаю, чтобы там был такой пункт,— возразил Илья Николаевич.— И вообще, Саша, эта история не делает чести студентам. Я говорю это тебе потому, что вижу: ты одобряешь поступок студента. Но представь себе на минуту: я вхожу к вам в класс, а какой-то гимназист встает и бьет меня по лицу.

— Тебя никто и никогда не посмеет ударить! — необычайно горячо ответил Саша.— Я тебе никогда об этом не говорил, а теперь скажу, чтобы ты знал,— тебя все товарищи мои, все гимназисты, вообще все ученики очень уважают. Если б ты знал, как все возмущены, что тебе разрешили служить директором только один год. И теперь все говорят: так министру и нужно. Эта пощечина ему и за Илью Николаевича, за тебя то есть...

— Я рад, Саша, что твои друзья хорошо относятся ко мне,— сказал с улыбкой Илья Николаевич. Его растрогала эта необычная откровенность сына.— Но бить по лицу человека, тем более старшего тебя годами, все-таки очень нехорошо, это унижает человеческое достоинство и того, кого ударили, и того, кто ударил.

— Согласен. Но как быть, если все другие формы протеста невозможны? Ведь ни одна газета не согласится напечатать письмо студентов министру с протестом против этого варварского устава. Студенты могли бы устроить демонстрацию. Но ты знаешь, как жестоко поплатился Боголюбов, участник демонстрации на Казанской площади? Мало того, что дали пятнадцать лет каторги, его еще и высекли розгами. Кто скажет, что стрелять в людей — дело хорошее? Никто! Но ведь суд оправдал Веру Засулич, хотя она и ранила генерала Трепова? Оправдал! И эту пощечину, если хочешь, папа, так же, как и выстрел Веры Засулич, все оправдывают. Добавляют только: жаль, что граф Толстой ушел в отставку без пощечины. А ему за все, что он натворил, не только пощечины, а и

пули не жалко. Вот, папа, какие разговоры вызвала эта пощечина министру. Я думаю, ты не станешь сердиться на меня за то, что я с тобой, как всегда, говорю откровенно.

— Нет, Саша, за это тебе спасибо. Я тоже всегда откровенен с тобой и сейчас скажу, что меня больше всего взволновало в твоем рассказе.— Илья Николаевич помолчал и снова заговорил: — Я замечаю, что ты одобряешь выстрелы, демонстрации, крестьянские волнения. Или, может быть, я ошибаюсь?

— Нет, папа, ты не ошибаешься. Всякое насилие вызывает во мне лютую ненависть. И если на казнь отвечают выстрелами — я не могу понять, где тут несправедливость, о которой так кричат газеты? Ведь если принять эту официальную логику, то и турки во время трех штурмов Плевны не имели права стрелять в наших солдат. Нет, на войне как на войне, ты и сам это нередко говорил.

Илья Николаевич только вздохнул: что тут возражать, Саша — он это хорошо видел — по многим вопросам имеет уже собственное мнение. Мнение, которое превратилось в твердое убеждение, ведь Саша не из тех, кто легко принимает какую-нибудь мысль и так же легко отказывается от нее. Не со всеми его убеждениями Илья Николаевич соглашался, но и восставать против них тоже не мог. Он понимал — в данном случае уже недостаточно отцовского авторитета, чтобы заставить Сашу прислушаться к его советам. Он понимал — такую попытку давления Саша воспримет как моральное насилие и замкнется в себе. А при его характере это будет еще хуже. Вот, например, Саша всегда ходил с ним в церковь. А вчера Илья Николаевич спросил:

— Ты, Саша, пойдешь ко всенощной?

Саша долго молчал, как бы обдумывая, что ответить, потом сказал коротко, но твердо:

— Нет.

Это «нет» прозвучало так непоколебимо, что Илья Николаевич перестал спрашивать сына, пойдет он в церковь или нет. Было ясно: с религией Саша порвал раз и навсегда. Но Саша никогда не слышал от отца ни слова упрека. Илья Николаевич рассуждал так: в шестнадцать лет человек уже в состоянии решить, что принимает его душа, а чего — нет. Такого правила Илья Николаевич придерживался и в отношении своих детей. Он их учил, он их

убеждал, но никогда не навязывал силой того, что они не воспринимали. Именно за это дети не просто любили отца, а буквально благоговели перед ним.

Пощечина министру просвещения Сабурову, а вслед за этим — убийство Александра II вынудили Сабурова подать в отставку. Победоносцев, взявши бразды правления в свои руки, писал Александру III: «Управление Сабурова министерством народного просвещения останется памятным надолго. Оно посеяло такие ядовитые семена, что бог знает, когда удастся заглушить их».

Здесь, как и во всех своих письмах в первые дни царствования Александра III, Победоносцев сгустил краски: Сабуров посеял не так уже много «ядовитых семян», как он ему приписывал. Просто Победоносцев ни перед чем не останавливался, чтобы освободить все места в правительстве для своих людей. «Эти люди — враги Ваши»,— пишет он царю про Лорис-Меликова и всех, кто поддерживал его, опасаясь, как бы они не перетянули царя на свою сторону, и требует их немедленной отставки. Он лихорадочно ищет людей, которые могли бы занять освободившиеся министерские кресла. В кресло министра просвещения Победоносцев сажает дряхлого, ограниченного барона Николаи. «Позволю себе доложить Вашему величеству,— пишет он Александру III,— что я, по совести и разумению своему, не знаю другого лица, кроме барона Николаи. Как ни перебираю в памяти — никого не существует...» Победоносцев на полуслове обрывает мысль, но ее не трудно продолжить: «никого нет, кто бы разделял мои взгляды на народное просвещение».

Услыхав о назначении барона Николаи министром народного просвещения, Илья Николаевич сказал Яковлеву, который как раз зашел к нему в этот день поговорить о постройке чувашских школ:

— Думаю, Иван Яковлевич, что это последние наши постройки.

— Почему? — удивился Яковлев.— Вас не хотят оставить еще на пять лет?

— Это, Иван Яковлевич, еще полбеды. Не буду я — будет кто-нибудь другой. Беда вот в чем: новым министром нашим назначен барон Николаи.

— Тот, который управлял учебной частью на Кавказе?

— Тот самый. Год он был товарищем министра народ-

ного просвещения. Читал я тогда его статьи, слышал, как он руководил просвещением на Кавказе... Хуже, все будет хуже, чем было. В этом я уже убедился...

Но и барон Николаи не устроил Победоносцева,— старец оказался слишком упрямым, обидчивым. А Победоносцеву нужен был такой министр народного просвещения, который умел бы делать одно: заискивающе глядеть ему в глаза, на лету ловить его мысли и беспрекословно выполнять его повеления. Такой нашелся — это был Иван Давыдович Делянов, много лет состоявший при министерстве.

После падения Сабурова Илье Николаевичу было разрешено остаться в своей должности еще на пять лет. Произошло это вовсе не потому, что наконец увидели, что он сделал для народного просвещения губернии, и оценили его труды. Нет! Сыграл роль простой случай. Барон Николаи, усевшись в министерское кресло, по подсказке Победоносцева отменил все распоряжения Сабурова, исходя из одного принципа: если это сделал Сабуров, значит, плохо, значит, нужно отменить.

Но в последующие годы Илье Николаевичу не однажды приходила в голову мысль, что, пожалуй, лучше было ему покинуть его должность. Ведь на его глазах разрушалось, по одному мановению Победоносцева, все то, что он с таким трудом строил. Его детища — земские школы — уничтожались, а насаждались церковноприходские. Епископ Евгений и его церковная братия провозглашали анафему всему, что было введено Ильей Николаевичем в сельских школах.

Илья Николаевич говорил жене:

— Если б ты знала, Маша, как тяжело, как нестерпимо тяжело стало работать. И главное: никаких надежд на лучшее.

— А может, все-таки...

— Нет. Пока Победоносцев будет у власти, об этом и думать нечего. В сельских школах вскоре будут делать одно — петь молитвы. А сколько было сделано! Приходится, как видно, признать: все хорошее, что оставил по себе покойный государь Александр Николаевич, его сын отменяет...

А когда Илья Николаевич услышал, что к власти вернулся граф Толстой,— Победоносцев посадил его в кресло министра внутренних дел,— то и совсем пал духом.

— Никогда я не думал, что возвратятся времена Николая Первого,— говорил он.— И вот самому привелось дожить. А поскольку копия всегда хуже оригинала, то нетрудно представить себе, какая жизнь нас ждет. О детях я уже и не говорю,— на их долю выпал тяжкий крест...

9

Первый тост был за окончание гимназии. Все с сияющими улыбками чокнулись, расплескивая вино, и в торжественном молчании выпили.

— Да здравствует свобода! — поднимая вторую рюмку, крикнул Валя Умов.— Ура!

— Ур-ра!

Тост следовал за тостом. Саша впервые в жизни пил так много и уже начинал чувствовать: хмель ударяет в голову. Не пить совсем было невозможно, и он старался не отставать от других. Шум стоял неимоверный, никто никого уже не слушал, компания разбилась на несколько групп, так легче было каждому провозглашать свои тосты.

— Господа!..

— Друзья! Предлагаю! За упокой души злой мачехи латыни!..

Этот тост неблагодарные пасынки «злой мачехи латыни» встретили громовым хохотом. Маленький Леня Саушкин несколько раз порывался произнести и свой тост, но его тоненький голосок тонул в общем гаме. Наконец, улучив минуту тишины, он вскочил на стул и крикнул:

— За того, кто за весь класс работал...

Все откликнулись:

— За Ульянова!

— Саша, за тебя!

Все кинулись к Саше, выпили и начали просить, чтобы он что-нибудь сказал.

Наклонив голову, Саша молчал, собираясь с мыслями. Потом обвел всех внимательным взглядом и, после небольшой паузы, начал тихо:

Покорись — о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,
Захватило вас трудное время
Не готовыми к трудной борьбе.

Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...

Но я, как в вечную жизнь, верую: «Пламя юности, мужество, страсть и великое чувство свободы» не угаснут в наших сердцах! Мы никогда не покоримся «неизбежной и горькой судьбе»!

— Не покоримся! — хором, точно клятву, произнесли все.

Миновали девять лет ученья в гимназии. В аттестате зрелости Александра Ульянова значилось: за отличные успехи он награжден золотой медалью...

У Саши было такое чувство, точно он из тюрьмы вышел на волю. Теперь не нужно зубрить мертвые языки, а можно изучать естествознание, химию. Выбор факультета был для Саши делом решенным. Родные тоже одобрили его, хотя очень не хотелось им отпускать Сашу в Петербург. Мать просила его:

— А ты хорошенько подумай. Ведь Казань ближе. И жить будешь у своих.

— Нет, мама,— мягко, но решительно отвечал Саша.— Мне надо ехать в Петербург. Я чувствую, что только там смогу работать в полную силу. Ну, подумай сама: там ведь все наши лучшие ученые.

— Очень больно мне с тобою расставаться,— признавалась мать.

То, что Саша выбрал естественное отделение, многих удивило. И понятно: все старались получить такую специальность, которая позволила бы скорее «сделать карьеру». А Саша любил науку и ненавидел чиновничество: чиновник должен служить царю верой и правдой, о чем Саше даже думать было противно. Отдать все силы науке — это совсем другое дело...

10

Кроме Ульяновых в Кокушкино приезжали с семьями и сестры Марии Александровны. Детей собиралось много. Делились они на три группы: старшие, средние и малыши. Саша, Аня и кузина Маруся создавали свой ма-

ленький кружок. Они почти не участвовали в общих играх, а уединялись в каком-нибудь укромном уголке и там декламировали стихи, говорили о прочитанных книгах. Ане нравился Андрей Болконский, кузине — Пьер, а Саше — Долохов. Аня и Маруся не могли понять, как это скромный, застенчивый Саша берет себе идеалом протестанта, скандалиста, дуэлянта Долохова.

— Ты просто шутишь,— горячилась Аня.— Ты просто хочешь подразнить нас.

— Нет,— серьезно отвечал Саша.

— Ведь Долохов злой! Жестокий!

— Со своими врагами,— отвечал Саша.— А вспомни, как он относился к матери? Как нежно любил ее? Да и злоба его против кого направлена? Против тех, кто слабее его? Нет, он ненавидел тех, кто чванился, что рожден князем. А кто с ним мог соперничать в смелости?

Больше всего спорила с Сашей Аня, и, когда Марусе надоедало их слушать, она, с улыбкой заглянув в глаза Саше, спрашивала:

— Как дальше? «В их поцелуях крылся путь к изменам...»

Прервав спор на полуслове, Саша продолжал стихи:

От них я пьян был виноградным соком,
Но смертный яд с ним выпил ненароком,
Благодаря кузинам и кузенам...

Не успевал Саша дочитать стих, как Маруся загадывала новую строку. Аня обижалась, что брат быстро переключил свое внимание на Марусю, ревновала его к ней. Саша чувствовал свою вину перед Аней, но что поделаешь, если ему было так радостно говорить с Марусей, слышать ее веселый смех, встречать ее жаркий взгляд. Маруся здесь, она говорит, смеется, и на душе у него светло и спокойно. Нет ее, и словно бы не хватает чего-то самого дорогого, желанного. Даже в присутствии Ани он начал смущаться, увидев Марусю. Их все чаще видели вдвоем. Аня понимала — это не только дружба...

Лодка тихо плывет по течению. Вечереет, и в густой синеве неба мерцает вечерняя звезда. Она искрой поблескивает в воде и, кажется, все время бежит перед лодкой.

В густых кустах на берегу Ушни вскрикнула какая-то птица, в воде плеснулась рыба.

— Саша, здесь очень глубоко? — тихо спрашивает Маруся, боясь пошевельнуться.

— Нет, здесь веслом можно достать дно.

— А вода такая темная, точно под лодкой — бездна.

Саша молчит. По тону и голосу Маруси он догадался, что она сейчас скажет. И не ошибся. Сорвав кувшинку, Маруся вдруг спрашивает:

— А как ты думаешь, Аня очень обиделась, что мы на целый день сбежали от нее?

— Увидим,— уклончиво отвечает Саша, удивляясь про себя, как это он за все время ни разу не вспомнил про Аню.

— Я думаю, она очень обиделась,— после продолжительной паузы делает вывод Маруся.— Но.., Саша, что это?

— Должно быть, филин...

— Боюсь я его...

— Ты еще что-то хотела сказать,— тихо, осторожно напоминает Саша.

— Не помню... Саша, а скажи — только, пожалуйста, откровенно! — какие недостатки ты находишь в моем характере?

— Я не задумывался над этим. А вот уже и наша купальня,— поспешил Саша переменить тему.— Сиди спокойно, а то опрокинемся.

Помогая Марусе выйти из лодки, Саша невольно обнял ее. Маруся не отстранилась, а только испуганно оглянулась: не увидел ли кто-нибудь? У Саши гулко забилось сердце. Маруся мягко выскользнула из его объятий и побежала по шатким мосткам на берег. Саша не пошевелился, пока не затихли ее шаги. Долго стоял возле купальни, прислушиваясь к сердцу, в котором рождалось какое-то новое, неведомое чувство. Идти домой, встречаться со всеми и объяснять, где был, то есть с таким чувством в душе вести будничные разговоры — казалось кощунством. Он снова сел в лодку, переплыл на другой берег и пошел по лугу к копнам сена, маячившим в тумане. С луга хорошо был виден дом. Вот вспыхнул свет в ее окне. У Саши защемило сердце: зачем он забрался сюда? Ведь он мог быть сейчас рядом с нею! Он мог бы слышать ее голос. Что она сказала Ане? Как объяснила его исчезновение? А то они пойдут искать его, и тогда, конечно, Аня бог знает что по-

думает. Как же ему только теперь пришла в голову такая простая мысль? Он побежал к лодке...

С той памятной прогулки на лодке между Сашей и Марусей возникли новые отношения. Они оба, не сговариваясь, держались так, точно знали какую-то великую тайну, принадлежавшую только им. Понимали друг друга с полуслова. Умели каждому слову оттенком голоса, взглядом придать другой, только им одним понятный смысл. От Ани это не укрылось, и она чувствовала себя прямо несчастной: ей не хватало теперь Саши...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В доме тихо. Слышен только стук часов. Край неба, видный в окна, уже порозовел, а Мария Александровна еще глаз не смыкала. Завтра — нет, теперь уже сегодня — Саша уезжает. И не в Казань, а в Петербург. Разумом она соглашалась, что так и должно быть, но сердцем... Как он будет жить там один? Правда, вслед за ним туда поедет и Аня, но на ее помощь нечего рассчитывать. Напротив, Саше придется поддерживать Аню, помогать ей во всем, как это он и дома делал.

Разумеется, Марию Александровну, как каждую мать, которая передает своих детей на попечение чужим людям, волновало, что в Петербурге некому за ними присматривать, и что они лишатся домашнего уюта, родительского тепла. И все же не это главное. Мария Александровна хорошо знала: из Петербургского университета больше всего студентов пошло на виселицы, в тюрьмы, в ссылку. А что дали эти жертвы? Только усилили реакцию. Она боялась, как бы и Сашу не постигла такая же участь. Успокаивало одно — он настолько увлечен наукой, что у него не будет времени на другие дела. Хотя... Не побоялся же он выступить против учителя Пятницкого, рискуя повредить себе. Но нет! Это были пустяки. Там ему пришлось выступить вместе с друзьями, иначе его высмеяли бы. А когда дело пойдет о более серьезном, Саша все взвесит, прежде чем сделает что-нибудь.

Утром Илья Николаевич, поняв по бледному лицу жены, что она не спала всю ночь, спросил:

— Тебе нездоровится?

— Неспокойно что-то на душе,— ответила Мария Александровна, тяжело вздохнув.— Все кажется, что в Казани Саше было бы лучше.— И, заметив, как нахмурился Илья Николаевич, поспешила добавить: — Я не упрекаю тебя за то, что ты отпустил его в Петербург. Мне просто трудно привыкнуть сейчас к мысли, что он будет так далеко от нас.

— Что поделаешь: время делает свое. Да за Сашу я мало беспокоюсь, он вполне самостоятельный. А вот Аня... Ей трудно придется. Между прочим, все косятся на меня за то, что мы отпускаем и ее на курсы.

— А чего же они хотят? — сердито спросила Мария Александровна, вспомнив, как она сама не смогла получить образование.— Чтобы женщины ограничивались только гимназиями? Или уже есть проект и в гимназии их не принимать?

— Проекта такого нет, но... государь, как мне сказали, недоволен женскими курсами.

— Государь...— Мария Александровна горько улыбнулась.— Это он — первый из всех царей России — признал равноправие женщин только в одном — в праве умирать на эшафоте вместе с мужчинами.

— Да, тяжелое время... И я, как ты помнишь, когда убили Александра Второго, говорил — будет хуже. В народных школах все теперь признается излишним: и пояснения к тому, что читают дети, и рассказы об окружающем мире. Скоро, пожалуй, и самые школы признают лишними.

До Нижнего Новгорода Саша мог доехать на пароходе. Оттуда — поездом через Москву в Петербург. По Волге ему приходилось плавать, а железной дороги он еще не видал. Как-то отец хотел его и Аню взять с собой в Москву на Всероссийскую выставку. Но Аня, зная, что это связано с лишними расходами, отказалась ехать. Саша поддержал ее, и поездка не состоялась.

— Завидую я тебе, Саша,— по дороге на пристань говорил Володя.— Ты Москву увидишь, Петербург, Займешься любимым делом.

— И ты изучай химию. Я и лабораторию свою оставляю.

— Попробую. Но меня не очень привлекают твои пробирки.

— А что ж тебя привлекает?

— Пока что...— Володя шутливо прищурился,— пока что только шахматы. Давай сыграем по переписке?

Саша не поддержал шутки и прекратил разговор на эту тему — он понял, что Володя не хочет быть откровенным. Чувствовал Саша и другое: Володе грустно расставаться с братом, и он шутит, чтобы скрыть свое истинное настроение.

С отъездом Саши Володя лишался лучшего своего друга, к которому привык обращаться по любому поводу. Брат умел работать так увлеченно и настойчиво, что нельзя было не подражать ему. И если Володя, когда подрос, уже не говорил: «Как Саша, так и я», это отнюдь не означало, будто он ничему не учился у старшего брата. Напротив! От наивного детского подражания он перешел к сознательному освоению того, как нужно работать, добиваться поставленной перед собой цели.

На палубе парохода Саша прощался со всеми. Оля плакала. Аня и мать успокаивали ее. А отец просил, недовольно хмуря брови:

— Полно, Оля...

Наконец раздался гудок, и все заторопились к трапу. Володя резко повернулся к Саше и крепко обнял его. Такой неожиданный и искренний порыв брата до глубины души тронул Сашу. Он радостно и в то же время виновато улыбнулся, сказал дрогнувшим голосом:

— Летом увидимся.

— А на Новый год?

— Работы будет много...

— Ясно.

— Пиши, какие книги тебе нужны.

— Спасибо... Прямо не верится, что целый год тебя не будет...— Володя тряхнул головой, как бы отгоняя невеселые мысли, продолжал: — Ну, это так... прощальное настроение! А вообще страшно рад за тебя!

С берега донеслись взволнованные голоса:

— Володя, трап!

— Трап убирают!..

Володя кинулся к трапу, едва успел спрыгнуть на берег. У него было такое чувство, будто он не сказал Саше чего-то очень важного — а чего, никак не мог понять. С таким чувством он и домой вернулся. Сел за книгу, но никак не мог сосредоточиться на чтении. Подошел к Сашиной книжной полке, и сердце опять сжалось. Теперь он уже не найдет здесь новых интересных книг. Не с кем будет и поспорить. А как хорошо было! Прочтет книгу, а вечером, когда Саша, весь пропахший в своей лаборатории едким дымом, возвратится, они начинают обсуждать ее. И Володя часто радостно отмечал: он обратил внимание на те же места, что и Саша. Но случалось и так, что они по-разному понимали прочитанное. И Володя, при всем его уважении к авторитету брата, горячо отстаивал свое мнение. Поднимался такой шум, что матери приходилось успокаивать их. На другой день Оля спрашивала:

— Володя, о чем вы спорили? — И сокрушалась: — Ах, как я завидую, что твоя комната рядом с Сашиной!

В этот день и Оля бродила как потерянная. Несколько раз принималась играть на рояле. Весь дом наполнялся отчаянно-бурными звуками, и вдруг рояль стихал, словно струны в нем оборвались. За вечерним чаем все были молчаливы. Даже Митя и Маняша, подчиняясь общему настроению, тихо сидели за столом. И о чем бы ни заходил разговор, незаметно он сводился к отъезду Саши. А когда вскоре уехала и Аня, дом, казалось, совсем опустел.

2

Денег у Саши было мало, и он ехал в третьем классе. В вагоне тесно, душно, грязно. Огарок свечи, как в тумане, чуть виднелся в густом табачном дыму. В своей химической лаборатории Саша привык к тяжелым запахам, к испорченному воздуху. И все-таки в вагоне он буквально задыхался. Слезал с полки и выходил в тамбур. Тут дышалось легче, но на каждой станции между кондуктором и мужиками разыгрывались такие дикие сцены, что лучше было дышать вагонным смрадом, чем смотреть на все это.

Бывая в Кокушкине и окрестных деревнях, Саша внимательно присматривался к жизни крестьян. Карпий, с которым он ходил на охоту, тоже о многом рассказывал ему, и Саше казалось, что он знает, как живет народ. Но оказа-

лось, знает он далеко не все. Да, народу тяжко. Земли у крестьян так мало, что она не обеспечивает им даже хлеба насущного. И все-таки, как видно, существуют еще более обездоленные люди.

— Отрезали нам, значит, тот дарственный надел,— рассказывал с какой-то желчной иронией тощий, сгорбленный старик.— И что же это, люди добрые, за земля? Солонцы! На них и бурьян не растет! Вот и вышло: подарили нам то, что никто и даром не брал. Ну вот. Мужики поскребли затылки да к помещику! Что ж это, мол, такое? А он достает какую-то книжицу и говорит: «Вот положение, подписанное самим государем императором, а в нем указано...» — и пошел читать. У меня тут вот,— мужик ударил себя в грудь,— все вскипело. Не выдержал и кричу: «Вранье! Не может быть для мужика воли без земли! Давай нам землю!» Тут мужики и вспыхнули, как солома на ветру: «Давай землю!» А помещик в ответ: «А шомполов не хотите? Так я сейчас солдат вызову». Тут все как завопят: «Что ж это такое? Царь волю объявил, а он, подлец, вон что говорит! Так не бывать же по-твоему! Бей! Жги!» Ну, и разнесли мужички все как есть...

— И его тоже?..— спросил парень, слушавший старика, разинув рот.

— Все погорело,— старик вздохнул, сгорбясь.— Но и его слова сбылись. И шомполов мы отведали, и вшей в тюрьмах да на этапах покормили, и на каторге помаялись. Да мужик — он как червяк: его, грешного, на куски режут, а он все вертится, все ползет...— Старик перекрестился и торжественно заключил: — И попомните мое слово, православные, доползет!..

Долго в купе стояла тяжелая, гнетущая тишина. Слышен был только стук колес.

— Ну, а как же там, в Сибири? — нарушил молчание тот же паренек.

— Живут...— неохотно ответил старик. Он, должно быть, сообразил, что увлекся и хватил лишку, а потому начал закруглять речь каким-то другим, простодушно-покорным тоном.— Бог всюду есть. Он и карает, он и милует... Я вот его милостью да подаянием добрых людей домой пробираюсь. Пожить не довелось, так хоть упокоюсь в своей земле. Эти два аршина пока что ни у кого не отняли...

И так всю дорогу: о чем бы ни заходил разговор, он неизменно сводился к самому наболевшему — к безземелью. «Нету земли,— сокрушенно вздыхали мужики,— нету и хлеба». А за окном вагона расстилались необозримые поля. Невольно думалось: «Чья же эта земля? Кому идут плоды ее? Конечно, не тем, кто кровавым пòтом добывает их. И долго ли еще так будет?»

— Все народ поел: и собак, и кошек, и кору древесную,— рассказывала одна старуха плачущим голосом,— и все-таки не спаслись, все перемерли. Один вот мальчонка остался,— она указала на худого, оборванного мальчика.— А куды его девать-то?

Саше не трудно было представить себе, какая участь ожидала сироту. А сколько таких вот, как этот мальчуган, голод погнал по миру? Саша вспомнил слова любимого поэта:

В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Сашу всегда волновала «Железная дорога» Некрасова, но сейчас он с новой силой ощутил страшную правду ее. Впечатления были так сильны, что он и во сне увидел толпу мертвецов, обгонявших чугунку. Впереди бежал тот старик, который возвращался с каторги, и кричал: «Бей! Жги!» Толпа мертвецов навалилась на поезд, стало темно, затих перестук колес...

Саша проснулся. В вагоне тихо. Но что это? Действительно ли слышно пение, или ему только чудится? Нет, кто-то тихо тянет заунывный, похоронный мотив.

О чем же думает этот человек? Откуда он идет? Тоже с каторги? И его именно здесь вот «секло начальство, давила нужда»?

Ане он сказал, когда она приехала в Петербург:

— Говорили, что по железной дороге хорошо ехать. А по-моему, просто наказание.

— Я тоже страшно измучилась.

— Все, абсолютно все делается так,— продолжал Саша,— что оборачивается наказанием для народа. Свободу объявили — земли не дали, железную дорогу строили на

костях народных, а возят народ, как скотов. Я столько всего наслушался, что постарел, должно быть, лет на десять. Того чиновники ограбили, того в тюрьме ни за что всю жизнь гноили, того до смерти засекли... Я прямо понять не могу, какое должно быть сердце у царя, чтобы не видеть и не слышать всего этого?

3

В Петербурге жила Сашина двоюродная сестра Екатерина Песковская. Поскольку, кроме Песковских, Саша никого в городе не знал, он и поехал с вокзала прямо к ним — оставить вещи и начать поиски квартиры по адресам, которыми запасся в Симбирске. Ему не хотелось жить у родственников — знал, что это неизбежно свяжет его. Да и еще он невольно окажется как бы в неоплатном долгу перед ними.

Песковские встретили его приветливо. Муж сестры, Матвей Леонтьевич, известный уже в ту пору журналист, предлагал показать Саше город. Но тот отказался от его услуг: Матвей Леонтьевич очень любил поговорить, не замечая, что безбожно повторялся. В его речах постоянно звучала менторская струна (он писал статьи по вопросам педагогики), и это Саше тоже не нравилось. Он решил один начать знакомиться с городом, о котором так много читал и о котором так часто думал и мечтал. Нанял извозчика — на первых порах не грех было потратиться — и поехал в университет.

Нет, сотню лет можно изучать город по книгам, картам и рисункам, но все это не сравнится даже с одной только поездкой по нему. Здания, улицы, мосты — большие и малые, наконец памятники,— глаза разбегаются, а душу все больше охватывает восторг от одного сознания, что все это — творение людских рук, что все это он видит, что здесь он будет жить и учиться. Когда извозчик выехал к Зимнему дворцу, Саша остановил его. Расплатившись за проезд, пошел по Дворцовой площади к «Александрийскому столпу», невольно вспомнив строки Пушкина:

> Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
> К нему не зарастет народная тропа,
> Вознесся выше он главою непокорной
> Александрийского столпа.

Вот здесь, на этой площади, Владимир Соловьев стрелял в царя, а тот панически бежал от него. Как сообщали газеты, «его величество поспешно удалялся»,— ведь сказать «бежал» было бы унизительно для царя, хотя он и летел, петляя как заяц. Здесь царь впервые в жизни показал, что недаром с пеленок носит военный мундир, украшенный боевыми орденами,— бежать от «врага» он умел.

Вот и Зимний с застывшими статуями богов и богинь. Здесь грянул оглушительный взрыв, в котором, точно в далеком ударе грома, слышалось приближение грозы. Через год после взрыва в Зимнем Александра II из этого же дворца повезли на катафалке в Петропавловскую крепость. Вон там, за Невой, горит на солнце ее золотой шпиль.

Саша вышел на набережную, к Дворцовому мосту, посмотрел налево и увидел колонны биржи, белое здание Академии наук, а за ним — красный университет. Сердце его усиленно забилось: вот его *alma mater!*[1] Скорее туда! Здесь же, возле Адмиралтейства, как он знал из книг, памятник Петру I и Сенатская площадь, где пролилась кровь декабристов. Но все это он рассмотрит после. А сейчас — в университет!

На мосту Саша несколько раз останавливался и оглядывался на Зимний дворец. Странная мысль мелькала в голове: Александр II, пожалуй, держал своих врагов в казематах Петропавловской крепости потому, что тюрьма эта была видна ему из окон дворца. Значит, он сам был первым и неусыпным их стражем. Эти высокие, одетые в серый камень крепостные стены с игрушечными башенками на каждом углу для часовых, с бастионами, с постоянно закрытыми огромными железными воротами комендантской пристани, как видно, действовали на Александра II успокоительно: враги его сидят под надежной стражей. Александр III, поняв, как ошибался его отец, полагаясь на запоры этой крепости, не мог, должно быть, смотреть на нее без страха и, чтобы не видеть ее, остался жить в Аничковом дворце.

Дойдя до середины моста и оглянувшись на круглый купол Исаакиевского собора, Саша увидел у самой Невы и Медного всадника,— вот-вот он оторвется от глыбы

---

[1] Родная мать, мать-кормилица *(лат.)*.

гранита и перелетит через Неву. И снова вспомнились пушкинские строки:

И, озарен луною бледной,
Простерши руки в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко скачущем коне...

Саша уже перешел мост, как вдруг в Петропавловской крепости послышался грохот.

От неожиданности он даже споткнулся: что такое? Но, услыхав бой курантов на крепостной башне, вспомнил: еще Петр I приказал пушечным выстрелом оповещать жителей города о том, что настал полдень.

Перед парадным подъездом университета Саша остановился, отошел на другую сторону улицы и стал на набережной, чтобы успокоиться: сердце так стучало, что дыхание захватывало. И радостно, и страшно было переступить порог этого храма науки. Ведь он так мечтал о нем! Успокоившись, тщательно вытер ноги и, отворив неподатливую дверь, вошел в университет. Поклонился высокому бородатому швейцару, похожему на маститого ученого,— старик чуть заметным кивком ответил на его поклон,— сделал несколько шагов и остановился у лестницы, не зная, куда идти: наверх или вдоль по коридору. Решил идти наверх. Поднявшись на второй этаж, Саша миновал две двери и вдруг очутился в залитом солнцем коридоре, заставленном книжными шкафами и бюстами ученых.

По сути это был даже и не коридор, а огромный зал, длиной, как показалось Саше, с версту.

— Новичок? — со снисходительной улыбкой спросил его, не останавливаясь, бородатый студент.— Смотри не заблудись!

Действительно, в таком помещении можно было заблудиться. Это не Симбирская гимназия. Заглядывая в раскрытые двери аудиторий, Саша дошел до конца коридора и попал прямо в библиотеку. Он переходил от одного книжного шкафа к другому, глядя на них так, как глядят верующие в храме на иконы святых. «Какое счастье,— думал он,— что я здесь буду учиться. Как хорошо, что я поехал сюда, а не в Казань. Как только найду квартиру, сразу же начну заниматься здесь».

Нашел комнату Саша на Песках. Но это оказалось неудобно — далеко было ходить в университет, и он пере-

брался на Съезжинскую улицу (на Петербургской стороне), где селилась обычно самая демократическая часть студенчества. Отсюда и в университет было недалеко, и, главное, хозяйка оказалась доброй старушкой. Она по-матерински заботилась о Саше. Аня хотела было поселиться вместе с братом, но у хозяйки не было другой комнаты. Да и Саша, готовясь к серьезной учебе, без особого энтузиазма отнесся к намерению Ани жить на одной с ним квартире. Он с первых же дней завел железное правило — работать не менее шестнадцати часов в сутки,— и строго соблюдал его. Не стал ожидать, когда начнутся лекции, а целые дни просиживал в библиотеке, читая Дарвина и другие труды по естествознанию. У Ани не было своего плана чтения, она не знала, как распорядиться своим досугом, и шла к Саше.

Он мягко, но и очень решительно отказывался от частых прогулок с нею. Один раз, проводив Сашу до библиотеки, Аня спросила:

— А можно там новые журналы получать?

— Думаю, что можно, но не знаю. Я их не заказывал.

В ответе Саши не было иронии — он не умел подшучивать над другими,— но Аня смутилась. Она завидовала Саше, который никогда не суетился, никогда не задумывался о том, что ему делать. У него всегда на очереди стояли десятки книг для чтения. Аня видела, с какой неохотой брат отрывался от своих занятий, когда она приходила к нему. Выслушав новости и коротко рассказав о своих впечатлениях, он, как правило, снова брался за книгу. Так и проходили их свидания: он сидел за своей книгой, она — за своей.

4

После гимназии Саше многое здесь казалось странным. Никто не принуждал посещать лекции, не требовал своевременно сдавать экзамены. Можно было курс одного года «жевать», как говорили студенты, пять лет, и никого это не волновало.

Одно только беспокоило всех — от ректора до швейцара,— чтобы студенты вели себя «благопристойно». И когда в первый день занятий все новички собрались в актовом зале — в том самом зале, где прозвучала пощечина мини-

стру просвещения Сабурову,— на кафедру поднялся невысокого роста седенький ректор университета Иван Ефимович Андреевский. Простирая руки к студентам, как бы намереваясь по-отцовски обнять их всех, ректор говорил добродушно-умоляюще:

— Господа! Очень, очень прошу вас: с первого же дня, с первого шага твердо запомните: вы сюда пришли не разрушать, а создавать. Поиски научной истины во всей ее чистоте и совершенстве, святое, самоотверженное, вдохновенное служение ей — вот ваше главное и единственное призвание. Университет отныне — ваш родной дом. А это означает, что вы должны поддерживать порядок в этом доме...

Вся речь ректора сводилась к одному: студенты должны не выступать против властей, а повиноваться им. Беспорядки — величайшее бедствие для университета, и оно, как он надеется, никогда уже не повторится. Саша, с благоговением относясь ко всему, что его окружало здесь, внимательно слушал ректора. Но речь его не удовлетворила. Не того он ожидал. Он надеялся услышать в этом огромном актовом зале, видевшем Чернышевского и Писарева, что-то особенное, а ректор говорил то же, что много лет подряд твердил им директор гимназии Керенский. А вскоре Саша начал замечать, что и свободы у него не так уж много, как казалось! Здесь хоть и не так, как в гимназии, но тоже много своих ограничений, запретов на каждом шагу...

В гимназии Саша не изучал химии, она считалась предметом крамольным. Но он приобрел книгу Менделеева «Основы химии» и штудировал ее. В этом ему помогал отец, который недурно знал химию, так как слушал в свое время лекции профессора Бутлерова. И желание увидеть великого Менделеева, послушать его лекции, а возможно, и поработать в лаборатории под его руководством (об этом Саша мечтал, как о великом счастье) и было зерном, из которого выросло твердое решение поступать только в Петербургский университет. И вот объявили: завтра в седьмой аудитории — лекция Менделеева. Саша почти всю ночь не спал, так не терпелось ему поскорее увидеть и услышать всемирно известного ученого.

Лекция была назначена на девять часов утра, а Саша

пришел в восемь, когда в университете никого еще не было. Пришлось погулять по набережной.

Седьмая аудитория была значительно обширнее других. Саша сел поближе к кафедре. Среди студентов он еще не завел прочных знакомств, не с кем было даже словом перекинуться. Смотрел на лаборанта, расставлявшего колбы и штативы с пробирками, и проверял, так ли он делал это в своей кухоньке-лаборатории.

Студентов набиралось в аудитории все больше и больше. Были тут, как заметил Саша, не только первокурсники, но и студенты старших курсов. Притом — со всех факультетов. Появилось и несколько курсисток, переодетых мужчинами (женщин в университет не пускали), это вызвало улыбки и перешептывание студентов. Такой маскировкой курсистки могли обмануть разве что подслеповатого старого швейцара в полутемном коридоре,— так комично они выглядели в своих нарядах.

— Александр Ильич, возле вас не найдется местечка? — спросил земляк Чеботарев — он раньше на год Саши закончил Симбирскую гимназию и числился уже на втором курсе того же физико-математического факультета, только не на естественном, а на математическом отделении.

— Пожалуйста, Иван Николаевич,— сказал Саша, потеснившись, сколько мог.

Когда Чеботарев, потеснив в свою очередь и соседа, уселся, Саша спросил:

— А разве в прошлом году вы не слушали этот курс?

— Слушал. Но вышло так, что на первой-то лекции я и не был. Вот и решил прийти. Дмитрия Ивановича ходят слушать все факультеты. Вот увидите — эта аудитория всегда будет полна. Я, например, некоторые лекции — особенно по периодическому закону — думаю прослушать еще раз. Ведь это не просто лекции, это рассказ гения о том, как он сделал открытие, которое произвело революцию в химии. Такое счастье выпадает на долю не многих студентов... А вот и Дмитрий Иванович...

Аудитория загудела, как потревоженный улей, и замерла. Но не испуганно, как это бывало в гимназии, когда в класс входил грозный директор, и даже не почтительно, а торжественно. Саше хотелось оглядеться, ему не терпелось увидеть Менделеева. Но он боялся лишним движением нарушить эту торжественную тишину. И вот из-за плот-

ной стены студентов появился невысокий, коренастый мужчина с большой головой и золотистой гривой волос, спадавшей на слегка покатые плечи. Спросив о чем-то лаборанта, кивнул ему: благодарю, мол,— и взошел на кафедру. Саша увидел крупное, большелобое лицо, золотистые усы и бороду, бывшие как бы продолжением его львиной гривы: так гармонически все соединялось. А когда Дмитрий Иванович, быстро окинув взглядом аудиторию, посмотрел и на тот ряд, где сидел Саша, юноше показалось, что Менделеев даже на мгновение задержал на нем взгляд, и почувствовал себя завороженным. Так необычны были эти огромные, мудрые глаза, как бы светившиеся изнутри.

Студенты рассказывали Саше, что Дмитрий Иванович, читая лекцию, словно камни переворачивает,— так напряженно работает все время его могучая мысль.

И это было действительно так: Дмитрий Иванович то замолкал, то растягивал слова, подыскивая наиболее точное и в то же время образное выражение для своей мысли. От этого интонации его глуховатого голоса тоже постоянно менялись — то он говорил на высоких нотах, то низким баритоном, то скороговоркой, как бы едва поспевая за мыслью, молниеносно рождавшейся в его голове.

В такие минуты он довольно встряхивал своей гривой, и складка между широкими бровями слегка расходилась, как бы фиксируя паузу.

И так в течение всей лекции — раскрывая тайны химии, как науки, Дмитрий Иванович говорил о призвании каждого, кто переступил порог университета, кто пришел в эту аудиторию и слушает его. Дерзать, открывать с помощью «фонаря науки» новые законы природы, новые богатства.

— Истина не скрыта от людей. Она среди нас. Она во всем мире рассеяна,— повышая голос и ускоряя темп, говорил Дмитрий Иванович.— Ее везде искать можно: и в химии, и в математике, и в физике, и в истории, и в языкознании... До сих пор почти все богатства русские, которые разведаны, начиная от золота, меди, железа, каменного угля, нефти и прочего,— все они, можно сказать, найдены только потому, что выходят на поверхность...— Дмитрий Иванович помолчал и гневно продолжил:— Не так в самом деле должно быть! Кроме того, что выступить имело слу-

чай на поверхность земли, есть еще гораздо большие массы в глубинах, в недрах земли. И надобно иметь фонарь науки для того, чтобы осветить эти глубины, увидеть в этой темноте. И если вы этот фонарь знания внесете в Россию, то вы сделаете то, чего ожидает от вас Россия!..

Лекция закончилась под бурную овацию всего зала. Но Дмитрий Иванович выходил из аудитории так, словно и не слышал этого пылкого проявления чувств,— спокойно, неторопливо пробирался он к выходу, задумчиво наклонив голову. Казалось, он уже занят другими важными мыслями. И Саше было даже неприятно, что все рукоплещут и шумят, мешая этому удивительному ученому мыслить, делать новые и новые открытия в науке.

До следующей лекции оставалось два свободных часа, и Саша, чтобы обдумать все только что услышанное, пошел пройтись по набережной. Было сыро и холодно. С моря порывами налетал пронзительный ветер. Но Саша не замечал этого, он всей душой переживал лекцию Менделеева. И жалел, что на первом курсе нет практических занятий.

От дома Боткина, где помещались Высшие Бестужевские курсы, на которых училась Аня, было далеко до университета. На той же Сергиевской улице, где находились курсы, Аня сняла себе комнату. Хозяйка попалась не такая добрая, как у Саши. Она дорого брала за маленькую комнатку, скверно кормила, да еще и подъедала все, что Аня приносила для себя. От такого питания Аня заболела. Обнаружился катар желудка в очень острой форме. Аня и так тосковала по дому, а заболев, и совсем упала духом. Врач, осмотрев Аню, сказал, что лекарство тут одно: хорошее питание. Нужно ехать домой. Ане не хотелось этого. Как-то Саша отправился поговорить с нею об отъезде. Путь был неблизкий — добрых три версты. Шел снег вперемежку с дождем. Саша промерз до костей и, возвратясь домой, почувствовал себя худо. Решил, что это легкая простуда, и, не обращая внимания на слабость, отправился в университет: с первого же дня он завел правило — посещать все лекции, на которые записался.

Чеботарев, встретив его возле университета, удивился:

— Александр Ильич, что с вами? Уж не больны ли вы?

— Пустяки. Должно быть, немного простыл. Вот напьюсь чаю, высплюсь хорошенько, и все как рукой снимет.

Придя домой, Саша отказался от обеда, предложенного хозяйкой, попросил только чаю. Старушка напоила его липовым цветом, но это не помогло. К утру у Саши был такой жар, что он начал бредить. Напуганная хозяйка взяла извозчика и помчалась к Ане. С трудом разыскала ее на курсах, и они, захватив с собой доктора, поспешили назад. Оказалось, что это не простуда, а возвратный тиф. Аня хотела дать телеграмму домой, но Саша не позволил:

— Не делай этого! А то мама вздумает ехать сюда. Помочь она ничем не поможет, а только переволнуется и деньги потратит. А ты ведь знаешь — мы и так забираем половину того, что отец зарабатывает.

— Ой, боюсь я за тебя, Саша...

— Ничего. Все уладится,— говорил Саша так, точно не он, а сестра была больна и ее нужно было успокаивать.

— Тогда я, пока ты не выздоровеешь, совсем не буду писать домой, чтобы не говорить неправду.

— Хорошо,— согласился Саша.— А когда выздоровею, тогда обо всем и напишем. Расскажи лучше, какие у тебя новости?

— Ой, не спрашивай! — вздохнула Аня.— Мне уж, как видно, на роду написано — до самой смерти латынь зубрить. До чего она мне опротивела — и сказать нельзя. Прямо не знаю, как буду сдавать экзамены...

— Я помогу тебе,— пообещал Саша.

— Да откуда ты время найдешь? Разве я не вижу, как ты занят.

— Ничего. При желании два часа в неделю можно выкроить. Мы ведь условились, что ты ко мне приходишь по средам, а я к тебе — по воскресеньям. Ну вот. Прежде чем идти гулять, час посвятим латыни. Пока я буду лежать, тоже кое-что сделаем.

Но в эти дни было не до занятий латынью. Саше стало так плохо, что Аня даже домой не уходила, а день и ночь сидела у его постели. Прямо по-матерински заботилась о Саше и Ане в эти дни и квартирная хозяйка. И приготовить что-нибудь повкуснее старалась, и успокаивала Аню, когда та плакала, скрывая это от Саши...

...После отъезда Саши и Ани Марию Александровну не оставляла тревога. Как они там устроились? Как живут? С нетерпением ожидала от них писем. Но Саша писал нечасто, и письма были короткие, сухие. Ни жалоб, ни намека на то, что ему чего-либо недостает. Все его устраивало, все было хорошо. И в жизни, и в письмах он не любил говорить о своих чувствах, а потому и не писал, скучает ли по дому, не тоскливо ли ему среди чужих. А вот Аня писала длинные, порой даже слезливые письма. Жаловалась, что очень скучает, что ждет не дождется, когда возвратится домой. И если Саше везде было хорошо — и в университете, и на квартире,— то у Ани, наоборот, все не ладилось. Мария Александровна, читая эти панические послания дочери, просто не знала, что делать. Помня, какое слабое здоровье у Ани (она часто болела), Мария Александровна боялась, как бы дочь не разболелась совсем. Вспоминала, как косо смотрели на нее и на Илью Николаевича все знакомые, узнав, что они отпускают Аню на Бестужевские курсы. Из Симбирска на курсах не было ни одной девушки, и Аня поехала туда первой. Вообще на курсисток смотрели тогда как на законченных нигилисток. Они, мол, и одеваются не так, как все, и стригутся коротко, а в этом благонамеренные обыватели уже видели «попытку ниспровергнуть существующий строй». А тут еще прошел слух, будто бы курсы доживают последние дни, будто бы их закроют. Илья Николаевич, не обращавший внимания на все эти толки, успокаивал жену:

— Не принимай ты, Маша, все это близко к сердцу. Просто это первая реакция молодой девушки, которая никогда не жила у чужих людей. Пройдет какое-то время, и она успокоится, втянется в учебу, полюбит все. Думаю, что и Саша с его выдержкой благотворно повлияет на нее.

— Все это верно. Но почему же так долго нет писем? Что Саша не пишет, это понятно. И меня это не очень волнует. Но почему от Ани уже три недели ни слова нет? Вот этого я никак понять не могу. Мне кажется, там что-то случилось. Придется, пожалуй, написать Песковским.

— Но ведь Аня пишет, что они с Сашей совсем не бывают у Песковских. Должно быть, сказалась разница в возрасте. Но вообще-то, судя по его статьям, он, должно быть, человек интересный.

Володя очень скучал без Саши. Всякий раз, возвратясь из гимназии, спрашивал:

— Мама, есть письмо от Саши?

— Нет, Володя,— вздыхала Мария Александровна, отрываясь от работы.— Я уж не знаю, что и думать...

— Причина его молчания, я думаю, одна: в университете так много интересного, что некогда голову поднять, не то что писать домой. Представляю себе, как он там блаженствует. И завидую, страшно завидую ему. Да ты не волнуйся,— ласково продолжал Володя, заметив, как грустно смотрит мать на него,— и письма придут, и на зимние вакации они приедут...

— Меня волнует, что Аня тоже не пишет. Ох, хоть бы не заболела она...

В комнаты Ани и Саши никто не переселился, там все оставалось так, будто они не уехали за сотни верст, а всего лишь ушли в гимназию. Когда Марии Александровне бывало особенно тоскливо, она заходила в эти комнаты, и ей становилось легче: казалось, вот-вот снизу, с улицы, донесутся их голоса. Володя и Оля подросли, не так уже бегали и шумели, как прежде, и оттого без Саши и Ани в доме стало совсем тихо.

Только и слыхать веселые голоса Мити и Маняши. Хотя разница в годах между ними была значительная — Мите было девять, а Маняше пять, но они жили дружно.

После отъезда Саши отец все чаще звал Володю к себе в кабинет — сыграть партию в шахматы и поговорить по душам.

— Ну, как твои дела, Володя? — спрашивал отец, входя в столовую, где вечером, после того как уроки приготовлены, собирались все.— Что нового?

— Одни пятерки! — коротко, с улыбкой отвечал Володя.— А новость такая: учитель — чуваш Охотников,— ты его хорошо знаешь,— решил сдавать экстерном за курс гимназии. По математике у него недурные успехи, а вот древних языков он не знает. Ищет, кто бы ему бесплатно помог, потому что получает всего тридцать рублей, а на руках семья. Ко мне он еще не обращался, но если обратится — я не откажусь помочь. Думаю, ты, папа, не станешь возражать?

— Конечно, нет. Но при условии, что это не отразится на твоих успехах. Ну, пойдем, сыграем партию. Сегодня я настроен по-боевому.

— Посмотрим, посмотрим...— улыбался Володя. Вчера он выиграл у отца подряд три партии и был уверен, что и сегодня победит его.

Молодой организм Саши поборол болезнь без всяких осложнений, хотя врач и опасался их, так как больной слег в постель только тогда, когда уже и ходить не мог. Домой отправили подробное письмо, и жизнь опять вошла в свою колею. Но дни, которые Аня провела у постели брата, многое переменили в ней. Заботы о Саше, постоянная тревога о нем — все это вытеснило у Ани тоску по дому. Исчезло и чувство одиночества, так долго не покидавшее ее. А вкусные блюда, которыми кормила Аню Сашина хозяйка, помогли ей и собственный желудок подлечить. И если до болезни Саши Аня только и думала о возвращении домой, то теперь, успокоившись, она энергично принялась за ученье.

5

Во Франции умер Тургенев. Его смерть все восприняли как тяжелую утрату. И вдруг Катков в своих «Московских ведомостях» опубликовал письмо Тургенева Лаврову. В письме этом Тургенев сообщил, что он согласен давать деньги на издание журнала «Вперед». Письмо Катков напечатал, чтобы доказать, что Тургенев не только в своих книгах симпатизировал революционерам, но — оказывается — и материально поддерживал их.

Революционно настроенная молодежь ликовала, читая письмо, благонамеренные либералы кричали, что это ложь, подлог, что это провокация, инспирированная охранкой. А директор департамента полиции телеграфировал губернаторам: «Принять без всякой огласки, с особой осмотрительностью меры к тому, чтобы не делаемо было торжественных встреч». Но толпы народа собирались на станциях, чтобы поклониться праху великого сына России. Псковский губернатор ответил на эту телеграмму:

«В настоящее время представляется более чем затруд-

нительно совершенно отклонить встречу на станции железной дороги при провозе тела Тургенева через Псков. Постановлением думы, состоявшимся 26 августа, поручено городскому управлению отслужить на вокзале железной дороги, при провозе тела Тургенева, торжественную панихиду и возложить от имени города венок на его гроб. Такие же венки предположено положить от некоторых учебных заведений, равно от редакций издающихся в Пскове газет. Я посоветую воздержаться от речей при возложении венков на гроб, но отклонить самое возложение венков я считаю уже не своевременным...»

Атмосфера вокруг предстоящих похорон Тургенева накалялась все больше и больше по мере того, как гроб с его телом приближался к Петербургу. «Памятные для меня были эти три дня! — писал М. Н. Стасюлевич, сопровождавший гроб с телом Тургенева.— Ведь можно подумать, что я везу тело Соловья-разбойника!.. Придется на всякой станции отворять двери и допускать к покойнику, если это не будет воспрещено... а кажется, что будет... Через 20 лет не поверят, что все это было возможно».

Вот как департамент полиции собирался хоронить Тургенева:

«Особый наряд на вокзал от полиции и жандармов. Часть этого наряда сопровождает шествие, и, кроме того, по пути следования усиленный наряд полиции. Волково кладбище с утра будет очищено от публики, а затем усиленные наряды полиции займут посты около 2-х входных ворот и у Новой церкви, близ которой приготовлена и могила. Кроме того, в шествии будет находиться 100 человек наблюдательной охраны, а на кладбище 130 человек наблюдательных агентов. На случай потребности в усилении наряда, в помещении Ямской команды будет находиться полицейский резерв. Чтобы оберечь забор кладбища, который может повалиться от напора публики, которая не будет допущена на кладбище без билетов, кругом него будут поставлены казаки. Воспрещено вывешивание траурных флагов и убранство домов трауром. На кладбище не будет дозволено произнесение речей. На кладбище усиленный наряд полиции останется до тех пор, пока не разойдется вся публика. Кроме того, последующие два дня будет назначаться наряд полиции и наблюдательные агенты».

В семье Ульяновых все любили Тургенева, все читали и перечитывали его сочинения. Образ Базарова, созданный писателем, был особенно близок Саше. Под его влиянием Саша увлекся естествознанием.

И вот Тургенева не стало...

В этот день (это было двадцать седьмого сентября) Саша пошел с Аней побродить по городу. И вдруг они увидели: движется погребальная процессия, тесно окруженная казаками и городовыми. Брат и сестра смотрели на это странное шествие и глазам своим не верили: неужели это Тургенева хоронят? Того самого Тургенева, который так пламенно любил Россию, так вдохновенно воспевал и красоту ее природы, и могучую силу духа народного? Да, царь во всем остается верен себе, он показывает свою деспотическую власть не только над живыми, но и над мертвыми.

— Какая низость! — говорил Саша, пристраиваясь вместе с Аней в конце процессии.— Ничего на свете нет страшнее неограниченной власти тупого, жестокого человека...

Похоронная процессия двигалась, словно толпа арестантов под усиленным конвоем. Саше было не только больно, но и стыдно. Он не мог понять, чего же боится царь, этот человек с мордой мопса и тупым, как бы остекленевшим взглядом? Кто его напугал? Труп? Но нужно же быть абсолютным идиотом, чтобы не понимать, что это позорный, унижающий его самого страх!

Саша глянул на угрюмые лица людей, шедших за гробом, и понял: они испытывают те же чувства. Вспомнились полные горечи и боли за судьбы своей несчастной родины слова Тургенева: «Как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома...»

Полицейские не пропустили их на кладбище, и Саша с Аней остались стоять у ограды. Возвращались опечаленные, подавленные. Саша еще и еще спрашивал себя: до каких же пор это будет? Когда же придет время — да и придет ли оно вообще? — той свободы, за которую народ понес столько жертв? И что он, Саша, сам должен сделать, чтобы то желанное время скорее пришло?

Саша принадлежал к тем редким людям, которым чужое несчастье причиняет больше страданий, чем собствен-

ное. Подавление свободы личности вызывало в нем нестерпимую боль. Необходимость говорить только так, как позволено, была для него хуже всяких пыток...

Уже с дороги Саша начал писать Марусе Веретенниковой обо всем, что он увидел, о своих впечатлениях. Писал он ей больше и обстоятельнее, чем домой, но тоже довольно сдержанно. И все же сквозь строки пробивалось то светлое чувство, которое зародилось в его душе. Кузина Маруся была первой девушкой, которая так обворожила его. В последнее лето, проведенное вместе с нею в Кокушкине, Саше нелегко было скрывать от всех — и особенно от самой Маруси — свои чувства. По наивности своей он думал, что это ему все же удалось. И, конечно, ошибся — от Ани это не укрылось. Да и старшие — мать, отец, тетки — заметили, что треугольник Аня — Саша — Маруся явно распадается, Аня все чаще и чаще оказывалась лишней.

Маруся была на четыре года старше Саши и, разумеется, видела, что он влюблен в нее. Ей это нравилось: Саша — красивый, умный и очень добрый юноша. С ним интересно поговорить, приятно и покомандовать, тем более что он так покорно выполняет все ее повеления. И в то же время Маруся считала Сашу еще слишком юным, но скрывала это, не желая потерять его дружбу. Но едва он делал хотя бы шаг к большему сближению, она тут же мягко, ласково, стараясь не обидеть, останавливала его. Саша вскоре ощутил невидимую стену, которая стояла между ним и Марусей, но по своей неопытности не мог понять, в чем дело. Думал, что в основе этого — самое обыкновенное кокетство, свойственное всем девушкам. Когда Саша уезжал из Кокушкина, он спросил:

— Маруся, я могу тебе писать?

— Непременно! — воскликнула Маруся.— Я с нетерпением буду ждать твоих писем! Ведь ты там столько интересного увидишь! Я ужасно завидую тебе! И еще больше Ане — мне, должно быть, так и не удастся попасть на Бестужевские курсы. Но все равно я буду учительницей. Это уже твердо решено. Видишь, вот моя сестра Анюта окончила медицинские курсы, уехала к башкирам в какой-то Белебеевский уезд и счастлива, что лечит там простых людей. Я так далеко, конечно, не поеду, но трудиться тоже буду.

Они молчали. Маруся посмотрела на Сашу лукаво, тем особенным взглядом, какой он очень любил, потому что видел — так она смотрит только на него, и, как бы опасаясь услышать то, что светилось в самой глубине его карих глаз, протянула руку, заторопилась:

— Счастливого пути тебе!..

— Спасибо,— тихо ответил Саша, чувствуя, как от ее взгляда у него перехватило дыхание.— Я... я буду ждать твоих писем...

— Жди...— мягко высвобождая свою руку из его руки, проговорила Маруся.— Жди,— повторила она, отступив на шаг.

Так они и расстались.

Саша надеялся, что в письмах будет договорено то, что осталось недосказанным,— ведь на бумаге это легче сделать. Но вот они обменялись уже несколькими письмами, а невидимая стена, разделявшая их там, в Кокушкине, стоит нерушимо. Он несколько раз, правда, пытался начать откровенный разговор, но Маруся упорно не замечала того, что звучало между строк. И Саша понимал — она делает это умышленно. Должно быть, чтобы позлить его, проявить свою власть над ним. Ему и в голову не приходило, что Маруся может относиться к нему по-иному, не так, как он к ней. Но время шло, и в Сашину душу начинали закрадываться сомнения. Он перечитывал ее короткие, беззаботные — даже пустоватые — письма, перебирал в памяти все сказанное ими в Кокушкине, и сомнение все больше крепло в нем. Понимал, что проверить все он сможет лишь при встрече с нею летом, в Кокушкине. Тоска нападала на него при мысли, что лето еще так далеко. Но он не отчаивался, у него хватало силы воли работать упорно, не теряя попусту ни минуты.

Литературу Саша очень любил. Но никогда не пробовал что-нибудь писать. А вот Аня уже в старших классах гимназии начала сочинять стихи. Эта любовь к поэзии немного утихла, когда она, по окончании гимназии, начала учительствовать. Но в Петербурге оказалось много свободного времени, и пристрастие к литературному творчеству вспыхнуло с новой силой. Она писала стихи, рассказы, переводила. Саша был единственным слушателем, которому

она читала свои литературные опыты. Он внимательно слушал ее и откровенно высказывал свое мнение. Когда Аня прочитала ему перевод стихотворения Гейне о юноше, который спрашивал море, в чем смысл жизни, Саша пренебрежительно улыбнулся и ничего не сказал. Аня поняла — стихотворение Саше не понравилось. Сказала, волнуясь:

— Хорошо! Послушай еще одно.

— Читай,— согласился Саша, хотя уже встал было с места, собираясь уходить.— И не переживай, пожалуйста, возможно, я и ошибаюсь в своих оценках.

Вся красная от волнения, Аня начала читать перевод стихотворения «Адам Первый», следя за выражением лица Саши, и с каждой строкой голос ее звучал все громче: она видела, что этот перевод Саше понравился. Обрадованная, последние четыре строки выговорила с особенной силой:

Мне рай лишь там, где свобода моя
Во всем неприкосновенна.
А рай, где есть хоть малейший запрет,—
Темница и геенна.

— Очень хорошо! — похвалил Саша, почувствовав облегчение оттого, что ему не придется говорить Ане неприятных вещей.— Вот такие стихи и выбирай для перевода.

Аня просияла. Она влюбленными глазами смотрела на брата, едва удерживаясь, чтобы не броситься ему на шею. Не сделала этого лишь потому, что знала — Саша не любит таких нежностей. Зато заставила Сашу прослушать и маленький рассказик «Из жизни девочки».

— Это твое?

— Да,— еле слышно отозвалась Аня, со страхом ожидая, что скажет брат.

— Интересно. Думаю, что это могли бы и напечатать.

— Правда? — зарумянилась от счастья Аня.

— Ну, а тему где ты взяла?

— На улице увидела такую девочку. Ну, и придумала еще кое-что.

— Хорошо. Ты, Аня, явно делаешь успехи. Говорю это тебе вполне искренне. Ну, так как же: пойдешь меня проводить?

— Непременно!

6

Этой осенью в университете говорили только о новом уставе. Все ожидали его, как Страшного суда. Толки об этом новом уставе шли уже почти десять лет. Но постоянно что-то мешало Каткову провести в жизнь свое детище: то Толстому дали отставку, то царя Александра II убили народовольцы, а Александру III на первых порах было не до университетского устава — он не решался даже короноваться из опасения, как бы и его не убили. Но Победоносцев делал свое черное дело — возвращал к власти всех своих клевретов. И когда они уселись в министерские кресла, то сразу же принялись извлекать из архивов и все свои творения, казалось бы похороненные на веки вечные.

Михаил Никифорович Катков, как и полагается «архипринципиальному» публицисту, за версту обходил графа Толстого после того, как тот вылетел из министерского кресла. Как говорится, дружба дружбой, а служба царю службой. И тот, кто вылетел из этой службы, Михаилу Никифоровичу уже не друг. Толстой проклинал Каткова за измену, жаловался всем, что это он, Катков, уговорил его ввести систему классического образования, сам остался в стороне, а ему теперь приходится расплачиваться. Но не один Катков, а вообще все, кого Толстой в свое время облагодетельствовал, то есть предоставил какую-то должность в награду за лакейство перед ним, теперь тоже не отвечали даже на его визиты.

Но вот всемогущий обер-прокурор Синода Победоносцев посадил графа Толстого обратно в министерское кресло, и вся братия, еще недавно шарахавшаяся от него, как от прокаженного, опять начала пресмыкаться у его ног. Одним из первых кинулся обнимать его сам Михаил Никифорович Катков, все с тем же камнем за пазухой — с проектом нового университетского устава. Хотя граф Толстой занимал теперь кресло министра внутренних дел, Катков отлично понимал, что в его руках вместе с Победоносцевым — бразды правления. Иван Давыдович Делянов и прочие министры только исполняли волю этих двух «столпов» России.

В конце ноября пошли по университету тревожные слухи: Катков приехал из Москвы проталкивать устав.

Негодованию студентов не было предела. Сашин однокурсник Лукашевич говорил, что уж если кого и следует убить, то это именно Каткова.

— До чего подлый человек! — поносил Лукашевич Каткова с заметным польским акцентом.— Мало того, что восхвалял Муравьева-вешателя, который истязал мой несчастный народ; мало того, что из гимназий сделал бурсы, он еще хочет и университеты превратить в штрафные роты. Тысячу чертей на его голову! Убить, убить его за это мало!

А Катков в это время строчил длинное послание Победоносцеву: «Реформа университетов была бы первой органической мерой нынешнего царствования, за которой должны были бы неукоснительно последовать другие... Неудача этой законодательной меры,— стращает он Победоносцева, зная, какой тот паникер и трус,— отзовется не на одном только университете, но и на всем нашем государственном деле». Доподлинно так: «на всем нашем государственном деле», ибо Михаил Никифорович еще с времен подавления польского восстания все государственные дела считал своими личными, ему подведомственными.

В университете царило уныние; все понимали, что на этот раз нового устава не миновать, потому что все, кто отстаивал его — Катков, граф Толстой, Победоносцев и их лакей Делянов,— опять пришли к власти.

Назначенный министром внутренних дел, граф Толстой, который считал себя великим ученым — когда-то он напечатал компилятивную «Историю финансовых учреждений России со времен основания государства до кончины императрицы Екатерины II»,— не колеблясь сел в кресло президента Академии наук. Благодаря его «попечению» в Академию наук не были избраны ученые, которых знал весь мир: Менделеев, Сеченов, Столетов, Ковалевский. И только потому, что граф Толстой враждебно относился к их общественной деятельности. От одного граф Толстой, несмотря на свое честолюбие, упорно отказывался — от командования полицией. Шефом жандармского корпуса был назначен генерал Оржевский — человек властолюбивый, желчный и завистливый. Граф Толстой, довольно потирая руки, говорил:

— Пускай генерал Оржевский отвечает за все карательные меры. Пускай в него стреляют, а не в меня.

И всем стало ясно, что Толстой отказался командовать корпусом жандармов не потому, что у него не было военной жилки. Просто он боялся, как бы и его не постигла та же участь, что и приснопамятного Мезенцева, которого революционеры среди белого дня закололи на улице кинжалом. И первый год у графа Толстого все ладилось. Он уже начал было все чаще докладывать Александру III, что всех крамольников переловили, что их нечего бояться. Можно, дескать, готовить манифест о коронации. И вдруг страшная новость: убили начальника Петербургской охранки полковника Судейкина. Тут же к Толстому прискакал курьер с письмом от Победоносцева.

«Многоуважаемый граф Дмитрий Андреевич!

Убийство Судейкина — крайне прискорбное событие. Но я больше всего опасаюсь, как бы оно не произвело излишнего смущения. Избави боже упадать духом в этом деле, как и во всех других. Мы ведем борьбу, которая ныне происходит не у нас одних. Убийство полицейского сыщика в политических делах ныне дело обычное... Заговоры и прокламации ныне вещь заурядная. Что с Судейкиным случится подобное, этого надо было всегда опасаться, и сам он на это шел и сознавал это. Нет его — надо действовать другим, кто есть под рукой, и не останавливаться.

Особливо же надо подумать об исправлении испорченного строя наших государственных и общественных учреждений.

На события, подобные этому убийству, мы всегда должны быть готовы заранее.

18 декабря 1883 года».

«Совершенно согласен с Вашими взглядами и мыслями, многоуважаемый Константин Петрович,— ответил граф Толстой,— но признаюсь, что бедный Судейкин не выходит у меня из головы, чем бы ни занимался — он предо мной. Мне обидно и досадно, что эти разбойники могли провести такого опытного в полицейском деле человека; мне жалко человека и незаменимого сыщика. Упадать духом не в моем характере; напротив, чем труднее обстоятельства, тем более усиливается энергия. Но еще повторяю, это событие меня совершенно перевернуло; дай бог, чтобы оно не отразилось на моей физике...

Теперь эти мерзавцы замышляют убить меня. Конечно,

мои приближенные принимают все меры предосторожности; но так как за успех их ручаться нельзя, когда имеешь дело с подобными разбойниками, то мне кажется, что на случай несчастья со мной следовало бы подумать теперь же о лице, которое могло бы заместить меня. Это было бы благоразумно и обеспечило бы правильный ход дела».

— Пан Ульянов, хотите знать первоклассную новость? — спросил Лукашевич.

По тому, как сияли его голубые глаза, по румянцу на щеках Саша понял: пан Юзеф узнал что-то интересное.

— Конечно,— отрываясь от работы, сказал Саша; в лаборатории они были одни, это случалось часто, потому что больше никто из первокурсников не тратил столько времени на исследование всяких червяков и тараканов.

— Мне это, конечно, доверили по секрету. Но я не могу не сказать вам.— Лукашевич оглянулся на дверь, спросил, понизив голос: — Вы слышали о болезни царя?

— Да, я читал в газете.

— То — обман! Царь не из саней упал на охоте, как пишут, а в него стреляли! Пуля попала в руку! Ну, что вы скажете на это, пан Ульянов?

— Могло и так быть...— ответил Саша; ему не хотелось говорить откровенно с этим рослым, румянощеким поляком, которого он мало еще знал.

— А я уверен, что так и было! Убийство мерзавца Судейкина прямо связано с этим. Но у нас уже давно принято за правило — говорить правду только тогда, когда ее уже никак невозможно утаить!

«Мне кажется,— подсказывает Победоносцев графу Толстому,— следовало бы напечатать в «Правительственном вестнике» краткое сообщение о болезни государя. После внезапной отмены парада пошли уже гулять тревожные и вздорные слухи, которые эксплуатируются обыкновенно неблагонадежными людьми. Я знаю, что в публичных собраниях сообщают друг другу на ухо, что в государя стреляли. Нетрудно представить себе, в каком виде слухи эти будут повторять внутри России».

Но на этот раз в царя никто не стрелял. Его императорское величество на охоте изволили выпить сверх меры, вывалились из саней и вывихнули правую руку. Несколько дней пришлось подписывать бумаги левой рукой; но подчиненным это было безразлично — хотя и левой ногой, лишь бы царской. Ставили же его верноподданные вместо подписей кресты. Должно быть, именно в эти дни в голове царя и утвердилась окончательно мысль, что народу не нужно образования: достаточно научить его расписываться и читать молитвы, затверженные наизусть под диктовку попа.

«Имею честь представить Вашему императорскому величеству,— пишет Победоносцев,— правила о церковноприходских школах... Если Вашему величеству благоугодно будет утвердить оные, не благоволите ли означить это наверху текста подписью: «согласен» или «утверждаю».

И царь послушно вывел «согласен». А Илья Николаевич, прочитав их, схватился за голову,— эти правила были смертным приговором всем его школам, которые он создавал с таким трудом.

— Боже мой! — говорил он Марии Александровне.— Какое великое несчастье, когда царь — человек не только малограмотный, но совершенно безвольный. Задушит, уничтожит обер-прокурор Синода Победоносцев все, что мы здесь делали, что делают такие, как мы, по всей России. Не думал, никогда не ожидал, что до этого дойдет...

7

Как-то Саша, собираясь с Аней пройтись по городу, сказал:

— Сегодня я хочу побывать в крепости.

— В какой?

— В Петропавловской.

— Как? Разве туда пускают? — удивилась Аня.

— Пускают.

— Ты шутишь. Я слыхала, тем, кто там сидит, не дают даже свиданий с родными.

— Пускают в собор крепости. Ведь там гробницы царей. Но чтобы попасть в собор, нужно пройти через двор, мимо тюремных окон.

— Откуда ты это все узнал? — удивленно спросила Аня.

— Там уже были наши студенты.

— Не понимаю... Как же начальство решается пускать туда?

— Пока что оно смотрит на это как на патриотическое паломничество к гробницам императоров. Но уже поговаривают, что скоро запрут на замок и эти ворота. Так что нужно, не откладывая, побывать там.

Пока шли по городу, Саша рассказывал:

— За все время ее существования у стен этой крепости не было ни одного сражения. С нее началось строительство города, она стала главной его тюрьмой. А теперь и весь город превратили во всероссийскую тюрьму. Страшно подумать, сколько людей томилось в могильных казематах крепости. Радищев, Писарев, Чернышевский, Желябов...

Человек, проходивший мимо них, услыхав имя Желябова, остановился и подозрительно покосился на Сашу. Аня, заметив это, прижала его локоть — тише, мол! — и прибавила шагу. Сворачивая за угол, она незаметно оглянулась. Незнакомец продолжал смотреть им вслед, даже не скрывая, что следит за ними. У Ани сердце сжалось: до чего неосторожен Саша! Ведь так можно и в беду попасть.

— Шпик? — тихо спросила она.

— Похоже. Да ты привыкай. Петербург не Симбирск. Здесь они на каждом шагу. Здесь, говорят, и у стен есть уши.

— Ужасно! — с отчаянием воскликнула Аня.— Как же тут жить?

— Время покажет,— ответил Саша.— Вот и пришли...

Двенадцатиметровые, одетые в гранит, стены крепости, точно скалы, поднимались прямо над Невой. День был ветреный, по Неве ходили тяжелые сизо-черные валы. Казалось, они в бессильной ярости, брызгая пеной, бились об эти стены. Невольно Саша подумал: вот так и волны восстаний разбиваются о твердыню самодержавия.

— За год до восстания декабристов было самое сильное наводнение,— сказал Саша, останавливаясь на мосту перед Петровскими воротами,— вся крепость стояла в воде.

Как только Аня и Саша остановились на мосту, к ним подошел какой-то странный человек и стал рядом. Аня, увидев его, опять дернула Сашу за рукав. Человек, пома-

хивая тросточкой, усиленно делал вид, что рассматривает ангела на золотом шпиле собора.

Но едва они тронулись с места, и он поплелся за ними. Под аркой ворот внезапно послышался топот копыт и крик:

— Бере-гись!

Аня и Саша едва успели отскочить в сторону, как мимо них с грохотом пронеслать черная тюремная карета.

— Проходи там! — послышался строгий окрик часового.

Не успели они выйти из-под арки, как за спиной вновь загрохотала карета.

На колокольне собора глухо, точно церковные колокола, ударили куранты: раз, два, три... одиннадцать. Во дворе, зажатом высокими стенами, бой курантов звучал, как похоронный звон. И если не видно было крестов и могил, так это лишь потому, что кладбище необычное — тут людей хоронили заживо.

Под пристально-подозрительными взглядами караульных Аня и Саша направились к собору с небольшой кучкой посетителей. За ними неотступно, точно конвой, шли часовые с винтовками. Зловещая тишина тюремного двора, нарушаемая только бряцанием оружия да окликами часовых, сразу же сообщалась всем посетителям. Люди брели по двору, понурясь, с таким выражением на лицах, точно они шли за гробом. В соборе стояла еще более гнетущая, могильная тишина. Хриплый, глухой голос надзирателя доносился точно с того света:

— Здесь покоится прах государя императора Петра Великого. Великий государь почил в бозе в ту пору, когда собор не был еще окончен постройкой. Гроб с его прахом шесть лет стоял посреди собора — вот на этом месте — и только после того, как постройку закончили, был предан земле...

Саша слушал эти слова, переходя от одной гробницы к другой, и думал:

«А сколько же эти государи похоронили здесь лучших людей России? Сколько и сейчас умирает их в крепости? И какой удивительный курьез истории: всех государей привозят хоронить на то же кладбище, где они хоронили в казематах врагов своих».

Выйдя из собора, Саша внимательным взглядом окинул

тюремные стены, за которыми страдали, сходили с ума, умирали мученической смертью отважные борцы за свободу. Ему стало грустно: ведь эти люди отдали — и отдают! — жизнь за его свободу. А что он сделал в своей жизни? Чем он помог им в этой неравной, самоотверженной борьбе?

— Проходите! Проходите! — наступая на Сашу, грозно командовал караульный, который неотступно провожал всех до самых ворот.

Для Саши и Ани это было первое зримое, а не вычитанное из книг дыхание тюрьмы. Ощущение это было таким острым еще и потому, что они не привыкли к столице, которая в сравнении с Симбирском казалась им просто тюрьмой. Они чувствовали себя в эти минуты как бы заключенными в одном из бастионов самодержавия.

Выйдя из ворот, Саша остановился и оглянулся. Шпиль собора, казалось, упирался в низкое серое небо. Моросил мелкий осенний дождь, от резких порывов ветра, налетавшего с Невы, черный ангел на золотом яблоке поворачивался, издавая скрип, похожий на тяжкий стон. Казалось, он тоже узник, прикованный цепью к шпилю...

— Странно... Точно человек стонет,— сказала Аня.— А где находятся заключенные? В том каземате, мимо которого мы проходили? Ужасно! — Она взяла Сашу под руку: — Пойдем отсюда...

Дождь усиливался. О чугунную ограду Летнего сада, мимо которого они шли, как-то беспомощно и жалобно бились голые ветви деревьев. Аня несколько раз пыталась заговорить, но Саша отвечал неохотно: видно было, что ему не до разговоров. И Аня тоже замолчала.

8

Аня прямо дождаться не могла зимних каникул, когда сможет поехать домой и повидать своих. На Новый год она позвала к себе Сашу. Угощала его купленными пирожками, разогретыми в печке. Саша ел и похваливал:

— Очень вкусно! Боюсь только, что ты скоро превратишься в трубочиста!

— Пустяки! — с веселым смехом отвечала Аня, раз-

мазывая сажу по раскрасневшемуся лицу.— Главное, вкусно! А сажу я сейчас смою. Это у меня такая милая хозяйка: ни к чему у нее нельзя притронуться, не измазавшись. Надо бы сменить квартиру, да не хочется делать этого до вакаций. А поеду домой — откажусь от комнаты. Кстати, я давно хочу тебя спросить: когда ты освободишься от лекций?

— В одно время с тобой.

— Вот и хорошо! Значит, ни мне тебя, ни тебе меня не придется дожидаться. Закончим лекции и в тот же день поедем! Так или нет?

— Видишь ли, Аня,— после долгого молчания начал Саша, не сводя глаз с сестры, словно собирался повиниться в чем-то перед нею.— Я, должно быть, не поеду домой.

— Как? — поразилась Аня.— Разве ты не скучаешь без мамы, без папы, Володи, Оли, Мити, малышки Маняши?

— Скучаю. И мне очень хотелось бы поехать но... Много книг нужно прочитать. Нагнать пропущенное за время болезни. А главное: частных уроков — опять-таки из-за болезни — я, как видишь, не нашел, а тратить на поездку отцовские деньги мне как-то...

— Тогда и я не поеду! — вспыхнула Аня.— Тогда и я останусь...

— А что же ты будешь делать здесь?

— Латынь учить.

— Ну, если так, то... ты права. Но на твоем месте я все же поехал бы.

— Нет, уж если сказала — не поеду, значит, все. Кроме всего прочего, мне нужно, как ты сам говорил, научиться держать слово.

Аня совсем расстроилась. Чтобы как-то сгладить это, Саша предложил пройтись по городу.

— Между прочим, Аня, мы еще не были в Эрмитаже. Да и выставку картин художника Верещагина о турецкой войне надо бы посмотреть. В газетах пишут — она недавно открылась в залах Общества поощрения художников. На всех, кто видел картины Верещагина, они произвели необычайное впечатление. Ходят слухи, что царь — ведь он тоже командовал каким-то отрядом под Плевной — давно не любит Верещагина, и выставку могут закрыть. Так что нужно, не откладывая, посмотреть ее. Пойдем?

— Хорошо,— согласилась Аня, хотя и без того энтузиазма, с каким она всегда отправлялась на прогулку с Сашей,— она уже жалела, что отказалась ехать домой, но взять слово назад было совестно.

...Тысячи людских черепов смотрят на Сашу пустыми глазницами, зияющими ртами, на которых застыл смертный крик. Над курганом из этих черепов кружится воронье. По черной тени видно, как высок этот страшный курган, выросший на недавнем поле битвы. «Апофеоз войны»,— читает Саша подпись под картиной.

«После атаки» — у лазаретных палаток корчатся в предсмертных муках и умирают раненые, потому что некому подать им помощь. На поле, усеянном уже разложившимися трупами, служит панихиду по убитым священник.

На посту, обняв ружье, стоит часовой, тщетно пытаясь согреться. Бушует буран, заметает снегом часового. Но его не идут сменить: офицеры за пьяной пирушкой забыли о нем. И вот из снежного сугроба выглядывают только башлык и штык ружья. Пока начальство развлекалось, буран похоронил часового в снежной могиле.

— «На Шипке все спокойно!» — прочитала Аня вслух подпись под триптихом.— Ужас! Даже меня мороз пробирает...

Когда шла турецкая война, Саша был еще очень мал — ему едва исполнилось двенадцать лет.

В далекий Симбирск долетало только: штурмуют, побеждают, отличаются в боях. Как и все мальчики, Саша завидовал героям Плевны, восхищался подвигами генерала Скобелева, имя которого знали буквально все. Он видел, как город встречал Калужский полк, возвратившийся с турецкой войны. На специально сооруженных триумфальных воротах было написано: «Слава героям Ловчи и Плевны». Когда полк под оглушительный грохот барабанов приблизился к воротам, генералу поднесли хлеб-соль на серебряном блюде. Все кричали «ура!» и забрасывали офицеров и солдат букетами цветов.

А после того пять дней в городе гремел духовой оркестр, под заборами валялись пьяные...

Вот и все, что сохранилось в памяти Саши от турецкой войны. Но сейчас, перед картиной Верещагина, у него воз-

никло такое чувство, точно он сам побывал на этой страшной войне. Вспомнилось: точно такое же настроение создалось, когда он прочел рассказ Гаршина «Четыре дня». Перевернув последнюю страницу гаршинского рассказа, он, как и теперь, покидая выставку, испытывал не боль даже, а страшную душевную муку. В голове, заслоняя все другие мысли, мелькали слова: «На Шипке все спокойно!» И виделось: вся бескрайняя Сибирь покрыта снежными могилами. Только из них торчат не ружейные штыки, а кандалы. И священник, стоя посреди трупов, отпевает не солдат, погибших в бою, а казненных, замученных, похороненных заживо революционеров. Царь же, любуясь этим кладбищем замученных им людей, радостно восклицает, крестясь:

— В России все спокойно!..

Катков в своих «Московских ведомостях» договорился до того, что обвинил Верещагина в сочувствии турецкой армии. Художник, по его мнению, перестал быть «русским патриотом». Президент Академии художеств, брат царя Владимир, назвал Верещагина «сумасшедшим». Сам Александр III, еще не будучи на престоле, писал, что ему «омерзительно» было смотреть на картины Верещагина. И не удивительно: если бы собрать все солдатские головы, какими заплатили за бессмысленные действия отряда, которым командовал Александр III на турецкой войне,— выросла бы не одна пирамида черепов. «Знаете ли вы,— писал Верещагин критику Стасову,— что во время моего посещения Питера городовой стоял на посту у моего дома? А Михаил Николаевич всюду говорит, что я возглавляю нигилизм». Дядя царя, Михаил Николаевич, как все знали, повторял слова Александра III. Германский военный атташе генерал Вердер советовал Александру III сжечь всю серию картин Верещагина о турецкой войне.

В условиях такой травли выставка продержалась только до пятнадцатого января 1884 года и была закрыта.

9

Наступил апрель. Лед на Неве вздулся, зачернели полыньи. Теперь уже нельзя было ходить в центр города через реку, а только по Дворцовому мосту.

Приближалась весна, и все больше усиливались слухи о том, что готовится закрытие журнала Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки». По новым цензурным правилам, введенным стараниями Победоносцева, это делалось просто: собирались три министра, обер-прокурор Синода и постановляли прекратить издание. Журнал «Отечественные записки» был единственным органом революционно-демократической литературы, который продержался до этого времени. Кое-кто говорил — это, мол, потому, что граф Толстой учился вместе с Салтыковым-Щедриным в лицее. Это была неправда: граф Толстой ненавидел «Отечественные записки», которые, как ему докладывали (самому министру, разумеется, некогда было читать журнал), занимались «проповедью социализма и пользовались большим уважением среди отъявленных врагов существующего строя». Но поначалу он опасался закрывать журнал, так как за это можно было и жизнью поплатиться. Когда же благодаря провокатору Дегаеву — это он впоследствии, чтобы реабилитировать себя, убил обер-сыщика Судейкина и скрылся, — были арестованы последние из могикан грозной «Народной воли», граф Толстой решил — пришло время действовать. Предстоял суд над семнадцатью народовольцами. Конечно, их приговорят к смертной казни. Но не повесят, а будут держать заложниками до окончания коронации Александра III. Это была идея Победоносцева, и она очень понравилась царю, который никак не мог дать согласие на коронацию, боясь, как бы его не убили во время поездки в Москву. Десятого февраля, по доносу Дегаева, была арестована Вера Фигнер, — последний член исполнительного комитета партии «Народная воля». Александр III готов был расцеловать графа Толстого, когда тот доложил, что Фигнер уже заключена в камеру Петропавловской крепости.

— Слава богу! — перекрестился царь. — Благодарю вас, Дмитрий Андреевич. Арест этой Фингер со всей компанией, и заложники... думаю, этого будет достаточно, чтобы коронация прошла спокойно...

— Совершенно справедливо изволили заметить, ваше величество.

— И не тяните с судом! Месяца за два до коронации вся эта сволочь должна быть приговорена к смертной казни. И объявить всем, что они сидят заложниками.

— Министр юстиции обещает, ваше величество, что в начале апреля первая группа арестованных предстанет перед судом. А Фигнер с компанией, ваше величество, поскольку там имеются и офицеры, я полагал бы судить военным судом.

— Вполне одобряю. И впредь дела всех этих мерзавцев передавать только в военный суд!

— Смею думать, ваше величество, что эти два процесса террористов будут последними в истории нашего многострадального отечества.

— Дай бог, чтобы так было.

— Ваше императорское величество,— помолчав, продолжал граф Толстой, стараясь смягчить свой старческий скрипучий голос.— Я уже докладывал: при обыске у террористов, анархистов и прочих нигилистов среди запрещенных сочинений, как правило, находили и книжки журнала «Отечественные записки», который издается известным вашему величеству Салтыковым-Щедриным. В революционных изданиях за границей постоянно перепечатываются статьи из этого журнала. Сотрудники Салтыкова — ныне арестованные Михайловский и Кривенко — печатали свои произведения в нелегальных нигилистских изданиях. Там же печатались писания Салтыкова, запрещенные нашей цензурой. А нигилисты, которым удалось сбежать за границу, насколько нам известно, печатают в журнале свои мерзкие статьи, скрываясь за выдуманными именами. Наконец, сама редакция журнала, с ведома Салтыкова, превратилась в притон отъявленных нигилистов. Михайловский, которого мы выслали из Петербурга еще в конце прошлого года, как было установлено покойным Судейкиным, ездил в Харьков на свидание с ныне арестованной Фигнер. Сотрудник журнала Кривенко, как выяснилось на следствии, поддерживал связь с Лавровым, Бакуниным и прочими коноводами нигилистов. Смею думать, ваше величество, что сейчас, после того как мы арестовали почти всех террористов, действовавших в пределах России, настало время уничтожить и их гнездо — запретить издание «Отечественных записок».

— Вполне справедливо,— сказал царь, поднимаясь с кресла.— Прошу, Дмитрий Андреевич, пообедать со мной.

— Благодарю, ваше величество,— верноподданнически

склонив лысую голову, проговорил граф Толстой: отказаться от царского приглашения он не смел, хотя с ужасом думал о том, что придется много пить за обедом, а значит — после несколько дней хворать. Царь пил водку, как воду, а «физика» графа Толстого уже не выдерживала и двух рюмок.

Двадцатого апреля в «Правительственном вестнике» появилось сообщение, что совещание министров (Толстой, Делянов, Набоков и, конечно, обер-прокурор Синода Победоносцев) приняло решение прекратить издание журнала «Отечественные записки», который «не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ».

— Саша, ты уже знаешь страшную новость? — спросила Аня, когда брат пришел к ней.

— Да. Один честный, правдивый голос звучал, и тот задушили...

— Но они не только журнал закрыли. Говорят, и Салтыкова-Щедрина арестовали.

— Дикий деспотизм!

— Курсистки наши откуда-то узнали, что арестована Вера Фигнер и что ее, как участницу почти всех покушений на Александра Второго, ждет смертная казнь. А шестерых революционеров, которых недавно приговорили к казни, говорят, продержат в камерах Петропавловской крепости, пока не состоится коронация...

Аня еще о многом рассказывала, но Саша молчал. Так и ушел, не сказав ни слова. Но вскоре выяснилось, что слухи об аресте Салтыкова-Щедрина неверны. Сам Михаил Евграфович, узнав, что о нем говорят, сказал:

— Может, так и будет. Перед арестом Чернышевского, припоминаю, ходили такие же слухи.

10

Прощаясь с Сашей, отец говорил:

— Я буду высылать тебе сорок рублей в месяц.

— Много. Мне сорок, Ане столько же... А что вам останется? Ведь это почти половина твоего жалованья. Нет, мне вполне хватит и тридцати рублей.

— Друг мой,— улыбнулся Илья Николаевич,— я очень

тронут твоей заботой о нас. Но ты еще не жил один, ты не знаешь, что это значит. А я по своему опыту знаю: плохо наука идет в голову, когда человек голоден. Сорок рублей (из них десять, если не больше, уйдет на квартиру) не бог весть какие деньги. Тебе их хватит только на хлеб да на чай. А ведь нужно и книги покупать.

— Я найду уроки.

— Вот этого я прошу не делать. В первый год, как правило, очень много лекций.

— Все это так. Но тридцати рублей мне все-таки достаточно.

— Саша, не спорь,— вмешалась в разговор мать.— Отец сам учился и хорошо знает то, что советует тебе. У меня и так сердце болит, что мы больше не сможем высылать, а ты и от этого отказываешься.

Саша не стал спорить. Но и решения своего не переменил. Получая из дому сорок рублей, он тут же откладывал десять и не трогал их, какая бы нужда в них ни была. А соблазнов было много: книгу хотелось купить, в театр сходить... Но он не делал этого, так как знал: мать считает каждую копейку, чтобы свести концы с концами.

Когда Саша поступил в университет, ему было всего семнадцать лет. Он никогда не жил самостоятельно, и ему было нелегко. А тут еще болезнь. Появились расходы на докторов и лекарства. И все-таки Саша не отступал от своего: кроме обеда, который давала хозяйка, питался только хлебом и чаем. Когда приходилось уж очень трудно, говорил себе: «А разве тем, кто на каторге, легче? Моя жизнь по сравнению с их жизнью — сущий рай. Так почему же я должен давать себе поблажки? Нет, чтобы выдержать характер в большом, нужно начинать с малого».

На рождественские каникулы Саша решил не ездить в Симбирск. Это была бы лишняя трата времени и денег. А поехать домой очень хотелось: он, как и Аня, чувствовал себя в Петербурге очень одиноким. С людьми он всегда сходился трудно, а тут работы было столько, что совсем не оставалось времени на знакомства, на установление более близких отношений с товарищами. Аня, глядя на него, тоже не поехала домой, но тосковала отчаянно и решила никогда больше не оставаться на вакации в Петербурге.

Приехав в Симбирск летом, Саша зашел в кабинет к отцу и положил на стол восемьдесят рублей.

— Откуда это? — удивился Илья Николаевич.

— Я тебе говорил: тридцати рублей мне вполне достаточно,— спокойно разъяснил Саша.— Это остаток того, что ты присылал.

Илья Николаевич пристально посмотрел на сына. Как он вырос за этот неполный год! Как возмужал! Поступок Саши растрогал его до слез, что с ним редко случалось. Он обнял сына, сказав дрогнувшим голосом:

— Спасибо, Саша... Принимать такие решения на долгий срок и не отступаться от них труднее, чем хвататься за какое-нибудь героическое решение на один короткий момент. Ну, садись, рассказывай, как там жилось. На письма ты был скуп...

— Не умею я длинные письма писать,— виновато улыбнулся Саша,— не получается как-то... Университетом я доволен. Одна беда, времени мало. А больше шестнадцати часов я работать не могу.

— Шестнадцати? — удивился Илья Николаевич.

— Да.

— И ты считаешь, что это мало? Ну, друг мой...— Илья Николаевич только головой покачал и вздохнул.

В первые дни каникул Володя ни на шаг не отступал от Саши, и Оля ревниво выговаривала ему:

— Что это ты насел на него?

— Я не насел! — возражал Володя.— Просто мне нужно о многом расспросить...

— Ну, открытие сделал. А мне разве не нужно? — возмущалась Оля.— Саша, пойдем к нам, я кое-что тебе покажу.

— А Володе можно? — улыбаясь, спрашивал Саша.

— Нет,— отвечала Оля. Но, увидев, как насупился Володя, сменяла гнев на милость: — Пускай идет.

— Да я и сам не хочу! — обиженно отвечал Володя.

— Хорошо,— со смехом говорил Саша.— Бери, Володя, меня за правую руку, а ты, Оля, за левую. Кто перетянет к себе, к тому и пойду.

Начиналась веселая возня, прибегали Митя и Маняша и, видя, что Володя перетягивает Сашу на свою сто-

рону, кидались помогать Оле. Володя кричал, что это нечестно. Кончалось тем, что Саша шел со всеми играть в крокет.

Наигравшись, шли на Свиягу купаться. Если у Ильи Николаевича был свободный день, он тоже присоединялся к компании. Вернувшись с реки, они с Сашей садились за шахматы. Все дети окружали игроков. Победа Саши — а он без труда выигрывал у отца — встречалась общим ликованием. Илья Николаевич, смущенно покашливая, уступал место Володе, просил:

— Ну-ка, возьмись ты за него.

Володя усаживался на место отца, сосредоточенно хмурясь, подолгу обдумывал каждый ход, но Саша обыгрывал его еще скорее. Оля радостно хлопала в ладоши. Володя, сердито косясь на нее, спрашивал:

— Ну, чему радуешься?

— Это тебе не меня обыгрывать! Ага! — И жаловалась Саше:— Он совсем уж не хочет со мной играть.

— Потому что ты умеешь только фигуры передвигать,— задетый за живое, говорил Володя.— Давай, Саша, еще одну партию!

На этот раз Оле не пришлось радоваться: Володя выиграл. Он раскраснелся от азарта. Жмуря карие глаза, спрашивал с вызовом:

— Ну, еще одну?

— Довольно,— отвечал Саша, не желая, должно быть, портить ему настроение своим новым выигрышем.— Ты гораздо лучше стал играть...

Если войти в дом со двора, то, открыв дверь, попадаешь в маленькую переднюю, откуда крутая узкая лестница ведет наверх, на антресоли.

Володя и Саша жили на антресолях, в смежных комнатах. Чтобы перебраться на другую половину антресолей — там тоже две маленькие комнатки,— приходилось спускаться вниз, проходить через комнату матери и опять подниматься по лестнице. Был туда и другой, запрещенный, но, как казалось мальчикам, более удобный путь. Комнаты Ани и Саши соединялись балкончиком. Но дверь на балкончик была только из комнаты Ани. Чтобы попасть на него от Саши, нужно было вылезать через окно.

Когда малыши засыпали, к окну Саши подходила Аня, шепотом говорила:

— Хватит читать, давай посидим...

— А мне можно? — откликался из своей комнаты Володя, которому все было слышно.

— Иди,— разрешал Саша.

Юноши вылезали через окно на балкончик и тихо, чтобы не услышала мама — ее окно было под балкончиком,— разговаривали. Володя расспрашивал о Петербурге, об университете. Откровенно завидовал Саше и Ане, бранил свое гимназическое начальство, учителей. Особенно насмешливо отзывался о преподавателе французского языка Поре.

— Это не учитель, а авантюрист,— возмущался он.— Подхалим, доносчик. Самомнения на тысячу, а ума на грош. Но что самое смешное: он вдруг решил обучать нас хорошим манерам. Это такая смехотворная глупость, что никакими словами не передать, нужно показать.— Володя встал, принял франтоватый вид и начал показывать, как нужно кланяться на улице, при входе в комнаты, как надо садиться, разговаривать с дамами... Получалось это у него так комично, что Аня и Саша неудержимо хохотали.

— Однажды вошел я в класс и начал изображать его, а он, оказалось, стоял за дверью и слушал. Ну, после этого и началось: то и дело вызывает меня, ищет, к чему бы придраться.

— Это благодаря ему ты получил за поведение не пятерку, как всегда, а четверку? — заметила Аня.

— Оля уже разболтала! Ну и что же? Это только лишний раз говорит о том, какая у него подленькая душонка.

— А ты все-таки будь осторожнее,— посоветовала Аня.

— Ну, история с Пором — сущие пустяки. У нас еще и не такое было. Кто-то принес в гимназический пансион сборник революционных песен и спрятал в умывалке. Сторож нашел, передал начальству. И начался переполох! Поверите ли, все бегали с таким видом, точно адскую машину нашли, а не книжку. Директор собрал всех старшеклассников и потребовал, чтобы выдали тех, кто читает запрещенные книги. Ничего у него, ясное дело, не вышло. Однако какая все-таки подлость — открыто требовать предательства! Неужели и у вас в университете до этого дошли?

— Почти! А на квартире — нельзя и шагу ступить, чтобы за тобой кто-нибудь не следил! Дворник, хозяин, сосед — все смотрят на студентов как на злостных нарушителей их сонного и сытого спокойствия.

— А если бы ты, Володя, видел, как Тургенева хоронили...— сказала Аня.— Это было такое кощунство, что и передать невозможно. Я, возвратясь домой, весь вечер проплакала...

Долго в тот вечер Саша сидел с Володей и Аней на балконе и говорили об всем, не боясь, что кто-нибудь подслушает. За последний год Володя так вырос, стал таким начитанным, что приходилось говорить с ним, как с равным, хотя ему исполнилось всего лишь четырнадцать лет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

С каждым годом круг знакомств Александра Ульянова расширялся. Кроме земляков, с которыми он поддерживал тесные связи, он подружился со своими однокурсниками: Шевыревым, Лукашевичем, Говорухиным. Общение с этими людьми, споры с ними, чтение нелегальной литературы все больше разжигали в нем стремление бороться против существующего строя. Но когда Говорухин начинал его уговаривать, чтобы он вступил в какой-нибудь кружок, Саша спрашивал:

— А что там делать?

— Как что? Я не понимаю тебя. Все начинали с кружков.

— Только не с таких, какие я знаю.

— А чем же тебя не устраивают наши кружки?

— Тем, что болтают много, а учатся мало. О конечной цели своей работы не думают и не представляют ее себе.

— Как? А кухмистерские кто организовал? А студенческие кассы? А библиотеки? Ты сам — где доставал нелегальную литературу? В этих же кружках землячеств.

— У вас, Орест Макарович, есть очень странная черта: вы можете с жаром доказывать то, чего я никогда не оспаривал. Я не говорю, что кружки абсолютно ничего не дают. Я говорю, что в них много болтают, но никто не думает о том, как искоренить главное зло нашей жизни!

— О-о... О, чего ты захотел! От кружков ты этого никогда не дождешься! На это есть революционные организации. Вступай в их ряды!

— Не могу!

— Почему же? — допытывался Говорухин.

— Я еще не решил многих вопросов, касающихся лично меня. Я имею в виду научное решение социальных проблем. А решить их необходимо общественному деятелю. Смешно, более того — безнравственно профану в медицине лечить болезни; еще более смешно и безнравственно лечить социальные болезни, не понимая их причин. Ну, разве наши знакомые революционеры имеют ясное представление о всех тех проблемах, какие берутся решать?

— Нет,— согласился Говорухин.

— Ну вот. А таких революционеров сейчас хоть пруд пруди. Кое-кому кажется, что это хорошо. Но я убежден, что это плохо; я убежден, что два настоящих революционера больше могут сделать, чем двести таких скороспелок.

Серьезное отношение Ульянова к революционной работе явно удивило Говорухина; он впервые в жизни встретил человека, который так рассуждал. Начинающий революционер, как правило, рвался к практической деятельности. И лишь после того как встречал трудности на своем пути или терпел поражение в чем-то, начинал доискиваться причин, брался за изучение теории. Говорухин сказал както Шевыреву:

— Ульянов — загадка.

— У него ума на десятерых хватит,— заметил Шевырев.— Вот и вся загадка. А мы привыкли: перекинулся с человеком двумя фразами — и он уже весь перед тобой, как стакан на блюдце. Насквозь виден. Я лично не люблю таких прозрачных людей.

— Да, Ульянов не из прозрачных. И характер у него особенный — поссориться с ним прямо невозможно. Он как-то удивительно умеет поддерживать в людях чувство собственного достоинства. Никогда не иронизирует. Даже тому, кто этого заслуживает, не говорит резкостей. Больше того — сердито хмурится, когда слышит их от других. И в то же время совсем не интересуется вопросами политики.

— Вот я и еще раз убедился: в людях ты разбираешься, как в китайских иероглифах!

— Знаете что, Петр Яковлевич,— вспылил Говорухин,— я попросил бы вас...

— Объяснить, почему я так думаю? Извольте. Но сперва я вас спрошу: неужели вы ни разу не слышали, как Ульянов спорит? Как он отстаивает свои убеждения? Неужели вы не замечали, что перед его железной логикой совершенно невозможно устоять? А мне не раз приходилось наблюдать, как он вас, дружище, разбивал в пух и прах! Было такое?

— Было,— вздохнул Говорухин.

— Спасибо за откровенность. И не будем больше спорить. Время покажет, кто из нас ошибался. Но за одно я уже сейчас головой могу поручиться: Ульянов принадлежит к таким людям, которые долго обдумывают, но уж если решат что-то, то на всю жизнь.

— Но ведь так можно всю жизнь обдумывать! А бороться когда? — раздраженно спросил Говорухин.— В том и трагедия, что мы слишком много думаем, взвешиваем да оглядываемся по сторонам: ну-ка, мол, кто там первый? Мы организуем кухмистерские, хлопочем о кассах взаимопомощи, то есть создаем видимость войны. А если подойти серьезно, все это пустая возня!

— Возможно,— ответил Шевырев.— Но из этого, дружище, вовсе не следует, будто настоящий революционер тот, кто только болтает о высоких материях. Даже самое большое дело всегда начинается с маленького. Вот так. А засим будьте здоровы: я спешу. К этому разговору, я думаю, мы еще вернемся.

2

В год приезда Саши в Петербург революционно настроенная молодежь еще питала надежду на то, что партия «Народная воля» возродится. Но после ареста Германа Лопатина, возвратившегося из-за границы, чтобы наладить революционную работу, все поняли: партия старых бойцов разбита. Восстановить ее невозможно. Значит, нужно создавать новую организацию. И вопросы борьбы тоже решать по-новому, ибо несостоятельность взглядов народников на развитие общества была — после ознакомления с трудами Маркса — очевидна... Но, как и всегда в переход-

ные периоды, в передних рядах шел процесс брожения: от народничества чистой воды с верой в общину более или менее оторвались, а к марксизму не пристали. Однако даже те, кто еще стоял за террор, то есть признавал тактику народовольцев, в вопросе о судьбе капитализма в России, о разложении общины и роли пролетариата в борьбе народных масс за свое освобождение были ближе к социал-демократам, чем к народникам.

Уцелевшие остатки еще совсем недавно грозной «Народной воли» существовали разрозненно, без взаимной связи и единства действий. Реакция торжествовала, празднуя свою полную победу над революционерами. Царь и его приспешники все больше наглели. Были закрыты передовые журналы, создавались все новые и новые комиссии, направленные против демократических завоеваний. Отмена немногих политических свобод, добытых народом в борьбе с самодержавием, шла наряду с усилением экономического гнета. Правительство вводило все новые налоги и подати. Волна уныния и пессимизма охватила передовые слои общества.

На все вопросы был один ответ:

— Наше время — не время широких задач. Нам не нужны герои, нам нужны скромные, маленькие труженики.

Студенческая молодежь всегда очень чутко реагировала на перемены в настроениях общества. В ее среде тоже появились сторонники «малых дел», толстовцы, культурники и просто нытики и пессимисты. Реакционно настроенная часть студенчества, почуяв за собой силу, принялась наводить свои порядки. Шпионство и доносы процветали, как никогда. В революционные кружки пробирались провокаторы и выдавали их охранке. Это еще больше усилило атмосферу растерянности, подозрительности и неверия. Свои мысли студенты решались высказывать только в узком кругу друзей, да и то с опаской. Поистине получалось: слово дано человеку затем, чтобы скрывать свои мысли.

В Симбирске Саше казалось — по тем слухам, какие долетали туда,— что в Петербурге политическая жизнь идет совсем по-другому. Но выяснилось, что здесь все еще сложнее: здесь словечка никто не скажет, не оглянувшись. Саша не мог говорить неправду, а высказывать свои подлинные взгляды и убеждения было некому. Он молчал,

всячески стараясь заглушить потребность политической деятельности усиленными занятиями наукой. На первых порах, когда перед ним открылись лучшие лаборатории и в руки попали те книги, которых в Симбирске нельзя было достать ни за какие деньги, это поглощало все его силы.

Деятельность землячеств не устраивала Сашу — слишком мелкие задачи ставили они перед собой. Но землячества были единственными студенческими организациями — и то запрещенными,— и он начал работать в них. Он рассуждал так: если существуют где-нибудь революционные организации, то члены их не могут не участвовать в работе землячеств, являвшихся лучшим резервом для пополнения их рядов. А если это так, то рано или поздно он встретится с настоящими революционерами.

Даже обыкновенную вечеринку студенты не имели права проводить без разрешения полиции. А разрешение давалось лишь в том случае, если были на то серьезные мотивы. Самым безотказным доводом полиция считала помолвку. Но тут опять беда: не всегда можно было найти надежного (с точки зрения полиции) жениха.

Дикость такого порядка признавала даже полиция, для которой не было секретом, что многие помолвки фиктивны. Но она соблюдала ее формальности, то есть требовала подачи прошения, посылала на вечеринку своего представителя. Нередко подобный полицейский фарс приводил к курьезам.

Как-то решено было собраться на вечеринку, чтобы пополнить кассу замлячества. Начали думать, кого бы «женить». Перебрали несколько кандидатур, все не то: тот на подозрении у полиции, тот университета еще не закончил. В конце концов остановились на Марке Елизарове. Он уже окончил университет и служил в Петербурге. И когда Марк зашел к Саше, тот накинулся на него:

— Марк Тимофеевич, так вы согласны жениться?

— Простите, но я...— смутился Елизаров: он давно ухаживал за Аней и подумал, что Саша, говоря так, имеет в виду сестру.— Я еще не знаю, как Аня...

— Это ее идея!

— Да что вы?!

— Вполне серьезно! Вот вам бумага, вот перо. Пишите прошение в полицию. Вашей невестой будет Калайтан.

— Кто, кто? — удивленно поднял брови Елизаров.

— Калайтан.

— Я вас не понимаю. Какое отношение ко мне имеет эта Калитина? Или как там ее?

— Калайтан.

— Да, Калайтан. Так какое же ко мне отношение... Фу-ты! Снова забыл фамилию!

— Марк Тимофеевич, полно вам шутить! — с улыбкой сказал Саша — он знал, как Елизаров любит шутки.— Нам нынче надо все оформить, а то вечеринка сорвется. Вы ведь согласились взять на себя роль «жениха».

— А-а,— рассмеялся Елизаров, сообразив наконец, о чем идет речь.— С большим удовольствием, но — клянусь вам! — я об этом впервые слышу!

— Как? Разве Аня не говорила с вами? — смешался Саша, поняв, что он невольно разыграл Елизарова.— Она обещала мне, что сегодня зайдет к вам. Я был уверен, что вы после разговора с нею и пришли сюда.

— Увы, мы, должно быть, разминулись,— добродушно улыбаясь, продолжал Елизаров.— Но если землячеству угодно, чтобы я немедленно женился,— давайте бумагу! А вообще-то, Александр Ильич, до чего мы дожили? — написав прошение, с грустью проговорил Елизаров.—Без разрешения полиции шагу ступить не можем. Скоро, пожалуй, придется такие прошения писать: «Отцы наши и благодетели. К стопам вашим припадает раб ваш и просит дозволения полюбить такую-то девицу. А ежели я не смею даже и мечтать о ней, то не соизволите ли указать, кому я должен отдать свое сердце?»

— А давно ли молодые валялись в ногах у помещика? А что творят сейчас эти слуги царевы в глухих углах империи Российской, если здесь им дозволено абсолютно все? — сказал Саша.— Знаете, Марк Тимофеевич, порой мне кажется, что скоро у нас на каждого обывателя будет по два полицейских. Один будет следить за ним днем, другой — ночью. Только при таком идеальном устройстве царь сможет спокойно спать. А если вдуматься во все это серьезно, то получается довольно жалкая картина. Люди, в чьих руках власть, армия, боятся студенческой вечеринки! Мне как-то даже понять трудно, что это. Идиотизм? Трусость? Или просто какая-то душевная болезнь? Сидит

царь на троне, огородясь штыками и саблями, и у него духу не хватает хоть бы держаться с достоинством. Жалкое, ничтожное существо!

Хлопот с разрешением на помолвку оказалось больше, чем ожидал Елизаров. В первый раз, когда он пришел в участок, ему сказали, что начальство будет принимать только завтра. Пришел на другой день, ответ: оставьте прошение, мы разберемся.

— Когда же прикажете прийти за ответом? — вежливо осведомился Елизаров.

— Трудно сказать.

— Благодарствую. Но позвольте заметить, мое дело не терпит отлагательства.

— А что там у вас?

— Хочу жениться.

— Хо-хо! Жениться! Эй, молодой человек, послушайте меня, не торопитесь хомут надевать. Это от вас не уйдет. Поверьте моему опыту.

— Спасибо за добрый совет,—ответил Елизаров.— Но ответ я все-таки попросил бы дать сейчас же.

— Гм... Хорошо,— сдался писарь.— Так и быть, завтра доложу ваше дело. Хотя еще раз советую, не торопитесь!

— Задали мы вам хлопот,— говорил Саша, видя, какую волокиту затеяла полиция с этим разрешением.

— Ничего,— шутил Елизаров,—любовь требует жертв.

Наконец начальство соизволило принять Елизарова. Читая прошение, пристав спросил:

— Как фамилия вашей невесты?

— Ка-тай... Ка-лай...

— Как? — грозно нахмурилось начальство.— Вы фамилии своей невесты не знаете?

— Калайтан!— заглянув в прошение, одним духом выпалил Елизаров.— Калайтан! Я, знаете, иногда заикаюсь... Калайтан!

— Мда-а... Ну, молодежь пошла...—пристав укоризненно покачал головой и, тяжело вздохнув, обмакнул перо в чернильницу.— Делаю исключение. И почти противозаконное. Только предупреждаю: не приступать к помолвке, пока не прибудет наш представитель.

— Будет исполнено,— заверил начальство Елизаров, согласный на все, лишь бы получить разрешение.

Блюстителя порядка не пришлось дожидаться, он явился раньше всех. Это был тощий, длинный как жердь полицейский. Он снял шинель и уселся поближе к столу. Пил рюмку за рюмкой, жадно ел, как-то странно шевеля большими ушами, подозрительно поглядывал на всех. Вспыхнет где-нибудь смех — он сразу насторожится. И непонятно было: испугался он чего-то или просто откликнулся на непривычный его казенному слуху шум?

Спаивать блюстителей порядка всегда брался Василий Генералов и с успехом справлялся с этой обязанностью. Пока компания танцевала, он не отходил от полицейского и все подливал ему и подливал. У блюстителя порядка начинал заплетаться язык. Он уже не обращал внимания на то, кто и где смеется, и не ждал, пока ему Генералов нальет, а сам тянулся за бутылкой. Хмель требовал излить кому-нибудь свою душу, и полицейский, опасливо оглядываясь— профессиональная привычка! — спрашивал, благосклонно переходя на «ты»:

— Так ты казак?

— Кубанский!

— Сын генерала?

— Нет, это фамилия у меня такая...

— А-а... Ну, да все равно, я... казаков... э-э... люблю. У них ловко: шашки наголо — и полетели. И по-рядок! Муху слышно! Знаешь что? Думаешь, я из плохой семьи? Нет! Хотя мой отец и не генерал, но я... Знаешь что? Я — Дрюпин! Понял, а? Думаешь, я того... Я ничего не слышу и не вижу? Э-э, не знаешь ты Дрюпина! Я даже когда сплю, только один глаз закрываю! Я всякого насквозь вижу! Знаешь что? Думаешь, если я выпил, так ты меня можешь вокруг пальца обвести? Нет, извиняюсь! Знаешь что? Я — Дрюпин. У меня тоже душа имеется! Хочешь — я заплачу?

— Зачем же? — притворно ужасался Генералов, наливая еще рюмку.— Чем же мы вас обидели, ваше превосходительство?

— Как ты сказал? Обидели? — вдруг вломился в амбицию Дрюпин.— Это меня, представителя власти? Да знаешь что? Я — Дрюпин! Я любого из вас в порошок... Что?

— Ничего. Только мне придется, пожалуй, сходить к вашему начальству и попросить, чтобы прислали другого представителя,— спокойно разъяснил Генералов, поднимаясь со своего места.

На Дрюпина это подействовало, как холодный душ: с него тут же слетел воинственный пыл, и, хлопнув еще несколько рюмок, полицейский начал доказывать, что он тоже из хорошей семьи.

А в соседней комнате Саша и его друзья говорили в это время о том, как вести борьбу с коронованным деспотом. Разногласия в основном сводились к одному вопросу — какой характер должна носить эта борьба: боевой, то есть политический террор, или подготовительный, то есть пропаганда своих идей, собирание сил для открытой борьбы за политическое переустройство России.

Когда уставали спорить, декламировали стихи. Начинал, как правило, Андреюшкин. Родом он был с Кубани, из украинской семьи. Он и ходил всегда в вышитой сорочке, говорил с заметным украинским акцентом. Шевырев и Шмидова были родом с Украины. Все они боготворили Тараса Шевченко, и, как только речь заходила о стихах, Шмидова просила Андреюшкина почитать что-нибудь из Шевченко. Тот наизусть знал не только весь «Кобзарь», но и запрещенные стихотворения, которые еще в гимназии переписал себе в тетрадку.

— Пахом Иванович, пожалуйста, прочитай «Кавказ» Шевченко.

— Да я уже читал вам,— отнекивался Андреюшкин, не потому, что не хотел читать еще раз, а чтобы услышать, как к этой просьбе Шмидовой отнесутся другие.

— Александр Ильич,— обратилась Шмидова к Ульянову.— Вы хотите послушать запрещенные стихи Шевченко?

— С большим удовольствием!

— Вот видишь! — обрадовалась Шмидова.— Читай!

Дождавшись, когда все утихли, Андреюшкин откашлялся в кулак и начал читать своим глубоким, певучим голосом:

За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Щодень божий довбе ребра
Й серце розбиває.
Разбиває, та не вип'є
Живущої крові,—
Воно знову оживає
І сміється знову.

Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
І неситий не виоре
На дні моря поле.
Не скує душі живої
І слова живого...

После Шевченко читали Некрасова, Никитина, Надсона, Курочкина, революционные стихи безымянных авторов. Потом начали петь. Андреюшкин, чтобы доставить удовольствие Ульянову, затянул его любимую песню:

Много песен слыхал я в родной стороне,
В них про радость и горе мне пели,
Но из песен одна в память врезалась мне,
Это песня рабочей артели.

Хор молодых голосов подхватил:

Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет!
Подернем, подернем
Да ухнем!

Пение разбудило Дрюпина, который спал, навалясь на стол. Он поднял голову и обвел комнату посоловелым взглядом. Прислушался, моргая красными глазами, еле выдавил:

— Прекратить пение!

Но его никто не слышал, все пели:

Но настанет пора — и проснется народ,
Разогнет он могучую спину,
И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину...

3

Все лето 1885 года Саша усиленно готовил материал для своей научной работы. Вставал чуть свет, забирал свои банки, удочки, сачки и вместе с Володей отправлялся на реку. Там они садились в лодку и, кружа по протокам, собирали жуков и червей. Возвратясь домой, Саша нес все это к себе в комнату и изучал под микроскопом. Аня заглядывала в банки с червями и спрашивала:

— Неужели у них даже органы дыхания есть?

Саша откладывал работу и начинал объяснять строение червя. Володя слушал его и думал: «Нет, не выйдет из Саши революционера. Революционер не может уделять столько времени изучению кольчатых червей». К такому заключению Володя пришел еще и потому, что Саша, считая его еще маленьким, уклонялся от разговоров на революционные темы. А Володя уже прочитал немало нелегальной литературы, ему хотелось с кем-нибудь поделиться своими мыслями.

Попробовал разок откровенно поговорить с одним гимназистом, как ему казалось, революционно настроенным. Но из этого ничего не вышло: приятель начал рассуждать о том, какую выбрать профессию, чтобы лучше устроиться, быстрее сделать карьеру. «Карьерист какой-то, а не революционер»,— подумал Володя и не стал говорить с ним о своем.

В это лето Володя окончательно порвал с религией. Было это так. К отцу приехал один сельский учитель. Был он из семинаристов, а потому считал: главный предмет в школе — закон божий. Он жаловался, что новая молодежь, зараженная нигилизмом, равнодушно, а нередко и пренебрежительно относится к религии.

От этого, по мнению учителя, и распространяется крамола. Учитель доказывал, что человек, который не посещает церкви,— опасен для общества. Таких нужно гнать в Сибирь. Илья Николаевич мягко возразил:

— Это не совсем так. Мои дети тоже редко посещают церковь, но я никогда не слышал от учителей жалоб на них. А главное, если в душе у человека нет веры, то как прикажете вселить ее туда?

Гость с иезуитской усмешкой посмотрел на Володю:

— Розгами сечь надо...

Возмущенный до глубины души, Володя окинул этого апостола розог гневным взглядом, выбежал во двор, рванул с шеи крестик так, что шнурок до крови врезался в тело, и бросил на землю. Саша, увидев это, сказал:

— Давно пора.

— Ханжа! — гневно говорил Володя.—Как я ненавижу всех этих святош! Я готов тридцать древних языков изучать, только бы избавили меня от закона божьего. Я тупею от зубрежки бессмысленных, никчемных, унизительных молитв. Когда я слышу, как наши гимназисты, ложась

спать, крестятся и шепчут: «В руце твои, господи Иисусе Христе, боже мой, предаю дух мой...» — я едва удерживаюсь, чтобы не сказать: болван!

— Ты читал Дарвина?

— Нет. Пытался достать, но не удалось.

— Я вот привез одну книгу. Возьми. Прочтешь, я тебе еще кое-что дам. Только не оставляй ее на столе.

— Хорошо,— пообещал Володя.

«Происхождение видов» Чарлза Дарвина Володя читал с увлечением, наиболее интересные места обсуждал с Сашей, удивляясь, как глубоко понимал брат законы природы. Эта книга заставила Володю по-другому взглянуть на весь необъятный мир.

4

Осенью 1885 года возникла идея объединения разрозненных землячеств в единый союз. На одном из собраний «Союза землячеств» Саша познакомился с Сергеем Никоновым. Никонов и Саша почувствовали то внутреннее доверие друг к другу, которое меньше всего можно объяснить словами или фактами. На Никонова Ульянов произвел впечатление человека дела. Хотя он и мало говорил, но все сказанное им было так весомо, что чувствовалось: это идет из самой души.

После заседания они разговорились, и оба заметили — их взгляды во многом совпадают. И не только по вопросам, связанным с деятельностью «Союза землячеств». Никонов в это время принимал участие в занятиях экономического кружка и решил привлечь туда Ульянова.

— Александр Ильич,— сказал он как-то при встрече,— как вы смотрите на кружки?

— Какие именно?

— Ну, например, такие, где изучают вопросы экономики.

— В них можно интересно поставить занятия, если все будут относиться к своим обязанностям серьезно.

Никонов сказал, что такой кружок есть, и предложил Ульянову принять участие в его работе. Саша согласился.

Людей в этом кружке было немного, все доверяли друг другу, а потому беседовали обо всем довольно откровенно.

Саша, как всегда, больше слушал, чем говорил. Лишь иногда подавал реплику. Однако к этим коротким, но дельным замечаниям все прислушивались внимательно.

В этом кружке Саша ближе сошелся с Лукашевичем и Говорухиным. Через них и Никонова он получал нелегальные издания народников. Некоторые книги давал и Ане. Как-то она взяла у него одну нелегальную брошюру, прочитала и принесла, даже не завернув в газету. Сашу это удивило, и он спросил:

— Ты ее так по улице и несла?

— Кто же у меня в руках мог прочитать?

— Никогда не видел, чтобы нелегальные книги так носили,— сказал Саша с улыбкой.

— А как же их носят? — не сдавалась Аня, хотя уже поняла, что допустила ошибку.— Скажи мне...

— Ты сама уже все поняла,— ответил Саша.

Ане нечего было возразить.

5

Илья Николаевич боялся за сына, помня, как Саша отнесся к убийству Александра II. Каждое известие о выступлении студентов встречал с тревогой, думая: «Не попал ли Саша в беду?» Саша, зная, как волнуются отец и мать, в письмах успокаивал их. Илья Николаевич знал: обманывать Саша не умеет и если пишет, что в Петербурге все спокойно, значит, так оно и есть.

К лету 1885 года Саша прочел много политико-экономической литературы, и у него выработался свой взгляд на многие волновавшие всех вопросы. Собираясь домой на каникулы, он взял «Капитал» Карла Маркса, о котором после с восхищением сказал Говорухину:

— Ни одна книга в мире не может сравниться с этой.

Для отца не было тайной, что Саша отрицательно относится к существующему строю. Илья Николаевич видел, какие книги читает сын, что его больше всего занимает. В это лето у Ильи Николаевича было подавленное настроение. Он часто рассказывал Саше о том, как тяжело стало работать, какие неимоверные трудности переживают народные школы. Он был недоволен политикой правительства в области народного просвещения и не скрывал этого.

— Что же, по-твоему, делать? —спрашивал Саша.

— Сам не знаю,— откровенно признавался отец.— Нужно, должно быть, устранить от управления государством Победоносцева и всех его приспешников. Министр просвещения делает все под диктовку обер-прокурора Синода.

У Ильи Николаевича выходило так: достаточно в министерствах заменить реакционеров прогрессивными людьми, и все станет на свое место.

Саша понимал, что отец ошибается, что дело не в хороших или плохих министрах, а в другом: пока будет самодержавие — ничто не изменится. Он говорил отцу:

— Ты всегда не одобрял террора. Но ведь это правительство вынудило интеллигенцию взяться за бомбы, отняв у нее всякую возможность мирной борьбы за свои идеалы! Правительство игнорирует потребности общественной мысли, жестоко преследует всякие попытки интеллигенции влиять на жизнь общества. И что же получается? Интеллигенция на усиление реакции отвечает усилением террора, как единственно возможной формы борьбы за свободу мысли, свободу слова, за участие народных представителей в управлении государством. И если ты хочешь знать мое мнение о том, как нужно решить вопрос народного просвещения, так вот оно: начальное образование должно быть всеобщим и даровым.

— Саша, ты говоришь о невозможном! — воскликнул Илья Николаевич.— Об этом можно только мечтать!

— Папа, ты хорошо помнишь, что Писарев говорил о мечте? «Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту...» Да ты и сам писал в одном из своих отчетов, что одними пожертвованиями народное образование с места не сдвинуть. Чтобы произвести коренные улучшения, правительство должно это дело взять под свой контроль. А я убежден: этого оно по доброй воле никогда не сделает. А между тем, если бы правительство хоть сотую долю тех средств, какие оно тратит на содержание охранки и полиции, отдало на народное образование, можно было бы построить тысячи и тысячи школ. Нет, папа, серьезные вопросы можно решить, только уничтожив главное зло нашей жизни — деспотизм.

— Как это — уничтожить? — удивленно поднял брови Илья Николаевич.

— Пока это трудно сказать. Одно только я знаю из истории революций: ни один деспот не отдал своей власти добровольно. Всегда это сопровождалось борьбой. Так было во Франции, так было и в других странах. Не исключена возможность, что так будет и у нас. И если сейчас все молчат, то, уверяю тебя, это явление временное. У людей, как известно, есть предел терпения. И мне кажется, это вот-вот даст себя знать.

— Я не совсем понимаю тебя.

— Если Россия в экономическом развитии повторит, скажем, путь той же Франции, то где гарантия, что и на улицах Петербурга не будет баррикад?

Так они спорили целыми часами, гуляя в саду. И когда к ним подбегал маленький Митя, Илья Николаевич, прервав разговор, спрашивал:

— Что тебе?

— Я так...

— Иди гуляй. У нас деловой разговор.

Митя не мог понять, что случилось. Никогда прежде такого не было, чтобы папа не позволял ему слушать то, о чем он говорит с Сашей.

Когда Аня уезжала в Петербург, отец, прощаясь с ней, просил:

— Скажи Саше, чтобы он поберег себя хотя бы для нас... И пиши, пожалуйста, почаще. Сейчас такое время...

— Я все понимаю...

Заметил Митя и другое: письма от Саши мама не вскрывала до прихода отца. И только после того как они вдвоем, в отцовском кабинете, прочитывали письмо, мама читала его всем. Письма Ани мама распечатывала при всех и тут же читала вслух.

В это лето Митя нашел возле деревни Таминки кристалл и отдал Саше. Тот обещал показать находку в университете. Теперь Митя с нетерпением ждал, что же брат напишет ему. Наконец пришло письмо от Саши. Все собрались в столовой, и мама сказала:

— Слушай, Митя. Вот Саша и про твой гипс пишет.

Митя замер. Что же ученые сказали о его находке?

— «Недавно мы ездили с Аней, — читает мама, — и одним моим товарищем в Кронштадт. Но прогулка эта была

не очень удачна: мы не успели посмотреть ни крепости, ни морских кораблей, да и на пароходе было тесно и холодно. Передай Володе, что я не успел еще поискать той книги, которую он просил меня прислать... Мите передай, что тот гипсовый кристалл, который он нашел, взяли с удовольствием в наш минералогический кабинет».

— Все? — спросил Митя.

— Да.

Митя обиженно засопел: такой большой кристалл, и так мало Саша написал о нем! Мама, заметив это, утешила:

— Не обижайся. Летом он приедет и все тебе расскажет. А пишет он всегда коротко.

6

В первой половине декабря 1885 года Илья Николаевич проверял школы Карсунского и Сызранского уездов. Зима стояла холодная, вьюжная. Дороги замело. Мороз пробирал Илью Николаевича до костей, а в школах тоже приходилось сидеть в шубе — нечем было топить. И он только вечером, за стаканом чая, согревался. От угара постоянно болела голова. Но от своего правила он не отступал: заметки о своих впечатлениях вел по свежим следам.

Еще перед отъездом из дому Илья Николаевич получил письмо Ани, она сообщала в нем, что каникулы проведет дома. Он ответил, что встретит ее в Сызрани и они вместе вернутся домой. Распрощавшись с учителем Жадовского двухклассного училища Кирилловым, у которого он ночевал, Илья Николаевич поехал на станцию Никулино. Здесь его встретил инспектор Красев и вызвался проводить по железной дороге до Сызрани. За две недели непрерывных переездов из одной школы в другую и споров Илья Николаевич так устал, что, когда сели в вагон — ехали они в третьем классе,— и не заметил, как заснул. Вытянул ноги, загородив проход. Увидав это, кондуктор грубо толкнул его, сказал:

— Подбери ноги, старик! Весь проход загородил.

Илья Николаевич открыл глаза, но не мог сразу понять, чего от него требуют. Инспектор Красев сказал:

— Ваше превосходительство, вы проход загородили...

При виде золотых пуговиц на синем сюртуке — Илья Николаевич как раз повернулся так, что пола шубы откинулась,— и услышав титул, кондуктор вытянулся в струнку и принялся извиняться.

Илья Николаевич мягко остановил его:

— Ничего, ничего... Проходите, теперь можно пройти...

— Нет, вы извините меня,— твердил свое кондуктор.

— Да за что же? — говорил Илья Николаевич.— Меня извините... Ведь я загородил проход...

Когда кондуктор наконец отстал, Илья Николаевич сказал Красеву:

— Вот он, дух рабства! Знает, что не виноват, а все равно унижается. Устал я что-то и промерз основательно...— кутаясь в шубу, продолжал Илья Николаевич.— И вообще последнее время чувствую, что уже силы не те. Совсем не те. Но что поделаешь, годы берут свое.

— Илья Николаевич, вам ли на годы жаловаться! Ваш родитель сколько прожил?

— Больше семи десятков. Но отец мой был человек необычный. Он женился почти в моем возрасте. У меня он так и остался в памяти: вечно сидит за столом, ссутуля широкую спину. А локоть правой руки, как челнок ткацкого станка, движется, движется... Что это — мы уже подъезжаем?

— Кажется...

Вернулся Илья Николаевич после этого объезда школ в очень плохом настроении. Реакция пошла в наступление на все, что с такими трудностями было завоевано народными школами. Из школ под любыми предлогами изгонялись преданные делу учителя. Илья Николаевич защищал их, но ему это не всегда удавалось. Свободомыслящим учителям приклеивались ярлыки «неблагонадежных», против них выдвигались самые нелепые обвинения.

В официальных постановлениях указывалось: «Духовно-нравственное развитие народа, составляющее краеугольный камень всего государственного строя, не может быть достигнуто без предоставления духовенству преобладающего участия в заведовании народными школами». Попы, против которых столько лет воевал Илья Николаевич, та-

ким образом, официально признавались главными руководителями народных школ. И вообще народные школы под всякими предлогами сокращались. А открывались жалкие одногодичные школы грамотности да двухгодичные церковноприходские, подчиненные только епархии. Илья Николаевич боролся против этого. Ему удалось, например, отстоять школу в деревне Зеленцы Сенгилеевского уезда. Но реакция наступала все больше и больше.

Илья Николаевич встретил на станции Аню, и они вдвоем поехали домой.

— А что же Саша? Почему не приехал? — первое, о чем спросил отец. В его голосе была такая грусть, что у Ани болезненно сжалось сердце.

— Он заканчивает свою научную работу. Хочет представить ее на конкурс, а времени осталось в обрез.

— Ну, а как он там живет?

— Хорошо. Работает только очень много. Чеботарев говорил мне, что профессор Вагнер хочет забрать его после окончания университета к себе на кафедру зоологии, а профессор Бутлеров советует Саше заняться химией.

— Вот как!

— Да. И это конкурсное сочинение для Саши очень важно.

— Тогда ясно,— повеселел Илья Николаевич.— Да, из Саши, наверно, выйдет хороший ученый. Вот только здоровье его меня беспокоит. Как он себя чувствует?

— Неплохо. Я его часто вытягивала на прогулки. Он регулярно занимается гимнастикой. Ну, а что дома? Как твои дела?

— Плохо,— вздохнул Илья Николаевич.— Даже очень плохо.

— А что такое? — встревожилась Аня и только теперь, внимательнее приглядевшись к отцу, заметила, как он постарел за эти несколько месяцев. Глаза глубоко запали и даже как-то потускнели. Выражение лица безнадежно унылое, чего с ним прежде никогда не бывало.

Мела поземка, лошади с трудом пробивались сквозь сугробы. Илья Николаевич, кутаясь в енотовый воротник своей черной шубы, глухо говорил:

— Гибнут все труды моей жизни. Только за последние четыре года число церковноприходских школ у нас увеличилось в четыре раза, а законоучителей — вдвое. Среди

моих воспитанников появились перебежчики. Коля Лукьянов пошел в духовную семинарию, Иван Суров — дьячком в церковь Мариинской гимназии. Разве это не позорно?

Помолчав, Илья Николаевич продолжал:

— Школы переходят в руки обер-прокурора Синода Победоносцева. Новые методы преподавания Ушинского, Корфа, Водовозова и прежде не очень одобрялись, а теперь их совсем не признают. Для народной школы — говорят в Синоде — ничего не нужно, кроме закона божьего. Земства пугливо пятятся, выносят постановления о том, что обучение в школах надлежит вести строго в церковном духе...

— Ты не замерзла? — спросил Илья Николаевич Аню после долгого молчания.— А то садись сюда, там на тебя поземка бьет.

— Нет, мне и тут хорошо.

Подъехали к татарскому селению с минаретом, который едва выглядывал из-за крыш изб. Селение раскинулось в овраге, и его замело снегом по самые окна. К саням кинулись тощие, злые собаки, к замерзшим окнам приплюснулись ребячьи носы.

— Видишь, какая нищета? Пожалуй, хуже татар и чувашей никто на свете не живет. Темнота беспросветная. Но нашим властям и этого мало, хотят закрыть и те несколько школ, какие мы тут создали. Ты, наверно, помнишь священника Богоявленского из Городищенского училища?

— Того, что учеников бил и учителю житья не давал?..

— Да. Я тогда защитил учителя Перепелкина. После длительной переписки — мне пришлось обращаться даже к архиерею — священника удалили из школы. И дети, и учитель, и крестьяне — все облегченно вздохнули. А теперь его опять определили законоучителем, и он еще яростнее издевается над детьми.

— И ты ничего не можешь сделать?

— Я делаю все, что возможно. Но... Многое просто не в моих силах. Руководство школами сейчас, по сути дела, передано министерству внутренних дел. Ну, а какие из полицейских воспитатели — это всем известно. У них разговор короткий: неблагонадежный — вон! А эта неблагонадежность нередко заключается в том, что учитель

не поладил со священником. В губернском училищном совете я несколько раз настаивал, чтобы характеристики на учителей составлялись не полицией, как это сейчас делается, а дирекцией народных училищ. И слушать меня никто не хочет. Я уже иногда думаю: к чему все эти земства, советы, если за них все решает полиция? — Илья Николаевич вспомнил прошлогодний разговор с Сашей на эту тему, спросил: — Ну, а как там Саша? Чем он занимается кроме учебы? К нам дошли слухи, что студенты организовали демонстрацию в годовщину отмены крепостного права. Это верно?

— Да.

— И полиция разрешила?

— Нет. Просто — поздно хватилась.

Помолчали. Илья Николаевич, видимо, ждал, что Аня скажет, участвовали ли они с Сашей в этой демонстрации. Но Аня не говорила, а ему неловко было расспрашивать. По молчанию Ани он понял, что дочь не все рассказывает ему, и немного обиделся. Потом сказал то, что часто повторял, наблюдая за наступлением реакции:

— Если ты помнишь, я после убийства Александра Второго говорил: хуже будет. И, к сожалению, так оно и есть. Сейчас, по сути, повторяется то, что было в годы моей молодости. А кое-что — еще и похуже.

7

К концу года у Ильи Николаевича всегда бывало много работы по составлению отчетов. Шестого января у Ульяновых была вечеринка, и Илья Николаевич так хорошо чувствовал себя, что даже танцевал польку в кругу своих друзей. Но одиннадцатого января ему стало плохо. Мария Александровна встревожилась и послала Володю за врачом. К Ульяновым всегда звали доктора Кадьяна, высланного в Симбирск по «процессу 193». Но как раз на эту пору он куда-то уехал, и пришлось пригласить другого врача. Тот осмотрел Илью Николаевича и сказал, что ничего серьезного нет.

— Гастрическое состояние желудка,— успокоил он Марию Александровну.— Это не опасно.

Илья Николаевич никогда ничем не болел. Устанет

в дороге, отдохнет дома — и опять бодр и весел. Марию Александровну, никогда не видевшую мужа в таком состоянии, охватила какая-то безотчетная тоска. Вечером она позвала Володю, сказала:

— Сбегай, сынок, еще раз за доктором. Отец хотя и говорит, что чувствует себя неплохо, но у меня как-то неспокойно на душе.

Врач пришел, но повторил то же самое, что и раньше. Мария Александровна попросила его все-таки наведаться еще и утром. Ночь на двенадцатое января Илья Николаевич почти не спал. Аня с вечера читала ему бумаги, но, заметив, что он заговаривается, попросила прекратить работу и отдохнуть. Пришедший утром врач нашел, что больному лучше. Сам Илья Николаевич, видя, как волнуется жена, тоже уверял, что ему гораздо лучше. Но обедать в столовую не вышел, сославшись на отсутствие аппетита. А когда все сели за стол, он подошел к дверям и, постояв молча на пороге, ушел обратно в кабинет. Смотрел на всех так, точно прощался.

— Тебе нехорошо? — спросила Мария Александровна, увидев, что он лег в постель.

— Что-то в груди жмет...

Два часа спустя он вдруг содрогнулся всем телом и затих. Мария Александровна думала, что с ним обморок, позвала Аню и Володю. Володя побежал за доктором. Тот пришел, осмотрел Илью Николаевича и смущенно сказал: кажется, кровоизлияние в мозг. Мария Александровна не поверила ему, она все еще думала, что это только обморок...

Вера Васильевна Кашкадамова услышала о смерти Ильи Николаевича только на следующий день. Не поверила, побежала к Ульяновым и увидела: Илья Николаевич лежит в обычном своем вицмундире и как будто улыбается. Она смотрела на него, и ей казалось — вот-вот он встанет, засмеется и скажет, что пошутил...

Мария Александровна спокойно, без слез и жалоб, опустив голову, стояла у гроба. Володя — рядом с нею.

— Мама, как же быть с Сашей? — спрашивала Аня.— Может, телеграмму послать?

— Нет. Напиши письмо Песковским. Пусть они подготовят его...

— Я тоже так думаю,— поддержал Володя мать.

8

Все каникулы Саша днем работал в лаборатории, ночью — дома. У него был рассчитан не только каждый день, но буквально каждый час. Случалось даже, что он по три ночи подряд не спал.

— Александр Ильич,— говорил ему утром Чеботарев,— этак вы плохо кончите. Нужно хоть часок, хоть два поспать.

— Спасибо за добрый совет,— вставая из-за стола и разминаясь, говорил Саша.— Но где же вы раньше были? Теперь уже утро.

Когда Саша совсем выбивался из сил и ложился спать, он оставлял Чеботареву записку с просьбой разбудить его в определенное время. Спал так крепко, что поднять его можно было только одним способом: стащить с кровати.

— Долго будили? — спрашивал Саша.

— Добрый час.

— Если такое повторится, лейте на голову холодную воду.

Работа над сочинением подходила к концу. И вдруг страшная весть: умер отец. Тут нервы Саши не выдержали, он несколько дней метался по комнате, точно в тюремной камере. За эти дни он, казалось, даже постарел. Он молчал, но в глубоких темных глазах было такое страдание, что Чеботарев невольно отводил взгляд.

Больше всего угнетало Сашу то, что он один из всей семьи не проводил отца в последний путь.

— А как Аня просила меня хоть на несколько дней приехать,— говорил он Чеботареву,— точно предчувствовала, что несчастье приближается.

Но как ни трудно было Саше, силой воли он заставил себя продолжать работу. Не прошло и недели, как он снова сидел за столом день и ночь.

Чеботарев, вернувшись домой и застав его за столом, глазам своим не поверил. А когда Александр сдал сочинение на конкурс, восторженно сказал:

— Удивительный вы человек! Я прямо завидую вам. У меня никогда не хватило бы духу заставить себя работать в таких обстоятельствах.

Аня прислала газету «Симбирские губернские ведо-

мости» с описанием похорон отца. «Вынос тела Ильи Николаевича и погребение,— читал со слезами на глазах Саша,— происходили пятнадцатого января. К девяти часам утра все сослуживцы покойного, учащие и учащиеся в городских народных училищах, все чтители его памяти и огромное число народа наполнили дом и улицу около квартиры покойного...

Гроб с останками покойного был принят на руки его вторым сыном, ближайшими сотрудниками и друзьями...

Впереди венки от всех. «От приходских учителей и учительниц города Симбирска, пораженных безвременной утратой руководителя и отца», «От Симбирского трехклассного городского училища незабвенному начальнику».

Всем известна в Симбирске прекрасная семья Ильи Николаевича. Да поможет господь супруге его, пользующейся заслуженною известностью образцовой матери, выполнить с успехом великое дело воспитания и образования оставленных на ее попечение детей...»

Некролог занимал целую страницу газеты. Саша несколько раз перечитал его, и все-таки ему еще не верилось, что он никогда уже не увидит отца.

Третьего февраля состоялось решение жюри конкурса. «Сочинение студента VI семестра Александра Ульянова,— значилось в протоколе заседания,— на тему «Об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata» удостоить награды золотой медалью».

Мать, узнав о таком большом успехе Саши, горько плакала:

— Как жаль, что отец не дожил до этого дня...

9

После смерти Ильи Николаевича семья осталась буквально без копейки. Назначение пенсии затягивалось, и тяжелые материальные обстоятельства заставили Марию Александровну просить пособия. «Пенсия, к которой я с детьми моими представлена за службу покойного мужа

моего,— пишет она двадцать четвертого апреля попечителю Казанского учебного округа,— получится, вероятно, не скоро, а между тем нужно жить, уплачивать деньги, занятые на погребение мужа, воспитывать детей, содержать в Петербурге дочь на педагогических курсах и старшего сына, который кончил курс в Симбирской гимназии, получил золотую медаль и теперь находится в Петербургском университете, на 3-м курсе факультета естественных наук, занимается успешно и удостоен золотой медали за представленное им сочинение. Я надеюсь, что он, с божьей помощью, будет опорой мне и меньшим братьям и сестрам своим, но в настоящее время он, как и остальные дети, еще нуждается в моей помощи, ему нужны средства, чтобы окончить курс, и вот за этой помощью я обращаюсь к вам...»

Аня, видя, как трудно матери достается каждая копейка, не знала, что делать: ехать ли ей в Петербург или остаться дома? Мария Александровна была за то, чтобы Аня продолжала ученье. Но Ане тяжело было оставлять мать одну после такого несчастья. Однако твердость и выдержка матери, мужественно переносившей тяжелые испытания, ее уверения, что Аня не должна из-за нее оставаться дома, заставляли ее колебаться. Боялась Аня еще и того, что дома не сможет подготовиться к экзаменам, хотя Саша обещал выслать все нужные книги, да и Володя — хоть у самого было много уроков, и к тому же он еще готовил к экзаменам на аттестат зрелости учителя чувашской школы Охотникова,— взялся помогать ей по латыни.

Ане не особенно нравилось, что ей приходится обращаться за помощью к младшему брату-гимназисту, но Володя так интересно вел занятия, что она вскоре совсем по-другому начала относиться к «противной латыни». Когда Аню брало сомнение, можно ли за такой короткий срок пройти весь гимназический курс, Володя говорил:

— Это в гимназиях, с бестолковой постановкой преподавания, тратят на курс латыни восемь лет, а взрослый сознательный человек может пройти его в два года...

Саша советовал Ане остаться дома, но в конце, со свойственной ему деликатностью, сделал приписку: «Конечно, все это не может иметь большого значения для тебя, потому что главное...— насколько удобно оставить маму — го-

раздо виднее тебе». После долгих колебаний Аня решила поступить так, как ей больше всего хотелось,— уехать. Но как только она очутилась в Петербурге, в своей комнате, наедине с книгами, Аня поняла, что совершила ошибку. Не она нужна была матери для поддержки, а ей самой необходима ее близость, близость всей семьи. Занятия не шли на ум: она терзалась мыслью, что не проявила характера и оставила мать одну с ее горем.

Кончилось тем, что Аня не сдала двух последних экзаменов и подала просьбу перенести их на осень, чтобы вместе с Сашей уехать домой. Денег у них только-только хватало на дорогу, и они решили не откладывать отъезд. Но когда сели в поезд, Аня вдруг со слезами на глазах принялась упрашивать Сашу вернуться назад. Каялась, уверяла, что она совсем не больна, а просто поленилась, струсила. На одной из станций выскочила из вагона, возмущенно говоря:

— Как ты смеешь не пускать меня?

— Я тебя не держу. Но знай: вернешься ты — вернусь и я вместе с тобой.

На пароходе Аню мучили какие-то кошмары. Саша всячески старался успокоить ее, трогательно заботился о ней. Но на Аню ничто не действовало. Он даже принес с пристани букет цветов, зная, что Аня всегда радовалась им, но она ответила:

— Мне теперь не до них...

Дома Саша ничего не узнавал, так все изменилось со смертью отца. Материальные затруднения заставили мать сдать половину комнат внаем. Там, где столько лет Саша жил с Володей, поселились чужие люди. Мама перебралась наверх, к Оле и Маняше, а Володя и Митя заняли ее комнату. Окно этой комнаты выходило во двор, летом оно было затянуто железной сеткой. Здесь Саша часто играл в шахматы с Володей. Как-то девочка, гулявшая с Маняшей, подбежала к дому и, увидев в освещенном окне две неподвижно застывшие фигуры, крикнула:

— Сидят, как каторжники за решеткой!..

Саша и Володя быстро оглянулись и пристальным взглядом проводили девочку,— она со всех ног убежала прочь от окна.

10

Сквозь сон Саша чувствовал: кто-то осторожно стаскивает с него одеяло. Он поднял голову и увидел улыбающееся лицо Володи.

— Вставай, соня. Живей собирайся. Даю тебе ровно пять минут.

Саша проворно натянул старые охотничьи штаны, куртку, сапоги, опоясался патронташем и, взяв ружье, вышел во двор. Увидев, что солнце вот-вот взойдет, сказал с досадой:

— Как же я проспал!

— Успеем! Только бы повезло, а уток там — тучами летают. Ну, а если по-серьезному подходить к делу, так нужно ночевать в лодке, где-нибудь в камышах, у самого плеса. Утки начнут прилетать на кормленье, мы и проснемся. Боюсь только, комары не дадут нам поспать. Их там видимо-невидимо!

Протоки реки Свияги густо поросли камышом. В камышах водилось много уток. Братья сели в лодку и двинулись на середину реки. Володя гнал лодку, а Саша стоял на носу с ружьем наготове. Утро было тихое, и, как ни старался Володя грести осторожно, утки еще издали слышали плеск. Они срывались с места, пролетали над камышом и снова шлепались на воду. Иногда Саша не выдерживал и стрелял. Вздыхал, перезаряжая ружье:

— Далеко...

— А ты подожди,— советовал Володя,— я вот ближе подберусь... Хотя, по правде сказать, нынче трудно: ветра нет, они слышат нас за версту. А под ветром камыш шумит, и они подпускают близко... Э-э! Вон! Смотри!

Трах! Трах! — выстрелил Саша дуплетом. Утка перевернулась и упала. Володя, зачерпнув бортом воду, изо всех сил погнал лодку к тому месту, где упала утка. Больше часа кружили они среди камышей, но утки так и не нашли.

— Ты ее, должно быть, только ранил,— высказал предположение Володя.— А подранка в такой чаще днем с огнем не найдешь. Тут собака нужна. Поплыли дальше.

— Давай еще поищем,— стоял на своем Саша.— Ведь она все равно погибнет. Жалко оставлять.

— Тогда нужно раздеться и лезть в воду,— предложил Володя,— так будет скорее.

Но как ни искали, утки не было. Пришлось прекратить поиски и плыть дальше. Утки опять взлетали, Саша с азартом, явно рискуя свалиться в воду, стрелял по ним. Один раз он так метнулся с левого борта на правый, что лодка едва не перевернулась.

— Замри! — испуганно крикнул Володя и принялся осторожно вычерпывать воду.— Чуть-чуть не искупались... Ты все-таки, Саша, поосторожней, а то ведь здесь довольно глубоко.

— Давай, Володя, я поведу лодку, а ты постреляй. Может, тебе посчастливится, а то неловко возвращаться домой с пустым ягдташем.

— Я столько харчей набрал, что неделю можно не причаливать к берегу. Только бы не подмочить их...

За все утро Саша подбил еще одну утку, но и ее не нашли. Братья решили перекочевать на другие протоки и выбрать там место для вечерней охоты. День был теплый, в прозрачном воздухе, на камышах, на белых как снег цветах лилий — на всем сверкали тонкие нити паутины. И казалось — паутина оплела все, крепко связала, оттого и стоит такая дивная тишина. И вдруг откуда-то из густой синевы неба донеслось курлыканье журавлей. Сердце Саши тоскливо сжалось. Птицы летели невысоко, устало взмахивая крыльями. Саша провожал их глазами, пока они не исчезли вдали, потом сказал с тихой грустью:

— Чудесные птицы... Я завидую им. Подошла суровая пора — снялись и полетели. А человеку некуда деваться. Ему все приходится терпеть: и холод, и голод, и потерю свободы. А свобода для человека — это его крылья, его небо, его солнце, его жизнь! И тот, кто отнимает у человека все это,— самый лютый враг его. Ведь только здесь, на реке, можно быть уверенным, что к тебе не подойдет полицейский и не завернет руки к лопаткам.

— Это верно,— откликнулся Володя на признание брата.— Честно говорю: порою прямо страх берет. За что ни возьмись, ничего нельзя! А что случилось бы, если б я мог говорить то, что думаю? Революция? Ну, нет! Ведь одними словами, как известно, революции никто еще не делал! Так чего же они боятся? Ведь в их руках вся сила!

— Я тоже не могу постичь этого. Даже не знаю, чем объяснить это изуверское преследование инакомыслящих. Трудно поверить, что вполне здоровый, а не сумасшедший человек может дойти до такой идиотской тупости и зверства. Вешать людей, гнать в тюрьмы, заковывать в кандалы, десятилетиями мучить на каторге! И за что? Только за то, что эти люди думают по-своему, не хотят жить в рабстве.

О многом еще переговорили в тот день братья. И как приятно было, что не нужно оглядываться на дверь, как это приходилось делать Саше и в университете, и на петербургских квартирах. Там следовало опасаться не только полицейского, дворника, просто незнакомого человека, а даже своего брата студента.

Возвращались домой поздней ночью. В сумке у Саши была одна утка, а Володя ничего не подстрелил. Но настроение у обоих было такое, точно они возвращались из поездки в иную страну. В страну, где человеку дано главное, ради чего он рождается на свет,— свобода. Полная, ничем не ограниченная свобода! Ложась спать, Володя спросил:

— Завтра тебя, Саша, будить?

— Непременно!

11

Дома все напоминало о смерти отца. Саша, взяв ружье, поехал в Кокушкино. Хотелось побыть наедине, но еще хотелось и повидаться с Марусей. За последние годы в их отношениях возник заметный холодок. В характере Маруси появились такие черты, с которыми Саша никак не мог мириться. Хотелось откровенно высказать ей все, что думал.

Встретила его Маруся с явно неискренней радостью. Сразу же заговорила о том, что больше всего интересовало ее,— как Саша смотрит на нее, какие недостатки видит в ней.

— Оценивая человека,— начал Саша издалека, чтобы собраться с мыслями,— я интересуюсь тем, насколько он выработал в себе общественные идеалы, насколько основательны и прогрессивны его взгляды и насколько энер-

гично и самоотверженно ведет он борьбу за претворение своих идеалов в жизнь.

— Это общие слова,— возразила Маруся.— А ты скажи именно о моих недостатках.

— Ты мало думаешь о народе, о своем долге перед ним. Не замечаешь его страданий. А отсюда один шаг до эгоизма...

— Ты считаешь меня эгоисткой? — вспыхнула Маруся.

— Маруся, я понимаю, как может сказаться этот разговор на твоем отношении ко мне. Но я не могу кривить душой.

— У тебя удивительное свойство — видеть в человеке прежде всего отрицательное!

— Я могу не продолжать...

— Нет, нет! Я хочу знать все, что ты обо мне думаешь! Я хочу знать, почему ты приписываешь мне такой ужасный недостаток, как эгоизм?

— Эгоистом я считаю такого человека, который не борется за то, чтобы народу жилось лучше.

— Значит, по-твоему, я способна купить свое счастье ценой несчастья других?

— Сознательно — нет.

— И ты ничего положительного не находишь в моем характере?

— Отчего же? Мне нравится, что ты не преклоняешься перед чужой мыслью. У тебя сильный ум. И не только синтетический, как обычно у женщин, но и аналитический, критический.

— А разве это плохо?

— Маруся, я сказал все, что думал. Больше мне нечего добавить. Я не считаю, что все сказанное мною справедливо. Понимаю: говорил резко. И не сердись — я поступил так только потому, что не хватило уменья по-иному выразить свои мысли...

Маруся сказала, что не сердится на него. Но по ее глазам Саша видел: его слова задели ее за живое. И конечно, этот откровенный разговор не только не растопил холодок в их отношениях, а еще усилил его. Было больно, но он не жалел, что поступил так. На недомолвках ничего прочного не построишь, а тешить себя несбыточными надеждами — не в его натуре.

По возвращении в Петербург Саша писал ей: «Дорогая Маруся! Прости меня, пожалуйста, за долгое молчание. Я, конечно, очень виновен перед тобою. Но я не хотел писать тебе «несколько строчек», я решил заодно исполнить и данное тебе осенью обещание. Хоть я и посылаю тебе теперь общую характеристику, но я далеко не доволен ею: она вышла очень неполной и, пожалуй, поверхностной, но у меня решительно не было времени (а пожалуй, и сил) написать что-нибудь более основательное.

А главное, извини, пожалуйста, если она покажется тебе несколько резкой и, пожалуй, несправедливой, не сердись очень на это.

Я нисколько не скрываю от себя того влияния, которое должно оказать это письмо на наши отношения, но, быть может, оно несколько смягчится, если ты поверишь мне, что последний недостаток моей характеристики зависит только от резкости моего характера и от способности видеть прежде всего и яснее всего дурные стороны человека. Итак, прощай. Твой А. У.».

В этой характеристике Саша повторил многое из того, что было им сказано Марусе в Кокушкине. Боясь, должно быть, чтобы характеристика не попала в чужие руки, он зашифровал имя Маруси инициалами Н. Н. Саша писал: «Когда разбирают или характеризуют какую-нибудь личность, то держатся обыкновенно одной из двух точек зрения. Или рассматривают деятельность человека, ее цели и результаты, или обсуждают его силы и способности независимо от их употребления. Я не совсем согласен с таким мнением и думаю, что характеристику каждого человека надо начинать с объективного анализа его способностей, отодвигая на второй план субъективную оценку их употребления.

Это вступление я делаю потому, что, начиная характеристику Н. Н., мне прежде всего придется указать на ее сильный ум и вообще очень большие способности, но подтвердить это чем-нибудь, каким-нибудь выдающимся внешним фактом ее жизни я решительно не могу.

Даже больше: я не думаю, чтобы и в будущем она сделала что-нибудь серьезное, существенно полезное для общества или вообще чем-нибудь наглядно проявила свои способности».

Дальше Саша повторял то, что уже говорил Марусе, и заканчивал: «На этой последней стороне ее характера — большой силе воли — следовало бы остановиться подробнее, так как она является одним из главных достоинств Н. Н., но за недостатком крупных, ярких фактов мне пришлось бы или перебирать массу отдельных, мелких воспоминаний и впечатлений, или говорить слишком отвлеченно. Поэтому я оставлю лучше это утверждение голословным и попрошу у тебя, Маруся, прощения, что моя характеристика вышла такой сжатой и неудовлетворительной».

Это письмо-характеристика было последним. Маруся не ответила на него, и Саша тоже больше не писал ей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Запретив «Отечественные записки», самодержавие лишило революционную демократию ее последней трибуны. На этот реакционный акт передовая студенческая молодежь ответила прокламациями. Было решено направить приветственный адрес Салтыкову-Щедрину. Студенты московских учебных заведений начали собирать подписи под адресом. За несколько дней — это, разумеется, делалось нелегально — под адресом появилось больше шестисот подписей. Выбрали делегатов, и они поехали к Салтыкову-Щедрину. Но эта делегация, как и многие другие, не только не помогла, а повредила писателю. Именно эти адреса едва не привели его на скамью подсудимых. После арестов среди студентов, готовивших адрес, московский обер-полицеймейстер запрашивал директора департамента полиции: «Как поступить относительно Салтыкова, то есть допросить его только как свидетеля, или же произвести у него обыск и действовать затем согласно его результатам?»

В письме к Анненкову спустя несколько дней после закрытия журнала Михаил Евграфович жаловался: «Неужели я, больной, издыхающий, переживу эту галиматью! В городе разные слухи ходят: одни говорят, что я бежал за границу, другие — что я застрелился; третьи, что я написал сказку Два осла и арестован... Столько я в две недели пережил, сколько в целые годы не переживал...»

— Говорят, что Салтыков-Щедрин очень болен,— рассказывала Аня.

— Я тоже слышал. И не удивляюсь: от такой травли не мудрено и умереть. Аня, а знаешь что? — вдруг оживился Саша.— Давай и мы поднесем ему адрес!

Так и решили.

Собрались у Ани. Первыми пришли Саша с Шевыревым. Оба были в хорошем настроении, смеялись, шутили. Шевырев рассказывал:

— Когда убили шефа сыщиков Судейкина, в редакцию заявился один земский деятель и спрашивает: «Михаил Евграфович! Слух идет, что революционеры убили какого-то Судейкина. За что они его убили?» — «Сыщик он был»,— отвечает Щедрин. «Да за что же они убили его?» — «Говорят вам русским языком: сыщик он был».— «Ах, боже мой,— продолжает земец,— я слышу, что он был сыщик, да за что же они убили его?» — «Повторяю вам еще раз,— сердито нахмурясь, отвечает Щедрин,— сыщик он был».— «Да слышу, слышу я, что он сыщик был, но объясните мне, за что его убили?» — «Ну, если вы этого не понимаете, так я вам лучше растолковать не умею. Обратитесь к кому-нибудь другому. Прощайте!» Так земский деятель и ушел, ничего не поняв.

Пришел студент-юрист Мандельштам. Условились, что он скажет приветственное слово. День выдался ясный, с морозцем, и вся компания решила пройтись пешком. На Невском всех охватило то особенное возбуждение, какое вызывают ослепительная белизна снега на обычно грязных улицах города и бодрящий зимний воздух. Все шутили, смеялись, совсем забыв о том, что идут к больному человеку. Не заметили, как дошли до квартиры Салтыкова-Щедрина. Шевырев позвонил, как показалось Саше, настойчивее, чем следовало. Дверь не открывали. Шевырев хотел еще раз позвонить, но Саша остановил его:

— Подождем...

Прошла еще минута, в дверях появилась девочка, похожая на куклу, с удивлением и опаской взглянула на неожиданных гостей. Шевырев сказал:

— Делегация студентов. Нам нужно видеть Михаила Евграфовича.

Девочка ничего не сказала, скрылась. Все замерли: примет ли? Может, он на самом деле так болен, что с по-

стели не встает? Ведь даже в газетах писали, что его здоровье ухудшилось. Саша хотел уже предложить уйти, как в дверях появилась та же девочка и сказала тихо, как бы предупреждая, что в доме больной:

— Пожалуйте...

Шевырев и Мандельштам вошли первыми, Саша — за ними. Девочка провела их через несколько комнат, потом остановилась перед закрытой дверью, окинула всех строгим взглядом и открыла ее. Саша увидел: посреди комнаты стоит высокий, худой мужчина в потертом суконном халате вишневого цвета и большими выпуклыми глазами смотрит прямо на него. Саша вздрогнул, встретив этот взгляд, такая в нем была нечеловеческая тоска и страдание больного, замученного, загнанного человека. Саша не мог выдержать его взгляда, отвернувшись, оглядел комнату. Огромный письменный стол завален книгами, рукописями, лекарствами. Склянки и пузырьки стоят всюду — на этажерках, на книжных полках, на столике у кровати. Постель не убрана. Михаил Евграфович, должно быть, только что поднялся с кровати. Запах в комнате — точно в больничной палате. Саша понял: они пришли не вовремя. То же почувствовали, видимо, и другие, и потому все сбились кучкой у двери, не зная, как быть. После продолжительного молчания Михаил Евграфович спросил хрипло и глухо:

— Чем могу служить?

Саше хотелось попросить прощения, что они побеспокоили его. Но Мандельштам, выступив вперед, заговорил так громко и зычно, что Щедрин поморщился.

— Михаил Евграфович! Позвольте поздравить вас... нашего любимого писателя, неутомимого борца за прогресс, верного друга молодежи... Гм!.. Поздравить вас от имени всего студенчества России с днем ангела и пожелать вам доброго здоровья, долгих лет жизни, неугасимого творческого горения!.. Мы пришли сегодня к вам... Гм... Мы пришли к вам, чтобы засвидетельствовать свою глубокую...

Щедрин глухо, надрывно закашлялся, сотрясаясь всем худым телом.

Кашлял он долго и мучительно, придерживаясь за спинку кровати. Саше было больно и стыдно, что они подняли больного человека с постели, что Мандельштам, по-

теряв всякое чувство меры, начал свою длинную стандартную, совсем ненужную речь.

Откашлявшись, Михаил Евграфович поправил дрожащей рукой сбившиеся волосы, погладил длинную бороду и поднял на всех полные слез глаза. Тяжело дыша, он вытер платком пот с высокого лба, сказал хрипло, с натугой:

— Бронхит замучил...— помолчал, не в силах справиться с одышкой, подал Мандельштаму руку.

Когда он подошел к Саше, тот так крепко стиснул его руку, что Михаил Евграфович заворчал:

— Ой-ой! Нельзя же так сильно! Я старенький, мне больно...

— Простите,— покраснел Саша.— Я...

— Думали, что у меня железная рука? — повеселел Михаил Евграфович.— Ну, ничего, ничего. Ведь вы жали руку от имени студентов всей России? Не так ли? Передайте тогда им,— с доброй улыбкой закончил старик,— что вы отлично исполнили поручение.

Это немного разрядило напряженность. Все почувствовали себя свободнее, веселее, увидев, что Михаил Евграфович улыбается и шутит. Но не могло уже сгладить неловкости от неумелого, ненужного приветствия Мандельштама. Саша досадовал на него, и, когда возвращались домой, сказал Ане:

— Такая счастливая возможность выпала — поговорить с Михаилом Евграфовичем, а мы упустили ее. Теперь когда еще придется. Да и придется ли? Я вот перечитал его сказки. Во всей мировой литературе нет ничего подобного. И как он изумительно точно определяет главные беды наши. Наше поколение как его премудрый пескарь: и живет — дрожит, и умирает — дрожит...

2

По возвращении в Петербург Саша начал поиски заработков. Как-то он прослышал, что через семейство Хренковых, с которыми был немного знаком, можно достать работу. Хренков был человек очень мягкий и необычайно осторожный. Как попугай, постоянно твердил одно и то же:

— Прощение выше мести.

У него часто собирались единомышленники, и изо дня в день повторялись одни и те же разговоры. Саша посидел у них вечера два, послушал — и перестал к ним ходить. Теперь, увидев его, жена Хренкова, Софья Германовна, удивленно спросила:

— Как это вы решились зайти? Я уж думала, вы и адрес наш забыли. Или мы вас чем-то обидели?

— Нет, просто не было времени,— смущенно улыбаясь, ответил Саша.

— Верю, верю. И поздравляю: мне рассказывали, как торжественно вручали вам золотую медаль.

— Это уж давно было,— еще больше смутился Саша, заметив, как внимательно присматривается к нему красивая Софья Германовна.

Когда он вошел в столовую, там было полно людей. На столе стоял самовар, и беседа, как всегда, шла на знакомую уже тему.

— Чего народовольцы добились своим террором? — кричал фельетонист Арсеньев.— Только одного: ненужного кровопролития и взаимного ожесточения. Парадоксально, но факт: они утвердили то, против чего боролись,— черную реакцию! Нет и нет! Казнь Желябова и его компании доказала полную несостоятельность террора. Теперь нужны другие методы борьбы.

— А именно? — спросил густым басом кряжистый сибиряк.

— Нужно решительно покончить с подпольем...

— А чем же тогда полиция будет заниматься? — так наивно-простодушно спросил тот же сибиряк, что все захохотали.

Не дожидаясь, пока утихнет смех — он явно боялся, что его прервут,— Арсеньев продолжал излагать свою программу:

— Все силы необходимо направить на культурную работу. Идти в земство, учить, лечить. То есть бороться с невежеством не бомбами, а книгами...

Поднялся невероятный шум. Все говорили, и никто никого не слушал.

— Статистика страшнее динамита! — кричал один.

— Агрономия — вот главная задача,— вторил другой.

Саша, едва сдерживая ироническую улыбку, молчал, слушая этот разноголосый гам. Он не мог понять, зачем

эти люди тратят столько времени на подобную болтовню. Ведь они никогда не отважатся принять участия в борьбе против реакции. Собственное благополучие для этих людей дороже всех идеалов. О судьбе народа они говорят так же привычно, как справляются при встрече о здоровье знакомых. А между тем только и слышно: «революция...», «эволюция...», «борьба...»

Когда эта буря в стакане воды немного утихла, Хренков затянул таким голосом, словно молитву читал:

— Не ищите мудрости, а ищите кротости. Победите зло в себе, не будет зла и в ближних ваших, ибо зло питается злом...

Терпение Саши истощилось. Он сказал, ни к кому прямо не обращаясь:

— Коркой хлеба человечество не осчастливите...

Хренков повернулся к нему, мягко спросил:

— Что вы сказали, коллега?

— Я не могу понять, из-за чего спорят люди. Агрономия, статистика, земство, непротивление злу. А народ как гибнул в нищете и невежестве, так и гибнет.

— А по-вашему, что же нужно делать? — снисходительно спросил Хренков.

Саше очень хотелось высказать этим людям все, что он о них думает. Но не хотел рисковать: тут можно было и на шпиона нарваться.

— Это длинная история,— ответил он.— А мне пора. В другой раз поговорим...

— Куда же вы? — всполошилась Софья Германовна, увидев, что Саша пробирается к выходу.

— У меня встреча...

— Если с красивой девушкой, то отпущу,— играя глазами, говорила Софья Германовна.

— Положим, вы угадали,— улыбнулся Саша.

— Ой, хитрите! — мило погрозила ему пальчиком Софья Германовна.— Ну, так и быть — отпускаю. Но с одним условием: почаще заглядывать к нам. Согласны?

— Боюсь твердо обещать...

— А может, вы по делу приходили?

— Нет,— ответил Саша — ему теперь было особенно неприятно обращаться за помощью к этим людям.— Я просто так...

3

С первой же встречи Говорухин не понравился Ане. Не нравилось в нем все: и странная прическа — густые рыжеватые волосы он зачесывал на лоб, потом делал небольшой пробор,— и тонкие, как-то желчно сжатые губы, и характерный для кубанцев неторопливый говорок с ударением на «о». Он казался ей грубым, неинтересным, неискренним. Ее злило то, что он мог, развалясь на диване, часами сидеть у Саши, хотя и видел, что мешает ей поговорить с братом. Аня не могла понять, почему он сидит, как бы выжидая, когда она уйдет. Что у него может быть общего с Сашей? А когда он начинал говорить, то Аня в каждом его слове чувствовала неискренность. Однажды она не выдержала и сказала:

— Хитрый вы, Орест Макарович!

— Я — хитрый?! — удивленно поднял рыжие брови Говорухин.— Что вы? Спросите хоть Александра Ильича, есть у меня такая черта или нет!

— Нет, он не хитрый,— ответил Саша и спросил Аню: — Ты завтра зайдешь ко мне?

— Не знаю,— с обидой в голосе ответила Аня, поняв, что она мешает им.

— Куда ты? Посиди еще! — явно ради приличия говорил Саша, подавая ей пальто.

— Нет, я пойду,— ответила Аня, с трудом удерживаясь, чтобы не расплакаться: так ей было больно, что Саша что-то скрывает от нее, не доверяет ей.

С мнением брата Аня всегда считалась. Она внимательно присматривалась к Говорухину, стараясь понять, что же хорошего находит Саша в нем, но только открывала новые неприятные черты. И антипатия ее к Говорухину не только не проходила, а все больше усиливалась. Он ей платил тем же. И когда они бывали вместе, разговор не вязался. Говорухин спрашивал Сашу:

— Отчего не хочешь посвятить сестру в наши дела?

— Я против навязывания кому бы то ни было своих взглядов. Человек должен сам политически определиться.

— Но если сестра твоя не интересуется политикой, это еще совсем не означает, что мы не должны... Ну, как

бы поточнее выразиться. Ну, скажем, влиять на нее. Ведь и тебя пришлось довольно долго агитировать...

— Ты смешиваешь разные вещи. Я внутренне был готов к борьбе и только искал путей. А о сестре этого нельзя сказать.

После этой стычки — Саша говорил как-то необычайно резко — Говорухин больше не заводил речей об Ане. А Саша еще старательнее начал скрывать от Ани свои дела. Возвратясь с вакаций в Петербург, он отказался жить с нею вместе. Аню это очень обидело, так как она не понимала, какая тому причина. Своему земляку Ивану Чеботареву, вместе с которым поселился Саша, он сказал:

— У нее нет никакого интереса к общественной деятельности. А мои знакомства могут скомпрометировать ее.

Аня, замечая, что Саша все больше отходит от нее, терялась в догадках, стараясь понять, откуда такая перемена.

4

Студенческим научно-литературным обществом руководил профессор Орест Федорович Миллер. Он терпимо относился к самым противоречивым взглядам в вопросах науки и литературы. Ульянов сразу же оценил это и начал принимать деятельное участие в работе общества. Это была единственная легальная студенческая организация. Собирались довольно часто, заседания продолжались долго, поскольку докладов-рефератов на литературные и общественно-политические темы готовилось много, разгорались бурные дебаты.

Осенью 1886 года при перевыборах президиума в секретари общества была выдвинута кандидатура Александра Ульянова. После того, как он получил золотую медаль, его начитанность и недюжинные способности признавали все студенты.

— Ульянов интересуется не только зоологией и химией,— говорил студент Водовозов, призывая голосовать за кандидатуру Саши.— У него гораздо более широкие научные планы. Вот почему я считаю, что он заслуживает быть секретарем нашего общества.

Александра Ульянова единогласно избрали главным секретарем общества. Этой работе он отдался с энтузиазмом, и общество под его влиянием стало уделять больше внимания общественно-политическим вопросам. По совету Александра, Чеботарев подготовил доклад о деятельности учительницы-народоволки его деревни.

Особенно взволновала всех та часть доклада, где рассказывалось, как хорошо относились к учительнице крестьяне. Ведь это было явным подтверждением того, что народ сочувствует революционной деятельности интеллигенции.

Студенты валом валили на заседания общества. Необычное оживление в обществе заметила и охранка. В рапорте Петербургского охранного отделения, направленном в департамент полиции тридцать первого декабря 1886 года, сообщалось, где живет Ульянов, кто его родные, с кем он ведет знакомства. В заключение указывалось: «Политическая благонадежность знакомых Ульянова, равно и его самого, весьма сомнительна».

...Чтобы отметить годовщину смерти Добролюбова, студенты решили собраться на Волковом кладбище и возложить венки на его могилу.

Семнадцатого ноября было пасмурно, накрапывал дождик. Студенты — кто пешком, кто на конке — направлялись к кладбищу. Но тут оказалось, что полиция опередила их. Ворота кладбища были заперты, у ограды стояли городовые. Еще больше их пряталось за воротами: студентам хорошо было видно, как они осторожно выглядывали оттуда. Толпа росла. Приехали студенты с венками. Городовые разводили руками, повторяли:

— Не приказано пускать.

— Кем не приказано? — подступали к ним студенты.

— Не можем знать, а не приказано...

Поняв, что от городовых толку не добьешься, студенты отправились в участок позвонить градоначальнику генералу Грессеру. По дороге кто-то заметил:

— Не пустит Грессер на кладбище.

Так и получилось: как ни уговаривали студенты генерала Грессера, он не разрешал им пройти на кладбище. Только когда генерал убедился, что студенты не боятся его угроз, он, опасаясь скандала, разрешил пропустить к могиле Добролюбова делегатов с венками.

Небольшая группа студентов, в сопровождении усиленного наряда городовых, понесла венки к могиле. Оставшиеся у ворот кричали:

— Варвары!

— Для них ничего нет святого!

— Шакалы! Всех жрут: и мертвых, и живых!

После того как возмущенный шум затих, начали советоваться, что делать дальше. Одни предлагали разойтись, другие — прорваться силой. Миша Драницын протолкался к Александру, спросил:

— Саша, что же делать?

— Давайте отслужим панихиду в какой-нибудь церкви.

Предложение понравилось всем, и толпа дружно двинулась на Невский.

Миша Драницын восхищенно говорил:

— Ты это отлично придумал! И венки на могилу возложили, и панихиду отслужим... Вокруг пальца обведем проклятых фараонов!

Однако радость была преждевременна. Не успели студенты выйти на Невский, как навстречу им прискакал верхом на лошади генерал Грессер. Тот самый Грессер, который выиграл в жизни лишь одно сражение — заставил городскую думу отменить постановление об ассигновании денег на похороны Ивана Сергеевича Тургенева. Тогда о нем презрительно говорили: ну и храбрец этот генерал, если не побоялся выставить свое имя на всеобщее посмешище!

Гарцуя перед студентами — грязь из-под копыт его жеребца брызгала на стоявших впереди, и толпа пятилась от него,— он «отечески» советовал:

— Господа, прошу разойтись по домам!

— Почему? — послышались голоса.

— Потому что манифестации устраивать нельзя!

— И молиться без разрешения полиции тоже нельзя? — спросил Ульянов с явной иронией.

— Нельзя! — отрезал Грессер и приказал казакам остановить студентов. Казаки преградили выход на Невский проспект, и толпа попала в западню: слева был Лиговский канал, справа — двор полицейского участка, а спереди и сзади — цепи казаков с шашками наголо. Толпа

остановилась, поскольку проход остался один — в ворота участка.

— Ловко! — хмуро заметил Ульянов.

Два конных казака врезались в толпу, схватили студента, который что-то выкрикнул, и потащили в участок. Затем схватили еще нескольких. Все понимали — дело плохо. Полиция хватала всех, кто уже был у нее на примете. У многих из арестованных была нелегальная литература. Если полиция сделает обыск у них на квартирах, этот арест дорого обойдется. Демонстранты собирались небольшими группами и советовались, что же предпринять, чтобы освободить товарищей. Одни говорили, что нужно объясниться с Грессером, другие предлагали идти в участок и стоять там, пока всех не отпустят.

К Ане и Саше подошла знакомая курсистка со своим спутником, молодым кандидатом в профессора, растерянно спросила, указывая на ряды казаков:

— Куда же идти?..

Ульянов глянул на казака, стоявшего поблизости, и на лице его появилось выражение отчаянной решимости. Аня, заметив это, крепко стиснула Сашину руку: она знала — в такие минуты брат готов на все. И действительно: весь как-то подобравшись, Саша твердо отчеканил:

— Вперед!

— Идти вперед? На казаков, на шашки? — испугалась Винберг.

Саша, чтобы не сказать какой-нибудь резкости, предпочел смолчать. В самом деле: топчутся на месте, охают, вместо того чтобы двинуться всей массой на казаков и прорвать их кольцо. Ведь оружие они в ход не пустят. А если и пустят, то всех не зарубят. А известие о расправе над студентами, которые намеревались почтить память Добролюбова, облетит всю страну и заставит возмущенно забиться не одно честное сердце.

Холодный туман пронизывал до костей. Да и голод давал себя знать, а полиция все держала толпу. По другую сторону Лиговского канала собрался народ. Слышались голоса:

— За что их пригнали в участок?

— По профессору своему панихиду служить хотели..,

— Здорово! А ежели я по отцу захочу отслужить, меня тоже в участок?

— Ежели твой родитель профессор, там тебе и быть.

— Тю!..

— Эй, друг! Нет ли чего поесть? — спрашивали студенты.

— Лови булку!

За первой булкой, брошенной через канал, в толпу студентов полетела вторая, третья. Казачий урядник погрозил нагайкой, крикнул:

— Эй там! Не кидаться хлебом!

Но народ, отгороженный от казаков и городовых каналом, продолжал выказывать сочувствие студентам. Ульянов внимательно следил за настроением людей, ловил каждое слово. Ведь это и был тот народ, о котором он все время думал, о котором так много спорили в кружках. Говорили, что народ равнодушен к деятельности революционеров, что он не поддержит их. Нет, ложь это! Народ молчит потому, что он забит, придавлен. Он молчит потому, что видит: царь всесилен. Но стоит только пошатнуть трон, и народ скажет свое слово.

Смеркалось, и толпа демонстрантов — тех, кто хотел уйти, начали пропускать — постепенно редела. Когда уже совсем стемнело и студентов осталось немного, Саша с Аней и Говорухиным тоже вышли из оцепления. Среди арестованных оказались два однокурсника Ульянова — Мандельштам и Туган-Барановский. Нужно было немедленно «очистить» их квартиры.

5

Все были возбуждены, и дома не сиделось. Хотелось узнать об участи арестованных товарищей. Полиция не успела опередить студентов, и квартиры арестованных были «очищены». У Ульянова собрались демонстранты. Все, возмущенные, взволнованные, ожидали новых арестов.

Говорухин спросил, как бы размышляя вслух:

— Почему же забрали именно этих? Уж если так, надо было всех арестовать.

— И это возможно,— ответил Ульянов.— Раз таким

людям, как генерал Грессер, все позволено, от них всего можно ожидать.

— Но тогда придется им забрать добрую тысячу.

— Так что же? В Сибири найдется место для сотен тысяч.

Но тут появился Мандельштам, а за ним и прочие задержанные. Оказалось, полиция выпустила всех. Подавленное настроение сменилось радостью. Посыпались шутки, рассказы о том, что было в участке.

— Сидим,— рассказывал Мандельштам,— как вдруг выходит Грессер. Упал на стул и говорит с тяжелым вздохом: «Ох, уморился!» Один студент посочувствовал: «Да, ваше превосходительство, работка у вас незавидная».

— А что же Грессер?

— Чертом поглядел на него, но ничего не сказал.

Долго в тот вечер не расходились студенты, хотя, казалось, обо всем уже переговорили. На душе у всех было радостно.

На следующий день в университетских аудиториях только и говорили об этой победе. Кое-кто начал намечать планы новых выступлений. И вдруг ночью полиция налетела с обысками. Пошли аресты. Этого никто не ожидал. Кроме задержанных во время демонстрации, полиция арестовала еще многих — из тех, видимо, кто уже давно значился в списках неблагонадежных.

Арестованных — их было человек сорок — выслали из Петербурга. Университет бурлил. У Ульянова собрались инициаторы добролюбовской демонстрации. Начались споры о том, что же теперь предпринять, как выразить протест. Одни советовали собраться у Казанского собора или даже у Зимнего дворца и потребовать возвращения высланных; другие предлагали взорвать жандармское управление. Слышались голоса и о подготовке покушения не только на Грессера, но на самого царя. Ни один из этих планов не был под силу студентам.

— Мы должны показать правительству,— гневно говорил Ульянов,— что не склоняем покорно головы! Мы должны дать почувствовать, что нельзя безнаказанно оскорблять человеческое достоинство. Любой ценой мы должны доказать — всему есть предел! И если для этого нужны жертвы, пусть правительство знает: мы не остано-

вимся и перед жертвами. Среди нас всегда найдутся люди, которые не пожалеют своей жизни, если это понадобится.

После добролюбовской демонстрации у Александра окончательно созрело решение — активно бороться с самодержавием. Но как вести борьбу, он не знал. На эту тему у него шли жаркие споры с товарищами.

— Вопросов, вопросов множество,— говорил он,— а не решив их, я не могу браться за дело, это было бы безнравственно. Я должен определить свое отношение к террору и только тогда браться за него.

— Как? Ты и теперь повторяешь то же, что год назад? — запальчиво кричал Говорухин.— Теперь, когда правительство хватает за горло твоих товарищей, да и до тебя добирается? Ты и теперь будешь объективно взвешивать, что тебе делать? По-моему, теперь безнравственно не браться за дело, безнравственно — не протестовать против деспотизма. Вопрос может идти лишь о том, какая форма борьбы действеннее. Я считаю — террор. Придумай другую форму.

— Именно этим я и занимаюсь! — ответил Александр.— И когда я приду к выводу, что нужен террор, я без колебаний примусь за него. Но сейчас я не верю в террор. Значение несистематического террора — ничтожно. С его помощью ничего нельзя достичь — это доказано историей. А вот если бы народники вслед за Александром Вторым убили и Александра Третьего; если бы они убрали тех, кто стоит у трона,— о, тогда их выступление принесло бы совсем иные последствия.

Никонов лежал больной и на демонстрации не был. О том, как поступила полиция с демонстрантами, рассказала ему курсистка Москопуло. Она же сказала Никонову — после того, как начались аресты и высылки студентов,— что намеревается убить царя. Никонов уже два года думал об этом и теперь видел: сложилась благоприятная ситуация для подготовки покушения.

Как только Ульянов пришел к Никонову, он прямо сказал:

— Александр Ильич, у меня к вам очень серьезный вопрос. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но мне хоте-

лось бы знать ваше мнение. Вы уже, наверно, сами заметили: идея цареубийства сейчас, так сказать, носится в воздухе. Политическая атмосфера стала настолько тяжела, что просто дышать нечем. И многие спрашивают: неужели нет людей, которые способны покончить с деспотом?

— Я тоже об этом думал,— после долгого молчания начал Саша.— Момент действительно подходящий, но где организация? Где нужные люди? Где, наконец, средства? Не знаю, как вы,— помолчав, продолжал он,— но я убежден: это очень трудное дело! Только в том случае, если покушение будет тщательно подготовлено, оно закончится успешно. Даже если найдутся люди, средства, перед нами возникнет множество серьезных препятствий. Одно только собирание сведений о жизни царя потребует бог знает каких усилий, а то и жертв. Ведь наш владыка живет, как филин: слышно только его зловещее уханье, а где он сам — никто не знает.

— Очень хорошо сказано! И с тем, что покушение подготовить будет очень тяжело, я тоже согласен. Но разве у Желябова и его друзей трудностей было меньше? Наверно, нет. Давайте позондируем почву, поищем нужных людей.

Как-то вечером к Александру зашел Шевырев. Он, как всегда, завел разговор о студенческих кассах, о кухмистерских. Но если до арестов и высылки студентов все эти рассуждения его еще имели какое-то значение, то сейчас они казались прямо детским лепетом.

— И охота вам, Петр Яковлевич, тратить энергию на такие мелочи? — спросил Александр.— С вашим талантом организатора можно было бы устроить что-нибудь поосновательнее.

— А что, например? — с ехидной ноткой в голосе спросил Шевырев, глядя на Александра поверх очков.

— Да, например, покушение,— сказал Александр, — хороший террорист из вас получился бы.

— Где уж мне! — расхохотался Шевырев.— Мне и студенческой столовки довольно. Ведь вы так обо мне полагаете?

Александр ничего не ответил, но по его молчанию

было видно: он именно такого мнения о своем собеседнике. Шевырев еще громче захохотал. Но вдруг, резко оборвав смех, оглянулся и, понизив голос, спросил:

— Это что же — к слову пришлось или дело какое есть?

Ульянов сказал, что вопрос задан серьезно, однако ничего конкретного пока нет. Шевырев, многозначительно помолчав, проговорил торжественно:

— Ну, а теперь я вас, господа, спрошу: угодно вам приступить к террору? Костяк боевой группы есть.

Ни Ульянов, ни Говорухин не ожидали этого. По всему видно было — Шевырев не шутит, и все-таки... Когда же он организовал группу? Кто в нее входит? Каков план действий? На все эти вопросы Шевырев отвечал уклончиво и неопределенно. Видно было: он хитрит. А почему — Александр понять не мог. Потому ли, что группы нет, или потому, что просто не доверяет им. Ульянов не любил недомолвок и поэтому прямо сказал ему:

— Я вижу — вы не желаете откровенно говорить с нами. Это ваше право. Но скажите тогда, как мы можем высказать отношение к вашей группе, если мы не знаем, что она собою представляет? Какие люди в нее входят?

— Верно! — вставил Говорухин.— Если нам вступать в вашу группу, то прежде всего на равных правах со всеми.

— Нет! Я не могу познакомить вас с членами группы,— доказывал Шевырев.— Сейчас это невозможно. Понимаю, что вам это неприятно, но цель оправдывает средства.

После долгих споров Шевырев начал сдаваться. Он сказал, что его группа готовит покушение на царя. План таков: стрелять из пистолета отравленными пулями. К этому плану Ульянов и Говорухин отнеслись скептически, хорошо зная, как бережется царь. Шевырев, увидев это, сказал, что он не возражает и против того, чтобы действовать бомбами. Только их гораздо труднее достать, чем пистолеты.

— Всю организацию покушения я разделяю на четыре пункта,— говорил Шевырев.— Деньги. Изготовление бомб. Подготовка метальщиков и сигнальщиков. Добывание сведений о жизни царя.

— Все, что связано с жизнью царя, держится в страшном секрете,— заметил Говорухин.— А это значит, что следить за ним практически невозможно.

— Для тебя, Орест Макарович, это действительно невозможно. Но есть люди, которым это под силу. Вот я и спрашиваю вас: возьметесь ли вы за то, что можете сделать? За окончательным ответом я зайду к вам дня через три.

Шевырев ушел. Александр ждал, что скажет Говорухин, который все время агитировал его переходить от слов к делу. Но Говорухин молчал. Дело оборачивалось так, что нужно было конкретными действиями подтвердить свои слова. Говорухин понимал — ему некуда отступать, если он не хочет оказаться болтуном. Но он понимал и другое: вступить в группу — значит обречь себя на верную гибель. Такая перспектива не очень его устраивала. Он принадлежал к людям, которые умеют только возмущаться, играть в геройство, но не проявлять его.

— Да-а...— после долгого молчания протянул Говорухин и встал.— Пожалуй, и мне пора. Ну, до свиданья.

6

Арестованных студентов полиция выслала из Петербурга. Нужно было как-то выразить свое отношение к этому произволу самодержавия. Хотелось это сделать еще и потому, что власти обманули общественность. Официально было объявлено, что такие меры приняты лишь по отношению к тем, кто кричал около кладбища. Это была ложь. Полиция попросту воспользовалась демонстрацией, чтобы выслать из Петербурга студентов, заподозренных в связях с революционным движением. Студенты решили выпустить прокламацию, размножить ее на гектографе и разослать по почте. Ульянову поручили составить текст.

«Темное царство, с которым он боролся,— писал Александр,— не потеряло своей силы и живучести до настоящего времени... Он указал обществу на мрак, невежество и деспотизм, которые царили, да и теперь царят в русской жизни. Он не только заставил русский народ обратить внимание на свои язвы; в то же время он указал и средства, которыми они могут быть излечены. Как ни была неприглядна окружавшая Добролюбова действитель-

ность, как ни мало было в ней отрадного, он не потерял веры в русский народ, в его будущность. Только невежество порождало темное царство, оно составляло его силу, давало ему возможность подчинить своему гнету лучшие элементы русского народа. И это темное царство гнетет нас и теперь, но мы уже не сомневаемся, что дни его сочтены...»

Правдиво рассказав о том, как вели себя студенты и как поступила с ними полиция, Александр Ильич продолжал: «В этой манифестации, предпринятой с совершенно мирными целями и которая могла окончиться немирно, характерен грубый деспотизм нашего правительства, которое не стесняется соблюдением хотя бы внешней формы законности для подавления всякого открытого проявления общественных симпатий и антипатий. Запрещая панихиду, правительство не могло делать этого из опасения беспорядков: оно слишком сильно для этого, и к тому же оно было гарантировано в этом обещанием наших депутатов. Оно не могло также найти что-либо противозаконное в служении панихиды. Очевидно, оно было против самой панихиды, против самого факта чествования Добролюбова. У нас на памяти немало других таких же фактов, где правительство ясно показывало свою враждебность самым общекультурным стремлениям общества. Вспомним похороны Тургенева, на которых в качестве представителей правительства присутствовали казаки с нагайками и городовые...

Итак, всякое чествование сколько-нибудь прогрессивных литературных и общественных деятелей, всякое заявление уважения и благодарности им, даже над их гробом, есть оскорбление и враждебная демонстрация правительству. Все, что так дорого для каждого сколько-нибудь образованного русского, что составляет истинную славу и гордость нашей родины, всего этого не существует для русского правительства. Но тем-то важны и дороги такие факты, как 17 ноября, что они показывают всю оторванность правительства от общества и указывают ту почву, на которой должны сойтись все слои общества, а не только его революционные элементы. Такие манифестации поднимают дух и бодрость общества, указывая ему на его силу и солидарность, они вносят в его серую обывательскую жизнь проблески общественного самосо-

знания и предостерегают правительство от слишком неумеренных шагов по пути реакции.

Грубой силе, на которую опирается правительство, мы противопоставим тоже силу, но силу организованную и объединенную сознанием своей духовной солидарности...»

Прокламация была адресована общественности, и в ней, конечно, Ульянов не мог высказать всего, что было у него на душе. Но даже то, что он сказал, показывает, с какой ненавистью относился он к самодержавию. Александр прямо заявлял: дни темного царства (то есть самодержавия) сочтены, грубой силе будет противопоставлена тоже сила. Силу эту он видел в терроре.

До поздней ночи за круглым столом в комнате Александра кипела работа: студенты запечатывали в конверты прокламации, подписывали адреса и разносили по почтовым ящикам. Провожая Аню с конвертами, Александр говорил:

— Только прошу тебя: не бросай по нескольку конвертов в один ящик. Это может вызвать подозрение на почте, и прокламации попадут в охранку.

Общественность на это пылкое, взволнованное обращение студентов ответила гробовым молчанием. Но молодежь не успокаивалась. Желание ответить ударом на удар порождало толки о возобновлении террора. Прошли даже слухи, что было организовано покушение на генерала Грессера. Все более говорили о том, что готовится покушение на царя.

7

Адреса для рассылки прокламаций брали из адрес-календаря Петербурга. Конверты покупали в одном магазине, что не могло не броситься в глаза «черному кабинету» охранки. Половина прокламаций вместо адресатов попала в печку, а дворников Петербургской стороны, Васильевского острова и Адмиралтейской части вызвали в участки. Пристав стучал кулаком по столу, кричал на Матюхина, дворника хозяев квартиры Ульянова:

— Ты куда, мерзавец, смотришь? Как ты смотришь?

— Да я... Как приказано...

— Как приказано! Дурак! Я тебя, дубина, самого в Сибирь упеку! Я тебя научу, как смотреть за жильцами!

— Ваше благородие...

— Молчать! Вот эта девка — как ее? — Пристав полистал бумаги.— Ага! Шмидова! Почему она так часто бегает к Ульянову?

— Не могу знать.

— А кто же должен знать? Я?!

Матюхин, испуганно моргая глазами, молчал.

— А что делает у него по целым дням студент Говорухин?

— Это какой? Рыжий?

— Рыжий.

— Заходит. Сидит, чай пьет...

— А может, что-нибудь приносит? Или уносит?

— Этого не замечал.

— А кто же должен замечать? Я? Болван! На вот, отнеси Ульянову повестку! И с этого дня первая твоя обязанность — следить за каждым его шагом. Ты должен знать, кто к нему ходит, что у него делает! И немедленно доносить! У нас есть подозрение, что именно Ульянов,— он помахал перед красным носом Матюхина листовкой,— распространяет эту крамолу! Понял?

— Понял, ваше благородие!

— Тогда пошел вон с глаз моих!

Александр собрался идти в университет, как вдруг дверь без стука отворилась, и в комнату воровато заглянул Матюхин.

— Господин Ульянов, это я. По службе,— объявил Матюхин, вручая повестку.— Вот прочитайте.

В повестке говорилось, что Ульянова вызывают в участок. Значит, и до него добрались! Перспектива исключения из университета была не из приятных, и успокаивало только то, что он не один. Досадно, что наказание придется понести абсолютно ни за что. Хотя кто же мешал ему все эти годы вести активную борьбу? Никто. Просто он раздумывал, искал путей борьбы. А когда подготовился к ней... Должно быть, революционеры потому и не заявляют о себе, что полиции удается арестовать их и выслать прежде, чем они приступят к какому-нибудь делу.

Полдня прождал Ульянов в заплеванном коридоре

участка. Наконец начальство изволило вызвать его к себе в кабинет. Это был толстый, с пухлым и, казалось, добродушным лицом жандармский офицер. Он радостно улыбнулся Александру и любезно пригласил садиться.

— Прошу прощения, что заставил вас дожидаться,— начал он каким-то вкрадчивым голосом.— Но не моя вина... Служба у нас такая... Садитесь, пожалуйста!

— Я действительно долго ожидал,— не садясь, спокойно ответил Александр.— Поэтому, надеюсь, беседа будет короткой.

— Да! У меня всего несколько мелких вопросов. Скажите, вы хорошо знаете студента Тутан-Барановского?

— Мы с ним учились на одном курсе.

— Он бывал у вас на квартире?

— Да.

— Часто?

— Когда ему было нужно, тогда и заходил.

— У вас что же — какой-нибудь кружок собирался?

— Нет.

Офицер задал еще несколько подобных вопросов и отпустил его.

Пока шли аресты и высылки из Петербурга студентов, участвовавших в добролюбовской демонстрации, Ульянова несколько раз вызывали в полицию, но, ничего не добившись, оставили в покое. Он ждал обыска, но полиция на квартире не появлялась. Вдруг прибежала взволнованная Раиса Шмидова, жившая вместе с Говорухиным на одной квартире, спросила:

— У вас полиция была?

— Нет.

— А у нас все перерыли. Я думала, Ореста Макаровича возьмут, но обошлось. У него абсолютно ничего не нашли, хотя старались изо всех сил. Он послал меня сказать вам: будьте осторожны. Офицер спрашивал его, бываете ли вы у нас.

Аресты кончились, а полиция так и не появилась. И Александр, и Чеботарев думали, что им удалось ловко провести охранку. А на самом деле их квартиру не обыскали только потому, что придавали Ульянову больше значения, чем всем высланным студентам, и не трогали его, чтобы проследить, с кем он связан.

Директор департамента полиции Дурново писал Грес-

серу: «Ввиду полученных сведений о сношениях... студента университета Александра Ильича Ульянова с лицами, высланными из Петербурга за демонстрацию в день годовщины смерти Добролюбова, Департамент полиции имеет честь покорнейше просить Ваше превосходительство не отказать в распоряжении о собирании подробных сведений о деятельности и круге знакомых студента Ульянова...»

Второго января 1887 года в департамент полиции поступил ответ за подписью генерала Грессера, в котором перечислялись знакомые Ульянова. Справка заканчивалась так: «Ввиду того, что большинство знакомых суть лица, скомпрометированные в политическом отношении, он сам (Ульянов) также должен быть признан за такое лицо».

Слежка за домом настолько усилилась, что агенты охранки постоянно торчали у парадного и под окнами. Дворник тоже находил всяческие поводы, чтобы заглянуть в квартиру.

Александр Ильич, заметив, как внимательно за ним следят, сказал Чеботареву:

— Иван Николаевич, если вы не хотите рисковать собой — а в этом нет никакой необходимости,— то нам лучше разъехаться. Говорю вам это потому, что... Да вы сами все хорошо понимаете. Кому из нас выехать отсюда — решайте вы. Я все равно не смогу платить за две комнаты, и если вы хотите остаться здесь, то пожалуйста: я на этой же неделе что-нибудь подыщу для себя.

— Зачем? Оставайтесь тут. У меня есть на примете хорошая квартира. Тем более что после окончания диссертации я все равно должен буду уехать в Сибирь на статистическое исследование Иркутской губернии. Сейчас это, кажется, уже решено окончательно.

Но и на новой квартире Чеботарев заметил, что за ним следят.

8

— Для меня на твой адрес может прийти телеграмма,— сказал как-то Александр Ане,— я дал твой адрес потому, что собираюсь переезжать, а телеграмма эта очень важна.

Аня знала: если Саша ничего больше не сказал про телеграмму, то нечего его и спрашивать. Он несколько раз заходил справиться, не получена ли телеграмма. Аня стеснялась допытываться у Саши, что это за секрет, но телеграмма несколько дней держала ее в нервном напряжении. Она ломала голову: откуда телеграмма? О чем? Почему Саша так ждет ее? Строила всяческие догадки: то ей казалось, что в телеграмме будет какое-то неприятное известие для Саши, то, наоборот,— очень приятное. Но телеграммы все не было. Постепенно она успокоилась, а потом и вовсе перестала думать о ней.

И вдруг Аню разбудил ночной звонок. Перепуганная хозяйка без стука ворвалась в ее комнату:

— Вас... Вам телеграмма...

— Из дому? — быстро одеваясь, спрашивала Аня.— Что же там случилось?

— Не знаю... Да только кто же ночью станет поднимать на ноги весь дом, если никакого несчастья нет...

— «Сестра опасно больна»,— прочитала Аня.

— Вот видите,— вздохнула хозяйка,— так и есть: несчастье... Ох, господи,— крестясь, продолжала она,— за какие грехи ты только нас караешь...

Телеграмма была подписана «Петров». Подана из Вильны, где — это Аня знала точно — у Саши не было знакомых. И текст такой странный: «Сестра опасно больна». Какая сестра? Чья сестра? Петрова? Кто этот Петров? Какое отношение эта сестра Петрова имеет к Саше? А может, Оля или Маняша заболели? Но почему тогда телеграмму прислали из Вильны? Эти и сотня других вопросов вертелись в голове Ани и не давали ей уснуть. Утром она побежала в университет, чтобы передать Саше телеграмму. Он прочитал ее и, как показалось Ане, очень поспешно спрятал в карман. Выражение лица его вдруг изменилось, стало каким-то тревожным. Эта резкая перемена в настроении всегда такого уравновешенного Саши еще больше обеспокоила Аню. Она не выдержала и спросила дрожащим голосом:

— Что это значит? Что-нибудь случилось дома?

— Нет. Эта телеграмма от друга,— ответил Саша, и лицо его опять сделалось, как всегда, спокойно-непроницаемым.

Аня заметила это и поняла — таинственный уголок души брата, который на минуту приоткрылся было, снова стал недоступным для нее. Снова между ними появилась стена, которую она последнее время ощущала душой. Ей хотелось как-то успокоить и себя, и Сашу. Но она не знала, как это сделать, спросила:

— Хорошо я сделала, что сейчас же принесла телеграмму?

— Да. Я тебе очень признателен,— сухо ответил Саша.

Аня поняла: он не хочет говорить с нею о телеграмме — и перестала расспрашивать. Он тоже молчал и был явно обрадован, услышав звонок, призывавший на лекцию.

Возвращалась Аня домой в состоянии какой-то внутренней раздвоенности. По всему видно, телеграмма эта для Саши очень важна. И может быть, принеся ее вовремя, она отвела от него какую-то беду. А может быть, наоборот — принесла ему известие о каком-то несчастье? Ведь Саша вышел к ней спокойный, а прочитал телеграмму — и настроение его резко переменилось. Да, она принесла неприятную новость. Саше явно грозит какая-то опасность. Недаром и в телеграмме сказано: «опасно больна». Такими словами о радости, конечно, не сообщают. А может быть, все же она спасла его от беды? Но почему у нее тогда так тяжело на душе?

Как ни уговаривала себя Аня, что брату ничего не грозит, это странное чувство надвигающегося несчастья не покидало ее.

На следующий день она пошла к Саше на квартиру и, застав его одного — что в эти дни было редкостью,— опять завела разговор о загадочной телеграмме. Саша недовольно нахмурился и, повторив то, что сказал вчера, замолчал. Аня испугалась, что из-за ее назойливости он вообще перестанет доверять ей, и больше не расспрашивала. Спокойствие, с каким он теперь говорил о телеграмме, передалось и ей. Она поверила, что беда миновала. И именно потому, что все было сделано — в этом и ее заслуга — очень конспиративно! Ей хотелось, чтобы Саша подтвердил это, и она сказала:

— Хорошо, что ты мой адрес дал, а не свой. Ведь так безопаснее.

— Нет,— ответил Саша,— я дал твой адрес только потому, что собирался менять квартиру.

Так Аня ничего толком и не узнала о подлинном содержании телеграммы.

9

Подготовка покушения на царя отнимала у всех много времени. А нервное напряжение мешало заниматься другими делами. Почти все они перестали посещать лекции. Шевыреву начали мерещиться шпионы даже там, где их не было. Он совершенно серьезно начал уверять товарищей, что за ним все всемя ходит собака, которая, наверно, помогает шпионам следить за каждым его шагом. Нервное возбуждение его было настолько сильно, что чашка кофе действовала на него, как водка,— он прямо пьянел. И тем больше поражало всех спокойствие Ульянова.

Нужно было приготовить нитроглицерин. У себя на квартире Александр этого сделать не мог: боялся обыска. Лукашевич, который тоже принял участие в подготовке покушения, нашел подходящее место. Кинулся разыскивать Ульянова, чтобы сообщить ему об этом. Обошел все аудитории университета — нигде нет.

И вдруг, заглянув в зоологический кабинет, Лукашевич глазам своим не поверил: Александр с таким увлечением препарировал морских тараканов, точно это было самое главное дело его жизни: ничего не видел и не слышал.

— Александр Ильич,— удивленно и даже укоризненно сказал Лукашевич.— Как вы можете сейчас заниматься этим?

— А что случилось? — неохотно отрываясь от занятия, спокойно спросил Александр.

— Как — что? Ведь до покушения осталось всего несколько дней...

— И что же?

— Да ведь мы все ставим на карту!

— Знаю.

— М-да... Странный вы человек! — невольно вырвалось у Лукашевича.

— Нет. Я просто очень люблю науку,— с такой волнующей искренностью сказал Александр, что у Лукашевича сердце сжалось. «Такой талант,— подумал он,— а что ждет его...»

— Александр Ильич, мой знакомый, Михаил Новорусский, позволил изготовить динамит на его даче в Парголове. Это недалеко от города. Там живет мать его невесты, фельдшерица Ананьина. У нее есть сын, гимназист. Условились так: вы поедете туда как бы давать уроки этому гимназисту. О ваших занятиях химией Новорусский сказал Ананьиной, что это необходимо вам для научной работы.

— Значит, Новорусский посвящен во все? — удивился Ульянов.

— Да,— несколько смущенно ответил Лукашевич.— Он спросил меня, для чего нужна дача. Вы сами понимаете, что у меня не было другого выхода. Кстати, когда он узнал, чем вы там будете заниматься, то сказал, что для другого дела он и не пустил бы вас туда. Приборы вы сами заберете, а кислоту... Тут нужно подумать, с кем ее переправить. Надо найти такого человека, за которым нет слежки.

Лукашевич ушел, а Саша опять принялся за свое дело. Ему хотелось до отъезда в Парголово выполнить намеченную программу. Он усиленно готовил новую научную работу и хотел закончить ее до вакаций, а потому и дорожил каждой минутой. Даже в Парголове, изготовляя нитроглицерин, он продолжал думать о своем исследовании, делал заметки.

— Борьба с самодержавием угрожает нам, Александр Ильич,— говорил Лукашевич, оставшись как-то наедине с ним в лаборатории,— виселицей или пожизненной каторгой. Погибнуть в расцвете сил и причинить своей смертью глубокое горе родным — все это, разумеется, очень больно. Однако я с этим примирился. Но в глубине души моей поднимается тихий, несмолкающий стон протеста. Чей же голос зовет меня к жизни?

— Голос науки,— не задумываясь ответил Александр, которого мучили такие же мысли.

— Вы угадали. Поскольку светоч науки все ярче озаряет новые и новые сферы необозримого океана знаний, мысль моя работает неустанно и лихорадочно. Душу мою, чем дальше, тем больше, охватывает и пленяет величие, могущество и красота науки. Я нахожу в ней неисчерпаемый источник чистой радости. В этом бурном океане знаний рождаются и мои собственные идеи. Может быть, они выросли бы в новые оригинальные теории. И все это мы сознательно обрекаем на гибель. Не знаю, что чувствуете вы, а мне невыразимо жаль их. Такое чувство испытывает, должно быть, отец, вынужденный сам вести своих детей на эшафот.

Ульянов переживал такую же душевную трагедию. И только потому, что был сдержан и не любил экспансивных излияний, никто об этом не знал.

Трагедия Александра Ильича усиливалась еще вот чем: изучая труды Маркса, он начинал подумывать о том, что террором вряд ли можно изменить весь общественный строй. Но с другой стороны — отступать уже было некуда...

10

Азотную кислоту, необходимую для приготовления динамита, вырабатывали Генералов и Андреюшкин. Поскольку дело шло очень медленно, они начали просить Шевырева послать кого-нибудь за кислотой в Вильну. Ульянов поддержал их, и Шевырев взялся подыскать надежного человека, за которым не следила бы полиция.

По кухмистерской Шевыреву помогал студент Канчер. Он ходил за продуктами, продавал талоны. Казался парнем сообразительным и расторопным. Шевырев, когда началась подготовка покушения, начал обращаться к нему по всяким мелким делам: то посылал банки и реторты в аптеке купить, не объясняя зачем, то записку Ульянову отнести, то еще что-нибудь. Канчер привык выполнять всяческие поручения Шевырева, и, когда тот предложил ему съездить в Вильну, он согласился. Даже не спросил Шевырева, что именно должен привезти оттуда. Вильны он не видел, и проехаться туда за чужой счет было соблазнительно.

— Вот тебе пятьдесят рублей и две записки с адресами. По этой ты возьмешь у Антона нужные нам вещи. А найдешь его так: на Виленской улице дом Антона. Зайди в трактир и спроси Елену. Она отведет к Антону. Вторая записка — ты, друг, внимательно слушай! — с адресом Пилсудского. Ты знаешь его?

— Встречал его в университете.

— Отлично. Вот эти два письма передашь ему.

— И все?

— Да. Задача у тебя одна: привезти все то, что они дадут. Ясно?

— Ясно.

— Перед возвращением отправишь вот по этому адресу такую телеграмму.

Шевырев показал написанный на клочке бумаги адрес и текст телеграммы.

— Запомнил?

— Запомнил.

— Хорошо.— Он вынул спички, сжег бумажку, закончил: — Ульянов встретит тебя на вокзале. И последнее: куда едешь, зачем — никому ни слова.

Канчер поехал в Вильну. Когда он возвратился, Ульянов встретил его на вокзале — по той телеграмме, которая поступила на адрес Ани,— и забрал чемодан. Только приехав в Вильну, Канчер догадался, зачем его послали — ему кроме кислоты дали еще и револьвер,— и перепугался до смерти. Выглядел таким жалким, что Александру неприятно было смотреть на него. Да и кислота, привезенная им, оказалась слишком слабой, и Андреюшкин с Генераловым, ругая на чем свет стоит виленцев, вылили ее в Неву.

Ульянов сказал Шевыреву:

— Канчер мне не нравится.

— Я тоже не в восторге от него. Но где же взять лучшего?

Вместе с Канчером жил его земляк Горкун, а потом приехал и другой, Волохов. Хотя Шевырев и вел дела с Канчером секретно, тот обо всем тут же рассказывал Горкуну. Шевырев, поняв это, начал и Горкуну давать поручения. Когда Ульянов решил ехать в Парголово, он

послал их обоих отнести препараты на квартиру Новорусского. Новорусский собирался переезжать на дачу. Было удобно переправить туда вместе с вещами и все нужное для изготовления динамита. Ульянов был против привлечения Канчера к делу, считая его человеком легкомысленным и болтливым. Но Шевырев продолжал давать ему поручения, поскольку людей было мало, а дел много.

Десятого февраля Шевырев пришел к Канчеру, вызвал его в другую комнату, зашептал:

— И родному отцу не говори о том, что услышишь!

— Не скажу.

— Так вот. Мы готовим покушение на царя.

— Но ведь я,— испуганно начал Канчер.— Я... Я не знаю, как это...

— Ваша роль — я имею в виду еще Горкуна и Волохова,— продолжал Шевырев, не слушая Канчера,— совершенно пассивная. Вы только, когда увидите царя, подадите сигнал тем, кто будет кидать бомбы.

Канчеру деваться было некуда; он понял, что давно уже помогает готовить покушение, выполняя поручения Шевырева. Поездка в Вильну, покупка препаратов в аптеках — все это, оказывается, звенья одной цепи, которою он крепко связан с делом. Он понял, что слишком много знает, чтобы можно было отказаться, не рискуя, что тебя примут за шпиона. А этого он покамест боялся больше всего, так как видел, с каким презрением относятся студенты к доносчикам. Горкун, узнав, о чем шел разговор, так растерялся, что весь вечер почесывал затылок и бубнил одно и то же:

— Затащил ты меня в пекло...

Канчер успокаивал его:

— Да погоди помирать! Ты ведь знаешь, как это бывает у нашего брата студента: поболтают, да тем дело и кончится. Шевырев сам мне совсем недавно говорил, что ему нужно ехать куда-то на юг лечиться. И кислота, которую я привез, не годится, пока еще другую достанут... Нет, мертвое это дело!

— За такое дело и за мертвое голову снимут,— продолжал чесать затылок Горкун.— Ну и кашу ты заварил...

11

Как Саша ни скрывал от Ани свои действия по подготовке покушения, они то и дело пробивались наружу. При всей своей сдержанности он иногда выдавал себя.

Однажды, придя к брату, Аня застала у него все того же ненавистного Говорухина. Саша уже был одет. Он сказал, что скоро вернется, и просил подождать его. В руках у него был какой-то предмет, завернутый в бумагу и похожий на ружье. По тому, что Говорухин тоже остался дожидаться его, Аня заключила: он знает, куда идет Саша, и знает, что он несет. Аню охватило смутное беспокойство. Куда это Саша пошел в такой поздний час? Что он понес? И не грозит ли это ему чем-нибудь? Саша долго не возвращался, Говорухин читал какую-то книгу и непрерывно курил — видно было, он нервничает. Терпение Ани истощилось, и она спросила с нервной дрожью в голосе:

— Куда ушел Саша?

— Я не знаю.

— Нет, вы знаете! И вы всегда... вы всегда что-то скрываете от меня. Это нечестно!

— Он скоро вернется,— подчеркнуто сухо ответил Говорухин,— и объяснит вам, где был. А меня он не уполномочивал на это.

Ожидать Сашу пришлось, как показалось Ане, бесконечно долго. Она брала одну книгу за другой, листала их, но ничего прочесть не могла. Беспокойные мысли одолевали ее: «Где Саша? Что с ним?» Похоже, он попал в какую-то беду. Она бранила себя за то, что не пошла вместе с ним, а осталась с противным Говорухиным. Расселся, как у себя дома. И вдруг подумала: если Говорухин ждет, значит, он знает, что Саша вернется. Они, наверно, условились, что он будет ждать Сашу до определенного часа, а потом уйдет.

Но вот наконец хлопнула входная дверь, и на пороге комнаты — Саша. Аня облегченно вздохнула. Ей очень хотелось поговорить с ним, попросить, чтобы он был осторожнее, но Говорухин не трогался с места, и она, поняв, что его не пересидеть, ушла, встревоженная и недовольная.

Возвратясь домой, Аня долго не могла успокоиться. Смутная тревога не давала ей покоя несколько дней. Но тут Саша принес ей перевод статьи Маркса и попросил выправить. Аню очень обрадовало такое доверие. Она охотно взялась за правку перевода. Почти перестала беспокоиться о Саше, видя, как старательно занимается он в лаборатории, переводит статьи. Ей и в голову не приходило, что наряду с этим он ведет активную подготовку покушения!

Но если Саша напряженно работал, то ничегонеделанье Говорухина и Шевырева бросалось в глаза. Шевырев и по делу и без дела заходил к Саше поговорить о всяких пустяках. Ему явно некуда было деться, он не знал, как скоротать свой досуг. Саша, перекинувшись с ним двумя-тремя репликами, брался за книгу. Однако Шевырев, как бы не замечая, что он мешает, продолжал сидеть. Потом, точно вдруг припомнив что-то, срывался с места и убегал.

Саша говорил:

— Странный человек этот Петр Яковлевич...

Внезапно сошлись два тревожных события. Чеботарев заявил, что переезжает на другую квартиру, но так путался, объясняя, почему он это делает, что Аня не поверила ни одному его слову. Спросила Сашу, что между ними произошло, но тот тоже ответил уклончиво: Чеботареву, дескать, нужно готовиться к отъезду в Сибирь. Ему нужна квартира поспокойнее, чтобы закончить все дела, а сюда много народу ходит. После отъезда Чеботарева пустая, похожая на сарай квартира сделалась еще неуютнее, наводила тоску. Саша сказал, что доживет в ней только до конца месяца и затем переберется в другое место. Аня бросилась искать ему комнату, но ничего подходящего не попадалось. А сам Саша как-то безразлично относился к своему переселению. Подошло время платить за квартиру, он внес за месяц вперед — это казалось Ане верхом расточительности — и остался на старом месте. Не успела Аня примириться с этой новостью, как нагрянула вторая: пришел Марк Елизаров и сообщил:

— Арестовали Сергея Никонова.

— Когда?

— Говорят, вчера.

— По какому делу?

— Пока что не знаю.

— Саше это известно? Или нужно предупредить его?

— Я ему сказал.

— И как он воспринял это?

— Как и все мы... Но я думаю, особенно волноваться нечего. Арест Никонова не касается нашего экономического кружка. Это уже доподлинно известно.

— Ой! — невольно вырвалось у Ани.— Я так боюсь за Сашу!

— Да ему давно уже вечную память поют,— сказал Елизаров и, увидев, какое сильное впечатление произвели его слова на Аню, добавил, явно желая смягчить сказанное: — Да кому ее сейчас не поют?

Арест Никонова Саша переживал очень тяжело. Однако и это ни на один день не выбило его из рабочей колеи: он рано уходил в зоологический кабинет университета и продолжал занятия. У Ани опять полегчало на душе: аресты прекратились, не коснувшись брата, он упорно работает, значит, все ее волнения напрасны.

Аня получила из дому письмо и пошла показать его Саше. Открыв ей дверь, хозяйка квартиры сказала:

— А брата вашего нет.

— Я обожду его.

— Боюсь, не дождетесь: он уже вторую ночь не является домой.

— Как? — испугалась Аня.— Где же он?

— Не знаю...

— Тогда я посмотрю, может, он мне записку оставил.

Никакой записки Аня в комнатах не нашла. Это так встревожило ее, что она просто не знала, что и подумать. Никогда еще не случалось, чтобы Саша не ночевал дома. Но даже если он куда-то и уехал, то почему не предупредил ее? И куда он мог уехать? Какие у него могут быть дела? Ведь он никогда не говорил о них! Может быть, он уехал в Вильну по загадочной телеграмме? Странно, очень все это странно. А что, если его арестовали? Но тогда, пожалуй, и к ней пришли бы с обыском. А может, полиция и приходила к Саше, да хозяйка не говорит об этом.

Тысячи всяческих предположений перебрала Аня и ни на одном не могла остановиться. Она не спала всю ночь и утром чуть свет побежала опять на квартиру к Саше. Ответ тот же: не приходил. Тогда Аня пошла к Говорухину. Там она застала Шевырева. Оба они были заметно встревожены. Шевырев косился на нее из-под очков, точно Аня была в чем-то виновата, и нервно расхаживал по комнате, а Говорухин старался сохранять свою обычную мрачную невозмутимость, но ему это плохо удавалось. На вопрос Ани — куда же поехал Саша? — он хмуро ответил, что недалеко и скоро вернется.

— Плохо, что он вас не предупредил,— заключил Говорухин и, помолчав, продолжал раздраженно: — Но и вам тоже не следует так часто наведываться на квартиру, а то там... бог знает что могут подумать.

— Да куда же он уехал? — тоже повысив голос, спросила Аня.— Хоть это вы мне можете сказать?

— У него дела,— переглянувшись с Шевыревым, уклончиво ответил Говорухин.

— Какие? Я это спрашиваю не из пустого любопытства. Я хочу знать, не грозит ли ему что-нибудь.

— Ну, если уж вы так настаиваете,— сердито процедил Говорухин,— извольте: он поехал гектографировать одну вещь. Это недалеко от Петербурга и совершенно безопасно.

— И он скоро приедет,— поспешил добавить Шевырев.— Может быть, даже сегодня.

Говорухин и Шевырев не только не успокоили Аню, а еще больше растревожили ее. По их растерянному виду она поняла — они что-то скрывают от нее. Но если даже они правду говорят, то гектографированье — довольно рискованная вещь, где бы это ни делалось — в Петербурге или в другом месте. Она ушла от них, не скрывая своей враждебности, взяв слово, что они немедленно дадут ей знать, как только Саша вернется.

Только на четвертый день Аня, придя с лекций, нашла у себя в комнате маленькую записку от Саши, в ней он извещал, что вечером зайдет. Когда он появился, Аня накинулась на него с упреками. Как всегда, он спокойно выслушал ее и признался, что допустил ошибку, не предупредив об отъезде.

— Ты представить себе не можешь, как я волновалась. Ведь это очень рискованное дело...

— Ты о чем? — заметно насторожился Саша.

— Ведь ты гектографировал что-то?

— Нет.

— А Говорухин сказал, что ты именно для этого куда-то ездил.

Саша недовольно насупился и ничего не ответил. Аня знала: если он не хочет о чем-то говорить, то промолчит, но не станет лгать. И последнее время она все чаще, точно на скалу, наталкивалась на его молчание. Она видела в этом недоверие, обижалась. Не зная истинной причины Сашиной замкнутости, объясняла все тем, что брат переменился к ней.

— Ты не любишь и не уважаешь меня! — со слезами воскликнула она.

— Ты очень хорошо знаешь, что я тебя люблю и уважаю,— ответил Саша твердо и так искренне, что Ане стыдно стало своих слов.

12

Когда разговоры окончились и пришло время браться за дело, а значит — рисковать, Говорухин начал проявлять недовольство и сомнения. А после того как он узнал, что Шевырев очень и очень преувеличил силы группы, он открыто начал выказывать недоверие ему. Это в свою очередь вызвало настороженность и со стороны Шевырева. Шевырев и прежде недолюбливал Говорухина за пристрастие к красному словцу. А после того как увидел, что тот старается уклониться от поручений, то и совсем разуверился в нем. Но людей было мало, и обстоятельства вынуждали Шевырева обращаться к Говорухину за помощью.

Как-то Шевырев нес динамит от Лукашевича к Генералову, на квартире у которого был склад взрывчатки и все принадлежности для изготовления бомб. Около квартиры Генералова он заметил подозрительного субъекта и повернул назад.

Шел двенадцатый час ночи, динамит девать было некуда, и Шевырев понес его к Говорухину. При виде банки с

динамитом тот перепугался. Шевырев заметил это, но решительно сказал:

— Эту банку я оставлю у тебя. До утра.

— Почему?

— Мне сейчас некуда ее деть.

— Но ко мне могут прийти с обыском...

— Знаю. И понимаю — это риск. Но этой ночью не один ты рискуешь.

— Ладно. Оставляй! — раздраженно выпалил Говорухин.— Но вот что я должен тебе сказать: я не верю, что покушение удастся.

— Вот как? — заморгал Шевырев и, сняв очки, принялся протирать их, как обычно делал, когда чувствовал себя сбитым с толку.

— Да, не верю, и в этом нет ничего удивительного. Подготовка у нас идет скверно. Повсюду масса почти непреодолимых препятствий. Удивительное неумение во всем, а это явно угрожает страшным провалом. Систематический террор при наших наличных силах невозможен. Отсюда логический вывод: много сил погибнет напрасно.

— Ты все сказал? — спросил Шевырев, надев очки и глядя на Говорухина таким пронзительным взглядом, что тот невольно потупился.

— Этого вполне достаточно...— с деланной улыбкой ответил Говорухин.

— Да, этого вполне достаточно, чтобы убедиться — струсил ты, братец! Вот уж честно признаюсь: не ожидал от тебя такого.

— Петр Яковлевич,— возмущенно начал Говорухин,— я попрошу вас...

— Сказать, что ты храбрый человек? Изволь! Я оставляю у тебя эту банку с динамитом, а утром зайду за нею. Спокойной ночи! И послушай меня,— задержавшись в дверях, добавил Шевырев,— не смотри так мрачно на наше дело. Все складывается гораздо лучше, чем тебе кажется. Если полиция нагрянет с обыском — можешь сказать, что банку я оставил здесь без твоего разрешения. Всего доброго!

Говорухин не ожидал такого окончания разговора. Он был уверен, что Шевырев, услыхав о том, что Говорухин

разуверился в деле, немедленно заберет динамит и больше не появится. К его крайнему удивлению, на следующую ночь Шевырев принес новую банку и опять сказал, что оставляет ее до утра. Говорухин не успел и слова сказать, как Шевырева уже и след простыл. Говорухин всю ночь не мог заснуть, чувствуя себя так, точно он сидел на пороховой бочке и смотрел, как к ней приближается язык огня. Разглагольствовать о том, что нужно действовать динамитом, и действительно иметь дело с ним — вещи разные. Говорухин не мог дождаться, пока рассветет. И когда Шевырев пришел за банкой, просто не знал, как поскорее избавиться от него...

Раисе Шмидовой, его соседке по дому, Говорухин жаловался:

— Таких нахалов, как Шевырев, я еще не видел. Знает, что за каждым моим шагом следит полиция, и все-таки опять принес ко мне такую опасную вещь... И вообще странный он тип. Даже выглядит неприятно. Ты заметила, какой у него пронзительный взгляд? И голос какой-то крикливый, в каждом слове чувствуется фальшь...

— Вы что — поссорились?

— Пока нет. Но к этому дело идет.

— Тогда все понятно,— улыбнулась Раиса.— А то я думаю, что случилось? Ведь ты еще недавно был совсем другого мнения о нем. Говорил мне, что Шевырев очень оригинальный человек. Восторгался тем, что он, взявшись за дело, не отступает ни перед какими трудностями.

— Я и теперь не отрицаю: энергии у него хоть отбавляй. А совести и порядочности... Ну, посуди сама, разве мог бы, например, Ульянов так поступить, как он? Да никогда в жизни! Он скорее сам примет удар, направленный на товарища, чем станет прятаться за чужую спину.

На следующую ночь Шевырев опять нарушил покой Говорухина — принес к нему бутыль с кислотой, коротко заявив:

— Извини, но девать некуда. Утром Андреюшкин у тебя ее заберет. Или ты не согласен? — с явной иронией спросил Шевырев, собираясь уходить.

— Согласен,— не скрывая раздражения, процедил

сквозь зубы Говорухин,— но с одной целью: удостовериться, есть ли предел человеческой бесцеремонности.

— Очень хорошо,— беспечно согласился Шевырев.

Но вскоре повторилась та же история: неугомонный Шевырев опять поднял Говорухина в двенадцатом часу ночи с постели.

— Что там? — спросил Говорухин, когда Шевырев положил сверток под его кровать и направился к выходу.

— Пустяк...

— Нет, все-таки! Я должен хотя бы знать, чем ты меня осчастливил?

— Успокойся,— беззаботно продолжал Шевырев,— там всего-навсего гремучая ртуть.

— Что?!

— Один совет: не думай выбросить в окно — взорвется. Ну, я побежал. Мне нынче не придется, как видно, спать.

— Петр Яковлевич, одну минуту...

— Завтра, завтра поговорим,— кинул через плечо Шевырев и скрылся за дверью.

Завесив окно, Александр мастерил футляр для бомбы. На хозяйской половине часы пробили два раза. У Александра слипались глаза, но он не ложился: нужно было до утра закончить. Когда сон очень одолевал, он умывался холодной водой и, походив по комнате, снова принимался за работу. Неожиданно услышал — кто-то стучится. Первая мысль — полиция. Он каждый день ждал обыска и старался ничего опасного у себя не держать.

Смахнув со стола картон, бумагу и клей, Александр сунул все вместе с железным футляром в корзинку для бумаг и разложил книги, будто читает. Стук повторился. Боясь, чтобы не проснулись хозяева, вышел в коридор и, подавляя волнение, спросил:

— Кто там?

— Открой, Александр Ильич!

— Орест Макарович!

— Я. И всего на минуту,— продолжал Говорухин, входя.

— Что-нибудь случилось?

— Пока нет. Но если Шевырев будет и дальше так себя вести, то он наверняка погубит всех.

Преувеличивая опасность своего положения, Говорухин принялся жаловаться на Шевырева. Александр слушал его и все больше хмурился. Он вспомнил, с каким жаром убеждал его Говорухин взяться за подготовку покушения, как насмехался над теми, кто не решался примкнуть к террористической группе. Значит, пока шли только разговоры, он был смелее всех, а теперь... А теперь он, изо всех сил стараясь скрыть свой страх, говорит:

— Я с самого начала сказал: не могу принимать активного участия в покушении. И не потому, что боюсь, а потому, что полиция следит за каждым моим шагом. Шевырев знает это? Знает! Так зачем же он устраивает такие опасные фокусы? Чтобы испытать мое терпение? Ведь он своими идиотскими экспериментами может погубить все дело!

— Хорошо. Я поговорю с ним. А вам, Орест Макарович,— с какой-то необычно властной ноткой в голосе продолжал Александр,— лучше уехать за границу.

— Я тоже об этом думал,— обрадовался Говорухин.— Да, мне нужно немедленно скрыться. Только как это лучше сделать?

— Подумаем.

На другой день Александр разыскал в университете Шевырева, спросил:

— Какие фокусы вы там выкидываете с Говорухиным?

— Трус он! — спокойно ответил Шевырев.— Вот в чем я окончательно убедился.

— Предположим, что так. Зачем же вы тогда даете ему разные поручения? А если бы полиция в самом деле нагрянула с обыском?

— Он, наверно, говорил, что я вчера оставил гремучую ртуть? Я так и знал! — расхохотался Шевырев.— Это просто фокус. Значит, он настолько перепугался, что даже побоялся развернуть банку. А сделай он это, ему не пришлось бы среди ночи бегать к тебе: ведь банка-то была порожняя! Совершенно порожняя!

— Знаете, Петр Яковлевич, я вас иногда... просто не понимаю. Если Орест Макарович разуверился в деле и говорит об этом прямо, то как же можно называть его трусом? Мы, если помните, не раз спорили о том, кого можно привлекать в нашу группу. Я всегда придерживался правила — силком никого тащить нельзя. Участвуя в покушении, человек слишком многое ставит на карту, чтобы он мог всей душой отдаться этому делу под нравственным давлением других.

— А я этого не понимаю! — возразил Шевырев.— Если мы будем руководствоваться таким правилом, то у нас ничего не выйдет. Террористов так мало, что нужно привлекать каждого, кто может нам помочь... А рассуждать так — можем мы или не можем кого-нибудь привлечь к делу — это роскошь. Больше того, это безнравственно, потому что вредит делу, которое нужно всему народу, а не только нам с тобой...

— Не могу с этим согласиться! — продолжал стоять на своем Александр.— Напротив того, привлекая колеблющихся, мы дезорганизуем нашу группу. Я не говорю уже о том, что именно в числе таких людей и приходят те, кто после, как Рысаков, предает! Если бы Рысаков не выдал Перовскую, Кибальчича, Михайлова, исполнительный комитет не прекратил бы борьбы! Он собрался бы с силами и подготовил новый, еще более грозный удар по самодержавию! Нет, по-моему, все же так: пусть будет меньше людей, но таких, на кого можно положиться, как на себя. И если, положим, тот же Говорухин решил отойти от дела — пусть отходит. С таким настроением он принесет больше вреда, чем пользы.

— А если все поступят так же, как он?

— Это лишь докажет, что условия для нашего дела еще не созрели.

— Чепуха! Условия для нашего дела не только созрели, а уже перезрели! Болтовня всем осточертела. Взрыв нашей бомбы будет сигналом к борьбе. Нам нужно меньше рассуждать, а больше действовать! Мне, например, абсолютно все равно, от чьего имени мы будем выступать — от исполнительного комитета «Народной воли» или от новых народников. Главное — достижение поставленной цели. А то мудрим, выдумываем... Да уж если на

то пошло, так выступим от имени исполнительного комитета! Это еще больше страху нагонит на правительство. И народ воспрянет духом, узнав, что грозный исполнительный комитет не погиб.

— Мы не можем так поступать. Обмануть этим когонибудь трудно, а попасть в смешное положение — легко. На это я не пойду.

— Ну, как угодно. Я в теорию не вникал и вникать не буду. Мое дело — подготовка покушения.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

— Победа над абсолютизмом всегда проходила под гром уличных мятежей,— говорил Лукашевич, когда Ульянов начинал обсуждать будущее России.— И мы тоже никак не можем рассчитывать на мирную эволюцию государственного строя в России. Нам не обойтись без насильственного воздействия на самодержавие.

— Но на какие же слои общества, на какие классы мы можем рассчитывать в этой борьбе? — спрашивал Александр.— На крестьянство? Но мы знаем, к чему привели даже крупные крестьянские восстания прошлого века. Мы сами видели, чем кончилось хождение в народ. Класс пролетариев в нашей стране еще не вырос в могучую силу, способную нанести удар самодержавию. Остается одно: систематический террор. А если под влиянием террористической борьбы царское правительство созовет учредительное народное собрание, то, вероятно, туда попадет много крестьянских депутатов. Может случиться и так, что крестьяне, получив землю, не станут бороться за политические свободы. Тогда революционная интеллигенция вместе с рабочим пролетариатом должна продолжать борьбу за свободу, так как политическая свобода есть необходимое условие и залог здорового, нормального развития государства.

— Допустим,— рассуждал Лукашевич,— наихудший оборот вещей: правительство своими полицейскими меро-

приятиями подавило прогрессивное движение в обществе. Тогда должна произойти задержка в развитии науки, техники и вообще производительных сил России. Это повлечет за собой сильную отсталость страны в экономическом отношении от западноевропейских государств. А вместе с тем и экономическую зависимость от более культурных стран. А экономическая зависимость влечет за собой и политическую. Тут ни обширность территории, ни многомиллионная цифра населения не спасут государственной самостоятельности. А сделаться игрушкой в чьих-то руках — такая перспектива не может быть заманчивой даже для царской власти. Чтобы быть в состоянии дать отпор своим соседям, вооруженным с ног до головы, необходимо не только содержать многочисленную армию, но и располагать соответственным техническим аппаратом, то есть нужно иметь сеть железных дорог, свои фабрики и заводы. Одним словом, необходимо поддерживать уровень промышленности на высоте, не слишком разнящейся от состояния промышленности культурных стран. Отсюда неизбежен вывод: Россия должна пережить фазу капитализма.

— Все это верно. Но если страна пойдет таким путем, нужна ли будет нам террористическая борьба? — сомневался Александр.

— Да, нужна! И даже необходима! — горячо заверял Лукашевич.— Во-первых, исторический опыт нас учит, что достижение конституционного режима осуществляется раньше, чем сложится сильная, влиятельная рабочая партия, и что в борьбе с абсолютизмом принимают деятельное участие и другие заинтересованные группы населения. Во-вторых, сам процесс организации рабочего класса при абсолютизме идет очень туго и болезненно, вследствие того что рабочие вынуждены вести борьбу на два фронта: с капиталистами и правительством. В-третьих, под сильными ударами народовольцев заколебалось самодержавие, и не исключена возможность, что от новых ударов оно пойдет на уступки. В-четвертых, наконец, террористическая борьба поднимет настроение передовой части общества.

— Ничего нет ужаснее сознания общей безнадежности,— говорил Александр, как бы раздумывая вслух.— Конечно, силы наши не равны. Но вспомним Ирландию. Когда были затронуты жизненные интересы общества, а силы

борющихся сторон были очень неравны, то более слабая сторона — ирландцы — взялась за динамит. И если бы все наши передовые слои общества поставили так вопрос: свобода или смерть? — о, мы многого достигли бы! Но какие формы ни принимала бы борьба, одно абсолютно несомненно: молчать нельзя. Активно бороться со всем этим злом не только долг — обязанность каждого честного человека...

2

Когда Шевырев говорил Ульянову и Говорухину, что есть уже группа террористов и что им осталось лишь примкнуть к ней, настоящее положение дела было такое: эта «группа» состояла из трех студентов — Шевырева, Лукашевича, Осипанова. Лукашевич давно уже вынашивал идею террора и для этого занимался изготовлением взрывчатки. Шевырев перевелся из Харьковского университета в Петербургский, тоже намереваясь посвятить себя революционной деятельности. Чтобы завести знакомства среди студентов и присмотреться к людям, он занимался студенческой столовой, ни на минуту не оставляя мысли о террористической борьбе.

По характеру своему Шевырев был настоящим организатором. Он умел находить нужных людей, подчинять их своему влиянию.

До добролюбовской демонстрации Шевыреву никак не удавалось найти таких людей. Но после арестов и высылки студентов из Петербурга дело создания террористической группы сдвинулось с места. В группу вступил Василий Осипанов. Шевыреву он сказал:

— Я перевелся из Казани в Петербург с одной целью — убить ненавистного деспота. Я готов действовать и в одиночку, и вместе с другими.

Осипанов настаивал на том, чтобы стрелять в царя из револьвера отравленными пулями. Лукашевич и Шевырев отвергли этот план, считая его — по опыту неудач Каракозова и Соловьева — малонадежным. Осипанов не стал спорить и согласился, что нужно доставать бомбы. Ему было поручено изучить местность вокруг Аничкова дворца, где жил Александр III, проследить за выездами царя. У Лу-

кашевича не было знакомых, которые помогли бы достать готовый динамит для бомб. Ему приходилось покупать в аптеках нужные препараты и самому (а когда Ульянов вступил в кружок, то вдвоем) приготовлять все. Учителем в этом деле был Кибальчич, бомба которого уничтожила Александра II. Чтобы замаскировать бомбу, решили придать ей форму книги. Ульянов готовил две бомбы, которые имели форму цилиндра.

3

Осипанов родом был из Сибири. Окончил Томскую гимназию, зачитывался, как и все в то время, романом Чернышевского «Что делать?». Но если другие только читали роман и восхищались его героями, то Осипанов старался и жить так, как Рахметов: он спал на досках, утыканных гвоздями, ограничивал себя во всем, готовясь к революционной борьбе. В Томске в числе его друзей был народоволец Борис Оржих, который до этого уже сидел в Шлиссельбургской крепости. Осипанов активно участвовал в Красном Кресте партии «Народная воля». Был очень осторожен — за что получил кличку «Кот»,— но в то же время тверд и решителен. Для достижения поставленной перед собой цели готов был абсолютно на все. Лукашевич восторженно говорил о нем:

— Осипанов — идеальный террорист! У него не дрогнет рука в решительный момент. Он не потеряет ни самообладания, ни хладнокровия в самую критическую минуту!

Василий Генералов и Пахом Андреюшкин были земляки Говорухина. Кубанцы и донцы, приезжая в Петербург, старались держаться вместе, а потому у них быстро завязывалось знакомство. Говорухин уже привлекался к следствию по одному делу, и на него смотрели как на опытного революционера, прислушивались к нему. Но Говорухину казалось, что за ним постоянно следят. От этого он всегда был в дурном настроении. Желчный по натуре, он злобно подшучивал над казаком Генераловым, который простодушно рассказывал все о себе. Родители Генералова были не из богатых казаков, и он уже в гимназии жил на деньги, заработанные уроками.

— Учился я скверно, потому что не было ни времени,

ни желания зубрить мертвые языки,— рассказывал Генералов с добродушной улыбкой.— Начальство так и написало в характеристике: «Индифферентен вследствие тупости».

Начальство, конечно, судило прежде всего по тому, как он относился к древним языкам. А знал он их плохо. Но способности у него были хорошие. Он рано вступил в революционный кружок и прочитал много нелегальной литературы. Сходился с новыми людьми Генералов быстро,— всем нравились его незлобивость и исключительное чувство товарищества. С другом он делился всем, что имел.

Но если Генералов был человеком твердым и уравновешенным, то его земляк и друг Андреюшкин кидался из одной крайности в другую: то он увлекался каким-нибудь делом, то начинал скептически относиться ко всему. Была у него еще одна страстишка — он любил писать письма. Писал во все концы простыми чернилами и «секретными». Ему не терпелось извещать своих друзей обо всем, и нередко он доверял бумаге такое, что могло ему самому повредить.

Когда Шевырев предложил этим двум казакам вступить в группу и взять на себя роль метальщиков, они долго раздумывали. Потом пошли посоветоваться с Ульяновым, которому поверяли все свои тайны. Ульянов, сам уже член группы, посоветовал и им вступить в нее, что они и сделали.

— Возможно, тех, кто попадет в лапы полиции, будут пытать,— высказал предположение Шевырев.— Под пыткой никто не может поручиться за себя.

— Да разве я не казак? — обиделся Андреюшкин.

— Пахом! — восхищенно воскликнул Шевырев.— Ты настоящий террорист! С такими, как ты, мы Россию перевернем!

— Перевернем или не перевернем, а я сделаю то, что могу.

4

Итак, группа сформировалась и начала деятельно готовиться к покушению. Оставалось решить, под каким знаменем выступить.

— Я думаю так,— сказал Александр,— мы должны поднять боевое знамя «Народной воли».

— Но для этого нам нужно вступить в партию,— возразил Лукашевич.— А это может повредить нам: о покушении узнают те, кому этого не следует знать.

— Об этом я тоже думал. И предлагаю сделать так — назваться террористической фракцией «Народной воли».

Все с этим согласились.

По мере того как подготовка покушения продвигалась вперед, все чаще возникал вопрос о создании нескольких групп.

— Одна группа провалится,— говорил Шевырев,— начнет действовать другая.

— Да, но где же взять людей? — спрашивал его Александр.— У нас и на это покушение едва хватает сил.

— Людей я найду!

— Это другое дело. Но почему же вы их до сих пор не нашли? — Шевырев молчал.— Я давно уже вот что хотел сказать. Мне кажется, мы слишком торопимся. Прошу понять меня правильно: я не за отступление. Дело нужно довести до конца! Но не лучше ли перенести покушение на осень, чтобы подготовиться по-настоящему?

— Как? Откладывать? — всполошился Шевырев.— А ты уверен, что тебя завтра не арестуют? И кто из нас может поручиться, что пробудет на свободе до осени? Если молодушный попадет в полицию и скажет лишнее, то всем нам конец. А за что? За желание что-то сделать? Нет, откладывать нельзя!

На первый взгляд казалось, что Шевырев прав — их действительно могли каждую минуту арестовать. Но если подумать серьезно, то эта его горячность, как и некоторые другие поступки Шевырева (например, привлечение к делу малопроверенных людей — Канчера, Горкуна и Волохова) были довольно легкомысленны. Действительно, все те, кто принимал участие в подготовке покушения, хорошо понимали, что обрекли себя на явную гибель. И уж если рисковать жизнью, то, разумеется, так, чтобы это принесло какие-нибудь результаты. Одно дело умирать, сознавая, что ты достиг своей цели, и совсем другое — мучиться, видя, что гибнешь ни за что.

Шевырев обладал удивительной способностью быстро

сходиться с людьми, заражать их своими идеями. Энергии у него хватало буквально на троих: несмотря на болезнь (у него была чахотка), он не знал ни минуты покоя. С утра до поздней ночи, зорко поглядывая из-под очков, мотался по городу, с квартиры на квартиру. Он вечно торопил всех, вникая в малейшие подробности дела, всячески старался, чтобы оно как можно быстрее двигалось вперед.

Найдя нужного человека и поручив ему какое-нибудь дело, он неотступно следил, как оно выполняется. Примчится усталый, запыхавшийся, вытрет платком потный лоб и, присев, спрашивает:

— У вас, конечно, все готово?

Если поручение не было выполнено, Шевырев снимал очки, торопливо протирал их, как бы желая лучше рассмотреть стоявшего перед ним. Спрашивал с иронической улыбкой:

— А что же случилось? Вы просто забыли или у вас появились какие-то веские причины? Давайте рассказывайте...

И провинившийся, чувствуя себя страшно неловко, начинал объяснять, почему не выполнил поручения. Шевырев поглядывал на него поверх очков так укоризненно, что тому невольно становилось стыдно. Не дослушав до конца объяснение, Шевырев срывался с места, заявлял:

— Простите, я спешу. У меня назначена встреча в другом конце города, а времени осталось мало. К вам я зайду завтра...

Это значило: поручение все-таки нужно выполнить. И оно выполнялось, потому что все, видя, как много делает Шевырев для других, не в силах были отказать ему. Тем более что просьба касалась, как правило, не его лично, а кого-нибудь другого.

— Странный механизм этот Шевырев,— говорил Ульянов Говорухину.— Иногда я его просто понять не могу.

— А я его, кажется, хорошо раскусил,— отвечал Говорухин.— Он прежде всего — страшный реалист! Ненавидит все мечтательное, фантастическое. Смотрит пренебрежительно — это и ты, наверно, успел заметить — на людей неуверенных, сомневающихся. Слова «вопрос» для него не существует. Для него существует только уверенность. В этой уверенности, более того — самоуверенности, и заключается секрет его влияния на людей.

— Вы преувеличиваете...

— Ничуть! Ведь он сам признался, что мало читал. И не удивительно после этого, что вопросы программы, которые интересуют всех, для него попросту не существуют. Ему безразлично, какой программы придерживается человек, главное, чтобы он поддерживал террор. И ты думаешь, он прочитал те книги, какие брал у тебя?

— Конечно, прочитал!

— А я уверен, что нет.

— Почему же?

— Да потому, что я уже два года знаком с ним, и ни разу он не говорил со мной по социальным вопросам. Никогда я не слышал, чтобы он говорил об этом и с другими. Ну, с тобой говорил он?

— Не припомню...

— Вот видишь! Больше того — когда заводишь с ним разговор на эту тему, он отделывается шутками.

— Да, но сейчас такое напряженное и тревожное время, что действительно упрекать его за это не приходится...

— Чепуха! А почему ты все можешь делать: и динамит изготовлять, и лекции посещать, и в зоологическом кабинете работать, и Маркса изучать, и программу фракции готовить...

— У меня другой характер.

— Нет! Не это главное. Ты слишком честно, самоотверженно подходишь к каждому делу, а он верхоглядствует. Вспомни, как он нам представил группу: и людей сколько угодно, и денег. А на поверку что вышло? Мы с тобой вступили в фиктивную группу. Благодаря этой же тактике ему удалось привлечь к делу Генералова, а затем и Андреюшкина.

— Положим, так. Но я не понимаю, в чем же тут его вина? Что мы сами не проявили инициативы? Что мы своей пассивностью заставили его обратиться к такой тактике?

— Нет, я его в этом не виню,— отступал Говорухин.— Я хорошо знаю: инициативных людей мало, и поэтому все легче примыкают к готовой организации. Но Шевыреву вообще не по праву чужая настойчивость, он слишком любит приказывать. Вспомни, с каким восторгом он рассказывал о своих переговорах с Генераловым и Андреюшкиным? Что ему больше всего понравилось? Да как раз то, что они мало рассуждали и не спорили!

— И в этом я не вижу ничего предосудительного. Мне, например, вполне понятна радость Шевырева. Я тоже радуюсь, встречая людей, которые понимают меня с полуслова. И, думаю, Шевырев с восторгом рассказывал о том, как он привлек к делу Генералова и Андреюшкина, не потому, что они не рассуждали и не спорили, а потому, что он сразу же почувствовал в них единомышленников.

— Хорошо. А что ты на это скажешь: после того, как я увидел, что Шевырев преувеличивал свои силы, я перестал ему доверять. Это вызвало недоверие и с его стороны ко мне. Я с ним откровенно поговорил. Сказал, что думаю о нем. Он решил, что я испугался. Ведь так?

— К чему это,— с заметным неудовольствием сказал Ульянов.— Мы ведь договорились — вы едете за границу.

5

Один студент — знакомый Ульянова — получил письмо с юга. В письме сообщалось об арестах военных в Киеве и на Дону.

Александр знал, что Никонов был связан с кружками военных. Пренебрегая возможной опасностью, он поздно вечером поспешил к Никонову, чтобы предупредить его.

— Вам нужно немедленно перейти на нелегальное положение! — советовал он Никонову.

— Я тоже слышал, что среди военных на юге начались аресты, но никаких достоверных сведений не имею. Слежка за мной идет с начала учебного года. Но я не заметил, чтобы она в последнее время усилилась. Кстати, за вами наверняка увяжется шпик, так что будьте осторожны. Давайте сопоставим даты арестов и письмо. Видите, аресты произошли больше месяца тому назад. Значит, если бы меня выдали юнкера моего бывшего кружка, я уже давно был бы арестован. Следовательно, близкой опасности нет. Если я перейду на нелегальное положение, придется уехать, потому что мне трудно переменить наружность так, чтобы шпики не узнали. А мой отъезд затруднит вашу и без того нелегкую работу.

— Ну, давайте подождем немного,— неохотно согласился Александр,— но как только вы увидите, что слежка усилилась, переходите на нелегальное положение.

— Хорошо!

— Паспорт и явку я вам добуду,— пообещал Александр.— Думаю, ехать вам нужно сперва в Вильну, к друзьям Лукашевича. А потом решим, что делать.

На следующий день после этого разговора Никонов, возвращаясь домой из анатомического театра, заметил в своем переулке целую свору шпиков. Было ясно: дом окружен. В два часа ночи позвонили. Никонов понял, кто это пожаловал, сказал жене:

— Напрасно я не послушался Ульянова.

— Мне открыть? — спросила жена.

— Нет, я сам. И если меня возьмут, а тебя оставят — немедленно уведоми обо всем Ульянова.

— А может, обойдется? Ведь в квартире ничего нелегального нет.

— Кто там? — подойдя к двери, спросил Никонов.

— Вам телеграмма,— послышался традиционный полицейский ответ.

— Минутку. Я сейчас оденусь,— ответил Никонов и, возвратясь в комнату, сказал жене: — Полиция. Неужели они раскрыли наш заговор? Если бы юнкера выдали, меня давно арестовали бы. Значит, так: немедленно разведай, кто еще взят, и постарайся сообщить мне, чтобы знать, чего держаться на допросах.

Обыск ничего не дал, но Никонова все-таки забрали. Он думал, что заговор раскрыт. Досадовал, что проявил такую недопустимую беспечность. Неприятно сознавать это, но ведь им руководили личные мотивы: всего за несколько дней до этого он женился, и, естественно, ему не очень хотелось переходить на нелегальное положение. А Ульянов сделал все, чтобы спасти его от виселицы, потому что знал — если Никонов будет арестован по делу военных кружков, то впоследствии, после покушения, его наверняка привлекут и по этому новому делу.

Жену Никонова (А. В. Москопуло) не арестовали. Отпустив своих людей, жандармский офицер сел с Никоновым в одни санки. Когда отъехали подальше от дома, он спросил:

— А знаете ли вы, по какому делу арестованы?

— Нет, не знаю.

Офицер выдержал паузу и, покосившись на извозчика, сказал тихо:

— Дело очень серьезное: военная революционная организация.

— Это точно?

— Абсолютно.

— Благодарю вас.

— Очень рад, что смог быть вам полезным. Я — Михайлов, бывший офицер Брестского полка. Наш полк, как вы, быть может, помните, постоянно стоял в Севастополе. Я знаю вашего отца. И сестры у вас чудесные...

Последние слова жандарма окончательно убедили Никонова, что тот сказал правду, и от сердца у него отлегло. Значит, заговор не раскрыт. Но как его арест отразится на деятельности группы? Полиция, конечно, начнет прощупывать все его связи. Ведь как редко он ни встречался, например, с тем же Александром Ульяновым, но полиция достаточно внимательно следила за ним, чтобы не заметить этого знакомства. Потянутся нити и к Лукашевичу. А у того на квартире целый склад динамита. Еще подумают после, что он их выдал. И зачем он не послушался Ульянова? Вот так часто случается: один сделает глупость, и пойдет наматываться клубок...

6

Высланные из Петербурга за участие в добролюбовской демонстрации студенты в письмах друзьям рассказывали, в каком тяжелом положении они оказались. Многим из них высылка представлялась вершиной несчастья. Их письма были полны жалоб на дикую несправедливость властей. Жалобы эти особенно брали за сердце, потому что все понимали: товарищей выслали не за какую-то вину, а для устрашения других. Репрессиями правительство как бы говорило: смотрите, так будет со всеми. А это означало — каждый не только сам должен вести себя тихо и мирно, но и других одергивать. Такая полицейская логика возмущала студентов, и разговоры о том, что нужно дать ответный бой властям, то затихали, то снова вспыхивали — особенно после очередной порции писем от высланных.

Восьмого февраля собирались праздновать годовщину основания университета. Студенты решили провести в актовом зале демонстрацию. Весть об этом быстро облетела университет и взбудоражила всех. Начались споры о том,

какие требования выдвинуть. Одни говорили — надо требовать возвращения всех высланных, другие считали, что этого мало, что ради этого незачем и выступать. Надо требовать не только возвращения всех высланных, но и отмены нового реакционного устава.

— Господа! — кричали более умеренные.— Такие требования под силу только революции!

— Ну и что же?

— А то, что погонимся за большим — и малого не добьемся.

— Александр Ильич,— заметив, что Ульянов вошел в аудиторию, крикнул Семен Хлебников,— что вы скажете? Как, по-вашему, нужно действовать?

С первых же дней, как только начались разговоры о демонстрации на торжественном акте, Ульянов понял: делать этого не нужно. Таким выступлением все равно ничего не добьются. А правительство еще строже покарает за это студентов. Новые аресты могут погубить и подготовку покушения, на которую уже затрачено так много сил.

— Я считаю,— спокойно, как бы взвешивая каждое слово, начал Александр,— что демонстрацию вообще не следует затевать.

— Как! — воскликнул пораженный Семен Хлебников.— Господа, вы слышите?

— Да, не следует,— еще тверже повторил Ульянов.— И вот почему. Этим выступлением мы добьемся только одного: новых арестов. А кому это нужно? Кому от этого польза? Мы не только не выручим наших друзей, а еще многих потеряем.

— Значит, так — молчать?

— Я этого не сказал!

— Ну, так что же делать?

— Это уж другой разговор,— ответил Ульянов уклончиво. Но в голосе его звучала уверенность — он знает, что нужно делать, но не может пока об этом говорить.— Об этом надо подумать.

Университет был населен шпионами и доносчиками. И как только студенты начали готовиться к демонстрации на торжественном акте, об этом тотчас же стало известно полиции. Начальник Петербургской охранки доложил об этом Грессеру, и тот приказал:

— Взять заложниками главных подстрекателей! И предупредить всех: устроят беспорядки — заложники немедленно будут исключены из университета. А вместе с ними еще и многие другие!

— Будет исполнено, ваше превосходительство!

— Я их научу бунтовать! — кричал Грессер.— Я с корнем уничтожу этот рассадник крамолы! Это не университет, а притон бунтовщиков! До чего додумались: сорвать торжественный акт! Нет уж, извините, господа студенты. Никто вам этого не позволит! Сегодня же, сейчас же арестовать заложников и представить мне их список!

— Список уже готов.

— Прекрасно! Если будут какие-нибудь эксцессы во время арестов — немедленно докладывайте! Постарайтесь провести всю операцию тихо и спокойно.

— Понимаю.

— Сколько у вас там в списке?

— Десятка три.

— Среди них и такие, над кем установлено секретное наблюдение?

— Есть и такие.

— Помните, мы давали справку департаменту полиции об Ульянове? Он, наверно, активнее всех агитировал за демонстрацию?

— Нет. Непонятно почему, но он не советует даже выступать.

— Вот как? — удивленно вскинул брови Грессер.

— Совершенно точно. Сведения достоверные.

— Это в самом деле странно. Ведь вы мне все время твердили: Ульянов, Ульянов...

— И теперь подтверждается: Ульянов — исключительно неблагонадежный студент. Если он в данном случае не поддержал смутьянов, это ничего еще не означает. Не исключена возможность, что он делает это из каких-то своих расчетов. Это очень умный и замкнутый студент. Он, как докладывают мне агенты, не любит много говорить. Больше молчит. Но влияние его на студентов прямо магическое.

— Какая же этому причина?

— Сильный ум и железная воля.

— Значит, это опасный человек?

— Исключительно! Я еще двух агентов приставил к

нему. Подтверждений пока что никаких нет, но имеются все основания полагать, что он связан с революционным подпольем. А возможно, и с теми, кто сидит за границей.

— Вот как?

— Именно так!

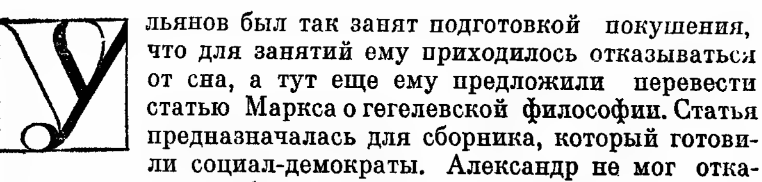
Накануне университетского празднества полиция арестовала нескольких студентов. Друзья Ульянова были против демонстрации, боясь провалить покушение, и торжественный акт прошел хотя и уныло, но спокойно. Когда отпущенные заложники появились в студенческой столовой (она была на Петербургской стороне), друзья встретили их, как победителей. Семен Хлебников говорил Ульянову:

— Вы напрасно выступили против демонстрации. Если бы вы нас поддержали — о, полиции туго пришлось бы! Грессер рапортует царю, что в городе тишь да гладь — и вдруг бунт! Да еще где? На торжественном акте! А теперь ему царь, пожалуй, еще и орден даст. Как же: назревал бунт, а он предотвратил! Нет, что ни говорите, а на этот раз вы ему помогли.

Ульянов молчал. Он не мог объяснить Хлебникову подлинные мотивы своего поведения. А Хлебников это молчание понял как признание Ульянова, что он допустил ошибку.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1



Ульянов был так занят подготовкой покушения, что для занятий ему приходилось отказываться от сна, а тут еще ему предложили перевести статью Маркса о гегелевской философии. Статья предназначалась для сборника, который готовили социал-демократы. Александр не мог отказаться от этой работы и взялся за нее вместе с Говорухиным. Однако Говорухин оказался плохим помощником, голова у него была занята одним — как бы поскорее выехать за границу. Он вовсе ничего не делал, зато он много болтал о предстоящем покушении даже с теми, кто о нем ничего не знал. Когда в одной из французских газет появилось сообщение о том, что покушение намечается на первое марта, он, показывая заметку Чеботареву, спросил:

— Может ли это быть, как вы думаете, Иван Николаевич?

— Как знать,— уклончиво ответил тот, потому что и в самом деле ничего не знал.

— А мне кажется, это вполне реально. За шесть лет могли накопиться силы, способные подготовить покушение. Почему покушение приурочивается к первому марта — тоже ясно: этим будет как бы переброшен мост от одного исторического события к другому. Удобно это еще и потому, что царь в этот день поедет в Петропавловский собор на панихиду по отцу, которого ведь тоже убили первого марта.

— Возможно...

— Именно так и будет! — входя в азарт, продолжал развивать свою мысль Говорухин.— Тогда меня вспомните!

— Ну что ж. Поживем — увидим...

— Да, перед каждой бурей бывает затишье. И сейчас...

В комнату вошел вернувшийся из университета Ульянов, и Говорухин смущенно замолчал. Александр, заметив, что тот опять болтает лишнее, хмуро спросил:

— Я помешал?

— Нет-нет,— возразил Говорухин.— Мы тут говорили об этой статье во французской газете. Ты уже читал ее?

— Читал, — так же хмуро ответил Саша.

— Ну, что скажешь?

Ульянов, не желая затрагивать эту тему, ничего не ответил, и Говорухин с фальшивым смешком продолжал:

— Пророки! И откуда они все это берут?

— Делать им там, за границей, нечего,— глухо проговорил Ульянов,— вот и болтают...

На слове «болтают» он сделал ударение и так недовольно поглядел при этом на Говорухина, что тот потупился. После неловкого молчания Александр спросил:

— Перевод статьи принес?

— Нет еще. Туго что-то он у меня подвигается...

— Почему? Ведь ты хорошо знаешь немецкий язык.

— Путаная статья...

— Вот с этим я не могу согласиться,— статья очень глубокая и написана, как все работы Маркса, с железной логикой.— Александр, помолчав, добавил: — Я просил бы поспешить с переводом. Мне очень не хочется оказаться в положении человека, который не сдержал слово. Тем более, что я этому делу придаю особое значение.

Ульянову пришлось еще несколько раз напоминать Говорухину, прежде чем тот отдал ему свою часть перевода. Сделал он его так небрежно, что Саше стыдно было нести статью организатору сборника Кольцову-Гинзбургу. Времени осталось мало, и Александр попросил Аню помочь ему выправить перевод Говорухина.

— Ты лучше меня владеешь словом. Сама пишешь! И, как я уже говорил, у тебя получается неплохо. Я до сих пор помню твой рассказ о девочке. И стихотворение «Волга»...

— Полно тебе,— зарделась от похвалы Аня.

— Я повторяю только то, что уже говорил.

Аня согласилась «почистить» перевод, сделанный Говорухиным. Александр попросил:

— Только, пожалуйста, сделай это не позже двадцатого.

— Постараюсь.

Аня трудилась честно, но перевод Говорухина оказался так плох, что закончила работу она только двадцать четвертого февраля. В тот же день Александр отнес статью Кольцову-Гинзбургу.

О том, какое влияние на революционно настроенную молодежь оказывала книга Плеханова «Наши разногласия» в те годы черной реакции, говорит письмо петербургской группы благоевцев. Благоевцы были одной из первых социал-демократических рабочих групп в России. «Если ж эта книга,— писали благоевцы,— и не заставит вполне примкнуть к мнениям нашей группы, хотя наблюдалось уже такое явление, то несомненно, она даст массу материала для критики народовольческой программы, а переработка этой программы положительно необходима в интересах борьбы».

Книга Плеханова помогла Александру Ульянову разобраться во многом. Она окончательно убедила его, что народники ошибались, делая ставку на крестьянство. Наиболее революционным элементом капиталистического общества является рабочий класс. Поэтому и нужно вести революционную пропаганду среди рабочих. Не прекращая подготовки покушения, Ульянов начал руководить рабочими кружками в Галерной гавани. К встречам с рабочими он старательно готовился. Собирались участники кружков маленькими группками — втроем, вчетвером,— читали нелегальные книги, обсуждали их; потом рассказывали, как они живут, что делается в гавани. С первых же занятий Ульянов убедился: рабочие — не крестьяне, они настроены революционно. Они не сводят все разговоры к тому, дадут землю или не дадут, а прекрасно понимают основное: пока хозяин будет всем управлять, добра не жди. Хозяина защищает царь. Отсюда вывод — нужно сбросить с трона царя. Всем, кто начнет это дело, они, рабочие, помогут.

На одном из заседаний кружка землячества зашла речь о выступлениях рабочих, об их политической активности. Всем памятны были события, происходившие прошлой весной на Никольской фабрике Покровского уезда Владимирской губернии. Почти год тянулось следствие по делу рабочих, участвовавших в волнениях. А когда они предстали перед судом, их оправдали. Катков выступил тогда в «Московских ведомостях» с клеветнической, желчной статьей, в которой обливал грязью рабочих, осмелившихся без дозволения начальства выступить в защиту своих прав. «Итак, мы дозволяем себе спросить,— заканчивал Катков,— нужно ли было и зачем было нужно предавать бунтовавших рабочих суду? Что ожидалось от нашего суда, кроме нового скандала... Но с народными массами шутить опасно. Что должны подумать рабочие ввиду оправдательного вердикта суда?»

Опасения Каткова были вполне обоснованны: каждая победа рабочих поднимала их на новую борьбу.

— Почти весь Васильевский остров покрыт сетью рабочих кружков,— сказал как-то Ульянов Шевыреву.— Эти кружки готовы поддержать наше выступление.

— Это очень хорошо,— обрадовался Шевырев.— Может быть, среди рабочих найдутся и террористы?

— Об этом я не думал.

— А ты присмотрись.

— Хорошо.

2

— Что, казак, закручинился? — спросил Генералов Андреюшкина со своей неизменной добродушной улыбкой.— Любимая не пишет? Или, может, разлюбила?

— Хуже!

— А что такое? — оставив шутливый тон, спросил Генералов: он понял — случилось что-то серьезное.

— На, прочитай телеграмму.

В телеграмме из Екатеринодара сообщалось, что кто-то из их общих друзей арестован, но кто именно — не указывалось. Кто послал телеграмму, тоже трудно было понять. Но одно ясно: тот, кто это сделал, имел основания беспокоиться о них. Генералов сбил свою шапку-кубанку

на лоб — он и в комнате редко снимал ее,— почесал затылок:

— Плохое дело.

— Опасное.

— Ты часто туда писал?

— Частенько.

— Эх, Пахом! Бить тебя, да некому, за твои бесконечные письма. И что за удивительная страсть — строчить и строчить без устали! А мне легче пахать, чем письма писать. Ну может, обойдется. Это тебе хорошая наука. Нужно только немедленно сообщить Ульянову.

— Сходи к нему,— попросил Андреюшкин.

— Нет, ты уж сам иди,— решительно отказался Генералов,— а не хочешь один, так пошли вместе...

— Пошли,— согласился Андреюшкин.

На этот раз, в самом деле, обошлось: аресты в Екатеринодаре не коснулись Андреюшкина. Но и это его ничему не научило. Он продолжал писать во все концы, хотя не раз замечал, что его корреспонденцию кто-то читает. Письма приходили плохо заклеенные, с заметными следами чужих пальцев...

В департаменте полиции был так называемый «черный кабинет». Ни одно письмо не выходило из Петербурга, не побывав в грязных руках чиновников этого учреждения. Сюда с почты мешками привозили письма. Сыщики проворно перебирали конверты, откладывали те из них, которые вызывали подозрение. Отобранные конверты просматривались на свет, вскрывались. И если в письме замечали что-нибудь подозрительное — с него тут же снималась копия, на квартирах адресатов производили обыски, а то и аресты.

Двадцатого января 1887 года в руки чиновников «черного кабинета» попало письмо без обратного адреса, посланное студенту Харьковского университета Ивану Петровичу Никитину. Подпись автора письма чиновник не мог разобрать. В письме были такие строки: «Возможна ли у нас социал-демократия, как в Германии? Я думаю, что невозможна; что возможно — это самый беспощадный террор, я твердо верю, что он будет и даже не в продолжительном будущем; верю, что теперешнее затишье — затишье перед бурею. Исчислять достоинства и преимущест-

ва красного террора не буду, ибо не кончу до скончания века, так как он мой конек, а отсюда, вероятно, выходит и моя ненависть к социал-демократам.

10-го числа из Екатеринодара получена телеграмма, из коей видно, что там кого-то взяли на казенное содержание, но кого,— неизвестно, и это нас довольно сильно беспокоит, то есть меня, ибо я вел деятельную переписку с Екатеринодаром и потому беспокоюсь за моего адресата, ибо если он тово, то и меня могут тоже тово, а это нежелательно, ибо поволоку за собой много народа очень дельного...»

Восемь дней чиновники департамента полиции ломали головы, силясь установить петербургский адрес автора письма, но так и не смогли ничего сделать. Двадцать восьмого января директор департамента полиции отправил в Харьков телеграмму, приказывая разыскать — и как можно скорее! — студента Никитина и установить, кто писал ему это письмо.

Проходили дни, недели, а из Харькова ни слова. Департамент полиции шлет новую телеграмму, требуя ускорить розыски Никитина.

3

С первых же дней создания группы Александр Ильич начал думать о программе. Он часто советовался с товарищами о том, под каким знаменем нужно выступать. При этом возникали большие споры, потому что единства взглядов по теоретическим вопросам у участников группы не было, хотя все они и признавали тактику народовольцев — систематический террор — правильной. В это время уже не только Александр Ильич был под влиянием идей марксизма, но их разделяли и другие участники заговора: Говорухин, Лукашевич, Генералов и Осипанов. Лукашевич читал Маркса и Энгельса. Он говорил Ульянову, что путь к поискам истины могут указать революционерам только труды Маркса и Энгельса. Генералов проштудировал работу Плеханова «Наши разногласия», и у него появилось желание обстоятельнее познакомиться с трудами Маркса. Ульянов достал ему нужные книги, и он просиживал за ними ночи напролет. Говорил восхищенно, что ничего интереснее и умнее не читал в своей жизни, ругал народников, называя их путаниками. Прочитав первый и второй

тома «Капитала», он согласился, что капитализм в России исторически неизбежен.

В это время в Петербурге вела деятельную пропаганду идей марксизма социал-демократическая группа Дмитрия Благоева, с которой были связаны Говорухин, братья Хлебниковы и другие студенты Петербургского университета.

Благоевцы выступили со своей программой, в которую было включено много положений из программы группы «Освобождение труда», выработанной в 1884 году. В своей программе петербургские социал-демократы отмечали, что «русское государство с отменой крепостного права вступило на тот же путь экономической конкуренции, что и Западная Европа. Капитализм у нас уже зародился и растет».

В программе благоевцев указывалось: «Относительно политического террора как системы вынуждения уступок у правительства мы должны сказать, что при настоящих условиях при отсутствии прочной рабочей организации, могущей непосредственно поддержать эффект террористического акта, мы не признаем продуктивности террора». Однако, отрицая террор, как систему, благоевцы находили возможным пользоваться им в отдельных случаях.

Александр Ильич внимательно изучил и программу группы «Освобождение труда», в которой Плеханов, делая уступку народничеству, оказывавшему в ту пору сильное влияние на молодежь, отмечал, что в боях с правительством рабочие могут прибегать и к «террористическим действиям, если это окажется нужным в интересах борьбы».

В середине февраля на квартире у Александра Ильича собрались Лукашевич, Шевырев, Андреюшкин и Генералов, чтобы обсудить программу.

— «По основным своим убеждениям мы — социалисты»,— начал читать Александр Ильич,— а «и народники», как это было в программе исполнительного комитета, я опускаю.

— Правильно! — одобрил Лукашевич.— Читай дальше.

— «Мы убеждены, что материальное благосостояние личности и ее полное всестороннее развитие возможны лишь при таком социальном строе, где общественная организация труда дает возможность рабочему пользоваться всем своим продуктом и где экономическая независимость личности обеспечивает ее свободу во всех отношениях...»

Пункт за пунктом читал Ульянов. Программа, как и хотели все, была действительно попыткой объединить народников и социал-демократов. Ульянов, отвергая неясные, расплывчатые формулировки программы исполнительного комитета о «санкции народной воли в общественных формах жизни», писал: «К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего экономического развития, он является таким же необходимым результатом капиталистического производства и порождаемого им отношения классов, насколько неизбежно развитие капитализма, раз страна вступила на путь денежного хозяйства».

Но наряду с этим марксистским положением Александр Ильич допускал возможность и «более прямого перехода к социалистической организации народного хозяйства», соглашаясь с народниками в том, что Россия может прийти к социализму, минуя капитализм.

На первый план в программе, повторяя ошибку народников, выдвигалось крестьянство как наиболее значительная общественная группа. «Оно сильно,— утверждал Александр Ильич,— не только своей численностью, но и сравнительной определенностью своих общественных идеалов... Крестьянство еще прочно держится общинного владения землей, а его несомненная привычка к коллективному труду дает возможность надеяться на непосредственный переход крестьянского хозяйства в форму, близкую к социалистической».

Но хотя Александр Ильич воздавал дань еще очень живым традициям народников с их верой в крестьянскую общину как зародыш социализма, он выдвигал и марксистское положение о роли рабочего класса в социальной революции. Он пишет, что рабочий класс по своему экономическому положению является естественным носителем социалистических идей. «Рабочий класс будет иметь решающее влияние не только на изменение общественного строя, борясь за свои экономические нужды, но и в политической борьбе настоящего он может оказывать самую серьезную поддержку, являясь наиболее способной к политической сознательности общественной группой. Он должен поэтому составить ядро социалистической партии, ее наиболее деятельную часть, и пропаганде в его среде и его организации должны быть посвящены главные силы партии».

Выходило: хотя Александр Ильич ставил в программе на первое место крестьянство, но и рабочему классу в революционной борьбе отводил более значительную роль. В этом он, по сравнению с программой исполнительного комитета, сделал большой шаг вперед.

Как окончательные требования, необходимые для «обеспечения политической и экономической независимости народа и его свободного развития», Александр Ильич выдвинул такие:

«1. Постоянное народное представительство, выбранное свободно, прямой и всеобщей подачей голосов, без различия пола, вероисповедания и национальности, и имеющее полную власть во всех вопросах общественной жизни.

2. Широкое местное самоуправление, обеспеченное выборностью всех должностей.

3. Самостоятельность мира [1], как экономической и административной единицы.

4. Полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и передвижений.

5. Национализация земли.

6. Национализация фабрик, заводов и всех вообще орудий производства.

7. Замена постоянной армии земским ополчением.

8. Даровое начальное обучение».

Требования эти были сформулированы Александром Ильичем с учетом программ исполнительного комитета партии «Народная воля», группы «Освобождение труда» и группы Благоева. Влияние марксистских идей на его программу очень заметно. Александр Ильич и сам отмечает: «Что касается до социал-демократов, то наши разногласия с ними кажутся нам очень несущественными и лишь теоретическими... На практике же, действуя во имя одних и тех же идеалов, одними и теми же средствами, мы убеждены, что всегда будем оставаться их ближайшими товарищами».

Состояние здоровья Шевырева настолько ухудшилось, что врачи требовали, чтобы он немедленно ехал на юг. Ульянов, видя, как он исхудал, как надрывно кашляет,

---

[1] Крестьянской общины.

харкает кровью, тоже советовал ехать к морю. Но Шевырев не хотел этого делать, пока вся подготовка покушения не закончена.

Ульянов понимал: Шевырев теперь ему не помощник. Больше того, его присутствие может только повредить делу. Он сказал об этом Лукашевичу, Генералову и Андреюшкину. Все согласились: лучше ему уехать лечиться. Переговорить с ним взялся Ульянов, с советами которого Шевырев считался.

Шевырев начал возражать — осталось совсем немного дней до выхода метальщиков с бомбами на улицу, а ему — уезжать.

— Это бессмысленно,— кричал он,— подло! Я не могу этого сделать!

— Если бы ты был здоров, не болен...

— За две недели я не помру! А то уеду, а вы еще вздумаете отложить дело до осени. Нет! Лучше я ноги протяну...

— Есть еще одно обстоятельство, о котором я не хотел тебе говорить.

— А именно? — насторожился Шевырев.— Какое?

— Твой отказ лечиться может вызвать подозрение...

— У кого?

— В первую очередь у твоего брата и сестер. Это попадет в уши дворнику, а от него — в охранку. Я не уверен даже, что это уже не сделано. Ведь ты сам говорил, что слежка за тобой значительно усилилась.

После долгих препирательств Шевырев сдался:

— Твоя правда: надо ехать. Но я это сделаю при одном условии — ты дашь слово, что вы ни под каким видом не отложите дела до осени!

— Я обещаю!

4

Все участники заговора находились на легальном положении, и им, естественно, очень трудно было работать. Как конспиративно ни вели они подготовку покушения, охранка начинала все внимательнее присматриваться к ним. Помимо перехваченного письма Андреюшкина (что письмо писал Андреюшкин, в департаменте полиции до сих пор не

могли установить), из заграничных газет и из других источников в охранку поступали известия о том, что готовится покушение.

В двадцатых числах февраля, то есть за неделю до выхода на Невский, была устроена вечеринка. На ней были Канчер, Горкун и член экономического кружка Иванов. Как водится, было немало выпито, немало произнесено речей. Канчер говорил больше всех.

— Господа, прошу особого внимания! — кричал он, расплескивая вино из рюмки.— Я предлагаю тост... господа! Мы пили за тех, кто сложил головы за народ! Так давайте же выпьем теперь за тех,— он сделал паузу, выразительно переглянулся с Горкуном,— кто поднял их боевое, обагренное кровью знамя! За тех, кто, не щадя жизни своей, идет в бой! Кто решил погибнуть за народ!

— А что,— кинулся расспрашивать Канчера Иванов,— какое-то дело готовится? Серьезное? Большое? Я так и знал! Ведь идея террора прямо в воздухе носится! Это прекрасно! Это потрясет всю Россию!

— Постой,— вяло возражал Канчер, явно рисуясь,— я ничего не сказал.

— Как! Ты берешь свои слова обратно? Господа!

— Да помолчи ты! — упрашивал Канчер Иванова.

— Значит, готовится дело? Господа, дело готовится! Я это предвидел! Я это предчувствовал! Да здравствует «Народная воля»! Ура! Я предлагаю тост за новых героев!

Все кинулись чокаться с Канчером и Горкуном. Приятели с деланной скромностью принимали восторги пьяной компании и еще откровеннее болтали о готовящемся покушении.

Иванов был человек назойливый и страшно болтливый. Он приставал к знакомым с такими вопросами, какие не принято задавать. За это Ульянов не любил его и в разговоры с ним не вступал.

— От этого болтуна,— предупреждал он всех,— нужно держаться подальше. Такой человек — помимо собственного желания — может выдать охранке любое дело.

На следующий же день после вечеринки член экономического кружка Погребов, не принимавший никакого участия в подготовке покушения, встретил Иванова на улице. Не обращая внимания на то, что кругом были чужие люди, Иванов начал громко рассказывать:

— А знаешь, на днях будет большое террористическое дело...

— Что ты? — испугался Погребов.

— Нет-нет! Это точно! Это совершенно точно! Я слышал от самих участников! Дело это потрясет всю Россию! Все перевернется...

— Постой! — встревожился Погребов.— Зачем ты мне это говоришь?

— Как? Ты не хочешь знать?..

— Зачем мне это! — оправившись от растерянности, сердито отрезал Погребов.— И вообще пора тебе знать: о таких вещах нужно молчать. Особенно на улице!

Предупреждение Погребова, конечно, не вразумило Иванова. Он продолжал болтать, и это усиливало слухи о готовящемся покушении. Доходили они, разумеется, и до охранки. И если даже со стороны Иванова не было прямого доноса, его «деятельность» играла на руку полиции.

5

Анна Андриановна Сердюкова познакомилась с Андреюшкиным, еще когда он учился в гимназии. Она была народной учительницей, но затем оставила школу и занималась только частными уроками. Несмотря на то что Пахом был значительно моложе ее, между ними установились дружеские отношения. Когда Андреюшкин уехал в Петербург, у них завязалась переписка. Письма Пахома были явно с политическим уклоном. Это настораживало Сердюкову, и когда она получила письмо с описанием добролюбовской демонстрации, то решила не отвечать ему: слишком уж открыто возмущался он действиями властей.

Не дождавшись ответа на свое письмо, Андреюшкин не успокоился. Он послал ей второе, спрашивая, чем вызвано ее молчание: не получила она его письма или, может быть, не согласна с ним? В конце стояла приписка: «Если получите мое письмо и в нем не будет обозначено или число, или город, или не будет подписи, согрейте его на лампе и прочтите то, что вырисуется. И потом сожгите!» Сердюкова хорошо понимала, к чему может привести подобная переписка. Если Пахом в открытом письме поносил власти на чем свет стоит, так что же он симпатическими чернила-

ми напишет? Она не знала, как ей быть — и отказываться от переписки не хотелось, и продолжать ее было опасно.

В начале февраля Сердюкова зашла к одним знакомым, и те ей сказали, что Андреюшкин арестован, а за что — никто не знал. Вернувшись домой, она нашла новое письмо от него. Подписи нет, текст самый безобидный: о новых книгах, о погоде, это означало — письмо надо нагреть. Завесив окна в комнате, она дрожащими руками поднесла листок к ламповому стеклу и прочла текст, проступивший на бумаге: «Я поступаю в партию «Народная воля» и отдаю себя в ее полное распоряжение...» Так вот причина ареста! Анна Андриановна поспешно чиркнула спичкой и поднесла огонь к письму...

Мать Андреюшкина жила в станице Медведевской, в сорока верстах от Екатеринодара. Грамоты она не знала, и когда получала письма от сына, то ездила в город, к Сердюковой, чтобы та прочла и написала ответ. Слухи об аресте сына дошли и до нее. Но вслед за этим прибыло письмо, из которого видно было, что с ним ничего не случилось. Мать была очень обрадована этим. А на второй день и Сердюкова получила от Пахома письмо, в котором тот сообщал, что заболел тифом и что его отправляют в больницу. Матери просил ничего об этом не говорить. Анна Андриановна перевернула листок и глазам своим не поверила: «Я прошу вас быть моей женой...» Да что это — галлюцинация? Нет, зрение не обманывает ее. Но что же это ему в голову пришло? Ведь она старше его на шесть лет и никакого повода ему не давала, просто относилась к нему, как к брату...

Всю ночь Анна Андриановна не могла сомкнуть глаз, перебирала в памяти свои встречи с Пахомом, силясь понять, почему он вдруг решил просить ее руки. Да, он ей нравился. Высокого роста, статный, темно-русые вьющиеся волосы, горячие карие глаза — и взгляд, всегда устремленный куда-то вдаль. Но у него, при всей его начитанности и развитии, как ей казалось, вовсе отсутствовал здравый смысл. Он мог очертя голову полезть в самое опасное дело! Она хорошо помнит, как отговорила его от намерения взорвать гимназию. А если бы он это сделал... вспомнить страшно! И матери ему не жалко, и ее не жалко. Вступил в партию, взялся за какое-то рискованное дело и в то же время хочет связать свою жизнь с ее жизнью... Нет, непостижимый человек!

Анна Андриановна спрятала письмо на груди. Под утро она задремала и, проснувшись, не могла понять: приснилось ли все это ей или она действительно получила такое письмо? Она достала письмо, начала перечитывать его и увидела: на чистой стороне листа чуть заметно проступили буквы. Кинулась к лампе, нагрела бумагу и прочитала:

«Должно быть покушение на жизнь государя. Я в числе участников. Смотрите не влопайтесь. Не пишите даже о своем согласии». Нет, он либо с ума спятил, либо действительно заболел тифом и написал все это в бреду! Покушение на царя... Он в числе участников... И что же это значит: «Смотрите не влопайтесь»? Что ей грозит? Как ей поступить, чтобы избежать опасности? Не писать ему? Так зачем же он домогается ее руки? Или это написано только для того, чтобы не вызвать подозрения? От всего этого можно с ума сойти!

«Что делать? Что делать? — спрашивала себя Анна Андриановна.— Как его спасти? Как самой спастись? Пойти заявить в полицию? А если там ничего нет и все это просто бред больного, в какое же положение я поставлю себя? Ну, а если все это правда?..»

Узнав, что Шевырев уезжает, Канчер обрадовался: значит, так и вышло, как он думал,— поговорили и забыли. Но радость его была преждевременной: за несколько дней до отъезда Шевырев пришел к Канчеру и Горкуну вместе с Лукашевичем, сказал:

— Теперь вам задания будет давать Лукашевич. Что он скажет — все делайте! Ясно?

Канчер начал было сбивчиво говорить о своих убеждениях, о своем отношении к террору, но Шевырев сердито остановил его:

— Об этом нужно было раньше говорить! Ясно?

Когда Лукашевич передал этот разговор Ульянову, тот нахмурился и зашагал по комнате, что было признаком его сильного волнения.

— Сколько раз я говорил Шевыреву, что Канчер — человек ненадежный! — с несвойственным ему раздражением сказал Ульянов.— А он стоял на своем. Ну, теперь и в самом деле поздно уже что-нибудь предпринимать,— ведь Канчер, благодаря Шевыреву, слишком много знает...

6

— Василий Денисович, вы к Говорухину заходили? — спросил Ульянов Генералова.

— Нет. И не пойду.

— Поссорились?

— Нет, я ни с кем не ссорюсь. Иногда хочу повздорить и...— Генералов развел руками и улыбнулся,— не получается как-то... Не получается, и конец делу.

— Так что вы с Орестом Макаровичем не поделили?

— Больно мрачное настроение у него. Посидишь с ним часок-другой, и волком выть хочется. И то плохо, и там просвета не видно, и ничего из этой затеи не выйдет. Одним словом: ложись в гроб и помирай. А я, знаете, такой уж человек — мне тошно становится от таких разговоров. Вот я и перестал бывать у него...

Генералов был прав, говоря о мрачном настроении Говорухина. Его поведение мешало и другим. Это заставляло Ульянова пойти на крайнюю меру. Пришлось заложить свою золотую медаль, полученную в университете, отдать деньги Говорухину и посоветовать ему немедленно уезжать за границу. Говорухин, скрывая радость, забрал эти последние деньги у группы и поспешно начал собираться. План у него давно уже был готов: он доберется до Вильны, там друзья Лукашевича добудут ему паспорт, и он спокойно выедет за границу. Чтобы охранка сразу же не кинулась на розыски, он сказал хозяйке, что ложится в больницу. Заготовил письмо Шмидовой, в нем сообщал: «Если отыщут мой труп, то я прошу никого не винить в моей смерти».

— Из Вильны я отошлю это письмо на твой адрес,— говорил он, прощаясь с Ульяновым на Варшавском вокзале.— А тебя прошу: отправь его через несколько дней по городской почте. Пока полиция будет искать мой труп, я переберусь через границу. Ну, Александр Ильич,— Говорухин обнял Ульянова,— не поминай лихом...

— Счастливого... пути,— тихо ответил Ульянов.— Будь осторожен, особенно в Вильне...

— Эх... Никак не могу я примириться с тем, что ты остаешься. Тебе — я сердцем это чувствую — нужно ехать!

— Не будем касаться того, что уже решено.

— Но ведь ты идешь на верную гибель!

— Я это знал, когда брался за дело.

— Удивительный ты человек! — невольно вырвалось у Говорухина.— И если мне жаль кого-то покидать в этой богом проклятой России, так это тебя. Утешаю себя только одним — мы еще встретимся...

Возвратясь домой, Саша долго шагал по своей большой, пустынной квартире. Он хорошо понимал, что Говорухину лучше было уехать, но сердце сжималось: вот выбыл еще один боец из их рядов! Да еще такой, который, казалось бы, должен был держаться особенно стойко.

Тянуло побыть на людях, но в этот вечер, как на грех, никто не появлялся. Идти к Ане не хотелось — с ней только душу растравишь разговорами о доме. Последнее время он почти совсем перестал писать матери. Гнал от себя и мысль о том, как мать отнесется к его участию в покушении на царя. Как отразится все это на судьбе родных? Володя в этом году оканчивает гимназию — он тоже кандидат на золотую медаль,— и ему будет трудно. А ему самому разве легко? И разве вправе он спокойствие семьи ставить выше судьбы народа?

В дверь кто-то постучал.

— Войдите! — обрадованно крикнул Александр.

— Это я... гм,— бормотал дворник Матюхин.— Хозяйка говорит: зайди, может, ему что нужно...

— Спасибо. Мне пока ничего не нужно.

— Господин Чеботарев, значит, переехал на другую квартиру?

— А разве он вам об этом не заявлял?

— Заявлял... Да иногда случается: заявит, а живет... гм... Вы, сказывала хозяйка, тоже подыскиваете комнату?

— Да. А у вас что, адрес есть?

— Нет. Это я так... по долгу службы... С нас ведь так строго спрашивают — беда! Прямо не служба, а каторга. А платят что? Сказать вам, так не поверите. А у меня старуха больна, ноги отнялись; дочка с двумя ребятишками из Владимира вернулась. Муж ейный там на фабрике работал. Ну, и вздумалось дураку бунтовать. Посадили. Здоровьишко слабое, и отдал он за решеткой богу душу...

От Матюхина попахивало водкой. Это значило — он будет изливать свои чувства до тех пор, пока не получит на опохмел. Александр дал Матюхину денег, и у того мигом прошла охота жаловаться на свою участь.

С тех пор как Саша взялся за подготовку покушения, он редко посещал экономический кружок. А после ареста Никонова и совсем не показывался там. Но в этот вечер у него было так тяжело на душе, что он просто не знал, куда деваться. Вспомнил, что по пятницам бывают занятия кружка, и пошел туда. Весь вечер просидел, не проронив ни слова. Все знали, что он не из разговорчивых, и это никого не удивило. Но многие были поражены его видом. По пути домой Елизаров и Чеботарев, заметив, какое у него подавленное настроение, завели его в кофейню на Невском. Но Саша, выпив кофе, стал прощаться.

— Куда же вы, Александр Ильич? — спросил Елизаров.— Я вас целую вечность не видел. Посидите, ради бога!

— Расскажите хоть, как вы там живете один? — добавил Чеботарев.— Или уже перебрались на новую квартиру?

— Пока что нет. Но вскоре, пожалуй, сделаю это.

Саша посидел еще несколько минут. Разговор не клеился, и он, сославшись на спешное дело, ушел.

— Заметили вы, Марк Тимофеевич, какое у него было странное выражение лица?

— Да,— подтвердил Елизаров.— Я тоже, глядя на него, не мог отделаться от какого-то неприятного чувства...

— Может, у него какое-нибудь горе,— высказал предположение Чеботарев.— Помните, какой он был, когда умер отец?

7

Андреюшкин и Генералов знали, что вместе с ними на Невский выйдет еще один метальщик. Но кто он, как его зовут — им никто не говорил. Они понимали, что делалось это из конспиративных соображений, и не настаивали на знакомстве. После того как уехал Шевырев, а за ним и Говорухин, Ульянов сказал Лукашевичу:

— Мне кажется, пора свести метальщиков.

— Да. Но как это лучше сделать?

— Пусть встретятся где-нибудь по паролю.

На следующий день Ульянов дал пароль Андреюшкину, рассказал ему, о чем нужно договориться с Осипано-

вым, и тот вместе с Генераловым пошел на свидание. Встречу назначили на Михайловской улице в Варшавской кондитерской. Осипанов должен был сидеть там за стаканом кофе. На столе перед ним — шапка, а в шапке — белый платок. Генералов и Андреюшкин должны были сесть за этот столик и потребовать чаю.

Когда Андреюшкин и Генералов вошли в кондитерскую, за одним из столиков они увидели брюнета среднего роста, коренастого, крепко сложенного. Выбрав удобную минуту, Андреюшкин спросил:

— Вы не скажете, который час?

Человек пристально посмотрел серыми косыми глазами на Андреюшкина, пододвинул к себе шапку с платком, как бы для того, чтобы обратить на нее внимание, и только после этого вынул из кармана часы и ответил:

— Семь или восемь, но у меня часы отстают на тринадцать минут.

Друзья молча допили чай, Осипанов — свой кофе и первым вышел из кондитерской. Генералов и Андреюшкин пошли за ним. Около университета познакомились и, прогуливаясь по набережной, начали обсуждать план покушения. Андреюшкин предложил совершить покушение возле манежа, но Осипанов доказал, что это неудобно.

— Я много об этом думал и пришел к выводу, что лучше всего сделать это на Невском. Там всегда много народу, и наше присутствие никому не бросится в глаза. Если на Невском не удастся сделать нападение, то перейдем на Екатерининский канал.

— На канал? — удивился Андреюшкин.— Но ведь там бросали бомбы Рысаков и Гриневицкий.

— И что же? Это всего удобнее, ведь шпикам и в голову не придет, что бомба может взорваться точно на том же месте. Ну, а если и на Екатерининском канале не удастся, тогда перейдем на Большую Садовую. Я еще не знаю сигнальщиков, а от них наполовину зависит успех дела.

— Мы хоть и знаем их, но...— Генералов сдвинул кубанку на лоб и, почесав затылок, вздохнул: — Не та сказка! Правильно я говорю, Пахом?

— Правильно. Но без сигнальщиков нам тоже трудно будет. А где теперь взять лучших?

Ульянов с Лукашевичем двадцать первого февраля привели снаряды в боевую готовность. Канчер и Волохов отнесли их к Генералову.

В эти же дни Ульянов собрал всех членов первой боевой группы на квартире у Канчера. Он еще раз объяснил им, как нужно кидать бомбы. Осипанов предложил свой план покушения.

Поскольку все касающееся личной жизни царя хранилось в строжайшей тайне, то за его выездом приходилось наблюдать, прохаживаясь мимо Аничкова дворца, а это было опасно. Если в «Правительственном вестнике» и появлялись краткие сообщения о том, где и в котором часу был царь, то, как правило, только спустя несколько дней. Конец февраля и начало марта были днями панихид по убитому народовольцами императору Александру II. Двадцать шестого февраля был праздник — царский день. Императора ожидали в Исаакиевском соборе. Осипанов вместе с Ульяновым вставил в бомбы запалы, и группа пошла на Невский. У собора все было приготовлено для торжественной встречи царя, но он почему-то не появлялся. Осипанов подошел к одному из околоточных надзирателей — собор был окружен полицейскими,— спросил:

— Что это так много народу? Уж не его ли императорское величество изволит приехать?

— Так точно. Приказано ждать...

— Что ж он не приезжает?

— Не могу знать.

— Может, его уже и не будет?

— Кто знает...

Вечерело. Народ начал расходиться. А когда совсем стемнело, сняли и охрану собора. Осипанов подал всем условный знак, что можно возвращаться по домам, потому что царь уже явно не приедет.

Так оно и было: царь в этот день почему-то в собор не явился.

Из Харькова ответа не было, и департамент полиции отправил вторичный запрос, требуя немедленно разыскать Никитина и выяснить, кто писал ему письмо. Двадцать седьмого февраля — на следующий день после выхода Осипанова со своей группой на Невский — из Харькова сообщили, что «студент Никитин по предъявлении ему копии

письма заявил, что оно получено от знакомого ему студента Петербургского университета Андреюшкина».

В тот же день директор департамента полиции Дурново переслал полученные сведения генералу Грессеру с просьбой «учредить непрерывное и самое тщательное наблюдение» за Андреюшкиным. Он указывал также, что Андреюшкин и «ранее замечен в сношениях с лицами, политически неблагонадежными». Грессер немедленно приставил к Андреюшкину двух агентов и уже двадцать восьмого февраля писал Дурново: «...установлено, что Андреюшкин вместе с несколькими другими лицами с двенадцатого до пятого часу дня ходил по Невскому проспекту; причем Андреюшкин и другой неизвестный несли под верхним платьем какие-то тяжести, а третий нес толстую книгу в переплете».

Из этого донесения Петербургской охранки видно: поводом для установления наблюдения за участниками покушения послужило письмо Андреюшкина к студенту Никитину. Но хотя агенты и заметили, что Андреюшкин и его друзья несли какие-то вещи, им и в голову не приходило, что это были бомбы.

Осипанов хорошо понимал: ежедневное хождение по Невскому проспекту может привлечь внимание охранки, но по-другому организовать нападение на царя было невозможно. Он приказал всем держаться так, словно они незнакомы друг с другом. Но именно это и заставило агентов прийти к выводу, что Андреюшкин и его друзья что-то задумали, так как знакомство их было установлено в первый же день наблюдения.

Каждое утро Осипанов внимательно рассматривал «Правительственный вестник». Двадцать восьмого февраля он прочитал такое сообщение: «Министр императорского двора имеет честь уведомить гг. первых и вторых чинов Двора и придворных кавалеров, что 28-го сего февраля имеет быть совершена в Петропавловском соборе панихида по в бозе почивающем императоре Александре II, после заупокойной литургии, которая начнется в 10 часов утра». Осипанов был уверен, что царь также приедет в собор Петропавловской крепости на панихиду, и весь день продежурил там. В семнадцать часов по Аничкову мосту проехала императрица Мария Федоровна, но царь так и не появился на Невском.

Первого марта к четырем агентам добавили еще троих. Им приказали: внимательно следить. Если Андреюшкин со своими друзьями опять начнет ходить там, где проезжает царь, то арестовать их...

8

Агент Варламов схватил Осипанова сзади за руки и вывернул их. Второй забежал вперед, испуганно крикнул, увидев, что Осипанов рванулся, силясь высвободить руки.

— Варламов, держи! Ах, господи, да заверни покрепче... Вот так,— обхватив Осипанова и обшаривая карманы, командовал он.

— Куда лезешь! — двинул его ногой Осипанов.— Пусти руки!..

— Варламов, держи! Городовой, сюда! Держи, Варламов!

— Да ты свое делай!

— Молодой человек, вам лучше будет! Стойте смирно,— говорил второй агент, продолжая обыскивать карманы, и, не найдя ничего, спросил: — Где револьвер?

— Пустите руки!

— Так нет оружия? — спросил Варламов, готовый отпустить руки.

— Держи, держи!

Подбежал городовой и, не спрашивая, в чем дело — он был предупрежден агентами,— засвистел в свисток и грозно крикнул:

— Господин студент, пожалуйте в участок.

— Что я сделал противозаконного?

— Пожалуйте, там разберутся.

— Отпустите хотя бы руки.

— Варламов, держи! — закричал второй агент и тоже схватил Осипанова за руки.

Тут же подкатил извозчик. Агенты, не отпуская рук, втолкнули Осипанова в пролетку, скомандовали:

— Поехали!

Пролетка помчалась по городу. На одном из перекрестков Осипанов увидел Канчера. Тот шел, как-то обреченно опустив голову, и совсем не следил за тем, что делается вокруг. «Вот так сигнальщик,— с горечью подумал Осипанов.— Даже не заметил, что меня схватили. А может, это

он навел шпиков? Да, но ведь снаряда они у меня не отобрали, думают, видно, что это просто книга. Значит, они не подозревают, что я — участник покушения, значит, полиции ничего не известно об этом. Агенты меня схватили, должно быть, по каким-то другим соображениям. Но почему я показался подозрительным?»

По дороге Осипанов перебрал множество вариантов и понял: какова бы ни была причина его ареста, полицейские, обнаружив бомбу, поймут, кого схватили. Но если другие метальщики не арестованы — он не видел, чтобы забирали Андреюшкина и Генералова,— то нужно сделать все, чтобы они могли осуществить покушение. Выход из положения один: нужно при первой же возможности бросить бомбу. Взрыв уничтожит агентов — о том, что он сам погибнет, Осипанов даже не думал,— это отсрочит на какое-то время раскрытие заговора и даст возможность Андреюшкину и Генералову довести его до конца. Да, именно так: взрыв не только не повредит делу, а вызовет переполох в охранке и отвлечет ее внимание от главного.

Не отбирая книги-бомбы, агенты, высадив Осипанова из пролетки, повели его по какой-то узкой лестнице с крутыми, почти винтовыми поворотами. Втроем идти было трудно, и на поворотах агенты долго топтались на месте, прежде чем им удавалось протиснуться. Улучив момент, когда агенты на одном из поворотов слегка отпустили руки, Осипанов потянул за бечевку, которая вела к запалу. Но он так резко дернул бечевку, что она оборвалась. Агенты, услышав треск, еще сильнее зажали ему руки.

— Что ты сделал? — закричал Тимофеев.— Варламов, что у него там лопнуло?

— Не знаю.

— Тогда держи крепче!

Агенты зажали руки Осипанова, и не было никакой возможности бросить бомбу так, как этого требовало ее устройство, чтобы она взорвалась. Но когда они провели его через коридор в комнату (за одним столом сидел жандармский офицер, за вторым какой-то чиновник) и отпустили руки, Осипанов сделал шаг вперед, боясь, как бы агенты, заметив его движение, опять не схватили его за руки, и с силой швырнул бомбу. Осипанов видел, как книга-бомба летела, как она ударилась об пол. Он зажмурил-

ся, подумав: «Все!» Но вместо взрыва послышался только глухой стук. Офицер вздрогнул и схватился за оружие, но, увидев, что упала книга, сердито закричал:

— Чего стоите, разинув рты? Поднимите!

Агенты, все еще не понимая, с кем они имеют дело, бросились выполнять приказание. Один из них схватил книгу. Почувствовав, что она подозрительно тяжела, он зачем-то поднес ее к уху и вдруг затрясся, не в силах выговорить ни слова.

— Что такое? — увидев, как затрясся агент, спросил офицер, отступая в дальний угол.

— Бо... Бом-ба... По-о... Посмотрите...

— Куда лезешь, идиот! — не своим голосом закричал офицер.— Стой на месте и не шевелись!

— Ваше благородие,— взмолился агент.— У меня жена, де-ти...

— Стой смирно!

— Герои! — презрительно заметил Осипанов.— Дайте-ка ее сюда!

— Стой! — храбро скомандовал офицер, выхватив револьвер.— Ни с места! Тимофеев, держи бомбу! Варламов, беги к начальнику...

Захлопали двери, забегали агенты. В коридоре слышалось тревожное:

— Бомба!.. Бомба!..

Долго так стояли: офицер с наведенным на Осипанова револьвером, трясущийся от страха агент Тимофеев — с бомбой в руках. Чуть только Тимофеев делал попытку переступить с ноги на ногу, офицер кричал из своего дальнего угла:

— Замри!

Наконец в дверях появился Варламов.

— Ваше благородие,— не входя в комнату и почему-то шепотом начал Варламов,— их благородие приказали отнести ее на задний двор и положить там за дровами, пока они вызовут кого надо.

— Так возьми и отнеси! — приказал офицер, но Варламов мигом захлопнул дверь.

— Давайте я отнесу! — с трудом удерживаясь от смеха, сказал Осипанов.

— Ни с места! Тимофеев, пошел вон! — сердито крикнул офицер, переводя револьвер на агента.

Это помогло: Тимофеев испуганно попятился к выходу, держа бомбу в вытянутых руках, и, открыв дверь своим чугунным затылком, исчез. Офицер облегченно вздохнул, спрятал револьвер, не глядя на Осипанова, спросил:

— Вы что хотели сделать?

— Испытать вашу храбрость,— спокойно, с улыбкой ответил Осипанов,— и разрушить это учреждение.

— Зачем же вы ходили по Невскому?

— Оттуда легче всего попасть к вам. Ведь Невский давно превратился в коридор полицейского управления.

— Бросьте шутки! Я вас вполне серьезно спрашиваю.

— А я вам вполне серьезно и отвечаю.

Как ни ловчился храбрый офицер, как ни угрожал — ему ничего не удалось добиться от Осипанова. Офицер приказал увести его. Двое жандармов, как и агенты при аресте, подхватили его под руки, потащили по тому же темному коридору, спустили по лестнице, видимо в подвал, и втолкнули в совершенно темную, сырую и глухую, как могила, камеру. Осипанов никогда в тюрьме не сидел, но был наслышан о тюремных порядках от тех, кто побывал там. Держась руками за скользкие стены, он обшарил камеру — она была довольно велика — и пришел к выводу, что это, должно быть, карцер. Сидеть было не на чем, и он, прислонившись к двери, начал напряженно прислушиваться. «Если они арестуют еще кого-нибудь из наших,— думал он,— то наверняка приведут сюда. Тогда будет ясно: весь наш заговор раскрыт. Но нет, не может этого быть! Если бы они знали, кого арестовывают, не оставили бы при мне бомбу. Да, но почему же она не взорвалась? Плохо сделана или веревочка подвела? И что, если Андреюшкин и Генералов встретят царя, метнут свои бомбы, а они не взорвутся?»

Примерно через час по коридору провели еще двоих. Неужели Андреюшкина и Генералова? Минут через десять опять провели кого-то. Потом еще... Осипанов приник ухом к окованной железом двери, услышал разговор надзирателей:

— И большие?

— Говорят, пудовые...

— Ого-о!..

Из этого разговора трудно было что-нибудь заключить. Но по интонации, с какой было произнесено «большие»,

можно догадаться, что говорили о бомбах. И кажется, о нескольких. Неужели всех схватили? Или, может быть, полицейская фантазия, сделав бомбы пудовыми, одну превратила в сотню? Но нужно предположить худшее. Скажем, арестованы все. Что в таком случае говорить следователю, который не замедлит вызвать его?

И действительно, не успел Осипанов перебрать несколько вариантов ответов, как за ним пришли. Провели его уже в другую комнату, к капитану Иванову. Капитан встретил его с казенной полицейской любезностью, пригласил сесть.

Показания Осипанова были кратки, выдержанны. Он написал:

«Я признаю свою принадлежность к социально-революционной партии «Народной воли», террористической группе, и не отвергаю того, что сего числа я задержан с метательным снарядом, имевшим форму большой книги, с которым гулял по Невскому проспекту. С какой целью я имел этот снаряд, от кого, когда и где получил таковой, я в настоящее время объяснить не желаю, но впоследствии все, что касается меня лично, будет мною объяснено. С описанным выше снарядом я был сегодня на Невском проспекте, в момент моего задержания, один, и иных соучастников, кроме передавшего мне упомянутый снаряд,— не имею. Лица, передавшего мне снаряд, назвать не желаю. Сделан ли этот снаряд в С.-Петербурге или привезен откуда-либо, я не знаю. О времени предачи мне снаряда я так же показать не желаю. Оставил я Казанский университет и переехал в С.-Петербург с революционными целями».

Больше следователю ничего не удалось добиться от Осипанова.

9

Первого марта было воскресенье. Погода стояла солнечная, весенняя. Аня, испытывая постоянную тревогу за Сашу, собралась утром идти к нему, чтобы провести вместе свободный день. Но к ней зашла Раиса Шмидова и сказала, что она была уже у Александра Ильича и не застала его дома. Хозяйка сказала ей, что он очень рано куда-то ушел. Появился Марк Елизаров, и они втроем пошли побродить по городу. Шмидова вскоре оставила их. Но разговор у Ани с Марком не вязался, ее все не покидала трево-

га за брата. Куда это он так рано ушел? Какие у него дела в воскресенье? Прежде он в свободные дни всегда утром приходил к ней...

— Вы чем-то озабочены? — спросил Елизаров.

— Я очень беспокоюсь за Сашу,— призналась Аня.

— Да,— вздохнул Елизаров.— Какой-то он странный стал...

Аня вспомнила, как отец наказывал ей: «Береги Сашу!» Как мать о том же просила ее. Но как же она может уберечь его, если он ничего не рассказывает ей. Вот и в среду она зашла к нему. У Саши было много людей, которых она прежде никогда не видала, хотя и знает всех его знакомых. Саша вышел с нею в другую комнату. Он не скрывал, что не может ни минуты уделить ей. Аня, видя это, ушла. Не могла понять, что творится у Саши, но одно ей было ясно: он не хочет посвящать ее в свою тайну.

Вернувшись с прогулки домой, Аня спросила хозяйку, не заходил ли брат. И, услышав в ответ, что его не было, принялась ждать. Идти к нему она не решалась, чтобы снова не помешать. Да и боялась разминуться с ним по дороге. Время шло, а Саши все не было. Что с ним могло случиться? Ведь вчера она встретила его на улице, и он обещал зайти. Он всегда твердо держал свое слово.

Прождав весь день, Аня не вытерпела и вечером побежала к брату. Еще издали увидела свет в окнах его квартиры и обрадовалась: значит, он дома, значит, с ним ничего не случилось! Она взбежала по лестнице, нетерпеливо позвонила. Дверь мгновенно распахнулась, и она увидела — в комнатах все перевернуто вверх дном, во всех углах роются жандармы. У Ани сердце оборвалось,— то, чего она так боялась, произошло! Но, может быть, обыск ничего не даст? Ведь Саша так осторожен!.. Да, но где же он? Или они нагрянули, когда он вышел из дому? Может быть, он сейчас как раз у нее? Нужно немедленно предупредить его!

Аня направилась было к выходу, но ее остановил офицер:

— Вы кто будете? Знакомая?

— Сестра.

— Очень хорошо. Я буду вам весьма обязан, если вы побудете здесь, пока мы закончим обыск.

— Простите, но мне нужно идти,— сказала Аня.

— Куда?

— Это мое дело.

— Вот как! Ну, тогда считайте, что мы вас задержали.

— На каком основании?

— Об этом мы вам скажем позднее. А пока что присядьте вот здесь и успокойтесь.

Аня и мысли не допускала, что ее могут арестовать. Обыск еще не закончился, когда пришел Валентин Умов, друг Саши по гимназии. (Он учился в Московском университете, приехал на несколько дней и хотел встретиться с Сашей.) Аня очень обрадовалась, увидев его, дала ему свой адрес. Жандармы только переглядывались.

Перерыв все в комнатах Саши, несколько жандармов отправились на квартиру к Ане. Там им ничего найти не удалось, кроме так называемой «инфузорной» земли, которую Саша привез из Кокушкина еще прошлым летом и оставил в комнате, где жил раньше. Землю эту жандармы извлекли из ящика комода с такими предосторожностями, что Аня не могла удержаться от улыбки, хотя ей было вовсе не до смеха. Ее объяснение, что это простая земля, не удовлетворило жандармов, и они забрали это «вещественное доказательство». Взяли они также и письмо на имя Анны Лейбович, которое Аня, уходя из дому, оставила на столе. По дороге в охранное отделение пристав, вздыхая, говорил:

— И что за молодежь пошла! И наказывают вас за провинности куда как строго, а вы все не каетесь. Ну, что это вздумалось студенту Генералову бросать бомбу в государя, а? Да понимает ли он, на кого руку поднимал? А теперь вот берут всех его знакомых, а среди них небось много невинных...

Аню охватил ужас: Генералов бросил бомбу! Он был знаком с Сашей. Часто заходил к нему. Как это все отразится на Саше? Аня и теперь еще не понимала, что Саша — активный участник дела, а не просто знакомый Генералова.

Только в одиночной камере — из охранки ее отправили в Дом предварительного заключения — она, восстановив в памяти события последнего времени, встречи и разговоры, обдумав все то, что тогда казалось ей непонятным и загадочным в поведении Саши, с леденящим ужасом поняла: дело не только в знакомстве брата с Генераловым...

10

Все три метальщика (Осипанов, Генералов, Андреюшкин), задержанные с бомбами, вели себя на допросах твердо и выдержанно. В протоколах их допросов ничего не было такого, что могло бы навести на след других членов террористической группы.

Как и Осипанов, признали свою принадлежность к революционной партии Андреюшкин и Генералов, но категорически отказались назвать тех, кто вместе с ними готовил покушение. Они только признали, что несли снаряды с целью цареубийства, считая это необходимым для изменения существующего строя. «Это решение,— говорил Андреюшкин,— у меня было плодом не аффекта, не увлечения, а плодом продолжительного зрелого размышления и взвешивания всех могущих быть случайностей».

Не так вели себя Канчер, Горкун и Волохов. Как и боялся Ульянов, они оказались нестойкими, малодушными. На первом же допросе, испугавшись пыток, которыми угрожал им прокурор Котляревский, они начали выдавать всех...

Весь день Ульянов провел на квартире Лукашевича. Время шло, а никаких известий от группы не было. Лукашевич строил всевозможные предположения, а Ульянов, хмурясь, молча шагал из угла в угол. В четыре часа дня он не выдержал, сказал:

— Нужно выяснить, что там делается.

— Но как? — спросил Лукашевич.

— Я пойду на квартиру к Канчеру, а вы загляните в столовую. Туда мгновенно прилетают все новости.

На квартире Канчера полиция устроила засаду, и Ульянов попал в западню. При обыске у него отобрали записную книжку. В нее были занесены — шифром — некоторые виленские адреса, планы квартир, какие-то расчеты, похожие на рецепты.

11

Министр внутренних дел граф Дмитрий Толстой уверял всех, что в России не осталось ни одного революционера, и вот, пожалуйста,— заговор! Опять студенты появились на

улицах Петербурга с бомбами! Это происшествие вызвало переполох и полную растерянность слуг царевых. В своем донесении Александру III граф Толстой обстоятельно описывал, как и где, с какими бомбами были задержаны студенты. Подчеркивал то обстоятельство, что охранка перехватила письмо Андреюшкина и установила за ним слежку. Но умалчивал, разумеется, о том, что полиция не знала, за кем следит.

Желание скрыть от общественности истинное положение вещей у графа Толстого было так велико, что он писал в том же донесении царю: «Во избежание преувеличенных толков в городе по поводу ареста на Невском проспекте трех студентов с метательными снарядами, я полагал бы необходимым напечатать в «Правительственном вестнике» краткое сообщение об обстоятельствах, сопровождавших их задержание».

Царь начертал резолюцию: «Совершенно одобряю и вообще желательно не придавать слишком большого значения этим арестам. По-моему, лучше было бы узнавать от них все, что только возможно, не предавать их суду и просто без всякого шума отправить в Шлиссельбургскую крепость. Это самое сильное и неприятное наказание. На этот раз бог нас спас, но надолго ли? Спасибо всем чинам и агентам полиции, что не дремлют и действуют успешно».

Однако «просто и без всякого шума», как того хотелось царю, покончить с революционерами не удалось. Слух о том, что грозная «Народная воля» опять заявила о себе, мигом разнесся по городу. Жена шталмейстера царского двора Арапова записала в своем дневнике:

«2 марта.

Вчера муж вернулся с волнующей новостью. Он отправился к Звегинцеву, который рассказал ему, сам еще взволнованный, что его племянник князь Черкасский только что возвратился с завтрака у Ширинкина, правой руки Шервуда во всех вопросах охраны, и что в ту минуту, когда он собирался ехать на станцию Гатчино, чтобы сопровождать возвращение государя, ему позвонили, что четыре личности, вооруженные каждый бомбой, были арестованы — двое под аркой, два других на углу Морской и проспекта. Ширинкин настолько не ожидал этого, что ему тут же сдела-

лось дурно, и это-то и выдало этот секрет молодому человеку.

Между тем, как они рассуждали о возможности подобной вещи, является Чекашев и повторяет им слово в слово ту же историю: он слышал ее от Васильевского, который пригласил его к себе в Аничковский дворец завтракать. Этот последний источник еще более подлинный. Он добавляет даже, что обстоятельством, расстроившим их план, явилась перемена, произведенная в последний момент в маршруте: вместо того, чтобы отправиться прямо из Петропавловской крепости на вокзал, государь и государыня заехали позавтракать к великому князю Павлу в Зимний дворец. Это запаздывание позволило полиции задержать этих чудовищ на улице.

Следуя программе Толстого, обо всем продолжают хранить тайну. Многочисленные аресты в военных корпусах не были упомянуты ни в одной газете. И тем не менее сегодня в Исаакиевском соборе Милютин расспрашивал Адельсона, и последний, хотя и отрицал бомбы, захваченные на улице, признался, что напали на след серьезного заговора и что многочисленные аресты были произведены как вчера так и сегодня ночью. Как ни меняют систему играть в прятки с целой нацией, оставляя ее в неведении обо всем, что затрагивает ее интересы, гидра социализма не может быть раздавлена руками такого рамолика[1], как Толстой, и, с моей стороны, у меня, право, больше веры в божественный промысел, чем в бдительность их охраны, которая жиреет на миллионы, которые она стоит.

4 марта.

Как я имела вполне основание предчувствовать, один бог спас угрожаемые дни императорской семьи, так как они должны были оставить Аничков в четырехместных санях, чтобы отправиться в крепость — отец, мать и двое старших. Его величество заказал заупокойную обедню к 11 часам и накануне сказал камердинеру иметь экипаж готовым к 11 часам без четверти. Камердинер передал распоряжение ездовому, который, по опрометчивости — чего никогда не случалось при дворе,— или потому, что не по-

---

[1] Рамолик — расслабленный, впавший в слабоумие.

нял, не довел об этом до сведения унтер-шталмейстера. Государь спускается с лестницы — нет экипажа, как ни торопились, он оказывается в досадном положении простых смертных, вынужденных ждать у швейцара, в шинели, в течение 25 минут.

Не припомнят, чтобы его видели в таком гневе из-за того, что по вине своего антуража он настолько запаздывает на службу по своем отце, и унтер-шталмейстер был им так резко обруган, что со слезами на глазах бросился к своим объяснять свою невиновность и говоря, что он в течение 12 лет находится на службе государя и решительно никогда не был замечен в провинности. Он был уверен в увольнении и не подозревал, что провидение избрало его служить нижайшим орудием своих решений.

Государь покидает Аничков после того, как негодяи были отведены в участок, и, только прибыв к брату в Зимний дворец, он узнал об опасности, которой он чудом избежал... Если бы запоздание не имело места, государь проезжал бы в нескольких шагах от них».

Будущий император Николай II записал в тот день в дневнике:

«1 марта. Воскресение. Гатчино.

Проснулся в 7 ч. После кофе читали. Надев преображенский мундир, поехал с папа в крепость. В это время могло произойти нечто ужасное, но, по милости божьей, все обошлось благополучно: пятеро мерзавцев с динамитными снарядами было арстовано около Аничкова! После завтрака у дяди Пица поехали на железную дорогу и там узнали об этом от папа... О! Боже! Какое счастье, что это миновало! Приехали в милое Гатчино в 1/2 четвертого и стали разбирать книги и вещи. Пили чай и обедали с дорогими папа и мама».

Провидение ли спасло Александра III или нерадивый ездовой — трудно судить. Но одно ясно из этих дневников: агентов полиции за то, что они «не дремлют и действуют успешно», благодарил царь с перепугу. Агенты, как отмечает в том же дневнике и Арапова, «были далеки от допущения мысли, что их поднадзорные ходят с бомбами». С двадцать шестого февраля по первое марта метальщики выходили на Невский проспект, и полиция их не трогала, так как решительно не знала, что они готовят. Это уже в

то время, когда у них было письмо Андреюшкина! А не будь этого письма? А запоздай еще больше ответ из Харькова?..

Александр III был так напуган задержанием террористов, что тут же сбежал в Гатчину со своей семьей и даже из дворца не выходил. Из Петербурга в Гатчину мчался один курьер за другим: царь требовал докладывать ему о ходе дознания. Ему привезли фотографии всех террористов, протоколы их допросов, и он не только перечитывал их, но и делал на полях свои заметки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

— Раздеться! — командовал жандарм.— Все! Все снять! Три шага в сторону. Нет, не сюда, а туда,— ткнув пальцем в угол камеры, продолжал он.— Стой! Начинайте!

Двое тюремщиков обшарили всю одежду Ульянова, заглянули в рот, ноздри, ощупали волосы и отступили в сторону с видом людей, исполнивших свой долг. После этой унизительной процедуры к ногам Ульянова кинули тюремную одежду.

— Одеться! — скомандовал жандармский офицер.

Все тюремщики наблюдали за тем, как Ульянов напялил на себя арестантское одеяние, и только после этого вышли. Тяжелая, окованная железом дверь глухо громыхнула, щелкнул замок. Ульянов подождал, пока затихли шаги, оглядел камеру. Сводчатый потолок, черный от сажи, пол, покрытый асфальтом. Маленькое окно под самым потолком, стекла побелены, решетки двойные. Железная кровать, привинченная к стене, поднята и заперта на замок. Массивный дубовый столик — он тоже наглухо закреплен,— на нем грязная керосиновая лампа с черным от копоти стеклом, в углу — параша. Из крана тоненькой струйкой сочится вода, нарушая гробовую тишину. Первым движением Александра было завернуть кран, но это ему не удалось сделать — вода продолжала сочиться.

Подойдя к двери, Александр увидел, что в ней прорезано квадратное оконце, через которое, видимо, подавали

пищу. Выше — застекленный продолговатый глазок, сквозь него часовому, шагающему по коридору, видно было все, что делалось в камере. Осмотрев дверь, Александр принялся ходить по камере. Коты спадали с ног, гулко шлепали по асфальтовому полу. А только останавливался, начинала давить какая-то «каменная» тишина.

Всю первую ночь в крепости Александр не сомкнул глаз и не лег в постель, хотя надзиратель, войдя в камеру в сопровождении двух часовых, открыл замок кровати. Он шагал из угла в угол и думал: «Что же произошло? Кто еще арестован, кроме Канчера? Удалось ли бросить бомбы под экипаж царя? Что сталось с Осипановым, Генераловым, Андреюшкиным? Что полиция знает обо мне? Почему меня привезли прямо в крепость? Ведь на квартире они ничего не могли найти такого, что указывало бы на мое участие в заговоре». Он еще и еще раз продумывал каждый свой шаг за последние дни. Нет, сам он ничего не мог дать в руки полиции! Значит, его взяли только потому, что он попал в засаду.

В ночь со второго на третье марта Александра поднял надзиратель, приказал собираться. Вошел офицер с двумя жандармами. И процессия двинулась по темному коридору крепости: офицер впереди, жандармы с обеих сторон, надзиратель — сзади. Во дворе, хотя Александр и не сопротивлялся, жандармы подхватили его под руки и втолкнули в карету, стоявшую у выхода. Жандармы сели по бокам, офицер напротив, лошади рысью подхватили с места, и карета загрохотала. Окна кареты были плотно завешены, и Александр не мог определить, куда его везут. По мрачному виду офицера и жандармов, следивших за каждым его движением, он заключил: на него смотрят как на важного преступника. Им, должно быть, приказано соблюдать всяческие предосторожности, потому что малейшее движение его вызывало у них беспокойство. Александр хотел спросить офицера, куда его везут, но не стал этого делать: все равно правды не скажет.

Вот карета остановилась, заскрипели ворота. Карета снова двинулась, но тут же остановилась. Офицер открыл дверцу, вылез и приказал:

— Выходи!

Увидев, что он опять во дворе департамента полиции, Александр понял: будет допрос. Его провели какими-то закоулками, с такой же строгостью, как в крепости. Поднялись на второй этаж. На первой двери он прочитал: «Канцелярия для производства дел о преступлениях государственных». Офицер открыл эту дверь, и Александр между двух жандармов вошел в коридор полицейского царства Дурново. Из комнаты в комнату со страшно озабоченным видом — точно они мировые проблемы решали — носились офицеры и чиновники. Но как они ни спешили, ни один из них не прошел мимо Ульянова без того, чтобы пристально, с каким-то наглым любопытством, не поглядеть на него.

В огромной комнате, куда Александра ввел офицер — жандармы остались за дверью,— было четверо: жандармский ротмистр и три чиновника. Ротмистр стоял за столом, один чиновник восседал в мягком кресле, а двое других, видимо чином пониже, сидели в стороне, моргая красными от бессонницы глазами. Перед ними лежали листы чистой бумаги, ручки. Стоявший за столом любезно пригласил Ульянова садиться, представился: ротмистр отдельного корпуса жандармов Лютов.

— Мне приказано,— продолжал он торжественно,— на основании закона от девятнадцатого мая тысяча восемьсот семьдесят первого года в присутствии товарища прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты господина Котляревского,— он указал на чиновника, восседавшего в кресле,— и двух понятых, писарей Хмелинского и Иванова, допросить вас.

После стандартных вопросов: звание, образование, экономическое положение родителей — ротмистр спросил:

— А теперь расскажите, какое участие вы принимали в подготовке покушения на священную особу государя императора?

— Еще что прикажете? — спокойно, вопросом на вопрос, ответил Александр.

— Я прошу вас запомнить: здесь спрашиваю я! — вспылил ротмистр, звякнув медалями, украшавшими его грудь.

— А я попрошу вас вспомнить, что я не писарь вашей канцелярии,— так же спокойно, ни на одну нотку не повысив голоса, ответил Александр.

— Минутку, господин ротмистр,— движением руки остановил его Котляревский.— Позвольте мне задать господину Ульянову несколько вопросов. Прежде всего, сколько метательных снарядов было изготовлено на вашей квартире?

— Я не желаю отвечать.

— Кто был руководителем и организатором вашей группы? — продолжал Котляревский таким тоном, точно ответ Александра вполне удовлетворил его.

— Я не желаю...

— Хорошо! — грубо оборвал Ульянова на полуслове Котляревский.— Скажите тогда, какое участие вы принимали в подготовке покушения на государя императора? Вы знали, кто изготовлял снаряды? Вы знали, кто должен был их бросать? Предупреждаю: мы располагаем точными данными о вашем участии в этом злодеянии! Ваше запирательство только усугубит вину, чего я вам лично не желал бы. Итак, я жду ответа!

— Напрасно тратите время.

— Вот как? Хорошо! — Прокурор открыл ящик стола, вынул какую-то бумагу и положил ее перед Ульяновым.— Прочтите тогда это.

Александр пробежал глазами первые строки, и сердце его глухо забилось. Канчер — предатель! Подробно, унизительно-покаянно он выдавал полиции все, что знал. Как он пришел к нему, Ульянову, на квартиру и застал там его с Лукашевичем за начинкой бомб динамитом, как он затем отнес их с Волоховым к Генералову и Андреюшкину...

Читая протокол, Ульянов чувствовал на себе пристальные взгляды прокурора и ротмистра. Собрал всю силу воли, чтоб ни одним мускулом лица не выразить того гнева, какой охватил его.

— Что вы теперь скажете? — с торжеством спросил Котляревский.

Ульянов посмотрел на его обрюзгшее лицо, на тонкие, желчно сжатые губы, на хитро прищуренные глаза, стараясь угадать: полицейская фальшивка это или Канчер действительно выдал всех? Молчание могло показаться подозрительным, и Александр, отдавая протокол, спросил:

— Что вы мне еще дадите прочесть?

— Пока все.

— Благодарю вас.

— Господин Ульянов! — нервно дернув левой щекой, начал Котляревский.— Вы вынуждаете меня напомнить вам, что у нас есть средства заставить вас говорить! Тех, кто отказывался давать нам показания, мы вздергивали на дыбу, вытягивали жилы, кормили селедкой и не давали пить.

— Не знаю, как на вас, господин прокурор, а на меня подобные вещи не производят — вы это видите — особого впечатления. Я предпочту оставаться без жил, чем сказать то, что кому-то хочется от меня услышать.

Это были последние слова Ульянова на первом допросе. Прокурор Котляревский понял: перед ним сильный противник — и изменил тактику. Решил взять его лестью и обещаниями, уверяя, что если он, Ульянов, чистосердечно расскажет все, то этим облегчит участь многих близких ему людей. Котляревский не сказал прямо, но достаточно прозрачно намекнул, что речь идет прежде всего о его родных. Этим он, прокурор, нанес Ульянову самый чувствительный удар, но тот не поддался: и мама, и Володя, и Аня, и Оля — как бы трудно им ни было — все простят ему, но только не предательство.

За три с половиной часа допроса в протоколе появилась такая запись: «На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь государя императора я в настоящее время давать ответы не могу, потому что чувствую себя нездоровым и прошу отложить допрос до следующего дня».

Когда Ульянова увели, прокурор Котляревский сказал:

— Удивительная выдержка! По-моему, он и есть организатор всего дела. С таким умом и с такой силой воли человек просто не может быть на вторых ролях.

2

Канчер и Горкун, а затем к ним присоединился и Волохов, называли все новые фамилии и адреса. Охранка кинулась разыскивать Новорусского, Говорухина, Шевырева. Директор департамента полиции Дурново шлет грозные шифрованные телеграммы в Ялту, Симферополь, Севастополь, Одессу. «Шевырева следует разыскать,— летит телеграмма в Ялту,— во что бы то ни стало, для чего вы

имеете действовать, не стесняясь средствами». В Симферополь он отправляет совсем уже истеричную шифровку: «Необходимо перевернуть вверх дном город и все местности, где может находиться Шевырев, и арестовать его».

Время шло, а с мест, кроме запросов о приметах Шевырева и сообщений о безрезультатности поисков, ничего не было. Директор департамента полиции места себе не находил, он слал одну телеграмму за другой. Да и было от чего волноваться. Канчер заверял, что Шевырев — глава заговора. Из Гатчины один за другим мчались курьеры с запросами царя: арестован ли Шевырев? Царь не показывался из своего гатчинского дворца: он боялся, что не все террористы арестованы. Дурново запрашивает администрацию морских портов о времени отплытия пароходов за границу, полагая, видимо, что Шевырев, как и Говорухин, скрылся за границу. Он вызывает Канчера, грозит ему всяческими карами, требуя сознаться, куда же скрылся Шевырев. Канчер клянется, что Шевырев за границу не уехал, а уехал в Крым.

— Куда? Куда именно? — стучит Дурново маленьким пухлым кулачком по столу.— Куда?

— Не знаю...

— Врешь!

— Ваше превосходительство... Клянусь жизнью, он мне сказал, что едет лечиться в Крым...

В столовой, куда зашел Лукашевич, уже знали, что Канчер арестован, что на его квартире засада. Вечером второго марта Лукашевич еще раз просмотрел все свои бумаги и лег спать. Но сон не шел к нему. Он понимал, что охранка может, распутывая клубок знакомств арестованных, взять и его. О возможности предательства он не думал. Кое-кто из знакомых советовал ему уехать за границу. Но бежать, не зная, грозит ли ему опасность, было бессмысленно. Если его фамилия не будет даже названа, он окажется в тяжелом положении.

В два часа ночи Лукашевича разбудил тревожный звонок. Он понял: за ним пришли. Подошел к двери и услышал смущенный голос дворника:

— Вам, господин Лукашевич, того... телеграмма...

Едва он открыл дверь, в комнату ввалилась целая

орава полицейских и понятых. Вытерев платком багровое потное лицо, пристав объявил, что ему приказано произвести обыск. Наблюдая за тем, как полицейские шарят по квартире, Лукашевич пришел к выводу: обыск поверхностный. А это значит, что у полиции нет серьезных улик против него.

Порывшись в бумагах, пристав спросил:

— А где вы храните переписку?

— Я не люблю давать посторонним читать свои письма, а потому уничтожаю их.

— Гм... А с чем эти банки?— разглядывая химическую лабораторию, продолжал пристав.

— Это реагенты для химического анализа.

— Так и запишем: ренегенты...

Заметив, что пристав начал откладывать в свой сундучок учебники, Лукашевич спросил, когда тот забрал «Историю материализма» Ланге:

— Что это значит? Все эти книги дозволены цензурой.

— У меня секретное предписание,— понизив голос, сказал пристав,— забрать у вас все книги по химии, поэтому я должен взять этого Ланге...

Обыск ничего не дал, но Лукашевича все-таки арестовали. Когда пришли в участок, пристав приказал околоточному:

— Насчет Белоусова скажи, что на Малой Итальянской в доме пятьдесят один такого артиста нет.

Лукашевич насторожился: это был адрес квартиры, где недавно жил Новорусский. Откуда стало известно полиции о его причастности к заговору? Ведь он сделал только одно — позволил Ульянову на своей даче в Парголове изготовить динамит. Неужели и Ульянов арестован? И каким образом удалось полиции проследить эту связь? Ведь Новорусский, как кандидат духовной семинарии, был вне всяких подозрений.

Из участка в сопровождении одного городового — это также свидетельствовало о том, что его аресту не придавали особенного значения,— Лукашевича повезли на Гороховую улицу, в охранное отделение.

В комнате, куда привели Лукашевича, двое чиновников беседовали, не обращая на него никакого внимания. Один из них бранил революционеров за то, что они берут-

ся за динамит, говорил, что теперь, пожалуй, даже и курить опасно. Террористы подсыплют в табак динамиту, и тебя разорвет. Второй доказывал, что революционеры действуют правильно,— раз их подавляют и круто расправляются с ними, то нечего удивляться, что и они защищаются с оружием в руках.

Лукашевича несколько раз переводили из одной комнаты в другую, и по-прежнему никто им не интересовался. В одной маленькой комнате сидели жандармский офицер и чиновник. Перед чиновником лежала записная книжка, и он делал какие-то вычисления,— расшифровывая, по-видимому, конспиративное письмо. Входили и выходили офицеры и чиновники. Молодой жандармский офицер рассказывал:

— Представьте себе, вот здесь, в этой комнате, Осипанов метнул бомбу. Никому из нас и в голову не пришло, что у него снаряд. Мы думали, это простая книга. Представляете себе, в какой опасности мы были? Где те, кто привел Осипанова сюда! — Когда в дверях появились два заспанных агента, он продолжал: — Я чуть жизни не лишился при исполнении служебных обязанностей. За это мне полагается награда. Вы оба обязаны подтвердить это. Поняли?

— Так точно! — прохрипели в один голос агенты.

Но храбрый офицер на этом не успокоился. Он заставил агентов прорепетировать их показания на следствии. Когда один агент сказал, что в то время как Осипанов кинул бомбу, офицер сидел за столом, тот обозвал его болваном и заставил повторить всю сцену. На этот раз агент сказал, что офицер стоял рядом с бомбой, что она упала всего на вершок от носка его сапога.

Лукашевич смотрел на эту комедию и думал только об одном: почему же бомба не взорвалась? Неужели Осипанов забыл дернуть за шнурок, ведущий к запалу? Нет, это не похоже на него! Он не из тех, кто теряется. Уж если у него хватило духу бросить бомбу, то хватило бы выдержки и сделать это так, как нужно.

Размышления Лукашевича прервал приход директора департамента полиции Дурново. (Офицеры и чиновники при виде его вытянулись в струнку.)

— Подумайте, что вы делали на квартире Ульянова,— выпалил Дурново и, не ожидая ответа, ушел.

Лукашевич не мог понять, на что намекает Дурново. Мысли о предательстве он по-прежнему не допускал, а потому решил: хозяин квартиры Ульянова, видимо, слышал, как они резали жесть для снарядов.

После появления директора департамента полиции Лукашевича отвезли в Петропавловскую крепость, что означало — его дело приняло серьезный оборот. За ту ночь, что он провел в охранке, Лукашевич понял — арестованы все, в том числе и Ульянов. А фраза, брошенная Дурново, доказывала: полиции известно о том, что он, Лукашевич, начинял бомбы динамитом. Знали об этом только Ульянов, Канчер, Горкун. В том, что Ульянов не выдаст, Лукашевич был уверен, но как держатся те двое — трудно сказать. Во всяком случае, нужно быть готовым ко всему.

Царь не верил, что все заговорщики арестованы. Он считал, что студенты были только исполнителями, а руководили ими другие, более опытные люди. И пока вожаки не арестованы, нет никакой гарантии, что завтра на улицу не выйдет новая группа с бомбами.

Заложив руки за спину, царь нервно шагал по своему огромному кабинету в гатчинском дворце. Его лицо было мрачно нахмурено, водянисто-пустые навыкате глаза неподвижно уставились куда-то в одну точку, губы властно, мстительно сжаты. Столько лет он воюет с террористами и не может уничтожить их! Он был на волосок от такой же страшной смерти, какая постигла отца. Ужасно! На этот раз они и пули отравили стрихнином, так что он погиб бы от малейшей раны. Эксперт, генерал Федоров, проверил яд на вкус и чуть не умер. И полиция поворачивается, словно неживая! Шевырева до сих пор не нашли. А кто поручится, что его отъезд в Крым не такой же трюк, как самоубийство Говорухина, который в действительности сбежал за границу? Террористы распускают слухи, что царь сидит в Гатчине, боится выйти из дворца. Так нет же — он покажет, что не боится их!

Царь приказал немедленно подавать экипаж.

«Вчера (третьего марта) был грандиозный раут у великого кн. Владимира,— записала в своем дневнике Арапова.— Так как государь не любит все эти приемы, он был

отложен на третью неделю (поста), чтобы он мог воздержаться от присутствия на нем, так что никто его не ожидал, тем более что возвращаться в город представляло действительную опасность, пока этот обширный заговор не выяснен окончательно.

Я находилась в большом зале, в конце больших апартаментов, в ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, появилась государыня под руку с великим кн. Владимиром, государь шел за ними со своей невесткой. Нечто вроде «ха» вырвалось у всех из груди, и мертвая тишина мгновенно заменила все самые оживленные разговоры. Немедленно образовался широкий проход, и они продефилировали по всем залам, ни для кого не останавливаясь, с явным намерением всем показаться.

Я вспоминаю, какие овации оказывали когда-то покойному императору каждый раз, когда провидение отводило от него пули негодяев, о чем я и сейчас не могу вспомнить без глубокого волнения. У всех присутствующих глаза были влажны, каждый стремился к нему прикоснуться и прижать свои губы к его руке или краю его одежды.

Теперь же ни одно «ура» не вырвалось из стесненных грудей, и это произвело на всех леденящее впечатление похоронной процессии.

...Государь решил появиться по двум причинам: во-первых, чтобы показать иностранцам, что они все живы и здоровы; во-вторых, чтобы никто не имел права высказать предположение, что страх удерживает его в Гатчине...»

Но как ни старался царь показать свою храбрость, у него хватило духу только продефилировать по залам дворца; в эту же ночь, сопровождаемый чуть ли не полком казаков, он уехал назад в свою гатчинскую крепость и засел там, точно в осаде. Он слишком высоко ценил свою августейшую особу, чтобы рисковать жизнью, опровергая такой пустяк, как разговоры о том, что будто бы страх перед революционерами удерживает его в Гатчине.

3

В глазок камеры то и дело заглядывал стражник, но Ульянов не замечал этого. Он шагал из угла в угол и обдумывал: что делать теперь? Как держаться дальше? Сколь-

ко раз он говорил Шевыреву: Канчер не внушает доверия, его не нужно посвящать в дело. А тот твердил свое: «Террористов так мало, что нужно радоваться каждому, желающему участвовать в покушении...» Вот теперь и радуйся...

— Пища!

Ульянов оглянулся на голос. Квадратное оконце в двери открыто, в нем видна чья-то рука с кружкой, накрытой ломтем черного хлеба. Значит, уже утро. Ульянов взял кружку. В ней не чай, а холодная вода, хлеб пополам с мякиной и сырой, как тесто. Саша поставил завтрак на стол, продолжал ходить. Нет, теперь отрицать все — это значит поставить себя в смешное положение. Придется признать то, что раскрыли Канчер, Горкун и Волохов. Нужно взять на себя всю вину и спасти других. Ведь Новорусский, Шмидова, Ананьина не принимали участия в деле. А между тем, на основании показаний Канчера, Новорусского считают чуть ли не руководителем заговора, а Ананьину — хозяйкой квартиры, где была динамитная лаборатория!

— Кружку!

Выплеснув в раковину «царский чай», Ульянов подал кружку в оконце, и оно тут же захлопнулось.

После нескольких бессонных ночей, проведенных Александром в тяжких раздумьях, он решил, как ему вести себя, и заснул точно убитый. Ему и приснилось то, о чем он часто думал в эти дни: Симбирск, встреча с мамой, с Володей. Радостные сборы в Кокушкино. А там — поход с отцом в лес, разговоры с ним, песни. Он не слышал, как открылась дверь камеры, как его будили. Проснулся, только когда его стащили с койки. Александр долго не мог понять, где он, что с ним. Понял это лишь тогда, когда двое жандармов подхватили его и поставили на ноги.

— Одеваться!

Окруженный чуть ли не целым взводом стражи, Александр пошел все по тому же темному коридору. Кто сидит в этих камерах? Карета стоит так близко к выходу, что он не успел оглядеться. Его втолкнули туда и захлопнули дверцу. С колокольни собора послышался звон часов, в памяти возник пасмурный день, когда они с Аней приходили

сюда. Аню тоже арестовали. И только потому, что Шевырев дал ее адрес Канчеру для отправки телеграммы! После того как он столько времени оберегал сестру от всего, что могло хоть какую-то тень бросить на нее, допустили такую ошибку! Правда, он собирался переезжать на другую квартиру,— но нет, это не оправдание. Тяжкий грех он взял на душу, когда, по совету все того же Шевырева, отослал с Канчером на квартиру Новорусского все нужное ему, Александру, в Парголове для изготовления динамита. Да и вообще много сделано ошибок. И обиднее всего, что он мог бы избежать иных, но не проявил твердости, не настоял на своем. Он должен был во всех этих делах занимать более твердую позицию. Нельзя было идти ни на какие компромиссы. И у него было на это право, хотя он и не был главным руководителем. Ведь он ставил на карту собственную жизнь!

Да, ошибки, пожалуй, всего нагляднее видны тогда, когда их уже нельзя поправить...

Четвертого марта Ульянов признает, что принадлежит к террористической фракции партии «Народная воля», что он принимал участие в заговоре против царя. Когда возник заговор? Он отказывается назвать точную дату. Он не отрицает, что приготовлял азотную кислоту, белый динамит, свинцовые пули. «Мне были доставлены,— пишет он,— два жестяных цилиндра для метательных снарядов, которые я набил динамитом и отравленными стрихнином пулями, также мне доставленными; перед этим я приготовил два картонных футляра для снарядов и оклеил их коленкоровыми чехлами... Собственно, фактически мое участие в выполнении замысла на жизнь государя императора этим и ограничивалось, но я знал, какие лица должны были совершить покушение, то есть бросать снаряды. Но сколько лиц должны были это сделать, кто эти лица, кто доставлял ко мне и кому я возвратил снаряды, кто вместе со мной набивал снаряды динамитом — я назвать и объяснить не желаю... Ни о каких лицах, а равно ни о называемых мне теперь Андреюшкине, Генералове, Осипанове и Лукашевиче никаких объяснений в настоящее время давать не желаю».

Вот и все, что прокурору Котляревскому удалось до-

биться от Ульянова. Из этого допроса Александра Ильича видно: он признает только то, что невозможно отрицать, но делает это так, чтобы никому не повредить. Говоря о том, что после набивки снарядов он их возвращал, Александр Ильич не называет даже фамилии предателей — Канчера, Горкуна и Волохова, которые сами признались, что относили бомбы метальщикам.

На следующем допросе Александр Ильич говорит уже и о мотивах своего участия в заговоре. «Я не был ни инициатором, ни организатором замысла на жизнь государя императора,— отвечает он, видимо, на вопрос следователя.— Мое интеллектуальное участие в этом деле ограничивалось следующим: в течение этого учебного года, приблизительно не ранее второй половины ноября, я раза два или три имел разговоры с некоторыми из лиц, принявших впоследствии участие в том деле, по которому я... обвиняюсь. Разговоры эти касались ненормальности существующего общественного строя и тех возможных путей, которыми он может быть изменен к лучшему. Мое личное мнение, которого я держался в этих разговорах, было таково, что для того, чтобы достигнуть наших конечных экономических идеалов, что возможно только при достаточной зрелости общества, после продолжительной пропаганды и культурной работы, необходимо достичь предварительно известного минимума политической свободы, без которого невозможна сколько-нибудь продуктивная пропагандистская и просветительная деятельность. Единственное средство к этому я видел в террористической борьбе, которая, как я надеялся, вынудит правительство к некоторым уступкам в пользу наиболее ясно выраженных требований общества».

Далее он признает, что разговоры эти оказывали влияние на других, кто желал посвятить себя террористической деятельности. Признает Александр Ильич в этих двух показаниях (а также и в последующих) лишь то, чего не отрицают все арестованные.

Поскольку Новорусский подтвердил факт приезда Ульянова в Парголово, он тоже не отрицает этого, но подчеркивает: «Ни сущность этих опытов, ни их цели не были известны ни Новорусскому, ни акушерке Марии Ананьиной... О том, что я оставил нитроглицерин, я не сообщал ни Ананьиным, ни Новорусскому».

При аресте у Александра Ильича отобрали записную книжку. Зашифрованные записи в ней полиция не могла прочесть. Прокурор Котляревский настойчино допрашивал Ульянова о заметках в его книжке, но он твердо отвечал:

«Что ж касается плана на странице 54, рисунка и заметок на странице 55, счета денег на последнем листке книги и других заметок и адресов,— то я отказываюсь от всяких показаний относительно них... Пять листков, с выписками из журнальных статей о крестьянских беспорядках, взяты мною для прочтения от лица, назвать которое я отказываюсь... Раиса Шмидова не знала ничего о приготовлении разрывных снарядов и о замысле на жизнь государя императора. И вообще не принимала в этом деле никакого участия. Хотя она передала мне в разное время две записки (это Шмидова признала сама.— *В. К.)*, относившиеся до этого дела, но ни содержания этих записок, ни авторов их она не знала. Кем были писаны эти записки, я сообщить отказываюсь».

Прочитав показания Ульянова, царь заключил: «От него, я думаю, больше ничего не добьешься». И в этом он не ошибся: на все новые вопросы следователя и прокурора Ульянов отказывался отвечать. «Лица, помогавшие в Вильне достать азотную кислоту, были мне известны, но я отказываюсь их назвать. Какое участие принимал Шевырев в выписке азотной кислоты из Вильны, я объяснить отказываюсь... В феврале этого года была составлена при моем участии программа террористической фракции партии «Народной воли»... Печатание первой части этой программы, которую я выдавал за опыт новой программы, объединяющей партии «Народной воли» и «социал-демократов», было начато мною после 15-го февраля... Сколько лиц и кто именно помогали мне печатать программу, я объяснить отказываюсь... В составлении этой программы участвовало несколько лиц, которых я назвать отказываюсь».

Ни один участник заговора, ни один адрес, ни один факт, которые не были известны следствию из показаний других арестованных, не были названы Ульяновым. Все, что знал он один, так и осталось тайной.

В последнем своем показании от двадцать первого — двадцать второго марта Александр Ильич говорит уже только о политических мотивах дела. Поскольку полиции

не удалось найти ни одного экземпляра программы, он по памяти восстанавливает ее. «Если в одном из прежних показаний,— в заключение пишет он,— я выразился, что я не был инициатором и организатором этого дела, то только потому, что в этом деле не было одного определенного инициатора и руководителя; но мне одному из первых,— продолжает он, беря этим самым на себя всю ответственность за подготовку покушения,— принадлежит мысль образовать террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации в смысле доставления денег, подыскания людей, квартир и прочее.

Что же касается до моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное, то есть все то, которое доставляли мне мои способности и сила моих знаний и убеждений».

Царь отчеркнул этот абзац, написав с циничной иронией: «Эта откровенность даже трогательна!!!»

4

Весть об аресте студентов, участников заговора, мгновенно разнеслась по университету. Образовались два лагеря, одни одобряли действия террористов, другие осуждали. Университетское начальство во главе с ректором Андреевским перепугалось насмерть. Пошли слухи, что университет будет закрыт. Это угнетающе подействовало на пассивную, далекую от политики часть студенчества, заставило ее принять сторону начальства. В аудиториях вспыхивали бурные споры, которые нередко заканчивались драками.

И вдруг шестого марта объявили прямо во время лекций: всем собраться в актовом зале, ректор произнесет речь. Иван Ефимович Андреевский пользовался репутацией человека хитрого и ловкого дипломата. Маленького роста, суетливый, он картавил и говорил всегда в приподнятом тоне, явно любуясь своим красноречием. Попытки студентов узнать, о чем он будет говорить, ни к чему не привели.

Когда студенты пришли в зал, там уже находились попечитель учебного округа, его помощник, профессора, преподаватели. Между рядов, воровато озираясь, сновали шпики. По тому, как суетился ректор Андреевский, как

заискивающе улыбался, нашептывая что-то попечителю, по тому, как все, кто предавал анафеме арестованных, спешили занять первые ряды, сочувствующие заговорщикам поняли: готовится что-то нехорошее. Они собрались на галерке, чтобы оттуда выразить свой протест.

Ректор Андреевский торопливо поднялся на кафедру, выждал, пока стихнет гул в зале, и начал с театральной аффектацией:

— Я собрал вас, милостивые государи, с тою целью, чтобы здесь, в вашей среде, найти хоть некоторое успокоение от того страшного горя, которое пало на наш университет. Я знаю, что оно давит на вас всех столь же тяжко, как и на меня...

С галерки прозвучало громко:

— Нет!

По залу прокатился не то удивленный, не то испуганный гул, и все обернулись в ту сторону, откуда послышался голос. Заметались шпики, пробираясь на галерку.

— Я знаю,— продолжал ректор, не ожидая, пока установится тишина,— что в том, что буду говорить, я выражу только общую, всем нам одинаково принадлежащую мысль, выскажу общее нам чувство скорби и негодования...

— Ложь это! — выкрикнуло уже несколько голосов.

— Но в этом-то общем,— повысив голос до крика, продолжал Андреевский, делая вид, что ничего не слышал,— одинаковом нашем настроении только и можно искать средства примирения с непримиримым и способы очищения и обеления опозоренного учреждения...

— Клевета! — послышалось сразу несколько голосов.— Мы гордимся...

Поднялся страшный шум. Шпионы и их подпевалы, чтобы заглушить голоса протеста, принялись бурно аплодировать.

— Я бы не только никому не поверил,— ободренный поддержкой, читал по бумажке Андреевский,— но почел бы за страшную клевету, если бы об этом не сообщило правительство, что задержаны три студента Петербургского университета и у них найдены бомбы. Страшное, ни с чем не сравнимое по постыдности для нашего университета сообщение...— Андреевский перевел дыхание, продолжал: — Будем же в эти скорбные для нас дни искать единого утешения в том, что все мы...

— Нет! Нет! — раздавалось на галерке.

— Весь наш университет, вся коллегия профессоров и все студенты,— силясь перекричать голоса с галерки, вещал ректор,— все, как один человек, поднесем к священным стопам нашего венценосного покровителя государя императора согревающие нас чувства верноподданнической верности и любви...

— Не надо! Позор! — раздавались на галерке голоса, но они тонули в криках одобрения и рукоплесканиях приспешников университетского начальства. Однако галерка продолжала бушевать, оттуда доносился неистовый топот, выкрики: — Ренегаты! Холопы! Проклятье вам! Слава борцам за свободу!..

На галерку хлынули шпики, началась драка. Только после того, как в зале установилась относительная тишина, Андреевский приступил к чтению адреса:

— «Ваше императорское величество, государь всемилостивейший! Три злоумышленника, недавно сделавшись, к великому несчастью...»

— К счастью! — опять крикнул кто-то с галерки.

— «...для Санкт-Петербургского университета его студентами, своим участием в адском замысле и преступном сообществе нанесли университету невыносимый позор. Тяжко, скорбно, безвыходно! И в эти горестные дни Санкт-Петербургский университет, в целом его составе...»

Корреспондент «Правительственного вестника», сообщая о собрании в университете, ни словом не упомянул о криках протеста. Он так закончил свой отчет: «Речь ректора была прерываема продолжительными рукоплесканиями, а по окончании оной восторженные возгласы студентов довершились пением народного гимна, и громкое «ура» долго оглашало университетские стены».

Но о том, как на самом деле была воспринята позорная, холопская речь Андреевского, стало известно всем. Арапова отмечает в своем дневнике: «Когда Андреевский, действительно, заговаривал об адресе, два голоса крикнули «не надо!» и раздался свист...

Ректор имел сообразительность продолжать свою речь, не обращая внимание на эту грубую выходку, и студенты, оттеснив революционеров к дверям, порядком их помяли, так что один из них после этого даже заболел... В настоящее время,— записывает она спустя несколько дней,—

хорошо осведомленные уверяют, что протестовало не такое меньшинство, что свистки были довольно многочисленны, что речь была прервана и что в течение семи минут был момент замешательства и ужасного волнения».

Узнал о протесте студентов во время речи ректора Андреевского и царь. Он начертал на адресе резолюцию: «...надеюсь, что на деле, а не на бумаге только он (университет.— *В. К.*) докажет свою преданность...»

Союз объединенного петербургского студенчества в ту же ночь выпустил прокламацию. В ней писалось с негодованием и гневом: «Вчера, 6 марта, Санкт-Петербургский университет был опозорен... Он холопски пополз вслед за своим ректором к стопам деспотизма и сложил у его ног свои лучшие знамена. Он забрызгал несмываемою грязью свои лучшие традиции, которые были его украшением, его силою...

Мы же, со своей стороны, спешим всем нашим товарищам заявить и всему русскому обществу, что мы не выражали своего согласия на поднесение адреса, что мы не отступались и не отступимся от наших традиций, освященных тысячами жертв, что всегда стремились и будем стремиться к воплощению правды в общественные формы, как мы ее понимаем, и всегда будем учиться находить, понимать и любить ее; что никогда мы не порицали и не будем порицать и оплевывать погибших борцов, наших товарищей по делу и братьев по сердцу, но преклонимся перед их нравственной высотой и будем учиться, как нужно любить и бороться...

Как жила, так и живет и вечно будет жить в петербургском студенчестве лучшая его часть, исповедующая искание правды и свободы в общественной жизни, искреннее служение своим чистейшим убеждениям, умение страдать и умереть за них».

Тринадцатого марта, то есть неделю спустя после речи Андреевского, директор департамента полиции Дурново в своем донесении министру внутренних дел Толстому пишет: «Студенты Санкт-Петербургского университета до сих пор еще не успокоились: вчера, например, в VII аудитории был побит вольнослушатель Чудинов, один из сочувствующих аресту. Чудинов будет завтра у меня для объяснений о лицах, его побивших. По секретным сведениям, предполагают побить окна у ректора. Видимый по-

рядок в университете не нарушается. Предположено выслать пять человек... участие коих во враждебных действиях более или менее установлено».

5

Письмо Вере Васильевне Кашкадамовой принесли перед уроками, и она не успела его прочесть. Обратного адреса на конверте не было, но по почерку она догадалась: из Петербурга, от племянницы Марии Александровны — Песковской.

Закончив урок, Вера Васильевна вернулась в учительскую и распечатала конверт. Быстро пробежала глазами первые строки и глазам своим не поверила. Что это она пишет? Саша и Аня арестованы, их обвиняют в подготовке покушения на государя... У Веры Васильевны так забилось сердце, что буквы поплыли перед глазами.

— Вера Васильевна, что с вами? — подбежала к ней испуганная учительница.— Вам дурно?

— Нет... Ничего. Это сейчас пройдет.

Когда прозвенел звонок и все ушли из учительской, Вера Васильевна снова достала письмо и перечитала его. Песковская просила сообщить об аресте Марии Александровне, предварительно подготовив ее. Принести такую ужасную весть доброй Марии Александровне,— нет, это свыше ее сил! Она еще не оправилась после смерти мужа, а тут арест Ани и Саши. И за что — за участие в покушении! Арест старших детей, на которых она возлагала такие надежды. Еще вчера она говорила:

— Вот Саша закончит университет, и мне легче будет. Только что-то он давно не пишет. Боюсь, не заболел ли...

Господи, что же делать? Совсем не сказать — тоже нельзя. Так или иначе, но Мария Александровна узнает об аресте. А, вот что: она поговорит с Володей, посоветуется с ним, как лучше подготовить к этому страшному известию Марию Александровну. Вера Васильевна послала за Володей в гимназию,— там как раз заканчивались уроки. Володя прибежал веселый, радостный. Круглые щеки его разрумянились, карие глаза ярко искрились. Но при виде заплаканной Веры Васильевны он нахмурился и спросил:

— Что с вами, Вера Васильевна?

— Володя, успокойся...

— Да я совершенно спокоен.

— У вас... вашу семью,— начала Вера Васильевна, совсем позабыв те слова, какие приготовилась сказать ему,— постигло большое несчастье...

— С мамой что-нибудь? — испуганно воскликнул Володя и кинулся к двери.

— Нет, нет! — едва удержала его Вера Васильевна.— Саша и Аня... У меня прямо язык не поворачивается. На вот, сам прочти...

Володя взял письмо, быстро пробежал его раз, второй, брови его сурово сдвинулись, глаза остро прищурились. Долго он молчал, не отрывая глаз от письма. Лицо его побледнело, губы твердо сжались, и весь он как бы преобразился,— это был уже не прежний, шумливый жизнерадостный мальчик, а взрослый человек, глубоко задумавшийся над важным вопросом. И что было прямо открытием для Веры Васильевны — Володя не испугался, не растерялся.

— Дело серьезное,— после продолжительного, напряженного молчания сказал он,— это может плохо кончиться для Саши.

Эти слова поразили Веру Васильевну. Она никак не ожидала, что этот, как ей всегда казалось, беззаботный мальчик так мужественно примет страшное известие и так трезво оценит значение его. Она слушала его и думала: «Боже мой, как он вырос!» А ему сказала:

— Володя, я не знаю, как об этом...

— Я сам скажу маме,— решительно заявил Володя.

— Хорошо,— Вера Васильевна обрадовалась, что он снял с нее эту тяжелую обязанность.— Но... Володя, нужно подготовить маму. Ты ей скажи, что я получила какое-то письмо... Да, да, скажи — в этом письме есть что-то о Саше и Ане. Скажи даже, что они арестованы, но не говори, в чем обвиняются. А вечером я приду, и тогда мы как-нибудь расскажем ей обо всем...

— Вера Васильевна, я никогда не говорил маме неправды и не буду делать этого,— сердито нахмурясь, ответил Володя.— Дайте мне, пожалуйста, письмо. Я найду, как ей все это сказать. Я уверен — так будет лучше...

— Нет, нет, письма тебе я не дам. Говори ей, что хочешь, но письма не дам. Письмо может убить ее!

— Вера Васильевна вы плохо знаете маму!

— Возможно,— обиженно поджала губы Вера Васильевна.— Возможно. Но письма я тебе все-таки не дам. И очень прошу тебя: будь осторожней с мамой. Она еще не оправилась после смерти Ильи Николаевича, и эта новая страшная беда может совсем добить ее. А ведь у нее на руках вся семья. Помни это — вся семья...

Володя понял: уговаривать Веру Васильевну бесполезно — и не стал спорить с нею, ушел. День был солнечный, но холодный. От Свияги дул, обжигая лицо, колючий ветер. В иной день Володя побежал бы, чтобы поскорее добраться домой. Тем более что улица здесь шла под гору, и ноги сами просились ускорить шаг. Но сегодня он не торопился домой. И думал не столько о том, как сообщить матери об аресте Ани и Саши, а что посоветовать ей, чем можно помочь сестре и брату. Сидя здесь, в Симбирске, конечно, ничего сделать нельзя. Нужно ехать в Петербург. И вот каков, значит, Саша! А он еще прошлым летом, глядя, как Саша возится со всякими червяками, думал, что не выйдет из него революционера. Было и жаль брата, и в то же время Володя был горд тем, что Саша стал в ряды революционных борцов. Зачем только он примкнул к террористам? Ведь он видел, что убийство Александра II ничего не дало. Сам же говорил, что Маркс ему на многое открыл глаза. Впрочем, дело-то, может, и не такое опасное, как о нем написано в письме.

Раздеваясь в передней, Володя слышал: в столовой стучит швейная машинка. Это неутомимая мама шьет рубашку Мите. После смерти отца у нее особенно много работы. Она ни минуты не сидит без дела. Володя старается помогать ей, но получается как-то так, что она незаметно предупреждает его намерения. А на все его упреки отвечает одно:

— У тебя скоро экзамены на аттестат...

Посидев у себя в комнате, Володя спустился вниз. Подошел к матери — она продолжала строчить на машинке,— обнял ее за плечи. Такие проявления нежности бывали у него редко, и мать поняла, что у него сегодня какое-то необычное настроение, отложила шитье, повернулась к нему. Повернулась с ласковой улыбкой, но, увидев его словно окаменевшее лицо, тревожно спросила:

— Что-то случилось?

— Да, мама. Я сейчас был у Веры Васильевны. Она получила из Петербурга письмо от Песковских, и они пишут, что...

— Аня заболела?

— Нет, мама...

— Саша?

— И он здоров, но... Мама, Вера Васильевна просила не говорить тебе всю правду, но я не могу сделать этого. Саша и Аня арестованы.

— Арестованы?! За что?

— Если верить Песковским, дело очень серьезное,— помолчав, продолжал Володя.— Они обвиняются в подготовке покушения на царя.

Мария Александровна не ахнула, не вскрикнула, только побледнела, пошатнулась на стуле. Володя бережно поддержал ее. Овладев собой, она встала, сурово спросила:

— Где письмо?

— Она не дала его.

Мария Александровна, не сказав ни слова, оделась и ушла. Вера Васильевна никак не ожидала ее прихода и растерялась. Потом, поняв, что Володя сказал все, кинулась к ней со слезами, но Мария Александровна движением руки остановила ее и глухо попросила:

— Покажите, пожалуйста, письмо.

Вера Васильевна подала ей письмо. Мария Александровна несколько раз перечитала его, твердо и спокойно сказала:

— Я сегодня же поеду в Петербург. Навещайте, пожалуйста, моих детей.

И ушла.

6

У Андреюшкина при обыске было найдено письмо. В нем химическими чернилами Пахом писал: «Я не понял Вашего письма, измочил его все в железе и в итоге получил нуль. Что это значит? Разобрали мое последнее письмо, которое получили от матери? О его содержании никому ни слова: молчите даже Раисе и Женьке, ибо они ничего не знают, не их ума дело. Если дело не удастся в течение

этих трех дней (до 3 марта), то мы или отложим, или поедем за ним. Пишите на имя Анны Григорьевны для передачи Авдотье Федоровне. Пока прощайте, кое-что найдете, если догадаетесь, в любовной части письма. Сообщите адрес: тот потерял и забыл. Пишу через мать».

Кому было адресовано это письмо, Андреюшкин не говорил. Сердюкова же, не зная, что его арестовали, послала ему седьмого марта телеграмму в ответ на предыдущее письмо: «Вы просили ничего не отвечать. С получением письма я прожила целую вечность. Да. Отвечайте. Комахина». Охранка разыскала названных в письме Раису Ульянко и Женю Хлебникову. Когда им предъявили телеграмму, они показали, что послала ее Сердюкова. Сердюкову немедленно арестовали и доставили в Петербург. Ей предъявили обвинение в том, что она знала о готовящемся заговоре и не донесла об этом полиции.

Аня сидела в Доме предварительного заключения. Условия там были более сносные, чем в Петропавловской крепости. Она научилась перестукиваться, но и это никаких сведений о ходе дела ей не давало. Допрашивая ее о телеграмме из Вильны, прокурор Котляревский сказал:

— А вы знаете подлинный смысл этой телеграммы?

— Нет,— искренне ответила Аня.

Прокурор выдержал значительную паузу, сказал, понизив голос:

— В ней извещалось о присылке азотной кислоты, чтобы приготовить бомбы для покушения на государя императора. Вы понимаете теперь, каким орудием были в руках брата? Какой ужасной опасности он подвергал вас?

Ане нечего было ответить: она вспомнила свой разговор с Сашей по поводу телеграммы. Как же она тогда ничего не поняла? Ведь многое в поведении Саши — а еще больше в поведении Шевырева и Говорухина — казалось странным.

— Шевырев уехал в Крым, Говорухин бежал за границу, а ваш брат остался бойцом на поле битвы,— продолжал Котляревский.— Вот как обстоит дело. Его покинули все, и поэтому ваши откровенные, ваши правдивые показания будут для него единственной поддержкой...

— Еще раз говорю вам: я ничего не знаю...

Ане дважды разрешили написать Саше, желая, видимо, таким способом что-нибудь выудить. Но ничего не вышло, и переписку запретили. В первом письме Аня писала, пораженная тем, как самоотверженно и стойко шел Саша на смертный бой за свои идеалы свободы и правды: «Лучше тебя, благороднее тебя нет человека на свете. Это не я одна скажу, не как сестра; это скажут все, кто знал тебя, солнышко мое ненаглядное!» Письмо это тюремщики сочли крамольным и не передали Александру Ильичу.

В первых числах марта в тюрьму на свидание с Никоновым пришла его сестра. Целуясь с ним, она шепнула:

— Александр Ильич и Красавец арестованы.

Красавцем в семье Никоновых называли Лукашевича. Теперь сомнения не было: покушение провалилось, раз о смерти царя ничего не слышно, а два главных заговорщика арестованы. Никонов ночи не спал, силясь разгадать причину провала. Первая мысль была: кто-то выдал. Но кто? Что знает о нем охранка?

Однажды Никонова вывели на прогулку. Навстречу ему попались два подозрительных типа. Поднимались вверх по лестнице в сопровождении надзирателя. С виду были похожи на дворников. Поравнявшись с Никоновым, они уставились на него и смотрели, пока он не прошел. Сомнений не было: этих типов приводили, чтобы показать его. Спустя несколько дней во дворе тюрьмы появился половой из кофейни Андреева. В этой кофейне Никонов встречался с Ульяновым, и полового, значит, тоже приводили для опознания. Значит, у охранки есть какие-то подозрения насчет его участия в заговоре. Лукашевич и Ульянов не могли его выдать. Значит, арестовали еще кого-то. Но — кого? Что знает охранка?

Действительно, ни Ульянов, ни Лукашевич ничего не сказали о нем.

7

Железной дороги до Симбирска не было. Чтобы выехать в Петербург, нужно было на лошадях добираться до Сызрани. Помимо того, что поездка была очень утомитель-

на, она еще и дорого стоила. Тот, кто собирался ехать на станцию Сызрань, обычно подыскивал не только ямщика, но и попутчиков. Кинулся искать их и Володя. Но по городу уже разнесся слух об аресте в Петербурге Ульяновых, никто не хотел ехать вместе с матерью государственных преступников. Володя, вернувшись домой ни с чем, возмущенно говорил:

— Какая все это, оказывается, мерзкая и трусливая публика! Мне тошно было смотреть на их фальшивые улыбки. Прошу тебя, мама, поезжай одна. Жаль, что папы нет, вот бы он посмотрел на всех друзей своих. Фарисеи!

Попутчика больше не стали искать, и Мария Александровна уехала одна. Хлестал снег с дождем, дорогу развезло, возок тонул в зажорах, но Мария Александровна не замечала всех этих неудобств, погруженная в раздумья о судьбе Ани и Саши. То ей казалось, что она не застанет уже детей в живых, то возникала надежда, что ей удастся спасти их. Скорее! Скорее бы только добраться туда!

Проводив мать, Володя остался главой дома. Он сразу почувствовал, как много забот легло на него. По городу ползли слухи, один гнуснее другого, и обыватели, приближаясь к дому Ульяновых, переходили на другую сторону улицы и украдкой крестились — мол, пронеси, господи! Да и как было им не креститься, если все говорили, что при обыске в доме Ульяновых (а такого и не было) полиция обнаружила целый склад бомб! Боясь угодить в списки неблагонадежных,— был слух, что за домом все время следят шпики и записывают приходящих,— Ульяновых перестали посещать почти все знакомые.

Вера Васильевна Кашкадамова была в числе тех немногих, кто не изменил Ульяновым и в эти дни. После отъезда Марии Александровны она часто заходила в домик на Московской улице. Володя был суров и молчалив. Он аккуратно посещал гимназию. Уроки, как всегда, готовил лучше всех. Злорадные расчеты тупоголовых сынков симбирской аристократии на то, что Владимир Ульянов слетит с места первого ученика, не оправдались. И они принялись донимать его злобными замечаниями о судьбе брата.

Да и некоторые учителя не удерживались от попре-

ков: вот, мол, какой у тебя брат! Мы ему золотую медаль дали а он вот что натворил. На самого царя руку поднял...

Чаще всего Володя отмалчивался, слушая эти верноподданнические рассуждения. Но когда терпение истощалось, он спокойно уточнял:

— Золотую медаль брат получил за успехи в учении, как помнят все, вполне заслуженно.

Когда Володя, приготовив уроки, приходил к младшим — сестре Маняше и брату Мите, он по-прежнему забавлял их, мастерил им игрушки. И малыши, очень скучавшие без мамы, с нетерпением ожидали, когда старший брат придет к ним.

Вера Васильевна несколько раз, оставшись с Володей наедине, пробовала завести разговор о Саше, высказывая всевозможные догадки о том, какое наказание ждет его.

— Они ведь только с бомбами ходили,— повторяла она то, что узнала из маленькой газетной заметки,— они ведь никакого вреда не сделали. Суд должен принять это во внимание. Так, Володя?

— Не знаю,— коротко отвечал Володя, явно не желая заниматься пустым гаданьем. И, хмуро помолчав, заканчивал: — Наши суды наказывают так, как им велят.

— Ох,— вздыхала Вера Васильевна.— И как это Саша решился на такой страшный шаг? Ведь он всегда был такой рассудительный, серьезный. Нет, нет, у меня до сих пор не укладывается в голове, как он мог принять участие в таком ужасном деле. Ведь не мог же он, при его уме, не понимать, что все это означает и для него и для всей семьи. Не так ли? Ну, что ж ты молчишь, Володя?

— Я уже говорил вам и еще раз повторяю: значит, он должен был поступить так.— И, помолчав, закончил убежденно: — Значит, он не мог иначе.

8

Шевырева арестовали только седьмого марта, а доставили из Ялты в Петербург четырнадцатого. Несмотря на то, что его участие в заговоре было доказано теми же Канчером, Горкуном и Волоховым, он все отрицал. Делал он это неубедительно, а иногда и просто неумно. При аресте у него отобрали склянку с цианистым калием. На вопрос,

зачем ему понадобился яд, он ответил: для умерщвления насекомых, коллекцию которых он намеревался собирать.

На первом допросе четырнадцатого марта он заявил: «Я не признаю себя виновным в каком бы то ни было участии в замысле на жизнь государя императора и о существовании такого замысла ничего не слышал и не знаю; к революционной партии я не принадлежу и революционных убеждений не разделяю».

Этим запирательством он не только не оправдывал себя, как ему казалось, а еще глубже топил. Именно это голое отрицание и заставило следствие признать Шевырева «действительным руководителем преступления».

В показаниях своих Шевырев много путал, у него явно не сходились концы с концами. Так, например, он признал факт передачи им Канчеру и Горкуну приглашения Говорухина (в действительности он сам им это предложил) — принять участие в покушении, хотя лично этому не сочувствовал. Когда же его спросили, почему он взялся передать, он ответил, что тогда всего не уяснял себе. А вообще, «по-видимому, это ненормальное явление».

На первых допросах Лукашевич тоже отрицал все, но затем начал осторожно и очень продуманно признавать то, от чего никак нельзя было отречься. Он видел, что Ульянов выгораживает его, во многом берет его вину на себя. Но этого Лукашевичу было мало, он еще и сам начал прятаться за спину Ульянова. Уже седьмого марта он прямо показал: «Разговоры о покушении начались у меня с Ульяновым, приблизительно, между 1 и 2 февраля»,— тонко намекая на то, будто бы Ульянов привлек его к подготовке покушения. В других показаниях он всюду на первый план — именно в тех делах, в которых сам был инициатором,— выставляет Ульянова. «Мне было известно,— пишет он,— что Ульянов в течение масленицы выезжал из Петербурга... Целью этой поездки было приготовление нитроглицерина... Александр Ульянов хотел поспешить печатанием составленной в последнее время программы... и с этой целью просил меня указать квартиру...»

Но если в отношении Ульянова у него было хоть какое-то моральное право так поступать, то оговаривать Шевырева, который не признавал своей вины, ему не следова-

ло. Между тем в его показаниях часто встречаются такие фразы: «Я передал Шевыреву... Шевырев мне сказал... Я узнал от Петра Шевырева, что приготовление азотной кислоты идет в Петербурге довольно медленно... Шевырев просил меня найти в Вильне... Шевырев не говорил мне, от кого он все это может достать...»

Из этих показаний Лукашевича следствию было ясно: Шевырев один из руководителей группы. А поскольку Лукашевич в последнее время — особенно после отъезда Шевырева и Говорухина — почти устранился от всех работ, то настоящая роль его в деле была мало известна Канчеру, Горкуну и Волохову. Они видели его только у Ульянова за начинкой бомб динамитом, что и вменялось ему в главную вину. Следствию так и не удалось установить, что бомбу в виде книги изготовил Лукашевич, потому что об этом знал только Ульянов, а он не сказал. Таким образом, Лукашевич из активного участника заговора превратился в пособника. Его считали заблудшим молодым человеком, который чистосердечно признал свою вину и раскаялся. В своих воспоминаниях он говорит, будто бы Ульянов шепнул ему на суде: «Если что-то нужно, говорите на меня». Ульянов мог это сделать, ибо даже прокурор Неклюдов признавал, что если Ульянов и грешит против истины, то лишь тем только, что берет на себя и то, чего не делал. Но ведь Лукашевич начал свою вину перекладывать на Ульянова еще до суда, когда не знал, как Александр к этому отнесется.

Итак, выходило: наиболее мужественную и принципиальную позицию во всем руководящем ядре занимал только Ульянов, почему следствие и поставило его во главе всей группы. Это дало ему нравственное право выступить на суде с программной речью, что он решил сделать, отказавшись от защитника.

9

Начальнику Петербургской охранки приказано было явиться в Гатчину со всеми агентами, участвовавшими в аресте заговорщиков. Царь пожелал щедро наградить своих спасителей. Девять шпиков и два городовых в сопровождении полковника Секеринского явились в гатчинский

дворец, где продолжал отсиживаться перепуганный император. Этим подонкам общества Александр III устроил поистине царский прием. Он представил их всей своей семье, надел каждому на шею по золотой медали «За усердие» на Александровской ленте. Затем еще раз обошел всех и вручил каждому по тысяче рублей. Сказал:

— Поберегите меня и впредь...

Шпики, как их вымуштровали, хором ответили, что они рады стараться, что они не пожалеют жизни своей... Каково было всеобщее умиление во время встречи монарха со своими спасителями, видно из записи в дневнике наследника престола.

«9 марта. Понедельник.

Весна настала, и прилетели жаворонки, и, действительно, день был теплый. Перед завтраком папа представлялись агенты тайной полиции, арестовавшие студентов 1 марта; они получили от папа медали и награды, молодцы!»

Главным тюремным надзирателем узников был сам царь. Он лично указывал, куда их посадить, как содержать. Ему немедленно доставлялись все протоколы допросов. Он скрупулезно, как и надлежит главному сыщику, прочитывал их, сопровождая пометками на полях и резолюциями. Был этот русский самодержец человеком не только тупым, но и безграмотным. Почти в каждом написанном им слове была ошибка. Даже слово «идиот», которое царь весьма часто употреблял, он писал: «идеот».

Но ничто не вызвало такого гнева у монарха, как программа террористической фракции партии «Народная воля», которую Ульянов восстановил в камере крепости по памяти.

Программа ставила своей целью объединить народников с социал-демократами. В ней Ульянов, возродив революционные требования народников, выдвинул и такие пункты, каких не было ни в одной из предшествующих программ. Он писал: «К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего экономического развития; он является таким же необходимым результатом капиталистического производства и порождаемого им отношения классов, насколько неизбежно развитие капитализма, раз страна вступила на путь де-

нежного хозяйства». Такое утверждение в программах народников выдвигалось впервые. И нетрудно прийти к выводу: это Александр Ильич сделал под влиянием трудов Маркса, которого он усиленно изучал до самого ареста. «Главные свои силы,— продолжал он,— партия должна посвящать организации и воспитанию рабочего класса, его подготовке к предстоящей ему общественной роли».

Но тут же он отмечал, что при существующем политическом строе в России почти невозможна такая деятельность. (Царь подчеркнул эту фразу и приписал: «Это утешительно!») А поскольку пропаганда среди рабочих невозможна без свободы слова, то Александр Ильич направляет свое внимание на террор, который, как ему и его друзьям казалось, был почти единственным действенным способом борьбы с самодержавием.

В заключение программы Александр Ильич излагал взгляды фракции на террор. «Историческое развитие русского общества,— указывает он,— приводит его передовую часть все к более и более усиливающемуся разладу с правительством. Разлад этот происходит от несоответствия политического строя русского государства с прогрессивными, народническими стремлениями лучшей части русского общества.

...Когда у интеллигенции была отнята возможность мирной борьбы за свои идеалы и закрыт доступ ко всякой форме оппозиционной деятельности, то она вынуждена была прибегнуть к форме борьбы, указанной правительством, то есть к террору».

«Ловко!» — отчеркнув этот абзац, пишет царь.

А дочитав до конца программу, царь, брызгая чернилами, пишет резолюцию: « Эта записка даже не сумасшедшего, а чистого идеота». После кто-то дрожащей рукой выправил эту царскую ошибку...

10

Приехав в Петербург, Мария Александровна начала хлопотать о свидании с сыном. Она целые дни просиживала в приемных министра внутренних дел, директора департамента полиции, прокурора и прочих больших и маленьких чиновников. Ей обещали узнать, выяснить, доложить, навести справки...

— Ничего вы от них не добьетесь,— сказал Песковский, когда Мария Александровна пришла к нему.

— Так что же мне делать?

— Поскольку покушение готовилось на царя, он сам и наблюдает за делом. А это значит: без дозволения государя никто вам свидания с сыном не даст.

Мария Александровна обращается с письмом к царю.

«Горе и отчаяние матери,— пишет она двадцать восьмого марта,— дают мне смелость прибегнуть к Вашему величеству, как единственной защите и помощи.

Милости, государь, прошу! Пощады и милости для детей моих! Старший сын, Александр, окончивший гимназию с золотою медалью, получил золотую медаль и в университете. Дочь моя, Анна, успешно училась на Петербургских высших женских курсах. И вот, когда оставалось всего лишь месяца два до окончания ими полного курса учения,— у меня вдруг не стало старшего сына и дочери...

Слез нет, чтобы выплакать горе. Слов нет, чтобы описать весь ужас моего положения.

Я видела дочь, говорила с нею. Я слишком хорошо знаю детей своих и из личных свиданий с дочерью убедилась в полной ее невиновности. Да, наконец, и директор департамента полиции еще 16 марта объявил мне, что дочь моя не скомпрометирована, так что тогда же предполагалось полное освобождение ее. Но затем мне объявили, что для более полного следствия дочь моя не может быть освобождена и отдана мне на поруки, о чем я просила, ввиду крайне слабого ее здоровья и убийственно вредного влияния на нее заключения в физическом и моральном отношении.

О сыне я ничего не знаю. Мне объявили, что он содержится в крепости, отказали в свидании с ним и сказали, что я должна считать его совершенно погибшим для себя...

Около года тому назад умер мой муж, бывший директором народных училищ Симбирской губернии. На моих руках осталось шесть человек детей, в том числе четверо малолетних. Это несчастие, совершенно неожиданно обрушившееся на мою седую голову, могло бы окончательно сразить меня, если б не та нравственная поддержка, которую я нашла в старшем сыне, обещавшем мне всяческую помощь и понимавшем критическое положение семьи без поддержки с его стороны.

Он был увлечен наукой до такой степени, что ради кабинетных занятий пренебрегал всякими развлечениями. В университете он был на лучшем счету. Золотая медаль открывала ему дорогу на профессорскую кафедру,— и нынешний учебный год он усиленно работал в зоологическом кабинете университета, подготовляя магистерскую диссертацию, чтобы скорее выдти на самостоятельный путь и быть опорой семьи...

Я не знаю ни сущности обвинения, ни данных, на которых оно основано. Но, сопоставляя самый факт обвинения в тягчайшем государственном преступлении с фактами относительно воззрений моего сына в самом недавнем прошлом, преданности его науке и интересам семьи,— я вижу непримиримую несообразность, представляющуюся чем-то совершенно необъяснимым...

О, государь! Умоляю — пощадите детей моих! Нет сил перенести этого горя и нет на свете горя такого лютого и жестокого, как мое горе! Сжальтесь над моей несчастной старостью! Возвратите мне детей моих!..»

Директор департамента полиции Дурново, прочитав это письмо, спросил Марию Александровну:

— А вы уверены, что сын скажет вам правду?

— Он никогда не обманывал меня.

— Гм... Ну, оставьте,— сказал Дурново.— Мы тут посоветуемся, как поступить.

— Когда прикажете к вам явиться?

— Не раньше, чем через неделю.

Мария Александровна тяжело вздохнула. Ждать неделю! Да еще кто знает — разрешит ли царь свидание с Сашей или нет. А ей так хочется увидеть сына, поговорить с ним, ведь кажется: как только она увидит его, то немедленно вызволит из беды.

— А с дочерью я могу увидеться?

— Пожалуйста. Что в моей власти, то, как видите, делается без промедления.

— Благодарю вас.

Все материалы, как-то связанные с заговором, посылались на рассмотрение Александру III. И письмо Марии Александровны на имя царя директор департамента полиции передал министру внутренних дел. Граф Толстой переслал письмо царю вместе с другими материалами дознания. Сделав на полях несколько злобно-иронических заме-

чаний («Хорошо она знает сына!», «А что же до сих пор она смотрела!»), царь вывел резолюцию: «Мне кажется желательным дать ей свидание с сыном, чтобы она убедилась, что это за личность ее милейший сынок, и показать ей показания ее сына, чтобы она видела, каких он убеждений».

Граф Толстой, прочитав резолюцию царя, написал директору департамента полиции: «Нельзя ли воспользоваться разрешенным государем Ульяновой свиданием с ее сыном, чтобы она уговорила его дать откровенное показание, в особенности о том, кто, кроме студентов, устроил все это дело. Мне кажется, это могло бы удаться, если бы подействовать поискуснее на мать».

11

Несколько раз возникал вопрос — делать обыск в Симбирске или нет. Но следствие показывало, что группа Ульянова ни в какой связи с Симбирском не была. Сформировалась она осенью 1886 года, а в Симбирске Александр Ильич был только летом. На зимние вакации он, как всегда, не ездил. В материалах следствия не было даже намека на то, что Александр Ильич связан с кем-нибудь в своем родном городе. А потому из департамента полиции в Симбирск не приходило никаких запросов по этому делу. В первые дни симбирское начальство даже не знало, что среди арестованных находится Александр Ульянов, так как имена участников заговора держались в секрете.

Начальник жандармского управления генерал фон Брадке был страшно возмущен. Как это так: Мария Александровна узнала об аресте ее сына и дочери раньше, чем он. К нему не пришла, не спросила разрешения на поездку в Петербург. Может быть, ей запрещено туда ехать. А виновница всему — эта учительница Кашкадамова. Вместо того чтобы принести письмо ему, она отдала Ульяновой. Генерал фон Брадке вызвал Кашкадамову к себе, сердито спросил:

— Где письмо, которое вы получили из Петербурга?

— Я отдала его Марии Александровне,— ответила Вера Васильевна, несколько растерявшись.

— А кому письмо было адресовано?

— Мне...

— Так зачем же вы отдали его Ульяновой?

— Но ведь там говорилось об аресте ее детей... Меня просили ей передать.

— Такие письма нужно передавать официальным лицам! А так, как поступили вы, поступают только заговорщики и их соучастники. Кто вам прислал это письмо? Что в нем сообщалось? Рассказывайте точно, если не хотите попасть туда, где сидят преступники, о которых вы так хлопочете...

Вера Васильевна вкратце пересказала содержание письма. Брадке не поверил ей и предложил еще раз пересказать письмо, надеясь услышать что-нибудь новое. Но она повторила слово в слово сказанное в первый раз. Это вызвало у фон Брадке еще большее подозрение: значит, она заучила, что нужно говорить. Он начал расспрашивать об Александре, Анне, о всей семье Ульяновых. Вера Васильевна сказала, что лучшей семьи в Симбирске она не знает...

— И вы это говорите после того, как двое из этой семьи оказались такими страшными государственными преступниками? Преступниками, поднявшими руку на священную особу его императорского величества?

Вера Васильевна помолчала, тихо ответила:

— Я их всех люблю, как своих детей...

Убедившись, что от Кашкадамовой он ничего больше не добьется, фон Брадке отпустил ее. Но предупредил, чтобы она не смела никуда отлучаться из города без его разрешения. Всем своим агентам фон Брадке приказал тщательно следить за Кашкадамовой, за домом Ульяновых, прислушиваться, где и что говорят об арестах в Петербурге. И уже двенадцатого марта он шлет в департамент полиции секретное донесение: «Когда 5-го марта в г. Симбирске была получена телеграмма Северного агентства о задержании в Петербурге, на Невском, трех студентов тамошнего университета, то эта весть быстро распространилась по городу. Один из служащих в Симбирском отделении государственного банка, прочтя телеграмму, выразился: «Таких людей следовало бы вешать».

Тогда контролер этого отделения банка Егор Егоров

Коведяев, обратясь к личности, высказавшей свое мнение, сказал: «Прошу вас поосторожнее высказывать ваше мнение о повешении». Тот смутился и отвечал: «Я ведь ничего такого не говорил», но Коведяев снова повторил: «Советую вам быть осторожным в ваших словах».

В конце этого донесения фон Брадке пишет (пусть, мол, видят в Петербурге, что он тоже не дремлет!), что постоянно наблюдал за Коведяевым и теперь окончательно убежден: он совершенно неблагонадежен в политическом отношении. Дружит с такими людьми, как высланный в Симбирск врач Кадьян, и с другими лицами, которые «привлекались к делам политического характера». Называя Кадьяна, фон Брадке имел в виду следующее. Всем в Симбирске было известно, что Кадьян считался домашним врачом Ульяновых, другом их семьи. И поскольку фон Брадке очень хотелось выслужиться, а в руках у него не было никаких материалов, непосредственно относящихся к делу, он и приплетал все, что, по его мнению, могло быть связано с арестованными Ульяновыми. А может быть, в Симбирске следствие откроет что-нибудь, тогда он скажет, что именно эта ниточка и вела к тому клубку, который он не успел распутать лишь потому, что его опередили.

Каждый день фон Брадке с нетерпением и страхом — неужто что-нибудь важное прозевал? — ожидал новостей из Петербурга. Он был уверен, что заговорщики связаны с Симбирском. Ему хотелось самому, не ожидая указаний из Петербурга, распутать «симбирский клубок заговора», и он принялся за Коведяева. Вызывал его на допросы, грозился выгнать с государственной службы, если тот не признается, почему защищал арестованных. Но Коведяев отзывался полным неведением.

Генерал фон Брадке начал подумывать о том, что он, пожалуй, перестарался. Хорошо еще, что допросы Коведяева — как и Кашкадамовой — он вел в форме простых бесед. Если же выявится, что они причастны к заговору, то протоколы никогда не поздно приложить к делу.

И вдруг — это было восемнадцатого марта — из департамента полиции пришла шифрованная телеграмма. В ней приказывалось произвести обыск у помощника аптекаря Александра Соловьева, служившего в аптеке Новицкого. Такого оборота дела фон Брадке никак не ожидал, считая

аптекаря Новицкого человеком вполне благонадежным. И конечно, перепугался. Телеграмма показывала — он абсолютно ничего не знает о том, что творится в городе.

Не доверяя никому, фон Брадке сам поехал с обыском. Он уже представлял себе, как будет допрашивать Соловьева, как арестуют других его сообщников. И опять все обернулось не так, как он рассчитывал. Оказалось, Соловьев еще месяц назад выехал в Мариуполь. Напуганный Новицкий ничего не мог сказать о нем, кроме того, что работник Соловьев был хороший. Поскольку в телеграмме указывалось, что обыск нужно сделать у Соловьева, а не в аптеке Новицкого, фон Брадке вернулся ни с чем. Пришлось ответить в департамент полиции, что телеграмма им переадресована в Мариуполь.

Хотя фон Брадке приезжал в аптеку Новицкого ночью, хотя он строжайше приказал аптекарю никому ничего не говорить, об этом узнал весь город. Слухи, как водится, обрастали все новыми и новыми подробностями, возникавшими в воображении напуганного обывателя. Уже на следующий день говорили, будто обыскивали почти полгорода и нашли много бомб. Больше всего бомб было спрятано в доме Ульяновых. И царя не убили, мол, только потому, что террористы не успели перевезти все бомбы из Симбирска в Петербург.

— Володя, ты слышал, что в аптеке Новицкого нашли бомбы? — спросила Оля, придя из гимназии.

— Мне сказали, что и из нашего дома целый воз их вывезли.

— Так все это, значит, вранье?

— Абсолютное! Никаких бомб в аптеке не нашли, да и обыска не делали. Искали не бомбы, а помощника аптекаря Соловьева. А тот, оказывается, давно уже куда-то уехал.

— Ой, боюсь я...— вздохнула Оля.

— Чего?

— А что ж мы будем делать, если они и к нам придут?

— Пускай идут! У нас нет ничего запрещенного.

— А книги Саши? А журналы со статьями Чернышевского, Добролюбова, Писарева?

— Я все спрятал.

— Когда ж ты успел?

— Я это сделал еще в тот день, когда Вера Васильевна получила письмо об аресте Саши и Ани... А вот, кстати, и Вера Васильевна идет...

— Если б не она да не Яковлев, мы сидели бы тут, как арестанты,— сказала Оля.— А ведь сколько у папы было, как он говорил, верных друзей!

— Я вообще не знаю, что было бы с отцом, доживи он до этих дней,— сказал Володя.— Подумать страшно... Ну, иди встречай Веру Васильевну, а я посмотрю, что там малыши делают.

Вера Васильевна принесла такую же новость, как и Оля. Вечером пришел Иван Яковлевич Яковлев — узнать, правда ли, что был обыск. Просил сразу же известить его, если явится полиция. Сказал Володе, что написал письмо в Казань профессору Ильминскому с просьбой похлопотать за Сашу и Аню. Ильминского хорошо знает сам обер-прокурор Синода Победоносцев, а от него, как известно, зависит больше, чем от самого царя.

Со дня на день Володя и Оля с нетерпением ожидали почты, а писем от мамы все не было. Написала только, что доехала благополучно, и с тех пор и молчит.

— Что же там такое? — спрашивала Оля Володю, когда они вечером, уложив спать Митю и Маняшу, сидели вдвоем в большой комнате.— Почему мама не пишет?

— Как видно, писать не о чем,— отвечал Володя.— Не так легко добиться свидания...

— А может, Аню и Сашу уже выпустили, и они с мамой едут домой? — говорила Оля.

Володя на такие предположения Оли ничего не отвечал, понимая, что она сама не верит в то, что говорит. Порой они часами сидели и молчали, думая об одном и том же...

В Мариуполе Александра Соловьева арестовали. При обыске у него нашли фотографии Чернышевского, Добролюбова, Писарева, стихи о Степане Разине. В записной книжке был виленский адрес Тита Пашковского, у которого Канчер брал азотную кислоту. Канчер не знал фамилии Пашковского, вот почему в первые дни его не смогли

арестовать. Но когда Канчера повезли в Вильну, он показал полиции все дома, в которых бывал, всех людей, с которыми встречался. У Пашковского обнаружили симбирский адрес Соловьева. Поскольку и Ульяновы были из Симбирска, естественно, возникла мысль, что Соловьев тоже снабжал заговорщиков необходимыми препаратами для изготовления бомб.

12

Директор департамента полиции Дурново вызвал к себе Марию Александровну. Войдя в его кабинет, она просто не узнала этого маленького круглого человечка, такой он был радушный, веселый. Прежде, когда она приходила к нему, он даже не поднимался со своего кресла, а теперь вышел навстречу, поздоровался, справился о ее здоровье. Мария Александровна не могла понять, что произошло. Неужели выяснилось, что Саша и Аня ни в чем не виновны и их выпускают из тюрьмы?

— Государь император,— торжественно начал Дурново, не садясь в кресло,— в своем беспредельном великодушии повелел предоставить вам свидание с сыном!

— Я очень признательна его императорскому величеству...

Дурново не понравилась сдержанность, с какой Мария Александровна поблагодарила его. Он смотрел на нее, явно ожидая, что она еще что-нибудь добавит, но Мария Александровна молчала. Дурново насупился, указал рукой на кресло:

— Прошу садиться!

— Благодарю вас,— проговорила Мария Александровна, стараясь понять, почему так резко изменилось настроение директора департамента.

— Вы знаете, в чем обвиняется ваш сын? — усевшись в свое кресло, спросил Дурново, продолжая хмуриться.

— Нет. Я и в письме государю писала, что не знаю ни существа обвинения, ни данных, на каких оно основывается.

— Ваш сын, госпожа Ульянова, совершил тяжкое преступление. Он поднял руку на священную особу его импе-

раторского величества.— Дурново выдержал паузу, продолжал уже значительно мягче: — Но доброта государя императора поистине беспредельна: несмотря на все, он, как вы видите, удовлетворил вашу просьбу...

— Когда я смогу увидеть сына? — осведомилась Мария Александровна.

Дурново сделал вид, что не слышит вопроса, и продолжал:

— Должен вам откровенно сказать, ваш сын не желает слушать наших добрых советов и идет прямой дорогой на эшафот!

— Ах, Саша...— тихо, как бы думая вслух, проговорила Мария Александровна.

— Мы испробовали уже все средства, чтобы остановить его, чтобы удержать его, но... тщетно. Он упорно стоит на своем. Государь император уже не может спокойно читать его показания, ибо в них что ни слово, то дерзость и упорство. Вот прошу взглянуть: на последнем допросе вашего сына рукой его императорского величества начертано: «От него, я думаю, больше ничего не добьешься». Вы понимаете, что это означает?

Мария Александровна молчала, пристально глядя в глаза Дурново, она начинала догадываться — директор департамента полиции задумал что-то необычное, но пока скрывает это. Она первая прервала молчание:

— Я слушаю вас...

— Я вижу, вы не понимаете, в каком положении ваш сын,— сердито заметил Дурново.— А потому должен вам, госпожа Ульянова, сказать прямо: вы можете потерять сына! Да, потерять, если не поможете нам спасти его! Жизнь вашего сына отныне, говорю вам со всей ответственностью, в ваших руках! Вы понимаете, что я этим хочу сказать?

— Не совсем...

— Буду с вами вполне откровенным,— каким-то вкрадчивым голосом продолжал Дурново.— Мы считаем, что весь этот ужасный заговор организовали не студенты. Ваш сын и его друзья стали, по молодости своей, лишь орудием в руках умелых террористов. Мы убеждены, что именно ваш сын, как вожак группы, поддерживал с ними связь. Он один знает имена и адреса революционеров-подпольщи-

ков. Но он молчит. А если бы он раскрыл карты, то, само собой разумеется, все бремя вины было бы переложено с него на тех, кто действительно подготовил покушение.— Дурново помолчал, торжественно закончил: — Государь император повелел дать вам свидание, дабы вы повлияли на сына...

— Вы отдаете себе отчет в том, чего вы требуете от меня? — поднявшись с кресла, спросила Мария Александровна.

— Этого не я требую, а государь император,— сердито выкрикнул Дурново, давая волю раздражению, которое он до сих пор сдерживал.— И делает его величество это лишь для того, чтобы избавить от виселицы вашего сына!

— Я очень признательна его императорскому величеству,— сухо повторила Мария Александровна свои прежние слова.— Когда я могу увидеть сына?

Дурново резко позвонил и, не глядя на появившегося в дверях кабинета чиновника, приказал:

— Приготовьте госпоже Ульяновой пропуск к сыну. А вам, сударыня, еще раз советую: хорошенько подумайте о том, что я вам сказал...

— Положение создалось необычайно тяжелое,— говорил Песковский Марии Александровне.— Нам нужно найти для Саши толкового защитника. Я рекомендую вам — с ним я уже говорил, и он согласен — Александра Яковлевича Пассавера. Это умный и довольно смелый человек.

— Я во всем полагаюсь на вас, Матвей Леонтьевич. У меня здесь нет никаких знакомств, никаких связей.

— Ошибаетесь, Мария Александровна! Я вот установил: сам обер-прокурор Неклюдов — ученик Ильи Николаевича!

— Да что вы!

— Да, да! И отзывается о нем до сих пор очень и очень лестно. Вам надо непременно сходить к нему! Далее. По Пензе вы должны знать Таганцева.

— Кажется, припоминаю...

— Чудесно! Этот Таганцев, тоже в прошлом ученик

Ильи Николаевича, ныне — сенатор. Он на короткой ноге с сенатором Фуксом, который может, например, разрешить свидание. А также и пропуск на суд. Но об этом после, сейчас самое главное — надежный защитник.

Песковский познакомил Марию Александровну с адвокатом. Пассавер ей не очень понравился: много говорит, глаза бегают, в каждом слове сквозит равнодушие ко всему на свете. Явно набивая себе цену, он долго говорил о том, как много может сделать защита, если со знанием дела — и смелостью! — будет бороться за своего подопечного. Мария Александровна, не имея выбора, согласилась доверить защиту Саши этому Пассаверу. Провожая ее на первое свидание с Сашей, Песковский наказывал:

— Итак, главное: вы должны убедить его взять этого защитника.

— Я поговорю с ним...

— Мария Александровна, вы простите меня, но я, желая вам добра, позволю себе просить вас — будьте настойчивее! Я знаю, как трудно в чем-нибудь переубедить Александра Ильича...

13

На свиданиях родные арестованных вели себя по-разному: одни плакали, другие униженно заискивали перед каждой тюремной сошкой, пугливо озирались по сторонам, не чая, видимо, как побыстрее уйти отсюда. Мария Александровна держалась с таким достоинством, что даже тюремщики не могли не проникнуться уважением к ней. Их поражала ее выдержка. Ни выражением лица, ни голосом она не выдавала своей душевной муки. И только в глазах ее было такое страдание, что все, кто встречался с нею взглядом, отводили глаза в сторону.

— Обождите здесь,— сказал надзиратель, открыв дверь в пустую камеру.— Сейчас его приведут.

Мария Александровна присела на голую койку, глубоко вздохнула, чтобы успокоить сердце,— оно билось так, что дыхание захватывало. Наконец она увидит своего Сашу! Увидит... Она так долго добивалась, так долго ждала этой минуты, что ей начинало казаться: оттого, что она увидит его, поговорит с ним, многое изменится... Вернее

сказать, прояснится, потому что полиции она не верила, и в душе у нее теплилась надежда, что вина сына не так уж страшна и тяжела, как ей говорят... Но вот его походка! Мария Александровна встала, шагнула к двери. Нет, провели кого-то другого. Такой же молодой, как и Саша. Может быть, это кто-то из его друзей?

Постояв у входа, Мария Александровна повернулась было, собираясь опять присесть на койку, как вдруг услышала тихий, глуховатый голос:

— Мама...

Сердце ее на мгновение замерло — она узнала бы этот голос среди тысячи других! — и вдруг так заколотилось, что перед глазами все поплыло. Невероятным усилием воли подавив волнение, она обернулась к двери и увидела юношу... очень похожего на ее Сашу. Но нет, это уже был не юноша, а взрослый, много выстрадавший мужчина. Или, может быть, арестантская одежда так изменила его? На лице этого мужчины появилась такая родная, несказанно радостная улыбка, что у Марии Александровны невольно вырвалось:

— Саша! Сынок...

— Мама! Родная моя,— ласково говорил Саша, обнимая узкие, худенькие плечи матери.— Я так хотел видеть тебя... Я так виноват перед тобой...

— Полно, Сашенька! — улыбаясь сквозь слезы, говорила Мария Александровна.— Полно... Я только одного не пойму: как ты мог решиться на такое? Или тебя ложно обвиняют?

— Нет, мама,— сразу посуровел Саша.— Я принимал участие в покушении. За это я и должен отвечать. И я готов к этому,— продолжал он с такой решимостью умереть, но остаться на своем, что Марии Александровне сделалось страшно за него.— Я понимаю, что причинил много страданий тебе,— об Ане я и не говорю: я очень, очень виноват перед нею! — Володе и Оле... Всем вам. Я об этом много и мучительно думал. Но... я не мог поступить иначе. Кроме долга перед тобою, родная моя, перед всей семьей, у меня есть долг перед родиной. А родина моя стонет под таким игом деспотизма, что я, поверь мне, не мог оставаться равнодушным. Я не мог не бороться...

— Да, но эти средства так ужасны.

— Что же делать, мама, если других нет! Пойми только одно: не бороться я не мог. Я не мог спокойно видеть страдание народа. Это выше моих сил!

— Саша, но как же другие?

— Не знаю. Они, должно быть, как-то по-другому устроены. А у меня все сердце истлело от боли. Эта ужасная, рабская жизнь стала мне отвратительной! Я, мама, тупел от необходимости постоянно следить за каждой своей мыслью, за каждым искренним движением души. Зачем же мне дан ум? Совесть? Зачем дана способность отличать добро от зла, правду от лжи, если мне не позволяют жить так, как я считаю нужным? Нет, мама, я согласен на все, но только не на такую жизнь.

— Время кончается! — напомнил надзиратель.

— Еще одну минутку,— взмолилась Мария Александровна, вспомнив, что о главном она еще и не поговорила.— Сашенька, Матвей Леонтьевич нашел хорошего адвоката... Я советую тебе взять его защитником. Запомни, как его зовут...

— Мама, я очень благодарен тебе и Матвею Леонтьевичу, но... я не могу воспользоваться услугами этого защитника...

— Почему? Тебе посоветовали другого?

— Нет, дело в том... что я вообще отказываюсь от защитника...

— Саша! — воскликнула пораженная Мария Александровна.— Не делай этого! Это может погубить тебя.

Саше очень хотелось сказать, что участь его, как и всех других участников заговора, давно уже решена и суд ничего не может изменить. Но ему не хотелось заранее огорчать мать: ей предстояло еще много испытаний, а это только подорвет ее силы. Он сказал:

— Лучше меня, мама, никто не знает, что определяло мои поступки. А раз так, то, значит, один я смогу лучше всего и рассказать об этом. Еще и другое — отказ от защитника даст мне возможность изложить на суде те идейные мотивы, которыми мы руководствовались в нашей борьбе. Мне это совершенно необходимо сделать, чтобы не было никаких кривотолков.

— Время кончилось! Прошу, сударыня...

— До свидания, мама! — Саша обнял мать.— И не грусти, родная, мы еще встретимся...

— Саша, может, тебе что-нибудь нужно? — смахнув слезу, спросила Мария Александровна.

— Нет, пока ничего... Обними Аню, если увидишь ее. Скажи...— Саша увидел прокурора Котляревского, который вошел в камеру, заговорил о другом: — Если разрешат, я ей все напишу...

Саша еще раз обнял мать, поцеловал ее в седой висок и вышел из камеры, не оглядываясь. Мария Александровна опустилась на койку, едва удерживаясь, чтобы не зарыдать. Но спустя минуту собралась с силами, встала.

— Госпожа Ульянова,— остановил ее прокурор Котляревский — он все время находился в соседней комнате и все слышал,— я не хотел мешать вам откровенно поговорить с сыном, а потому пришел под самый конец свидания. Надеюсь, вы не злоупотребили добротой его императорского величества и уговорили сына сознаться во всем?

Мария Александровна гордо подняла голову, ответила дрожащим от боли и негодования голосом:

— Я никому и ничего не обещала!

— Жаль... Очень жаль мне... вашего сына,— процедил сквозь зубы прокурор.— Думаю, вы не раз еще пожалеете, что не послушались доброго совета...

Песковский, узнав об отказе Саши от защитника, раздраженно воскликнул:

— Это безумие! Он сам себе надевает петлю на шею!

— Но что же делать? Я просила его...

— А надо было требовать! Да, да, требовать! Нет, я просто понять не могу, что с ним случилось? В своем он рассудке? Ведь он не может не понимать, как пагубно отразится его поведение на всей семье.

Мария Александровна только вздохнула.

— Нет! — продолжал Песковский.— Я сам должен поговорить с ним. Я сегодня же подам просьбу...

Матвей Песковский был из числа верноподданных литераторов, которые руководствовались принципом: «Чего изволите?» С этой своей меркой он и подходил к оценке действий Александра Ильича. Он просто не мог понять, как человек, попав в петлю, не делает всего возможного для того, чтобы выбраться из нее? И вообще, как Алек-

сандр Ильич мог отважиться на такой бессмысленный шаг? Ведь его ждала ученая карьера. Он со своим умом, своим талантом, феноменальной работоспособностью стал бы мировым ученым. Нет, с ним что-то стряслось...

«Зная прошлое Ульянова,— писал в своем заявлении в департамент полиции Песковский,— трудно не заподозрить нормальность умственных его способностей — так резка несообразность в том, чем был Ульянов и чем он оказался по делу 1 марта. Человек может скрытничать, притворяться, но быть окончательно не самим собой — это уж слишком непонятно».

Да, Песковскому, человеку совершенно равнодушному к судьбе своего народа, поведение Александра Ильича представлялось загадкой.

14

Прокурор Котляревский доложил Дурново, как Мария Александровна вела себя на свидании. Дурново, проклиная Ульянова — он был уверен, что именно Ульянов держит в руках все связи с подпольем,— отправился доложить об этом графу Толстому. Свидание Марии Александровны с сыном было последней надеждой что-нибудь вытянуть из Ульянова. И если это не удалось, оставалось одно: готовить дело к передаче в суд, потому что на допросах давно уже все повторяли только то, что говорили раньше. Нить, которая протянулась было в Симбирск, тоже оборвалась: допрос Александра Соловьева, арестованного в Мариуполе, показал, что он к этому заговору никакого отношения не имеет. Приходилось довольствоваться тем, что удалось выведать от Канчера, Горкуна и Волохова. Если бы не эта тройка, многое осталось бы нераскрытым.

— По вашему лицу вижу, что ничего не удалось,— сказал граф Толстой, когда Дурново вошел в его кабинет.

— Да, ваше сиятельство...— виновато вздохнул Дурново.— Как ни объясняли, как ни уговаривали ее, госпожа Ульянова с таким же упорством, как и сын, делала свое. Никак не могу простить себе, что просил ваше сиятельство передать письмо Ульяновой государю.

— Вы не можете себе простить! — с желчной иронией пробормотал граф Толстой.— А что же мне прикажете те-

перь доложить его императорскому величеству? Государь вчера сам справлялся: имела ли Ульянова свидание с сыном, повлияла ли на него?

Дурново, опустив голову, виновато молчал. По многолетнему опыту он знал: покорное молчание лучше всего успокаивает вспыльчивого, впечатлительного графа. Покричит он, помашет своими сухими кулачками, побегает по кабинету и начнет успокаиваться. Дурново не обижается на старика, а даже сочувствует ему. Ведь графу предстоит завтра докладывать обо всем государю. И он, Дурново, не хотел бы оказаться на его месте, так как отлично знает, что значит, когда царь разгневан.

— Ну, так что же, по-вашему, делать? — немного успокоившись, спросил граф, покашливая в сухой, бессильно трясущийся кулак.

— Я, ваше сиятельство, вижу толькс один выход из создавшегося положения...

— Какой именно? — нетерпеливо перебил граф Толстой.— Передать дело в суд?

— Да, ваше сиятельство.

— Спасибо за совет! — желчно усмехнулся граф.— Раздували, раздували дело, чтобы побольше получить наград и благодарностей от государя, а теперь никто не знает, как связать концы с концами. Припомните-ка, что я с самого начала говорил? Я говорил — не нужно придавать этому делу большого значения. Я даже уговорил было государя императора без суда и следствия отправить всех этих маньяков в крепость, и делу конец. Так не послушались меня, принялись искать какое-то подполье.— Граф махнул рукой, сел, пригласил и Дурново: — Садитесь, Петр Николаевич, подумаем, как выпутаться...

Дурново сел и почтительно молчал. Молчал и граф, нервно постукивая костлявыми пальцами по столу. Узкое, все в глубоких морщинах лицо нервно подергивалось. Когда пальцы графа перестали барабанить по столу, Дурново вздохнул, что означало: у меня есть что сказать, да не знаю, угодно ли вам будет, ваше сиятельство, выслушать меня. Граф взглянул своими желтыми острыми глазами на Дурново, спросил:

— Так что же вы предлагаете?

— Я знаю, некоторые за то, чтобы передать дело в во-

енный суд,— тихо и вкрадчиво начал Дурново.— Тут есть резон,— передача дела на рассмотрение военного суда позволит вынести приговор на десять дней раньше, чем это сделает Сенат. А поскольку наказание и военным судом, и Сенатом будет поставлено одинаковое, то как будто все данные за то, чтобы дело рассматривал военный суд.

— Такую мысль высказывал и государь,— сказал граф, не понимая, что же предлагает Дурново.

— Да. И все-таки, я считаю, что дело лучше передать на рассмотрение Сената. И вот почему,— заторопился Дурново, увидев, как удивленно поднял брови граф, отчего его длинный крючковатый нос сделался, казалось, еще длиннее.— Большинство обвиняемых изобличаются не показаниями свидетелей, а оговором своих соучастников. Поэтому допрос последних на суде будет иметь первенствующее значение. Для этого, разумеется, потребуется очень опытный председатель суда, который сумел бы вытянуть из обвиняемых все, что только можно.

— Кого же, вы думаете, можно назначить председателем суда? — спросил граф, показывая этим самым, что он согласен с доводами Дурново.

— Сенатора Дейера, ваше сиятельство. Петр Антонович, как вы знаете, начиная с процесса нечаевцев вел уже не одно дело террористов. Думаю, государь император не будет возражать против этой кандидатуры, если он согласится передать дело Правительствующему Сенату...

Долго обсуждали граф Толстой и Дурново все «за» и «против» передачи дела на рассмотрение Сената. И граф согласился, что в военный суд,— хотя об этом и говорил как-то царь,— передавать дело не стоит. Тем более что рассмотрение дела и в Сенате, и в военном суде будет вестись при закрытых дверях. А те десять дней, которые будут потеряны при рассмотрении дела в Сенате, можно будет возместить сокращением срока кассации с двух недель до двух суток. Значит, приговор суда вступит в силу в те же сроки, в какие он вступил бы, если бы дело рассматривал военный суд. О том, каков будет приговор, они совсем не говорили, так как это зависело не от суда, а только от царя. Задача суда сводилась к одному: выполнить волю его императорского величества.

15

Ни одного сколько-нибудь значительного дела граф Толстой не докладывал царю, не посоветовавшись предварительно с Победоносцевым. Обер-прокурор Синода имел необычайное влияние на ограниченного царя. Не было случая, чтобы царь отклонил какое-нибудь предложение Победоносцева, не согласился с ним. Чтобы с чем-то не согласиться, что-то отклонить, нужно взамен отклоненного,— скажем, манифеста — написать свой. А у царя ни одной своей мысли не было в голове даже в отношении той реакционной политики, какую он обязался защищать, взойдя на престол. Это была не его программа, а Победоносцева. И он не мог шагу ступить без совета — а вернее сказать, без разрешения — обер-прокурора Синода. Царь знал только одно: он прежде всего самодержец. Его власть от бога. А если так, то все, что он делает, исходит от бога. И тот, кто не подчиняется ему, пренебрегает волею божией, а это грех, заслуживающий самой суровой кары.

— Очень, очень рад видеть вас, граф Дмитрий Андреевич,— встречая гостя, говорил Победоносцев со своей наигранной веселостью.— Очень рад...

— И я рад вас видеть, высокочтимый Константин Петрович,— проговорил Толстой, еле удержавшись, чтобы не поморщиться от фальшивой веселости Победоносцева.— Прошу прощения, что оторвал вас от дел, но я не мог не посоветоваться с вами, прежде чем докладывать государю.

— Неужели госпожа Ульянова повлияла на сына, и он дал новые показания? — с затаенной иронией спросил Победоносцев, которому уже доложили, что этого не произошло.— Если так, то государь будет очень рад...

— В том-то и беда, что мы не можем порадовать государя,— ответил граф Толстой, нахмурясь, так как уловил иронию в голосе Победоносцева.— Следствие идет без каких бы то ни было новых открытий, мать Ульянова злоупотребила добротой государя. На свидании она даже и не заикнулась о том, чтобы сын откровенно во всем признался. И теперь мне понятно, откуда берутся такие злодеи, как Ульянов! Их воспитывают в семье! Именно в тех семьях, где такие матери, как эта Ульянова. Я говорил —

никаких просьб от нее ни мне, ни тем более на имя государя не принимать.

— Вы говорите только о матери,— улыбаясь, заметил Победоносцев.— Но ведь у Ульянова был и отец. И служил он в вашем подчинении. Ему было поручено воспитание детей народа...

Граф Толстой промолчал. Он уже не рад был, что завел разговор о семье Ульяновых. А Победоносцев продолжал:

— И уж если из таких семей, отцам которых поручено просвещение народа, выходят злодеи типа Ульянова, то чего же можно ожидать от других? Нет, я говорил и не перестану повторять: корень всего зла в наших школах, в наших гимназиях, в наших университетах! Во всей системе образования! Все наше начальное, среднее и высшее образование нужно коренным образом перестроить! Пока мы этого не сделаем, заговоры нигилистов будут следовать один за другим!

Мысли эти не были новостью, Победоносцев не раз уже высказывал их. Но в них, как во всем, что он делал, была только критика существующего и не было никаких предложений, как это улучшить. Граф Толстой только делал вид, что внимательно слушает его, а сам думал о своем. Как половчее доложить царю, что дело нужно передать в суд? И когда Победоносцев закончил, он сказал:

— Да, Константин Петрович, мысли ваши совершенно справедливы. Я с вами вполне согласен, хотя, откровенно признаюсь, ничего конкретного не могу вам предложить.— Толстой взглянул на Победоносцева, улыбнулся, чтобы скрыть иронию, которая уже морщила его тонкие, густо иссеченные морщинами губы, круто повел речь к тому, ради чего приехал.— Завтра мне нужно докладывать государю о ходе дела террористов, а я, вот как и вам, не знаю, что ему предложить. С одной стороны, дело уже явно созрело для передачи в суд, а с другой...— граф Толстой тяжело вздохнул,— что же мы узнали от вожаков заговора? Почти ничего! И если мы их завтра, скажем, посадим на скамью подсудимых, то ничего уже и не выясним...

— А по-моему, вы граф, ошибаетесь. Эти мальчишки молчат, так как думают, что все закончится для них каким-нибудь незначительным взысканием. Они рассуждают

так: мы никого не убили, за что же нас строго наказывать? А когда они услышат, что приговорены к смертной казни, у них — уверяю вас — немедленно развяжутся языки. А у суда имеются все основания назначить им высшую меру наказания — смертную казнь.

— Может быть, и так...— облегченно вздохнул граф Толстой, не ожидавший, что Победоносцев так легко согласится с передачей дела в суд.— Откровенно признаюсь, Константин Петрович, я об этом не подумал,— добавил он явно только для того, чтобы польстить и этим самым утвердить Победоносцева в его решении.— А теперь я вижу — иного выхода у нас нет.

— Да, и сами они, и их родня — все заговорят по-другому, когда увидят, что выход один: либо сунуть голову в петлю, либо сознаться во всем...

Так и порешили — Толстой будет просить у царя разрешения передать дело в суд.

16

Александр III был не из храброго десятка, это все заметили еще в турецкую войну. Убийство террористами его отца еще больше усилило природную трусость. Всем хорошо было известно, что в первые дни по вступлении на престол он не покидал задних комнат гатчинского дворца, так как даже дежурных офицеров боялся. В дальнейшем он хотя и осмелел, но никуда не выезжал без тысяч предосторожностей. По улицам Петербурга, где ему предстояло проезжать, всегда толклись сотни шпиков, изображавших «народ». Если же он проезжал по городу вечером, все эти улицы закрывались. По железной дороге царь передвигался с еще большей опаской. Для охраны путей проводилась настоящая мобилизация войск. Кроме того, пускали три одинаковых поезда, отправлявшихся с интервалом в пятнадцать минут. Никто не знал, в каком поезде едет царь.

Но если прежде царь все-таки показывался в Петербурге, то теперь он почти не бывал там. Он был уверен (ведь ему это говорили все), что арестованы только исполнители, а настоящие руководители заговора сидят где-то

в глубоком подполье. И сидят они там, конечно, не сложа руки, а готовят новые покушения. Ведь и арестованные в своих показаниях говорят о систематическом терроре. Особенно настаивает на этом в своей программе Ульянов. И по его поведению на допросах видно — это самый умный и самый смелый из всех заговорщиков. А если так, то наверняка в его руках связи с теми группами террористов, которые выступят на смену арестованным. Ведь покушения на Александра II готовились на протяжении пятнадцати лет. И ошибка отца заключалась именно в том, что, казнив одну группу заговорщиков, он поверил окружавшим его, будто бы с террористами покончено. Вот и граф Толстой тоже уверяет, будто бы все террористы арестованы и никакого подполья нет. Но он этому не верит. Он не успокоится, пока не уничтожат всех террористов. Нынче приедет с докладом граф Толстой, и он из него душу вытряхнет, а заставит-таки в конце концов по-настоящему раскопать все дело. Если же Толстой не сможет сделать этого, придется прогнать его и поручить довести следствие до конца кому-нибудь другому...

В гатчинском дворце Александр III вел жизнь, более похожую на существование узника, а не властелина. Вставал в семь часов утра и шел вместе с генералом Черевиным (это был и адъютант, и денщик, и шут) прогуляться в парк, охраняемый тройным кольцом царского конвоя, жандармерии и полиции. Такой охране позавидовал бы любой начальник тюрьмы! После короткой прогулки — физическая разминка. В нижнем этаже лежала огромная колода для колки дров, в которой торчало несколько топоров тоже немалого размера. С такими топорами изображают палачей, рубящих головы своим жертвам. Коридоры тут были низкие и узкие, у каждой двери стояли часовые с ружьями, и здоровенный, неуклюжий царь с топором в руках действительно напоминал палача на эшафоте.

После колки дров Александр III завтракал и шел к себе в кабинет. Пока он подписывал бумаги, в приемной, за своим столом, сидел генерал Черевин. Только ему разрешалось в это время заходить к царю. Замечания и резолюции Александр III писал короткие и, как говорили его министры, не слишком утонченные. Чаще всего на бумагах появлялись такие фразы: «Стадо свиней!», «Вот

тварь!» На докладах о пожарах, наводнениях, неурожаях, голоде, эпидемии холеры и прочих стихийных бедствиях царь всегда писал одно и то же слово: «Неутешительно». Если бы царь и на докладе о террористах написал то, что думал, появилось бы тоже одно лишь слово: «Страшно». Все прочее для него было только «неутешительно». И все эти «гениальные» резолюции покрывались лаком, чтобы не стерлись, не дай бог,— ведь все написанное царем должно сохраниться на века.

Граф Толстой чувствовал, что приближается гроза, и приехал в Гатчину гораздо раньше обычного. Уже по тому, с каким мрачным видом встретил его генерал Черевин, граф Толстой понял — царь гневается на него. Генерал Черевин, как подобает шуту, всегда копировал даже выражение лица царя. Взглянув на графа исподлобья — как это делал царь, когда сердился,— сухо поздоровался. Сославшись на срочные дела, принялся листать какие-то бумаги, чтобы избежать разговора с графом. Пусть, мол, помучается старик, если не желает уходить в отставку, хотя и видит, что ему уже тяжело справляться с обязанностями министра внутренних дел. Кого ни послушай, все в один голос уверяют, что Толстой не уничтожит террористов. Царь такого же мнения, но Победоносцев уверил его, что никого лучше Толстого не видит. А Победоносцев не решается сменить Толстого по одной причине: боится, как бы новый министр внутренних дел не переметнулся на сторону его врагов.

Несколько раз генерал Черевин заходил в кабинет царя, но ничего не говорил графу, словно того и в комнате не было. Наконец генерал Черевин так же официально, как встретил Толстого, объявил графу, что государь император просит его пожаловать. Сухо ответив на приветствие графа Толстого, царь приказал докладывать. Он уже знал, что будет говорить граф Толстой, так как еще вчера получил письмо от Победоносцева. И хотя, как обычно, согласился с доводами Победоносцева о том, что дело нужно передавать в суд, он не мог примириться с тем, что руководителей заговора так и не заставили сказать всю правду. Вот и получится так же, как с его отцом: этих террористов он повесит, а другие, кого они не выдали, убьют его. Ужас! И позор. Столько у него полиции, жандармерии, следователей, прокуроров, самых страшных в мире

крепостей-тюрем, и все это оказалось бессильно перед кучкой каких-то зеленых студентов...

— Так где же организаторы заговора? — злобно взглянув на графа Толстого, спросил царь, когда тот закончил.

— Ваше императорское величество, нужно...

— Молчите! — Заложив руки за спину, царь прошелся по огромному кабинету, остановился перед графом Толстым и продолжал еще более яростно: — Я не верил и не верю, что все это подготовили одни студенты! Вы взяли пешек! Исполнителей, а не вожаков! Вы заставили говорить только трех человек! В ваших бумагах я только и читаю: дознание продолжается без всяких новых открытий!

Граф Толстой стоял ссутулившись, втянув тощую шею в плечи, словно боялся, что царь вот-вот размахнется и ударит его. Рядом со здоровенным, мускулистым царем маленький граф был похож на старого лакея, которого разносит барин. Наблюдая за тем, как царь боком, неуклюже ходит по кабинету, закинув назад голову и по-бычьи вскидывая ее, граф припоминал: когда Александр III был еще маленьким, отец ласково называл его бычком. Потом как-то это прозвище забылось. Но когда Александр III, после смерти своего старшего брата, внезапно сделался наследником престола, все это прозвище вспомнили. Только теперь уже его звали не бычком, а быком. Прозвище это закрепилось за царем не оттого только, что по внешности он походил на быка. А еще и потому, что царь был начисто лишен чувства юмора. Его веселили только шутки генерала Черевина, от которых, как говорили адъютанты, покраснели бы и папуасы. Поскольку у царя не хватило ума, чтобы уколоть того, кем он был недоволен, булавкой, то он, не задумываясь, бил его обухом.

— Вы предполагаете передать дело в суд! — остановившись перед графом и злобно глядя на него исподлобья своими вытаращенными глазами, продолжал царь.— А вы уверены, что уже сейчас по улицам Петербурга не разгуливают с бомбами те, кого арестованные не выдали?

— Уверен, ваше величество...— быстро проговорил граф Толстой, чтоб не заметно было, как дрожит голос.

— А я не уверен! А я не уверен! — повторил царь таким голосом, каким кричал на параде, здороваясь с вой-

скамп.— И вам не верю! Да, граф! Вы все эти годы твердили мне, что нигилисты уничтожены, что и духу их не осталось в России! И что же?

Долго бушевал царь. А под конец (как это часто бывало, когда царь уже получил совет Победоносцева и кричал только для того, чтобы сорвать злость) он присел к столу и написал, что разрешает передать дело в суд.

17

После двадцать первого марта Александра Ильича на допрос не вызывали. Он не мог понять: что случилось? Прокурор и следователь напали на новые материалы и изучают их? А может быть, отправились в Симбирск? Там они ничего не найдут. Впрочем... всего можно ожидать.

Они могут придраться к чему угодно. Арестовали же Аню только за то, что в ее адрес Канчер послал телеграмму из Вильны. Как-то Александр спросил прокурора, нельзя ли написать несколько слов сестре Ане? Тот ответил, что разрешит это, когда закончится следствие. Но, может, следствие и закончилось, раз не вызывают на допросы? Может, кто-нибудь придет и на свидание?

Но дни проходили, а Александра Ильича никто не тревожил, никто к нему не являлся. Камера 47-а, в которую его поместили, находилась на втором этаже Трубецкого бастиона. За одной из стен была лестничная площадка. Тут, значит, не с кем перестукиваться. Сорок восьмая камера, по-видимому, была пуста,— сколько ни стучал Александр Ильич, пытаясь завязать разговор с соседом, никто не отвечал. Книг не давали. Бумагу и чернила предлагали сами, но Александр Ильич отказывался — писать разрешалось лишь о том, что касалось дела. А к прежним показаниям он ничего нового добавлять не хотел. Оставалось одно: составлять текст речи на суде. Нужно составить ее и заучить, чтобы никто не мог сбить его,— Александр Ильич знал, как судьи не давали говорить Ипполиту Мышкину, Петру Алексееву, Андрею Желябову и другим революционерам, выступавшим с программными речами.

Целыми часами Александр Ильич ходил по камере и обдумывал речь. Как много хотелось сказать! Но времени

у него, конечно, будет слишком мало. Поэтому выступление нужно построить так, чтобы за короткий срок сказать все. Иногда казалось, что ничего не пропущено. И вдруг все в голове мешалось. Тогда Александр Ильич присаживался к столику и, обхватив голову руками, говорил себе: «Спокойно. Я просто переутомился. Вот отдохну и все припомню». Когда надоедало сидеть, он вставал и начинал осматривать камеру, чтобы как-то отвлечься от мысли о выступлении. Вспомнилось — когда увидел, что его ведут на второй этаж, он подумал: «Если в камере есть окно, мне видно будет небо. А на небо, как и на море, никогда не устанешь смотреть». Но, подойдя к окошку — между двумя железными рамами была решетка, а снаружи еще и густая железная сетка,— сквозь маленькие тусклые стекла ничего не разглядел. Окно было так высоко, что рукой не достать. Тогда он отступил на середину комнаты и увидел, что за окном не небо, а какая-то обшарпанная кирпичная стена. Вот и все, что было видно в окно. В тихую, безветренную погоду слышно было, как на колокольне собора бьют часы и раздается мелодия гимна «Боже, царя храни». Ежедневно в двенадцать часов стены камеры вздрагивали от пушечного выстрела возле Зотова бастиона. Этот выстрел напоминал тот день, когда они с Аней приходили осматривать крепость. В какой же камере сидит Аня? О чем она думает? Что ей напоминают эти ежедневные выстрелы? А может быть, ее выпустили?

Размышления Александра Ильича прервал какой-то необычный топот за дверью. В мертвой тишине, какая царила здесь днем и ночью, это было так непривычно, что Александр Ильич невольно встал и начал прислушиваться. Он уже хотел подойти ближе к двери, как вдруг она распахнулась, в камеру вошел сам комендант крепости с толпой военных и гражданских чиновников. Задав вопрос о фамилии, имени и отчестве, комендант сказал:

— Председатель суда сенатор Петр Антонович Дейер имеет вручить вам обвинительный акт.

Старик, стоящий рядом с комендантом, вынул из папки бумаги, протянул их Александру Ильичу, приказав:

— Возьмите, Ульянов, обвинительный акт!

Все вышли из камеры, дверь закрылась. Александр Ильич сел за столик — табуреткой служила койка, с которой на день забирали матрац,— и с жадностью принялся

читать этот документ. Не терпелось узнать, что послужило поводом для ареста его товарищей, кто и что говорил во время следствия. Но о том, как полиция напала на след заговора, было сказано только так: «На Невском проспекте задержаны шесть человек в результате установленного за ними наблюдения».

Произошло то, чего он боялся,— Канчер выдал всех виленцев. Вообще весь обвинительный акт был построен только на показаниях Канчера, Горкуна и Волохова. Александр Ильич вспомнил, как он говорил Шевыреву: нельзя привлекать в группу непроверенных людей. Но что теперь об этом думать! После того как ошибка совершена, легко найти виновника, но трудно исправить эту ошибку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Встать! Суд идет!

Несколько десятков присутствующих — высокопоставленных чиновников — и подсудимые встали со своих мест. Боковая дверь распахнулась. Вошел председатель суда — сенатор Петр Антонович Дейер. За ним члены суда — сенаторы Лего, Бартенев, Ягн, Окулов. Сословные представители: тамбовский губернский предводитель дворянства Кондоиди, петербургский уездный предводитель дворянства Зейфарт, московский городской голова Алексеев и котельский волостной старшина Васильев. Замыкали шествие обер-прокурор Неклюдов, товарищ обер-прокурора Смирнов и обер-секретарь Ходнев.

За столом экспертизы занял место генерал-майор Федоров, неизменный эксперт почти на всех процессах террористов. Торопливо проходят на свои места защитники. По их унылому, равнодушному виду легко понять: они пришли отбывать служебную повинность.

Проверив список свидетелей, Дейер предложил подсудимым встать и начал читать обвинительный акт. Читал он нудным голосом, сбивчиво. Все подсудимые уже ознакомились с обвинительным актом, и никто председателя не слушал, а, пользуясь случаем, тихо переговаривались. Дейер строго покосился на них поверх очков,

— Я бы ему единицу за такое чтение поставил,— шепнул Генералов.— Поп и члены суда дохнут с тоски...

— И компанию же подобрали: Дейер, Кондоиди, Лего, Зейфарт, Ягн,— иронически заметил Андреюшкин.

Все обвинение было построено на показаниях Канчера, Горкуна и Волохова. Слушая плоды своей трусости и малодушия, предатели — при встрече в зале суда им никто не подал руки — стояли понурясь, боясь взглянуть в глаза товарищам. Высокий, плечистый Горкун был какой-то потрепанный: сбившиеся волосы падали на лоб, ворот расстегнут, лицо плаксиво сморщено. Стоял как в воду опущенный и Канчер, повесив свой тонкий длинный нос. Продолговатое, с мелкими чертами лицо его горело от стыда, он то и дело вытирал испарину со лба.

— Хорошо потрудились,— громко заметил Генералов, когда председатель закончил чтение всего того, что показали на следствии Канчер, Горкун и Волохов.

— «На основании изложенных обстоятельств,— гнусаво читал Дейер,— установленных дознанием, обвиняются поименованные выше: 1) Василий Осипанов, Пахомий Андреюшкин, Василий Генералов, Михаил Канчер, Петр Горкун, Степан Волохов, Петр Шевырев, Александр Ульянов, Иосиф Лукашевич, Михаил Новорусский, Мария Ананьина, Раиса Шмидова, Бронислав Пилсудский и Тит Пашковский в том, что, принадлежа к преступному сообществу, именующему себя террористической фракцией партии «Народной воли», и действуя для достижения его целей, согласились между собой посягнуть на жизнь священной особы государя императора и для приведения сего злоумышления в исполнение изготовили разрывные метательные снаряды, вооружившись которыми некоторые из соучастников, с целью бросить означенные снаряды под экипаж государя императора, неоднократно выходили на Невский проспект, где, не успев привести злодеяние в исполнение, были задержаны 1 марта сего 1887 года, и 2) Анна Сердюкова — в том, что, узнав о задуманном посягательстве на жизнь священной особы государя императора от одного из участников злоумышления и имея возможность заблаговременно довести о сем до сведения власти, не исполнила этой обязанности...»

— Фу-у...— вздохнул Генералов,— ему бы покойников отпевать.

— Господин судебный пристав! Потрудитесь удалить подсудимых! — приказал Дейер, закончив чтение обвинительного акта.

Первым Дейер вызвал Канчера. Увидев, что товарищей нет — Дейер допрашивал подсудимых поодиночке,— Канчер несколько приободрился. Не моргая, смотрел он своими невинно васильковыми глазами на Дейера, который перелистывал бумаги. В подобострастной позе его — он стоял, приподнявшись на цыпочках,— в покаянном выражении лица была готовность продать всех, только бы спасти свою шкуру. Генерал Федоров, поглядев на него, потер кулаком бороду и сердито откашлялся, точно хотел сказать: стыдно, молодой человек!

— Канчер, вас обвиняют в том,— строго хмурясь, начал Дейер,— что вы принадлежите к тайному обществу, которое имеет целью ниспровергнуть существующий общественный строй, и для достижения этой цели вместе с другими лицами покусились на жизнь священной особы государя императора. Признаете себя в этом виновным?

— Признаю,— дрожащим голосом ответил Канчер и взмолился: — Но я прошу милостиво выслушать, при каких обстоятельствах я попал совершенно случайно в это общество...

— Прежде нежели рассказывать об этих обстоятельствах, я предложу несколько вопросов,— остановил его Дейер.— Отец ваш надворный советник?

— Да.

— Следовательно, он состоял на службе?

— Да, почтмейстером... Причиной, почему я сделался таким тяжким преступником,— не ожидая дальнейших вопросов председателя, заспешил Канчер,— я считаю Шевырева... Зная, какое мне будет наказание, я считаю своим священным долгом высказать правду...— Торопливо, точно боясь, что его остановят, он начал рассказывать о поездке в Вильну, о том, как Шевырев уговорил его стать сигнальщиком.— Я был в таком положении, что если не соглашусь,— продолжал он со слезой в голосе,— значит, меня сочтут за шпиона, это будет известно между студентами. Все так смотрели бы на меня... Тут мою душу покоробило, и хотя я отказался, но не наотрез, именно благодаря своему характеру и еще и потому, что я был уже вовлечен,

опутан... Я отправился на Невский в этот день, первого марта, день, в который, как мне казалось, государь должен был выехать, но я уклонился от намеченного маршрута и пошел к Николаевскому вокзалу. И потом, когда шел назад, то был задержан...

— Так вы,— остановил его Дейер,— ответили Шевыреву, что никаким целям общества не сочувствуете?

— Я сказал, что таких убеждений не разделяю,— с готовностью подтвердил Канчер, не заметив ловушки.

— Каких же убеждений,— ехидно осведомился Дейер,— когда вы их еще не знали?

— Да как же идти убивать государя? — залепетал Канчер, поняв, что перестарался.

— Но ведь это только голый факт, который находится в связи с убеждениями Шевырева? — продолжал Дейер добивать растерянно потупившегося Канчера.— Как же вы могли сказать, что не разделяете его убеждений, если вы их не знали?

— Когда он предложил мне принять роль разведчика, то, по-видимому, у меня возникла мысль, что я имею дело с человеком, который причастен к тайному обществу или к чему-нибудь нелегальному. А, конечно, каждый русский знает, что есть такие общества,— сделал Канчер неуклюжую попытку выкарабкаться из ловушки.

— Но если вы обнаружили это из его предложения,— продолжал Дейер, хитро щурясь,— то почему же вы не сказали ему, что вы ошиблись в нем, что он делает несвойственные с вашими понятиями предложения?

— Он торопился и не дал мне высказаться...— после продолжительной паузы еле слышно пробормотал Канчер.— Он меня запутал и, узнав мой характер, что я не склонен пойти и донести...

Из этого допроса видно: Шевырев вовсе не принуждал Канчера принять участие в заговоре, и этот грех Канчер валил на него, чтобы выставить себя в роли запуганного мальчика. На самом деле этому сыну почтмейстера нравилась роль героя, страдающего за народ. И пока опасность была далеко, тщеславие заглушало страх. Но как только впереди вместо гранитного пьедестала он увидел виселицу, то сразу забыл обо всем, кроме одного: во что бы то ни стало спастись. Теперь уже он не боялся не только роли шпиона — не боялся и прямого предательства!

— Андреюшкин, где вы воспитывались? — спросил Дейер.

— Сначала в гимназии, в Екатеринодаре, где окончил курс с аттестатом зрелости, а затем поступил в университет.

— Кто ваш отец?

— Я незаконнорожденный,— потупясь, тихо ответил Андреюшкин, словно он был виноват в этом.— Мать меня воспитывала до четвертого класса гимназии, а потом я жил на собственные средства.

— Где их брали?

— Давал частные уроки, как в гимназии, так и здесь.

— Как же вы познакомились с лицами, которые подготовляли покушение на государя?

— Я говорил на допросе, что приехал сюда уже революционером. По взглядам своим я склонялся к партии «Народная воля» и больше всего сочувствовал террору...

— Осипанов! Вас обвиняют в том, что вы принадлежите к тайному обществу! Признаете себя в этом виновным?

— Признаю,— твердо ответил Осипанов.— Признаю свое участие в этом обществе.

— Вы давно в Петербургском университете?

— С осени тысяча восемьсот восемьдесят шестого года.

— Откуда прибыли?

— Из Казанского университета.

— А там долго были?

— С осени тысяча восемьсот восемьдесят первого года по тысяча восемьсот восемьдесят шестой год. Месяцев восемь или девять отсутствовал.

— По какой причине?

— Был исключен из университета за участие в сходке. Чисто студенческой. После мне разрешили вернуться.

— Какая причина вашего перехода в Петербургский университет?

— Приехал сюда с революционной целью.

— Кто ваш отец?

— Мои родители умерли. Отец был солдат...

— Встречали ли вы здесь кого-нибудь из знакомых по Казанскому университету?

— Я предпочел бы уклониться от пояснений о своей жизни в Петербурге.

— Тогда мы перейдем к тому времени, когда вы приняли участие в покушении. Когда это было?

— Об этом я не могу говорить...

— Шевырев! Вы жили в Харькове? — спросил Дейер, сердито моргая глазами.

— Да. Я окончил Харьковскую гимназию и в университете уже четвертый год.

— Как вы познакомились с Говорухиным?

— Я знал его как своего однокурсника.

— Бывали у него на квартире?

— Да.

— Он жил вместе со Шмидовой?

— Да.

— Вы ее знаете?

— Знаю.

— Познакомились на квартире у Говорухина?

— Нет, я Шмидову знал еще по Харькову.

— Тут упоминалось, что Говорухин приносил прокламации.

— Приносил.

— Что же — он их печатал?

Шевырев молчит.

— От кого вы их получали? От Ульянова или нет?

Шевырев по-прежнему молчит.

— Вы не желаете называть?

— Да.

— Генералов! — продолжал допрос Дейер.— Кто ваши родители?

— Отец казак, и мать казачка.

— Как вы познакомились с Шевыревым?

— Он часто заходил к Ульянову.

— Значит, вы сперва познакомились с Ульяновым?

— Да.

— Кто вам предложил принять участие в покушении на жизнь государя императора?

— Вначале мы говорили вообще о том тяжелом положении, в каком было наше общество...

— С кем вы об этом говорили?
— Со всеми знакомыми...
— Сколько в вашей квартире было динамита?
— Пожалуй, фунтов пятнадцать.
— Вы отправили его Ульянову?
— Ко мне все вещи приносил и уносил Андреюшкин.
— Сами вы динамитом снаряды не набивали?
— Нет.

— Шмидова! — продолжал Дейер перекрестный допрос.— Где вы обучались акушерству?

— В Харькове. А экзамен сдавала в Киевском университете.

— Вы постоянно жили одни?

— Да, одна.

— С какою целью приехали в Петербург?

— Чтобы получить образование на Надеждинских курсах...

— На какой квартире вы жили одновременно со студентом Говорухиным?

— На Итальянской улице, в доме восемнадцатом.

— Вы занимали отдельную комнату?

— Да.

— Говорухин — соседнюю?

— Да.

— Какое расположение имела квартира?

— В мою комнату нужно было проходить через комнату хозяйки.

— Вы что же — были знакомы с Говорухиным?

— Да. Я познакомилась с ним у Хлебниковой, его невесты...

— Много знакомых приходило к Говорухину?

— Я не могу сказать, что много, но приходили.

— Кто же?

— Когда приходили его знакомые, я к нему в комнату не заходила. Но были наши общие знакомые — Ульянов и два брата Хлебниковы, хотя они не очень часто приходили.

— А Ульянов часто ходил?

— Часто.

— Вы не слыхали разговоров между Ульяновым и Говорухиным?

— Нет, никогда! — твердо ответила Шмидова и, по-

молчав, добавила: — Собственно, я слышала разговоры о значении естественных наук, о литературе.

— А каких-нибудь социалистических разговоров в вашем присутствии не происходило? — не отставал Дейер.

— Нет.

Прокурор, заметив, что Дейер уже не знает, о чем спрашивать Шмидову, поспешил ему на помощь:

— Андреюшкин бывал у Говорухина?

— Он приходил, но очень редко. Так как он хорошо читает по-малороссийски, я приглашала его к себе, чтобы он почитал Шевченко. Я очень любила слушать его, В этом и заключается все наше знакомство.

— Он читал в вашей комнате?

— В моей.

— Говорухин тоже приходил?

— Иногда, кажется, бывал.

— Что ж они — встречались, как знакомые?

— Да.

— А к Говорухину он ходил?

— Не знаю.

— Какие же разговоры были у Говорухина с Андреюшкиным?

— Я никогда не слыхала...

— Да ведь у вас в комнате читали! — вышел из себя прокурор.

— Говорили о том, что читали.

2

Остановившись у стола, Александр Ильич спокойно посмотрел в глаза Дейеру. Тот, не выдержав его взгляда, начал перелистывать бумаги. Потом спросил, признает ли он себя виновным.

Александр Ильич спокойно ответил:

— Да, я признаю себя виновным.

Дейер оторвался от бумаг с намерением что-то спросить, но, встретив устремленные на него темные, глубокие глаза, полные гордого спокойствия и сознания своей правоты, снял очки, протер их и сказал, как бы уточняя известное ему:

— Вы были в Петербургском университете?

— Да, был.

— Уже на четвертом курсе?

— Да.

— Несмотря на ваши молодые годы?

— Да, я был на четвертом курсе,— с ударением на слове «четвертом» ответил Александр Ильич, продолжая так же смело глядеть на Дейера.

— Значит, вы в Петербурге уже четыре года?

— Да.

— Что же, вы все четыре года старались навербовать себе сообщников или первые годы провели в учении?

— Я все четыре года,— выдержав паузу, не сказал, а отрезал Александр Ильич,— занимался теми науками, ради которых поступил в университет...

— Почему Говорухин уехал?

— Потому что был причастен к делу.

— Но и вы были причастны, однако же не уехали за границу?

— Это уж его дело.

— Какое же было основание вам и другим лицам, принимавшим участие в покушении, оставаться здесь, а ему уехать?

Александр Ильич нахмурился и ничего не ответил. Дейер продолжал:

— Как же вы позволили ему уехать? Ведь он был вашим соучастником. Он оставлял вас здесь, а сам спасался?

— Он нас не оставлял,— тоном, каким втолковывают тупому человеку элементарную истину, ответил Александр Ильич,— мы сами остались.

Члены суда возмущенно задвигались, а Дейер потянулся рукой к колокольчику, но отдернул ее, точно обжегся. Александр Ильич чуть приметно улыбнулся.

Ответы Александра Ильича были правдивы, он совсем не умел и не хотел лгать. Но как только Дейер делал попытку поймать его, уклонялся от ответа. Он ни на кого не ссылался, ни за кого не прятался.

— Кто принес туда прокламации? — допытывался Дейер.

— Я,— коротко ответил Александр Ильич.

— Кто их гектографировал?

— Тоже я.

— Никто больше не участвовал, кроме вас?

— Нет, помогало одно лицо.

— Кто же? — вкрадчивым голосом спросил Дейер.

Сдвинув черные ломаные брови, Александр Ильич минуту молчит, как бы припоминая, и когда весь зал замирает так, что становятся слышны шаги часового за стеной, глухо отвечает:

— Я отказываюсь назвать.

Дейер откидывается на спинку своего высокого кресла, члены суда ерзают на стульях, по залу прокатывается неодобрительный гул.

Волостной старшина Егор Васильев, живо реагировавший на все, неодобрительно покачивает головой. Прокурор Неклюдов что-то сердито пишет.

Лукашевич и Шевырев, узнав, что Говорухину удалось выехать за границу, многое сваливали на него. Александр Ильич не прибегал к этому обману даже там, где легко можно было это сделать. Так, Дейер спросил его:

— Вы видели образцы подобных метательных снарядов? Как вы научились их делать?

— Мне одно лицо давало указание.

— Это Говорухин? — быстро подсказывает Дейер.

— Нет,— отвечает Александр Ильич.

Дейер, видимо для того чтобы усыпить бдительность Ульянова, задал два незначительных вопроса и опять решительно вернулся к прерванной теме:

— Лицо, которое давало вам указание, училось где-нибудь изготовлять такие снаряды?

— Не знаю,— ответил Александр Ильич и, помолчав, добавил: — Но вообще этот человек хорошо знал химию.

Так председателю суда и не удалось узнать, что снаряды изготовлял Лукашевич. «Я послал этого человека», «Мне давало указания одно лицо»,— но кто именно, Александр Ильич отказывался назвать.

Весь его поединок с председателем суда и прокурором (Неклюдов тоже задавал вопросы, стараясь сбить его, но ничего из этого не вышло) поражает необыкновенной твердостью и смелостью, которые вызывали восхищение даже у врагов. Директор департамента полиции Дурново в своем донесении министру внутренних дел пишет, что Ульянов давал показания, «сохраняя свое обычное спокойствие».

В другом донесении тот же Дурново пишет: «Подсудимый Ульянов, не имеющий защитника, предлагал экс-

перту вопросы, свидетельствующие о его солидных познаниях в химии, причем все вопросы Ульянова клонились к желанию доказать, что Новорусский и Ананьина не могли «по запаху» обратить внимание на его работы по приготовлению нитроглицерина; эксперт утверждал, что приготовление нитроглицерина сопровождается запахом, которого нельзя не заметить; наоборот, Ульянов старался убедить генерала Федорова, что избранный им особый способ приготовления нитроглицерина почти совсем не вызывает запаха».

Дурново, спасая честь мундира генерала Федорова, изложил поединок Александра Ильича с экспертом не совсем точно.

Вот этот короткий диалог:

— Вы говорите, что приготовление нитроглицерина сопровождается сильным удушливым запахом? Но это относится лишь к некоторым способам, а не ко всем; при том способе, каким я приготовлял, запаха вовсе не будет.

— Все-таки запах будет. Есть, впрочем, способ,— отступает генерал после того, как Александр Ильич перечислил несколько формул приготовления нитроглицерина,— при котором не бывает запаха...

В разговор вмешивается прокурор, стараясь спасти положение. Он спрашивает генерала:

— А нельзя ли определить, каким способом был приготовлен нитроглицерин в данном случае?

— Этого нельзя сказать,— помолчав, отвечает генерал.

Александр Ильич, таким образом, добился поставленной цели: доказал, что Ананьина и Новорусский не могли по запаху определить, что он изготовляет нитроглицерин. Уличил он во лжи и парголовского урядника Беланова, который, по подсказке охранки, вдруг начал утверждать на суде (на следствии он этого не говорил), спотыкаясь на мудреном слове «химия», будто бы Ананьина сказала ему, что учитель Ульянов дает ее сыну уроки химии.

— А не сказала она, — спросил Александр Ильич урядника,— что он «занимается» химией?

— Могло и так быть, что «занимается»,— ответил урядник, явно не понимая, какая разница между выражениями «занимается» химией и «дает уроки».

— Вы не настаиваете на том, что было сказано «занимается»? — продолжал спрашивать Александр Ильич.

— Этого не могу сказать,— растерянно признался Беланов, снимая тем самым еще одно обвинение, предъявленное Ананьиной.

3

Об арестах, произведенных первого марта, Чеботарев ничего не слышал. В ночь на второе в его квартире был обыск, который ничего не дал полиции. Поскольку его оставили на свободе, он не придал этому обыску особенного значения. И вдруг узнал: Ульянов арестован. Да еще за что — за подготовку покушения на царя. После этого он со дня на день ожидал ареста, но его даже на допрос не вызывали. И только в апреле взяли с него подписку о невыезде. Поездку в Сибирь пришлось отложить. Наконец его вызвал прокурор и предъявил несколько фотографий, чтобы опознать тех, кто бывал у Александра Ильича. Прокурор беседовал с ним корректно, ни о чем особенно не осведомлялся. Чеботарева опять оставили на свободе.

И вот повестка — явиться в суд. Вызвали его как свидетеля. В свидетельской комнате было полно народу, в большинстве — агенты полиции, дворники, хозяева квартир. У одного городового красовалась на груди золотая медаль. Дворник Матюхин, увидев Чеботарева, поклонился ему, тихо пробасил:

— И вас того... вызвали?

— Как видите.

— Да,— покачал головой дворник,— такое дело...— И пожаловался: — Мне уже другой месяц покою не дают... Все ругают: прозевал, мол. А кто ж тут не прозевает... Ежели вот вы, к примеру,— надежный господин, так смотри не смотри, а беды не будет. А коли что... Ну, опять-таки: на лбу не написано...

— Кандидат университета Чеботарев! К присяге!

Переступив порог зала суда, Чеботарев бросил взгляд на подсудимых. Александр Ильич сидел на левом краю передней скамейки, высоко подняв курчавую голову. В позе его не чувствовалось напряжения, и казалось: он сидит не на скамье подсудимых, а в аудитории — внимательно слушает лекцию. Генералов наклонился и что-то шепнул ему, он в ответ чуть приметно кивнул головой. Шевырев беспокойно оглянулся и заерзал на скамейке. Лукаше-

вич — он был на голову выше всех — задвигал плечами и еще больше сгорбился,— ему, по-видимому, было очень неловко оттого, что своим высоким ростом он постоянно привлекал к себе внимание, оказываясь тем самым как бы в центре группы. Шмидова привычным жестом поправила пышную прическу, и вся как-то подобралась, насторожилась.

Во время присяги Чеботарев опять взглянул на подсудимых и встретился взглядом с Александром Ильичем, который, по-видимому, давно уже следил за ним. Взгляд был уверенный и такой ободряющий, что у Чеботарева немного отлегло от сердца. Услышав спокойный голос Чеботарева, Александр Ильич понял: тот будет вести себя достойно — и кивнул ему, точно хотел сказать: держись, мол, смелее! Это удивительное самообладание Александра в таких тяжелых обстоятельствах казалось Чеботареву просто невероятным,— у человека хватает сил не только самому держаться, а еще и других ободрять!

Полистав какие-то бумаги, председатель суда посмотрел на Чеботарева, на подсудимых и, пододвинув зачем-то поближе колокольчик, начал задавать вопросы своим монотонным старческим голосом. На его длинном лице с обвисшими щеками было написано одно: вот-вот он зевнет. И он, действительно с трудом сдерживая зевок, спросил:

— Что вам известно о вашем совместном проживании на одной квартире с Ульяновым?

— Осенью прошлого года мы решили поселиться вместе, потому что находили более удобным жить на отдельной квартире. Тем более что я считал Ульянова человеком, который серьезно относится к занятиям в университете. На его предложение я согласился. Мы и раньше были знакомы,— помолчав, добавил Чеботарев, так как Дейер, помаргивая, смотрел на него и ждал, что еще он скажет.— Поселились вместе, кажется, в октябре или сентябре и жили до половины января.

Наступило продолжительное молчание. Дейер нахмурился: он не получил ответа на свой вопрос. Чеботарев, улучив момент, когда Дейер наклонился над бумагами, кинул быстрый взгляд на Александра Ильича. Тот прикрыл глаза: так, мол, и держись. Старый, хитрый как лисица, Дейер тоже взглянул на Ульянова, но на лице у Александра Ильича не дрогнул ни один мускул.

— Почему же вы переехали на другую квартиру? — уже с заметной ноткой раздражения в голосе продолжал Дейер.

— Потому, что на рождество я получил уведомление, что мне предстоит поездка в Восточную Сибирь...

— Вы знали тех, кто посещал Ульянова? — строго и даже с оттенком угрозы в голосе спросил Дейер.

— Я лично знаком с Шевыревым и Шмидовой.

Опять наступила продолжительная пауза. Дейер откашлялся, грозно нахмурился, вытер платком глаза и продолжал, с трудом сдерживая раздражение:

— А больше никого не знали?

— Раза два видел Лукашевича.

От этого вытягивания ответов терпение Дейера лопнуло. Он схватил колокольчик, стукнул им по столу, крикнул:

— А Осипанова, Генералова, Андреюшкина, Канчера? Знали их?

Генералов все время шептался с Осипановым, должно быть комментируя поведение Дейера, так как Осипанов с трудом сдерживал улыбку. Услышав свою фамилию, он глянул на Чеботарева, потом перевел взгляд на Дейера, вытер платком глаза, как это делал тот, и быстро замигал, передразнивая председателя. Дейер, заметив это, потянулся было за колокольчиком, но, поняв, что повода для замечания нет, оттолкнул колокольчик так, что тот чуть не слетел со стола. Чеботарев с трудом выдавил:

— Генералова знаю в лицо...

— А Шевырев часто бывал у Ульянова?

— Нет, очень редко.

Пустые, глубоко посаженные глаза Дейера моргали и слезились, голос срывался на крик. А когда он кричал, то так смешно взвизгивал, что даже члены суда торопливо выхватывали носовые платки и начинали сморкаться, чтобы скрыть улыбку. Прокурор Неклюдов поспешил на помощь Дейеру:

— В декабре к Ульянову ходило больше народу?

— Тогда бывали часто.

— Встречали вы у него Говорухина?

— Я знал его раньше, но в последнее время его не было видно.

— Генералова и Лукашевича видели?

Прокурор явно повторял то, что уже спрашивал Дейер, и у председателя суда рука невольно потянулась за колокольчиком. Он сердито поглядел на прокурора.

— Лукашевича я видел в начале осени. Что касается Генералова, ничего определенного сказать не могу.

— А не припомните ли поточнее? — строго, настойчиво продолжал прокурор.

Чеботарев задумался, помолчал, потом ответил:

— Генералов бывал, но очень редко.

— То, что вы показали на предварительном следствии, правда?

— Я говорил то же самое.

Прокурор и председатель суда не знали, что еще можно вытянуть из этого свидетеля. Александр Ильич, воспользовавшись заминкой, встал и попросил разрешения задать вопрос Чеботареву. Дейер настороженно выпрямился, взглянул на членов суда, как бы обращаясь к ним за помощью. Александр Ильич следил за ним с таким спокойным и сосредоточенным видом, что тот не мог ему отказать. Чеботарев, невольный свидетель этого немого поединка, думал: «Как неузнаваемо изменился он за время заключения! Как возмужал! Даже голос у него стал как-то внушительнее».

— Видели ли вы у меня Новорусского и Ананьину? — повернувшись к Чеботареву, спросил Александр Ильич.

Чеботарев понял: Ульянов хочет выгородить Новорусского и Ананьину — и поспешно ответил:

— Никогда не видал!

— Как же вы утверждаете, что Новорусский никогда не бывал, если не знаете его в лицо? — с язвительной улыбкой спросил Неклюдов.— Где он? Где он сидит?

— Третьим.

— Откуда же вы его знаете? — быстро продолжал Неклюдов: он уже радовался, что поймал Чеботарева на лжи.

— Его показывали мне свидетели.

— Кто же это показывал? — грозно спросил Дейер, окидывая взглядом зал.

— Пристав Сакс.

Поняв, что от Чеботарева не только ничего не добьешься, а он может своими показаниями еще и выгородить подсудимых, Дейер отпустил его...

4

Свидетелями обвинения выступали агенты охранки, околоточные надзиратели, городовые, дворники. Всех их учили заранее, что нужно говорить, но толку от этого было мало. Эти верные слуги царевы так бесстыдно и нагло лгали, что Ульянов, Андреюшкин и другие подсудимые нередко загоняли их в тупик своими вопросами. А некоторые свидетели просто уклонялись от ответов на вопросы.

— Бывала Шмидова у Ульянова? — спрашивает прокурор Неклюдов дворника Матюхина.

— Бывала,— с трудом выдавливает тот.

— Сколько же раз, припомните хорошенько,— требует Неклюдов, заметив, что Матюхин «припоминает» без особого рвения.— И с кем она приходила?

Матюхин мнет картуз, переступает с ноги на ногу, поднимает глаза к потолку и с тяжелым вздохом говорит:

— Не могу припомнить.

Прокурор досадливо морщится, что-то быстро записывает, а Матюхин, виновато потупившись, двигает плечами так, точно у него между лопаток зачесалось. Допрос опять продолжает Дейер. Звякнув колокольчиком,— Матюхин поднял голову и не моргая уставился на него,— строго спрашивает:

— Кто еще бывал у Ульянова?

— Этого не могу знать,— снова мотает головой Матюхин.

Хозяин квартиры, саксонский подданный Пауль-Гуго-Арно Флюгель на вопрос, кто посещал Ульянова, ответил, коверкая слова:

— Один молодой девушка, кажется, его знаком, но наверно сказайт не могу.

— Которая, как ее фамилия? — допытывается Дейер.

— Не знайт...

— Чем занимался Ульянов, когда жил у вас?

— Не знайт,— повторяет он.

После некоторого замешательства задает вопрос прокурор Неклюдов:

— Я попросил бы точнее указать, которая ходила к Ульянову?

Пауль-Гуго-Арно поворачивается к скамье подсудимых, окидывает всех взглядом и говорит:

— Сердюкоф.

— Хо-хо-хо,— схватившись за голову, громко захохотал Генералов.— Попал пальцем в небо!

— Генералов! — яростно тряся колокольчиком, крикнул Дейер.— Я делаю вам второе замечание! Если еще раз позволите себе подобное, я прикажу удалить вас из зала заседания! Свидетель! Вам известно было, что Ульянов уезжал на несколько дней в Парголово?

— Я этого не знайт...

— Не бывал ли у Ульянова кто-нибудь,— снова задает вопрос Неклюдов,— из тех, что сидят здесь?

— Не могу вспомнить. Я тогда видел их эйн момент.

— Фамилию Андреюшкина знаете?

— Нет.

— Вполне ли вы уверены, что к Ульянову приходила Сердюкова?

— Я не могу утверждайт это.

Самой разговорчивой оказалась хозяйка квартиры Говорухина и Шмидовой. Она сообщала такие подробности личной жизни своих квартирантов, что даже Дейер вынужден был несколько раз останавливать ее. Оказалось, что эта болтливая баба, заметив принесенные Говорухиным вещи, полезла проверять их. Увидав бутыли с кислотой, она кинулась к дворнику, тот побежал в участок. Но околоточный надзиратель — вот еще одно доказательство того, как бдительно несла службу полиция,— сказал ему: «Может, жильцы не платят Прокофьевне за квартиру, вот она и хочет выставить их, а ты, дурень, рад стараться. Пошел вон! Будет время, зайдем». Но когда околоточный собрался зайти, кислоты уже не было.

Дворник Новорусского Гурьянов, по подсказке полиции, начал уверять, будто бы Ананьина, когда ее арестовывали, угрожала ему: «Смотри же, если ты нас выдашь, мы тебе припомним». Под перекрестными вопросами Ульянова, Новорусского и Ананьиной он так запутался, что, когда прокурор Неклюдов, стараясь выправить положение, начал задавать ему наводящие вопросы, произошел такой выразительный диалог.

— Вспомните, за что Ананьина угрожала вам? — просит Неклюдов.

— Не могу знать,— растерянно отвечает Гурьянов.
— Вспомните,— еще мягче уговаривает Неклюдов.
— Ничего не могу знать.
— Не говорила ли она вам, зачем, мол, ты указал наш адрес в Парголове? — подсказывает прокурор.
— Нет, ничего не говорила,— твердит свое Гурьянов.— Говорила только, чтобы не выдавать.
— Она, значит, предполагала, что их повезут в секретное отделение? — вмешивается Дейер, с трудом сдерживая раздражение.— Может быть, она боялась ваших показаний?
— Я ничего такого не думал... Я, как подчиненный полиции, так и обязан был докладывать...
— То, что полиция требовала,— добавил Осипанов, но Дейер сделал вид, что не слышит, и продолжал допрос. Но и другие свидетели не очень порадовали председателя суда...

5

Допрос свидетелей закончен. Председатель суда Дейер облегченно вздыхает и объявляет перерыв. После перерыва слово предоставляется обер-прокурору Неклюдову.
— Господа сенаторы! Господа сословные представители! — дождавшись абсолютной тишины, начинает Неклюдов.— В течение этих дней вы сами были свидетелями слез и смущения некоторых из подсудимых. Что же мог бы я прибавить к этому моим обвинительным словом?— Он помолчал и, обращаясь к залу, скорбно закончил: — Разве что указать на смущение и слезы самой России! Доказывать тяжесть настоящего злодеяния,— повышая голос продолжал он,— этого второго первого марта, значило бы только умалять его ужас. То, что не только в сознании, но и в сердце стомиллионного населения России,— любуясь собственным красноречием, вещал прокурор,— то, что, ежели и не в сердце, то, во всяком случае, в сознании самих подсудимых тяжелее отцеубийства, то, конечно, и без моего обвинительного слова останется таким же тяжким злодеянием и в глазах защиты и в вашем,— выразительный взгляд в сторону членов суда,— приговоре, ибо мы все,— голос прокурора переходит в патетический крик,—

от мала до велика, плоть от плоти и кость от кости все той же России!..

— Ну, понес! — покачал головой Генералов.— И смех, и грех! Хо-хо, Пахом, гляди: представитель народа и в самом деле слезу пустил. Ах, черт тебя подери...

«Представитель народа» волостной старшина Егор Васильев верноподданнически сморкался в большой грязный платок, слезливо помаргивая красными от постоянного пьянства глазами.

— Логика этого объяснения,— продолжал прокурор, переходя к критике террора,— весьма несложна: каждый человек имеет свои убеждения, свои идеалы; он может их не только пропагандировать, но и осуществлять. Если же ему не внемлют или же препятствуют силою его деятельности, то и он вправе прибегнуть к насилию.

— Правильно! — крикнул Осипанов. Дейер звякнул колокольчиком, кивнул прокурору: продолжайте, мол.

— Иными словами: мне не нравится, что Петербург построен на берегу Финского залива; я высказываю это убеждение другим, пропагандирую необходимость переноса столицы в иную местность России, но так как меня никто не слушает, то я вправе прибегнуть к динамиту, обратить столицу в груды развалин и затем,— приподняв руку, зычно возгласил прокурор,— предоставить обществу высказать свободно свое мнение о том, следует ли вновь возвести столицу на том же самом месте или же перенести ее в центр России...

— Железная логика,— иронически заметил Александр Ильич.

— Отчитай его! — зашептал на ухо Ульянову Генералов.— Да так, чтобы он надолго запомнил.

Далее прокурор, основываясь на том, что при аресте у Осипанова была найдена программа исполнительного комитета партии «Народная воля», а Ульянов начал печатать программу террористической фракции партии «Народная воля», делает вывод, что в этом заговоре слились силы двух революционных партий. Он говорит, что сущность программы, написанной Ульяновым, довольно проста, но излагает ее путано, неверно.

— Каждое общество,— пересказывает по-своему программу прокурор,— должно быть построено на началах социализма; современный общественный и государствен-

ный быт построен на других началах; следовательно, он должен быть разрушен, уничтожен и построен вновь; но так как разрушить и уничтожить его немыслимо без политического переворота, необходимо сначала произвести переворот. Средством для такого переворота долженствовала служить пропаганда, то есть распространение в различных слоях населения социально-демократических идей...

— Вот уж действительно, в огороде бузина, а в Киеве дядька,— засмеялся Генералов.— Слышал, Александр Ильич, что он нам приписывает? Пропаганду социально-демократических идей! Ну, философ...

— Я, конечно, не буду вдаваться ни в критику социализма,— рассказав о всех действиях террористов, продолжал прокурор,— ни в критику руководящих программ различных фракций партии «Народная воля»...

— Мудро,— похвалил Генералов.— Меньше чепухи наплетешь.

— Флаг, выставленный настоящею партией, флаг «Народной воли», есть флаг самозванный,— безапелляционным тоном, как и положено прокурору, возгласил Неклюдов.— Избранное ею средство — запугивание правительства — представляется совершенно бесцельным и не может привести ни к какому результату, ибо монарх русский,— вскинув вверх руку, так торжественно провозгласил Неклюдов, что даже задремавший было «представитель народа» старшина Васильев поднял голову,— стоял всегда выше всякого личного страха!

— То-то он и сидит безвыездно в Гатчине,— заметил Осипанов.

— Если припомнить,— продолжал прокурор, перечислив все, в чем обвинялся Александр Ильич,— что в это время не было уже в Петербурге ни Шевырева, ни Говорухина, то невольно приходишь к заключению, что Ульянов заменял собою на сходке обоих этих подсудимых — зачинщиков-руководителей.

Далее прокурор напомнил, что на руках у Ульянова была касса, что под его руководством Генералов и Андреюшкин приготовляли азотную кислоту, он составлял программу, его пропаганда ускоряла решимость других, он, наконец, вложил в это дело все свои силы и всю свою душу, что сам признал в своих показаниях.

6

Защитников не имели: Ульянов, Генералов, Андреюшкин и Новорусский. Первые трое по убеждению, четвертый — вследствие недоразумения. Защитительные речи Генералова и Андреюшкина были очень кратки.

— Выслушав обвинительную речь,— заговорил Генералов, как всегда, глухо и спокойно,— и находя фактическую сторону дела совершенно верною, я желаю обратить внимание суда на мой взгляд на террор. Каким его представил господин прокурор? В обвинительной речи он воспользовался цитатою из обвинительного акта и только первою частью того, что я говорил на следствии о моем взгляде на террор. Я сказал, что предоставил себя в распоряжение партии «Народная воля», но господин прокурор упустил вторую часть предложения, где говорится о том, что я считал в этих целях полезным. Но и в обвинительном акте не совсем верно выражено то, что я объявил и что я старался подробно выяснить в моих показаниях при дознании. Там я говорил, что террор считаю необходимым, ввиду существующей у нас реакции, только для достижения ближайшей цели партии — свободы слова, сходок и некоторого участия общественных сил в управлении. Свободы слова и сходок — для того, чтобы иметь возможность мирно проводить идеи в среду тех, которые пожелают нас слушать. Иметь некоторое участие общественных сил в управлении, дабы иметь администрацию, которая бы, при свободе слова, могла сочувствовать нашим идеям и исполнять их...

Все это Генералов проговорил не отрывая взгляда от прокурора, который сидел потупясь, точно это его совсем не касалось. Один только раз он покосился на председателя суда: отчего, мол, не остановите его? Дейер, сонно моргая, недовольно пробормотал:

— Это ваши возражения господину прокурору. А что вы можете сказать в свое оправдание?

— В свое оправдание я могу только привести то,— твердым голосом, громко проговорил Генералов,— что всегда, как и в данном случае, я поступал вполне так, как был убежден и согласно со своею совестью!

— И все? — после паузы спросил Дейер, которому хо-

телось, чтобы Генералов выразил хоть какое-нибудь раскаяние.

— Да, больше ничего не имею сказать.

— Гм! — недовольно хмыкнул Дейер. Поправил прядь волос, которая уже успела сдвинуться с его круглой лысины на ухо, полистал бумаги, сердито выкрикнул: — Андреюшкин!

Андреюшкин энергично встал, тряхнув кудрявой головой, и замер в такой позе, точно собирался читать стихи своего любимого поэта Шевченко. Эта романтическая приподнятость и какая-то окрыленность, всегда присущие ему, не покидали Андреюшкина и здесь, на скамье подсудимых. Дейер взглянул на Андреюшкина и понял: от этого тоже не услышишь раскаяния. Ему так не хотелось предоставлять слово Андреюшкину — но этого требовала буква закона,— что он не удержался даже от тяжелого вздоха. Долго перебирал бумаги, наконец выдавил:

— Вам слово, Андреюшкин! И прошу говорить только то, что касается вас лично!

На смуглом лице Андреюшкина промелькнула чуть заметная улыбка. Он помолчал, как бы собираясь с мыслями, потом заговорил, энергично и четко выговаривая каждое слово:

— В обвинительном акте приведена выписка из моей памятной книжки. Господин прокурор воспользовался этою выпискою, но не всею, а только первою частью, хотя и в обвинительном акте она взята сама по себе, отдельно, без связи с тем, что потом было сказано. Я хочу сделать несколько объяснений по поводу этой выписки.

Председатель суда сердито заерзал в своем кресле, и Андреюшкин, заметив это, остановился. Он, должно быть, думал, что Дейер заговорит. Но тот, переглянувшись с прокурором, ничего не сказал, только сердито задвигал бровями и принялся поправлять прядь волос, которая никак не хотела держаться на его круглой лысине и все сползала на ухо. Андреюшкин продолжал:

— На основании этой выписки можно подумать, что социал-демократы и члены партии «Народная воля» находятся между собою в разладе, но этого вовсе нет. Если я и выразился об антагонизме социал-демократов, то относил этот антагонизм не к существующему направлению, а только к нескольким известным лицам.

— Что вы можете сказать в свое оправдание? — спросил Дейер явно для того, чтобы не дать возможность Андреюшкину говорить по теоретическим вопросам.

— В свое оправдание я ничего не могу сказать, потому что факты ясно говорят сами за себя.— Помолчав, Андреюшкин продолжил с каким-то гневным вызовом: — В качестве члена партии «Народная воля», делу которой я служил, я должен сказать, что я заранее отказываюсь от всяких просьб о снисхождении, потому что такую просьбу считаю позором тому знамени, которому я служил!

В тот день, когда Ульянову предстояло произнести свою защитительную речь, Марии Александровне удалось попасть в зал суда. Александр Ильич заметил, как она пробиралась поближе к скамьям подсудимых, встал и поклонился ей.

— Мама? — спросил Андреюшкин, проследив за его взглядом, и, вспомнив свою горемычную, теперь совсем осиротевшую мать, тяжело вздохнул. Как дорого дал бы он, чтобы хоть на одно мгновенье перенестись в родную станицу Медведевскую и постучаться в маленькое оконце белой хатки...

Выслушав смелые, беспощадные к себе выступления Генералова и Андреюшкина и увидев, каким одобрительным взглядом Саша обменивался с ними, Мария Александровна поняла: он будет говорить так же. Она думала, что после Генералова и Андреюшкина дадут слово Саше, и вся замерла, но Дейер предоставил слово защитнику Канчера, Горкуна и Волохова. Из его длинной и путаной речи Мария Александровна поняла: эти трое предали всех, и ей страшно стало при одной мысли, что так мог бы поступить ее сын. Как ни тяжело было ей, как ни страдала она оттого, что над Сашей нависла смертельная опасность, но она не могла не восхищаться его силой воли, его бесстрашием. Она знала его твердый характер, но никогда не думала, что он способен на такую самоотверженную борьбу.

— Ульянов! Ваше слово! — услышала Мария Александровна голос председателя суда, и сердце ее глухо забилось. Она видела, как Саша неторопливо встал, сде-

лал несколько шагов вперед, нахмурясь, окинул взглядом весь зал и, встретившись с нею глазами, чуть приметно кивнул ей. В выражении его худого лица, в глубоко запавших, но ярко горящих глазах, в том привычном жесте, каким он всегда поправлял густые пряди волос, спадавшие на лоб, было такое непостижимое спокойствие, что у Марии Александровны даже сердце стало ровнее стучать.

— Относительно своей защиты,— начал глухим и ровным голосом Саша,— я нахожусь в таком же положении, как Генералов и Андреюшкин. Фактическая сторона установлена вполне верно и не отрицается мною. Поэтому право защиты сводится исключительно к праву изложить мотивы преступления, то есть рассказать о том умственном процессе, который привел меня к необходимости принять участие в покушении.

Откинув движением головы прядь волос, упавшую на лоб, Саша продолжал после недолгого молчания значительно громче, как бы подчеркивая этим особую важность именно этих слов.

—Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае. Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось, и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы. Я понял, что изменение общественного строя не только возможно, но даже неизбежно...

Что же это Саша сказал? Уже в ранней молодости у него было недовольство существующим строем? Председатель суда в этот момент взглянул на нее: слышали, мол, что ваш сын говорит? А если слышали, то куда же вы смотрели? Как воспитывали его? Ведь в детстве он нигде, кроме семьи, не мог слышать речей о свободе, равенстве и братстве. Мария Александровна вспомнила, как Илья Николаевич любил те стихи Некрасова, в которых наиболее ярко были выражены именно эти мотивы, как он передавал эту любовь своим детям. Знал ли он, догадывался ли, на какую необычную почву падали эти зерна? На-

верно, знал,— ведь он так волновался, когда до него доходили слухи о выступлениях студентов. Она и теперь хорошо помнит, с какой тревогой ожидал он письма от Саши после того, как услышал, что за выступление студентов правительство закрыло Киевский университет. Саша тоже знал, что отец волнуется, и прислал тогда письмо, успокоившее их...

— Есть только один правильный путь развития,— слушала дальше Мария Александровна своего сына,— это путь слова и печати, научной печатной пропаганды, потому что всякое изменение общественного строя является как результат изменения сознания в обществе. Это положение вполне ясно формулировано в программе террористической фракции партии «Народная воля», как раз совершенно обратно тому, что говорил господин обвинитель...

Посмотрев на прокурора, который настороженно поднял голову, Саша выдержал небольшую паузу и продолжал:

— Объясняя перед судом ход мыслей, которыми приводятся люди к необходимости действовать террором, он говорит, что умозаключение это следующее.— В голосе Саши послышались иронические нотки: — Всякий имеет право высказывать свои убеждения, следовательно, имеет право добиваться осуществления их насильственно. Между этими двумя посылками нет никакой связи, и силлогизм этот так нелогичен, что едва ли можно на нем останавливаться...

— Пахом, гляди, как прокурор заерзал,— шепнул Андреюшкину Генералов.— Казенный философ...

— Из того, что я имею право высказывать свои убеждения, следует только то, что я имею право доказывать правильность их, то есть сделать истинами для других то, что истина для меня. Если эти истины воплотятся в них через силу, то это будет только тогда, когда на стороне ее будет стоять большинство, и в таком случае это не будет навязывание, а будет тот обычный процесс, которым идеи обращаются в право... Я убедился, что единственный правильный путь воздействия на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом. Но по мере того как теоретические размышления приводили меня к этому выводу, жизнь показывала самым наглядным обра-

зом, что при существующих условиях таким путем идти невозможно. При отношении правительства к умственной жизни, которое у нас существует, невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднительна...

Мария Александровна ушам своим не верила: неужели это ее Саша говорит? Она никогда не думала, что он может говорить так красноречиво и убедительно. И где? На суде, под тяжестью такого страшного обвинения! Но почему он ничего не говорит в свое оправдание? Неужели он считает себя настолько виновным, что ему абсолютно нечего сказать? У нее болезненно сжималось, щемило сердце.

— Правительство настолько могущественно, а интеллигенция настолько слаба и сгруппирована только в некоторых центрах, что правительство может отнять у нее единственную возможность,— продолжал Саша своим спокойным, ровным голосом,— последний остаток свободного слова. Те попытки, которые я видел вокруг себя, идти по этому пути еще более убедили меня в том, что жертвы совершенно не окупят достигнутого результата. Убедившись в необходимости свободы мысли и слова с субъективной точки зрения, нужно было обсудить объективную возможность, то есть рассмотреть, существуют ли в русском обществе такие элементы, на которые могла бы опереться борьба...

Председатель суда потянулся к колокольчику, но Саша, заметив это, остановился. Как только Дейер убрал руку, он продолжал более торопливо:

— Ближайшее политическое требование интеллигенции — это есть требование свободы мысли, свободы слова. Для интеллигентного человека право свободно мыслить и делиться мыслями с теми, которые ниже его по развитию, есть не только неотъемлемое право, но даже потребность и обязанность...

— Потрудитесь объяснить,— сердито остановил его Дейер,— насколько это действовало на вас и касалось вас, а общих теорий нам не излагайте, потому что они нам уже известны.

— Я не личные мотивы излагаю, а основания общественного положения,— повысил голос Саша.— На меня

все это не действовало лично, так что с этой точки зрения я не могу приводить субъективных мотивов.

— А если не можете приводить,— раздраженно кинул Дейер,— тогда нечего и возражать против обвинительной речи!

— Я имел целью возразить против той части речи господина прокурора,— выдержав паузу, спокойно ответил Саша,— где он, объясняя происхождение террора, говорил, что это отдельная кучка лиц, которая хочет навязать что-то обществу; я же хочу доказать, что это не отдельные кружки, а вполне естественная группа, созданная историей, которая предъявляет требования на свои естественные и насущные права...

— Под влиянием этих мыслей вы и приняли участие в злоумышлении? — снова перебил его Дейер.

— Я хотел бы это пояснить...

— Будьте по возможности кратки в этом случае! — сердито проворчал Дейер, передвигая пухлые тома «дел», лежавших перед ним.

«Что же он не дает говорить! — наблюдая за этим неравным поединком сына с председателем суда, подумала Мария Александровна.— Что Саша еще хочет сказать?» И если вначале ей хотелось, чтобы Саша скорее закончил свою речь и тем самым меньше обвинил себя самого, то теперь, когда председатель суда начал перебивать Сашу, ей уже хотелось, чтобы сын высказал все, что думает. Говори, Саша! Говори!

— Среди русского народа всегда найдется десяток людей,— сказал Саша с силой непоколебимого убеждения,— которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь.

— Верно! — кинул реплику Осипанов.— Совершенно верно!

Когда же? Когда же у нее вот так же щемило сердце? И вдруг с болью, пронизавшей всю ее, она вспомнила: в день смерти Ильи Николаевича! Перед глазами ее возникла церковь, гроб... Боже праведный! Неужели и над Сашей неотвратимо нависла смерть? Марии Александровне стало так невыразимо тяжело, что она не могла больше оставаться в этом страшном зале суда, который казался ей теперь

похожим на церковь в минуты отпевания покойника. Она едва сдержала рыдания, подступившие к горлу, встала и, посмотрев на Сашу долгим, словно бы прощальным взглядом, медленно направилась к выходу. Дейер, заметив это, взялся было за колокольчик, но увидев, что она идет не к сыну, а к выходу, успокоился. Проводив мать долгим скорбным взглядом, Александр Ильич продолжал гневно:

— Но ни озлобление правительства, ни недовольство общества не могут возрастать беспредельно. Если мне удалось доказать, что террор есть естественный продукт существующего строя, то он будет продолжаться, а следовательно, правительство будет вынуждено отнестись к нему более спокойно и более внимательно. Тогда оно поймет...

Дейер сердито затряс колокольчиком, произнес тоном приказа:

— Вы говорите о том, что было, а не о том, что будет!

— Чтобы мое убеждение о необходимости террора,— спокойно пояснил Александр Ульянов,— было видно более полно, я должен сказать, может ли это привести к чему-нибудь или нет. Это составляет такую необходимую часть моих объяснений, что я прошу разрешения сказать несколько слов...

— Нет, этого достаточно, так как вы уже сказали о том, что привело вас к настоящему злоумышлению.— Дейер переглянулся с прокурором, спросил: — Значит, под влиянием этих мыслей вы признали возможным принять участие в покушении?

— Да, под влиянием их,— с открытым вызовом ответил Александр Ильич.— Все это я говорил не с целью оправдать свой поступок с нравственной точки зрения и доказать политическую его целесообразность. Я хотел доказать, что это неизбежный результат существующих условий, существующих противоречий жизни. Известно, что у нас дается возможность развивать умственные силы, но не дается возможности употреблять их на служение родине.— Александр Ильич обернулся к Неклюдову, продолжил:— Такое объективно-научное рассмотрение причин, как оно ни кажется странным господину прокурору, будет гораздо полезнее, даже при отрицательном отношении к террору, чем одно только негодование.

— Правильно! — выкрикнул Генералов.

— Вот и все, что я хотел сказать.

7

В первые дни после отъезда матери в Петербург Володе было очень тяжело. В гимназии ученики — да и учителя! — не давали ему прохода, докучая расспросами о брате и сестре. Володя понимал: спорить — значит давать лишний повод к таким разговорам. И он молчал. Знал: кто злится, того еще больше дразнят.

Из двадцати шести учеников, поступивших в первый класс гимназии вместе с Володей, только пятеро дошли до восьмого класса. И все эти восемь лет Владимир Ульянов неизменно был первым учеником гимназии. Многим это, естественно, не нравилось. Особенно завидовали Володе сынки симбирских богачей, почти в каждом классе сидевшие по два года. И когда они услышали, что брат и сестра Володи арестованы, радости их не было предела. Вот теперь Ульянов слетит с места первого ученика, теперь не видать ему золотой медали как своих ушей. Директору гимназии попало уже и за то, что он выдал золотую медаль Александру Ульянову.

Порядок был такой: по окончании последнего класса гимназии ученик должен был подавать прошение на имя директора гимназии о разрешении сдать экзамен на аттестат зрелости. Прошение рассматривал педагогический совет гимназии. Восемнадцатого апреля — в тот самый день, когда брат произносил свою речь на суде,— Володя отнес прошение директору гимназии Федору Михайловичу Керенскому. У Владимира Ульянова по всем предметам были пятерки, кроме логики. По логике Керенский поставил ему четверку. Это для того, чтобы не дать Володе золотую медаль, если гимназия получит соответствующие указания.

Прошения подавались в канцелярии. Но когда Володя пришел туда, письмоводитель, прочитав прошение, возвратил его Володе, сказав:

— Господин директор приказал, чтобы вы, Ульянов, зашли к нему.

У Володи сердце замерло: что это они надумали? Неужели болтовня о том, что его не допустят к экзаменам — он не раз сам это слышал,— окажется правдой? Но ведь это будет страшная несправедливость! Ну, ничего! Глав-

ное — не падать духом. Если даже и не позволят сдавать экзамены, это не такое уж большое горе — знания, какие он получил в гимназии, уже не уменьшатся и не увеличатся. Закроются только двери университета. И тут мелькнула мысль: «А как же Саша? Ведь вот какую неравную борьбу ведет он!» И сразу же все трудности показались ничтожными, не заслуживающими того, чтобы из-за них впадать в отчаяние.

— А, Ульянов...— протянул Керенский, отрываясь от бумаг.— Проходите, садитесь...

— Благодарю вас, господин директор,— ответил Володя, удивленный тем, что Керенский даже пригласил его садиться.— Мне передали, что вы велели зайти к вам...

— Да. Ну-с, какие там у вас новости? — спросил Керенский и, заметив, что Володя не спешит отвечать, добавил: — Мария Александровна уже возвратилась из Петербурга?

— Нет еще.

— Гм... А мне сказали, что уже вернулась,— несколько смущенно продолжал Керенский,— и я хотел бы попросить, чтобы она зашла ко мне...

— Она приезжала и недавно опять уехала.

— Что ж она ко мне не зашла? — недовольно нахмурился Керенский.

— Она дома была всего несколько дней и очень плохо чувствовала себя,— ответил Володя. (Это была чистая правда.)

— Так... Вы одни в доме с младшими?

— Нет. Уже вернулась из Пензы няня.

— Ну хорошо,— вздохнул Керенский.— Давайте ваше прошение и готовьтесь к экзаменам!

У Володи отлегло от сердца: значит, к экзаменам на аттестат зрелости его допустят. Педагогический совет ничего уже не изменит, ведь там все решалось так, как хотел директор.

Володя помчался домой поделиться своею радостью с Олей и няней. Митя и Маняша были еще слишком малы, чтобы понять, почему он так обрадован. У самого дома он догнал Ивана Яковлевича Яковлева. Володя и раньше глубоко уважал этого честного, доброго чуваша. А после того

как Сашу и Аню арестовали, но Яковлев не только не отвернулся от них, а стал еще заботливее, Володя искренне полюбил его. Ни с кем так откровенно не говорил о всех делах своих, как с Иваном Яковлевичем, потому что знал: он и поймет его, и сделает для него все так, как мог сделать разве что отец.

— Ты у Федора Михайловича был? — сказал Иван Яковлевич, весело жмуря свои добрые раскосые глаза.

— Кто вам сказал? — удивился Володя.

— А я тоже к нему заходил...

Володя понял: Иван Яковлевич, услышав, что Володю собираются не допустить к экзаменам, пошел к Керенскому. Вмешательству Ивана Яковлевича он и обязан тем, что Керенский пригласил его к себе. Володе хотелось обнять Ивана Яковлевича, но он не любил излишних нежностей, а потому только крепко пожал ему руку, сказав растроганно:

— Я прямо не знаю, как и благодарить вас, дорогой Иван Яковлевич, за все, что вы делаете для меня, для всех нас...

— А я тебе скажу как,— весело улыбнулся в широкую бороду Иван Яковлевич.— Что бы там ни было, ты обязан сдать экзамены на золотую медаль!

— Постараюсь.

— Вот и хорошо,— с удовлетворением заключил Иван Яковлевич.— Ну, что нового? От мамы есть письмо?

— Нет,— вздохнул Володя.— Должно быть, она уже после суда напишет. Судьба Ани уже, как сказали маме, решена: ей предстоит высылка в Сибирь. А что ждет Сашу — об этом, Иван Яковлевич, страшно и подумать. Цари, как известно, никого еще не щадили из тех, кто готовил покушение на них.

— Да. Но тут другие обстоятельства...

— Какие? Что они не успели метнуть свои бомбы? Так Каракозов, как известно, тоже промахнулся. А его все-таки повесили.

— А ведь Ишутину царь заменил смертную казнь каторгой? Заменил! Правда, он на каторге вскоре и умер. Многим террористам смертную казнь заменяли другими наказаниями. Будем надеяться, что и Саша, даст бог, живым выберется из этой беды...

8

Увидев бледное, как-то испуганно застывшее лицо Песковского, Мария Александровна поняла: произошло самое страшное...

— Что? — только и смогла вымолвить она.

— Смертная казнь...

Смертная казнь... Саша приговорен к смертной казни. Нет, это никак не укладывалось в ее голове! Нужно что-то делать. Нужно спасать его. Но как? Куда идти, к кому обращаться? Ведь она побывала уже у всех и всюду встречала самый холодный прием. А после того как она отказалась просить Сашу, чтобы он рассказал все, что знал, холодность к ней сменилась явной враждебностью. Директор департамента полиции после свидания ее с Сашей так и сказал: считайте теперь, что у вас нет сына. Вы, дескать, не только не вытащили его из петли, а еще сами затянули петлю у него на шее.

Смертная казнь... Боже мой, он еще живет, он еще ходит по камере и думает... О чем же он думает? Ведь он совсем еще не жил! И все время шел, как правильно сказал прокурор, прямой дорогой на эшафот. И во время свидания и на суде — всюду он вел себя так, словно твердо решил погибнуть, но ни на шаг не отступить от своих убеждений. Дело, за которое он боролся, было ему дороже жизни. Он все время заботился только о том, как бы не повредить этому делу, своим друзьям. Ни слова в свое оправдание она не услышала от него ни на свидании, ни на суде. Так как же она может его спасти? Что она может сделать, если он решил умереть, но не поступиться своим?

— Я узнал: приговор передан государю,— первым нарушил скорбное молчание Песковский.— Значит, остается одно: просить царя о помиловании. Двадцать третье апреля — день окончательного объявления приговора. Срок кассации сокращен с двух недель до двух дней. Надо торопиться! Вам нужно немедленно добиться разрешения на свидание и уговорить Александра Ильича подать прошение на имя государя. И если вы хотите спасти сына, то должны проявить железную твердость! В департаменте полиции мне сказали, что одиннадцать осужденных уже подали просьбу о помиловании на имя государя. Но среди них нет Александра Ильича. Более того: ему уже несколько

раз предлагали подать прошение, но Александр Ильич упорно отказывается. Мне дали понять, что если вы пожелаете уговорить Александра Ильича подать просьбу о помиловании, вам разрешат свидание с ним.

— Спасибо вам, Матвей Леонтьевич,— тихо сказала Мария Александровна.— Завтра же с утра поеду в департамент полиции. Ведь сегодня там уже никого нет...

Свидание с Аней Марии Александровне было назначено на утро, а с Сашей — в двенадцать часов. Мария Александровна рано поднялась, чтобы успеть купить чего-нибудь Ане — из того, что дают в тюрьме, она ничего почти не ела. Но нужно собрать передачу и Саше, ведь за один час, какой пройдет между свиданиями с дочерью и сыном, она ничего не успеет сделать. Придется просто посидеть в канцелярии тюрьмы. Один бог знает, как надоели, как опротивели ей все эти приемные и канцелярии. Век бы их не видеть! Она слышала не раз от Ильи Николаевича, от других, сколько времени нужно потратить, чтобы добиться чего-нибудь в этих канцеляриях. Но все, что она слышала, ни в какое сравнение не шло с тем, что ей довелось увидеть за эти несколько недель своими глазами. Более бездушных, черствых людей, чем те, кто сидит во всех этих канцеляриях, нет, пожалуй, на свете. У них не только сердца окаменели, но и глаза. Таких глаз, как у чиновников департамента полиции, Мария Александровна нигде не видела. У нее все холодело внутри, когда она встречалась со взглядом этих людей. И удивлялась: неужели они и родились такими? Неужели они и на своих жен и детей смотрят таким стеклянным взглядом?

Увидав мать, Аня со слезами кинулась ей на шею. Она вся дрожала, точно промерзла до костей, целовала мать, приговаривала:

— Мамуся, родная моя... Я всю ночь не спала, ждала тебя...

— Девочка моя, успокойся...— гладя Аню, говорила Мария Александровна.— Успокойся...

— Прости меня... У меня нервы совсем расшатаны...— вытерев слезы, сказала Аня.— Что с Сашей? — Увидев, что мать не спешит с ответом, Аня — ей не терпелось узнать об участи брата — спросила: — Ты была на суде?

— Была...

— Что же? Мамуся, что?

— Я поражена, как говорил Саша,— так убедительно, красноречиво. Я даже не ожидала, что он умеет так говорить. Да еще в таких тяжелых обстоятельствах. Чудесно говорил, но его все время перебивал председатель суда. Мне больно было смотреть на этот неравный поединок, и я вышла из зала...

— Так ты и приговора не слышала?

— Мне сказали.

— Неужели?.. Нежели... самое страшное? — спросила Аня дрогнувшим голосом, поняв уже по выражению лица матери, что случилось.

— Да. Теперь надежда только на милость государя.

— А разве Саша подал просьбу о помиловании?

— Пока что нет. Но у меня сегодня свидание с ним. Я буду просить его, чтобы написал.— Мария Александровна помолчала, спросила, чтобы перевести разговор на другое: — Он говорил, что писал тебе. Ты получила его письмо?

— Вот оно. Прочитай.

— Бумаг передавать нельзя,— вмешался надзиратель, присутствовавший при свидании.— Позвольте, сударыня...

Надзиратель подошел к Марии Александровне и не взял, а вырвал у нее из рук письмо. Аня кинулась к нему, крикнула возмущенно, едва удерживаясь от рыданий:

— Что вы делаете? Отдайте! Это письмо адресовано мне. Вы же сами его передали мне...

— А, это...— поглядев на письмо, проворчал надзиратель.— А я думал... Возьмите. Но другим вы все равно не имеете права передавать.

— Тогда я прочитаю!

— Тоже не полагается, но... Что ж, читайте...

— «Дорогая Анечка! — сквозь слезы начала читать Аня.— Большое спасибо тебе за твое письмо. Я получил его на днях и очень был рад ему. А немного замедлил ответом, надеясь увидеться с тобою лично, но не знаю, удастся ли нам это.

Я пред тобою бесконечно виноват, дорогая моя Анечка; это первое, что я должен сказать тебе и просить у тебя прощения. Не буду перечислять всего, что я причинил тебе, а через тебя и маме: все это так очевидно для вас обеих. Прости меня, если можно.

Я помещаюсь хорошо, пользуюсь хорошею пищей и

вообще ни в чем не нуждаюсь. Денег у меня достаточно, книги также есть. Чувствую себя хорошо, как физически, так и психически.

Будь здорова и спокойнее, насколько это только возможно; от всей души желаю тебе всякого счастия. Прощай, дорогая моя, крепко обнимаю и целую тебя.

Твой *А. Ульянов»*.

Аня перевела дыхание прочитала приписку: «Напиши мне, пожалуйста, еще; я буду очень рад получить от тебя хоть маленькую весточку. Я также буду писать тебе, если узнаю, что имею на это возможность. Еще раз прощай...»

— Пора,— нарушил скорбное молчание надзиратель.

— Еще минуточку,— взмолилась Аня.— Мамуся, а ты уверена, что Саша подаст просьбу о помиловании?

— Мне все говорят, что государь помилует, если он обратится к нему.

— Пора, сударыня,— напомнил надзиратель.

— До свиданья, Анечка!

— До свиданья, мамуся! — Аня обняла мать, направилась к выходу из камеры, но вдруг остановилась и спросила, пристально глядя на мать: — Мама, а ты мне все сказала про Сашу?

— Все...

— Тогда поцелуй его за меня.

— Хорошо, Анечка.

— Скажи, что лучше его, благороднее нет человека на свете...

— Скажу.

9

Граф Толстой приехал к царю с докладом о том, как закончился суд. Александр III спросил, кто подал просьбу о помиловании. И когда узнал, что Ульянов, Осипанов, Генералов, Андреюшкин и Шевырев отказались подать прошения, ярости его не было предела. Как же так? Даже после того как он надел этим мальчишкам веревку на шею, они не падают перед ним на колени, не умоляют даровать им жизнь? Выходит, они и на тот свет хотят уйти победителями? Нет, этого не будет! Он поставит их на колени!

— Делайте что угодно, но чтобы завтра же все написали просьбы о помиловании! — приказал царь графу Толстому.

Возвратясь из Гатчины, граф Толстой вызвал Дурново, спросил:

— Ульянов и его компания подали прошение о помиловании?

— С великим трудом священнику удалось уговорить Шевырева. Только после того как иерей Христовым именем поклялся, что царь дарует Шевыреву жизнь, если тот с раскаянием обратится к нему, Шевырев подписал прошение. Он признается в своем злодеянии и просит государя императора даровать ему жизнь. Завтра же я вызову Шевырева к себе и постараюсь вытянуть из него все, что можно. А Ульянов, Генералов, Андреюшкин и Осипанов отказались даже говорить со священнослужителем. Ульянов, правда, как обычно, был сдержан, учтив. Генералов — тоже как обычно — отделался шуткой: он, мол, уверен, что угодит в ад, а потому и не хочет подавать просьбу о помиловании, потому что в крепости не лучше, чем в аду. Андреюшкин долго пререкался со священником, доказывая ему, что бога нет. Священник терпеливо выслушал его, полагая, что он, поспорив, все же подпишет прошение, но Андреюшкин отказался. Осипанов же просто выгнал священнослужителя из камеры, обозвав его иудой.

— Да...— вздохнул граф Толстой.— И все-таки мы обязаны принять все меры, но заставить их подать покаянные прошения государю.

— Разве слухи, что государь помилует, на чем-нибудь основаны?

— Помилует ли, нет ли, но все преступники должны пасть к его ногам. Только тогда государь поверит, что они раскаялись, сказали все, что знали. Госпоже Ульяновой разрешено сегодня свидание с сыном. Нужно поговорить с матерью и с самим Ульяновым.

— Это мы сделаем. Но ведь вы помните, как госпожа Ульянова злоупотребила милостью государя?

— Да, она странная женщина,— ответил, помолчав, граф Толстой.— Таких матерей, по правде говоря, я еще не видел. Но теперь другая ситуация. Тогда были только разговоры, а теперь на шею ее сына уже накинута петля.

И у нее, конечно, не поднимется рука затянуть эту петлю. Сейчас она сделает все, чтобы спасти жизнь сыну.

— А мне сдается, ваше сиятельство, что и у матери, и у сына одинаковый характер. Ну, я сделаю все,— поспешил Дурново заверить Толстого, увидев, что сухое, морщинистое лицо графа недовольно насупилось.— Я сам, прежде чем разрешить свидание, поговорю с сыном и с матерью.

Когда Дурново приехал в тюрьму, Мария Александровна уже была в канцелярии,— она только что возвратилась со свидания с Аней. Но сначала он хотел поговорить с Александром Ильичем, а потом уже, если понадобится, с матерью. Не стал вызывать Александра Ильича в канцелярию, а прошел к нему в камеру.

— Как вы чувствуете себя, господин Ульянов? — деланно улыбаясь, справился Дурново.

— Очень хорошо,— отрываясь от книги, сказал Александр Ильич.

— Читаете?

— Да.

— Можно взглянуть, что это за книга?

— Пожалуйста.

— «Политическая экономия в связи с финансами»,— прочитал Дурново так, точно впервые видел эту книгу, хотя сам давал разрешение на передачу ее Ульянову.— О, да вы продолжаете интересоваться наукой! Это очень похвально. От многих людей я слышал, что ваше истинное призвание — наука, а не политика. И ваша матушка не раз говорила мне, что золотая медаль, которую вы получили в университете за научную работу, открыла вам путь в науку. А я сам был просто поражен, как хорошо вы знаете химию, когда слушал ваш спор на суде с экспертом генералом Федоровым. И мне все время не давала покоя одна мысль: как же случилось, что вы так круто свернули со своего настоящего пути?

Александр Ильич, не понимая, к чему клонит Дурново, молчал, хотя и чувствовал — тот пришел не случайно. Он что-то хочет вытянуть из него, а потому и норовит подольститься и улыбается своей казенной, заученной улыбкой. А Дурново, видя, что Ульянов не реагирует на его слова, свернул опять на то, ради чего пришел:

— Господин Ульянов, завтра кончается срок подачи прошений о помиловании на имя его императорского величества.

— Я это знаю.

— Я еще раз настоятельно советую вам подать просьбу о помиловании. Я совершенно уверен, что государь император примет во внимание вашу просьбу и дарует вам жизнь.

— Государь может сделать это и без моей просьбы.

— Да, но... Я буду с вами вполне откровенен: государь император дал понять, что без просьбы о помиловании он не отменит приговора суда.

— Я понимаю. Ведь суд выполнил приказ государя.

— Господин Ульянов! — вскипел Дурново.— Я просил бы вас не оскорблять суд хотя бы перед эшафотом!

— Господин директор департамента полиции,— спокойно, не повышая голоса, ответил Александр Ильич.— Вам хорошо известно, что эшафот единственное место в России, где можно говорить правду, не боясь, что тебя арестуют. И я не могу не воспользоваться этим.

— Господин Ульянов! — сбавил тон Дурново, увидев, как твердо держится его противник.— Я вынужден буду отказать вам в свидании с матерью.

— А я вас, господин директор, если вы помните, об этом и не просил. Мать моя и без того уже поседела за эти полтора месяца...

— Вот потому, что мне по-человечески жалко вашей бедной матушки, я решил еще раз поговорить с вами. Если вы о себе не думаете, если вам собственная жизнь не дорога, то подумайте, в каком положении окажется семья. Ведь она существует на пенсию, которую ваша мать получает за умершего отца вашего. Пенсию эту семье вашей дал государь император. И если вы будете так вести себя, то не исключена возможность, что государь прикажет отобрать пенсию.

— Я не знаю, как можно у мертвых отобрать то, что они заслужили при жизни?

— Ваш брат Владимир, как сказала мне ваша матушка, оканчивает Симбирскую гимназию. Ему предстоит поступать в университет. Я уже сказал вашей матери, что, даже если вы подадите просьбу о помиловании и смертная казнь будет заменена вам каким-нибудь другим наказани-

ем, я не уверен, что вашему брату разрешат обучаться, скажем, в столичных университетах. Но если вы будете казнены, то — в этом уже я уверен — ему совсем придется распрощаться с мечтой об университете.

— Вы уже сказали об этом моей матери?

— Да.

— Хорошо. Я подумаю,— сказал Александр Ильич, чтобы избавиться от непрошеного гостя.

— Ну, если так,— повеселел Дурново,— я вам разрешу свидание с матерью.

Вернувшись в канцелярию из тюрьмы, Дурново сказал Марии Александровне:

— Я только что беседовал с вашим сыном. Он значительно изменился. Он сказал, что, если я дам ему свидание с вами, он напишет прошение о помиловании. Вот вам образец прошения. Пусть ваш сын только перепишет и подпишет его. Но предупреждаю: не менять ни единого слова. Особенно в обращении так и должно быть: «Всепресветлейший, Державнейший Государь Император». И каждое слово с большой буквы. А перед подписью непременно: «Недостойный верноподданный».— Дурново вручил Марии Александровне бумагу.— И еще раз повторяю, госпожа Ульянова,— жизнь вашего сына отныне в его руках. И в ваших. Желаю вам успеха.

10

Надзиратель провел Марию Александровну в камеру, где происходили свидания. Саша уже ожидал ее там, как и во время суда, одетый в свое платье. Только одежда его была помята, чего дома он никогда не допускал. А вид бодрый. Словно был уверен, что царь заменит смертную казнь каким-нибудь незначительным наказанием. С мягкой улыбкой он пошел навстречу матери, как только увидел ее в дверях камеры, обнял, сказал ласково:

— Как хорошо, что ты, мамуся, пришла. Я видел тебя на суде, но не имел права подойти. А когда закончилось заседание — тебя уже не было.

— Я не могла выдержать до конца... А когда вернулась домой, то жалела, что ушла...— Мария Александровна внимательно посмотрела на сына.— Саша, мне разрешили

свидание, чтобы я поговорила с тобой относительно просьбы о помиловании на имя государя. Вот и образчик дали...— Мария Александровна вынула листок, подала сыну.— Тебе нужно только переписать и подписать...

— Не могу я, мама, сделать этого.

— Почему же, Саша? — удивленно и испуганно спросила Мария Александровна.

— А разве ты не слышала, что я говорил на суде?

— Слышала...

— Так почему же я должен теперь отказаться от своих убеждений? Только ради того, чтобы смертную казнь заменили мне пожизненным заключением? За то, что стану на колени перед царем, за то, что я отрекусь от всего, что считал — и буду считать, пока живу! — самым священным в мире, мне немедленную смерть заменят медленной? Даруют мне жизнь только для того, чтобы я мог еще не раз проклясть тот день, когда подписал эту просьбу о помиловании? Нет, мама, как ни больно мне, что даже в последние минуты я вынужден огорчать тебя, но я не могу поступиться своими убеждениями, они для меня дороже жизни! О том, что я могу погибнуть, я хорошо знал, когда начинал эту борьбу, и еще тогда поклялся, что не отступлю ни на шаг, чего бы это мне ни стоило. И если самому царю не вздумается заменить смертную казнь всем нам каким-то другим наказанием, то что ж... Не мы первые, не мы и последние сложим головы за священные идеалы свободы, братства и равенства, в борьбе за которые человечество потеряло уже тысячи, миллионы сынов своих. Ты у меня умница, дорогая моя мамуся, ты отнесешься ко всему этому так, как нужно. И это будет моим лучшим утешением в последние минуты моей жизни...

— Не могу я, Саша, смириться, что ты...— Рыдания, которые Мария Александровна едва сдерживала, не давали ей говорить.

— Понимаю, мамуся, что с этим трудно примириться. Но нужно. Нужно, мама! — твердо повторил Саша.— Я ни о чем не жалею, ни в чем не раскаиваюсь. Каждый свой шаг я делал так, как велела мне совесть. Я никогда и ни перед кем не унижался. И перед лицом смерти не стану этого делать. Я о многом думал в эти дни. И должен сказать тебе, родная моя, что если бы мне можно было начать все сначала, я многое сделал бы по-другому...

— Вот видишь...— обрадовалась Мария Александровна, впервые услышав о том, что сын говорит о будущем.

— Но если у меня возникли сомнения в том, можно ли террором добиться преобразования общества, отнюдь не значит, что я разуверился в необходимости борьбы с тиранией. Я тебе, мама, возможно, и не стал бы говорить всего этого, но знаю: Володя спросит тебя об этом. В прошлом году мы с ним много спорили. Скажи ему, что теперь я убедился: без партии, ядром которой будет рабочий класс — это я и в программе указал,— не добиться перестройки общества на социалистических началах. Скажи ему, что я его очень люблю. И очень верю в него. Утешаю себя тем, что мои ошибки многому научат его.

На свидании присутствовал молодой прокурор Князев. Ему было приказано создать такую обстановку, чтобы мать добилась от сына подачи просьбы о помиловании. Прокурор отходил к двери камеры и даже совсем выходил, когда видел, что Александр Ильич, взглянув на него, замолкал. Но вот прокурор подошел к Александру Ильичу, сказал:

— Пора кончать.

— Прощай, мама...

— Сашенька, я не могу... выговорить это слово. Все уверяют меня, что государь помилует. Я сама буду просить его об этом.

— Мама, не нужно этого делать.

— Но почему? Почему? Ведь ты хочешь жить? Ты имеешь право жить!

— Мама, пойми же ты, прошу тебя: я хотел убить человека, значит, и меня могут казнить. Ну, допустим на минуту, что я подам прошение,— продолжал Александр Ильич приводить новые доказательства, чтобы убедить мать в своей правоте,— и мне заменят смертную казнь пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости. Но какая это жизнь? Ведь там, как мне рассказывали, и книги дают только церковные. Ведь этак до полного идиотизма дойдешь. Неужели ты хотела бы этого для меня, мама?

— Саша, в жизни ничто не вечно,— настаивала Мария Александровна.— Многие из тех, кого приговаривали к пожизненному заключению, живыми и здоровыми выходили на свободу.

— Да, я знаю: со временем многое может измениться.

Я даже убежден, что будет именно так. Тем более это обязывает меня не идти ни на какие компромиссы, иначе какими глазами я буду смотреть тогда на тех, кто своим мужеством добился и моего освобождения? Тогда свобода будет для меня, мама, как тебе не трудно догадаться, такою мукой, какой я не пожелал бы и врагам своим... Умоляю, родная моя: пойми меня... Мне очень не хотелось причинять тебе боль в такую минуту, но... Я не могу по-другому... Прости меня, родная моя,— обнимая мать, проговорил Саша,— и прощай...

11

Так Мария Александровна и не смогла уговорить сына подать просьбу о помиловании. Возвращалась она со свидания, как с похорон. Долго шла по городу, сама не зная куда. Но вдруг возникла мысль: «Может быть, Матвей Леонтьевич что-нибудь посоветует?» Она наняла извозчика и поехала к Песковским. Матвея Леонтьевича не оказалось дома: понес статью в редакцию журнала «Вестник Европы». Мария Александровна, услышав об этом, вспомнила те времена, когда Назарьев печатал в «Вестнике Европы» статьи, в которых упоминалось о трудах Ильи Николаевича. Тогда Саша был еще совсем маленький...

Племянница Катя с большой симпатией относилась к Марии Александровне. Она делала все, чтобы отвлечь ее от печальных мыслей. Принялась угощать чаем, рассказывала о своих новостях — Екатерина Ивановна была начальницей гимназии,— хотя и видела, что Мария Александровна совсем не слушает ее. Вскоре возвратился и Матвей Леонтьевич. Узнав о том, что Саша отказался подать просьбу о помиловании, он возмутился:

— Бог знает что! Он просто из-за мальчишеской амбиции лезет в петлю! Мы должны удержать его от такого безумного поступка.

— Нет, Матвей Леонтьевич,— тяжело вздохнула Мария Александровна,— я уже потеряла надежду на это...

— Но вы не перенесете его казни! У вас за один этот месяц волосы поседели. А остальные дети? Он подумал о них? Я вот сам пойду поговорю с ним!

Мария Александровна начала упрашивать Песковского

не говорить Саше ничего, что могло бы причинить ему лишние страдания. Но Песковский раздраженно ответил:

— Не понимаю, чего вы хотите? Чтобы ваш сын был спасен или чтобы он погиб? Я делаю все, чтобы спасти его.

В департаменте полиции всегда шли навстречу Песковскому, потому что и он делал угодное им. И когда он обратился к Дурново, тот не мог скрыть своей радости, узнав, что Песковский берется уговорить Ульянова подать просьбу о помиловании. Ему дали образец прошения и разрешение на немедленное свидание. Песковский — литератор, и он, конечно, найдет более веские аргументы, чтобы сломить поистине железную волю Ульянова. И в департаменте полиции не ошиблись: на этом свидании Песковский действовал по своему жизненному принципу — все средства хороши. Он сказал Александру Ильичу, что мать, убитая его отказом подать прошение о помиловании, тяжело заболела. Вызванные врачи напрямик сказали ему, что она не переживет казни сына. И если даже останется в живых — на что мало надежды,— то за рассудок ее они не могут поручиться.

— Подумай, в каком положении окажется семья,— говорил Песковский.— Отца нет, мать тяжело больна. Значит, и за нею нужен уход. А денег нет ни копейки, и в департаменте полиции мне сказали, что если ты не подашь покаянного прошения, то государь прикажет лишить семью той пенсии, которую она получает за отца. А это означает, что семья останется без гроша, что им всем придется просто помирать голодной смертью, ведь побираться они не пойдут. Я уже не говорю о том, что собираю материал для книги о бароне Корфе, и в ней хотел сказать о педагогической деятельности Ильи Николаевича, а теперь не смогу этого сделать. Я понимаю: тебе трудно поступиться своими принципами, но ведь это нужно, это совершенно необходимо для спасения родных, близких людей. Людей, которым и без того очень тяжело, ведь они без вины виноваты. Я мог бы сюда не идти, но я считаю своим долгом сделать все, что от меня зависит, чтобы избавить семью от нового страшного несчастья. Да что — несчастья! От гибели!

Александр Ильич всегда с исключительной строгостью относился к своим словам, и они у него никогда не расходились с делом. Так как сам он не лгал ни в малом, ни в

большом, ему и в голову не приходило, что Песковский может в такие решительные, в такие тяжелые минуты его жизни прибегнуть к обману. А если мать, так дорожившая каждой минутой свидания с ним, не пришла вместе с Матвеем Леонтьевичем, то не приходилось сомневаться, что с нею действительно случилось что-то серьезное. Песковский, увидев, что Александр Ильич поверил ему, начал особенно налегать на то, что он должен сделать этот шаг не ради себя, а ради матери, братьев, сестер. Когда Александр Ильич сказал, что подумает об этом, он предложил было и «образчик» прошения, но тот отказался взять. Если он решит что-нибудь написать, то сделает это так, как сочтет нужным...

12

Еще до суда Канчер, Горкун и Волохов подали прошения на имя царя, в которых униженно молили его смилостивиться над ними и не очень строго наказывать их. Но и этого Канчеру показалось мало. После объявления приговора он строчит новое прошение. В нем, как в зеркале, видна вся его рабская, предательская душонка.

«Всепресветлейший, Державнейший Государь, Самодержец!

Михаила Никитина Канчера

Прошение

Несколько раз брался за перо, но оно выпадает из рук, и у меня не хватает сил, чтобы высказать Вашему Императорскому Величеству то, что мне говорит мое сердце.

Несчастный случай ввел меня в такую среду товарищей, которые сделали меня ужасным преступником. Я теперь сознаю это сам и ожидаю заслуженной смертной казни. Но у меня еще есть те чувства, которые даны богом только человеку; это чувство на каждом шагу преследует меня, злодея-преступника, и я, припав к стопам Вашего Императорского Величества, всеподданнейше прошу позволения высказать те, глубоко засевшие в мою душу слова, которые скажу и умирая. Я не революционер и не солида-

рен с их учением, а всегда был верным подданным Вашего Императорского Величества и сыном дорогого отечества. Мысль моя всегда была направлена к тому, чтобы быть верным и полезным слугою Вашего Императорского Величества и это оправдать на службе Вашего Императорского Величества.

Если же я и был сообщником злонамеренного преступления, то в это время я находился в состоянии, непонятном для самого себя, и объясняю это временным умопомрачением.

Недостойный верноподданный
Михаил Никитин Канчер».

Именно такой «образец» предлагали и Александру Ильичу. Но он не мог отречься от своих убеждений и униженно ползать в ногах у царя. Понимал — не только жизнью, но и смертью своею он должен звать на борьбу тех, кто пойдет вслед за ним. А в том, что после его казни борьба не прекратится, как она не прекратилась после казни многих других революционеров, сложивших свои головы за народ, Александр Ильич был глубоко убежден. Это придавало ему сил не пошатнуться, не сделать и шагу назад. Да, семье будет трудно. Но ведь не эгоистическими мотивами он руководствовался, когда начинал эту борьбу, он жил так, как подсказывали ему убеждения, как подсказывала совесть. Он не мог и сейчас не может выступить против своих убеждений, они ему дороже жизни. Мама это, конечно, понимает. На последнем свидании она не очень и настаивала на том, чтобы он подал просьбу о помиловании. Она только смотрела на него такими глазами, что у него вся душа холодела...

У семьи отберут пенсию. Володе не позволят учиться в университете. Олю, Митю и Маняшу, конечно, постигнет такая же участь. Но к тому времени, когда младшие закончат гимназию, что-то может измениться. А Володя? С Володей он о многом беседовал прошлым летом, хотя и не посвящал его во все свои дела. Правда, тогда еще группа не сформировалась, так что он ничего не мог сказать о ней брату. Возвращаясь после летних каникул в Петербург, он и сам еще не знал, что примет участие в покушении. Но он знал главное: Володя так же, как и он, воспринял от отца и

матери те же идеалы свободы, равенства и братства. Он критически относился к любому злу и несправедливости, возмущался тем, что народ прозябает, а не живет, что всякий инакомыслящий объявляется врагом отечества. Володя восхищался несгибаемым мужеством Чернышевского, который предпочел всю жизнь пробыть на каторге, но не отрекся от своих взглядов. И если Володя пойдет путем борьбы — а он уверен, что это будет так! — чем же он, Саша, поможет брату? Тем, что стал на колени перед царем и дал возможность ему, брату, закончить университет, или тем, что до конца шел неуклонно своим путем? Конечно, тем, что погиб, но не покорился своим врагам.

Мама... ей очень тяжело. Но что он может поделать? Сказать ей, что это она и отец так воспитали его? Она и сама это знает. Она и сама понимает, что он не может пойти против своей совести, и не просит его об этом. Она только не может примириться с тем, что он погибнет. Ей хочется спасти его. У нее просто не укладывается в голове, что он, еще только приступая к борьбе, уже обрек себя на гибель. Она верит — потому что ей очень хочется этого — уговорам Дурново, прокурора и всех прочих чинуш, будто бы царь хочет его помиловать, и не понимает, что они нагло обманывают ее. Ведь все эти люди — теперь он в этом окончательно убедился — лишены чести и совести, они абсолютно ничем не отличаются от животных. Для них ничего на свете не существует, кроме воли его императорского величества. А вернее сказать, кроме страха перед царем. На какие хитрости они ни пускались, лишь бы вытянуть из него то, что им хотелось! Вспомнить тошно.

Все это так, но что же сделать, чтобы спасти мать? Как поступить, чтобы не отречься от своих убеждений и избавить мать от удара, о котором говорил Песковский? Он обещал Песковскому подумать, и тот, конечно, передаст матери, что уговорил его подать просьбу о помиловании. Это уже успокоит ее. А он вместо прошения напишет письмо на имя царя.

Александр Ильич постучал в дверь. Надзиратель немедленно открыл оконце, в которое подавали пищу,— ему было приказано дежурить возле камеры Ульянова и выдать бумагу, как только тот попросит,— спросил таким голосом, точно это был не грозный владыка всех арестантов, а лакей:

— Что прикажете?

— Дайте бумагу и чернила.

— Извольте, у нас все давно приготовлено,— ответил надзиратель, просовывая в окошечко бумагу, чернильницу, перо.— Ежели бумаги не хватит, постучите, я еще дам...

— Благодарю вас. Этого листа мне вполне достаточно,— ответил Александр Ильич, так как решил писать коротко.

Александр Ильич положил все на столик и принялся ходить по камере, обдумывая текст письма, потому что черновик нельзя было набрасывать: его все равно отберут и прочтут. Нужно было составить в голове весь текст, а затем уже написать без единой помарки. Он видел, что возле глазка в дверях стоит надзиратель и следит за любым его движением. Это его раздражало. Ни минуты не дадут побыть наедине с самим собой.

Всю ночь Александр Ильич не присел даже, а все ходил и обдумывал каждое слово обращения к царю. Уже когда за окном камеры забрезжил рассвет, он сел за столик и с усилием, побеждая внутреннее сопротивление, не написал, а выдавливал из себя каждое слово:

«Ваше Императорское Величество!

Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием.

Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиною смерти моей матери и несчастья всей моей семьи.

Александр Ульянов».

Едва Ульянов попросил бумаги, об этом тут же доложили Дурново. Тот сообщил графу Толстому, что Ульянова сломили: он тоже пишет просьбу о помиловании. Утром Дурново сам явился в крепость, чтобы забрать прошение Ульянова. Прочитав то, что написал Александр Ильич, он налился кровью. Да это просто наглость! Никакого раскаяния, и даже подписано не «верноподданный», а просто «Александр Ульянов». Александру III пишет Александр Ульянов! Неслыханно! И как все тут взвешено, как тонко обдумано! Ни одним словом он не признает своей вины, ни одним словом не говорит о том, что раскаивается, отрекается от всего, что совершил. Ему только, видите ли, жалко мать и семью. Да кому нужны его мать и его семья! Если помрет такая мать, погибнет семья, из которой выходят такие преступники, то и слава богу. Но что же он скажет теперь графу Толстому? Ведь такое письмо не только государю, а даже графу Толстому показывать нельзя. Даже если бы царь решил уже помиловать, то, прочитав такое письмо, прикажет казнить. А может быть, это просто ход конем? Он решил написать это письмо, чтобы успокоить мать, чтобы спасти ее? Ведь если мать узнает, что сын обращался к царю, а его все равно казнили, то каждому ясно, что она подумает, кого будет проклинать...

Дурново решил еще раз поговорить с Ульяновым. Он уже и не надеялся, что тот подпишет настоящую просьбу о помиловании, но все же не мог удержаться, не попробовать еще раз сломить его. Утром матрац с койки забрали, и Александр Ильич после чая сидел за столиком, борясь с дремотой. Дурново вошел в камеру и сердито спросил, размахивая его письмом:

— Кому и зачем вы все это написали?

Александр Ильич встал, глубоко вздохнул, протер глаза, слипавшиеся со сна, спокойно ответил:

— Все это видно из письма, если вы его читали.

— Слушайте, Ульянов! — вспыхнул Дурново.— Вы просто нахально злоупотребляете моим хорошим отношением к вам! Я во всем иду вам навстречу, а вы... Ну что вы написали? Кому вы писали? Приятелю, что ли? Мы ведь вам давали образец. Мы вас предупреждали, что если прошение будет написано не по форме, то оно не попадет к государю. И главное: где же ваше раскаяние? Где ваше заверение, что вы будете надежным верноподданным госуда-

ря императора? Где, наконец, ваша готовность передать в руки правосудия остальных преступников, которые, благодаря вам, до сих пор не арестованы? Возьмите эту бумажку и немедленно напишите прошение по форме! Ведь вы один только остались из всех,— солгал Дурново, не моргнув глазом,— кто не подал просьбы о помиловании. Вот, пожалуйста! Вчера Шевырев пал на колени перед государем императором и умоляет даровать ему жизнь. И я уверен, что государь император, доброта которого беспредельна, отменит ему смертный приговор...

Дурново говорил долго, а когда закончил, Александр Ильич сказал:

— Ничего больше, господин Дурново, я писать не стану.

— Это ваше последнее слово?

— Да.

— Так знайте же: это письмо дальше департамента полиции никуда не пойдет! А вас ждет смерть!

— Это я давно знаю. Но даже если бы мне пришлось трижды умереть, я и тогда не отрекся бы от всего того, что считал для себя священным. Это просто свыше моих сил...

Письмо Александра Ильича, как и заявил Дурново, к царю не попало. Его положили под сукно в департаменте полиции. В «Правительственном вестнике» было сообщено, что после вынесения приговора только одиннадцать осужденных подали всеподданнейшие прошения о помиловании. На столе у царя, вместе с приговором суда, лежали просьбы всех, кроме Ульянова, Андреюшкина, Генералова и Осипанова.

13

Пока шел суд, Александр Ильич находился в Доме предварительного заключения, где условия были гораздо лучше, чем в крепости. Ему выдали собственную одежду, книги. Мать приходила на свидание. Но когда суд закончился, его снова перевезли в Петропавловскую крепость и заперли в той же сорок седьмой камере. Переодели во все тюремное, заковали в ножные и ручные кандалы. Книг, правда, не отобрали, и он читал и перечитывал томик Гейне на немецком языке, которым владел так же свободно, как и русским. Он думал, что теперь уже никого не пустят

к нему на свидание. Да это и лучше: мать и так возвращается со свиданий чуть живая. И у него, при виде ее мучений, вся душа изболелась. Ну, а Песковского он просто ненавидел за бесцеремонность, с какою тот вмешивался в его дела. Вся борьба, значит, закончена, теперь осталось только ожидать своего смертного часа, готовиться к нему, чтобы встретить его так, как встретили Желябов, Перовская, Кибальчич и тысячи других бойцов, полегших в неравной борьбе за самые священные идеалы человечества...

Проходил день за днем. Никто не говорил Александру Ильичу, утвердил царь приговор суда или нет. Но по отношению к нему надзирателя он чувствовал, что находится на положении смертника. И каждую минуту ждал, что вот откроется дверь камеры и ему объявят, что царь утвердил смертный приговор. Как ни убеждал он себя, что нужно спокойно относиться ко всему, однако невольно вздрагивал, когда открывалось окошечко или кто-нибудь шевелился за дверью. Сердце билось учащенно, и он уговаривал себя: «Спокойно, спокойно». И чувствовал, что за время следствия и суда нервы его начали сильнее отзываться на все.

И вот дверь камеры открылась, надзиратель приказал:

— Ульянов, идите за мной!

«Вот и конец»,— молнией мелькнула мысль, и остро кольнуло сердце. Александр Ильич глубоко вздохнул, чтобы приглушить сердцебиение и, твердо ступая, пошел за надзирателем. Когда он вышел в коридор — а коридор был широкий, светлый, только стекла матовые, так что через них ничего не видно,— его окружили четверо стражников. Один стал впереди, двое по бокам, четвертый сзади. Как только стражники заняли свои места, надзиратель подал команду, и вся процессия двинулась по лестнице вниз, на первый этаж. Александра Ильича провели по длинному коридору первого этажа, остановились у двери камеры. «Неужели здесь и будут вешать?» — подумал Александр Ильич, оглядываясь: не ведут ли его товарищей? Но когда надзиратель, побренчав ключами, отпер дверь, то Александр Ильич, заглянув в камеру, глазам своим не поверил: за густой решеткой, разделявшей комнату пополам, стояла мама, комкая носовой платок. Уж не почудилось ли ему? Александр Ильич улыбнулся и увидел, как его улыбка, точно луч солнца, отразилась на лице матери. Нет, это мама! Да как же она сумела проникнуть сюда? Как она

добилась свидания с ним после всего, что он сказал Дурново? Ему хотелось кинуться к матери, обнять и расцеловать ее, но их разделяли две решетки, между которыми ходил караульный с винтовкой. Саша, звеня кандалами, подошел к решетке, взялся руками за железные прутья, наверно, и проржавевшие-то от тех слез, какие были пролиты здесь при последних свиданиях. Сказал, как говорил еще в детстве, когда, проснувшись поутру, входил в ее комнату:

— Мамуся, родная моя...

— Здравствуй, Сашенька,— мягко, но как-то страдальчески улыбаясь, сказала мать.— Как ты чувствуешь себя?

— Хорошо. А ты? Мне Матвей Леонтьевич тут такого было наговорил, что я места себе найти не мог...

Мария Александровна нахмурилась, сказала с нескрываемой досадой:

— Ох, какой он. А ведь я его просила... И хоть он обещал мне, что не будет требовать от тебя такого, чего ты не можешь сделать, мне все эти дни было так больно... Ну, ты, Сашенька, не сердись на него: он хоть и по-своему, а добра тебе желает. Он и мне во многом помог... Особенно Катя... Она самый сердечный привет тебе передавала... Ну, вот как...

— Аню выпустили?

— Нет, она еще сидит. Ей, как мне сказали, придется, должно быть, отбывать ссылку в Сибири. Мы все тоже туда поедем. Я об этом уже говорила даже в департаменте полиции. Хочу только добиться, чтобы ей назначили какой-нибудь университетский город, где бы и Володя мог продолжать учение. Так что ты не волнуйся: мы устроимся. Все будет хорошо... И вообще,— с ударением на этом слове продолжала Мария Александровна, ободряюще улыбаясь,— все будет хорошо.

Еще вчера Мария Александровна услышала, что царь заменил всем смертную казнь каторгой. Об этом говорил весь Петербург. Она воспрянула духом: значит, ее Саша будет жить! Это главное. А цари, как известно, не вечны. Может быть, власть, даст бог, переменится, и двери тюрьмы, как это всегда бывало, откроются. Саша еще молод, полон сил. Даже если он двадцать лет пробудет на каторге, то в сорок выйдет на волю. А сорок лет — еще далеко не вся жизнь. Ей очень хотелось все это сказать, чтобы успо-

коить его, но она не имела права. Вот и старалась говорить так, чтобы он понял, о чем идет речь. А Александр Ильич понял это так: Песковский сказал ей, что сын написал царю, и у нее появилась надежда на помилование.

— Время кончилось! — встав с табуретки, громко объявил надзиратель.

— Мужайся, Саша,— сказала Мария Александровна, еще раз подчеркивая этим, что она не прощается с ним навеки.

У Александра Ильича отлегло от сердца: это «мужайся» он воспринял как призыв матери и дальше держаться так же твердо. Он благодарно улыбнулся в ответ. А Мария Александровна, увидев улыбку, подумала: он наконец понял, что она ему хотела сказать, и глаза ее радостно засияли. Он смотрел на мать и не мог выговорить: «прощай». Сказал, вкладывая в каждое слово всю свою любовь к этому самому дорогому существу на свете:

— Мама, мне очень хочется обнять тебя, но я не могу дотянуться. Я целую руки твои, родная моя...

— Мужайся! — повторила Мария Александровна, когда он, остановившись на пороге камеры, оглянулся, чтобы в последний раз взглянуть на нее.

После этого последнего свидания с матерью Александр Ильич внутренне успокоился. Мать и семья не в таком страшном положении, как изображали Дурново и Песковский. Мать ни в чем его не упрекает. Она уже строит планы, как облегчить участь Ани, как устроить Володю в университет. Нет, они не пропадут...

Вечером четвертого мая Александр Ильич, измученный непрерывной бессонницей, лег рано и заснул как убитый. Но в полночь почувствовал, как его кто-то тормошит. Открыл глаза — в камере полно народу. Надзиратель приказал одеваться, и поскорее, потому что, пока его добудились, ушло много времени. Так крепко спал, что подумали — отравился и умер. «Вот и конец»,— мелькнуло в голове у Александра Ильича. И удивительно: сердце на этот раз даже не дрогнуло. Привык он уже к этой мысли или все никак не проснется? Что это? Опять дают свою одежду?

— Быстрее, быстрее переодевайтесь! — командовал надзиратель, позвякивая кандалами, которые он с него снял.— Что вы как неживой...

Александр Ильич, не обращая внимания на окрики над-

зирателя, неторопливо натягивал страшно измятую одежду. Когда он оделся, его снова заковали в кандалы и приказали выходить из камеры. Окруженного со всех сторон стражей, повели на первый этаж. Когда вошли в караульное помещение, солдаты повскакивали с мест и, как по команде, повернулись к стене: они не имели права смотреть на заключенных. У железных ворот, преграждавших проезд во двор бастиона, стояла черная тюремная карета. «Вешать, значит, будут не здесь, а в другом месте»,— подумал опять спокойно, как о чем-то обычном. Хотя Александр Ильич не упирался, его подхватили под руки два жандарма и втолкнули в карету. Сами сели напротив, и карета тронулась.

Не успел Александр Ильич сосчитать удары часов на башне собора, как карета остановилась. Приказали выходить. Он выскочил из кареты и опять попал в окружение стражи. Те же два жандарма, которые сопровождали его, опять подхватили под руки, и потащили в ворота. Звон кандалов, топот кованых жандармских сапог по каменной мостовой так отдавались под высокими сводами, что казалось — идет целая колонна. Этот шум всполошил воробья, и он с испуганным чириканьем заметался под аркой ворот. Это знакомое с детства воробьиное чириканье мгновенно перенесло его мысли в Симбирск. Вздохнул: никогда уже там не бывать. Но не успел подумать о Симбирске, как, протиснувшись в узкую полосатую калитку, увидел черную воду, в которой тускло поблескивали звезды. На том берегу светились огромные окна Зимнего дворца. Да уж не топить ли его тащат в Неву? Нет, вот дымится труба пароходика у пристани. Ночь была не очень темная, и очертания зданий приметно вырисовывались по ту сторону Невы: шпиль Адмиралтейства, купол Исаакиевского собора. «Прощай, Петербург, прощай, университет, прощайте, все...»

Не отпуская его рук, Александра Ильича впихнули в люк парохода, и он попал в чьи-то крепкие объятия. Оказалось, здесь уже были Шевырев, Осипанов и Генералов. Не успел Александр Ильич обнять всех, как привели и Андреюшкина. В трюм залезло человек десять стражи, и пароходик тронулся.

— Куда везете? — спросил Генералов офицера, когда пароходик отвалил от пристани.

— А вот увидите,— уклончиво ответил тот, и его больше ни о чем не спрашивали, понимали — все равно ничего не скажет.

Стража не запрещала друзьям разговаривать, и они говорили о том, что им пришлось пережить. А потом вдруг замолкали все, думая каждый о своем. Куда их везут? Что их ждет там, где этот пароходик причалит к берегу? Виселица? Или камера Шлиссельбургской крепости, в которой придется сидеть до самой смерти? Ведь если царь и заменит им смертную казнь, то лишь пожизненным заключением.

В трюме горит свеча, в маленькие иллюминаторы ничего не видно,— чтобы заглянуть в них, нужно подняться, а стражники не позволяют. Хотя они и с винтовками и их вдвое больше, но при каждом движении узников, при любом позвякивании их кандалов испуганно хватаются за оружие. Слышно только машину — она стучит так, точно там бьется сердце,— да всплески воды за бортом.

Но вот серые глаза иллюминаторов начали розоветь. Донесся крик чайки, Александру Ильичу показалось даже, что он увидел, как белоснежные крылья мелькнули в иллюминаторе. Вспомнилась поездка в Казань на пароходе, и впервые за всю дорогу сердце болезненно сжалось. Все, что было тогда обычным, простым, доступным, казалось теперь сказочным сном...

Плыли долго. А когда пароход остановился и Александра Ильича вывели на палубу, он увидел высокие — пожалуй, метров в десять — крепостные стены из белого камня. Местами камень был красный, точно пропитанный кровью. На узенькой полоске земли между водой и стенами крепости зеленели редкие кустики, торчал сухой прошлогодний бурьян. На необозримом просторе Ладожского озера белели еще не растаявшие льдины. Так вот где рождается Нева и гибнут тысячи и тысячи узников, погребенных заживо! Шлиссельбург...

Как два жандарма подхватили его на палубе парохода под руки, так и тащили, не отпуская, до самых ворот. У ворот их встретила целая толпа надзирателей. Остановились. Александр Ильич кинул взгляд на башню, где золотом было написано «Государева», а шпиль украшал золотой ключ. Башня была неуклюжа. Казалось, она осела в воду и стоит где-то на дне озера, а на поверхности вид-

на только треть ее. Но вот процессия двинулась дальше. Миновали первые ворота, похожие на башенную бойницу. Может быть, показалось так потому, что стены были толщиной, пожалуй, больше трех метров. Прошли через кордегардию и попали на тюремный двор. Казалось просто смешно, что даже здесь, во дворе крепости, окруженном высокими стенами, Александра Ильича продолжали держать под руки двое жандармов. Подошли к низенькому строению, похожему на сарай. У стен его желтели одуванчики, которые только что расцвели. Александру Ильичу хотелось сорвать хотя бы один цветок, но его поспешно потащили к дверям этого сарая. Широкий низкий коридор и — камера, дверь которой уже открыта. Только здесь, за порогом камеры, жандармы с облегченным вздохом отпустили его руки.

Александр Ильич думал, что дверь немедленно закроется. Но нет. С него сняли кандалы, приказали раздеться и начали так тщательно обыскивать, точно его только что привезли из дому в крепость. Закончив обыск, о котором в подробностях можно рассказать лишь в специальном медицинском журнале, выдали тюремную одежду, заковали в ножные и ручные кандалы. Все делалось молча, точно эти люди не умели говорить. Когда процедура была закончена, надзиратель, который обыскивал его, не столько словами, как жестами показал Александру Ильичу, чтобы тот следовал за ним. В коридоре надзиратель, указав на открытую дверь камеры, буркнул:

— Сюда!

Александр Ильич перешагнул порог и услышал, как за ним загремела тяжелая, окованная железом дверь. И наступила такая тишина, точно он очутился в глубоком подземелье...

14

Царь просмотрел все бумаги, которые привез ему граф Толстой, спросил, взглянув на него исподлобья:

— Значит, Ульянов не подал просьбы о помиловании?

— Не подал, ваше величество.

— С ним еще трое не подали?

— Да, ваше величество.

— Мерзавцы! — в бессильной злобе выругался царь.— Всех повесить! И Шевырева тоже, я не верю в его раскаяние! Он все время нахально лгал и теперь не хочет выдать тех, чью волю они исполняли! Лукашевичу и Новорусскому, я считаю, смертную казнь можно заменить пожизненным заключением. Пусть гниют, пока не издохнут, в Шлиссельбургской крепости. Это, всем известно, самое страшное наказание! Канчеру, Горкуну и Волохову за то, что сказали все, что знали, и раскаялись,— каждому довольно и десяти лет каторги. А прочим — смертную казнь заменяю так, как просит суд.

Царь поставил свою размашистую подпись, отдал бумаги графу Толстому, приказал:

— И немедля — на виселицу!

— Мы сделали бы это завтра же, но...

— Какие могут быть «но»! — сердито перебил царь.— Этой же ночью повесить всех!

— Ваше величество, ни в Петербурге, ни в Москве нет палача, который мог бы это сделать. Пришлось вызвать из самой Варшавы. А пока его оттуда привезут...

— А что ж вы раньше об этом не подумали?

Граф Толстой виновато молчал. В кабинет вошел генерал Черевин, подал царю какую-то бумагу. Александр III прочитал, довольно улыбнулся. Сказал Черевину:

— Передайте великому князю, что я прошу его отобедать со мной. Вы, Дмитрий Андреевич, тоже оставайтесь,— добавил царь таким тоном, словно весь их разговор сводился к тому, чтобы вместе пообедать.

Александр Ильич не верил в милость царя, о которой ему все твердили. И в то же время не мог понять: зачем их сюда привезли? На казнь? Но ведь это можно было сделать и там, в Петропавловской крепости. Царь заменил смертную казнь пожизненным заключением? Но почему же им об этом не объявили? Или это сделано умышленно, чтобы к страданиям в тюрьме добавить еще и муки непрерывного ожидания смерти? Или их решили держать заложниками? Ведь уже было так, во время коронации. А может, думают, что удастся арестовать тех воображаемых подпольщиков, которые руководили покушением? Ведь все они уверены, что руководящее ядро террористов не арестовано.

Прошло пятое мая, шестое. Седьмого вечером к крепости причалил паром. Под конвоем двух солдат с него сошел здоровенный бородатый мужик. Это был палач, которого привезли из Варшавы. Старший надзиратель Соколов — заключенные звали его Иродом,— проверив для порядка документы, повел гостя к коменданту крепости. Комендант, смерив палача оценивающим взглядом, остался им доволен. Такой здоровенный мужичище за ночь сотню человек повесит, не то что пятерых. Спросив, как зовут прибывшего, комендант сказал:

— Имей в виду: у нас всего три виселицы, а их пятеро...

— Ничего,— басовито прохрипел палач.— Установим очередь. Так уже приходилось делать.

— Матвей Ефимович,— спросил комендант,— вы там все готовите?

— Так точно, ваше превосходительство! — отрапортовал Соколов.— Виселицы установлены...

— Ну, ступайте!

— Ваше превосходительство,— взмолился прямо со слезами в голосе палач,— не откажите в божьей милости, прикажите дать мне хоть стаканчик водки. Замерз...

— Дайте ему, Матвей Ефимович, только смотрите там...

— Слушаюсь.

— Когда подъедет прокурор и все прочие, уведомить меня заранее, чтобы я мог встретить их у ворот крепости.

— Слушаюсь.

— Ну, ступайте. Подождите. А священника вызвали?

— Он, ваше превосходительство, уже в церкви.

— Скажите ему, пусть зайдет ко мне.

— Слушаюсь,— повторял надзиратель.

— Ну, ступайте.

Надзиратель проводил палача в то же отделение, где находились смертники, и запер в камере, пообещав, что водку и закуску ему принесут. Палачу такое строгое обхождение не понравилось, он начал было шуметь, но Ирод так цыркнул на него, что он немедленно притих.

— Твое дело — сиди и молчи. А придет время, позовем. Не к теще на блины приехал! — сурово приказал Ирод и запер дверь.

Солнце в камеру Александра Ильича заглядывало всего на полчаса и то под вечер. Окно было большое. Но перед ним, как и в Петропавловской крепости, громоздилась стена, и оттого в камере целый день было сумрачно. И только в эти полчаса камера настолько освещалась, что можно было даже читать. Но книг не давали. Надзиратель — говорить с заключенными мог только он — сказал, когда Александр Ильич попросил что-нибудь почитать:

— С этим придется обождать...

Вечером надзиратель — непременно в сопровождении двух караульных — вносил в камеру керосиновую лампу, ставил на столик, закручивал фитиль так, чтобы она только-только не гасла, приказывал:

— Вот так пусть и горит всю ночь.

Теперь уже — если ночью не поведут на эшафот — только утром принесут чай, и тот же надзиратель заберет лампу. Низкая камера с лампой, которая чуть теплилась, похожа была на могильный склеп, где кто-то зажег лампаду. Мертвая тишина усиливала это впечатление. Порой и Александра Ильича охватывало такое чувство, будто он уже не на этом, а на том свете...

Первую ночь в камере он провел почти без сна. И не потому, что ждал: вот-вот придут за ним, как это уже было в Петропавловской крепости. Нет! Не давали покоя воспоминания о родном доме, о маме, Ане, Володе, о малышах, которых он так сердечно любил. Неужели он никогда больше не увидит их, никогда не войдет в родной дом? Все это не укладывалось в голове, хотя он и говорил себе, что с жизнью покончено. Это противоречие — он и знал, и не верил — было необъяснимо. И как ни старался постичь, почему это так, ему никак не удавалось сделать этого, словно речь шла не об одном и том же человеке, а о двоих, притом с различными судьбами. Или это предчувствие того, что смерть отступила? Или так чувствуют себя все, когда часы отсчитывают последние минуты жизни?

Вторую ночь проспал как убитый. Даже во сне ничего не видел. А сегодня снова почему-то не спится, снова в памяти возникают родные, друзья... Они где-то здесь, совсем близко, и в то же время бесконечно далеко. Они могут всю жизнь просидеть в этой крепости, да так и умереть, не повидавшись. Жалко, очень жалко всех их. Особенно Андреюшкина, Генералова и Осипанова. Такие от-

важные, такие мужественные бойцы гибнут... А как много могли бы они сделать еще для своего народа...

Только около полуночи Александр Ильич задремал. Разбудил его необычный топот в коридоре, гул голосов. Он прислушался. Где-то грохнула дверь. И вдруг совсем близко послышался громкий голос Осипанова:

— Друзья, прощайте! Меня повели!

Александр Ильич вскочил с койки, кинулся к двери, замер. Но как ни прислушивался — ни звука. Не мог понять: приснилось ему это или он в самом деле слышал голос Осипанова? Вернулся к койке, сел. По всему телу волной прокатился жар, а под сердцем похолодело. Он, напрягая память, старался вспомнить, что ему снилось, но голова точно одеревенела. Что такое? Уж не угорел ли он от этой лампы? В камере стоит такой смрад, что прямо дышать нечем. Нет, вчера лампа тоже так чадила, а он всю ночь проспал. Значит, это был действительно голос Осипанова. Его повели на казнь. Сейчас придут и за ним. Нужно приготовиться к встрече, пусть они увидят, что он не боится смерти. Подошел к крану, умылся и стал посреди камеры, неотрывно глядя на дверь, в глазок которой уже заглядывала смерть...

Но прошла минута, пять, полчаса, а вокруг стояла такая же, как и всегда, мертвая тишина. Что же это такое? Неужели это приснилось? Ему надоело стоять. Он сел на койку и в то же мгновение услышал, как кто-то подошел к двери. Звякнул замок, дверь отворилась. Александр Ильич увидел рядом с комендантом крепости священника с крестом в руках и все понял. Комендант сказал, что государь император утвердил смертный приговор, и он должен приготовиться к казни. Священник боязливо выступил вперед, спросил тонким, дрожащим голосом:

— Желаешь ли, сын мой по духу, последний час свой встретить как христианин: исповедаться и причаститься святых таин?..

— К тому, что я сказал на суде,— твердо ответил Александр Ильич,— мне нечего добавить и на исповеди!

Когда сняли кандалы и вывели во двор, под высокой стеной крепости он увидел три виселицы с веревками. Возле невысокого эшафота толпилось какое-то начальство. А на эшафоте, опершись о столб виселицы, стоял бородатый, очень похожий на царя, палач. По другую сторону

эшафота стояли три черных гроба, накрытые крышками. Два гроба, без крышек, стояли у стены. Стража привела Шевырева. Александр Ильич понял: Осипанов, Андреюшкин и Генералов уже казнены. Шевырева поставили рядом, и чиновник начал сбивчиво читать приговор суда. Как только он закончил, к Александру Ильичу и Шевыреву подошел священник. Но Александр Ильич, не слушая того, что говорил священник, обернулся к Шевыреву, сказал:

— Прощайте, Петр Яковлевич...

— Прощайте, Александр Ильич...

Друзья обнялись и поцеловались.

За крепостными стенами уже рассветало. Вот-вот должно было взойти солнце. Но Александр Ильич его уже не увидел. Последнее, что он увидел, были ярко-желтые цветы одуванчиков, рассыпанные, точно звезды по небу, по двору крепости. А солнце взошло, когда он уже лежал в гробу...

Там, где стоял эшафот, вырыли могилу и похоронили всех пятерых казненных. Землю разровняли и место засыпали песком. Те, кто делал это, были уверены, что от казненных не осталось и следа на земле...

«Сегодня в Шлиссельбургской тюрьме, согласно приговору Особого Присутствия Правительствующего Сената, 15/19 минувшего апреля состоявшемуся, подвергнуты смертной казни государственные преступники: Шевырев, Ульянов, Осипанов, Андреюшкин и Генералов.

По сведениям, сообщенным приводившим приговор Сената в исполнение, товарищем прокурора С.-Петербургского окружного суда Щегловитовым, осужденные, ввиду перевода их в Шлиссельбургскую тюрьму, предполагали, что им даровано помилование. Тем не менее при объявлении им за полчаса до совершения казни, а именно в $3^1/_2$ часа утра о предстоящем приведении приговора в исполнение, все они сохранили полное спокойствие и отказались от исповеди...

Ввиду того что местность Шлиссельбургской тюрьмы не представляла возможности казнить всех пятерых одновременно, эшафот был устроен на три человека, и первоначально выведены для свершения казни Генералов, Андреюшкин и Осипанов, которые, выслушав приговор, простились друг с другом, приложились ко кресту и бодро вошли

на эшафот, после чего Генералов и Андреюшкин громким голосом произнесли: «Да здравствует «Народная воля»!» То же самое намеревался сделать и Осипанов, но не успел, так как на него был накинут мешок. По снятии трупов вышеозначенных казненных преступников были выведены Шевырев и Ульянов, которые также бодро и спокойно вошли на эшафот, причем Ульянов приложился к кресту, а Шевырев оттолкнул руку священника.

Об изложенном всеподданнейшим долгом поставляю себе доложить Вашему Императорскому Величеству.

Граф *Дмитрий Толстой*

8 мая 1887 г.».

15

Мария Александровна была уверена, что Сашу помиловали. Все свои силы она теперь направляла на то, чтобы вызволить из тюрьмы Аню. Она уже примирилась с тем, что Аню высылают на пять лет в Сибирь. Даже прошение подала в департамент полиции, в котором писала: «Как ни разорительно распродать трудом нажитое имущество, но... я не могу не отправиться с остальными моими детьми в Сибирь же, с единственною целью, чтобы дочь жила при мне».

Просила Мария Александровна, чтобы местом высылки Ани назначили Томск,— там был университет, где мог бы учиться Володя. «Университет, правда,— сказал Песковский, который и посоветовал именно этот город,— еще официально не открыт, но вот-вот откроется». Пока Аня отбудет срок высылки, Володя закончит университет. Да, это пока самое лучшее, что можно придумать. Аня будет рада, что все поедут с нею. Она перестанет болеть, ведь всему виной, как заверил врач, ее расстроенные нервы.

С такими планами утром девятого мая Мария Александровна шла на свидание с Аней. Она не знала, что в этот день в «Правительственном вестнике» был опубликован приговор суда, утвержденный царем, и сообщение о том, что осужденных на смерть казнили восьмого мая. Песковский, к которому она зашла, хотя и получил уже

газету, но не дал ей, решив, что Марию Александровну нужно как-нибудь подготовить к этому страшному удару. Тем более что она идет на свидание с Аней, а ей тоже лучше узнать о казни брата, когда ее выпустят из тюрьмы.

Газеты не писали ни слова о суде, это им было строжайше запрещено. Но как только появилось сообщение в «Правительственном вестнике», немедленно были отпечатаны экстренные выпуски, так называемые «Добавления» с материалами процесса. Поскольку и судебное следствие и самый суд были покрыты глубокой тайной, по городу ходили всяческие слухи. И теперь вокруг продавцов газет стояли буквально толпы народа. Это было так необычно, что обыватели испуганно спрашивали друг друга:

— Война началась, что ли?

— Да нет, преступников казнили...

Мария Александровна услышала это, и сердце ее оборвалось. Взглянула на листок, приклеенный к стене дома, и еле устояла на ногах: Сашу повесили... Она прислонилась к стене, чувствуя, что вот-вот упадет, так закружилась голова. Стояла, не в силах сдвинуться с места, а мальчишка, продавец газет, с азартом выкрикивал:

— Казнены! Государственные преступники казнены!..

Заметив, что ей стало дурно, к Марии Александровне начали подходить люди с этими страшными листками. Но она уже овладела собой, окликнула извозчика и поехала. И не домой, а туда, куда шла: на свидание с Аней. В ее ушах неотступно звучал веселый, азартный голос мальчишки-газетчика: «Казнены! Государственные преступники казнены!» Боже мой, Саши уже нет... Вчера, когда она спала, палач накидывал на его шею петлю... Но нет, не палач — сам царь убил его...

— Так будь же ты проклят, бессердечный изверг! — уже не подумала, а вслух произнесла Мария Александровна, и только сейчас, как ей показалось, она не одним умом, а всем сердцем, поняла, почему Саша хотел убить царя...

Она решила пока не говорить Ане, что Сашу казнили. Надзирательнице, которая вела ее на свидание с дочерью, сказала:

— Директор департамента полиции заверил, что дочь через несколько дней освободят и передадут мне на поруки. В ссылку она поедет за собственный счет. Я буду вам

очень признательна, если вы до освобождения не скажете ей о смерти брата...

— Мы даже и права не имеем это делать, так что будьте покойны,— ответила надзирательница.

Аню не беспокоила ее собственная участь. Ее волновала судьба Саши. А когда она узнала, что суд вынес ему смертный приговор, она жила в таком напряжении, точно ее самое вот-вот должны были вести на казнь. В тюрьме Аня ни от кого не могла узнать о брате, поэтому она с нетерпением ожидала приезда матери. И когда та долго не приходила на свидание, то не спала, не ела, а сидела на койке, как каменная, уставя глаза на дверь. Она исхудала, осунулась, точно после тяжелой болезни. Марию Александровну это очень беспокоило, ведь Аня еще совсем недавно так серьезно хворала, и мать делала все, чтобы успокоить дочь. Вот почему и теперь, хотя у самой сердце обливалось кровью и рыдания подступали к горлу, она обняла дочку и тихо сказала, чтобы сразу же перевести разговор на ее дела:

— Через несколько дней ты, Анечка, будешь уже на свободе...

— Ой, не верится мне что-то,— вздохнула Аня.

— Нет, нет, это уже совершенно точно! — уверяла Мария Александровна.— Я уже и прошение подала в департамент полиции, чтобы всем нам поехать с тобой.

И она опять заговорила о своих планах, стараясь избежать разговора о Саше. Аня заметила, что мать как-то необычно ведет себя, но не решалась спросить о причине этого. Ей и в голову не приходило, что Сашу казнили, ведь еще совсем недавно мама говорила ей, что царь его помилует. Но когда надзирательница сказала, что пора заканчивать свидание, Аня спросила:

— Мамуся, а о Саше тебе удалось узнать что-нибудь? Подтвердились слухи, что его помиловали?

— Молись о Саше,— тяжело вздохнув, сказала мать — она не умела говорить неправду.

Но так как Аня и прежде слышала от матери эти слова, она не уловила их подлинного смысла. Для нее Саша был еще жив. А мать, вернувшись домой, упала на кровать и дала волю слезам. Никогда в жизни она еще так не плакала — даже тогда, когда умер Илья Николаевич,— никогда в жизни она не испытывала такого черного отчаяния.

Впервые к ней пришла мысль о смерти. Казалось, нет больше сил жить. Скорее бы умереть, чтобы ничего не чувствовать, ни о чем не думать...

Долго так лежала Мария Александровна. Уже не плакала: слез не было. И ни о чем не думала, в голове ни одной мысли, только нестерпимая, мучительная боль. Казалось, даже волосы болят. «Уж не схожу ли я с ума?» — мелькнула мысль, и в то же мгновение перед глазами, как из густого тумана, выплыло улыбающееся личико Маняши. «Боже мой, как же я о ней забыла? — ужаснулась Мария Александровна.— Как я о всех них забыла?» Пересиливая боль в голове — перед глазами плыли красные пятна,— она поднялась, села, сказала громко:

— Нет, так нельзя. Я не могу оставить их, мне нужно жить...

Стиснула зубы, чтобы сдержать стон, рвавшийся из глубины души, тяжело вздохнула, повторила громко:

— Я должна жить, без меня они все погибнут...

Встала с кровати и, держась за стену, как слепая, пошла к дверям. Решила поехать к Песковским, чтобы не оставаться наедине со своими страшными мыслями. Надумала просить Матвея Леонтьевича — пусть поможет поскорее вызволить Аню, чтобы они могли уехать из этого города-тюрьмы. Она не могла без ужаса глядеть на шпиль Петропавловской крепости, которая поглотила ее сына. Мария Александровна не знала, что Саша похоронен гораздо дальше, на берегу Ладожского озера, за стенами другой, еще более страшной крепости...

16

Володя уже сдал два экзамена: по словесности и латыни. Получил пятерки. А тут и от мамы пришло письмо, она писала: есть все основания надеяться, что царь заменит Саше смертную казнь другим наказанием. Аню освободят из-под ареста. Настроение Володи поднялось, и он сел готовиться к экзамену по алгебре и арифметике.

Утром восьмого мая Володя пришел в гимназию и сел за свой столик в актовом зале, где проходили все экзамены. Пока не написали на доске условия задач, немного волновался. Но увидел задачи и успокоился: он знал, как их решать. Не знал только Володя, что в это самое время сол-

даты Шлиссельбургской крепости зарывали могилу, где лежал, рядом со своими друзьями, его брат Саша. На следующий день Володя узнал, что он и алгебру сдал на пятерку, и усиленно начал готовиться к экзамену по геометрии и тригонометрии, назначенному на двенадцатое мая. Повторить нужно много, каждая свободная минута на счету. Хорошо, что няня Варвара Григорьевна уже вернулась из Пензы, куда ездила к своим родственникам. Теперь у него гораздо больше досуга.

Вставал Володя рано и сразу же брался за книги. И прежде к нему не часто заходили его одноклассники, потому что он не любил никчемных развлечений, на которые они убивали время. Лучше почитать какую-нибудь интересную книгу, чем болтать попусту. А после ареста Саши их дом вообще обходили стороной. Только Охотников, которому Володя помогал учить латынь — он сдавал экзамены экстерном,— не боялся навещать Ульяновых. А Яковлев и Кашкадамова обычно приходили только по вечерам, когда Володя уже заканчивал занятия. Готовился он к экзаменам не так, как другие, не знающие, за что взяться. Он не зубрил день и ночь, а наметив, что нужно повторить, твердо придерживался этого плана. И обычно намечал просмотреть только те разделы, которые, как ему казалось, усвоил не совсем твердо. И как только выполнял заданное на день, уже не брался больше за учебник, а отдыхал. Маняша и Митя с нетерпением ожидали минуты, когда он кончит заниматься. Он шел к ним, и начиналась такая возня, что, как говорила няня, даже дома по ту сторону улицы дрожали — так отчаянно все они бегали и кричали.

Но сегодня — это было десятого мая — не успел Володя прочитать несколько страниц учебника, как услышал в коридоре голос Ивана Яковлевича. Тот что-то тихо спросил у встретившей его няни, потом постучался к нему. Володя отложил книгу, пошел к двери.

— Пожалуйте, Иван Яковлевич, прошу вас...

— С добрым утром,— поздоровался Иван Яковлевич, расправляя свою широкую бороду, как он делал всегда, входя в комнату.— Я тебя, кажется, оторвал от занятий?

— Ничего. Я уже много повторил, а в запасе два дня.

— Это хорошо, что у тебя есть еще два дня,— сказал Иван Яковлевич.— На вот, мой друг, прочитай, что тут напечатано...

Володя взял газету и увидел строки, отчеркнутые красным карандашом: «Приговор Особого Присутствия Правительствующего Сената о смертной казни, через повешение, над осужденными Генераловым, Андреюшкиным, Осипановым, Шевыревым и Ульяновым приведен в исполнение 8-го сего мая 1887 года...» Широкие брови Володи сошлись над переносицей, глаза остро прищурились.

— Я так и думал,— после долгого молчания сказал он, и в голосе его послышалось скорее не отчаяние, а гнев.

— А я верил, что государь помилует их,— печально проговорил Иван Яковлевич.— Бедный Саша... Какой это удар для Марии Александровны — страшно и подумать. Ведь она так любила Сашу, такие надежды возлагала на него...

— Сашу все любили,— сказал Володя. — Очень любили...

В комнату вошла Оля. Увидев Ивана Яковлевича, смутилась:

— Здравствуйте... Прости, Володя, я не знала, что ты не один. Я вам помешала...

— Нет,— сказал Иван Яковлевич,— мне пора идти...

Володя не удерживал Ивана Яковлевича. Проводил его до ворот, просил заходить. Прощаясь, Иван Яковлевич сказал:

— Володя, я понимаю: гибель Саши — невыразимо тяжелая утрата. Тебе нелегко будет сдавать экзамены в таком состоянии. Но ты должен собрать все свои силы, потому что теперь уже золотая медаль тебе нужна для поступления в университет так же, как аттестат...

— Иван Яковлевич, я это понимаю.

— Ну, помогай тебе бог!

Когда Володя сказал Оле, что Сашу казнили, она с рыданием упала на диван. На плач прибежала няня. Узнав, что произошло, сказала, утирая слезы краешком платка:

— Так, значит, богу угодно было...

— Не богу, а царю! — давясь слезами, крикнула Оля.— Палач проклятый!

— Господи, что ты говоришь? — испуганно перекрестилась няня.— Разве можно...

— Палач, палач! — кричала Оля, вне себя от нахлынувшей на нее ярости.

— Оля, успокойся,— сказал Володя, уселся рядом с

нею, ласково обнял дрожащие плечи,— успокойся. А вы, няня, Мите и Маняше пока что ничего не говорите. Я им сам скажу.

— Господи милосердный, за что ты нас так караешь...— еще раз перекрестившись, тяжело вздохнула няня и вышла из комнаты.

Оля долго молчала, всхлипывая, а потом вытерла слезы, с гневной решимостью сказала:

— Жаль, что царя не убили!

— Допустим на минутку, что это произошло. А дальше что? На трон сядет новый, еще более жестокий царь. Вот и все...

В комнату вбежала Маняша, спросила, моргая уже покрасневшими глазенками:

— Володя, отчего няня плачет? Оля, и ты плакала? Отчего вы все плачете?

— У нас, Маняша,— обняв сестренку, сказал Володя,— очень большое горе.

— Какое? — спросила Маняша, готовая вот-вот заплакать.

— Сашу нашего казнили...

— Как это — казнили?

— Помнишь, как мы папу хоронили?

— Помню. Его опустили в яму и засыпали землей.

— Вот и Сашу тоже засыпали землей.

— И он никогда-никогда уже не приедет к нам?

— Нет.

— И мама не приедет?

— Мама и Аня приедут.

— А когда?

— Да, должно быть, скоро.

— Завтра?

— Может быть, и завтра.

— Мамочка приедет! — радостно захлопала в ладошки Маняша. Ой, хоть бы поскорей это завтра...

Володя, глядя на Маняшу, только печально вздохнул: мала еще, ничего не понимает. Вспомнилось, как Митя, когда умер отец, тоже не мог понять, что случилось, хвастался всем, кто приходил: «А у нас опять панихиду служат!» Нет отца, нет Саши. И все это за какой-нибудь год. А как с Аней? Что мама там сейчас делает? Как она там, бедная, мучается! Хоть бы с ней ничего не случилось...

17

Матвей Леонтьевич не отказался похлопотать за Аню,— видел, что Мария Александровна еле на ногах держится. Больше того, как ему казалось, она порой даже начинала заговариваться. И если во время последнего свидания с Александром Ильичем Песковский и преувеличивал, говоря, что боится за ее рассудок, то теперь он в самом деле испугался: волосы ее совсем поседели, и в глазах было что-то такое, что он не мог встречаться с нею взглядом. Сказал жене, когда Мария Александровна ушла от них:

— Катя, ты заметила, какие у нее глаза?

— Я прямо вся холодела, когда она смотрела на меня,— сказала Екатерина Ивановна.— Как мне жаль ее, бедную! Нужно ей как-то помочь, хотя бы Аню освободить из тюрьмы. Ведь она не уедет домой, пока не решится участь Ани. И какая все-таки несправедливость! Доказано, что Аня совсем не виновата, а ее продолжают держать в тюрьме.

— Мало того! В Сибири еще придется лет пять пожить,— сказал Матвей Леонтьевич.— Я думаю подать прошение, чтобы ей заменили Сибирь на Кокушкино.

— Это самое лучшее, что можно придумать.

— Завтра же пойду к Дурново, переговорю с ним. Хотя он был очень раздражен, увидев, что Александр Ильич не поддается ни на какие уговоры, но не мог не отметить его ум, корректность, да, наконец, и твердость. Как ни бывают рады все эти прокуроры, следователи, директоры департаментов, когда кто-нибудь раскрывает им все свои карты, а в душе все же с презрением смотрят на малодушных. Нужно только улучить минуту, чтобы попасть к нему, когда он будет в хорошем настроении.

— Может быть, послать прошение?

— Нет, нужно пойти самому. А то прошение еще проваляется где-нибудь в канцелярии лет сто,— Матвей Леонтьевич вздохнул.— Схожу к нему еще разок, хотя, признаюсь тебе, Катя, и ноги меня туда уже не несут...

На этот раз Песковскому удалось уговорить Дурново

заменить Ане сибирскую ссылку на высылку в деревню Кокушкино. Аню выпустили из тюрьмы, отдав на поруки матери, и они в тот же день поспешили на вокзал. Провожали их только Песковские. Екатерина Ивановна обещала летом приехать в Кокушкино. Она искренне любила и Марию Александровну, и Аню и не могла сдержать слез, прощаясь с ними. Мария Александровна была благодарна Песковским за все их хлопоты,— ведь если бы и они отшатнулись от нее, как это сделали иные «друзья» в Симбирске, ей не с кем было бы даже словом перемолвиться в эти страшные дни.

Поезд тронулся. Мария Александровна взглянула в окно. Над удалявшимся городом высился, сияя в лучах солнца, золотой шпиль Петропавловской крепости. Где-то там она навеки оставила своего Сашу. Слезы застлали глаза, но она не дала им воли — отвернулась от окна...

Мария Александровна и Аня вернулись в Симбирск вечером. Парадная дверь была уже заперта, и они, чтобы не будить всех, прошли через двор. Первой увидела их из своей каморки няня, кинулась обнимать. Ее плач и причитания услышал Володя, выбежал из своей комнаты:

— Мама! Аня!

И не успел обнять их, как со второго этажа в одних рубашонках — уже легли спать — затопали по лестнице Оля, Митя, Маняша. Так и облепили маму. От мамы кинулись к Ане. Кричали, плакали, смеялись...

Когда все угомонились и вошли в комнаты, няня взглянула на Марию Александровну при свете и руками всплеснула:

— Мария Александровна, да вы совсем поседели...

— Поседела, Варвара Григорьевна, а Сашу все равно не спасла...

— Я знаю,— сказала Маняша,— Сашу, как папу, в землю зарыли.

— Маняша, помолчи немножко! — попросил сестренку Володя, заметив, как дрогнули мамины губы.— Аня, садись, что ж ты стоишь, как на вокзале,— захлопотал он, подставляя стулья маме и Ане.— Мы с няней самовар сейчас поставим...

— Спасибо, Володенька,— сказала Мария Александровна.— Чаю я выпью, а то внутри все застыло...

— Господи, Анечка, что же они с тобою сделали...— голубя Аню, как малого ребенка, приговаривала няня.

— Это все ничего,— махнула рукой Аня, силясь выдавить улыбку на исхудалом, желтом лице,— это пройдет. А вот Саша...

— Ну, довольно об этом,— твердо сказала Мария Александровна.— Что сталось, того уж не вернешь. Володя, как твои дела?

— Уже три экзамена сдал. Все на пятерки.

— У меня тоже пятерки! — сказала Оля.

— И у меня почти все пятерки,— доложил Митя.

— Когда я пойду в гимназию, тоже буду получать только пятерки! — заверила и Маняша.

— Очень рада за вас, мои дорогие. Особенно за тебя, Володя. Ведь тебе уже нужно думать об университете. Должно быть, о Казанском. Да и вообще, дорогие мои, придется нам распрощаться с Симбирском и перебираться в Казань... Об этом мы, Володя, еще поговорим с тобой. А сейчас дайте мне умыться с дороги...

Аня была очень слаба. Но лежать в комнате не хотела, как мама ни упрашивала. Отвечала, что ей и в камере надоело видеть перед собою одни стены. Было уже тепло, и она весь день проводила в саду. От нее ни на шаг не отходила Маняша. Выполнив намеченную программу занятий, появлялся и Володя. И тогда они, отослав Маняшу к маме, начинали говорить о Саше, Володя расспрашивал Аню о всех подробностях дела, о Сашиных друзьях. Особенно мучил его вопрос: чего они хотели достигнуть убийством царя? Что делали бы, если бы добились своей цели? Но Аня не могла дать ответ на эти вопросы, так как Саша никогда не говорил с нею об этом. Она смотрела на Володю, слушала, какие глубокие, интересные мысли он высказывает, размышляя о судьбе брата, и думала: «Как он вырос, как возмужал! На все смотрит совсем как взрослый мужчина. А ведь ему только семнадцать лет».

— Все склонялись перед верностью идее, перед железной волей Саши,— рассказывала Аня,— даже Матвей

Леонтьевич, который все время возмущался поведением Саши, и то сказал: умер он как герой!

— Да, погиб он как герой! — сказал Володя.— Но что же это дало народу? И что самое печальное: если бы даже они достигли своей цели — убили царя, то результат был бы — я в этом уверен — точно такой же, как и после убийства Александра Второго. Нет, Аня, если уж начинать борьбу, то не таким путем надо идти!

— А каким же?

— Вот об этом я сейчас и думаю...

1952—1967

ОГЛАВЛЕНИЕ

С(Укр) 2
К 19

Канивец Владимир Васильевич

УЛЬЯНОВЫ

М., «Советский писатель», 1972, 592 стр. План выпуска 1972 г. № 220. Художник Е. А. Ганнушкин. Редактор А. И. Чеснокова. Худож. редактор В. И. Морозов. Техн. редактор И. М. Минская. Корректоры Б. Ш. Котт, С. И. Малкина и И. Ф. Сологуб. Сдано в набор 27/VII 1971 г. Подписано к печати 2/XII 1971 г. Бумага 84×108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 18¹/₂ (31,08). Уч.-изд. л. 31,46. Тираж 100 000 экз. Заказ № 368. Цена 1 руб. 23 коп. Издательство «Советский писатель», Москва, К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

7-3-3
―――
220—72



